

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Николай Иванович

1



Л.Н. ТОЛСТОЙ
Портрет работы И.Н. Крамского
1873 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СТА ТОМАХ

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

В ВОСЕМНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
«НАУКА»
2000

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Том первый

1850 – 1856

МОСКВА
«НАУКА»
2000

УДК 82
ББК 84
Т 53

Редакционная коллегия:

Г.Я. ГАЛАГАН,
Л.Д. ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ (главный редактор),
Ф.Ф. КУЗНЕЦОВ, К.Н. ЛОМУНОВ, П.В. ПАЛИЕВСКИЙ,
А.М. ПАНЧЕНКО, С.М. ТОЛСТАЯ, В.И. ТОЛСТОЙ

Тексты и комментарии подготовила
Л.Д. ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ

Редактор тома
К.Н. ЛОМУНОВ

Первый том выпускается при финансовой поддержке
ректора Университета Сёва-Дзёси
(председатель Японского толстовского общества)
КУСУО ХИТОМИ

Подписное

ISBN 5-02-011823-0

ISBN 5-02-011824-9 (т. 1)

- © Российская академия наук,
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького, составление,
подготовка текстов, комментарии, 2000
- © Российская академия наук
и издательство "Наука", Полное
(академическое) собрание сочинений
Л.Н. Толстого в 100 томах,
оформление, 2000

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий том открывает первое Полное собрание сочинений Л.Н.Толстого, готовящееся Институтом мировой литературы им. А.М.Горького Российской академии наук. Академический характер издания диктуется необходимостью завершить работу по созданию единого свода всего написанного Л.Н.Толстым — исчерпывающего по составу, выверенного в каждом тексте и научно откомментированного. Существующее полное собрание сочинений в 90 томах, так называемое Юбилейное, выходявшее в 1928–1958 годах (указатели в 1964 г.) и репринтно воспроизведенное издательством «Терра» в 1992 г., обозначило огромный шаг вперед в собирании толстовского наследия, но решить задачу в должном объеме и на одинаковом уровне по ряду объективных причин не смогло. Настало время подвести итог долгой и сложной истории выхода «всего Толстого» в печать и восстановить полный достоверный облик классика на основании предшествующего опыта, заново проверенных источников и современных данных.

Собрания сочинений Л.Н.Толстого выходили двенадцать раз при его жизни (активное авторское участие имело место вплоть до изд. 1873 г.); многократно и в большом разнообразии, в том числе за рубежом, — в XX веке. Они непрерывно дополнялись публикацией новонайденных или по каким-либо причинам опускаемых материалов.

В 1911–1912 гг. вышел трехтомник «Посмертные художественные произведения Л.Н.Толстого»; в 1911 и 1914 гг. — переписка с А.А.Толстой и Н.Н.Страховым; в 1916 г. «Дневник. 1895–1899», в 1917 г. — «Дневник молодости Л.Н.Толстого»; начиная с 1910 г. печатались сборники писем и переписки, неизданных текстов. Работа эта продолжилась после революции в таких изданиях, как «Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 1–4 (1917–1923); «Толстой и о Толстом: новые материалы», 4 сборника (1924–1928); «Лев Толстой и В.В.Стасов. Переписка» (1929) и многое другое. Включить в свой

состав весь объем этих материалов Юбилейное собрание не успевало. Но еще больше новых данных стало появляться к моменту его завершения, как бы обгоняя уже вышедшие тома.

Важную историческую роль сыграло постановление Совета народных комиссаров СССР от 27 августа 1939 г. о концентрации рукописей Л.Н.Толстого в одном месте — Государственном музее (Москва), хотя некоторые подлинники до сих пор находятся в архивах и собраниях разных лиц — в России и за рубежом. Ценные уточнения в датировку рукописей внесены книгами «Описание рукописей художественных произведений Л.Н.Толстого» (М., 1955) и «Описание рукописей статей Л.Н.Толстого» (М., 1961), подготовленными сотрудниками Рукописного отдела московского музея.

Знания о литературном наследии Толстого существенно пополнялись и откладывались в системе взаимосвязанных научных изданий. Таковыми стали: «Литературное наследство», т. 35–36, 37–38, 69, 75, 90, 94 (1939, 1961, 1965, 1979, 1983); Летописи Государственного Литературного музея, кн. 2 и 12 (1938, 1948); «Яснополянские сборники», издаваемые с 1955 г.; «Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В.И.Ленина», вып. 4, 39 (1939, 1978); «Переписка Л.Н.Толстого с сестрой и братьями» (1990); «Неизвестный Толстой в архивах России и США» (1994); «Новые материалы Л.Н.Толстого и о Толстом. Из архива Н.Н.Гусева» (1997) и др. При подготовке нашего издания велся целенаправленный поиск неизвестных ранее текстов Толстого, новых источников; все найденное отразится на страницах соответствующих томов. Учтен и помещенный в т. 69 «Литературного наследства» критический обзор «О Полном собрании сочинений Толстого (“Юбилейном”)

В настоящем издании печатается все, что принадлежит перу Толстого, без каких-либо купюр и ограничений, при этом впервые поставлена задача опубликовать полностью рукописи. В 90-томнике рукописи были напечатаны не только выборочно, но дробились на фрагменты применительно к окончательному тексту. Для религиозно-философских и эстетических трактатов — таких, как «Исповедь», «В чем моя вера?», «Царство Божие внутри вас», «Что такое искусство?» — выбиралось преимущественно то, что отражало критические воззрения Толстого. Позитивная сторона его миропонимания уводилась в тень. Необходимо опубликовать все, до единого слова, включая и зачеркнутое в ходе работы самим автором. При этом рукописные материалы и печатные редакции, варианты размещаются (в томах специальной серии) в их хронологической последовательности; таким образом, история толстовских произведений должна предстать в ее подлинном виде.

Важнейшей задачей издания является точность, выверенность текстов. Известно, что в печатные публикации, сделанные и при

участии автора, обычно проникает множество ошибок, опечаток. Сочинения Толстого пострадали не только от переписчиков и наборщиков, но также от цензуры, а иногда от редакторов, пусть и дружественно настроенных. Научная «критика текста» в 90-томном издании проводилась лишь относительно некоторых произведений. В итоге после Юбилейного издания возникли серьезные, но все же не безусловные, не обсужденные в кругу специалистов попытки переиздать печатные тексты с учетом рукописей: трилогия «Детство. Отрочество. Юность», «Казачьи», «Анна Каренина» («Литературные памятники»); «Война и мир» (20-ти и затем 22-томное изд. Собрания сочинений); «Холстомер» (миниатюрное изд. 1979 г.). На основе исчерпывающего анализа рукописных и печатных источников эта работа впервые осуществляется в настоящем Полном собрании сочинений.

В прежних публикациях дневников и записных книжек делались многочисленные купюры: в дневниках — мест, касающихся интимной жизни Толстого; в записных книжках — строк, связанных с хозяйственной деятельностью в Ясной Поляне. Академический принцип требует исчерпывающе полного воспроизведения источника (за исключением слов, неудобных для печати).

За свою долгую жизнь Толстой отправил разным корреспондентам более 10 тысяч писем и получил от них более 50 тысяч. Письма, составляющие отдельную серию, располагаются в хронологическом порядке, сверяются с автографами и другими достоверными источниками. Со времени Юбилейного издания значительно возросло число известных нам писем Толстого; особенно существенные находки были сделаны за рубежом. Обращения и ответы корреспондентов широко используются для пояснения толстовских текстов.

В комментарии включаются: справки об источниках и первых публикациях; история создания и печатания каждого произведения, для пьес — еще и постановки; сведения о жизненных и литературных материалах творчества; отзывы современников, критики — отечественной и зарубежной (по 1910 год); данные о прижизненных переводах на иностранные языки; пояснения реалий. В томах дневников и писем найдут свое место материалы о многочисленных посетителях и корреспондентах, отечественных и зарубежных. Так наполнится документальным содержанием важная сторона писательской деятельности Л.Н.Толстого — ее мировое значение. Каждый том сопровождается аннотированным указателем имен и названий.

Издание разделено на пять серий: I. Художественные произведения (завершенные и неоконченные) — 18 томов; II. Редакции и варианты художественных произведений — 17 томов; III. Статьи, трактаты, сборники — 20 томов (некоторые тома в двух, трех, четырех

книгах); IV. Дневники и записные книжки — 13 томов; V. Письма — 32 тома.

Собрание готовится Толстовской группой Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН при участии ученых Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Государственного музея Л.Н.Толстого в Москве, Музея-усадьбы «Ясная Поляна», а также зарубежных специалистов по творчеству Толстого из США, Канады, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Голландии и др.

Редколлегия приносит дань глубокой признательности академику Никите Ильичу Толстому, бывшему до 1996 г. главным редактором готовящегося издания.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1851–1856

ДЕТСТВО

Г л а в а I

УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ

12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопущкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим,— думал я,— я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь,— прошептал я,— как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисером башмачке, повесил хлопущку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal¹,— крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда толь-

¹ Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале (нем.)

ко принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки.— Nu, nun, Faulenzer!¹ — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen Sie², Карл Иваныч! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто татап умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай — маленький, чистенький человек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

— Sind sie bald fertig?³ — слышался из классной голос Карла Иваныча.

¹ Ну, ну, лентяй! (нем.)

² Ах, оставьте (нем.)

³ Скоро ли вы будете готовы? (нем.)

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иванович был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иванович, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Ивановича, *собственная*. На нашей были всех сортов книги — учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»¹, в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут, перед рекреацией, привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту — без переплета, один том истории Семилетней войны — в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпенок. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься на верх, в классную, смотришь — Карл Иванович сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом

¹ «История путешествий» (фр.)

орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю,— ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber! Карл Иванович!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линейвания; с другой — черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иванович: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику,— а каково мне?» — и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю — право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Ивановича,— а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покада поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так делается до-

¹ Милый (нем.)

сдно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, Бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки.

Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз — здороваться с матушкой.

Г л а в а П

МАМАН

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какую она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только *agreggio*. Подле нее, вполуборот, сидела Марья Ивановна, в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иванович. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топя ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois»¹, — еще громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иванович, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто

¹ Раз, два, три, раз, два, три (*фр.*)

желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.

— Ich danke, lieber¹ Карл Иваныч,— и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: — Хорошо ли спали дети?

Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слышал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

— Вы меня извините, Наталья Николаевна?

Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

— Наденьте, Карл Иваныч... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? — сказала татап, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слышал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.

— Пойдите на минутку, Мими,— сказала татап Марье Ивановне с улыбкой,— ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотою лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

Поздоровавшись со мною, татап взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

— Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

— О чем ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

— Это я во сне плакал, татап,— сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде,— разговор, в котором приняла участие и Мими,— татап положила на поднос шесть кусочков сахара для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пальцам, которые стояли у окна.

¹ Благодарю, милый (нем.)

— Ну, ступайте теперь к папа, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название *официантской*, мы вошли в кабинет.

Г л а в а III

ПАПА

Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно — выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем, воля ваша!

Увидев нас, папа только сказал:

— Погодите, сейчас.

И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.

— Ах, Боже мой милостивый! что с тобой нынче, Яков? — продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка). — Этот конверт со вложением восьмисот рублей...

Яков подвинул счеты, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше.

— ...для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить тысячу рублей... так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать семь тысяч пудов, — кладу по сорок пять копеек, — ты получишь три тысячи; следовательно, всех денег у тебя будет сколько? Двенадцать тысяч... так или нет?

— Так точно-с, — сказал Яков.

Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:

— Ну, из этих-то денег ты и пошлешь десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе, — продолжал папа (Яков смешал прежние двенадцать тысяч и кинул двадцать

одну тысячу),— ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. (Яков смешал счета и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги двадцать одна тысяча пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.

Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».

Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.

— Слушаю-с,— сказал Яков.— А какое приказание будет насчет хабаровских денег?

Хабаровка была деревня татап.

— Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания.

Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счета и начал говорить:

— Позвольте вам доложить, Петр Александрыч, что как вам будет угодно, а в Совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволите говорить,— продолжал он с расстановкой,— что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена. (Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости.) Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах,— прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа.

— Отчего?

— А вот изволите видеть: насчет мельницы, так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить и Христом-Богом божился, что денег у него нет... да он и теперь здесь: так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?

— Что же он говорит? — спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником.

— Да известно что, говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, *судырь*, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели и скоро их получить не придется. Я намерен посылал в город к Иван Афанасьичу воз муки и записку об этом деле: так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александрыча, но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция. Насчет сена изволили говорить: положим, что и продается на три тысячи... — Он кинул на счета три тысячи и с минуту молчал, поглядывая то на

счета, то в глаза папа, с таким выражением: «Вы сами видите, как это мало!» — Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать, вы сами изволите знать...

Видно было, что у него еще большой запас доводов; должно быть, поэтому папа перебил его.

— Я распоряжений своих не переменяю,— сказал он,— но если в получении этих денег действительно будет задержка, то, нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет.

— Слушаю-с.

По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие.

Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина на счет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское (село, в котором мы жили). В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом.

Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться.

— Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою,— сказал он.— Вы будете жить у бабушки, а татап с девочками остается здесь. И вы это знайте, что одно для нее будет утешение — слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.

Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки.

«Так вот что предвещал мне мой сон! — подумал я,— дай Бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже».

Мне очень, очень жалко стало матушку, и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.

«Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет; это славно! — думал я.— Однако жалко Карла Иваныча. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта... Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Иваныча. Он и так очень несчастлив!»

Мысли эти мелькали в моей голове; я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.

Сказав с Карлом Иванычем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем чтобы на прощанье выехать после обеда послушать молодых гончих, папа, против

моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту.

По дороге на верх я забежал на террасу. У дверей, на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца — Милка.

— Милочка,— говорил я, лаская ее и целуя в морду,— мы нынче едем; прощай! никогда больше не увидимся.

Я расчувствовался и заплакал.

Г л а в а IV

КЛАССЫ

Карл Иванович был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно; я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать; когда же пришло время говорить их Карлу Ивановичу, который, зажмурившись, слушал меня (это был дурной признак), именно на том месте, где один говорит: «Wo kommen Sie her?»¹, а другой отвечает: «Ich komme vom Kaffe-Hause»²,— я не мог более удерживать слез и от рыданий не мог произнести: «Haben Sie die Zeitung nicht gelesen?»³ Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге.

Карл Иванович рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия (это было любимое его слово), угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощенья, тогда как я от слез не мог слова вымолвить; наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью.

Из классной слышен был разговор в комнате дядьки.

— Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву? — сказал Карл Иванович, входя в комнату.

— Как же-с, слышал.

Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иванович сказал: «Сиди, Николай!» — и вслед за этим затворил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать.

¹ Откуда вы идете? (нем.)

² Я иду из кофейни (нем.)

³ Вы не читали газеты? (нем.)

— Сколько ни делай добра людям, как ни будь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать, Николай? — говорил Карл Иваныч с чувством.

Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнул головой.

— Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед Богом, Николай,— продолжал Карл Иваныч, поднимая глаза и табакерку к потолку,— что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели. Да! тогда я был добрый, милый Карл Иваныч, тогда я был нужен; а теперь,— прибавил он, иронически улыбаясь,— теперь *дети большие стали: им надо серьезно учиться*. Точно они здесь не учатся, Николай?

— Как же еще учиться, кажется,— сказал Николай, положив шило и протягивая обеими руками драгты.

— Да, теперь я не нужен стал, меня и надо прогнать; а где обещания? где благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай,— сказал он, прикладывая руку к груди,— да что она?.. ее воля в этом доме все равно, что вот это,— при этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи.— Я знаю, чьи это шутики и отчего я стал не нужен: оттого, что я не лыщу и не потакаю во всем, как *иные люди*. Я привык всегда и перед всеми говорить правду,— сказал он гордо.— Бог с ними! Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба... не так ли, Николай?

Николай поднял голову и посмотрел на Карла Иваныча так, как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба,— но ничего не сказал.

Много и долго говорил в этом духе Карл Иваныч: говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил (мне очень больно было это слышать), говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своем портном Schönheit и т.д., и т.д.

Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иваныч, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга; я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие.

Вернувшись в классную, Карл Иваныч велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда все было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее: «Von al-len Leiden-schaf-ten die grau-samste ist... haben sie geschrieben?»¹ Здесь он остановился, медленно понюхал табак и продолжал

¹ Из всех пороков самый ужасный... написали? (нем.)

с новой силой: «Die grausamste ist die Undankbarkeit... Ein grosses U»¹. В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него.

— Punctum²,— сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради.

Несколько раз, с различными интонациями и с выражением величайшего удовольствия, прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль; потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде; оно выражало довольство человека, достойно отмстившего за нанесенную ему обиду.

Было без четверти час; но Карл Иванович, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас: он то и дело задавал новые уроки. Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки, вот слышно, как шумят посудой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья, вот и Мими с Любочкой и Катенькой (Катенька — двенадцатилетняя дочь Мими) идут из сада; но не видать Фоки — дворецкого Фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Ивана, бежать вниз.

Вот слышны шаги по лестнице; но это не Фока! Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая.

Г л а в а V

ЮРОДИВЫЙ

В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрепятственно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.

¹ Самый ужасный — это неблагоприятность. с прописной буквы (нем.)

² Точка (лат.)

— Ага! попались! — закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. — О-ох жалко! О-ох больно!.. сердечные... улетят, — заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы.

Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял местоимений), но ударения так трогательны и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти.

Это был юродивый и странник Гриша.

Откуда был он? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй.

Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и татап ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично, под прямым углом, примыкавшем к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иванович вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: я вас не замечаю, Карл Иванович. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие; но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать: «Bonjour, Mimi!», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры.

Что за несносная особа была эта Мими! При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить: она все находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала: «Parlez donc français!»¹, а тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски; или за обедом — толь-

¹ Говорите же по-французски (*фр.*)

ко что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно: «Mangez donc avec du pain» или «Comment ce que vous tenez votre fourchette?»¹ «И какое ей до нас дело! — подумаешь.— Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иванович». Я вполне разделял его ненависть к *иным людям*.

— Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту,— сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую.

— Хорошо, постараемся.

Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком; он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою: «Жалко!.. улетела... улетит голубь в небо... ох, на могиле камень!..» и т.п.

Матап с утра была расстроена; присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.

— Ах да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи,— сказала она, подавая отцу тарелку с супом.

— Что такое?

— Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься.

Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать:

— Хотел, чтобы загрызли... Бог не попустил. Грех собаками травить! большой грех! Не бей, *большак*²... что бить? Бог простит... дни не такие.

— Что это он говорит? — спросил папа, пристально и строго рассматривая его.— Я ничего не понимаю.

— А я понимаю,— отвечала матап,— он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит: «Хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил»,— и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его.

— А! вот что! — сказал папа.— Почему же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще не большой охотник до этих господ,— продолжал он по-французски,— но этот особенно мне не нравится и должен быть...

— Ах, не говори этого, мой друг,— прервала его матап, как будто испугавшись чего-нибудь,— почему ты знаешь?

— Кажется, я имел случай изучить эту породу людей — их столько к тебе ходит — все на один покрой. Вечно одна и та же история...

¹ «Ешьте же с хлебом», «Как вы держите вилку?» (фр.)

² Так он безразлично называл всех мужчин (Прим. Л. Н. Толстого)

Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить.

— Передай мне, пожалуйста, пирожок,— сказала она.— Что, хороши ли они нынче?

— Нет, меня сердит,— продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы татап не могла достать его,— нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман.

И он ударил вилкой по столу.

— Я тебя просила передать мне пирожок,— повторила она, протягивая руку.

— И прекрасно делают,— продолжал папа, отодвигая руку,— что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ,— прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок.

— Я на это тебе только одно скажу: трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в два пуда весом и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом,— трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. Насчет предсказаний,— прибавила она со вздохом и помолчав немного,— *je suis payée pour y croire*¹; я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину.

— Ах, что ты со мной сделала! — сказал папа, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой сидела Мими. (Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного.) — Зачем ты мне напомнила об его ногах? я посмотрел и теперь ничего есть не буду.

Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертели на своих стульях и вообще изъясляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и наконец решился: сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко, он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке. После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу, и — что было еще приятнее — татап сказала, что она сама поедет с нами.

¹ я верю в них даром (фр.)

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОХОТЕ

Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей — всё с величайшею подробностью, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала; папа велел оседлать для него охотничью. Это слово: «охотничья лошадь» — как-то странно звучало в ушах татап: ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка татап продолжала твердить, что она все гулянье будет мучиться.

Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бегаёт, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть вериги Гриши, и т.д.; о том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидело по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками — кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками.

День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иванович всегда знал, куда какая туча пойдет; он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная.

Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро, крикнул: «Подавай!» — и, раздвинув ноги, твердо стал посредине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, ко-

тому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться (хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться), уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, тапал, указывая на «охотничью лошадь», спросила дрожащим голосом у кучера:

— Эта для Владимира Петровича лошадь?

И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении: взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции.

— Собак не извольте раздавить,— сказал мне какой-то охотник.

— Будь покоен: мне не в первый раз,— отвечал я гордо.

Володя сел на «охотничью лошадь», несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил:

— Смирна ли она?

На лошади же он был очень хорош — точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно, — особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида.

Вот слышались шаги папа на лестнице; выжлятник подогнал отрыскавших гончих; охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к крыльцу; собаки своры папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. Вслед за ним, в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками: с одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох.

Папа сел на лошадь, и мы поехали.

Г л а в а VII

ОХОТА

Доезжачий, прозывавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пестрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником, приговаривая: «В кучу!» Выехав за ворота,

папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле.

Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое блестяще-желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синееющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кой-где на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жнивью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому, раскаленному полю. Староста, в сапогах и армяке внакидку, с бирками в руке, издали заметив папа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла легкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью, — все это я видел, слышал и чувствовал.

Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и, сверх всякого ожидания, еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись: самовар, кадка с мороженой формой и еще кой-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением.

Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставление, как равняться и куда выходить (впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему), разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие прежде всего маханиями хвостов выразили свое удовольствие, встряхнулись, оправились и потом уже маленькой рысцей, приносясь и махая хвостами, побежали в разные стороны.

— Есть у тебя платок? — спросил папа.

Я вынул из кармана и показал ему.

— Ну, так возьми на платок эту серую собаку...

— Жирана? — сказал я с видом знатока.

— Да, и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходите!

Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед:

— Скорей, скорей, а то опоздаешь.

Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня не доставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «Ату! ату!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче и одушевленное раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвертый... Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и наконец слились в один звонкий, залиvistый гул. *Остров был голосистый, и гончие варили варом.*

Услыхав это, я замер на своем месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, желудями, пересохшими, обомшалыми хворостинками, желто-зеленым мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелеными травками кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через; а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добивались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на

два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки,— только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее.

Вдруг Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал.

Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не *выдержал*) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.

Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам:

— Боже мой, что я наделал!

Я слышал, как гончие погнались дальше, как заатукали на другой стороне острова, отбили зайца и как Турка в свой огромный рог вызывал собак,— но все не трогался с места...

Г л а в а VIII

ИГРЫ

Охота кончилась. В тени молодых березок был разостлан ковер, и на ковре кружком сидело все общество. Буфетчик Гаврило, примяв около себя зеленую, сочную траву, перетирав тарелки и доставал из коробочка завернутые в листья сливы и персики. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую вспотевшую голову Гаврилы круглые колеблющиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно освежал меня.

Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть.

— Ну, во что? — сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве.— Давайте в Робинзона.

— Нет... скучно,— сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья,— вечно Робинзон! Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.

Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из «Robinson Suisse»¹, которого мы читали незадолго пред этим.

— Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? — приставали к нему девочки.— Ты будешь Charles, или Ernest, или отец — как хочешь? — говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли.

— Право, не хочется — скучно! — сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.

— Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть,— сквозь слезы выговорила Любочка.

Она была страшная плакса.

— Ну, пойдемте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу!

Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыбака. Я заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно.

Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей,— и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?..

¹ «Швейцарского Робинзона» (фр.)

ЧТО-ТО ВРОДЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Представляя, что она рвет с дерева какие-то американские фрукты, Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка, с ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто боясь, чтобы из него не брызнуло чего-нибудь. Игра прекратилась; мы все, головами вместе, припали к земле — смотреть эту редкость.

Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.

Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: «C'est un geste de femme de chambre»¹. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка ее и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал:

— Что за нежности?

У меня же были слезы на глазах.

Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к ее свеженькому белокуренькому личику и всегда любил его; но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил еще больше. Когда мы подошли к большим, папа, к великой нашей радости, объявил, что, по просьбе матушки, поездка отложена до завтрашнего утра.

Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя и я, желая превзойти один другого искусством ездить верхом и молодечеством, гарцевали около нее. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника; но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено следующим обстоятельством. Желая окончательно прельстить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом, с помощью хлыста и ног, разогнал свою лошадку, принял непринужденно-грациозное положение и хотел вихрем пронестись мимо их, с той стороны, с которой сидела Катенька. Я не знал только, что лучше: молча ли проскакать или крикнуть? Но несносная лошадка, поравнявшись с упряжными, несмотря на все мои усилия, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею и чуть-чуть не полетел.

¹ Это жест горничной (*фр*)

ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ МОЙ ОТЕЦ?

Он был человек прошлого века и имел общий молодежи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынешнего века он смотрел презрительно, и взгляд этот происходил столько же от врожденной гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог иметь ни того влияния, ни тех успехов, которые имел в свой. Две главные страсти в его жизни были карты и женщины; он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий.

Большой статный рост, странная, маленькими шажками, походка, привычка подергивать плечом, маленькие, всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении — пришепетывание, и большая, во всю голову, лысина: вот наружность моего отца, с тех пор как я его запомню, — наружность, с которою он умел не только прослыть и быть человеком *à bonnes fortunes*¹, но нравиться всем без исключения — людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться.

Он умел взять верх в отношениях со всяким. Не быв никогда человеком *очень большого света*, он всегда водился с людьми этого круга, и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляя других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нем чувства удивления: в каком бы он ни был блестящем положении, казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения, и умел пользоваться ими. Конек его был блестящие связи, которые он имел частью по родству моей матери, частью по своим товарищам молодости, на которых он в душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по-модному; но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички... Впрочем, все шло к его большому росту, сильному сложению, лысой голове и спокойным, самоуверенным движениям. Он

¹ удачливым (фр.)

был чувствителен и даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, пел, аккомпанируя себе на фортепьяно, романсы приятеля своего А..., цыганские песни и некоторые мотивы из опер; но ученой музыки не любил и, не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что сонаты Бетховена нагоняют на него сон и скуку и что он не знает лучше ничего, как «Не будите меня, молодую», как ее певала Семенова, и «Не одна», как певала цыганка Танюша. Его натура была одна из тех, которым для хорошего дела необходима публика. И то только он считал хорошим, что называла хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения? Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости.

В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила,— но единственно на основании практическом: те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастье или удовольствие, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость.

Г л а в а XI

ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ И ГОСТИНОЙ

Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Матан села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразил синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «Бывают ли синие зайцы?», не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца, потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился; я сделал из него дерево, из дерева — скирд, из скирда — облако и наконец так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло.

Матан играла второй концерт Фильда — своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и

прозрачные воспоминания. Она заиграла Патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Матап часто играла эти две пьесы; поэтому я очень хорошо помню чувство, которое они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание; но воспоминание чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было.

Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. «Ну, начались занятия!» — подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло; в этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили обыкновенно перешептываясь и на цыпочках; оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигары, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. Впросонках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. Карл Иваныч, на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке, подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась.

«Как бы не случилось какого-нибудь несчастья,— подумал я,— Карл Иваныч рассержен: он на все готов...»

Я опять задремал.

Однако несчастья никакого не случилось; через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иваныч, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел на верх. Вслед за ним вышел папа и вошел в гостиную.

— Знаешь, что я сейчас решил? — сказал он веселым голосом, положив руку на плечо матап.

— Что, мой друг?

— Я беру Карла Иваныча с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан; а семьсот рублей в год никакого счета не делают, et puis au fond c'est un très bon diable!

Я никак не мог постигнуть, зачем папа бранит Карла Иваныча.

— Я очень рада,— сказала матап,— за детей, за него: он славный старик.

— Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти пятьсот рублей в виде подарка... но что забавнее всего — это счет, который он принес мне. Это стоит посмотреть,— прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукою Карла Иваныча,— прелесть!

Вот содержание этой записки:

«Для детей два удочка — 70 копек.

¹ и потом, в сущности, он славный малый (фр.)

Цветной бумага, золотой коемочка, клестир и болван для коробочка, в подарках — 6 р. 55 к.

Книга и лук, подарка детям — 8 р. 16 к.

Панталон Николаю — 4 рубли.

Обещаны Петром Александрович из Москву в 18.. году золотые часы в 140 рублей.

Итого следует получить Карлу Мауеру кроме жалованию — 159 рублей 79 копек».

Прочтя эту записку, в которой Карл Иваныч требует, чтобы ему заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обещанный подарок, всякий подумает, что Карл Иваныч больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбивый себялюбец,— и всякий ошибется.

Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, трогательные им в нашем доме; но когда он начал говорить тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого; так что, дойдя до того места, в котором он говорил: «как ни грустно мне будет расстаться с детьми», он совсем сбился, голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок.

— Да, Петр Александрыч,— сказал он сквозь слезы (этого места совсем не было в приготовленной речи),— я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лучше я без жалованья буду служить вам,— прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет.

Что Карл Иваныч в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной.

— Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами,— сказал папа, потрепав его по плечу,— я теперь раздумал.

Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещало какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться и сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь.

— Что?

— Если хотите посмотреть Гришины вериги, то пойдемте сейчас на мужской верх — Гриша спит во второй комнате,— в чулане прекрасно можно сидеть, и мы всё увидим.

— Отлично! Подожди здесь: я позову девочек.

Девочки выбежали, и мы отправились на верх. Не без спору решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать.

Нам всем было жутко в темноте; мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой — сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхания.

— Господи Иисусе Христе! Мати пресвятая Богородица! Отцу и сыну и святому духу... — вдыхая в себя воздух, твердил он с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова.

С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый zipун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия; напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманно.

Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием — потому что он поморщился — поправил под рубашкой вериги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с треском потухла.

В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена бледными, серебристыми лучами месяца, с другой — черной тенью; вместе с тенями от рам падала на пол, стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску.

Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться.

Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим одушевлением. Он начал говорить свои слова, с заметным усилием стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил: «Боже, прости врагам моим!» — кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю.

Володя ущипнул меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потер только рукой то место и продолжал с чувством детского

удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши.

Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца.

Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи, помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «Прости мя, Господи, научи мя, что творить... научи мя, что творити, Господи!» — с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания... Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.

Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из груди его вырывались тяжелые вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза.

— Да будет воля твоя! — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок.

Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование; но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.

О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих — ты их не поверял рассудком... И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..

Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться, во-первых потому, что любопытство мое было насыщено, а во-вторых потому, что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанью и возне, которые слышались сзади меня в темном чулане. Кто-то взял меня за руку и шепотом сказал: «Чья это рука?» В чулане было совершенно темно; но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне над самым ухом, я тотчас узнал Катеньку.

Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька, верно, удивилась этому поступку и отдернула руку: этим движеньем она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, стал крестить все углы. Мы с шумом и шепотом выбежали из чулана.

Г л а в а XIII

НАТАЛЬЯ САВИШНА

В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка *Наташка*. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее в *верх* — находится в числе женской прислуги бабушки. Горничная *Наташка* отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на *Наташку*. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволения выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезку из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.

С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец; весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.

Когда татап вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, татап немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, пере-

бирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.

— Что с вами, голубушка Наталья Савишна? — спросила матан, взяв ее за руку.

— Ничего, матушка, — отвечала она, — должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что ж, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Матан удержала ее, обняла, и они обе расплакались.

С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?

Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в ее комнатку, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена ее комната, или записывала белье и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии» и т.д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри — как теперь помню — были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи, — вынимала из этого сундука куренье, зажигала его и, помахивая, говаривала:

— Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда ваш покойник дедушка — царство небесное — под турку ходили, так оттуда еще привезли. Вот уж последний кусочек остался, — прибавляла она со вздохом.

В сундуках, которыми была наполнена ее комната, было решительно все. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «Надо спросить у Натальи Савишны», — и действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала: «Вот и хорошо, что припрятала». В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился.

Один раз я на нее рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть.

— Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она пораздовалась на своего любимчика, — сказала матан.

Наталья Савишна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой; потом татап сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла.

После обеда я, в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна с скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости.

«Как! — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлебываясь от слез.— Наталья Савишна, просто *Наталья*, говорит *мне ты* и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»

Когда Наталья Савишна увидала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой *Наталье* за нанесенное мне оскорбление.

Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко мне и начала увещевать:

— Полноте, мой батюшка, не плачьте... простите меня, дуру... я виновата... уж вы меня простите, мой голубчик... вот вам.

Она вынула из-под платка корнет, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня недоставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.

Г л а в а XIV

РАЗЛУКА

На другой день после описанных мною происшествий, в двенадцатом часу утра, коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги и старый сюртук туго-натуго подпоясан кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье; когда оно ему казалось высоко, он садился на подушки и, припрыгивая, обминал их.

— Сделайте божескую милость, Николай Дмитрич, нельзя ли к вам будет баринову щикатулку положить,— сказал запыхавшийся камердинер папа, высовываясь из коляски,— она маленькая...

— Вы бы прежде говорили, Михей Иваныч,— отвечал Николай скороговоркой и с досадой, изо всех сил бросая какой-то узелок на дно брички.— Ей-богу, голова и так кругом идет, а тут еще вы с вашими щикатулками,— прибавил он, приподняв фуражку и утирая с загорелого лба крупные капли пота.

Дворовые мужчины, в сюртуках, кафтанах, рубашках, без шапок, женщины, в затрапезах, полосатых платках, с детьми на руках, и бо-соногие ребятишки стояли около крыльца, посматривали на экипажи и разговаривали между собой. Один из ямщиков — сгорбленный старик в зимней шапке и армяке — держал в руке дышло коляски, потрогивал его и глубокомысленно посматривал на ход; другой — видный молодой парень, в одной белой рубахе с красными кумачовыми ластовицами, в черной поярковой шляпе черепеником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо, — положил свой армяк на козлы, закинул туда же вожжи и, постегивая плетеным кнутиком, посматривал то на свои сапоги, то на кучеров, которые мазали бричку. Один из них, натужившись, держал подъем; другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал ось и втулку, — даже, чтобы не пропадал остальной на помазке деготь, мазнул им снизу по кругу. Почтовые, разномастные, разбитые лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами. Одни из них, выставляя свои косматые оплывшие ноги, жмурили глаза и дремали; другие от скуки чесали друг друга или щипали листья и стебли жесткого темно-зеленого папоротника, который рос подле крыльца. Несколько борзых собак — одни тяжело дышали, лежа на солнце, другие в тени ходили под коляской и бричкой и вылизывали сало около осей. Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла, горизонт был серо-лилового цвета; но ни одной тучки не было на небе. Сильный западный ветер поднимал столбами пыль с дорог и полей, гнул макушки высоких лип и берез сада и далеко относил падавшие желтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений.

Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы: какой ямщик поедет в бричке и какой в коляске? кто поедет с папа, кто с Карлом Ивановичем? и для чего непременно хотят меня укутать в шарф и ватную чуйку?

«Что я за неженка? авось не замерзну. Хоть бы поскорей это все кончилось: сесть бы и ехать».

— Кому прикажете записку о детском белье отдать? — сказала вошедшая, с заплаканными глазами и с запиской в руке, Наталья Савишна, обращаясь к татап.

— Николаю отдайте, да приходите же после с детьми проститься.

Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукою, вышла из комнаты. У меня немного защемило в сердце, когда я увидел это движение; но нетерпение ехать было сильнее этого чувства, и я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни другого: что нужно купить для

дома? что сказать княжне Sophie и madame Julie? и хороша ли будет дорога?

Вошел Фока и точно тем же голосом, которым он докладывал «кушать готово», остановившись у притолоки, сказал: «Лошади готовы». Я заметил, что татап вздрогнула и побледнела при этом известии, как будто оно было для нее неожиданно.

Фоке приказано было затворить все двери в комнате. Меня это очень забавляло, «как будто все спрятались от кого-нибудь».

Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула; но только что он это сделал, дверь скрипнула, и все оглянулись. В комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку в чепце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко.

Я продолжал быть беззаботен и нетерпелив. Десять секунд, которые просидели с закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться. Папа обнял татап и несколько раз поцеловал ее.

— Полно, мой дружок, — сказал папа, — ведь не навек расстанемся.

— Все-таки грустно! — сказала татап дрожащим от слез голосом.

Когда я услышал этот голос, увидел ее дрожащие губы и глаза, полные слез, я забыл про все и мне так стало грустно, больно и страшно, что хотелось бы лучше убежать, чем прощаться с нею. Я понял в эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась с нами.

Она столько раз принималась целовать и крестить Володю, что — полагая, что она теперь обратится ко мне, — я совался вперед; но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя.

Когда мы пошли садиться, в передней приступила прощаться докучная дворянка. Их «пожалуйста ручку-с», звучные поцелуи в плечико и запах сала от их голов возбудили во мне чувство, самое близкое к огорчению у людей раздражительных. Под влиянием этого чувства я чрезвычайно холодно поцеловал в чепец Наталью Савишну, когда она вся в слезах прощалась со мною.

Странно то, что я как теперь вижу все лица дворовых и мог бы нарисовать их со всеми мельчайшими подробностями; но лицо и положение татап решительно ускользают из моего воображения: может быть, оттого, что во все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что, если бы я это сделал, ее и моя горесть должны бы были дойти до невозможных пределов.

Я бросился прежде всех в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что татап еще здесь.

«Посмотреть ли на нее еще или нет?.. Ну, в последний раз!» — сказал я сам себе и высунулся из коляски к крыльцу. В это время татап, с тою же мыслью, подошла с противоположной стороны коляски и позвала меня по имени. Услыхав ее голос сзади себя, я повернулся к ней, но так быстро, что мы стукнулись головами; она грустно улыбнулась и крепко, крепко поцеловала меня в последний раз.

Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на нее. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которою была повязана ее голова; опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживал ее.

Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил; я же захлебывался от слез, и что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться... Выехав на большую дорогу, мы увидели белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысль, что слезы мои доказывают мою чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду.

Отъехав с версту, я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на ближайший предмет перед глазами — заднюю часть пристяжной, которая бежала с моей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пегая пристяжная, как забивала она одну ногу о другую, как доставал по ней плетёный кнут ямщика и ноги начинали прыгать вместе; смотрел, как прыгала на ней шлея и на шлее кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шлея покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом: на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись соха, мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы, заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет; и еще лицо мое не просохло от слез, как мысли мои были далеко от матери, с которой я расстался, может быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мысль о ней. Я вспомнил о грибе, который нашел накануне в березовой аллее, вспомнил о том, как Любочка с Катенькой поспорили — кому сорвать его, вспомнил и о том, как они плакали, прощаясь с нами.

Жалко их! и Наталью Савишну жалко, и березовую аллею, и Фоку жалко! Даже злую Мими — и ту жалко. Все, все жалко! А бедная татап? И слезы опять навертывались на глаза; но ненадолго.

Г л а в а XV

ДЕТСТВО

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Матап говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая — лицо ее не больше пуговики; но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрчках; но я пошевелился — и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

— Ты опять заснешь, Николенька,— говорит мне матап,— ты бы лучше шел на верх.

— Я не хочу спать, мамаша,— ответишь ей, и неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватить эту руку и крепко, крепко прижмешь ее к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; матап сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:

— Вставай, моя душечка: пора идти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.

— Вставай же, мой ангел.

Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:

— Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени.

— Так ты меня очень любишь? — Она молчит с минуту, потом говорит: — Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаша, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?

Она еще нежнее целует меня.

— Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! — вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз — слезы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придешь на верх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие,— но о чем они? — Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастливым,— и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: «Дай Бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнешь в угол пуховой подушки и любишься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал Бог счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?

Г л а в а XVI

СТИХИ

Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел наверху бабушкиного дома, за большим столом и писал; напротив меня сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в чалме. Володя, вытянув шею, стоял сзади учителя и смотрел ему через плечо. Голов-

ка эта была первое произведение Володи черным карандашом и нынче же, в день ангела бабушки, должна была быть поднесена ей.

— А сюда вы не положите еще тени? — сказал Володя учителю, приподнимаясь на цыпочки и указывая на шею турка.

— Нет, не нужно, — сказал учитель, укладывая карандаши и рейс-федер в задвижной ящик, — теперь прекрасно, и вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Николенька, — прибавил он, вставая и продолжая искоса смотреть на турка, — откройте наконец нам ваш секрет, что вы поднесете бабушке? Право, лучше было бы тоже головку. Прощайте, господа, — сказал он, взял шляпу, билетик и вышел.

В эту минуту я тоже думал, что лучше бы было головку, чем то, над чем я трудился. Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришлось в голову написать ей стихи на этот случай, и я тотчас же прибрал два стиха с рифмами, надеясь так же скоро прибрать остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребенка мысль, но помню, что она мне очень нравилась и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять.

Против моего ожидания, оказалось, что, кроме двух стихов, придуманных мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах; но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне — напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно его перу.

Г-же Л... Петровской, 1828, 3 июня.

Помните близко,
Помните далеко,
Помните моего
Еще отныне и до всегда,
Помните еще до моего гроба,
Как верен я любить имею.

Карл Мауер.

Стихотворение это, написанное красивым круглым почерком на тонком почтовом листе, понравилось мне по трогательному чувству, которым оно проникнуто; я тотчас же выучил его наизусть и решил взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление из двенадцати стихов было готово, и, сидя за столом в классной, я переписывал его на веленевую бумагу.

Уже два листа бумаги были испорчены... не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них: стихи мне казались превосходными; но с третьей линейки концы их начинали загибаться кверху все больше и больше, так что даже издали видно было, что это написано криво и никуда не годится.

Третий лист был так же крив, как и прежние; но я решился не переписывать больше. В стихотворении своем я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так:

Стараться будем утешать
И любим, как родную мать.

Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух.

— И лю-бим, как родну-ю мать,— твердил я себе под нос.— Какую бы рифму вместо *мать?* играть? *кровать?*.. Э, сойдет! все лучше карл-иванычевых!

И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение, с чувством и жестами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них; последний же еще сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался...

«Зачем я написал: *как родную мать?* ее ведь здесь нет, так не нужно было и поминать ее; правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то... зачем я написал это, зачем я солгал? Положим, это стихи, да все-таки не нужно было».

В это самое время вошел портной и принес новые полуфрачки.

— Ну, так и быть! — сказал я в сильном нетерпении, с досадой сунул стихи под подушку и побежал примеривать московское платье.

Московское платье оказалось превосходно: коричневые полуфрачки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку — не так, как в деревне нам шивали, на рост, — черные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.

«Наконец-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие!» — мечтал я, вне себя от радости, осматривая со всех сторон свои ноги. Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье, я скрыл это от всех, сказал, что, напротив, мне очень покойно и что ежели есть недостаток в этом платье, так только тот, что оно немножко просторно. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причесывал свою обильно напомаженную голову; но, сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке: как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щеткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.

Карл Иванович одевался в другой комнате, и через классную пронесли к нему синий фрак и еще какие-то белые принадлежности. У двери, которая вела вниз, послышался голос одной из горничных бабушки; я вышел, чтобы узнать, что ей нужно. Она держала на руке

туго накрахмаленную манишку и сказала мне, что она принесла ее для Карла Ивановича и что ночь не спала для того, чтобы успеть вымыть ее ко времени. Я взялся передать манишку и спросил, встала ли бабушка.

— Как же-с! уж кофе откушали, и протопоп пришел. Каким вы молодчиком! — прибавила она с улыбкой, оглядывая мое новое платье.

Замечание это заставило меня покраснеть; я перевернулся на одной ножке, щелкнул пальцами и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она еще не знает хорошенько, какой я действительно молодчик.

Когда я принес манишку Карлу Ивановичу, она уже была не нужна ему: он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстука и пробовал, свободно ли входит в него и обратно его гладко выбритый подбородок. Обдернув со всех сторон наши платья и попросив Николая сделать для него то же самое, он повел нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой, в то время как мы стали спускаться по лестнице.

У Карла Ивановича в руках была коробочка своего изделия, у Володи — рисунок, у меня — стихи; у каждого на языке было приветствие, с которым он поднесет свой подарок. В ту минуту, как Карл Иванович отворил дверь залы, священник надевал ризу и раздалась первая звуки молебна.

Бабушка была уже в зале: сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась; подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, заметив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян.

Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой, одуряющей застенчивости, и, чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Ивановича, который, в самых отборных выражениях поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каемками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана.

Удовлетворив своему любопытству, папа передал ее протопопу, которому вещь эта, казалось, чрезвычайно понравилась: он покачивал головой и с любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех

сторон. Настал и мой черед: бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне.

Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении, то есть: чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее и тем менее остается решительности.

Последняя смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иваныч и Володя подносили свои подарки, и застенчивость моя дошла до последних пределов: я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно прилиwała мне в голову, как одна краска на лице сменялась другою и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели, по всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.

— Ну, покажи же, Николенька, что у тебя — коробочка или рисованье? — сказал мне папа.

Делать было нечего: дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток; но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда не годные стихи и слова: *как родную мать*, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливою, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала? Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай мать... вот тебе за это!» — но ничего такого не случилось; напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: «*Charmant!*»¹ и поцеловала меня в лоб.

Коробочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом татапа на выдвижной столике вольтеревского кресла, в котором всегда сживала бабушка.

— Княгиня Варвара Ильинична, — доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретою бабушки.

Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала.

— Прикажете просить, ваше сиятельство? — повторил лакей.

¹ Прелестно! (*фр*)

Г л а в а XVII
КНЯГИНЯ КОРНАКОВА

— Проси,— сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло.

Княгиня была женщина лет сорока пяти, маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно-умильно сложенному роту. Из-под бархатной шляпки с страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы; брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах, общий вид ее имел что-то благородное и энергическое.

Княгиня очень много говорила и по своей речивости принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречат, хотя бы никто не говорил ни слова: она то возвышала голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинала говорить и оглядывалась на присутствующих, но не принимающих участия в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом.

Несмотря на то, что княгиня поцеловала руку бабушки, беспрестанно называла ее *ma bonne tante*¹, я заметил, что бабушка была ею недовольна: она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказ о том, почему князь Михайло никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание; и, отвечая по-русски на французскую речь княгини, она сказала, особенно растягивая свои слова:

— Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность; а что кнезь Михайло не приехал, так что ж про то и говорить... у него всегда дел пропасть; да и то сказать, что ему за удовольствие с старухой сидеть?

И, не давая княгине времени опровергнуть ее слова, она продолжала:

— Что, как ваши детки, моя милая?

— Да, слава Богу, *ma tante*², растут, учатся, шалят... особенно Этьен — старший, такой повеса становится, что ладу никакого нет; зато и умен — *un garçon, qui promet*³. Можете себе представить, *mon cousin*, — продолжала она, обращаясь исключительно к папа, потому что бабушка, нисколько не интересуясь детьми княгини, а желая похвастаться своими внуками, с тщательностию достала мои стихи из-

¹ моя добрая тетушка (*фр.*)

² тетушка (*фр.*)

³ мальчик, подающий надежды (*фр.*)

под коробочки и стала их разворачивать,— можете себе представить, mon cousin, что он сделал на днях...

И княгиня, наклонившись к папа, начала ему рассказывать что-то с большим одушевлением. Окончив рассказ, которого я не слышал, она тотчас засмеялась и, вопросительно глядя в лицо папа, сказала:

— Каков мальчик, mon cousin? Он стоил, чтобы его высечь; но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, mon cousin.

И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться.

— Разве вы *бьете* своих детей, моя милая? — спросила бабашка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слово *бьете*.

— Ах, ma bonne tante,— кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала княгиня,— я знаю, какого вы мнения на этот счет; но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться: сколько я ни думала, сколько ни читала, ни советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх... не так ли, mon cousin? А чего, je vous demande un peu¹, дети боятся больше, чем розги?

При этом она вопросительно взглянула на нас, и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту.

— Как ни говорите, а мальчик до двенадцати и даже до четырнадцати лет все еще ребенок; вот девочка — другое дело.

«Какое счастье,— подумал я,— что я не ее сын».

— Да, это прекрасно, моя милая,— сказала бабушка, свертывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойною слышать такое произведение,— это очень хорошо, только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?

И, считая этот аргумент неотразимым, бабушка прибавила, чтобы прекратить разговор:

— Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение.

Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она извиняет эти странные предрассудки в особе, которую так много уважает.

— Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми,— сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь.

Мы встали и, устремив глаза на лицо княгини, никак не знали: что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомимся.

— Поцелуйте же руку княгини,— сказал папа.

— Прощу любить старую тетку,— говорила она, целуя Володю в волосы,— хотя я вам и дальняя, но я считаю по дружеским связям, а

¹ скажите на милость (фр.)

не по степеням родства,— прибавила она, относясь преимущественно к бабушке; но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала:

— Э! моя милая, разве нынче считается такое родство?

— Этот у меня будет светский молодой человек,— сказал папа, указывая на Володю,— а этот поэт,— прибавил он, в то время как я, целуя маленькую сухую ручку княгини, с чрезвычайной ясностью воображал в этой руке розгу, под розгой — скамейку, и т.д., и т.д.

— Который? — спросила княгиня, удерживая меня за руку.

— А этот, маленький, с вихрами,— отвечал папа, весело улыбаясь.

«Что ему сделали мои вихры... разве нет другого разговора?» — подумал я и отошел в угол.

Я имел самые странные понятия о красоте — даже Карла Ивановича считал первым красавцем в мире; но очень хорошо знал, что я нехорош собою, и в этом нисколько не ошибался; поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня.

Я очень хорошо помню, как раз за обедом — мне было тогда шесть лет — говорили о моей наружности, как тапан старалась найти что-нибудь хорошее в моем лице: говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка, и наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была сознаться, что я дурен; и потом, когда я благодарил ее за обед, потрепала меня по щеке и сказала:

— Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить; поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком.

Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но еще и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком.

Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаяния: я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я; я просил Бога сделать чудо — превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо.

Г л а в а XVIII

КНЯЗЬ ИВАН ИВАНЫЧ

Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее *вы, моя милая* и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала.

Гостей с поздравлениями приезжало так много в этот день, что на дворе, около подъезда, целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей.

— Bonjour, chère cousine¹,— сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки.

Это был человек лет семидесяти, высокого роста, в военном мундире с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест, и с спокойным открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня. Несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его было еще замечательной красоты.

Князь Иван Иванович в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне и в особенности счастью, сделал еще в очень молодых годах блестящую карьеру. Он продолжал служить, и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодости он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба; поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности и приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные тревожные жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добр и чувствителен, но холоден и несколько надменен в обращении. Это происходило оттого, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, своею холодностью он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека *очень большого света*. Он был хорошо образован и начитан; но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Расина, Корнеля, Боало, Мольера, Монтеня, Фенелона; имел блестящие познания в мифологии и с пользой изучал, во французских переводах,

¹ Здравствуйте, дорогая кузина (фр.)

древние памятники эпической поэзии, имел достаточные познания в истории, почерпнутые им из Сегюра; но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметики, ни о физике, ни о современной литературе: он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гете, Шиллере и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это французско-классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил; в Москве или за границей, он всегда жывал одинаково открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно подставляли ему свои розовенькие щечки, которые он целовал как будто с отеческим чувством, и что иные, по-видимому очень важные и порядочные люди были в неописанной радости, когда допускались к партии князя.

Уже мало оставалось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакового воспитания, взгляда на вещи и одних лет; поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение.

Я не мог наглядеться на князя: уважение, которое ему все оказывали, большие эполеты, особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость называть ее *ma cousine*, внушили мне к нему уважение, равное, если не большее, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, он подозвал меня к себе и сказал:

— Почем знать, *ma cousine*, может быть, это будет другой Державин.

При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что догадался принять это за ласку.

Гости разъехались, папа и Володя вышли; в гостиной остались князь, бабушка и я.

— Отчего это наша милая Наталья Николаевна не приехала? — спросил вдруг князь Иван Иваныч, после минутного молчания.

— Ah! *mon cher*¹,— отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира,— она, верно бы, приехала, если б была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Риегге предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что доходов у них

¹ Ah! мой дорогой (*фр.*)

будто бы совсем не было нынешний год; и пишет: «Притом, мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала; а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще покойнее, чем ежили бы они были со мною». Все это прекрасно! — продолжала бабушка таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно, — мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету; а то какое же им могли дать воспитание в деревне?... ведь старшему скоро тринадцать лет, а другому одиннадцать... Вы заметили, mon cousin, они здесь совершенно как дикие... в комнату войти не умеют.

— Я, однако, не понимаю, — отвечал князь, — отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У него очень хорошее состояние, а Наташину Хабаровку, в которой мы с вами, во время оно, играли на театре, я знаю как свои пять пальцев, — чудесное имение! и всегда должно приносить прекрасный доход.

— Я вам скажу, как истинному другу, — прервала его бабушка с грустным выражением, — мне кажется, что все это отговорки, для того только, чтобы ему жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам и Бог знает что делать; а она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта — она ему во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей одной, с глупой гувернанткой, оставаться в деревне, — она поверила; скажи он ей, что детей нужно сечь, так же как сечет своих княгиня Варвара Ильинична, она и тут, кажется бы, согласилась, — сказала бабушка, поворачиваясь в своем кресле с видом совершенного презрения. — Да, мой друг, — продолжала бабушка, после минутного молчания, взяв в руки один из двух платков, чтобы утереть показавшуюся слезу, — я часто думаю, что он не может ни ценить, ни понимать ее и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе — я очень хорошо знаю это, — она не может быть с ним счастлива; и помяните мое слово, если он не...

Бабушка закрыла лицо платком.

— Eh, ma bonne amie¹, — сказал князь с упреком, — я вижу, вы несколько не стали благоразумнее — вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам не совестно? Я его давно знаю, и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа и главное — за благороднейшего человека, un parfait honnête homme².

Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты.

¹ Э, мой добрый друг (фр.)

² вполне порядочного человека (фр.)

ИВИНЫ

— Володя! Володя! Ивины! — закричал я, увидев в окно трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернером-щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому.

Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет; вскоре после приезда нашего в Москву мы познакомились и сошлись с ними.

Второй Ивин — Сережа — был смуглый, курчавый мальчик, со вздернутым твердым носиком, очень свежими, красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьезно, или от души смеялся своим звонким, отчетливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому, что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремленными на него мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной степени другое чувство — страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему: может быть, потому, что лицо его имело надменное выражение, или потому, что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимущества красоты, или, что вернее всего, потому, что это есть непрменный признак любви, я чувствовал к нему столько же страха, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастья, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того милою, что невольно привык делать то же самое, и чрез несколько дней

после моего с ним знакомства бабушка спросила: не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях; я же, как ни желал высказать ему все, что было у меня на душе, слишком боялся его, чтобы решиться на откровенность; старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным; но выйти из-под него было не в моей власти.

Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия.

Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал быть похожим на него. Сколько раз это желание — не быть похожим на маленького, в моих отношениях с Сережей, останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже называть его Сережа, а непременно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был еще *мальчишка*. Не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать *большим*.

Еще в лакейской встретил я Ивиных, поздоровался с ними и опрометью пустился к бабушке: я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это известие должно было вполне осчастливить ее. Потом, не спуская глаз с Сережи, я последовал за ним в гостиную и следил за всеми его движениями. В то время как бабушка сказала, что он очень вырос, и устремила на него свои проницательные глаза, я испытывал то чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над своим произведением от уважаемого судьи.

Молодой гувернер Ивиных, Herr Frost, с позволения бабушки сошел с нами в палисадник, сел на зеленую скамью, живописно сложил ноги, поставив между ними палку с бронзовым набалдашником, и с видом человека, очень довольного своими поступками, закурил сигару.

Herr Frost был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иванович: во-первых, он правильно говорил по-русски, с дурным выговором — по-французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень ученого человека; во-вторых, он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в черном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помочи, и светло-голубые панталоны с отливом и со штрипками; в-третьих, он

был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные, мускулистые ноги. Заметно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом: считал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этой целью старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте, всегда приводил в движение свои икры. Это был тип молодого русского немца, который хочет быть молодцом и волокитой.

В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник: погнавшись за проезжающими, он споткнулся и на всем бегу ударился коленом о дерево, так сильно, что я думал, он расшибется вдребезги. Несмотря на то, что я был жандарм и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошел и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на меня: сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне:

— Ну, что это? после этого игры никакой нет! Ну, что ж ты меня не ловишь? что ж ты меня не ловишь? — повторял он несколько раз, искоса поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке, и вдруг взвизнул и с громким смехом бросился ловить их.

Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры.

Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился еще Иленька Грап и мы до обеда отправились на верх, Сережа имел случай еще более пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твердостью характера.

Иленька Грап был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал теперь своим непрременным долгом присылать очень часто к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно ошибался в этом отношении, потому что мы не только не были дружны с Иленькой, но обращали на него внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Иленька Грап был мальчик лет тринадцати, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродушно-покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у Грапа в солнечный день помада тает на голове и течет под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик; тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать.

Когда игра в разбойники прекратилась, мы пошли на верх, начали *возиться* и щеголять друг перед другом разными гимнастическими штуками. Иленька с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас,

и когда ему предлагали попробовать то же, отказывался, говоря, что у него совсем нет силы. Сережа был удивительно мил; он снял курточку — лицо и глаза его разгорелись, — он беспрестанно хохотал и затеивал новые шалости: перепрыгивал через три стула, поставленные рядом, через всю комнату перекатылся колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татищева, положенные им в виде пьедестала на середину комнаты, и при этом выдвигал ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой последней штуки он задумался, помигал глазами и вдруг с совершенно серьезным лицом подошел к Иленьке: «Попробуйте сделать это; право, это нетрудно». Грап, заметив, что общее внимание обращено на него, покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак не может этого сделать.

— Да что ж в самом деле, отчего он ничего не хочет показать? Что он за девочка... непременно надо, чтобы он стал на голову!

И Сережа взял его за руку.

— Непременно, непременно на голову! — закричали мы все, обступив Иленьку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.

— Пустите меня, я сам! курточку разорвете! — кричала несчастная жертва. Но эти крики отчаяния еще более воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зеленая курточка трещала на всех швах.

Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили ее на лексиконы; я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху; младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища.

Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело.

— Вот теперь молодец, — сказал Сережа, хлопнув его рукою.

Иленька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблуком по глазу Сережу так больно, что Сережа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слезы, и из всех сил толкнул Иленьку. Иленька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное, грохнулся на землю и от слез мог только выговорить:

— За что вы меня тираните?

Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищенные голенища, поразила нас; мы все молчали и старались принужденно улыбаться.

Первый опомнился Сережа.

— Вот баба, нюня,— сказал он, слегка трогая его ногою,— с ним шутить нельзя... Ну, полно, вставайте.

— Я вам сказал, что ты негодный мальчишка,— злобно выговорил Иленька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.

— А-а! каблуками бить да еще браниться! — закричал Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову.

— Вот тебе! вот тебе!.. Бросим его, коли он шуток не понимает... Пойдемте вниз,— сказал Сережа, неестественно засмеявшись.

Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на полу и спрятав лицо в лексиконах, плакал так, что, казалось, еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все его тело.

— Э, Сергей! — сказал я ему,— зачем ты это сделал?

— Вот хорошо!.. я не заплакал, небось, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости.

«Да, это правда,— подумал я.— Иленька больше ничего, как плакса, а вот Сережа — так это молодец... что это за молодец!..»

Я не сообразил того, что бедняжка плакал, верно, не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его.

Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа?

Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом! Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.

Г л а в а XX

СОБИРАЮТСЯ ГОСТИ

Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый, праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале, и в особенности судя по тому, что недаром же прислал князь Иван Иваныч свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру.

При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все пред-

меты в окне, показывались понемногу: напротив — давно знакомая лавочка, с фонарем, наискось — большой дом с двумя внизу освещенными окнами, посредине улицы — какой-нибудь *ванька* с двумя седоками или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой; но вот к крыльцу подъехала карета, и я, в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных за ливрейной рукой, отворившей дверь, показались две особы женского пола: одна — большая, в синем салопе с собольим воротником, другая — маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие в передней никакого внимания, хотя я счел долгом при появлении этих особ поклониться им, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок, закрывавший всю голову маленькой, расстегнула на ней салоп, и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная двенадцатилетняя девочка в коротеньком открытом кисейном платье, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была черная бархатная ленточка; головка вся была в темно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к ее прекрасному личику, а сзади — к голым плечикам, что никому, даже самому Карлу Иванычу, я не поверил бы, что они вьются так оттого, что с утра были завернуты в кусочки «Московских ведомостей» и что их прижигали горячими железными щипцами. Казалось, она так и родилась с этой курчавой головкой.

Поразительной чертой в ее лице была необыкновенная величина выпуклых полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьезно, что общее выражение ее лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки и улыбка которого бывает тем обворожительнее.

Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в дверь залы и почел нужным прохаживаться взад и вперед, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли на половину залы, я как будто опомнился, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостинной. Г-жа Валахина, лицо которой мне очень понравилось, в особенности по тому, что я нашел в нем большое сходство с лицом ее дочери Сонечки, благосклонно кивнула мне головой.

Бабушка, казалось, была очень рада видеть Сонечку: подозвала ее ближе к себе, поправила на голове ее одну буклю, которая спадывала на лоб, и, пристально всматриваясь в ее лицо, сказала: «*Quelle charmante enfant!*»¹ Сонечка улыбнулась, покраснела и сделалась так мила, что я тоже покраснел, глядя на нее.

— Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок,— сказала бабушка, приподняв ее личико за подбородок,— прошу же веселить-

¹ Какой очаровательный ребенок! (*фр.*)

ся и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера,— прибавила она, обращаясь к г-же Валахиной и дотрогиваясь до меня рукою.

Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть еще раз.

Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услышав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней нашел я княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо — похожи на княгиню и дурны; поэтому ни одна не останавливала внимания. Снимая салопы и хвосты, они все вдруг говорили тоненькими голосками, суетились и смеялись чему-то — должно быть, тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет пятнадцати, высокий, мясистый, с испитой физиономией, впалыми, посапелыми внизу глазами и с огромными по летам руками и ногами; он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казался очень довольным собою и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами.

Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались; потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцеловаться, но, посмотрев еще в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете.

— Не знаю,— отвечал он мне небрежно,— я ведь никогда не езжу в карете, потому что, как только я сяду, меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы — гораздо веселей — все видно, Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру. Этак проезжающих, знаете, иногда,— прибавил он с выразительным жестом,— прекрасно!

— Ваше сиятельство,— сказал лакей, входя в переднюю,— Филипп спрашивает: куда вы кнут изволили деть?

— Как куда дел? да я ему отдал.

— Он говорит, что не отдавали.

— Ну, так на фонарь повесил.

— Филипп говорит, что и на фонаре нет, а вы скажите лучше, что взяли да потеряли, а Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство,— продолжал, все более и более воодушевляясь, раздосадованный лакей.

Лакей, который с виду был человек почтенный и угрюмый, казалось, горячо принимал сторону Филиппа и был намерен во что бы то ни стало разъяснить это дело. По невольному чувству деликатности, как будто ничего не замечая, я отошел в сторону; но присутствующие лакеи поступили совсем иначе: они подступили ближе, с одобрением поглядывая на старого слугу.

— Ну, потерял так потерял,— сказал Этьен, уклоняясь от дальнейших объяснений,— что стóит ему кнут, так я и заплачу. Вот умогательно! — прибавил он, подходя ко мне и увлекая меня в гостиную.

— Нет, позвольте, барин, чем-то вы заплатите? знаю я, как вы платите: Марье Васильевне вот уж вы восьмой месяц двугривенный все платите, мне тоже уж, кажется, второй год, Петрушке...

— Замолчишь ли ты! — крикнул молодой князь, побледнев от злости.— Вот я все это скажу.

— Все скажу, все скажу! — проговорил лакей.— Нехорошо, ваше сиятельство! — прибавил он особенно выразительно в то время, как мы входили в залу, и пошел с салопами к ларю.

— Вот так так! — послышался за нами чей-то одобрительный голос в передней.

Бабушка имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица, высказывать свое мнение о людях. Хотя она употребляла *вы* и *ты* наоборот общепринятому обычаю, в ее устах эти оттенки принимали совсем другое значение. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его *вы*, и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что, если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно; но Этьен был, как видно, мальчик не такого *сложения*: он не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но даже и на всю ее особу, а раскланялся всему обществу, если не ловко, то совершенно развязно. Сонечка занимала все мое внимание: я помню, что, когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого видна была Сонечка и она могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием; когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную; когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре.

Гостиная и зала понемногу наполнялись гостями; в числе их, как и всегда бывает на детских вечерах, было несколько больших детей, которые не хотели пропустить случая повеселиться и потанцевать, как будто для того только, чтобы сделать удовольствие хозяйке дома.

Когда приехали Ивины, вместо удовольствия, которое я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей.

Г л а в а XXI

ДО МАЗУРКИ

— Э! да у вас, видно, будут танцы,— сказал Сережа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток,— надо перчатки надевать.

«Как же быть? а у нас перчаток-то нет,— подумал я,— надо пойти на верх — поискать».

Но хотя я перерыл все комоды, я нашел только в одном — наши дорожные зеленые рукавицы, а в другом — одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне: во-первых, потому, что была чрезвычайно стара и грязна, во-вторых, потому, что была для меня слишком велика, а главное потому, что на ней недоставало среднего пальца, отрезанного, должно быть, еще очень давно, Карлом Ивановичем для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замазано чернилами.

— Вот если бы здесь была Наталья Савишна: у нее, верно бы, нашлись и перчатки. Вниз идти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, отчего я не танцую, что мне сказать? и здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватятся. Что мне делать? — говорил я, размахивая руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал вбежавший Володя, — иди ангажируй даму... сейчас начнется.

— Володя, — сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами, голосом, выражавшим положение, близкое к отчаянию, — Володя, ты и не подумал об этом!

— О чем? — сказал он с нетерпением. — А! о перчатках, — прибавил он совершенно равнодушно, заметив мою руку, — и точно нет; надо спросить у бабушки... что она скажет? — и, нимало не задумавшись, побежал вниз.

Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшемся мне столь важным, успокоило меня, и я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке.

Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрогиваясь до ее мантилии, я шепотом сказал ей:

— Бабушка! что нам делать? у нас перчаток нет!

— Что, мой друг?

— У нас перчаток нет, — повторил я, подвигаясь ближе и ближе и положив обе руки на ручку кресел.

— А это что, — сказала она, вдруг схватив меня за левую руку. — *Voiez, ma chère!*, — продолжала она, обращаясь к г-же Валахиной, — *voyez comme ce jeune homme s'est fait élégant pour danser avec votre fille!*²

Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено и смех сделался общим.

Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навер-

¹ Посмотрите, моя дорогая (фр.)

² посмотрите, как расфрантился этот молодой человек, чтобы танцевать с вашей дочерью (фр.)

нулись ей на глаза и все кудряшки распрыгались около ее покрасневшего личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естествен, чтоб быть насмешливым; напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с нею. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным, — в кругу гостиной; я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале.

Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили; как только мнение это ясно выражено — какое бы оно ни было, — страдание прекращается.

Что это как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня танцевала французскую кадрили с неуклюжим молодым князем! Как мило она улыбалась, когда в *chaîne* подавала мне ручку! как мило, в такт, прыгали на головке ее русые кудри, и как наивно делала она *jeté-assemblé* своими крошечными ножками! В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону и когда я, выжидая такт, приготовлялся делать соло, Сонечка серьезно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась: я смело сделал *chassé en avant*, *chassé en arrière*, *glissade* и, в то время как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и еще милее засемила ножками по паркету. Еще помню я, как, когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носик о свою перчатку. Все это как теперь перед моими глазами, и еще слышится мне кадрили из «Девы Дуная», под звуки которой все это происходило.

Наступила и вторая кадрили, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание мое сделалось слишком продолжительным, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решил во что бы то ни стало вывести ее из такого заблуждения на мой счет. «*Vous êtes une habitante de Moscou?*¹ — сказал я ей и после утвердительного ответа продолжал: — *Et moi, je n'ai encore jamais fréquenté la capitale*»², — рассчитывая в особенности на эффект слова «*fréquenter*»³. Я чувствовал, однако, что, хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Еще не скоро должен был прийти наш черед танцевать, а молчание возобновилось: я с беспокойством посматривал на нее, желая знать, какое произвел впечатление, и ожидая от нее помощи. «Где вы

¹ Вы постоянно живете в Москве? (*фр.*)

² А я еще никогда не посещал столицы (*фр.*)

³ посещать (*фр.*)

нашли такую уморительную перчатку?» — спросила она меня вдруг; и этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Иванычу, распространился, даже несколько иронически, о самой особе Карла Иваныча, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бекеше упал с лошади — прямо в лужу, и т.п. Кадриль прошла незаметно. Все это было очень хорошо; но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Иваныче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал?

Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне «тегісі» с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил ее благодарность. Я был в восторге, не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя: откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? «Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить! — думал я, беззаботно разгуливая по зале, — я готов на все!»

Сережа предложил мне быть с ним *vis-à-vis*. «Хорошо, — сказал я, — хотя у меня нет дамы, я найду». Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее; он был от нее в двух шагах, я же — на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, а молодой человек остался без дамы.

Я имел такое сознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека; но после узнал, что молодой человек этот спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо его и перед носом отнял даму.

Г л а в а XXII

МАЗУРКА

Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он вскочил с своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы делать *pas de Basques*, которым нас учила Мими, просто побежал вперед; добежав до угла, приостановился, раздвинул ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше.

Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.

«Что же он это делает? — рассуждал я сам с собою. — Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими: она уверяла, что мазурку все тан-

цуют на цыпочках, плавно и кругообразно разводя ногами; а выходит, что танцуют совсем не так. Вон и Ивины, и Этьен, и все танцуют, а *pas de Basques* не делают; и Володя наш перенял новую манеру. Недурно!.. А Сонечка-то какая милочка?! вон она пошла...» Мне было чрезвычайно весело.

Мазурка клонилась к концу: несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали; лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты; бабушка заметно устала, говорила как бы нехотя и очень протяжно; музыканты в тридцатый раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись,— должно быть, желая тем угодить бабушке,— подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон. «*Rose ou hortie?*»¹ — сказала она мне.

— А, ты здесь! — сказала, поворачиваясь в своем кресле, бабушка.— Иди же, мой дружок, иди.

Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться? — я встал, сказал «*gose*»² и робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать с своими ногами.

Я знал, что *pas de Basques* неуместны, неприличны и даже могут совершенно осрамить меня; но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые в свою очередь передали это движение ногам; и эти последние, совершенно невольно и к удивлению всех зрителей, стали выделять фатальные круглые и плавные па на цыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что, если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности я приостановился, с намерением сделать то самое *коленце*, которое так красиво делал молодой человек в первой паре. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо обегая вокруг меня, с выражением тупого любопытства и удивления посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что, вместо того чтобы танцевать, затопал ногами на месте, самым странным, ни с тактом, ни с чем не сообразным образом, и наконец совершенно остановился. Все смотрели на меня: кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием; одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.

¹ Роза или крапива? (фр)

² роза (фр)

— Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas!¹ — сказал сердитый голос папа над моим ухом, и, слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.

«Господи! за что ты наказываешь меня так ужасно!»

.....
Все презирают меня и всегда будут презирать... мне закрыта дорога ко всему: к дружбе, любви, почестям... все пропало!! Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? зачем Сонечка... она милочка; но зачем она улыбалась в это время? зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно! Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку... И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении.

Г л а в а XXIII

ПОСЛЕ МАЗУРКИ

За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш, детский, стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог, после случившегося со мной несчастья, чувствовать что-нибудь. Но молодой человек, как кажется, хотел во что бы то ни стало развеселить меня: он заигрывал со мной, называл меня молодцом и, как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный, и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.

Вдруг раздались из залы звуки гротеска, и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась: он ушел к большим, а я, не смея следовать за ним, подошел, с любопытством, прислушиваться к тому, что говорила Валахина с дочерью.

— Еще полчаса, — убедительно говорила Сонечка.

¹ Не нужно было танцевать, если не умеешь! (фр)

— Право, нельзя, мой ангел.

— Ну для меня, пожалуйста,— говорила она, ласкаясь.

— Ну разве тебе весело будет, если я завтра буду больна? — сказала г-жа Валахина и имела неосторожность улыбнуться.

— А, позволила! останемся? — заговорила Сонечка, прыгая от радости.

— Что с тобой делать? Иди же, танцуй... вот тебе и кавалер,— сказала она, указывая на меня.

Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу.

Выпитое вино, присутствие и веселость Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выдвигал ногами самые забавные штуки: то, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги, то топтал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и насколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться: она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку, хохотала, глядя на какого-то старого барина, который, медленно поднимая ноги, перешагнул через платок, показывая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирала со смеху, когда я вспрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость.

Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало: лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше чем когда-нибудь; но общее выражение лица было такое веселое, доброе и здоровое, что я сам себе понравился.

«Если бы я был всегда такой, как теперь,— подумал я,— я бы еще мог понравиться».

Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того выражения веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя: я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания.

Я не мог надеяться на взаимность, да и не думал о ней: душа моя и без того была преисполнена счастьем. Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно прилиwała к нему, и хотелось плакать.

Когда мы проходили по коридору, мимо темного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал: «Что бы это было за счастье, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане! и чтобы никто не знал, что мы там живем».

— Не правда ли, что нынче очень весело? — сказал я тихим, дрожащим голосом и прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал, сколько того, что намерен был сказать.

— Да... очень! — отвечала она, обратив ко мне головку, с таким откровенно-добрым выражением, что я перестал бояться.

— Особенно после ужина... Но если бы вы знали, как мне жалко (я хотел сказать грустно, но не посмел), что вы скоро уедете и мы больше не увидимся.

— Отчего ж не увидимся? — сказала она, пристально всматриваясь в кончики своих башмачков и проводя пальчиком по решетчатым ширмам, мимо которых мы проходили, — каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?

— Непременно будем проситься во вторник, и если меня не пустят, я один убегу — без шапки. Я дорогу знаю.

— Знаете что? — сказала вдруг Сонечка, — я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю *ты*; давайте и с вами говорить *ты*. Хочешь? — прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза.

В это время мы входили в залу, и начиналась другая, живая часть гросфатера.

— Давай...те,— сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мои слова.

— Давай *ты*, а не давайте,— поправила Сонечка и засмеялась.

Гросфатер кончился, а я не успел сказать ни одной фразы с *ты*, хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня не доставало на это смелости. «Хочешь?», «давай ты» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение: я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши и открыли части лба и висков, которых я не видал еще; видел я, как укутали ее в зеленую шаль, так плотно, что виднелся только кончик ее носика; заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно бы задохнулась, и видел, как она, спускаясь с лестницы за своею матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью.

Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю, но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня.

Прощаясь с Ивиными, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он, верно, пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным.

Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отраднее переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненной таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить — значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде.

«Как мог я так страстно и так долго любить Сережу? — рассуждал я, лежа в постели. — Нет! он никогда не понимал, не умел ценить и не стоил моей любви... а Сонечка? что это за прелести! “Хочешь?”, “тебе начинать”».

Я вскочил на четвереньки, живо представляя себе ее личико, закрыл голову одеялом, подвернул его под себя со всех сторон и, когда нигде не осталось отверстий, улегся и, ощущая приятную теплоту, погрузился в сладкие мечты и воспоминания. Устремив неподвижные взоры в подкладку стеганого одеяла, я видел ее так же ясно, как час тому назад; я мысленно разговаривал с нею, и разговор этот, хотя не имел ровно никакого смысла, доставлял мне неописанное наслаждение, потому что *ты, тебе, с тобой, твои* встречались в нем беспрестанно.

Мечты эти были так ясны, что я не мог заснуть от сладостного волнения, и мне хотелось поделиться с кем-нибудь избытком своего счастья.

— Милочка! — сказал я почти вслух, круто поворачиваясь на другой бок. — Володя! ты спишь?

— Нет, — отвечал он мне сонным голосом, — а что?

— Я влюблен, Володя! решительно влюблен в Сонечку.

— Ну так что ж? — отвечал он мне, потягиваясь.

— Ах, Володя! ты не можешь себе представить, что со мной делается... вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно, так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И еще знаешь ли что? когда я лежу и думаю о ней, Бог знает отчего делается грустно и ужасно хочется плакать.

Володя пошевелился.

— Только одного я бы желал, — продолжал я, — это — чтобы всегда с ней быть, всегда ее видеть, и больше ничего. А ты влюблен? признайся по правде, Володя.

Странно, что мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку и чтобы все рассказывали это.

— Тебе какое дело? — сказал Володя, поворачиваясь ко мне лицом, — может быть.

— Ты не хочешь спать, ты притворялся! — закричал я, заметив по его блестящим глазам, что он нисколько не думал о сне, и откинул одеяло. — Давай лучше толковать о ней. Не правда ли, что прелесть?.. такая прелесть, что скажи она мне: «Николаша! выпрыгни в окно или бросься в огонь», ну, вот, клянусь! — сказал я, — сейчас прыгну, и с радостью. Ах, какая прелесть! — прибавил я, живо воображая ее перед собою, и, чтобы вполне наслаждаться этим образом, порывис-

то перевернулся на другой бок и засунул голову под подушки.— Ужасно хочется плакать, Володя.

— Вот дурак! — сказал он, улыбаясь, и потом, помолчав немного: — Я так совсем не так, как ты: я думаю, что, если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать...

— А! так ты тоже влюблен? — перебил я его.

— Потом,— продолжал Володя, нежно улыбаясь,— потом расцеловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки — всю бы расцеловал...

— Глупости! — закричал я из-под подушек.

— Ты ничего не понимаешь,— презрительно сказал Володя.

— Нет, я понимаю, а вот ты не понимаешь и говоришь глупости,— сказал я сквозь слезы.

— Только плакать-то уж незачем. Настоящая девочка!

Г л а в а XXV

ПИСЬМО

Шестнадцатого апреля, почти шесть месяцев после описанного мною дня, отец вошел к нам на верх, во время классов, и объявил, что нынче в ночь мы едем с ним в деревню. Что-то защемило у меня в сердце при этом известии, и мысль моя тотчас же обратилась к матушке.

Причину такого неожиданного отъезда было следующее письмо:

Петровское. 12 апреля.

«Сейчас только, в десять часов вечера, получила я твое доброе письмо, от 3 апреля, и, по моей всегдашней привычке, отвечаю тотчас же. Федор привез его еще вчера из города, но так как было поздно, он подал его Мими нынче утром. Мими же, под предлогом, что я была нездорова и расстроена, не давала мне его целый день. У меня точно был маленький жар, и, признаться тебе по правде, вот уж четвертый день, что я не так-то здорова и не встаю с постели.

Пожалуйста, не пугайся, милый друг: я чувствую себя довольно хорошо и, если Иван Васильевич позволит, завтра думаю встать.

В пятницу на прошлой неделе я поехала с детьми кататься; но подле самого выезда на большую дорогу, около того мостика, который всегда наводил на меня ужас, лошади завязли в грязи. День был прекрасный, и мне вздумалось пройтись пешком до большой дороги, покуда вытаскивали коляску. Дойдя до часовни, я очень устала и села отдохнуть, а так как, покуда собирались люди, чтоб вытащить экипаж, прошло около получаса, мне стало холодно, особенно ногам, потому что на мне были ботинки на тонких подошвах и я их

промочила. После обеда я почувствовала озноб и жар, но, по заведенному порядку, продолжала ходить, а после чаю села играть с Любочкой в четыре руки. (Ты не узнаешь ее: такие она сделала успехи!) Но представь себе мое удивление, когда я заметила, что не могу счесть такта. Несколько раз я принималась считать, но все в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала странный шум в ушах. Я считала: раз, два, три, потом вдруг: восемь, пятнадцать, и главное — видела, что вру, и никак не могла поправиться. Наконец Мими пришла мне на помощь и почти насильно уложила в постель. Вот тебе, мой друг, подробный отчет в том, как я занемогла и как сама в том виновата. На другой день у меня был жар довольно сильный и приехал наш добрый, старый Иван Васильич, который до сих пор живет у нас и обещается скоро выпустить меня на свет божий. Чудесный старик этот Иван Васильич! Когда у меня был жар и бред, он целую ночь, не смыкая глаз, просидел около моей постели, теперь же, так как знает, что я пишу, сидит с девочками в диванной, и мне слышно из спальни, как он им рассказывает немецкие сказки и как они, слушая его, помирают со смеху.

La belle Flamande¹, как ты называешь ее, гостит у меня уже вторую неделю, потому что мать ее уехала куда-то в гости, и своими попечениями доказывает самую искреннюю привязанность. Она поверяет мне все свои сердечные тайны. С ее прекрасным лицом, добрым сердцем и молодостью из нее могла бы выйти во всех отношениях прекрасная девушка, если б она была в хороших руках; но в том обществе, в котором она живет, судя по ее рассказам, она совершенно погибнет. Мне приходило в голову, что, если бы у меня не было так много своих детей, я бы хорошее дело сделала, взяв ее.

Любочка сама хотела писать тебе, но изорвала уже третий лист бумаги и говорит: “Я знаю, какой папа насмешник: если сделать хоть одну ошибочку, он всем покажет”. Катенька все так же мила, Мими так же добра и скучна.

Теперь поговорим о серьезном: ты мне пишешь, что дела твои идут нехорошо эту зиму и что тебе необходимо будет взять хабаровские деньги. Мне даже странно, что ты спрашиваешь на это моего согласия. Разве то, что принадлежит мне, не принадлежит столько же и тебе?

Ты так добр, милый друг, что из страха огорчить меня скрываешь настоящее положение своих дел; но я догадываюсь: верно, ты проиграл очень много, и несколько, боюсь тебе, не огорчаюсь этим; поэтому, если только дело это можно поправить, пожалуйста, много не думай о нем и не мучь себя напрасно. Я привыкла не только не рассчитывать для детей на твой выигрыш, но, извини меня, даже и на все твое состояние. Меня так же мало радует твой выигрыш, как огорча-

¹ Красавица фламандка (фр.)

ет проигрыш; меня огорчает только твоя несчастная страсть к игре, которая отнимает у меня часть твоей нежной привязанности и заставляет говорить тебе такие горькие истины, как теперь, а Богу известно, как мне это больно! Я не перестаю молить его об одном, чтобы он избавил нас... не от бедности (что бедность?), а от того ужасного положения, когда интересы детей, которые я должна буду защищать, придут в столкновение с нашими. До сих пор Господь исполнял мою молитву: ты не переходил одной черты, после которой мы должны будем или жертвовать состоянием, которое принадлежит уже не нам, а нашим детям, или... и подумать страшно, а ужасное несчастье это всегда угрожает нам. Да, это тяжелый крест, который послал нам обоим Господь!

Ты пишешь мне еще о детях и возвращаешься к нашему давнишнему спору: просишь меня согласиться на то, чтобы отдать их в учебное заведение. Ты знаешь мое предубеждение против такого воспитания...

Не знаю, милый друг, согласишься ли ты со мною; но во всяком случае умоляю тебя, из любви ко мне, дать мне обещание, что, покуда я жива и после моей смерти, если Богу угодно будет разлучить нас, этого никогда не будет.

Ты мне пишешь, что тебе необходимо будет съездить в Петербург по нашим делам. Христос с тобой, мой дружок, поезжай и возвращайся поскорее. Нам всем без тебя так скучно! Весна чудо как хороша: балконную дверь уж выставили, дорожка к оранжерее четыре дня тому назад была совершенно суха, персики во всем цвету, кой-где только остался снег, ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы. Доктор говорит, что дня через три я буду совсем здорова и мне можно будет подышать свежим воздухом и погреться на апрельском солнышке. Прощай же, милый друг, не беспокойся, пожалуйста, ни о моей болезни, ни о своем проигрыше; кончай скорей дела и приезжай к нам с детьми на целое лето. Я делаю чудные планы о том, как мы проведем его, и недостает только тебя, чтобы им осуществиться».

Следующая часть письма была написана по-французски, связным и неровным почерком, на другом клочке бумаги. Я перевожу ее слово в слово:

«Не верь тому, что я писала тебе о моей болезни; никто не подозревает, до какой степени она серьезна. Я одна знаю, что мне больше не вставать с постели. Не теряй ни одной минуты, приезжай сейчас же и привози детей. Может быть, я успею еще раз обнять тебя и благословить их: это мое одно последнее желание. Я знаю, какой ужасный удар наносу тебе; но все равно, рано или поздно, от меня или от других, ты получишь бы его; постараемся же с твердостью и надеждою на милосердие божие перенести это несчастье. Покоримся воле его.

Не думай, чтобы то, что я пишу, было бредом больного воображения; напротив, мысли мои чрезвычайно ясны в эту минуту, и я со-

вершенно спокойна. Не утешай же себя напрасно надеждой, чтобы это были ложные, неясные предчувствия боязливой души. Нет, я чувствую, я знаю — и знаю потому, что Богу было угодно открыть мне это,— мне осталось жить очень недолго.

Кончится ли вместе с жизнью моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы думать, что то чувство, без которого я не могу понять существования, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к вам; а я знаю, что она будет существовать вечно, уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не могло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться.

Меня не будет с вами; но я твердо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти.

Я спокойна, и Богу известно, что всегда смотрела и смотрю на смерть как на переход к жизни лучшей; но отчего ж слезы давят меня?.. Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе такой тяжелый, неожиданный удар? Зачем *мне* умирать, когда ваша любовь делала для меня жизнь беспредельно счастливою?

Да будет его святая воля.

Я не могу писать больше от слез. Может быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой бесценный друг, за все счастье, которым ты окружил меня в этой жизни; я там буду просить Бога, чтобы он наградил тебя. Прощай, милый друг; помни, что меня не будет, но любовь моя никогда и нигде не оставит тебя. Прощай, Володя, прощай, мой ангел, прощай, Веньямин — мой Николенька.

Неужели они когда-нибудь забудут меня?!»

В этом письме была вложена французская записочка Мими, следующего содержания:

«Печальные предчувствия, о которых она говорит вам, слишком подтвердились словами доктора. Вчера ночью она велела отправить это письмо тотчас на почту. Думая, что она сказала это в бреду, я ждала до сегодняшнего утра и решила его распечатать. Только что я распечатала, как Наталья Николаевна спросила меня, что я сделала с письмом, и приказала мне сжечь его, если оно не отправлено. Она все говорит о нем и уверяет, что оно должно убить вас. Не откладывайте вашей поездки, если вы хотите видеть этого ангела, покуда еще он не оставил нас. Извините это маранье. Я не спала три ночи. Вы знаете, как я люблю ее!»

Наталья Савишна, которая всю ночь 11 апреля провела в спальне матушки, рассказывала мне, что, написав первую часть письма, тапан положила его подле себя на столик и започивала.

— Я сама,— говорила Наталья Савишна,— признаюсь, задремала на кресле, и чулок вывалился у меня из рук. Только слышу я сквозь сон — часу этак в первом,— что она как будто разговаривает; я от-

крыла глаза, смотрю: она, моя голубушка, сидит на постели, сложила вот этак ручки, а слезы в три ручья так и текут. «Так все кончено?» — только она и сказала и закрыла лицо руками. Я вскочила, стала спрашивать: «Что с вами?»

— Ах, Наталья Савишна, если бы вы знали, кого я сейчас видела.

Сколько я ни спрашивала, больше она мне ничего не сказала, только приказала подать столик, пописала еще что-то, при себе приказала запечатать письмо и сейчас же отправить. После уж все пошло хуже да хуже.

Г л а в а XXVI

ЧТО ОЖИДАЛО НАС В ДЕРЕВНЕ

Восемнадцатого апреля мы выходили из дорожной коляски, у крыльца петровского дома. Выезжая из Москвы, папа был задумчив, и когда Володя спросил у него: не больна ли татап? — он с грустью посмотрел на него и молча кивнул головой. Во время путешествия он заметно успокоился; но по мере приближения к дому лицо его все более и более принимало печальное выражение, и когда, выходя из коляски, он спросил у выбежавшего, запыхавшегося Фоки: «Где Наталья Николаевна?» — голос его был нетверд и в глазах были слезы. Добрый старик Фока, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь в переднюю, отвернувшись, отвечал:

— Шестой день уж не изволят выходить из спальни.

Милка, которая, как я после узнал, с самого того дня, в который занемогла татап, не переставала жалобно выть, весело бросилась к отцу — прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки; но он оттолкнул ее и прошел в гостиную, оттуда в диванную, из которой дверь вела прямо в спальню. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем более, по всем телодвижениям, было заметно его беспокойство: войдя в диванную, он шел на цыпочках, едва переводил дыхание и перекрестился, прежде чем решился взяться за замок затворенной двери. В это время из коридора выбежала нечесаная, заплаканная Мими. «Ах! Петр Александрыч! — сказала она шепотом, с выражением истинного отчаяния, и потом, заметив, что папа поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно: — Здесь нельзя пройти — ход из девичьей».

О, как тяжело все это действовало на мое настроенное к горю страшным предчувствием детское воображение!

Мы пошли в девичью; в коридоре попался нам на дороге дурачок Аким, который всегда забавлял нас своими гримасами; но в эту минуту не только он мне не казался смешным, но ничто так больно не поразило меня, как вид его бессмысленно-равнодушного лица. В девичьей

две девушки, которые сидели за какой-то работой, привстали, чтобы поклониться нам, с таким печальным выражением, что мне сделалось страшно. Пройдя еще комнату Мими, папа отворил дверь спальни, и мы вошли. Направо от двери были два окна, завешенные платками; у одного из них сидела Наталья Савишна, с очками на носу, и вязала чулок. Она не стала целовать нас, как то обыкновенно делывала, а только привстала, посмотрела на нас через очки, и слезы потекли у нее градом. Мне очень не понравилось, что все при первом взгляде на нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно спокойны.

Налево от двери стояли ширмы, за ширмами — кровать, столик, шкафчик, уставленный лекарствами, и большое кресло, на котором дремал доктор; подле кровати стояла молодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка, в белом утреннем капоте, и, немного засучив рукава, прикладывала лед к голове татап, которую мне не было видно в эту минуту.

Девушка эта была *la belle Flamande*, про которую писала татап и которая впоследствии играла такую важную роль в жизни всего нашего семейства. Как только мы вошли, она отняла одну руку от головы татап и поправила на груди складки своего капота, потом шепотом сказала: «В забытьи».

Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот так поразил меня, что не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о нем, воображение мгновенно переносит меня в эту мрачную, душную комнату и воспроизводит все мельчайшие подробности ужасной минуты.

Глаза татап были открыты, но она ничего не видела... О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нем выражалось столько страдания!..

Нас увели.

Когда я потом спрашивал у Натальи Савишны о последних минутах матушки, вот что она мне сказала:

— Когда вас увели, она еще долго металась, моя голубушка, точно вот здесь ее давило что-то; потом спустила головку с подушек и задремала, так тихо, спокойно, точно ангел небесный. Только я вышла посмотреть, что питье не несут,— прихожу, а уж она, моя сердечная, все вокруг себя раскидала и все манит к себе вашего папеньку; тот нагнется к ней, а уж сил, видно, недостает сказать, что хотелось: только откроет губки и опять начнет охать: «Боже мой! Господи! Детей! детей!» Я хотела было за вами бежать, да Иван Васильич остановил, говорит: «Это хуже встревожит ее, лучше не надо». После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, Бог ее знает. Я так думаю, что это она вас заочно благословляла; да, видно, не привел ее Господь (перед последним концом) взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот

так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я и вспомнить не могу: «Матерь Божия, не оставь их!..» Тут уж боль подступила ей под самое сердце, по глазам видно было, что ужасно мучилась бедняжка; упала на подушки, ухватила зубами за простыню; а слезы-то, мой батюшка, так и текут.

— Ну, а потом? — спросил я.

Наталья Савишна не могла больше говорить: она отвернулась и горько заплакала.

Матан скончалась в ужасных страданиях.

Г л а в а XXVII

ГОРЕ

На другой день, поздно вечером, мне захотелось еще раз взглянуть на нее; преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.

Посредине комнаты, на столе, стоял гроб; вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дячок и тихим однообразным голосом читал псалтырь.

Я остановился у двери и стал смотреть; но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать; все как-то странно сливалось вместе: свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовая, обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвета. Я стал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо; но на том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же бледно-желтоватый прозрачный предмет. Я не мог верить, чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей? отчего выражение всего лица так строго и холодно? отчего губы так бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?..

Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало предо мною и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была *она*. Я воображал ее то в том, то в другом положении: живую, веселую, улыбающуюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в блед-

ном лице, на котором остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец воображение устало, оно перестало обманывать меня; сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробыл я в этом положении, не знаю, в чем состояло оно; знаю только то, что на время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение.

Может быть, отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас; она увидела мою печаль, сжалилась над нею и на крыльях любви, с небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня.

Дверь скрипнула, и в комнату вошел дьячок на смену. Этот шум разбудил меня, и первая мысль, которая пришла мне, была та, что, так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, дьячок может принять меня за бесчувственного мальчишка, который из шалости или любопытства забрался на стул: я перекрестился, поклонился и заплакал.

Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другие; от этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастья, и это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль.

Проспав эту ночь крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения, я проснулся с высохнувшими слезами и успокоившимися нервами. В десять часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которые, все в слезах, пришли проститься с своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен; заботился о том, что новый полуфрачек, который на меня надели, очень жал мне под мышками, думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях, и украдкой делал наблюдения над всеми присутствовавшими. Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уве-

ренные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффективным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах; платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на сторону; опухшие глаза были красны, голова ее тряслась; она не переставала рыдать раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыв лицо от зрителей, на минуту отдохнуть от притворных рыданий. Я вспомнил, как накануне она говорила отцу, что смерть татап для нее такой ужасный удар, которого она никак не надеется перенести, что она лишила ее всего, что этот ангел (так она называла татап) перед самою смертью не забыл ее и изъявил желание обеспечить навсегда будущность ее и Катеньки. Она проливала горькие слезы, рассказывая это, и, может быть, чувство горести ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка, в черном платьеце, обшитом плезезами, вся мокрая от слез, опустила голову, изредка взглядывала на гроб, и лицо ее выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери и, несмотря на ее вытянутое личико, была такая же розовенькая, как и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и в горести: он то стоял задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу — что ей там будет лучше, что она была не для этого мира, — возбуждали во мне какую-то досаду.

Какое они имели право говорить и плакать о ней? Некоторые из них, говоря про нас, называли нас *сиротами*. Точно без них не знали, что детей, у которых нет матери, называют этим именем! Им, верно, нравилось, что они первые дают нам его, точно так же, как обыкновенно торопятся только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать *madame*.

В дальнем углу залы, почти спрятавшись за отворенной дверью буфета, стояла на коленях сгорбленная седая старушка. Соединив руки и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа ее стремилась к Богу, она просила его соединить ее с тою, кого она любила больше всего на свете, и твердо надеялась, что это будет скоро.

«Вот кто истинно любил ее!» — подумал я, и мне стало стыдно за самого себя.

Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться.

Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка, с хорошенькой пятилетней девочкой на руках, которую,

Бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду, и, когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову — на табурете, подле гроба, стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты.

Только в эту минуту я понял, отчего происходил тот сильный тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне горькую истину и наполнила душу отчаянием.

Г л а в а XXVIII

ПОСЛЕДНИЕ ГРУСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Мапан уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом: мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах; утренний, вечерний чай, обед, ужин — все было в обыкновенное время; столы, стулья стояли на тех же местах; ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось; только ее не было...

Мне казалось, что после такого несчастья все должно бы было измениться; наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением ее памяти и слишком живо напоминал ее отсутствие.

Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели, на мягком пуховике, под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала; услышав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати.

Так как еще прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату, она догадалась, зачем я пришел, и сказала мне, приподнимаясь с постели:

— Что? верно, отдохнуть пришли, мой голубчик? ложитесь.

— Что вы, Наталья Савишна? — сказал я, удерживая ее за руку, — я совсем не за этим... я так пришел... да вы и сами устали: лучше ложитесь вы.

— Нет, батюшка, я уж выпалась,— сказала она мне (я знал, что она не спала трое суток).— Да и не до сна теперь,— прибавила она с глубоким вздохом.

Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастье; я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с нею было для меня отрадой.

— Наталья Савишна,— сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель,— ожидали ли вы этого?

Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством, должно быть, не понимая, для чего я спрашиваю у нее это.

— Кто мог ожидать этого? — повторил я.

— Ах, мой батюшка,— сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания,— не то, чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой; а то вот до чего довелось дожить: старого барина — вашего дедушку, вечная память, князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила, и все моложе меня были, мой батюшка, а вот теперь, видно, за грехи мои, и ее пришлось пережить. Его святая воля! Он затем и взял ее, что она достойна была, а ему добрых и там нужно.

Эта простая мысль отрадно поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху; впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что Бог ненадолго разлучил ее с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви.

— Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала и она меня Нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать: «Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя».

А я, бывало, пошучу — говорю:

— Неправда, матушка, вы меня не любите; вот дай только вырастете большие, выдете замуж и Нашу свою забудете. Она, бывало, задумается. «Нет, говорит, я лучше замуж не пойду, если нельзя Нашу с собой взять; я Нашу никогда не покину». А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница! Да кого она и не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя; это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в царствии небесном, она и там будет вас любить и там будет на вас радоваться.

— Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в царствии небесном? — спросил я,— ведь она, я думаю, и теперь уже там.

— Нет, батюшка,— сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели,— теперь ее душа здесь.

И она указывала вверх. Она говорила почти шепотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то.

— Прежде чем душа праведника в рай идет — она еще сорок мытарств проходит, мой батюшка, сорок дней, и может еще в своем доме быть...

Долго еще говорила она в том же роде, и говорила с такою простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, притаив дыхание, и, хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно.

— Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим,— заключила Наталья Савишна.

И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы отереть падавшие слезы; она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом:

— На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне теперь здесь осталось? для кого мне жить? кого любить?

— А нас разве вы не любите? — сказал я с упреком и едва удерживаясь от слез.

— Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как я ее любила, никого не любила, да и не могу любить.

Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала.

Я не думал уже спать; мы молча сидели друг против друга и плакали.

В комнату вошел Фока; заметив наше положение и, должно быть, не желая тревожить нас, он, молча и робко поглядывая, остановился у дверей.

— Зачем ты, Фокаша? — спросила Наталья Савишна, утираясь платком.

— Изюму полтора, сахару четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для кутьи-с.

— Сейчас, сейчас, батюшка,— сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табак и скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенной нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важною.

— На что четыре фунта? — говорила она ворчливо, доставая и отвешивая сахар на безмене,— и три с половиною довольно будет.

И она сняла с весков несколько кусочков.

— А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила, опять спрашивают: ты как хочешь, Фока Демидыч, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме: он думает, авось не заметят. Нет, я потачки за барское добро не дам. Ну виданное ли это дело — восемь фунтов?

— Как же быть-с? он говорит, все вышло.

— Ну, на, возьми, на! пусть возьмет!

Меня поразило тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствия духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль.

Тщеславие есть чувство самое несообразное с истинною горестью, и вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или несчастным, или твердым; и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда — даже в самой сильной печали — не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности. Наталья же Савишна была так глубоко поражена своим несчастьем, что в душе ее не оставалось ни одного желания, и она жила только по привычке.

Выдав Фоке требуемую провизию и напомнив ему о пироге, который надо было приготовить для угощения причта, она отпустила его, взяла чулок и опять села подле меня.

Разговор начался про то же, и мы еще раз поплакали и еще раз утерли слезы.

Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день; ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение.

Но скоро нас разлучили: через три дня после похорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видеть ее.

Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и горесть ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве, доктора боялись за ее жизнь, тем более что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя одна в комнате, на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с ней делались конвульсии, и она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастье, и она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми, большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств.

Один раз я вошел в ее комнату: она сидела, по обыкновению, на своем кресле и, казалось, была спокойна; но меня поразило ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор неопределен и туп: она смот-

СОВРЕМЕНИКЪ

1852

№ IX, СЕНТЯБРЬ

Санктпетербургъ

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА

ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕНИКЪ», № 9 ЗА 1852 Г.
С ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ ПОВЕСТИ «ДЕТСТВО»

рела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным, нежным голосом: «Поди сюда, мой дружок, пойдйди, мой ангел». Я думал, что она обращается ко мне, и подошел ближе, но она смотрела не на меня. «Ах, коли бы ты знала, душа моя, как я мучилась и как теперь рада, что ты приехала...» Я понял, что она воображала видеть татап, и остановился. «А мне сказали, что тебя нет,— продолжала она, нахмурившись,— вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня?» — и она захохотала страшным истерическим хохотом.

Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучее природы физической. Горе никогда не убивает.

Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первою мыслию ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла; она тихо плакала, говорила про татап и нежно ласкала нас.

В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, чтобы она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны; но, не знаю почему, я больше сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что никто так искренно и чисто не любил и не сожалел о татап, как это простодушное и любящее создание.

Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая эпоха — эпоха отрочества; но так как воспоминания о Наталье Савишне, которую я больше не видал и которая имела такое сильное и благое влияние на мое направление и развитие чувствительности, принадлежат к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти.

После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей недоставало шуму и суетливости барского, обитаемого господами, деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у нее открылась водяная, и она слегла в постель.

Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить и еще тяжелее умирать одной, в большом пустом петровском доме, без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали Наталью Савишну; но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. Она полагала, что в ее положении — экономки, пользующейся доверенностью своих господ и имеющей на руках столько сундуков со всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к лицеприятию и преступной снис-

ходительности; поэтому, или, может быть, потому, что не имела ничего общего с другими слугами, она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет ни кумовьев, ни сватов и что за барское добро она никому потачки не дает.

Поверяя Богу в теплой молитве свои чувства, она искала и находила утешение; но иногда, в минуты слабости, которым мы все подвержены, когда лучшее утешение для человека доставляют слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою собачонку моську (которая лизала ее руки, оставив на нее свои желтые глаза), говорила с ней и тихо плакала, лаская ее. Когда моська начинала жалобно выть, она старалась успокоить ее и говорила: «Полно, я и без тебя знаю, что скоро умру».

За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белой кисеи и розовых лент; с помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась всем, что нужно было для ее похорон. Она тоже разобрала барские сундуки и с величайшей отчетливостью, по описи, передала их приказнице; потом достала два шелковых платья, старинную шаль, подаренные ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости шитье и галуны на мундире были совершенно свежи и сукно не тронуту молью.

Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платьев — розовое — было отдано Володе на халат или бешмет, другое — пюсовое, в клетках — мне, для того же употребления; а шаль — Любочке. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Все остальное свое имущество и деньги, исключая сорока рублей, которые она отложила на погребенье и поминанье, она предоставила получить своему брату. Брат ее, еще давно отпущенный на волю, проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную; поэтому при жизни своей она не имела с ним никаких сношений.

Когда брат Наталья Савишны явился для получения наследства и всего имущества покойной оказалось на двадцать пять рублей ассигнациями, он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая шестьдесят лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупой и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так.

Наталья Савишна два месяца страдала от своей болезни и переносила страдания с истинно христианским терпением: не ворчала, не жаловалась, а только, по своей привычке, беспрестанно поминала Бога. За час перед смертью она с тихой радостью исповедалась, причастилась и соборовалась маслом.

У всех домашних она просила прощенья за обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василья, передать

всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости, и просит нас простить ее, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, «но воровкой никогда не была и могу сказать, что барской ниткой не поживилась». Это было одно качество, которое она ценила в себе.

Надев приготовленный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать с священником, вспомнила, что ничего не оставила бедным, достала десять рублей и просила его раздать их в приходе; потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой, произнося имя Божие.

Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла ее как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает! Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимой верой и исполнив закон Евангелия. Вся жизнь ее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение.

Что ж! ежели ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели, разве эта чистая душа от этого меньше достойна любви и удивления?

Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни — умерла без сожаления и страха.

Ее похоронили, по ее желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен черною решеткою, и я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон.

Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной решеткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль: неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..

ОТРОЧЕСТВО

Г л а в а I

ПОЕЗДКА НА ДОЛГИХ

Снова поданы два экипажа к крыльцу петровского дома: один — карета, в которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и *сам* приказчик Яков, на козлах; другой — бричка, в которой едем мы с Володей и недавно взятый с оброка лакей Василий.

Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и бричку.

«Ну, Христос с вами! трогай!» Яков и кучера (мы едем на своих) снимают шапки и крестятся. «Но, но! с Богом!» Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной дороге, и березы большой аллеи одна за другой бегут мимо нас. Мне несколько не грустно: умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды.

Редко провел я несколько дней — не скажу весело: мне еще как-то совестно было предаваться веселью, — но так приятно, хорошо, как четыре дня нашего путешествия. У меня перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на который и смотрели с какою-то боязнью, ни траурных одежд (на всех нас были простые дорожные платья), ни всех тех вещей, которые, живо напоминая мне невозвратимую потерю, заставляли меня остерегаться каждого проявления жизни из страха оскорбить как-нибудь *ее* память. Здесь, напротив, беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства — довольства настоящим и светлой надежды на будущее.

Рано, рано утром безжалостный и, как всегда бывают люди в новой должности, слишком усердный Василий дергивает одеяло и уверяет, что пора ехать и все уже готово. Как ни жмешься, ни хит-

ришь, ни сердисься, чтобы хоть еще на четверть часа продлить сладкий утренний сон, по решительному лицу Василья видишь, что он неумолим и готов еще двадцать раз сдернуть одеяло, вскакиваешь и бежишь на двор умываться.

В сенях уже кипит самовар, который, раскрасневшись, как рак, раздувает Митька-форейтор; на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего навоза; солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба, и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глянцевиты от росы, покрывающей их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцой отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья-хозяйка отворяет скрипящие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и бляение стада, и перекидывается словечком с сонной соседкой. Филипп, с засученными рукавами рубашки, вытягивает колесом бадюю из глубокого колодца, плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в луже уже полощутся проснувшиеся утки; и я с удовольствием смотрю на значительное, с окладистой бородой, лицо Филиппа и на толстые жилы и мускулы, которые резко обозначаются на его голых мощных руках, когда он делает какое-нибудь усилие.

За перегородкой, где спала Мими с девочками и из-за которой мы переговаривались вечером, слышно движенье. Маша с различными предметами, которые она платьем старается скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще пробегает мимо нас, наконец отворяется дверь и нас зовут пить чай.

Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно вбегает в комнату, выносит то то, то другое, подмигивает нам и всячески упрощивает Марью Ивановну выезжать ранее. Лошади заложены и выражают свое нетерпение, изредка побрякивая бубенчиками; чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по местам. Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять, как все это было уложено накануне и как теперь мы будем сидеть; особенно один ореховый чайный ящик с треугольной крышкой, который отдают к нам в бричку и ставят под меня, приводит меня в сильнейшее негодование. Но Василий говорит, что это обомнется, и я принужден верить ему.

Солнце только что поднялось над сплошным белым облаком, покрывающим восток, и вся окрестность озарилась спокойно-радостным светом. Все так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно... Дорога широкой дикой лентой вьется впереди, между полями засохшего жнивья и блестящей росой зелени; кое-где при дороге попадается угрюмая ракета или молодая березка с мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тень на засохшие гли-

нистые колеи и мелкую зеленую траву дороги... Однообразный шум колес и бубенчиков не заглушает песен жаворонков, которые вьются около самой дороги. Запах съеденного молю сукна, пыли и какой-то кислоты, которым отличается наша бричка, покрывается запахом утра, и я чувствую в душе отрадное беспокойство, желание что-то сделать — признак истинного наслаждения.

Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я по каким-нибудь обстоятельствам забываю исполнить этот обряд, со мною случается какое-нибудь несчастье, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи различных предметов отвлекают мое внимание, и я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы.

Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги, виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры: это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными, оборванными онучами и обуты в тяжелые лапти. Равномерно размахивая палками и едва оглядываясь на нас, они медленным, тяжелым шагом подвигаются вперед одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут? долго ли продолжится их путешествие и скоро ли длинные тени, которые они бросают на дорогу, соединятся с тенью ракиты, мимо которой они должны пройти. Вот коляска, четверкой, на почтовых быстро несется навстречу. Две секунды, и лица, на расстоянии двух аршин, приветливо-любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мной ничего общего и что их никогда, может быть, не увидишь больше.

Вот стороной дороги бегут две потные косматые лошади в хомутах с захлестнутыми за шлеи постромками, и сзади, свесив длинные ноги в больших сапогах по обеим сторонам лошади, у которой на холке висит дуга и изредка чуть слышно побрякивает колокольчиком, едет молодой парень, ямщик, и, сбив на одно ухо поярковую шляпу, тянет какую-то протяжную песню. Лицо и поза его выражают так много ленивого, беспечного довольства, что мне кажется, верх счастья быть ямщиком, ездить обратным и петь грустные песни. Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами? Вот длинный обоз огромных возов, запряженных тройками сытых толстоногих лошадей, который мы принуждены объезжать стороной. «Что везете?» — спрашивает Василий у первого извозчика, который, спустив огромные ноги с грядок и помахивая кнутиком, долго пристально-бессмысленным взглядом следит за нами и отвечает что-то только тогда, когда его невозможно слышать. «С каким това-

ром?» — обращается Василий к другому возу, на огороженном передке которого, под новой рогожей, лежит другой извозчик. Русая голова с красным лицом и рыжеватой бородкой на минуту высовывается из-под рогожи, равнодушно-презрительным взглядом окидывает нашу бричку и снова скрывается — и мне приходят мысли, что, верно, эти извозчики не знают, кто мы такие и откуда и куда едем?..

Часа полтора углубленный в разнообразные наблюдения, я не обращаю внимания на кривые цифры, выставленные на верстах. Но вот солнце начинает жарче печь мне голову и спину, дорога становится пылее, треугольная крышка чайницы начинает сильно беспокоить меня, я несколько раз переменяю положение: мне становится жарко, неловко и скучно. Все мое внимание обращается на верстовые столбы и на цифры, выставленные на них; я делаю различные математические вычисления насчет времени, в которое мы можем приехать на станцию. «Двенадцать верст составляют треть тридцати шести, а до Липец сорок одна, следовательно, мы проехали одну треть и сколько?» и т.д.

— Василий,— говорю я, когда замечаю, что он начинает *удить* рыбу на козлах,— пусти меня на козлы, голубчик.— Василий соглашается. Мы переменяемся местами: он тотчас же начинает храпеть и разваливается так, что в бричке уже не остается больше ни для кого места; а передо мной открывается с высоты, которую я занимаю, самая приятная картина: наши четыре лошади, Неручинская, Дьячок, Левая коренная и Аптекарь, все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой.

— Отчего это нынче Дьячок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп? — несколько робко спрашиваю я.

— Дьячок?

— А Неручинская ничего не везет,— говорю я.

— Дьячка нельзя налево впрягать,— говорит Филипп, не обращая внимания на мое последнее замечание,— не такая лошадь, чтоб его на левую пристяжку запрягать. Налево уж нужно такую лошадь, чтоб, одно слово, была лошадь, а это не такая лошадь.

И Филипп с этими словами нагибается на правую сторону и, подергивая вожжой из всех сил, принимается стегать бедного Дьячка по хвосту и по ногам, как-то особенным манером, снизу, и несмотря на то, что Дьячок старается из всех сил и воротит всю бричку, Филипп прекращает этот маневр только тогда, когда чувствует необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвестно для чего свою шляпу на один бок, хотя она до этого очень хорошо и плотно сидела на его голове. Я пользуюсь такой счастливой минутой и прошу Филиппа дать мне *поправить*. Филипп дает мне сначала одну вожжу, потом другую; наконец все шесть вожжей и кнут переходят в мои руки, и я совершенно счастлив. Я стараюсь всячески подражать Филиппу, спрашиваю у него, хорошо ли? но обыкновенно кончается тем, что он остается мною недоволен: говорит, что та много везет, а та ничего

не везет, высовывает локоть из-за моей груди и отнимает у меня вожжи. Жар все усиливается, барашки начинают вздуться, как мыльные пузыри, выше и выше, сходиться и принимают темно-серые тени. В окно кареты высовывается рука с бутылкой и узелком; Василий с удивительной ловкостью на ходу соскакивает с козел и приносит нам ватрушек и квасу.

На крутом спуске мы все выходим из экипажей и иногда впергонки бежим до моста, между тем как Василий и Яков, подтормозив колеса, с обеих сторон руками поддерживают карету, как будто они в состоянии удержать ее, ежели бы она упала. Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся в карету, а Любочка или Катенька садятся в бричку. Перемещения эти доставляют большое удовольствие девочкам, потому что они справедливо находят, что в бричке гораздо веселей. Иногда во время жара, проезжая через рощу, мы отстаем от кареты, нарываем зеленых веток и устраиваем в бричке беседку. Движущаяся беседка во весь дух догоняет карету, и Любочка пищит при этом самым пронзительным голосом, чего она никогда не забывает делать при каждом случае, доставляющем ей большое удовольствие.

Но вот и деревня, в которой мы будем обедать и отдыхать. Вот уж запахло деревней — дымом, дегтем, баранками, слышались звуки говора, шагов и колес; бубенчики уже звенят не так, как в чистом поле, и с обеих сторон мелькают избы, с соломенными кровлями, резными тесовыми крылечками и маленькими окнами с красными и зелеными ставнями, в которые кое-где просовывается лицо любопытной бабы. Вот крестьянские мальчики и девочки в одних рубашонках: широко раскрыв глаза и растопырив руки, неподвижно стоят они на одном месте или, быстро семеня в пыли босыми ножонками, несмотря на угрожающие жесты Филиппа, бегут за экипажами и стараются взобраться на чемоданы, привязанные сзади. Вот и рыжеватые дворники с обеих сторон подбегают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Тпруу! ворота скрипят, вальки цепляют за воротнища, и мы въезжаем на двор. Четыре часа отдыха и свободы!

Г л а в а II

ГРОЗА

Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички; густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил ее. Впереди нас, на одинаковом расстоянии, мерно покачивался высо-

кий запыленный кузов кареты с важами, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я не знал, куда деваться: ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень нашей брички, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне развлечений. Все мое внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издали, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие черные тени, теперь собирались в одну большую, мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало мое нетерпение скорее приехать на постоянный двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха.

До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь все выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!

Колеса вертятся скорее и скорее; по спинам Василия и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боются. Бричка шибко катится под гору и стучит по дощатому мосту; я боюсь пошевельнуться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей гибели.

Тпру! оторвался валеk, и на мосту, несмотря на непрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться.

Прислонив голову к краю брички, я с захватывающим дыханием замиранием сердца безнадежно слежу за движениями толстых черных пальцев Филиппа, который медлительно захлестывает петлю и выравнивает постромки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем.

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе, какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся, ничем не покрытой обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной глянцеvитой культяпкой вместо руки, которую он сует прямо в бричку.

— Ба-а-шка! убо-го-му Хри-ста ра-ди,— звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.

Не могу выразить чувства холодного ужаса, охватившего мою душу в эту минуту. Дрожь пробежала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего...

Василий, в дороге подающий милостыню, дает наставления Филиппу насчет укрепления валька и, только когда все уже готово и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что, кажется, весь свод небес рушится над нами. Ветер еще усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василья и края фартука принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов неистового ветра. На каждый верх брички тяжело упала крупная капля дождя... другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василья я замечаю, что он развязывает кошелек; нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колес, так что, того и гляди, раздавят его. «Подай Хри-ста ради». Наконец медный грош летит мимо нас, и жалкое создание, в обтянутом его худые члены, промокшем до нитки рубище, качаясь от ветра, в недоумении останавливается посреди дороги и исчезает из моих глаз.

Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил как из ведра; с фризовой спины Василья текли потоки в лужу мутной воды, образовавшуюся на фартуке. Сначала сбитая катышками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колеса, толчки стали меньше, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи. Молния светила шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя.

Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется клочок ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого прямого дождя и на обмытой, блестящей зелени дорожной травы. Черная туча так же грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается так же, как и освеженная, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает ее; Володя откидывает фартук; я высовываюсь из брички и жадно впиваю в себя освеженный, душистый воздух. Блестящий, обмытый кузов кареты с важами и чемоданами покачивается перед нами, спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колес — все мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги — необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрой землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны — осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом, как бы в избытке счастья стоит, не шелохнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек, и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы, запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков, черемухи, что я не могу усидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распутившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты.

— Любочка! Катенька! — кричу я, подавая туда несколько веток черемухи, — посмотри, как хорошо!

Девочки пищат, ахают; Мими кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят.

— Да ты понюхай, как пахнет! — кричу я.

Г л а в а III

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике.

— А вот скоро мы и приедем в Москву,— сказал я,— как ты думаешь, какая она?

— Не знаю,— отвечала она нехотя.

— Ну все-таки, как ты думаешь: больше Серпухова или нет?..

— Что?

— Я ничего.

Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого и которое служит путеводною нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие; она подняла голову и обратилась ко мне:

— Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?

— Говорил; бабушка хочет совсем с нами жить.

— И все будем жить?

— Разумеется: мы будем жить наверху в одной половине; вы в другой половине; а папа во флигеле; а обедать будем все вместе, внизу у бабушки.

— Матап говорит, что бабушка такая важная — сердитая?

— Не-ет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая; напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины!

— Все-таки я боюсь ее; да, впрочем, Бог знает, будем ли мы...

Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.

— Что-о? — спросил я с беспокойством.

— Ничего, я так.

— Нет, ты что-то сказала: «Бог знает...»

— Так ты говорил, какой был бал у бабушки.

— Да вот жалко, что вас не было; гостей было пропасть, человек тысяча, музыка, генералы, и я танцевал... Катенька! — сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания,— ты не слушаешь?

— Нет, слышу; ты говорил, что ты танцевал.

— Отчего ты такая скучная?

— Не всегда же веселой быть.

— Нет, ты очень переменялась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи по правде,— прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней,— отчего ты стала какая-то странная?

— Будто я странная? — отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее, — я совсем не странная.

— Нет, ты уж не такая, как прежде, — продолжал я, — прежде видно было, что ты во всем с нами заодно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас...

— Совсем нет...

— Нет, дай мне договорить, — перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотанье в носу, предшествующее слезам, которые всегда наворачивались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль, — ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать.

— Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми; надобно когда-нибудь и перемениться, — отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять все какою-то фаталистическою необходимостью, когда не знала, что говорить.

Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала ее *глупой девочкой*, она отвечала: не всем же умным быть, надо и глупым быть; но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать:

— Для чего же это надо?

— Ведь не всегда же мы будем жить вместе, — отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа. — Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом; а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще, Бог знает, сойдутся ли они? Кроме того, все-таки когда-нибудь да мы разойдемся: вы богаты — у вас есть Петровское, а мы бедные — у маменьки ничего нет.

Вы богаты — мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными, по моим тогдашним понятиям, могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить все поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых, неясных мыслей, касательно одинокого положения их, зароились в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку.

«Что ж такое, что мы богаты, а они бедны? — думал я, — и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль.

— Неужели точно ты уедешь от нас? — сказал я, — как же это мы будем жить врозь?

— Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я сделаю...

— В актрисы пойдешь... вот глупости! — подхватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее.

— Нет, это я говорила, когда была маленькой...

— Так что же ты сделаешь?

— Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке.

Катенька заплакала.

Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг заметить, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.

Мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило, по крайней мере, такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостоивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т.д.

Г л а в а IV

В МОСКВЕ

С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стала еще ощутительнее.

При первом свидании с бабушкой, когда я увидел ее худое, морщинистое лицо и потухшие глаза, чувство подобострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием; а когда она, припав лицом к голове Любочки, зарыдала так, как будто перед ее глазами был труп ее любимой дочери, даже чувство любви заменилось во мне состраданием. Мне было неловко видеть ее печаль при свидании с нами; я сознавал, что мы сами по себе ничто в ее глазах, что мы ей дороги только как воспоминание, я чувствовал, что в каждом поцелуе, которыми она покрывала мои щеки, выражалась одна мысль: ее нет, она умерла, я не увижу ее больше!

Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами и с вечно озабоченным лицом только к обеду приходил к нам, в черном сюртуке или фраке,— вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иванович, которого бабушка называла *дядькой* и который вдруг, Бог знает зачем, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нитяным пробором почти посередине головы, показался мне так странен и смешон, что я удивлялся, как мог я прежде не замечать этого.

Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда; у них и у нас были уже свои секреты; как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами со штрипками. Мими же в первое воскресенье вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что уж сейчас видно было, что мы не в деревне и теперь все пойдет иначе.

Г л а в а V

СТАРШИЙ БРАТ

Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего; но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть, и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее

при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в ссорах, в умении держать себя, и все это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это.

Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько недосказанных желаний, мыслей и страха быть понятым выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!

Но, может быть, меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой.

То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папа, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому; то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам... Я невольно увлекался его страстями; но был слишком горд, чтобы идти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благородно откровенному характеру Володи, особенно резко выразившемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.

Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.

— Кто тебя просил трогать мои вещи? — сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика. — А где флакончик? непременно ты...

— Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда?

— Сделай милость, никогда *не смей* прикасаться к моим вещам, — сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них.

— Пожалуйста, *не командуй*, — отвечал я. — Разбил так разбил; что ж тут говорить!

И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.

— Да, тебе ничего, а мне *чего*,— продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папы,— разбил, да еще и смеется, этакой несносный *мальчишка*!

— Я мальчишка; а ты большой, да глупый.

— Не намерен с тобой браниться,— сказал Володя, слегка отталкивая меня,— убирайся.

— Не толкайся!

— Убирайся!

— Я тебе говорю, не толкайся!

Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!» — и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол.

— Отвратительный мальчишка!..— закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.

«Ну, теперь все кончено между нами,— думал я, выходя из комнаты,— мы навек поссорились».

До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда, после обеда разговаривал и смеялся с девочками.

Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной добродушно-насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Николенька! — сказал он мне самым простым, несколько не патетическим голосом,— полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь все выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче.

— Прости... ме...ня, Вол...дя! — сказал я, пожимая его руку.

Володя смотрел на меня, однако так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах...

Отрочество.

1.

1

Поездка на долги. Глава 1.

Со вчерашнего вечера окончивший день меня и почти-
лая пора отмена и каноналы нова. Эпоха отро-
чества. Воспоминания об этой эпохе отходят от
себя от предыдущих и имеют значение, во время кото-
рого я находился в Курляндии и Финляндии и отдал
частично от себя отнять, что я пережил в толо
отрадио отвоинное искусство оставившаяся на пути
своем воссражение. Иногда же воспоминания эти
принимается участие в себе и раскаяний. Видели
какой-то ошелоки домашних в отрочестве те-
перь еще ощущается на нем, в чувственно таинство
связь между теоретическим и практическим и
тогдашними поступками и теми чувствами тогда
были истосердечивить и безпротрастивить, отиби-
лая силаре себя, такъ что жить влился во много
отрадио воспоминаний, такъ и живший мно-
гого представляется ему. Странно, что изъ
предыдущих шести лет траура много много предста-

ПОВЕСТЬ «ОТРОЧЕСТВО»
Автограф главы «Поездка на долги»

Но ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, я стал видеть *женщину*, от которой могли зависеть, в некоторой степени, мое спокойствие и счастье.

С тех пор как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, переменившего совершенно мой взгляд на нее, и про который я расскажу сейчас,— я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша; но я боюсь описывать ее, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне обворожительный и обманчивый образ, составившийся в нем во время моей страсти. Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина; а мне было четырнадцать лет.

В одну из тех минут, когда, с уроком в руке, занимаешься прогулкой по комнате, стараясь ступить только по одним щелям половиц, или пением какого-нибудь несообразного мотива, или размазыванием чернил по краю стола, или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения — одним словом, в одну из тех минут, когда ум отказывается от работы и воображение, взяв верх, ищет впечатлений, я вышел из классной и без всякой цели спустился к площадке.

Кто-то в башмаках шел вверх по другому повороту лестницы. Разумеется, мне захотелось знать, кто это, но вдруг шум шагов замолк, и я услышал голос Маши: «Ну вас, что вы балуетесь, а как Мария Ивановна придет — разве хорошо будет?»

«Не придет»,— шепотом сказал голос Володи, и вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее.

«Ну, куда руки суете? Бесстыдник!» — и Маша, с сдернутой набок косынкой, из-под которой виднелась белая, полная шея, пробежала мимо меня.

Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытие, однако чувство изумления скоро уступило место сочувствию поступку Володи: меня уже не удивлял самый его поступок, но то, каким образом он постиг, что приятно так поступать. И мне невольно захотелось подражать ему.

Я по целым часам проводил иногда на площадке, без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение,

ежели бы я пришел на верх и, так же как Володя, захотел бы поцеловать Машу? что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «Вот наказание! что же вы в самом деле пристали ко мне, идите отсюда, шалун этакой... отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится...» Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницею и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.

Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее.

Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, то есть старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью, которыми на моих глазах пользовался Володя и которым я от души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждения в гордом одиночестве.

Г л а в а VII

ДРОБЬ

— Боже мой, порох!..— воскликнула Мими задыхающимся от волнения голосом.— Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом, погубить всех нас...

И с неопианным выражением твердости духа Мими приказала всем посторониться, большими, решительными шагами подошла к рассыпанной дроби и, презирая опасность, могущую произойти от неожиданного взрыва, начала топтать ее ногами. Когда, по ее мнению, опасность уже миновалась, она позвала Михея и приказала ему выбросить весь этот *порох* куда-нибудь подальше или, всего лучше, в воду и, гордо встряхивая чепцом, направилась к гостиной. «Очень хорошо за ними смотрят, нечего сказать»,— проворчала она.

Когда папа пришел из флигеля и мы вместе с ним пошли к бабушке, в комнате ее уже сидела Мими около окна и с каким-то таинственно-официальным выражением грозно смотрела мимо двери. В руке ее находилось что-то завернутое в несколько бумажек. Я догадался, что это была дробь и что бабушке уже все известно.

Кроме Мими, в комнате бабушки находились еще горничная Гаша, которая, как заметно было по ее гневному, покрасневшему лицу, была сильно расстроена, и доктор Блюменталь, маленький рябоватый человечек, который тщетно старался успокоить Гашу, делая ей глазами и головой таинственные миротворные знаки.

Сама бабушка сидела несколько боком и раскладывала пасьянс *Путешественник*, что всегда означало весьма неблагоприятное расположение духа.

— Как себя чувствуете нынче, татап? хорошо ли почивали? — сказал папа, почтительно целуя ее руку.

— Прекрасно, мой милый, вы, кажется, знаете, что я всегда совершенно здорова, — отвечала бабушка таким тоном, как будто вопрос папа был самый неуместный и оскорбительный вопрос. — Что ж, хотите вы мне дать чистый платок? — продолжала она, обращаясь к Гаше.

— Я вам подала, — отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел.

— Возьмите эту грязную ветошку и дайте мне чистый, моя милая.

Гаша подошла к шифоньерке, выдвинула ящик и так сильно хлопнула им, что стекла задрожали в комнате. Бабушка грозно оглянулась на всех нас и продолжала пристально следить за всеми движениями горничной. Когда она подала ей, как мне показалось, тот же самый платок, бабушка сказала:

— Когда же вы мне натрете табак, моя милая?

— Время будет, так натру.

— Что вы говорите?

— Натру нынче.

— Ежели вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали: я бы давно вас отпустила.

— И отпустите, не заплачут, — проворчала вполголоса горничная.

В это время доктор начал было мигать ей; но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потупился и занялся ключиком своих часов.

— Видите, мой милый, — сказала бабушка, обращаясь к папа, когда Гаша, продолжая ворчать, вышла из комнаты, — как со мной говорят в моем доме?

— Позвольте, татап, я сам натру вам табак, — сказал папа, приведенный, по-видимому, в большое затруднение этим неожиданным обращением.

— Нет уж, благодарю вас: она ведь оттого так и груба, что знает, никто, кроме нее, не умеет стереть табак, как я люблю. Вы знаете, мой милый, — продолжала бабушка после минутного молчания, — что ваши дети нынче чуть было дом не сожгли?

Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку.

— Да, они вот чем играют. Покажите им, — сказала она, обращаясь к Мими.

Папа взял в руки дробь и не мог не улыбнуться.

— Да это дробь, татап, — сказал он, — это совсем не опасно.

— Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите, только уж я стара слишком...

— Нервы, нервы! — прошептал доктор.

И папа тотчас обратился к нам:

— Где вы это взяли? и как смеее шалить такими вещами?

— Нечего их спрашивать, а надо спросить их *дядьку*,— сказала бабушка, особенно презрительно выговаривая слово «дядька»,— что он смотрит?

— Вольдемар сказал, что сам Карл Иваныч дал ему этот *порох*,— подхватила Мими.

— Ну вот видите, какой он хороший,— продолжала бабушка,— и где он, этот *дядька*, как бишь его? пошлите его сюда.

— Я его отпустил в гости,— сказал папа.

— Это не резон; он всегда должен быть здесь. Дети не мои, а ваши, и я не имею права советовать вам, потому что вы умнее меня,— продолжала бабушка,— но, кажется, пора бы для них нанять гувернера, а не *дядьку*, немецкого мужика. Да, глупого мужика, который их ничему научить не может, кроме дурным манерам и тирольским песням. Очень нужно, я вас спрашиваю, детям уметь петь тирольские песни. Впрочем, *теперь* некому об этом подумать, и вы можете делать, как хотите.

Слово «теперь» значило: когда у них нет матери, и вызвало грустные воспоминания в сердце бабушки,— она опустила глаза на табакерку с портретом и задумалась.

— Я давно уже думал об этом,— поспешил сказать папа,— и хотел посоветоваться с вами, татап: не пригласить ли нам St.-Jérôme'a, который теперь по билетам дает им уроки?

— И прекрасно сделаешь, мой друг,— сказала бабушка уже не тем недовольным голосом, которым говорила прежде.— St.-Jérôme, по крайней мере, *gouverneur*, который поймет, как нужно вести *des enfants de bonne maison*¹, а не простой *menin*, *дядька*, который годен только на то, чтобы водить их гулять.

— Я завтра же поговорю с ним,— сказал папа.

И действительно, через два дня после этого разговора Карл Иваныч уступил свое место молодому щеголю французу.

Г л а в а VIII

ИСТОРИЯ КАРЛА ИВАНЫЧА

Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иваныч должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи.

¹ детей из хорошей семьи (фр.)

Обращение с нами Карла Ивановича в последнее время было как-то особенно сухо: он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня исподлобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иванович, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне, и мысль, что он больше не будет ни бранить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство.

— Позвольте, я помогу вам, Карл Иванович,— сказал я, подходя к нему.

Карл Иванович взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел не равнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю, сосредоточенную печаль.

— Бог все видит и все знает, и на все его святая воля,— сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая.— Да, Николенька,— продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него,— моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда,— сказал он, указывая на небо.— Когда б вы знали мою историю и все, что я перенес в этой жизни!.. Я был сапожник, я был солдат, я был *дезде ртир*, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как сыну божию, некуда преклонить свою голову,— заключил он и, закрыв глаза, опустил в свое кресло.

Заметив, что Карл Иванович находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать.

— Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и все, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети!..

Карл Иванович облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным, мерным горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование:

— *Я был несчастлив ишо во чрева моей матпри. Das Unglück verfolgte mich schon im Schosse meiner Mutter!* — повторил он еще с большим чувством.

Так как Карл Иванович не один раз, в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно неизменяемыми интонациями, рассказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово; разумеется, исключая неправильности языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история или произведение фантазии, родившееся во

время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни — не решил еще я до сих пор. С одной стороны, он с слишком живым чувством и методической последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей; с другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории; так что именно красоты эти вызывали сомнения.

«В жилах моих течет благородная кровь графов фон Зомерблат! In meinen Adern fließt das edle Blut des Grafen von Sommerblat! Я родился шесть недель после свадьбы. Муж моей матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Johann и две сестры; но я был чужой в своем собственном семействе! Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie! Когда Johann делал глупости, папенька говорил: “С этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя!”, меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил: “Карл никогда не будет послушный мальчик!”, меня бранили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: “Карл! подите сюда, в мою комнату”, и она потихоньку целовала меня. “Бедный, бедный Карл! — сказала она, — никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька, — говорила она мне, — учись хорошенько и будь всегда честным человеком, Бог не оставит тебя! Trachte nur ein ehrlicher Deutscher zu werden, — sagte sie, — und der liebe Gott wird dich nicht verlassen!” И я старался. Когда мне минуло четырнадцать лет и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: “Карл стал большим мальчик, Густав; что мы будем с ним делать?” И папенька сказал: “Я не знаю”. Тогда маменька сказала: “Отдадим его в город к господину Шульц, пускай он будет сапожник!”, и папенька сказал: “Хорошо”, und mein Vater sagte “gut”. Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: “Карл хороший работник, и скоро он будет моим Geselle!”¹, но... человек предполагает, а Бог располагает... в 1796 году была назначена Konskription², и все, кто мог служить, от восемнадцати до двадцать первого года, должны были собраться в город.

Папенька и брат Johann приехали в город, и мы вместе пошли бросить Los³, кому быть Soldat и кому не быть Soldat. Johann вытаскил дурной номер — он должен быть Soldat, я вытаскил хороший номер — я не должен быть Soldat. И папенька сказал: “У меня был

¹ подмастерьем (нем.)

² рекрутский набор (нем.)

³ жребий (нем.)

один сын, и с тем я должен расстаться! Ich hatte einen einzigen Sohn und von diesem muss ich mich trennen!”

Я взял его за руку и сказал: “Зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь”. И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. “Дайте нам пару Bierkrug”¹,— я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Johann тоже выпил.

— Папенька! — я сказал,— не говорите так, что “у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться”, у меня сердце хочет *выпрыгнуть*, когда я *этого* слышу. Брат Johann не будет служить,— я буду Soldat!.. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет Soldat.

— Вы честный человек, Карл Иванович! — сказал мне папенька и поцеловал меня.— Du bist ein braver Bursche! — sagte mir mein Vater und küsste mich.

И я был Soldat!»

Г л а в а IX

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

«Тогда было страшное время, Николенька,— продолжал Карл Иванович,— тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови! und wir verteidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut!

Я был под Ульм, я был под Аустерлиц! я был под Ваграм! ich war bei Wagram!»

— Неужели вы тоже воевали? — спросил я, с удивлением глядя на него.— Неужели вы тоже убивали людей?

Карл Иванович тотчас же успокоил меня на этот счет.

«Один раз французский Grenadier отстал от своих и упал на дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon², и я пустил его!

Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасенья. Трое суток у нас не было провианта, и мы стояли в воде по коленки. Злодей Наполеон не брал и не пускал нас! und der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und auch nicht freilassen!

На четвертые сутки нас, слава Богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, пятнадцать талеров денег и серебряные часы — подарок моего папеньки. Французский Soldat все взял у меня. На мое счастье, у меня было

¹ кружек пива (нем.)

² но француз бросил свое ружье и запросил пощады (нем.)

три червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел!

В крепости я не хотел долго оставаться и решился бежать. Один раз, в большой праздник, я сказал сержанту, который смотрел за нами: “Господин сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите, пожалуйста, две бутылочки мадер, и мы вместе выпьем ее”. И сержант сказал: “Хорошо”. Когда сержант принес мадер и мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: “Господин сержант, может быть, у вас есть отец и мать?..” Он сказал: “Есть, господин Мауер...” — “Мой отец и мать,— я сказал,— восемь лет не видали меня и не знают, жив ли я, или кости мои давно лежат в сырой земле. О господин сержант! у меня есть два червонца, которые были под моей фуфайкой, возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего Бога”.

Сержант выпил рюмочку мадеры и сказал: “Господин Мауер, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я Soldat!” Я пожал его за руку и сказал: “Господин сержант!” Ich drückte ihm die Hand und sagte: “Herr Sergeant!”

И сержант сказал: “Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас”.

Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда Soldat были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихоньку вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода, и я не хотел спортить последнее платье: я пошел в ворота.

Часовой ходил с ружьем auf und ab¹ и смотрел на меня. “Qui vive?” — sagte er auf einmal², и я молчал. “Qui vive?” — sagte er zum zweiten Mal³, и я молчал. “Qui vive?” — sagte er zum dritten Mal⁴ и я бегал. Я прыгнул в вода, влезал на другой сторона и пустил. Ich sprang in's Wasser, kletterte auf die andere Seite und machte mich aus dem Staube.

Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я стал на колени, сложил руки, поблагодарил отца небесного за свое спасение и с покойным чувством заснул. Ich dankte dem allmächtigen Gott für Seine Barmherzigkeit und mit beruhigtem Gefühl schlief ich ein.

Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг большая немецкая фура в две вороньи лошади догнала меня. В фуре сидел хорошо одетый человек, курил трубочку и смотрел на меня. Я пошел потихоньку, чтобы фура обогнала меня, но я шел потихоньку, и фура ехала

¹ взад и вперед (нем.)

² «Кто идет?» (фр.) — сказал он вдруг (нем.)

³ «Кто идет?» (фр.) — сказал он второй раз (нем.)

⁴ «Кто идет?» (фр.) — сказал он в третий раз (нем.)

потихоньку, и человек смотрел на меня; я шел поскорее, и фура ехала поскорее, и человек смотрел на меня. Я сел на дороге; человек остановил своих лошадей и смотрел на меня. “Молодой человек,— он сказал,— куда вы идете так поздно?” Я сказал: “Я иду в Франкфурт”.— “Садитесь в мою фуру, место есть, и я доведу вас... Отчего у вас ничего нет с собой, борода ваша не брита и платье ваше в грязи?” — сказал он мне, когда я сел с ним. “Я бедный человек,— я сказал,— хочу наняться где-нибудь на фабрику; а платье мое в грязи оттого, что я упал на дороге”.— “Вы говорите неправду, молодой человек,— сказал он,— по дороге теперь сухо”.

И я молчал.

“Скажите мне всю правду,— сказал мне добрый человек,— кто вы и откуда идете? лицо ваше мне понравилось, и ежели вы честный человек, я помогу вам”.

И я все сказал ему. Он сказал: “Хорошо, молодой человек, поедемте на мою канатную фабрику. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня”.

И я сказал: “Хорошо”.

Мы приехали на канатную фабрику, и добрый человек сказал своей жене: “Вот молодой человек, который сражался за свое отечество и бежал из плена; у него нет ни дома, ни платья, ни хлеба. Он будет жить у меня. Дайте ему чистое белье и покормите его”.

Я полтора года жил на канатной фабрике, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить. И мне было хорошо. Я был тогда красивый мужчина, я был молодой, высокий рост, голубые глаза, римский нос... и Madame L... (я не могу сказать ее имени), жена моего хозяина, была молоденькая, хорошенькая дама. И она полюбила меня.

Когда она *видела* меня, она *сказала*: “Господин Мауер, как вас зовет ваша маменька?” Я сказал: “Karlchen”.

И она сказала: “Karlchen! сядьте подле меня”.

Я сел подле ней, и она сказала: “Karlchen! поцелуйте меня”.

Я *его* поцеловал, и он сказал: “Karlchen! я так люблю вас, что не могу больше терпеть”, — и он весь задрожал».

Тут Карл Иванович сделал продолжительную паузу и, закатив свои добрые голубые глаза, слегка покачивая головой, принялся улыбаться так, как улыбаются люди под влиянием приятных воспоминаний.

«Да,— начал он опять, поправляясь в кресле и запахивая свой халат,— много я испытал и хорошего и дурного в своей жизни; но вот мой свидетель,— сказал он, указывая на шитый по канве образок Спасителя, висевший над его кроватью,— никто не может сказать, чтоб Карл Иванович был нечестный человек! Я не хотел черной неблагодарностью платить за добро, которое мне сделал господин L..., и решил бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате, взял свое платье, три талер денег и потихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошел по дороге».

Г л а в а X
ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Я девять лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауер, который был арендатором у графа Зомерблат? И мне сказали: “Граф Зомерблат умер, и Густав Мауер живет теперь в большой улице и держит лавку *ликер*”. Я надел свой новый жилет, хороший сюртук — подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Mariechen сидела в лавочке и спросила, что мне нужно? Я сказал: “Можно выпить рюмочку ликер?” — и она сказала: “Vater! Молодой человек просит рюмочку ликер”. И папенька сказал: “Поддай молодому человеку рюмочку ликер”. Я сел подле столика, пил свою рюмочку ликер, курил трубочку и смотрел на папеньку, Mariechen и Johann, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне: “Вы, верно, знаете, молодой человек, где стоит теперь наше *арме*”. Я сказал: “Я сам иду из *арме*, и она стоит подле Wien”. — “Наш сын,— сказал папенька,— был Soldat, и вот девять лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нем...” Я курил свою трубочку и сказал: “Как звали вашего сына и где он служил? может быть, я знаю его...” — “Его звали Карл Мауер, и он служил в австрийских егерях”, — сказал мой папенька. “Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы”, — сказала сестра Mariechen. Я сказал: “Я знаю вашего Karl”. — “Amalia! — sagte auf einmal mein Vater!, — подите сюда, здесь есть молодой человек, он знает нашего Karl”. *И мое милы маменька выходит из задня дверью. Я сей час узнал его. “Вы знаете наша Karl”, — он сказал, посмотрил на мене и, весь бледны, за...дро...жал!..* “Да, я видел его”, — я сказал и не смел поднять глаза на нее; сердце у меня *пригнуть* хотело. “Karl мой жив! — сказала маменька.— Слава Богу! Где он, мой милый Karl? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына; но Бог не хочет этого”, — и *он* заплакал... *Я не мог терпеть!..* “Маменька! — я сказал,— я ваш Karl!” *И он упал мне на рука...»*

Карл Иваныч закрыл глаза, и губы его задрожали.

«Mutter! — sagte ich,— ich bin Ihr Sohn, ich bin Ihr Karl! und sie stürzte mir in die Arme»², — повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слезы, катившиеся по его щекам.

¹ Амалия! — сказал вдруг мой отец (нем.)

² «Маменька» — сказал я, — я ваш сын, ваш Karl! — и она бросилась в мои объятия (нем.)

«Но Богу не угодно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастье! das Unglück verfolgte mich überall!..¹ Я жил на своей родине только три месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал с своими знакомыми про Politik, про император Франц, про Napoleon, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером Überrock², пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Er rauchte sein Pfeifchen und schwieg still. Когда Nachtwächter³ прокричал десять часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал: “Кто там?” — “Macht auf!”⁴ Я сказал: “Скажите, кто там, и я отворю”. Ich sagte: “Sagt, wer ihr seid, und ich werde aufmachen”. — “Macht auf im Namen des Gesetzes!”⁵ — сказал за дверью. И я отворил. Два Soldat с ружьями стояли за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером Überrock, который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион! Er war ein Spion!.. “Пойдемте со мной!” — сказал шпион. “Хорошо”, — я сказал... Я надел сапоги und Pantalon, надевал подтяжки и ходил по комнате. В сердце у меня кипело; я сказал: “Он подлец!” Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал: “Ты шпион; защищайся! Du bist ein Spion, vertheidige dich!” Ich gab ein Hieb⁶ направо, ein Hieb налево и один на галава. Шпион упал! Я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. Ich nahm meinen Mantelsack und Beutel und sprang zum Fenster hinaus. Ich kam nach Ems,⁷ там я познакомился с енерал Сазин. Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда енерал Сазин умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала: “Карл Иваныч! отдаю вам своих детей, любите их, и я никогда не оставлю вас, я успокою вашу старость”. Теперь ее не стало, и все забыто. За свою двадцатилетнюю службу я должен теперь, на старости лет, идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба... Бог сей видит и сей знает, и на сей его святое воля, только вас жалько мне, дети!» — заключил Карл Иваныч, притягивая меня к себе за руку и целуя в голову.

¹ несчастье повсюду меня преследовало!.. (нем.)

² сюртуке (нем.)

³ ночной сторож (нем.)

⁴ «Отворите!» (нем.)

⁵ «Отворите именем закона!» (нем.)

⁶ Я нанес один удар (нем.)

⁷ Я пришел в Эмс (нем.)

По окончании годичного траура бабушка оправилась несколько от печали, поразившей ее, и стала изредка принимать гостей, в особенности детей — наших сверстников и сверстниц.

В день рождения Любочки, 13 декабря, еще перед обедом приехали к нам княгиня Корнакова с дочерьми, Валахина с Сонечкой, Иленька Грап и два меньших брата Ивиных.

Уже звуки говора, смеху и беготни долетали к нам снизу, где собралось все это общество, но мы не могли присоединиться к нему прежде окончания утренних классов. На таблице, висевшей в классной, значилось: Lundi, de 2 à 3, Maître d'Histoire et de Géographie;¹ и вот этого-то Maître d'Histoire мы должны были дожидаться, выслушать и проводить, прежде чем быть свободными. Было уже двадцать минут третьего, а учителя истории не было еще ни слышно, ни видно даже на улице, по которой он должен был прийти и на которую я смотрел с сильным желанием никогда не видеть его.

— Кажется, Лебедев нынче не придет,— сказал Володя, отрываясь на минуту от книги Смарагдова, по которой он готовил урок.

— Дай Бог, дай Бог... а то я ровно ничего не знаю... однако, кажется, вон он идет,— прибавил я печальным голосом.

Володя встал и подошел к окну.

— Нет, это не он, это какой-то *барин*,— сказал он.— Подождем еще до половины третьего,— прибавил он, потягиваясь и в то же время почесывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий.— Ежели не придет и в половине третьего, тогда можно будет сказать St.-Jérôme'у, чтобы убраться тетради.

— И охота ему хо-о-о-о-дить,— сказал я, тоже потягиваясь и потрясая над головой книгу Кайданова, которую держал в обеих руках.

От нечего делать я раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный, я ничего не знал и видел, что уже никак не успею хоть что-нибудь запомнить из него, тем более что находился в том раздраженном состоянии, в котором мысли отказываются остановиться на каком бы то ни было предмете.

За прошедший урок истории, которая всегда казалась мне самым скучным, тяжелым предметом, Лебедев жаловался на меня St.-Jérôme'у и в тетради баллов поставил мне два, что считалось очень дурным. St.-Jérôme тогда еще сказал мне, что ежели в следующий урок я получу меньше трех, то буду строго наказан. Теперь-то предстоял этот следующий урок, и, признаюсь, я сильно трусил.

¹ Понедельник, от 2 до 3, учитель истории и географии (*фр.*)

Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что слышавшийся в передней стук снятия калош внезапно поразил меня. Едва успел я оглянуться, как в дверях показалось рябое, отвратительное для меня лицо и слишком знакомая неуклюжая фигура учителя в синем застегнутом фраке с учеными пуговицами.

Учитель медленно положил шапку на окно, тетради на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака (как будто это было очень нужно) и, отдуваясь, сел на свое место.

— Ну-с, господа,— сказал он, потирая одну о другую свои потные руки,— пройдемте-с сперва то, что было сказано в прошедший класс, а потом я постараюсь познакомить вас с дальнейшими событиями средних веков.

Это значило: сказывайте уроки.

В то время как Володя отвечал ему с свободой и уверенностью, свойственную тем, кто хорошо знает предмет, я без всякой цели вышел на лестницу, и так как вниз нельзя мне было идти, весьма естественно, что я незаметно для самого себя очутился на площадке. Но только что я хотел поместиться на обыкновенном poste своих наблюдений — за дверью, как вдруг Мими, всегда бывшая причиною моих несчастий, наткнулась на меня. «Вы? Здесь?» — сказала она, грозно посмотрев на меня, потом на дверь девичьей и потом опять на меня.

Я чувствовал себя кругом виноватым — и за то, что был не в классе, и за то, что находился в таком неуказанном месте, поэтому молчал и, опустив голову, являл в своей особе самое трогательное выражение раскаяния.

— Нет, это уж ни на что не похоже! — сказала Мими.— Что вы здесь делали? — Я молчал.— Нет, это так не останется,— повторила она, постукивая щиколками пальцев о перила лестницы,— я все расскажу графине.

Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс. Учитель, как будто не замечая ни моего отсутствия, ни моего присутствия, объяснял Володе следующий урок. Когда он, окончив свои толкования, начал складывать тетради и Володя вышел в другую комнату, чтобы принести билетик, мне пришла отрадная мысль, что все конечно и про меня забудут.

Но вдруг учитель с злодейской полуулыбкой обратился ко мне.

— Надеюсь, вы выучили свой урок-с,— сказал он, потирая руки.

— Выучил-с,— отвечал я.

— Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого,— сказал он, покачиваясь на стуле и задумчиво глядя себе под ноги.— Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест,— сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу,— потом объясните мне общие характеристические черты этого похода,— прибавил он, делая всей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь,— и,

наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще,— сказал он, ударяя тетрадами по левой стороне стола,— и на французское королевство в особенности,— заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо.

Я проглотил несколько раз слюни, прокашлялся, склонил голову набок и молчал. Потом, взяв перо, лежавшее на столе, начал обрывать его и все молчал.

— Позвольте перышко,— сказал мне учитель, протягивая руку.— Оно пригодится. Ну-с.

— Людо... кор... Лудовик Святой был... был... был... добрый и умный царь...

— Кто-с?

— Царь. Он вздумал пойти в Иерусалим и *передал бразды правления* своей матери.

— Как ее звали-с?

— Б...б...ланка.

— Как-с? буланка?

Я усмехнулся как-то криво и неловко.

— Ну-с, не знаете ли еще чего-нибудь? — сказал он с усмешкой.

Мне нечего было терять, я прокашлялся и начал врать все, что только мне приходило в голову. Учитель молчал, сметая со стола пыль перышком, которое он у меня отнял, пристально смотрел мимо моего уха и приговаривал: «Хорошо-с, очень хорошо-с». Я чувствовал, что ничего не знаю, выражаюсь совсем не так, как следует, и мне страшно больно было видеть, что учитель не останавливает и не поправляет меня.

— Зачем же он вздумал идти в Иерусалим? — сказал он, повторяя мои слова.

— Затем... потому... оттого, затем что...

Я решительно зямаялся, не сказал ни слова больше и чувствовал, что, ежели этот злодей-учитель хоть год целый будет молчать и вопросительно смотреть на меня, я все-таки не в состоянии буду произнести более ни одного звука. Учитель минуты три смотрел на меня, потом вдруг проявил в своем лице выражение глубокой печали и чувствительным голосом сказал Володе, который в это время вошел в комнату:

— Позвольте мне тетрадку: проставить баллы.

Володя подал ему тетрадь и осторожно положил билетик подле нее.

Учитель развернул тетрадь и, бережно обмакнув перо, красивым почерком написал Володе пять в графе успехов и поведения. Потом, остановив перо над графою, в которой означались мои баллы, он посмотрел на меня, стяхнул чернила и задумался.

Вдруг рука его сделала чуть заметное движение, и в графе появилась красиво начерченная единица и точка; другое движение — и в графе поведения другая единица и точка.

Бережно сложив тетрадь баллов, учитель встал и подошел к двери, как будто не замечая моего взгляда, в котором выражались отчаяние, мольба и упрек.

— Михаил Ларионыч! — сказал я.

— Нет,— отвечал он, понимая уже, что я хотел сказать ему,— так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать.

Учитель надел калоши, камлотовую шинель, с большим тщанием повязался шарфом. Как будто можно было о чем-нибудь заботиться после того, что случилось со мной? Для него движение пера, а для меня величайшее несчастье.

— Класс кончен? — спросил St.-Jérôme, входя в комнату.

— Да.

— Учитель доволен вами?

— Да,— сказал Володя.

— Сколько вы получили?

— Пять.

— А Nicolas?

Я молчал.

— Кажется, четыре,— сказал Володя.

Он понимал, что меня нужно было спасти хотя на нынешний день. Пускай накажут, только бы не нынче, когда у нас гости.

— *Voyons, messieurs* (St.-Jérôme имел привычку ко всякому слову говорить: *voyons*)! *faites votre toilette et descendons*¹.

Г л а в а XII

КЛЮЧИК

Едва успели мы, сойдя вниз, поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Папа был очень весел (он был в выигрыше в это время), подарил Любочке дорогой серебряный сервиз и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась еще бонбоньерка, приготовленная для именинницы.

— Чем человека посылать, поди-ка лучше ты, Коко,— сказал он мне.— Ключи лежат на большом столе в раковине, знаешь?.. Так возьми их и самым большим ключом отопри второй ящик направо. Там найдешь коробочку, конфеты в бумаге и принесишь все сюда.

— А сигары принести тебе? — спросил я, зная, что он всегда после обеда посылал за ними.

— Принеси, да смотри у меня — ничего не трогать! — сказал он мне вслед.

¹ Ну же, господа! займитесь вашим туалетом и идемте вниз (*фр.*)

Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпираться ящик, как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке.

На столе, между тысячами разнообразных вещей, стоял около портфель шитый портфель с висющим замочком, и мне захотелось попробовать, придется ли к нему маленький ключик. Испытание увенчалось полным успехом, портфель открылся, и я нашел в нем целую кучу бумаг. Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне узнать, какие были эти бумаги, что я не успел прислушаться к голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле...

.....

Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим, и в особенности к папа, было так сильно во мне, что ум мой бессознательно отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того, что я видел. Я чувствовал, что папа должен жить в сфере совершенно особенной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то вроде святотатства.

Поэтому открытия, почти нечаянно сделанные мною в портфеле папа, не оставили во мне никакого ясного понятия, исключая темного сознания, что я поступил нехорошо. Мне было стыдно и неловко.

Под влиянием этого чувства я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне, видно, суждено было испытать всевозможные несчастия в этот достопамятный день: вложив ключик в замочную скважину, я повернул его не в ту сторону; воображая, что замок заперт, я вынул ключ, и — о ужас! — у меня в руках была только головка ключика. Тщетно я старался соединить ее с оставшейся в замке половиной и посредством какого-то волшебства высвободить ее оттуда; надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление, которое нынче же по возвращении папа в кабинет должно будет открыться.

Жалоба Мими, единица и ключик! Хуже ничего не могло со мной случиться. Бабушка — за жалобу Мими, St.-Jérôme — за единицу, папа — за ключик... и все это обрушится на меня не позже как нынче вечером.

— Что со мной будет?! А-а-ах! что я наделал?! — говорил я вслух, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. — Э! — сказал я сам себе, доставая конфеты и сигары, — *чему быть, тому не миновать...* — И побежал в дом.

Это фаталистическое изречение, в детстве подслушанное мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно успокаивающее влияние. Входя в залу, я находился в несколько раздраженном и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.

После обеда начались *petits jeux*¹, и я принимал в них живейшее участие. Играя в «кошку-мышку», как-то неловко разбежавшись на гувернантку Корнаковых, которая играла с нами, я нечаянно наступил ей на платье и оборвал его. Заметив, что всем девочкам, и в особенности Сонечке, доставляло большое удовольствие видеть, как гувернантка с расстроенным лицом пошла в девичью зашивать свое платье, я решился доставить им это удовольствие еще раз. Вследствие такого любезного намерения, как только гувернантка вернулась в комнату, я принялся галопировать вокруг нее и продолжал эти эволюции до тех пор, пока не нашел удобной минуты снова зацепить каблуком за ее юбку и оборвать. Сонечка и княжны едва могли удержаться от смеха, что весьма приятно польстило моему самолюбию; но St.-Jérôme, заметив, должно быть, мои проделки, подошел ко мне и, нахмутив брови (чего я терпеть не мог), сказал, что я, кажется, не к добру развеселился и что ежели я не буду скромнее, то, несмотря на праздник, он заставит меня раскаяться.

Но я находился в раздраженном состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, который боится счесть свою записку и продолжает ставить отчаянные карты уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться. Я дерзко улыбнулся и ушел от него.

После «кошки-мышки» кто-то затеял игру, которая называлась у нас, кажется, *Lange Nase*². Сущность игры состояла в том, что ставила два ряда стульев, один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по переменкам выбирали одна другую.

Младшая княжна каждый раз выбирала меньшого Ивина, Катенька выбирала или Володю, или Иленьку, а Сонечка каждый раз Сережу и нисколько не стыдилась, к моему крайнему удивлению, когда Сережа прямо шел и садился против нее. Она смеялась своим милым звонким смехом и делала ему головкой знак, что он угадал. Меня же никто не выбирал. К крайнему оскорблению моего самолюбия, я понимал, что я лишний, *остающийся*, что про меня всякий раз должны были говорить: «*Кто еще остается?*» — «*Да Николенька; ну вот ты его и возьми*». Поэтому, когда мне приходилось выходить, я прямо подходил или к сестре, или к одной из некрасивых княжон и, к несчастью, никогда не ошибался. Сонечка же, казалось, так была занята Сережей Ивиным, что я не существовал для нее вовсе. Не знаю, на каком основании называл я ее мысленно *изменницею*, так

¹ игры (фр.)

² Длинный нос (нем.)

как она никогда не давала мне обещания выбирать меня, а не Сережу; но я твердо был убежден, что она самым гнусным образом поступила со мною.

После игры я заметил, что *изменница*, которую я презирал, но с которой, однако, не мог спустить глаз, вместе с Сережей и Катенькой отошли в угол и о чем-то таинственно разговаривали. Подкравшись из-за фортепьян, чтобы открыть их секреты, я увидел следующее: Катенька держала за два конца батистовый платочек в виде ширм, заслоняя им головы Сережи и Сонечки. «Нет, проиграли, теперь расплачивайтесь!» — говорил Сережа. Сонечка, опустив руки, стояла перед ним точно виноватая, и, краснея, говорила: «Нет, я не проиграла, не правда ли, *mademoiselle Catherine?*» — «Я люблю правду, — отвечала Катенька, — проиграла пари, *ma chère*».

Едва успела Катенька произнести эти слова, как Сережа нагнуллся и поцеловал Сонечку. Так прямо и поцеловал в ее розовые губки. И Сонечка засмеялась, как будто это ничего, как будто это очень весело. Ужасно!!! *О, коварная изменница!*

Г л а в а XIV

ЗАТМЕНИЕ

Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Сонечке в особенности; начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих играх, что они приличны только *девчонкам*, и мне чрезвычайно захотелось буянить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила. Случай не замедлил представиться.

St.-Jérôme, поговорив о чем-то с Мими, вышел из комнаты; звуки его шагов слышались сначала на лестнице, а потом над нами, по направлению классной. Мне пришла мысль, что Мими сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошел посмотреть журнал. Я не предполагал в это время у St.-Jérôme'а другой цели в жизни, как желания наказать меня. Я читал где-то, что дети от двенадцати до четырнадцати лет, то есть находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, но *так* — из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошед-

шего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит. Под влиянием этого же временного отсутствия мысли — рассеянности почти — крестьянский парень лет семнадцати, осматривая лезвие только что отточенного топора подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что, если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что, ежели пожать гашетку? или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, к которому все общество чувствует подобострастное уважение, и думать: а что, ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «А ну-ка, любезный, пойдём?»

Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствия размышления, когда St.-Jérôme сошел вниз и сказал мне, что я не имею права здесь быть нынче за то, что так дурно вел себя и учился, чтобы я сейчас же шел на верх, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда.

В первую минуту St.-Jérôme не мог слова произнести от удивления и злости.

— C'est bien¹,— сказал он, догоняя меня,— я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что, кроме розог, вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили.

Он сказал это так громко, что все слышали его слова. Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу; я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что St.-Jérôme, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку; но только что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его.

— Что с тобой делается? — сказал, подходя ко мне, Володя, с ужасом и удивлением видевший мой поступок.

— Оставь меня! — закричал я на него сквозь слезы.— Никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвра-

¹ Хорошо (фр.)

тительны,— прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу.

Но в это время St.-Jérôme, с решительным и бледным лицом, снова подошел ко мне, и не успев я приготовиться к защите, как он уже сильным движением, как тисками, сжал мои обе руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения; помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне были еще силы; помню, что нос мой несколько раз натыкался на чьи-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, запах пыли и violette¹, которой душился St.-Jérôme.

Через пять минут за мной затворилась дверь чулана.

— Василь! — сказал он отвратительным, торжествующим голосом,— принеси розог.

Г л а в а XV

МЕЧТЫ

Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них?..

Припоминая то, что я сделал, я не мог вообразить себе, что со мной будет; но смутно предчувствовал, что пропал безвозвратно.

Сначала внизу и вокруг меня царствовала совершенная тишина, или, по крайней мере, мне так казалось от слишком сильного внутреннего волнения, но мало-помалу я стал разбирать различные звуки. Василий пришел снизу и, бросив на окно какую-то вещь, похожую на метлу, зевая, улегся на ларь. Внизу послышался громкий голос Августа Антоныча (должно быть, он говорил про меня), потом детские голоса, потом смех, беготня, а через несколько минут в доме все пришло в прежнее движение, как будто никто не знал и не думал о том, что я сижу в темном чулане.

Я не плакал, но что-то тяжелое, как камень, лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моем расстроенном воображении; но воспоминание о несчастии, постигшем меня, беспрестанно прерывало их причудливую цепь, и я снова входил в безвыходный лабиринт неизвестности о предстоящей мне участи, отчаяния и страха.

То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. (В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до

¹ фиалки (фр.)

Филиппа-кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях). «Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости»,— говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мне отраднo думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Ивановича.

«Но зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть ее? — говорю я сам себе,— завтра же пойду к папа и скажу ему: “Папа! напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения; я знаю ее”. Он скажет: “Что ж делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это,— ты не мой сын, но я усыновил тебя, и ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя”; и я скажу ему: “Папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз, я всегда любил тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоём доме. Здесь никто не любит меня, а St.-Jérôme поклялся в моей гибели. Он или я должны оставить твой дом, потому что я не отвечаю за себя, я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на все. Я убью его”,— так и сказать: “Папа, я убью его”. Папа станет просить меня, но я махну рукой, скажу ему: “Нет, мой друг, мой благодетель, мы не можем жить вместе, а отпусти меня”,— и я обниму его и скажу ему, почему-то по-французски: “Oh mon père, oh mon bienfaiteur, donne moi pour la dernière fois ta bénédiction et que la volonté de Dieu soit faite!”¹ И я, сидя на сундуке в темном чулане, плачу навзрыд при этой мысли. Но вдруг я вспоминаю постыдное наказание, ожидающее меня, действительность представляется мне в настоящем свете, и мечты мгновенно разлетаются.

То я воображаю себя уже на свободе, вне нашего дома. Я поступаю в гусары и иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваюсь саблей и убиваю одного, другой взмах — убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «Победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «Где он — наш спаситель?» Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «Победа!» Я выздоравливаю и, с подвязанной черным платком рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал! Но вот *государь* встречает меня и спрашивает, кто этот израненный молодой человек? Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «Благодарю тебя. Я все сделаю, что бы ты ни просил у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «Я счастлив, великий государь,

¹ О мой отец, о мой благодетель, дай мне в последний раз свое благословение, и да совершится воля Божия! (фр.)

что мог пролить кровь за свое отечество, и желал бы умереть за него; но ежели ты так милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одном — позволь мне уничтожить врага моего, иностранца St.-Jérôme'a. Мне хочется уничтожить врага моего St.-Jérôme'а». Я грозно останавливаюсь перед St.-Jérôme'ом и говорю ему: «Ты сделал мое несчастье, à genoux!»¹ Но вдруг мне приходит мысль, что с минуты на минуту может войти настоящий St.-Jérôme с розгами, и я снова вижу себя не генералом, спасающим отечество, а самым жалким, плачевным созданием.

То мне приходит мысль о Боге, и я дерзко спрашиваю его, за что он наказывает меня? «Я, кажется, не забывал молиться утром и вечером, так за что же я страдаю?» Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь, не потому, чтобы несчастье побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости провидения, пришедшая мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно, после дождя, упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление St.-Jérôme'а, находящего в чулане, вместо меня, безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до сорока дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор папа с Августом Антонычем. «Он славный был мальчик», — скажет папа со слезами на глазах. «Да, — скажет St.-Jérôme, — но большой повеса». — «Вы бы должны уважать мертвых, — скажет папа, — вы были причиной его смерти, вы запугали его, он не мог перенести унижения, которое вы готовили ему... Вон отсюда, злодей!»

И St.-Jérôme упадет на колени, будет плакать и просить прощения. После сорока дней душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня; но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. «Ежели это точно ты, — говорю я, — то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя». И мне отвечает ее голос: «Здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» — «Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук...» — «Не надо этого, здесь и так прекрасно», — говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим все выше и выше. Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке, в темном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли, твердящего слова: *и мы все*

¹ на колени! (фр.)

летим выше и выше. Я долго употребляю всевозможные усилия, чтобы уяснить свое положение; но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности; но, к удивлению моему, как скоро вхожу в колею прежних мечтаний, я вижу, что продолжение их невозможно и, что всего удивительнее, не доставляет уже мне никакого удовольствия.

Г л а в а XVI

ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, МУКА БУДЕТ

Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне; только на другой день, то есть в воскресенье, меня перевели в маленькую комнату, подле классной, и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои, под влиянием сладкого, крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокаиваться. Но уединение все-таки было очень тяжело: мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь все, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне ни противно было, я не мог не слышать, как St.-Jérôme, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня.

В два часа St.-Jérôme и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед, и когда я разговорился с ним о том, что я наделал и что ожидает меня, он сказал:

— Эх, сударь! не тужите, перемелется, мука будет.

Хотя это изречение, не раз и впоследствии подерживавшее твердость моего духа, несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожное розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением, но теперь выходило, что я еще не наказан, что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и St.-Jérôme с суровым и официальным лицом вошел в комнату.

— Пойдемте к бабушке,— сказал он, не глядя на меня.

Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде чем выйти из комнаты, но St.-Jérôme сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком

нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться.

Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как St.-Jérôme за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки, с намерением поцеловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью.

— Да, мой милый,— сказала она после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки,— могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Monsieur St.-Jérôme, который по моей просьбе,— прибавила она, растягивая каждое слово,— взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме. Отчего? от вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны,— продолжила она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена заблаговременно,— за попечения и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги, а вы, молокосос, мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо! Прекрасно!! Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие, низкие средства... Проси сейчас прощения,— прибавила она строго-повелительным тоном, указывая на St.-Jérôme'a,— слышишь?

Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук St.-Jérôme'a, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца.

— Что же? вы не слышите разве, что я вам говорю?

Я дрожал всем телом, но не трогался с места.

— Коко! — сказала бабушка, должно быть, заметив внутренние страдания, которые я испытывал.— Коко,— сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом,— ты ли это?

— Бабушка! я не буду просить у него прощения ни за что...— сказал я, вдруг останавливаясь, чувствуя, что не в состоянии буду удерживать слез, давивших меня, ежели скажу еще одно слово.

— Я приказываю тебе, я прошу тебя. Что же ты?

— Я... я... не... не хочу... я не могу,— проговорил я, и сдержанные рыдания, накопившиеся в моей груди, вдруг опрокинули преграду, удерживавшую их, и разразились отчаянным потоком.

— C'est ainsi que vous obéissez à votre seconde mère, c'est ainsi que vous reconnaissez ses bontés¹,— сказал St.-Jérôme трагическим голосом,— à genoux!²

¹ Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее доброту (фр.)

² на колени! (фр.)

— Боже мой, ежели бы она видела это! — сказала бабушка, отворачиваясь от меня и отирая показавшиеся слезы.— Ежели бы она видела... все к лучшему. Да, она не перенесла бы этого горя, не перенесла бы.

И бабушка плакала все сильнее и сильнее. Я плакал тоже, но и не думал просить прощения.

— *Tranquillisez vous au nom du ciel, madame la comtesse!*,— говорил St.-Jérôme.

Но бабушка уже не слушала его, она закрыла лицо руками, и рыдания ее скоро перешли в икоту и истерику. В комнату с испуганными лицами вбежали Мими и Гаша, запахло какими-то спиртами, и по всему дому вдруг поднялись беготня и шептанье.

— Любуйтесь на ваше дело,— сказал St.-Jérôme, уводя меня на верх.

«Боже мой, что я наделал! Какой я ужасный преступник!»

Только что St.-Jérôme, сказав мне, чтобы я шел в свою комнату, спустился вниз,— я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу.

Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню; знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видеть никого, я бежал все дальше и дальше по лестнице.

— Ты куда? — спросил меня вдруг знакомый голос.— Тебя-то мне и нужно, голубчик.

Я хотел было пробежать мимо, но папа схватил меня за руку и строго сказал:

— Пойдем-ка со мной, любезный! Как ты смел трогать портфель в моем кабинете,— сказал он, вводя меня за собой в маленькую диванную.— А? что ж ты молчишь? а? — прибавил он, взяв меня за ухо.

— Виноват,— сказал я,— я сам не знаю, что на меня нашло.

— А, не знаешь, что на тебя нашло, не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь,— повторял он, с каждым словом потрясая мое ухо,— будешь вперед совать нос, куда не следует, будешь? будешь?

Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство. Только что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцелуями.

— Бей меня еще,— говорил я сквозь слезы,— крепче, сильнее, я негодный, я гадкий, я несчастный человек!

— Что с тобой? — сказал он, слегка отталкивая меня.

— Нет, ни за что не пойду,— сказал я, цепляясь за его сюртук.— Все ненавидят меня, я это знаю, но, ради Бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, он всячески старается унижить меня, велит становиться на колени перед собой,

¹ Ради Бога, успокойтесь, графиня (*фр.*)

хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. Он сказал бабушке, что я негодный; она теперь больна, она умрет от меня, я... с... ним... ради Бога, высеки... за... что... му...чат.

Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колена, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту.

— Об чем ты, пузырь? — сказал папа с участием, наклоняясь ко мне.

— Он мой тиран... мучитель... умру... никто меня не любит! — едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии.

Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул.

Когда я проснулся, было уже очень поздно, одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после двенадцатичасового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен.

Г л а в а XVII

НЕНАВИСТЬ

Да, это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах и в которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волосы, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к St.-Jérôme.

St.-Jérôme жил у нас уже полтора года. Обсуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Все это мне очень не нравилось. Само собою разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас; но, несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово fouetter¹ (как-то fouatter) так отвратительно и с

¹ сечь (фр.)

такой интонацией, как будто высечь меня доставило бы ему величайшее удовольствие.

Я несколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее, но одна мысль, что St.-Jérôme может ударить меня, приводила меня в тяжелое состояние подавленного отчаяния и злобы.

Случалось, что Карл Иванович, в минуту досады, лично расправлялся с нами линейкой или помочами; но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю (когда мне было четырнадцать лет), ежели бы Карлу Ивановичу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенес бы его побои. Карла Ивановича я любил, помнил его с тех пор, как самого себя, и привык считать членом своего семейства; но St.-Jérôme был человек гордый, самодовольный, к которому я ничего не чувствовал, кроме того невольного уважения, которое внушали мне все *большие*. Карл Иванович был смешной старик-дядька, которого я любил от души, но ставил все-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения.

St.-Jérôme, напротив, был образованный, красивый молодой щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл Иванович бранил и наказывал нас всегда хладнокровно, видно было, что он считал это хотя необходимым, но неприятною обязанностью. St.-Jérôme, напротив, любил драпироваться в роль наставника; видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слоге, accent circonflex'ами, были для меня невыразимо противны. Карл Иванович, рассердившись, говорил: «кукольная комедия, шалуныя мальшик, шампанская мушка». St.-Jérôme называл нас *mauvais sujet, vilain garnement*¹ и т.п. названиями, которые оскорбляли мое самолюбие.

Карл Иванович ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения; St.-Jérôme, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: «*A genoux, mauvais sujet!*», приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении.

Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось; но я не мог забыть всего, что испытал: отчаяния, стыда, страха и ненависти в эти два дня. Несмотря на то, что с того времени St.-Jérôme, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спе-

¹ негодяй, мерзавец (фр.)

шил принять выражение равнодушия, но тогда мне казалось, что он понимает мое притворство, я краснел и вовсе отворачивался.

Одним словом, мне невыразимо тяжело было иметь с ним какие бы то ни было отношения.

Г л а в а XVIII

ДЕВИЧЬЯ

Я чувствовал себя все более и более одиноким, и главными моими удвольствиями были уединенные размышления и наблюдения. О предмете моих размышлений расскажу в следующей главе; театром же моих наблюдений преимущественно была девичья, в которой происходил весьма для меня занимательный и трогательный роман. Героиней этого романа, само собой разумеется, была Маша. Она была влюблена в Василья, знавшего ее еще тогда, когда она жила на воле, и обещавшего еще тогда на ней жениться. Судьба, разлучившая их пять лет тому назад, снова соединила их в бабушкином доме, но положила преграду их взаимной любви в лице Николая (родного дяди Маши), не хотевшего и слышать о замужестве своей племянницы с Васильем, которого он называл человеком *несообразным и необузданным*.

Преграда эта сделала то, что прежде довольно хладнокровный и небрежный в обращении Василий вдруг влюбился в Машу, влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек из портных, в розовой рубашке и с напомаженными волосами.

Несмотря на то, что проявления его любви были весьма странны и несообразны (например, встречая Машу, он всегда старался причинить ей боль, или щипал ее, или бил ладонью, или сжимал ее с такой силой, что она едва могла переводить дыхание), но самая любовь его была искренна, что доказывается уже тем, что с той поры, как Николай решительно отказал ему в руке своей племянницы, Василий *запил* с горя, стал шляться по кабакам, буянить — одним словом, вести себя так дурно, что не раз подвергался постыдному наказанию на съезжей. Но поступки эти и их последствия, казалось, были заслугою в глазах Маши и увеличивали еще ее любовь к нему. Когда Василий *содержался в части*, Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу Гаше (принимавшей живое участие в делах несчастных любовников) и, презирая брань и побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга.

Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам или

не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно все, что происходит в девичьей. Вот лежанка, на которой стоят: утюг, картонная кукла с разбитым носом, лоханка, ручной мыльник; вот окно, на котором в беспорядке валяются: кусочек черного воска, моток шелку, откушенный зеленый огурец и конфетная коробочка; вот и большой красный стол, на котором, на начатом шитье, лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит *она* в моем любимом розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание. *Она* шьет, изредка останавливаясь, чтобы почесать иголкой голову или поправить свечку, а я смотрю и думаю: «Отчего она не родилась барыней, с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой и высокой грудью? Как бы ей пристало сидеть в гостиной, в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шелковом капоте, не в таком, какой у Мими, а какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пльцах, а я бы в зеркало смотрел на нее, и что бы ни захотела, я все бы для нее делал; подавал бы ей салоп, кушанье сам бы подавал...»

И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василья в узком сюртуке, надетом сверх грязной розовой рубашки навывпуск! В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины, мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его...

— Что, Вася? опять,— сказала Маша, втыкая иголку в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василью.

— А что ж? разве от *него* добро будет,— отвечал Василий,— хоть бы решил одним чем-нибудь; а то пропадаю так ни за что, и все через *него*.

— Чай будете пить? — сказала Надежда, другая горничная.

— Благодарю покорно. И ведь за что ненавидит, вор этот, дядя-то твой, за что? за то, что платье себе настоящее имею, за форц за мой, за походку мою. Одно слово. Эх-ма! — заключил Василий, махнув рукой.

— Надо покорным быть,— сказала Маша, скусувая нитку,— а вы так все...

— Мочи моей не стало, вот что!

В это время в комнате бабушки послышался стук дверью и ворчливый голос Гаши, приближавшийся по лестнице.

— Поди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет... проклятая *жисть*, каторжная! Хоть бы одно что, прости, Господи, мое согрешение,— бормотала она, размахивая руками.

— Мое почтение Агафье Михайловне,— сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу.

— Ну вас тут! Не до твоего почтения,— отвечала она, грозно глядя на него,— и зачем ходишь сюда? разве место к девкам мужчине ходить...

— Хотел об вашем здоровье узнать,— робко сказал Василий.

— Издохну скоро, вот какое мое здоровье,— еще с бóльшим гневом, во весь рот прокричала Агафья Михайловна.

Василий засмеялся.

— Тут смеяться нечего, а коли говорю, что убирайся, так марш! Вишь, поганец, тоже жениться хочет, подлец! Ну, марш, отправляйся!

И Агафья Михайловна, топая ногами, прошла в свою комнату, так сильно стукнув дверь, что стекла задрожали в окнах.

За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая бранить все и всех и проклинать свое житье, она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку; наконец дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост, жалобно мяукавшая кошка.

— Видно, в другой раз прийти чайку напиться,— сказал Василий шепотом,— до приятного свидания.

— Ничего,— сказала, подмигивая, Надежда,— я вот пойду самовар посмотрю.

— Да и сделаю ж я один конец,— продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежда вышла из комнаты,— либо пойду прямо к графине, скажу: «так и так», либо уж... брошу все, бегу на край света, ей-Богу.

— А я как останусь...

— Одну тебя жалею, а то бы уж даа...вно моя головушка на воле была, ей-Богу, ей-Богу.

— Что это ты, Вася, мне свои рубашки не принесешь постирать,— сказала Маша после минутного молчания,— а то, вишь, какая черная,— прибавила она, взяв его за ворот рубашки.

В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты.

— Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься? — сказала она, толкая в дверь Василья, который торопливо встал, увидав ее.— Довел девку до евтого, да еще пристаешь, видно, весело тебе, оголтелый, на ее слезы смотреть. Вон пошел. Чтобы духу твоего не было. И чего хорошего в нем нашла? — продолжала она, обращаясь к Маше.— Мало тебя колотил нынче дядя за него? Нет, все свое: ни за кого не пойду, как за Василья Грускова. Дура!

— Да и не пойду ни за кого, не люблю никого, хоть убей меня до смерти за него,— проговорила Маша, вдруг разливаясь слезами.

Долго я смотрел на Машу, которая, лежа на сундуке, утирала слезы своей косынкой, и, всячески стараясь изменять свой взгляд на Василья, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей столь привлекательным. Но, несмотря на то, что я искренно сочувствовал ее печали, я никак не мог постигнуть, каким образом такое очаровательное создание, каким казалась Маша в моих глазах, могло любить Василья.

«Когда я буду большой,— рассуждал я сам с собой, вернувшись к себе на верх,— Петровское достанется мне, и Василий и Маша будут

мои крепостные. Я буду сидеть в кабинете и курить трубку, Маша с утюгом пройдет в кухню. Я скажу: «Позовите ко мне Машу». Она придет, и никого не будет в комнате... Вдруг войдет Василий и, когда увидит Машу, скажет: «Пропала моя головушка!» — и Маша тоже заплачет; а я скажу: «Василий! я знаю, что ты любишь ее и она тебя любит, на вот тебе тысячу рублей, женись на ней и дай Бог тебе счастья», — а сам уйду в диванную. Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Васильем.

Г л а в а XIX

ОТРОЧЕСТВО

Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, — так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему.

Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий.

Мысли эти представлялись моему уму с такою ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие и полезные истины.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытя-

нутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем,— и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным и которого связь я с трудом могу уловить теперь,— понравилось мне чрезвычайно, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его; но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса: в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет? В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то, и этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что все то, о чем я думал, была ужаснейшая гиль.

Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только затем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования.

Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой *постоянной идеи*, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную

сторону, надеясь врасплох застать пустоту (néant) там, где меня не было.

Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности — ум человека!

Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрогивать.

Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка.

Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание. Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? — я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил...

Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение.

Г л а в а XX

ВОЛОДЯ

Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности.

Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейшие из них с того времени, до которого я довел свое повествование, и до сближения моего с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление.

Володя на днях поступает в университет, учителя уже ходят к нему отдельно, и я с завистью и невольным уважением слушаю, как он, бойко постукивая мелом о черную доску, толкует о функциях, синусах, координатах и т.п., которые кажутся мне выражениями недосягаемой премудрости. Но вот в одно воскресенье, после обеда, в комнате бабушки собираются все учителя, два профессора и в присутствии папа и некоторых гостей делают репетицию университетского экзамена, в котором Володя, к великой радости бабушки, выказывает необыкновенные познания. Мне тоже делают вопросы из некоторых предметов, но я оказываюсь весьма плох, и профессора, видимо, стараются перед бабушкой скрыть мое незнание, что еще более конфузит меня. Впрочем, на меня мало и обращают внимания: мне только пятнадцать лет, следовательно, остается еще год до экзамена. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит наверху за занятиями, не по принуждению, а по собственному желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен посредственно, а отлично.

Но вот наступил день первого экзамена. Володя надевает синий фрак с бронзовыми пуговицами, золотые часы и лакированные сапоги; к крыльцу подают фазтон папа, Николай откидывает фартук, и Володя с St.-Jérôme'ом едут в университет. Девочки, в особенности Катенька, с радостными, восторженными лицами смотрят в окно на стройную фигуру садыщегося в экипаж Володи, папа говорит: «Дай Бог, дай Бог», — а бабушка, тоже притащившаяся к окну, со слезами на глазах, крестит Володю до тех пор, пока фазтон не скрывается за углом переулка, и шепчет что-то.

Володя возвращается. Все с нетерпением спрашивают его: «Что? хорошо? сколько?», но уже по веселому лицу его видно, что хорошо. Володя получил пять. На другой день с теми же желаниями успеха и страхом провожают его, и встречают с тем же нетерпением и радостью. Так проходит девять дней. На десятый день предстоит последний, самый трудный экзамен — Закона Божьего, все стоят у окна и еще с большим нетерпением ожидают его. Уже два часа, а Володи нет.

— Боже мой! Батюшки!!! они!! они!! — кричит Любочка, прильнув к стеклу.

И действительно, в фазтоне рядом с St.-Jérôme'ом сидит Володя, но уже не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку.

— Что, ежели бы ты была жива! — вскрикивает бабушка, увидав Володю в мундире, и падает в обморок.

Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает меня, Любочку, Мими и Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет голубой воротник к его чуть пробивающимся черным усикам! Какая у него тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день все обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во время пирожного, дворецкий, с прилично-величавой и вместе веселой физиономией, приносит завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после кончины татап пьет шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает *к себе своих* знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского с своими знакомыми и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили о том, кому достанется *le fond de la bouteille!* Он обедает, однако, регулярно дома и после обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно таинственно беседует с Катенькой; но сколько я могу слышать — как не принимающий участия в их разговорах, — они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви; и я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят.

Вообще я замечаю, что между Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между товарищами детства, существуют какие-то странные отношения, отдаляющие их от нас и таинственно связывающие их между собой.

Г л а в а XXI

КАТЕНЬКА И ЛЮБОЧКА

Катеньке шестнадцать лет; она выросла; угловатость форм, застенчивость и неловкость движений, свойственные девочке в переходном возрасте, уступили место гармонической свежести и грациозности только что распустившегося цветка; но она не переменилась. Те же светло-голубые глаза и улыбающийся взгляд, тот же, составляющий почти одну линию со лбом, прямой носик с крепкими ноздрями и ротик с светлой улыбкой, те же крошечные ямочки на розовых прозрачных щечках, те же беленькие ручки... и к ней по-прежнему

¹ последний глоток (фр.)

му почему-то чрезвычайно идет название *чистенькой* девочки. Нового в ней только густая русая коса, которую она носит как большие, и молодая грудь, появление которой заметно радует и стыдит ее.

Несмотря на то, что Любочка всегда росла и воспитывалась с нею вместе, она во всех отношениях совсем другая девочка.

Любочка невысока ростом и, вследствие английской болезни, у нее ноги до сих пор еще гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза, и глаза эти действительно прекрасны — большие, черные, и с таким неопределимо приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всем проста и натуральна; Катенька же как будто хочет быть похожей на кого-то. Любочка смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бранят за это, говоря, что это неучтиво; Катенька, напротив, опускает ресницы, щурится и уверяет, что она близорука, тогда как я очень хорошо знаю, что она прекрасно видит. Любочка не любит ломаться при посторонних, и, когда кто-нибудь при гостях начинает целовать ее, она дует и говорит, что терпеть не может *нежностей*; Катенька, напротив, при гостях всегда делается особенно нежна к Мими и любит, обнявшись с какой-нибудь девочкой, ходить по зале. Любочка страшная хохотунья и иногда, в припадке смеха, машет руками и бегаёт по комнате; Катенька, напротив, закрывает рот платком или руками, когда начинает смеяться. Любочка всегда сидит прямо и ходит опустив руки; Катенька держит голову несколько набок и ходит сложив руки. Любочка всегда ужасно рада, когда ей удастся поговорить с большим мужчиной, и говорит, что она непременно выйдет замуж за гусара; Катенька же говорит, что все мужчины ей гадки, что она никогда не выйдет замуж, и делается совсем другая, как будто она боится чего-то, когда мужчина говорит с ней. Любочка вечно негодует на Мими за то, что ее так стягивают корсетами, что «дышать нельзя», и любит покушать; Катенька, напротив, часто, поддевая палец под мыс своего платья, показывает нам, как оно ей широко, и ест чрезвычайно мало. Любочка любит рисовать головки; Катенька же рисует только цветы и бабочек. Любочка играет очень отчетливо фильдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена; Катенька играет варьяции и вальсы, задерживает темп, стучит, беспрестанно берет педаль и, прежде чем начинать играть что-нибудь, с чувством берет три аккорда *arpeggio*...

Но Катенька, по моему тогдашнему мнению, больше похожа на большую, и поэтому гораздо больше мне нравится.

ПАПА

Папа особенно весел с тех пор, как Володя поступил в университет, и чаще обыкновенного приходит обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состоит в том, что он в последнее время выиграл чрезвычайно много. Случается даже, что он вечером, перед клубом, заходит к нам, садится за фортепьяно, собирает нас вокруг себя и, притоптывая своими мягкими сапогами (он терпеть не может каблуков и никогда не носит их), поет цыганские песни. И надобно тогда видеть смешной восторг его любимицы Любочки, которая с своей стороны обожает его. Иногда он приходит в классы и с строгим лицом слушает, как я сказываю уроки, но по некоторым словам, которыми он хочет поправить меня, я замечаю, что он плохо знает то, чему меня учат. Иногда он потихоньку мигает и делает нам знаки, когда бабушка начинает ворчать и сердится на всех без причины. «Ну, досталось же *нам*, дети», — говорит он потом. Вообще он понемногу спускается в моих глазах с той недосыгаемой высоты, на которую его ставило детское воображение. Я с тем же искренним чувством любви и уважения целую его большую белую руку, но уже позволяю себе думать о нем, обсуживать его поступки, и мне невольно приходят о нем такие мысли, присутствие которых пугает меня. Никогда не забуду я случая, внушившего мне много таких мыслей и доставившего мне много моральных страданий.

Один раз, поздно вечером, он, в черном фраке и белом жилете, вошел в гостиную с тем, чтобы взять с собой на бал Володю, который в это время одевался в своей комнате. Бабушка в спальне дожидалась, чтобы Володя пришел показаться ей (она имела привычку перед каждым балом призывать его к себе, благословлять, осматривать и давать наставления). В зале, освещенной только одной лампой, Мими с Катенькой ходила взад и вперед, а Любочка сидела за роялем и твердила второй концерт Фильда, любимую пьесу татапа.

Никогда ни в ком не встречал я такого фамильного сходства, как между сестрой и матушкой. Сходство это заключалось не в лице, не в сложении, но в чем-то неуловимом: в руках, в манере ходить, в особенности в голосе и в некоторых выражениях. Когда Любочка сердилась и говорила: «целый век не пускают», это слово *целый век*, которое имела тоже привычку говорить татапа, она выговаривала так, что, казалось, слышал ее, как-то протяжно: це-е-лый век; но необыкновеннее всего было это сходство в игре ее на фортепьяно и во всех приемах при этом: она так же оправляла платье, так же поворачивала листы левой рукой сверху, так же с досады кулаком била по клавишам, когда долго не удавался трудный пассаж, и говорила: «ах, Бог мой!», и та же неуловимая нежность и отчетливость игры, той пре-

красной фильдовской игры, так хорошо названной jeu perlé¹, прелести которой не могли заставить забыть все фокус-покусы новейших пьянистов.

Папа вошел в комнату скорыми маленькими шажками и подошел к Любочке, которая перестала играть, увидев его.

— Нет, играй, Люба, играй,— сказал он, усаживая ее,— ты знаешь, как я люблю тебя слушать...

Любочка продолжала играть, а папа долго, облокотившись на руку, сидел против нее; потом быстро, подернув плечом, он встал и стал ходить по комнате. Подходя к роялю, он всякий раз останавливался и долго пристально смотрел на Любочку. По движениям и походке его я замечал, что он был в волнении. Пройдя несколько раз по зале, он, остановившись за стулом Любочки, поцеловал ее в черную голову и потом, быстро поворотившись, опять продолжал свою прогулку. Когда, окончив пьесу, Любочка подошла к нему с вопросом: «Хорошо ли?», он молча взял ее за голову и стал целовать в лоб и глаза с такою нежностью, какой я никогда не видывал от него.

— Ах, Бог мой! ты плачешь! — вдруг сказала Любочка, выпуская из рук цепочку его часов и уставляя на его лицо свои большие удивленные глаза.— Прости меня, голубчик папа, я совсем забыла, что это *мамашина пьеса*.

— Нет, друг мой, играй почаще,— сказал он дрожащим от волнения голосом,— коли бы ты знала, как мне хорошо поплакать с тобой...

Он еще раз поцеловал ее и, стараясь пересилить внутреннее волнение, подергивая плечом, вышел в дверь, ведущую через коридор в комнату Володи.

— Вольдемар! скоро ли ты? — крикнул он, останавливаясь посреди коридора. В это самое время мимо него проходила горничная Маша, которая, увидав барина, потупилась и хотела обойти его. Он остановил ее.

— А ты все хорошеешь,— сказал он, наклоняясь к ней.

Маша покраснела и еще более опустила голову.

— Позвольте,— прошептала она.

— Вольдемар, что ж, скоро ли? — повторил папа, подергиваясь и покашливая, когда Маша прошла мимо и он увидел меня...

Я люблю отца, но ум человека живет независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувство, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить их, приходят мне...

¹ блистательной игрой (фр.)

Бабушка со дня на день становится слабее; ее колокольчик, голос ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в ее комнате, и она принимает нас уже не в кабинете, в вольтеровском кресле, а в спальне, в высокой постели с подушками, обшитыми кружевами. Здороваясь с нею, я замечаю на ее руке бледно-желтоватую глянцевую опухоль, а в комнате тяжелый запах, который пять лет тому назад слышал в комнате матушки. Доктор три раза в день бывает у нее, и было уже несколько консультаций. Но характер, гордое и церемонное обращение ее со всеми домашними, а в особенности с папа, несколько не изменились; она точно так же растягивает слова, поднимает брови и говорит: «Мой милый».

Но вот несколько дней нас уже не пускают к ней, и раз утром St.-Jérôme, во время классов, предлагает мне ехать кататься с Любочкой и Катенькой. Несмотря на то, что, садясь в сани, я замечаю, что перед бабушкиными окнами улица устлана соломой и что какие-то люди в синих чуйках стоят около наших ворот, я никак не могу понять, для чего нас посылают кататься в такой неурочный час. В этот день, во все время катанья, мы с Любочкой находимся почему-то в том особенно веселом расположении духа, в котором каждый простой случай, каждое слово, каждое движение заставляют смеяться.

Разносчик, схватившись за лоток, рысью перебегает через дорогу, и мы смеемся. Оборванный ванька галопом, помахивая концами вожжей, догоняет наши сани, и мы хохочем. У Филиппа зацепился кнут за полоз саней; он, оборачиваясь, говорит: «Эх-ма»,— и мы помираем со смеху. Мими с недовольным видом говорит, что только *глупые* смеются без причины, и Любочка, вся красная от напряжения сдержанного смеха, исподлобья смотрит на меня. Глаза наши встречаются, и мы заливаемся таким гомерическим хохотом, что у нас на глазах слезы, и мы не в состоянии удержать порывов смеха, который душит нас. Только что мы немного успокоиваемся, я взглядываю на Любочку и говорю заветное словечко, которое у нас в моде с некоторого времени и которое уже всегда производит смех, и снова мы заливаемся.

Подъезжая назад к дому, я только открываю рот, чтоб сделать Любочке одну прекрасную гримасу, как глаза мои поражает черная крышка гроба, прислоненная к половинке двери нашего подъезда, и рот мой остается в том же искривленном положении.

— Votre grande-mère est morte!¹ — говорит St.-Jérôme с бледным лицом, выходя нам навстречу.

¹ Ваша бабушка скончалась! (фр.)

Все время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью. Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалеет о ней. Несмотря на то, что дом полон траурных посетителей, никто не жалеет о ее смерти, исключая одного лица, которого неистовая горесть невыразимо поражает меня. И лицо это — горничная Гаша. Она уходит на чердак, запирается там, не переставая плачет, проклинает самое себя, рвет на себе волосы, не хочет слышать никаких советов и говорит, что смерть для нее остается единственным утешением после потери любимой госпожи.

Опять повторяю, что неправдоподобность в деле чувства есть вернейший признак истины.

Бабушки уже нет, но еще в нашем доме живут воспоминания и различные толки о ней. Толки эти преимущественно относятся до завещания, которое она сделала перед кончиной и которого никто не знает, исключая ее душеприказчика, князя Ивана Ивановича. Между бабушкиными людьми я замечаю некоторое волнение, часто слышу толки о том, кто кому достанется, и, признаюсь, невольно и с радостью думаю о том, что мы получаем наследство.

После шести недель Николай, всегдашняя газета новостей нашего дома, рассказывает мне, что бабушка оставила все имение Любочке, поручив до ее замужества опеку не папа, а князю Ивану Ивановичу.

Г л а в а XXIV

Я

До поступления в университет мне остается уже только несколько месяцев. Я учусь хорошо. Не только без страха ожидаю учителей, но даже чувствую некоторое удовольствие в классе.

Мне весело — ясно и отчетливо сказать выученный урок. Я готовлюсь в математический факультет, и выбор этот, по правде сказать, сделан мной единственно потому, что слова: синусы, тангенсы, дифференциалы, интегралы и т.д., чрезвычайно нравятся мне.

Я гораздо ниже ростом Володи, широкоплеч и мясист, по-прежнему дурен и по-прежнему мучусь этим. Я стараюсь казаться оригиналом. Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня *умная розга*, и я вполне верю в это.

St.-Jérôme доволен мною, хвалит меня, и я не только не ненавижу его, но, когда он иногда говорит, что *с моими способностями, с моим умом* стыдно не сделать того-то и того-то, мне кажется даже, что я люблю его.

Наблюдения мои в девичьей давно уже прекратились, мне совестно прятаться за двери, да притом и убеждение в любви Маши к Василью, признаюсь, несколько охладило меня. Окончательно же исцеляет меня от этой несчастной страсти женитьба Василья, для которой я сам, про просьбе его, испрашиваю у папа позволения.

Когда *молодые*, с конфетами на подносе, приходят к папа благодарить его и Маша, в чепчике с голубыми лентами, тоже за что-то благодарит всех нас, целуя каждого в плечико, я чувствую только запах розовой помады от ее волос, но ни малейшего волнения.

Вообще я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено надевать мне еще много вреда в жизни,— склонности к умствованиям.

Г л а в а XXV

ПРИЯТЕЛИ ВОЛОДИ

Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорблявшую мое самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать все, что там делалось. Чаще других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький жилистый брюнет, уже не первой молодости и немного коротконожка, но недурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонни и ошибочны, но всегда чистосердечны и увлекательны. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть — воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятие порядочности (*comme il faut*), очень высоко ценимую в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют «*un homme comme il faut*». Одно, что было мне неприятно,— это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые невинные поступки, а всего более за мою молодость.

Нехлюдов был нехорош собой: маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами. Хорошего было в нем только — необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы. Но лицо это получало такой оригинальный и энергический характер от узких, блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски-неопределенного выражения улыбки, что нельзя было не заметить его.

Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей; но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость. Как будто он сердился на самого себя за свою слабость.

Несмотря на то, что он казался очень дружным с Дубковым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны: Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьезные рассуждения и чувствительность; Нехлюдов, напротив, был энтузиаст в высшей степени и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви (и бывали влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же); Нехлюдов, напротив, всегда серьезно сердился, когда ему намекали на его любовь к какой-то *рыженькой*.

Володя и Дубков часто позволяли себе, любя, подтрунивать над своими родными; Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание. Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его *красной девушкой*...

Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза как своим разговором, так и наружностью. Но несмотря на то, что в его направлении я находил много общего с своим — или, может быть, именно поэтому, — чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидел его, было далеко не приязненное.

Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто во время разговора мне ужасно хотелось противоречить ему; в наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания. Стыдливость удерживала меня.

Г л а в а XXVI

РАССУЖДЕНИЯ

Володя лежал с ногами на диване и, облокотившись на руку, читал какой-то французский роман, когда я, после вечерних классов, по своему обыкновению, вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение — движение самое простое и естественное, но которое заставило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значе-

ние самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста. Я подошел к столу и тоже взял книгу; но, прежде чем начал читать ее, мне пришлось в голову, что как-то смешно, что мы, не видавшись целый день, ничего не говорим друг другу.

— Что, ты дома будешь нынче вечером?

— Не знаю, а что?

— Так,— сказал я и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать.

Странно, что с глазу на глаз мы по целым часам проводили молча с Володей, но достаточно было только присутствия даже молчаливого третьего лица, чтобы между нами завязывались самые интересные и разнообразные разговоры. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга. А слишком много или слишком мало знать друга друга одинаково мешает сближению.

— Володя дома? — послышался в передней голос Дубкова.

— Дома,— сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол.

Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах, вошли в комнату.

— Что ж, едем в театр, Володя?

— Нет, мне некогда,— отвечал Володя, краснея.

— Ну, вот еще! — поедem, пожалуйста.

— Да у меня и билета нет.

— Билетов сколько хочешь у входа.

— Погоди, я сейчас приду,— уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты.

Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков; что он отказывался потому только, что у него не было денег, и что он вышел затем, чтобы у дворецкого достать взаймы пять рублей до будущего жалованья.

— Здравствуйте, *дипломат!* — сказал Дубков, подавая мне руку.

Приятели Володи называли меня *дипломатом*, потому что раз, после обеда у покойницы бабушки, она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть *дипломатом*, в черном фраке и с прической à la соq, составлявшей, по ее мнению, необходимое условие дипломатического звания.

— Куда это ушел Володя? — спросил меня Нехлюдов.

— Не знаю,— отвечал я, краснея при мысли, что они, верно, догадываются, зачем вышел Володя.

— Верно, у него денег нет! правда? О! *дипломат!* — прибавил он, утвердительно объясняя мою улыбку.— У меня тоже нет денег, а у тебя есть, Дубков?

— Посмотрим,— сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами.— Вот пятачок, вот двугривенник, а то фффю! — сказал он, делая комический жест рукою.

В это время Володя вошел в комнату.

— Ну что, едем?

— Нет.

— Как ты смешон! — сказал Нехлюдов, — отчего ты не скажешь, что у тебя нет денег. Возьми мой билет, коли хочешь.

— А ты как же?

— Он поедет к кузинам в ложу, — сказал Дубков.

— Нет, я совсем не поеду.

— Отчего?

— Оттого, что, ты знаешь, я не люблю сидеть в ложе.

— Отчего?

— Не люблю, мне неловко.

— Опять старое! не понимаю, отчего тебе может быть неловко там, где все тебе очень рады. Это смешно, *mon cher*¹.

— Что ж делать, *si je suis timide!*² Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту, от малейших пустяков! — сказал он, краснея в это же время.

— *Savez-vous d'où vient votre timidité?.. d'un excès d'amour propre, mon cher*³, — сказал Дубков покровительственным тоном.

— Какой тут *excès d'amour propre!* — отвечал Нехлюдов, задетый за живое. — Напротив, я стыдлив оттого, что у меня слишком мало *amour propre*; мне все кажется, напротив, что со мной неприятно, скучно... от этого...

— Одевайся же, Володя, — сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук. — Игнат, одеваться барину!

— От этого со мной часто бывает... — продолжал Нехлюдов.

Но Дубков уже не слушал его. «Трала-ла та-ра-ра-ла-ла», — запел он какой-то мотив.

— Ты не отделался, — сказал Нехлюдов, — я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия.

— Докажешь, ежели поедешь с нами.

— Я сказал, что не поеду.

— Ну, так оставайся тут и доказывай *дипломату*; а мы приедем, он нам расскажет.

— И докажу, — возразил Нехлюдов с детским своенравием, — только приезжайте скорей.

— Как вы думаете: я самолюбив? — сказал он, подсаживаясь ко мне.

Несмотря на то, что у меня на этот счет было составленное мнение, я так оробел от этого неожиданного обращения, что не скоро мог ответить ему.

¹ мой дорогой (*фр.*)

² если я застенчив! (*фр.*)

³ Знаете, отчего происходит ваша застенчивость?.. от избытка самолюбия, мой дорогой (*фр.*)

— Я думаю, что да,— сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что я *умный*,— я думаю, что всякий человек самолюбив, и все то, что ни делает человек,— все из самолюбия.

— Так что же, по-вашему, самолюбие? — сказал Нехлюдов, улыбаясь несколько презрительно, как мне показалось.

— Самолюбие,— сказал я,— есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей.

— Да как же могут быть все в этом убеждены?

— Уж я не знаю, справедливо ли или нет, только никто, кроме меня, не признается; я убежден, что я умнее всех на свете, и уверен, что вы тоже уверены в этом.

— Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых признавал умнее себя,— сказал Нехлюдов.

— Не может быть,— отвечал я с убеждением.

— Неужели вы в самом деле так думаете? — сказал Нехлюдов, пристально вглядываясь в меня.

— Seriously,— отвечал я.

И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал.

— Я вам это докажу. Отчего мы самих себя любим больше других?.. Оттого, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. Ежели бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя, а этого никогда не бывает. Ежели и бывает, то все-таки я прав,— прибавил я с невольной улыбкой самодовольствия.

Нехлюдов помолчал с минуту.

— Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны! — сказал он мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив.

Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набивались мне в голову. С самолюбия мы незаметно перешли к любви, и на эту тему разговор казался неистощимым. Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею — так они были неясны и односторонни,— для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу.

ДѢТСТВО

И

ОТРОЧЕСТВО.

СОЧИНЕНІЕ

ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАНА.

1856.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ОТДЕЛЬНОГО ИЗДАНИЯ ПОВЕСТЕЙ
«ДЕТСТВО» И «ОТРОЧЕСТВО»

Г л а в а XXVII

НАЧАЛО ДРУЖБЫ

С той поры между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая все и не замечая, как летит время.

Мы толковали и о будущей жизни, и об искусствах, и о службе, и о женитьбе, и о воспитании детей, и никогда нам в голову не приходило, что все то, что мы говорили, был ужаснейший вздор. Это не приходило нам в голову потому, что вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор; а в молодости еще ценишь ум, веришь в него. В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастья, что одни понятия и разделенные мечты о будущем счастья составляют уже истинное счастье этого возраста. В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее.

Как-то раз, во время масленицы, Нехлюдов был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной, и меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что несколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особенной привязанности.

В первый раз, как он после масленицы снова хотел поговориться со мной, я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушел наверх; но через четверть часа кто-то отворил дверь в классную, и Нехлюдов подошел ко мне.

— Я вам мешаю? — сказал он.

— Нет, — отвечал я, несмотря на то, что хотел сказать, что у меня действительно есть дело.

— Так отчего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали. А уж я так привык, что мне как будто чего-то недостает.

Досада моя прошла в одну минуту, и Дмитрий снова стал в моих глазах тем же добрым и милым человеком.

— Вы, верно, знаете, отчего я ушел? — сказал я.

— Может быть,— отвечал он, усаживаясь подле меня,— но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать отчего, а вы так можете,— сказал он.

— Я и скажу: я ушел потому, что был сердит на вас... не сердит, а мне досадно было. Просто: я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молод.

— Знаете, отчего мы так сошлись с вами,— сказал он, добродушным и умным взглядом отвечая на мое признание,— отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком и с которыми у меня больше общего? Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество — откровенность.

— Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться,— подтвердил я,— но только тем, в ком я уверен.

— Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным, а мы с вами не дружны еще, Nicolas; помните, мы говорили о дружбе: чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге.

— Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, уже вы никому не скажете,— сказал я.— А ведь самые важные, интересные мысли именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу.

— И какие гадкие мысли! такие подлые мысли, что ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову. Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas,— прибавил он, вставая со стула и с улыбкой потирая руки.— *Сделаем* это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово *никогда ни с кем и ничего* не говорить друг о друге. Сделаем это.

— Давайте,— сказал я.

И мы действительно *сделали это*. Что вышло из этого, я расскажу после.

Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя, одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо; и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку; но и он готов был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга; но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему.

Само собою разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские казалось удобоисполнимою вещью,— очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым...

А впрочем, Бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились?..

ЮНОСТЬ

Г л а в а I

ЧТО Я СЧИТАЮ НАЧАЛОМ ЮНОСТИ

Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и праздным порядком.

Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, чудесным *Митей*, как я сам с собою шепотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им.

И с этого времени я считаю начало *юности*.

Мне был в то время шестнадцатый год в исходе. Учителя продолжали ходить ко мне, St.-Jérôme присматривал за моим учением, и я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои состояли: в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в делах гимнастики, с тем чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения. Наружность моя, я убеждался, не только была некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было — самые обыкновенные, грубые и дурные черты; глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее

глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше: несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие ноги и руки; а это в то время мне казалось очень стыдно.

Г л а в а П

ВЕСНА

В тот год, как я вступил в университет, Святая была как-то поздно в апреле, так что экзамены были назначены на Фоминой, а на Страстной я должен был и говеть, и уже окончательно приготавливаться.

Погода после мокрого снега, который, бывало, Карл Иванович называл “сын за отцом пришел”, уже дня три стояла тихая, теплая и ясная. На улицах не видно было клочка снега, грязное тесто заменилось мокрой, блестящей мостовой и быстрыми ручьями. С крыш уже на солнце стаивали последние капли, в палисаднике на деревьях надувались почки, на дворе была сухая дорожка к конюшне, мимо замерзлой кучи навоза и около крыльца между камнями зеленелась мшистая травка. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека: яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками. Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе еще ощутительнее и сильнее на душу влияние этого первого периода рождения весны,— меньше видишь, но больше предчувствуешь. Я стоял около окна, в которое утреннее солнце сквозь двойные рамы бросало пыльные лучи на пол моей невыносимо надоевшей мне классной комнаты, и решал на черной доске какое-то длинное алгебраическое уравнение. В одной руке я держал изорванную мягкую “Алгебру” Франкера, в другой — маленький кусок мела, которым испачкал уже обе руки, лицо и локти полуфрачка. Николай в фартуке, с засученными рукавами, отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которое отворялось в палисадник. Его занятие и стук, который он производил, развлекали мое внимание. Притом я был в весьма дурном, недовольном расположении духа. Все как-то мне не удавалось: я сделал ошибку в начале вычисления, так что надо было все начинать сначала; мел я два раза уронил, чувствовал, что лицо и руки мои испачканы, губка где-то пропала, стук, который производил Николай, как-то больно потрясал мои нервы. Мне хотелось рассердиться и поворчать; я бросил мел, “Алгебру” и стал ходить по комнате. Но мне вспомнилось,

что нынче Страстная среда, нынче мы должны исповедоваться и что надо удерживаться от всего дурного; и вдруг я пришел в какое-то особенное, кроткое состояние духа и подошел к Николаю.

— Позволь, я тебе помогу, Николай,— сказал я, стараясь дать своему голосу самое кроткое выражение; и мысль, что я поступаю хорошо, подавив свою досаду и помогая ему, еще более усилила во мне это кроткое настроение духа.

Замазка была отбита, гвозди отогнуты, но, несмотря на то, что Николай из всех сил дергал за перекладины, рама не подавалась.

“Если рама выйдет теперь сразу, когда я потяну с ним,— подумал я,— значит, грех, и не надо нынче больше заниматься”. Рама подавалась набок и вышла.

— Куда отнести ее? — сказал я.

— Позвольте, я сам управлюсь,— отвечал Николай, видимо, удивленный и, кажется, недовольный моим усердием,— надо не спутать, а то там, в чулане, они у меня по номерам.

— Я замечу ее,— сказал я, поднимая раму.

Мне кажется, что, если бы чулан был версты за две и рама весила бы вдвое больше, я был бы очень доволен. Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю. Когда я вернулся в комнату, кирпичики и соляные пирамидки были уже переложены на подоконник и Николай крылышком сметал песок и сонных мух в растворенное окно. Свежий пахучий воздух уже проник в комнату и наполнял ее. Из окна слышался городской шум и чиликанье воробьев в палисаднике.

Все предметы были освещены ярко, комната повеселела, легкий весенний ветерок шевелил листья моей “Алгебры” и волоса на голове Николая. Я подошел к окну, сел на него, перегнулся в палисадник и задумался.

Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля, по которой кое-где выбивали ярко-зеленые иглы травы с желтыми стебельками, блестящие на солнце ручьи, по которым вились кусочки земли и щепки, зарасневшиеся прутья сирени с вспухлыми почками, качавшимися под самым окошком, хлопотливое чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте, мокрый от таявшего на нем снега черноватый забор, а главное — этот пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном, которое, хотя я не могу передать так, как оно сказывалось мне, я постараюсь передать так, как я воспринимал его,— все мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже что красота, счастье и добродетель — одно и то же. “Как мог я не понимать этого, как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем! — говорил я сам себе.— Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе”. Несмотря на это, я, однако, долго еще сидел на окне, мечтая и ничего не делая.

Случалось ли вам летом лечь спать днем в пасмурную дождливую погоду и, проснувшись на закате солнца, открыть глаза и в расширяющемся четырехугольнике окна, из-под полотняной сторы, которая, надувшись, бьется прутом об подоконник, увидеть мокрую от дождя, тенистую лиловатую сторону липовой аллеи и сырую садовую дорожку, освещенную яркими косыми лучами, услышать вдруг веселую жизнь птиц в саду и увидеть насекомых, которые вьются в отверстиях окна, просвечивая на солнце, почувствовать запах послеждождового воздуха и подумать: “Как мне не стыдно было проспать такой вечер”, — и торопливо вскочить, чтобы идти в сад порадоваться жизнью? Если случалось, то вот образчик того сильного чувства, которое я испытывал в это время.

Г л а в а III

МЕЧТЫ

“Нынче я исповедаюсь, очищаюсь от всех грехов,— думал я,— и больше уж никогда не буду... (тут я припомнил все грехи, которые больше всего мучили меня). Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь и еще после целый час читать Евангелие, потом из *беленькой*, которую я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно два с полтиной (одну десятую) я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал; и не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает.

У меня будет особенная комната (верно, St.-Jérôme’ова), и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте; человека же ничего для себя не буду заставлять делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком (а ежели мне дадут дрожки, то продам их и деньги эти отложу тоже на бедных) и в точности буду исполнять все (что было это “все”, я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это “все” разумной, нравственной, безупречной жизни). Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию; на втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо в третий курс, так что я восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России... даже в Европе я могу быть первым ученым. Ну, а потом? — спрашивал я сам себя, но тут я припомнил, что эти мечты — гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений.— Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы; выберу

себе там местечко под деревом и буду читать лекции; иногда возьму с собой что-нибудь закусить: сыру, или пирожок от Педотти, или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу, или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте (непреренно выучусь играть на флейте). Потом *она* тоже будет ходить гулять на Воробьевы горы и когда-нибудь подойдет ко мне и спросит: кто я такой? Я посмотрю на нее этак печально и скажу, что я сын священника одного и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один-одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее... Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движенья как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильнее Раппо. Первый день буду держать по полпуда “вытянутой рукой” пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, так что, наконец, по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворне; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об *ней*, я возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо; нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я...”

Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг делается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишённого этой благодетельной, утешительной способности мечтания. Но, исключая общей черты невозможности — волшебности мечтаний, мечтания каждого человека и каждого возраста имеют свой отличительный характер. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства: любовь к *ней*, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Эта *она* была немножко Сонечка, немножко Маша, жена Василья, в то время, как она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую я видел очень давно в театре, в ложе подле нас. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось,

чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя: Николай Иртеньев, и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было надежда на необыкновенное, тщеславное счастье — такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебного-счастливого. Я все ждал, что вот *начнется*, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже *начинается* там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир божий. Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем,— благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?

Г л а в а IV

НАШ СЕМЕЙНЫЙ КРУЖОК

Папа эту весну редко бывал дома. Но зато, когда это случалось, он бывал чрезвычайно весел, брэнчал на фортепьянах свои любимые шуточки, делал сладенькие глазки и выдумывал про всех нас и Мими шуточки, вроде того, что грузинский царевич видел Мими на катанье и так влюбился, что подал прошение в синод об разводной, что меня назначают помощником к венскому посланнику,— и с серьезным лицом сообщал нам эти новости; пугал Катеньку пауками, которых она боялась; был очень ласков с нашими приятелями Дубковым и Нехлюдовым и беспрестанно рассказывал нам и гостям свои планы на

будущий год. Несмотря на то, что планы эти почти каждый день изменялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы их заслушивались, и Любочка, не смигивая, смотрела прямо на рот папа, чтобы не проронить ни одного слова. То план состоял в том, чтобы нас оставить в Москве в университете, а самому с Любочкой ехать на два года в Италию, то в том, чтоб купить имение в Крыму, на южном берегу, и ездить туда каждое лето, то в том, чтобы переехать в Петербург со всем семейством, и т.п. Но, кроме особенного веселья, в папа последнее время произошла еще перемена, очень удивлявшая меня. Он сшил себе модное платье — оливковый фрак, модные панталоны со штрипками и длинную бекешу, которая очень шла к нему, и часто от него прекрасно пахло духами, когда он ездил в гости, и особенно к одной даме, про которую Мими не говорила иначе, как со вздохом и с таким лицом, на котором так и читаешь слова: “Бедные сироты! Несчастливая страсть! Хорошо, что *ее* уж нет”, и т.п. Я узнал от Николая, потому что папа ничего не рассказывал нам про свои игорные дела, что он играл особенно счастливо эту зиму; выиграл что-то ужасно много, положил деньги в ломбард и весной не хотел больше играть. Верно, от этого, боясь не удержаться, ему так хотелось поскорее уехать в деревню. Он даже решил, не дожидаясь моего вступления в университет, тотчас после Пасхи ехать с девочками в Петровское, куда мы с Володей должны были приехать после.

Володя всю эту зиму и до самой весны был неразлучен с Дубковым (с Дмитрием же они начинали холодно расходиться). Главные их удовольствия, сколько я мог заключить по разговорам, которые слышал, постоянно заключались в том, что они беспрестанно пили шампанское, ездили в санях под окна барышни, в которую, как кажется, влюблены были вместе, и танцевали визави уже не на детских, а на настоящих балах. Это последнее обстоятельство, несмотря на то, что мы с Володей любили друг друга, очень много разъединило нас. Мы чувствовали слишком большую разницу — между мальчиком, к которому ходят учителя, и человеком, который танцует на больших балах, — чтобы решиться сообщать друг другу свои мысли. Катенька была уже совсем большая, читала очень много романов, и мысль, что она скоро может выйти замуж, уже не казалась мне шуткой; но, несмотря на то, что и Володя был большой, они не сходились с ним и даже, кажется, взаимно презирали друг друга. Вообще, когда Катенька бывала одна дома, ничто, кроме романов, ее не занимало, и она большей частью скучала; когда же бывали посторонние мужчины, то она становилась очень жива и любезна и делала глазами то, что уже я понять никак не мог, что она этим хотела выразить. Потом только, услышав в разговоре от нее, что одно позволительное для девицы кокетство — это кокетство глаз, я мог объяснить себе эти странные неестественные гримасы глазами, которые других, кажется, вовсе не удивляли. Любочка тоже уже начинала носить почти длинное платье,

так что ее гусиные ноги были почти не видны, но она была такая же плакса, как и прежде. Теперь она мечтала уже выйти замуж не за гусара, а за певца или музыканта и с этой целью усердно занималась музыкой. St.-Jérôme, который, зная, что остается у нас в доме только до окончания моих экзаменов, прискал себе место у какого-то графа, с тех пор как-то презрительно смотрел на наших домашних. Он редко бывал дома, стал курить папиросы, которые были тогда большим щегольством, и беспрестанно свистал через карточку какие-то веселенькие мотивы. Мими становилась с каждым днем все огорченнее и огорченнее и, казалось, с тех пор, как мы все начинали вырастать большими, ни от кого и ни от чего не ожидала ничего хорошего.

Когда я пришел обедать, я застал в столовой только Мими, Катеньку, Любочку и St.-Jérôme'a; папа не был дома, а Володя готовился к экзамену с товарищами в своей комнате и потребовал обед к себе. Вообще это последнее время большей частью первое место за столом занимала Мими, которую мы никто не уважали, и обед много потерял своей прелести. Обед уже не был, как при татап или бабушке, каким-то обрядом, соединяющим в известный час все семейство и разделяющим день на две половины. Мы позволяли себе опаздывать, приходиться ко второму блюду, пить вино в стаканах (чему подавал пример сам St.-Jérôme), разваливаться на стуле, вставать не дообедав и тому подобные вольности. С тех пор обед перестал быть, как прежде, ежедневным семейным радостным торжеством. То ли дело, бывало, в Петровском, когда в два часа все, умытые, одетые к обеду, сидят в гостиной и, весело разговаривая, ждут условленного часа. Именно в то самое время, как хрипят часы в официантской, чтоб бить два, с салфеткой на руке, с достойным и несколько строгим лицом, тихими шагами входит Фока. "Кушанье готово!" — провозглашает он громким протяжным голосом, и все с веселыми, довольными лицами, старшие впереди, младшие сзади, шумя крахмаленными юбками и поскрипывая сапогами и башмаками, идут в столовую и, негромко переговариваясь, рассаживаются на известные места. Или то ли дело, бывало, в Москве, когда все, тихо переговариваясь, стоят перед накрытым столом в зале, дожидаясь бабушки, которой Гаврило уже прошел доложить, что кушанье поставлено, — вдруг отворяется дверь, слышен шорох платья, шарканье ног, и бабушка, в чепце с каким-нибудь необыкновенным лиловым бантом, бочком, улыбаясь или мрачно косясь (смотря по состоянию здоровья), выплывает из своей комнаты. Гаврило бросается к ее креслу, стулья шумят, и, чувствуя, как по спине пробегает какой-то холод — предвестник аппетита, берешься за сыроватую крахмаленную салфетку, съедаешь корочку хлеба и с нетерпеливой и радостной жадностью, потирая под столом руки, поглядываешь на дымящие тарелки супа, которые по чинам, годам и вниманию бабушки разливает дворецкий.

Теперь я уже не испытывал никакой ни радости, ни волнения, приходя к обеду.

Болтовня Мими, St.-Jérôme'a и девочек о том, какие ужасные сапоги носит русский учитель, как у княжон Корнаковых платья с воланами и т.д., — болтовня их, прежде внушавшая мне искреннее презрение, которое я, особенно в отношении Любочки и Катеньки, не старался скрывать, не вывела меня из моего нового, добродетельного расположения духа. Я был необыкновенно кроток; улыбаясь, слушал их особенно ласково, почтительно просил передать мне квасу и согласился с St.-Jérôme'ом, поправившим меня в фразе, которую я сказал за обедом, говоря, что красивее говорить *je puis*¹, чем *je reux*². Должен, однако, сознаться, что мне было несколько неприятно то, что никто не обратил особенного внимания на мою кротость и добродетель. Любочка показала мне после обеда бумажку, на которой она записала все свои грехи; я нашел, что это очень хорошо, но что еще лучше в душе своей записать все свои грехи и что «все это не то».

— Отчего же не то? — спросила Любочка.

— Ну, да и это хорошо; ты меня не поймешь, — и я пошел к себе на верх, сказав St.-Jérôme'у, что иду заниматься, но, собственно, с тем, чтобы до исповеди, до которой оставалось часа полтора, написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым всегда уже, не отступая, действовать.

Г л а в а V

ПРАВИЛА

Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлиновать бумагу. Но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что, проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатую лужу чернил, — лексикон не хватал на всю бумагу, и черта загнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлиновал кое-как. Разделив свои обязанности на три рода: на обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, я начал писать первые, но их оказалось так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать «Правила жизни», а потом уже приняться за расписание. Я взял шесть листов

¹ я могу (фр.)

² я могу (фр.)

бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: «Правила жизни». Эти два слова были написаны так криво и неровно, что я долго думал: не переписать ли? и долго мучился, глядя на разорванное расписанное и это уродливое заглавие. Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?..

— Духовник приехали, пожалуйста вниз правила слушать,— пришел доложить Николай.

Я спрятал тетрадь в стол, посмотрел в зеркало, причесал волосы кверху, что, по моему убеждению, давало мне задумчивый вид, и сошел в диванную, где уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Папа в одно время со мною вошел из другой двери. Духовник, седой монах с строгим старческим лицом, благословил папа. Папа поцеловал его небольшую широкую сухую руку; я сделал то же.

— Позовите Вольдемара,— сказал папа.— Где он? Или нет, ведь он в университете говееет.

— Он занимается с князем,— сказала Катенька и посмотрела на Любочку. Любочка вдруг покраснела отчего-то, сморщилась, притворяясь, что ей что-то больно, и вышла из комнаты. Я вышел вслед за нею. Она остановилась в гостиной и что-то снова записала карандашиком на свою бумажку.

— Что, еще новый грех сделала? — спросил я.

— Нет, ничего, так,— отвечала она, краснея.

В это время в передней послышался голос Дмитрия, который прощался с Володей.

— Вот, тебе все искушение,— сказала Катенька, входя в комнату и обращаясь к Любочке.

Я не мог понять, что делалось с сестрой: она была сконфужена так, что слезы выступили у нее на глаза и что смущение ее, дойдя до крайней степени, перешло в досаду на себя и на Катеньку, которая, видимо, дразнила ее.

— Вот видно, что ты *иностранка* (ничего не могло быть обиднее для Катеньки названия иностранки, с этой-то целью и употребила его Любочка),— перед таким таинством,— продолжала она с важностью в голосе,— и ты меня нарочно расстроиваешь... ты бы должна понимать... это совсем не шутка...

— Знаешь, Николенька, что она написала? — сказала Катенька, разобившая названием *иностранки*,— она написала...

— Не ожидала я, чтоб ты была такая злая,— сказала Любочка, совершенно разиюнившись, уходя от нас,— в такую минуту, и нарочно, целый век, все вводит в грех. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями.

С этими и подобными рассеянными размышлениями я вернулся в диванную, когда все собрались туда и духовник, встав, приготовился читать молитву перед исповедью. Но как только посреди общего молчания раздался выразительный, строгий голос монаха, читавшего молитву, и особенно когда произнес к нам слова: *откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится пред Богом, а ежели утаите что-нибудь, большой грех будете иметь*, — ко мне возвратилось чувство благоговейного трепета, которое я испытывал утром при мысли о предстоящем таинстве. Я даже находил наслаждение в сознании этого состояния и старался удержать его, останавливая все мысли, которые мне приходили в голову, и усиливаясь чего-то бояться.

Первый прошел исповедоваться папа. Он очень долго пробыл в бабушкиной комнате, и во все это время мы все в диванной молчали или шепотом переговаривались о том, кто пойдет прежде. Наконец опять из двери послышался голос монаха, читавшего молитву, и шаги папа. Дверь скрипнула, и он вышел оттуда, по своей привычке покашливая, подергивая плечом и не глядя ни на кого из нас.

— Ну, теперь ты ступай, Люба, да смотри все скажи. Ты ведь у меня большая грешница, — весело сказал папа, щипнув ее за щеку.

Любочка побледнела и покраснела, вынула и опять спрятала запяточку из фартука и, опустив голову, как-то укоротив шею, как будто ожидая удара сверху, прошла в дверь. Она пробыла там недолго, но, выходя оттуда, у нее плечи подергивались от всхлипываний.

Наконец после хорошенькой Катеньки, которая, улыбаясь, вышла из двери, настал и мой черед. Я с тем же тупым страхом и желанием умышленно все больше и больше возбуждать в себе этот страх вошел в полуосвещенную комнату. Духовник стоял перед налоем и медленно обратил ко мне свое лицо.

Я пробыл не более пяти минут в бабушкиной комнате, но вышел оттуда счастливым и, по моему тогдашнему убеждению, совершенно чистым, нравственно переродившимся и новым человеком. Несмотря на то, что меня неприятно поражала вся старая обстановка жизни, те же комнаты, те же мебели, та же моя фигура (мне бы хотелось, чтоб все внешнее изменилось так же, как, мне казалось, я сам изменился внутренно), — несмотря на это, я пробыл в этом отрадном настроении духа до самого того времени, как лег в постель.

Я уже засыпал, перебирая воображением все грехи, от которых очистился, как вдруг вспомнил один стыдный грех, который утаил на исповеди. Слова молитвы перед исповедью вспомнились мне и не переставая звучали у меня в ушах. Все мое спокойствие мгновенно исчезло. «А ежели утаите, большой грех будете иметь...» — слышалось мне беспрестанно, и я видел себя таким страшным грешником, что не было для меня достойного наказания. Долго я ворочался с

боку на бок, передумывая свое положение и с минуты на минуту ожидая божьего наказания и даже внезапной смерти,— мысль, приводившая меня в неописанный ужас. Но вдруг мне пришла счастливая мысль: чем свет идти или ехать в монастырь к духовнику и снова исповедаться,— и я успокоился.

Г л а в а VII

ПОЕЗДКА В МОНАСТЫРЬ

Я несколько раз просыпался ночью, боясь проспать утро, и в шестом часу уж был на ногах. В окнах едва брезжилось. Я надел свое платье и сапоги, которые, скомканные и нечищенные, лежали у постели, потому что Николай еще не успел убрать, и, не молясь Богу, не умываясь, вышел в первый раз в жизни один на улицу.

На противоположной стороне, из-за зеленой крыши большого дома, краснелась туманная, студеная заря. Довольно сильный утренний весенний мороз сковал грязь и ручьи, колол под ногами и щипал мне лицо и руки. В нашем переулке не было еще ни одного извозчика, на которых я рассчитывал, чтобы скорее съездить и вернуться. Только тянулись какие-то возы по Арбату, и два рабочие-каменщика, разговаривая, прошли по тротуару. Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди и женщины, шедшие с корзинками на рынок; бочки, едущие за водой; на перекресток вышел пирожник; открылась одна калашная, и у Арбатских ворот попался извозчик, старичок, спавший, покачиваясь, на своих калиберных, облезлых, голубоватеньких и заплатанных дрожках. Он спросонков, должно быть, запросил с меня всего двугривенный до монастыря и назад, но потом вдруг опомнился и, только что я хотел садиться, захлестал свою лошаденку концами вожжей и совсем было уехал от меня. «Кормить лошадь надо! нельзя, барин»,— бормотал он.

Насилу я уговорил его остановиться, предложив ему два двугривенных. Он остановил лошадь, внимательно осмотрел меня и сказал: «Садись, барин». Признаюсь, я боялся несколько, что он завезет меня в глухой переулок и ограбит. Ухватив его за воротник изорванного армячишка, причем его сморщенная шея над сильно сгорбленной спиной как-то жалобно обнажилась, я влез верхом на волнообразное голубенькое колыхающееся сиденье, и мы затряслись вниз по Воздвиженке. Дорогой я успел заметить, что спинка дрожек была обита кусочком зеленоватенькой материи, из которой был и армяк извозчика; это обстоятельство почему-то успокоило меня, и я уже не боялся, что извозчик завезет меня в глухой переулок и ограбит.

Солнце уже поднялось довольно высоко и ярко золотило куполы церквей, когда мы подъехали к монастырю. В тени еще держался мороз, но по всей дороге текли быстрые мутные ручьи, и лошадь

шлепала по оттаявшей грязи. Войдя в монастырскую ограду, у первого лица, которое я увидел, я спросил, как бы мне найти духовника.

— Вон его келья,— сказал мне проходивший монах, останавливаясь на минуту и указывая на маленький домик с крылечком.

— Покорно вас благодарю,— сказал я...

Но что обо мне могли думать монахи, которые, друг за другом выходя из церкви, все глядели на меня? Я был ни большой, ни ребенок; лицо мое было не умыто, волосы не причесаны, платье в пуху, сапоги не чищены и еще в грязи. К какому разряду людей относили меня мысленно монахи, глядевшие на меня? А они смотрели на меня внимательно. Однако я все-таки шел по направлению, указанному мне молодым монахом.

Старичок в черной одежде, с густыми седыми бровями, встретился мне на узенькой дорожке, ведущей к кельям, и спросил, что мне надо?

Была минута, что я хотел сказать «ничего», бежать назад к извозчику и ехать домой, но, несмотря на надвинутые брови, лицо старика внушало доверие. Я сказал, что мне нужно видеть духовника, назвав его по имени.

— Пойдемте, *барчук*, я вас проведу,— сказал он, поворачиваясь назад и, по-видимому, сразу угадав мое положение,— батюшка в утрани, он скоро пожалует.

Он отворил дверь и через чистенькие сени и переднюю, по чистому полотняному половику, провел меня в келью.

— Вот тут и подождите,— сказал он мне с добродушным, успокоительным выражением и вышел.

Комнатка, в которой я находился, была очень невелика и чрезвычайно опрятно убрана. Вся мебель составляли: столик, покрытый клеенкой, стоявший между двумя маленькими створчатыми окнами, на которых стояли два горшка гераниума, стоечка с образами и лампадкой, висевшей перед ними, одно кресло и два стула. В углу висели стенные часы с разрисованными цветочками циферблатом и поднянутыми на цепочках медными гирями; на перегородке, соединявшейся с потолком деревянными, выкрашенными известкой палочками (за которой, верно, стояла кровать), висело на гвоздиках две рясы.

Окна выходили на какую-то белую стену, видневшуюся в двух аршинах от них. Между ими и стеной был маленький куст сирени. Никакой звук снаружи не доходил в комнату, так что в этой тишине равномерное, приятное постукивание маятника казалось сильным звуком. Как только я остался один в этом тихом уголке, вдруг все мои прежние мысли и воспоминания выскочили у меня из головы, как будто их никогда не было, и я весь погрузился в какую-то невыразимо приятную задумчивость. Эта нанковая пожелтевшая ряса с протертой подкладкой, эти истертые кожаные черные переплеты книг с медными застежками, эти мутно-зеленые цветы с тщательно политой землей и обмытыми листьями, а особенно этот однообразно прерыв-

вистый звук маятника говорили мне внятно про какую-то новую, доселе бывшую мне неизвестной, жизнь, про жизнь уединения, молитвы, тихого, спокойного счастья...

«Проходят месяцы, проходят годы,— думал я,— он все один, он все спокоен, он все чувствует, что совесть его чиста пред Богом и молитва услышана им». С полчаса я просидел на стуле, стараясь не двигаться и не дышать громко, чтобы не нарушать гармонию звуков, говоривших мне так много. А маятник все стучал так же — направо громче, налево тише.

Г л а в а VIII

ВТОРАЯ ИСПОВЕДЬ

Шаги духовника вывели меня из этой задумчивости.

— Здравствуйте,— сказал он, поправляя рукой свои седые волосы.— Что вам угодно?

Я попросил его благословить меня и с особенным удовольствием поцеловал его желтоватую небольшую руку.

Когда я объяснил ему свою просьбу, он ничего не сказал мне, пошел к иконам и начал исповедь.

Когда исповедь кончилась и я, преодолев стыд, сказал все, что было у меня на душе, он положил мне на голову руки и своим звучным, тихим голосом произнес: «Да будет, сын мой, над тобою благословение Отца Небесного, да сохранит Он в тебе навсегда веру, кротость и смирение. Аминь».

Я был совершенно счастлив; слезы счастья подступали мне к горлу; я поцеловал складку его драдедамовой рясы и поднял голову. Лицо монаха было совершенно спокойно.

Я чувствовал, что наслаждаюсь чувством умиления, и, боясь чем-нибудь разогнать его, торопливо простился с духовником, и, не глядя по сторонам, чтобы не рассеяться, вышел за ограду и снова сел на колышающиеся полосатые дроздки. Но толчки экипажа, пестрота предметов, мелькавших перед глазами, скоро разогнали это чувство; и я уже думал о том, как теперь духовник, верно, думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он никогда не встречал в жизни, да и не встретит, что даже и не бывает подобных. Я в этом был убежден; и это убеждение произвело во мне чувство веселья такого рода, которое требовало того, чтобы кому-нибудь сообщить его.

Мне ужасно хотелось поговорить с кем-нибудь; но так как никого под рукой не было, кроме извозчика, я обратился к нему.

— Что, долго я был? — спросил я.

— Ничего-таки, долго, а лошадь давно кормить пора; ведь я *ночной*,— отвечал старичок извозчик, теперь, по-видимому, с солнышком повеселевший сравнительно с прежним.

— А мне показалось, что я был всего одну минуту,— сказал я.— А знаешь, зачем я был в монастыре? — прибавил я, пересаживаясь в углубление, которое было на дрожках ближе к старичку извозчику.

— Наше дело какое? Куда седок скажет, туда и везем,— отвечал он.

— Нет, все-таки, как ты думаешь? — продолжал я допрашивать.

— Да, верно, хоронить кого, ездили место покупать,— сказал он.

— Нет, братец; а знаешь, зачем я ездил?

— Не могу знать, барин,— повторил он.

Голос извозчика показался мне таким добрым, что я решился в назидание его рассказать ему причины моей поездки и даже чувство, которое я испытывал.

— Хочешь, я тебе расскажу? Вот видишь ли...

И я рассказал ему все и описал все свои прекрасные чувства. Я даже теперь краснею при этом воспоминании.

— Так-с,— сказал извозчик недоверчиво.

И долго после этого молчал и сидел недвижно, только изредка поправляя полу армяка, которая все выбивалась из-под его полосатой ноги, прыгавшей в большом сапоге на подножке калибера. Я уже думал, что и он думает про меня то же, что духовник,— то есть, что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете; но он вдруг обратился ко мне:

— А что, барин, ваше дело господское.

— Что? — спросил я.

— Дело-то, дело господское,— повторил он, шамкая беззубыми губами.

«Нет, он меня не понял»,— подумал я, но уже больше не говорил с ним до самого дома.

Хотя не самое чувство умиления и набожности, но самодовольство в том, что я испытал его, удержалось во мне всю дорогу, несмотря на народ, который при ярком солнечном блеске пестрел везде на улицах; но как только я приехал домой, чувство это совершенно исчезло. У меня не было двух двугривенных, чтоб заплатить извозчику. Дворецкий Гаврило, которому я уже был должен, не давал мне больше взаймы. Извозчик, увидав, как я два раза пробежал по двору, чтоб доставать деньги, должно быть, догадавшись, зачем я бегаю, слез с дрожек и, несмотря на то, что казался мне таким добрым, громко начал говорить, с видимым желанием уколоть меня, о том, как бывают шаромыжники, которые не платят за езду.

Дома еще все спали, так что, кроме людей, мне не у кого было занять двух двугривенных. Наконец Василий под самое честное, честное слово, которому (я по лицу его видел) он не верил нисколько, но так, потому что любил меня и помнил услугу, которую я ему оказал, заплатил за меня извозчику. Так дымом разлетелось это чувство. Когда я стал одеваться в церковь, чтоб со всеми вместе идти прича-

щаться, и оказалось, что мое платье не было перешито и его нельзя было надеть, я пропасть нагрешил. Надев другое платье, я пошел к причастию в каком-то странном положении торопливости мыслей и с совершенным недоверием к своим прекрасным наклонностям.

Г л а в а IX

КАК Я ГОТОВЛЮСЬ К ЭКЗАМЕНУ

В четверг на Святой папа, сестра и Мими с Катенькой уехали в деревню, так что во всем большом бабушкином доме оставались только Володя, я и St.-Jérôme. То настроение духа, в котором я находился в день исповеди и поездки в монастырь, совершенно прошло и оставило по себе только смутное, хотя и приятное, воспоминание, которое все более и более заглушалось новыми впечатлениями свободной жизни.

Тетрадь с заглавием «Правила жизни» тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадами. Несмотря на то, что мысль о возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилась мне, казалась чрезвычайно простою и вместе великою, и я намеревался все-таки приложить ее к жизни, я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и все откладывал до такого-то времени. Меня утешало, однако, то, что всякая мысль, которая приходила мне теперь в голову, подходила как раз под какое-нибудь из подразделений моих правил и обязанностей: или к правилам в отношении к ближним, или к себе, или к Богу. «Вот тогда я это отнесу туда и еще много, много мыслей, которые мне придут тогда, по этому предмету»,— говорил я сам себе. Часто теперь я спрашиваю себя: когда я был лучше и правее — тогда ли, когда верил во всемогущество ума человеческого, или теперь, когда, потеряв силу развития, сомневаюсь в силе и значении ума человеческого? — и не могу себе дать положительного ответа.

Сознание свободы и то весеннее чувство ожидания чего-то, про которое я говорил уже, до такой степени взволновали меня, что я решительно не мог совладеть с самим собою и приготавливался к экзамену очень плохо. Бывало, утром занимаешься в классной комнате и знаешь, что необходимо работать, потому что завтра экзамен из предмета, в котором целых два вопроса еще не прочитаны мной, но вдруг пахнёт из окна каким-нибудь весенним духом,— покажется, будто что-то крайне нужно сейчас вспомнить, руки сами собою опускают книгу, ноги сами собою начинают двигаться и ходить взад и вперед, а в голове, как будто кто-нибудь пожал пружинку и пустил в ход машину, в голове так легко и естественно и с такою быстротою начинают пробегать разные пестрые, веселые мечты, что только ус-

певаешь замечать блеск их. И час и два проходят незаметно. Или тоже сидишь за книгой и кое-как сосредоточишь все внимание на то, что читаешь, вдруг по коридору услышишь женские шаги и шум платья,— и все выскочило из головы, и нет возможности усидеть на месте, хотя очень хорошо знаешь, что, кроме Гаши, старой бабушкиной горничной, никто не мог пройти по коридору. «Ну, а ежели это вдруг *она?* — приходит в голову,— ну, а если теперь-то вот и начнется, а я пропущу?» — и выскакиваешь в коридор, видишь, что это точно Гаша; но уж долго потом не совладеешь с головой. Пружинка пожата, и опять пошла кутерьма страшная. Или вечером сидишь один с сальной свечой в своей комнате; вдруг на секунду, чтоб снять со свечи или поправиться на стуле, отрываешься от книги и видишь, что везде в дверях, по углам темно, и слышишь, что везде в доме тихо,— опять невозможно не остановиться и не слушать этой тишины, и не смотреть на этот мрак отворенной двери в темную комнату, и долго-долго не пробыть в неподвижном положении или не пойти вниз и не пройти по всем пустым комнатам. Часто тоже долго по вечерам я просиживал незамеченным в зале, прислушиваясь к звуку «Соловья», которого двумя пальцами наигрывала на фортепьянах Гаша, сидя одна при сальной свечке в большой зале. А уж при лунном свете я решительно не мог не вставать с постели и не ложиться на окно в палисадник и, вглядываясь в освещенную крышу Шапошниковова дома, и стройную колокольню нашего прихода, и в черную тень забора и куста, ложившуюся на дорожку садика, не мог не просиживать так долго, что потом просыпался с трудом только в десять часов утра.

Так что, ежели бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне, не St.-Jérôme, который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие, и, главное, не желание показаться дельным малым в глазах моего друга Нехлюдова, то есть выдержать отлично экзамен, что, по его понятиям, было очень важною вещью,— ежели бы не это, то весна и свобода сделали бы то, что я забыл бы даже все то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена.

Г л а в а X

ЭКЗАМЕН ИСТОРИИ

Шестнадцатого апреля я в первый раз под покровительством St.-Jérôme'a вошел в большую университетскую залу. Мы приехали с ним в нашем довольно щегольском фаэтоне. Я был во фраке в первый раз в моей жизни, и все платье, даже белье, чулки, было на мне самое новое и лучшее. Когда швейцар снял с меня внизу шинель и я предстал пред ним во всей красоте своей одежды, мне даже стало несколь-

ко совестно за то, что я так ослепителен. Однако, едва только я вступил в светлую паркетную залу, наполненную народом, и увидел сотни молодых людей в гимназических мундирах и во фраках, из которых некоторые равнодушно взглянули на меня, и в дальнем конце важных профессоров, свободно ходивших около столов и сидевших в больших креслах, как я в ту же минуту разочаровался в надежде обратить на себя общее внимание, и выражение моего лица, означавшее дома и еще в сенях как бы сожаление в том, что я против моей воли имею вид такой благородный и значительный, заменилось выражением сильнейшей робости и некоторого уныния. Я даже впал в другую крайность и обрадовался весьма, увидав на ближайшей лавке одного чрезвычайно дурно, нечистоплотно одетого господина, еще не старого, но почти совсем седого, который, в отдалении от других, сидел на задней лавке. Я тотчас же подсел к нему и стал рассматривать экзаменующихся и делать о них свои заключения. Много тут было разнообразных фигур и лиц, но все они, по моим тогдашним понятиям, легко распределялись на три рода.

Были такие же, как я, явившиеся на экзамен с гувернерами или родителями, и в числе их меньшей Ивин с знакомым мне Фростом и Иленька Грап с своим старым отцом. Все таковые были с пушистыми подбородками, имели выпущенное бельё и сидели смирно, не раскрывая книг и тетрадей, принесенных с собою, и с видимой робостью смотрели на профессоров и экзаменные столы. Второго рода экзаменующиеся были молодые люди в гимназических мундирах, из которых многие уже брили бороды. Эти были большей частью знакомы между собой, говорили громко, по имени и отчеству называли профессоров, тут же готовили вопросы, передавали друг другу тетради, шагали через скамейки, из сеней приносили пирожки и бутерброды, которые тут же съедали, только немного наклонив голову на уровень лавки. И, наконец, третьего рода экзаменующиеся, которых, впрочем, было немного, были совсем старые, во фраках, но большей частью в сюртуках и без видимого бельё. Эти держали себя весьма серьезно, сидели уединенно и имели вид очень мрачный. Тот, который утешил меня тем, что наверно был одет хуже меня, принадлежал к этому последнему роду. Он, облокотившись на обе руки, сквозь пальцы которых торчали всклокоченные полуседые волосы, читал в книге и, только на мгновение взглянув на меня не совсем доброжелательно своими блестящими глазами, мрачно нахмурился и еще выставил в мою сторону глянцеви́тый локоть, чтоб я не мог подвинуться к нему ближе. Гимназисты, напротив, были слишком общительны, и я их немножко боялся. Один, сунув мне в руку книгу, сказал: «Передайте вон ему»; другой, проходя мимо меня, сказал: «Пустите-ка, батюшка»; третий, перелезая через лавку, уперся на мое плечо, как на скамейку. Все это мне было дико и неприятно; я считал себя гораздо выше этих гимназистов и полагал, что они не должны были

позволять себе со мною такой фамильярности. Наконец начали вызывать фамилии; гимназисты выходили смело и отвечали большей частью хорошо, возвращались весело; наша братья робела гораздо более, да и, как кажется, отвечала хуже. Из старых некоторые отвечали превосходно, другие очень плохо. Когда вызвали Семенова, то мой сосед с седыми волосами и блестящими глазами, грубо толкнув меня, перелез через мои ноги и пошел к столу. Как было заметно по виду профессоров, он отвечал отлично и смело. Возвратившись к своему месту, он, не узнавая о том, сколько ему поставили, спокойно взял свои тетрадки и вышел. Уж несколько раз я содрогался при звуке голоса, вызывающего фамилии, но еще до меня не доходила очередь по алфавитному списку, хотя уже вызывали фамилии, начинающиеся с К. «Иконин и Теньев»,— вдруг прокричал кто-то из профессорского угла. Мороз пробежал у меня по спине и в волосах.

— Кого звали? Кто Бартеньев? — заговорили вокруг меня.

— Иконин, иди, тебя зовут; да кто же Бартеньев, Морденьеv? я не знаю, признавайся,— говорил высокий румяный гимназист, стоявший за мной.

— Вам,— сказал St.-Jérôme.

— Моя фамилия Иртенев,— сказал я румяному гимназисту,— разве Иртенева звали?

— Ну, да; что ж вы неидете?.. Вишь, какой франт! — прибавил он не громко, но так, что я слышал его слова, выходя из-за скамейки.

Впереди меня шел Иконин, высокий молодой человек лет двадцати пяти, принадлежавший к третьему роду, старых. На нем был оливковый узенький фрак, атласный синий галстук, на котором лежали сзади длинные белокурые волосы, тщательно причесанные à la мужик. Я заметил его наружность еще на лавках. Он был недурен собою, разговорчив; и меня особенно поразили в нем странные рыжие волосы, которые он отпустил себе на горле, и еще более странная привычка, которую он имел,— беспрестанно расстегивать жилет и чесать себе грудь под рубашкой.

Три профессора сидели за тем столом, к которому я подошел вместе с Икониним; ни один из них не ответил на наш поклон. Молодой профессор тасовал билеты, как колоду карт, другой профессор, с звездой на фраке, смотрел на гимназиста, говорившего что-то очень скоро про Карла Великого, к каждому слову прибавляя «наконец», и третий, старичок в очках, опустив голову, посмотрел на нас через очки и указал на билеты. Я чувствовал, что взгляд его был совокупно обращен на меня и Иконина и что в нас не понравилось ему что-то (может быть, рыжие волосы Иконина), потому что он сделал, глядя опять-таки на обоих нас вместе, нетерпеливый жест головой, чтоб мы скорее брали билеты. Мне было досадно и оскорбительно, во-первых, то, что никто не ответил на наш поклон, а во-вторых, то, что меня, видимо, соединяли с Икониним в одно понятие экзамену-

щихся и уже предубеждены против меня за рыжие волосы Иконина. Я взял билет без робости и готовился отвечать; но профессор указал глазами на Иконина. Я прочел свой билет: он был мне знаком, и я, спокойно ожидая своей очереди, наблюдал то, что происходило передо мной. Иконин нисколько не оробел и даже слишком смело, как-то всем боком двинулся, чтоб взять билет, встряхнул волосами и бойко прочел то, что было написано на билете. Он открыл было рот, как мне казалось, чтобы начать отвечать, как вдруг профессор со звездой, с похвалой отпустив гимназиста, посмотрел на него. Иконин как будто что-то вспомнил и остановился. Общее молчание продолжалось минуты две.

— Ну,— сказал профессор в очках.

Иконин открыл рот и снова замолчал.

— Ведь не вы одни; извольте отвечать или нет? — сказал молодой профессор, но Иконин даже не взглянул на него. Он пристально смотрел в билет и не произнес ни одного слова. Профессор в очках смотрел на него и сквозь очки, и через очки, и без очков, потому что успел в это время снять их, тщательно протереть стекла и снова надеть. Иконин не произнес ни одного слова. Вдруг улыбка блеснула на его лице, он встряхнул волосами, опять всем боком развернувшись к столу, положил билет, взглянул на всех профессоров поочередно, потом на меня, повернулся и бодрым шагом, размахивая руками, вернулся к лавкам. Профессора переглянулись между собой.

— Хорош голубчик! — сказал молодой профессор,— своекоштный!

Я подвинулся ближе к столу, но профессора продолжали почти шепотом говорить между собой, как будто никто из них и не подозревал моего присутствия. Я был тогда твердо убежден, что всех трех профессоров чрезвычайно занимал вопрос о том, выдержу ли я экзамен и хорошо ли я его выдержу, но что они так только, для важности, притворялись, что это им совершенно все равно и что они будто бы меня не замечают.

Когда профессор в очках равнодушно обратился ко мне, приглашая отвечать на вопрос, то, взглянув ему в глаза, мне немножко совестно было за него, что он так лицемерил передо мной, и я несколько замялся в начале ответа; но потом пошло легче и легче, и так как вопрос был из русской истории, которую я знал отлично, то я кончил блистательно и даже до того расхотелся, что, желая дать почувствовать профессорам, что я не Иконин и что меня смешивать с ним нельзя, предложил взять еще билет; но профессор, кивнув головой, сказал: «Хорошо-с»,— и отметил что-то в журнале. Возвратившись к лавкам, я тотчас же узнал от гимназистов, которые, Бог знает как, все узнавали, что мне было поставлено пять.

ЭКЗАМЕН МАТЕМАТИКИ

На следующих экзаменах, кроме Грапа, которого я считал недостойным своего знакомства, и Ивина, который почему-то дичился меня, я уже имел много новых знакомых. Некоторые уже здоровались со мной. Иконин даже обрадовался, увидав меня, и сообщил мне, что он будет переэкзаменовываться из истории, что профессор истории зол на него еще с прошлогоднего экзамена, на котором он будто бы тоже *сбил* его. Семенов, который поступал в один факультет со мной, в математический, до конца экзаменов все-таки дичился всех, сидел молча один, облокотясь на руки и засунув пальцы в свои седые волосы, и экзаменовался отлично. Он был вторым; первым же был гимназист первой гимназии. Это был высокий худощавый брюнет, весьма бледный, с подвязанной черным галстуком щекой и открытым прыщами лбом. Руки у него были худые, красные, с чрезвычайно длинными пальцами, и ногти обкусаны так, что концы пальцев его казались перевязаны ниточками. Все это мне казалось прекрасным и таким, каким должно было быть у *первого гимназиста*. Он говорил со всеми так же, как и все, даже и я с ним познакомился, но все-таки, как мне казалось, в его походке, движениях губ и черных глазах было заметно что-то необыкновенное, *магнетическое*.

На экзамен математики я пришел раньше обыкновенного. Я знал предмет порядочно, но было два вопроса из алгебры, которые я как-то утаил от учителя и которые мне были совершенно неизвестны. Это были, как теперь помню: теория сочетаний и бином Ньютона. Я сел на заднюю лавку и просматривал два незнакомые вопроса; но непривычка заниматься в шумной комнате и недостаточность времени, которую я предчувствовал, мешали мне вникнуть в то, что я читал.

— Вот он, поди сюда, Нехлюдов,— послышался за мной знакомый голос Володи.

Я обернулся и увидел брата и Дмитрия, которые в расстегнутых сюртуках, размахивая руками, проходили ко мне между лавок. Сейчас видны были студенты второго курса, которые в университете как дома. Один вид их расстегнутых сюртуков выражал презрение к нашему брату поступающему, а нашему брату поступающему внушал зависть и уважение. Мне было весьма лестно думать, что все окружающие могли видеть, что я знаком с двумя студентами второго курса, и я поскорее встал им навстречу.

Володя даже не мог удержаться, чтоб не выразить чувства своего превосходства.

— Эх ты, горемычный! — сказал он.— Что, не экзаменовался еще?

— Нет.

— Что ты читаешь? Разве не приготовил?

— Да, два вопроса не совсем. Тут не понимаю.

— Что? вот это? — сказал Володя и начал мне объяснять бином Ньютона, но так скоро и неясно, что, в моих глазах прочтя недоверие к своему знанию, он взглянул на Дмитрия и, в его глазах, должно быть, прочтя то же, покраснел, но все-таки продолжал говорить что-то, чего я не понимал.

— Нет, постой, Володя, дай я с ним пройду, коли успеем, — сказал Дмитрий, взглянув на профессорский угол, и подсел ко мне.

Я сейчас заметил, что друг мой был в том самодовольно-кротком расположении духа, которое всегда на него находило, когда он бывал доволен собой, и которое я особенно любил в нем. Так как математику он знал хорошо и говорил ясно, он так славно прошел со мной вопрос, что до сих пор я его помню. Но едва он кончил, как St.-Jérôme громким шепотом проговорил: «A vous, Nicolas!»¹ — и я вслед за Икониным вышел из-за лавки, не успев пройти другого незнакомого вопроса. Я подошел к столу, у которого сидело два профессора и стоял гимназист перед черной доской. Гимназист бойко выводил какую-то формулу, со стуком ломая мел о доску, и все писал, несмотря на то, что профессор уже сказал ему: «Довольно», — и велел нам взять билеты. «Ну что, ежели достанется теория сочетаний!» — подумал я, доставая дрожащими пальцами билет из мягкой кипы нарезанных бумажек. Иконин с тем же смелым жестом, как и в прошедший экзамен, раскачнувшись всем боком, не выбирая, взял верхний билет, взглянул на него и сердито нахмурился.

— Все этикие черти попадаются! — пробормотал он.

Я посмотрел на свой.

О ужас! это была теория сочетаний!..

— А у вас какой? — спросил Иконин.

Я показал ему.

— Этот я знаю, — сказал он.

— Хотите меняться?

— Нет, все равно, я чувствую, что не в духе, — едва успел прошептать Иконин, как профессор уж подозвал нас к доске.

«Ну, все пропало! — подумал я. — Вместо блестящего экзамена, который я думал сделать, я навеки покроюсь срамом, хуже Иконина». Но вдруг Иконин, в глазах профессора, повернулся ко мне, вырвал у меня из рук мой билет и отдал мне свой. Я взглянул на билет. Это был бином Ньютона.

Профессор был не старый человек, с приятным, умным выражением, которое особенно давала ему чрезвычайно выпуклая нижняя часть лба.

— Что это, вы билетами меняетесь, господа? — сказал он.

¹ Вам, Николай! (фр.)

— Нет, это он так, давал мне свой посмотреть, господин профессор,— нашелся Иконин, и опять слово *господин профессор* было последнее слово, которое он произнес на этом месте; и опять, проходя назад мимо меня, он взглянул на профессоров, на меня, улыбнулся и пожал плечами, с выражением, говорившим: «Ничего, брат!» (Я после узнал, что Иконин уже третий год являлся на вступительный экзамен.)

Я отвечал отлично на вопрос, который только что прошел,— профессор даже сказал мне, что лучше, чем можно требовать, и поставил — пять.

Г л а в а XII

ЛАТИНСКИЙ ЭКЗАМЕН

Все шло отлично до латинского экзамена. Подвязанный гимназист был первым, Семенов — вторым, я — третьим. Я даже начинал гордиться и серьезно думать, что, несмотря на мою молодость, я всем не шутка.

Еще с первого экзамена все с трепетом рассказывали про латинского профессора, который был будто бы какой-то зверь, наслаждавшийся гибелью молодых людей, особенно своекоштных, и говоривший будто бы только на латинском или греческом языке. St.-Jérôme, который был моим учителем латинского языка, ободрял меня, да и мне казалось, что, переводя без лексикона Цицерона, несколько од Горация и зная отлично Цумпта, я был приготовлен не хуже других, но вышло иначе. Все утро только и было слышно, что о погибели тех, которые выходили прежде меня: тому поставил нуль, тому единицу, того еще разбил и хотел выгнать и т.д., и т.д. Только Семенов и первый гимназист, как всегда, спокойно вышли и вернулись, получив по пять каждый. Я уже предчувствовал несчастье, когда нас вызвали вместе с Икониним к маленькому столику, против которого страшный профессор сидел совершенно один. Страшный профессор был маленький, худой, желтый человек, с длинными масляными волосами и с весьма задумчивой физиономией.

Он дал Иконину книгу речей Цицерона и заставил переводить его.

К великому удивлению моему, Иконин не только прочел, но и перевел несколько строк с помощью профессора, который ему подсказывал. Чувствуя свое превосходство перед таким слабым соперником, я не мог не улыбнуться, и даже несколько презрительно, когда дело дошло до анализа и Иконин по-прежнему погрузился в очевидно безвыходное молчание. Я этой умной, слегка насмешливой улыбкой хотел понравиться профессору, но вышло наоборот.

— Вы, верно, лучше знаете, что улыбаются,— сказал мне профессор дурным русским языком,— посмотрим. Ну, скажите вы.

Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину и что Иконин даже жил у него. Я ответил тотчас же на вопрос из синтаксиса, который был предложен Иконину, но профессор сделал печальное лицо и отвернулся от меня.

— Хорошо-с, придет и ваш черед, увидим, как вы знаете,— сказал он, не глядя на меня, и стал объяснять Иконину то, об чем его спрашивал.

— Ступайте,— добавил он; и я видел, как он в тетради баллов поставил Иконину четыре. «Ну,— подумал я,— он совсем не так строг, как говорили». После ухода Иконина он верных минут пять, которые мне показались за пять часов, укладывал книги, билеты, сморкался, поправлял кресла, разваливался на них, смотрел в залу, по сторонам и повсюду, но только не на меня. Все это притворство показалось ему, однако, недостаточным, он открыл книгу и притворился, что читает ее, как будто меня вовсе тут не было. Я подвинулся ближе и кашлянул.

— Ах, да! еще вы? Ну, переведите-ка что-нибудь,— сказал он, подавая мне какую-то книгу,— да нет, лучше вот эту.— Он перелистывал книгу Горация и развернул мне ее на таком месте, которое, как мне казалось, никто никогда не мог бы перевести.

— Я этого не готовил,— сказал я.

— А вы хотите отвечать то, что выучили наизусть,— хорошо! Нет, вот это переведите.

Кое-как я стал добираться до смысла, но профессор на каждый мой вопросительный взгляд качал головой и, вздыхая, отвечал только «нет». Наконец он закрыл книгу так нервически быстро, что захлопнул между листьями свой палец; сердито выдернув его оттуда, он дал мне билет из грамматики и, откинувшись назад на кресла, стал молчать самым зловещим образом. Я стал было отвечать, но выражение его лица сковывало мне язык, и все, что бы я ни сказал, мне казалось не то.

— Не то, не то, совсем не то,— заговорил он вдруг своим гадким выговором, быстро переменяя положение, облакачиваясь об стол и играя золотым перстнем, который у него слабо держался на худом пальце левой руки.— Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение; вы все хотите только мундир носить с синим воротником; верхов нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами; нет, господа, надо основательно изучать предмет, и т.д., и т.д.

Во все время этой речи, произносимой коверканным языком, я с тупым вниманием смотрел на его потупленные глаза. Сначала мучило меня разочарование не быть третьим, потом страх вовсе не выдержать экзамена, и, наконец, к этому присоединилось чувство сознания несправедливости, оскорбленного самолюбия и незаслуженного унижения; сверх того, презрение к профессору за то, что он не был, по моим понятиям, из людей *comme il faut*,— что я открыл, глядя на его короткие, крепкие и круглые ногти,— еще более разжигало во

мне и делало ядовитыми все эти чувства. Взглянув на меня и заметив мои дрожащие губы и налитые слезами глаза, он перевел, должно быть, мое волнение просьбой прибавить мне балл и, как будто сжалившись надо мной, сказал (и еще при другом профессоре, который подошел в это время):

— Хорошо-с, я поставлю вам переходный балл (это значило два), хотя вы его не заслуживаете, но это только в уважение вашей молодости и в надежде, что вы в университете уже не будете так легкомысленны.

Последняя фраза его, сказанная при постороннем профессоре, который смотрел на меня так, как будто тоже говорил: «Да, вот видите, молодой человек!» — окончательно смутила меня. Была одна минута, когда глаза у меня застлало туманом: страшный профессор с своим столом показался мне сидящим где-то вдали, и мне с страшной, односторонней ясностью пришла в голову дикая мысль: «А что, ежели?... что из этого будет?» Но я этого почему-то не сделал, а напротив, бессознательно, особенно почтительно поклонился обоим профессорам и, слегка улыбнувшись, кажется, той же улыбкой, какой улыбался Иконин, отошел от стола.

Несправедливость эта до такой степени сильно подействовала на меня тогда, что, ежели бы я был свободен в своих поступках, я бы не пошел больше экзаменоваться. Я потерял всякое честолюбие (уже нельзя было и думать о том, чтоб быть третьим), и остальные экзамены я спустил без всякого старания и даже волнения. В общем числе у меня было, однако, четыре с лишком, но это уже вовсе не интересовало меня; я сам с собою решил и доказал это себе весьма ясно, что чрезвычайно глупо и даже *mauvais genre*¹ стараться быть первым, а надо так, чтоб только ни слишком дурно, ни слишком хорошо, как Володя. Этого я намерен был держаться и впредь в университете, несмотря на то, что в этом случае я в первый раз расходился в мнениях с своим другом.

Я думал уже только о мундире, треугольной шляпе, собственных дрожках, собственной комнате и, главное, о собственной свободе.

Г л а в а XIII

Я БОЛЬШОЙ

Впрочем, и эти мысли имели свою прелесть.

Восьмого мая, вернувшись с последнего экзамена, Закона Божия, я нашел дома знакомого мне подмастерье от Розанова, который еще прежде приносил на живую нитку сметанные мундир и сюртук из

¹ дурной тон (фр.)

глянцевитого черного сукна с отливом и отбивал мелом лацкана, а теперь принес совсем готовое платье, с блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками.

Надев это платье и найдя его прекрасным, несмотря на то, что St.-Jérôme уверял, что спинка сюртука морщила, я сошел вниз, с самодовольной улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моем лице, и пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня. Гаврило, дворецкий, догнал меня в зале, поздравил с поступлением, передал, по приказанию папа, четыре беленькие бумажки и сказал, что, тоже по приказанию папа, с нынешнего дня кучер Кузьма, пролетка и гнедой Красавчик в моем полном распоряжении. Я так обрадовался этому почти неожиданному счастью, что никак не мог притвориться равнодушным перед Гаврилой и, несколько растерявшись и задохнувшись, сказал первое, что мне пришло в голову, — кажется, что «Красавчик отличный рысак». Взглянув на головы, которые высовывались из дверей передней и коридора, не в силах более удерживаться, рысью побежал через залу в своем новом сюртуке с блестящими золотыми пуговицами. В то время как я входил к Володе, за мной послышались голоса Дубкова и Нехлюдова, которые приехали поздравить меня и предложить ехать обедать куда-нибудь и пить шампанское в честь моего вступления. Дмитрий сказал мне, что он, хотя и не любит пить шампанское, нынче поедет с нами, чтобы выпить со мною *на ты*. Дубков сказал, что я почему-то похож вообще на полковника; Володя не поздравил меня и весьма сухо только сказал, что теперь мы послезавтра можем ехать в деревню. Как будто, хотя он был и рад моему поступлению, ему немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как и он. St.-Jérôme, который тоже пришел к нам, сказал очень напыщенно, что его обязанность кончена, что он не знает, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но что он сделал все, что мог, и что завтра он переезжает к своему графу. В ответ на все, что мне говорили, я чувствовал, как против моей воли на лице моем расцветала сладкая, счастливая, несколько глупо-самодовольная улыбка, и замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил.

И вот у меня нет гувернера, у меня есть свои дрожки, имя мое напечатано в списке студентов, у меня шпага на португее, будочники могут иногда делать мне честь... я большой, я, кажется, счастлив.

Обедать мы решили у Яра в пятом часу; но так как Володя поехал к Дубкову, а Дмитрий тоже по своей привычке исчез куда-то, сказав, что у него есть до обеда одно дело, то я мог употребить два часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся во все зеркала то в застегнутом сюртуке, то совсем в расстегнутом, то в застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и все мне казалось отлично. Потом, как мне ни совестно было показывать слишком большую радость, я не удержался, пошел в конюшню и ка-

ретный сарай, посмотрел Красавчика, Кузьму и дрожки, потом снова вернулся и стал ходить по комнатам, поглядывая в зеркала и рассчитывая деньги в кармане и все так же счастливо улыбаясь. Однако не прошло и часу времени, как я почувствовал некоторую скуку или сожаление в том, что никто меня не видит в таком блестящем положении, и мне захотелось движения и деятельности. Вследствие этого я велел заложить дрожки и решил, что мне лучше всего съездить на Кузнецкий мост сделать покупки.

Я вспомнил, что Володя при вступлении в университет купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки, и мне показалось необходимым сделать то же самое.

При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и шпаге я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дациаро. Оглядываясь на все стороны, я вошел в него. Я не хотел покупать лошадей В. Адама, для того чтобы меня не могли упрекнуть в обезьянстве Володе, но, торопясь от стыда в беспокойстве, которое я доставлял услужливому магазинщику, выбрать поскорее, я взял гуашью сделанную женскую голову, стоявшую на окне, и заплатил за нее двадцать рублей. Однако, заплатив в магазине двадцать рублей, мне все-таки казалось совестно, что я обеспокоил двух красиво одетых магазинщиков такими пустяками, и притом казалось, что они все еще слишком небрежно на меня смотрят. Желая им дать почувствовать, кто я такой, я обратил внимание на серебряную штучку, которая лежала под стеклом, и, узнав, что это был *porte-crajon*¹, который стоил восемнадцать рублей, попросил завернуть его в бумажку и, заплатив деньги и узнав еще, что хорошие чубуки и табак можно найти рядом в табачном магазине, учтиво поклонясь обоим магазинщикам, вышел на улицу с картиной под мышкой. В соседнем магазине, на вывеске которого был написан негр, курящий сигару, я купил, тоже из желания не подражать никому, не Жукова, а султанского табаку, стамбулку трубку и два липовых и розовых чубука. Выходя из магазина к дрожкам, я увидел Семенова, который в штатском сюртуке, опустив голову, скорыми шагами шел по тротуару. Мне было досадно, что он не узнал меня. Я довольно громко сказал: «Подай!» — и, сев на дрожки, догнал Семенова.

— Здравствуйте-с,— сказал я ему.

— Мое почтение,— отвечал он, продолжая идти.

— Что же вы не в мундире? — спросил я.

Семенов остановился, прищурил глаза и, оскалив свои белые зубы, как будто ему было больно смотреть на солнце, но собственно затем, чтобы показать свое равнодушие к моим дрожкам и мундиру, молча посмотрел на меня и пошел дальше.

¹ вставка для карандаша (*фр.*)

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской и, хотя желал притвориться, что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Несмотря на то, что мне было стыдно перед господином, который из-за газеты с любопытством посматривал на меня, я съел чрезвычайно быстро пирожков восемь всех тех сортов, которые только были в кондитерской.

Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу; но, не обратив на нее никакого внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых картина так мне не понравилась, что я не только не обделал ее в рамку и не повесил в своей комнате, как Волода, но даже тщательно спрятал ее за комод, где никто не мог ее видеть. Porte-craup дома мне тоже не понравился; я положил его в стол, утешая себя, однако, мыслью, что это вещь серебряная, капитальная и для студента очень полезная. Курительные же препараты я тотчас решил пустить в дело и испробовать.

Распечатав четвертку, тщательно набив стамбулку красно-желтым, мелкой резки, султанским табаком, я положил на нее горящий трут и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем (положение руки, особенно мне нравившееся), стал тянуть дым.

Запах табака был очень приятен, но во рту было горько и дыхание захватывало. Однако скрепив сердце я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягиваться. Скоро комната вся наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только посмотреть с трубкой в зеркало, как, к удивлению моему, зашатался на ногах; комната пошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому я с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что, вообразив себе, что трубка для меня смертельна, мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался и хотел уже звать людей на помощь и посылать за доктором.

Однако страх этот продолжался недолго. Я скоро понял, в чем дело, и с страшной головной болью, расслабленный, долго лежал на диване, с тупым вниманием вглядываясь в герб Бостонжогло, изображенный на четвертке, в валявшуюся на полу трубку, окурки и остатки кондитерских пирожков, и с разочарованием грустно думал: «Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие, и что, видно, мне не судьба, как другим, держать чубук между средним и безымянным пальцем, затягиваться и пускать дым через русые усы».

Дмитрий, заехав за мною в пятом часу, застал меня в этом неприятном положении. Выпив стакан воды, однако, я почти оправился и был готов ехать с ним.

— И что вам за охота курить,— сказал он, глядя на следы моего курения.— Это всё глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить... Однако поедем скорей, еще надо заехать за Дубковым.

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ВОЛОДЯ С ДУБКОВЫМ

Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу, походке и по свойственному ему жесту во время дурного расположения духа, подмигивая глазом, гримасливо подергивать головой набок, как будто для того, чтобы поправить галстук, я понял, что он находился в своем холодно-упрямом расположении духа, которое на него находило, когда он был недоволен собой, и которое всегда производило охлаждающее действие на мое к нему чувство. В последнее время я уже начинал наблюдать и обсуживать характер моего друга, но дружба наша вследствие этого нисколько не изменилась: она еще была так молода и сильна, что, с какой бы стороны я ни смотрел на Дмитрия, я не мог не видеть его совершенством. В нем было два различные человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый и с сознанием этих любезных качеств. Когда он бывал в этом расположении духа, вся его наружность, звук голоса, все движения говорили, казалось: «Я кроток и добродетелен, наслаждаюсь тем, что я кроток и добродетелен, и вы все это можете видеть». Другой — которого я только теперь начинал узнавать и перед величавостью которого преклонялся — был человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный до фанатизма и педантически нравственный. В настоящую минуту он был этим вторым человеком.

С откровенностью, составлявшей необходимое условие наших отношений, я сказал ему, когда мы сели в дрожки, что мне было грустно и больно видеть его в нынешний счастливый для меня день в таком тяжелом, неприятном для меня расположении духа.

— Верно, что-нибудь вас расстроило: отчего вы мне не скажете? — спросил я его.

— Николенька! — отвечал он нетерпеливо, нервически поворачивая голову набок и подмигивая. — Ежели я дал слово ничего не скрывать от вас, то вы и не имеете причин подозревать во мне скрытность. Нельзя всегда быть одинаково расположенным, а ежели что-нибудь меня расстроило, то я сам не могу себе дать отчета.

«Какой это удивительно открытый, честный характер», — подумал я и больше не заговаривал с ним.

Мы молча приехали к Дубкову. Квартира Дубкова была необыкновенно хороша или показалась мне такою. Везде были ковры, картины, гардины, пестрые обои, портреты, изогнутые кресла, вольтеровские кресла, на стенах висели ружья, пистолеты, кисеты и какие-то картонные звериные головы. При виде этого кабинета я понял, кому подражал Володя в убранстве своей комнаты. Мы застали Дубкова и Володю за картами. Какой-то незнакомый мне господин (должно быть, неважный, судя по его скромному положению) сидел

подле стола и очень внимательно смотрел на игру. Сам Дубков был в шелковом халате и мягких башмаках. Володя без сюртука сидел против него на диване и, судя по покрасневшему лицу и недовольному беглому взгляду, который он, на секунду оторвав от карт, бросил на нас, был очень занят игрой. Увидев меня, он покраснел еще больше.

— Ну, тебе сдавать,— сказал он Дубкову. Я понял, что ему было неприятно, что я узнал про то, что он играет в карты. Но в его выражении не было заметно смущения, оно как будто говорило мне: «Да, играю, а ты удивляешься этому только потому, что еще молод. Это не только не дурно, но должно в наши лета».

Я тотчас почувствовал и понял это.

Дубков, однако, не стал сдавать карты, а встал, пожал нам руки, усадил и предложил трубки, от которых мы отказались.

— Так вот он, наш дипломат, виновник торжества,— сказал Дубков.— Ей-богу, ужасно похож на полковника.

— Гм! — промычал я, чувствуя опять на своем лице распускающуюся глупо-самодовольную улыбку.

Я уважал Дубкова, как только может уважать шестнадцатилетний мальчик двадцатисемилетнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек, который отлично танцует, говорит по-французски и который, в душе презирая мою молодость, видимо, старается скрывать это.

Несмотря на все мое уважение, во все время нашего с ним знакомства, мне, Бог знает отчего, бывало тяжело и неловко смотреть ему в глаза. А я заметил после, что мне бывает неловко смотреть в глаза трем родам людей — тем, которые гораздо хуже меня, тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся сказать друг другу вещь, которую оба знаем. Может быть, Дубков был и лучше, может быть, и хуже меня, но наверное уже было то, что он очень часто лгал, не признаваясь в этом, что я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней.

— Сыграем еще одного короля,— сказал Володя, подергивая плечом, как папа, и тасуя карты.

— Вот пристаёт! — сказал Дубков.— После доиграем. Ну, а впрочем, одного — давай.

В то время как они играли, я наблюдал их руки. У Володи была большая красивая рука; отдел большого пальца и выгиб остальных, когда он держал карты, были так похожи на руку папа, что мне даже одно время казалось, что Володя нарочно так держит руки, чтоб быть похожим на большого; но, взглянув на его лицо, сейчас видно было, что он ни о чем не думает, кроме игры. У Дубкова, напротив, руки были маленькие, пухлые, загнутые внутрь, чрезвычайно ловкие и с мягкими пальцами; именно тот сорт рук, на которых бывают перстни и которые принадлежат людям, склонным к ручным работам и любящим иметь красивые вещи.

Должно быть, Володя проиграл, потому что господин, смотревший ему в карты, заметил, что Владимиру Петровичу ужасное несчастье, и Дубков, достав портфель, записал туда что-то и, показав записанное Володе, сказал: «Так?»

— Так! — сказал Володя, притворно-рассеянно взглянув в записную книжку, — теперь поедемте.

Володя повез Дубкова, меня повез Дмитрий в своем фэтоне.

— Во что это они играли? — спросил я Дмитрия.

— В пикет. Глупая игра, да и вообще игра — глупая вещь.

— А они в большие деньги играют?

— Не в большие, однако нехорошо.

— А вы не играете?

— Нет, я дал слово не играть; а Дубков не может, чтобы не обыграть кого-нибудь.

— Ведь это нехорошо с его стороны, — сказал я. — Володя, верно, хуже его играет?

— Разумеется, нехорошо, но дурного тут ничего особенно нет. Дубков любит играть и умеет играть, а все-таки он отличный человек.

— Да я совсем и не думал... — сказал я.

— Да и нельзя об нем ничего дурного думать, потому что он точно прекрасный человек. И я его очень люблю и всегда буду любить, несмотря на его слабости.

Мне почему-то показалось, что именно потому, что Дмитрий слишком горячо заступался за Дубкова, он уже не любил и не уважал его, но не признавался в том из упрямства и из-за того, чтоб его никто не мог упрекнуть в непостоянстве. Он был один из тех людей, которые любят друзей на всю жизнь, не столько потому, что эти друзья остаются им постоянно любезны, сколько потому, что раз, даже по ошибке, полюбив человека, они считают бесчестным разлюбить его.

Г л а в а XV

МЕНЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Дубков и Володя знали у Яра всех людей по имени, и от швейцара до хозяина все оказывали им большое уважение. Нам тотчас отвели особенную комнату и подали какой-то удивительный обед, выбранный Дубковым по французской карте. Бутылка замороженного шампанского, на которую я старался смотреть как можно равнодушнее, уже была приготовлена. Обед прошел очень приятно и весело, не смотря на то что Дубков, по своему обыкновению, рассказывал самые странные, будто бы истинные случаи — между прочим, как его

бабушка убила из мушкетона трех напавших на нее разбойников (причем я покраснел и, потупив глаза, отвернулся от него),— и не смотря на то, что Володя, видимо, робел всякий раз, как я начинал говорить что-нибудь (что было совершенно напрасно, потому что я не сказал, сколько помню, ничего особенно постыдного). Когда подали шампанское, все поздравили меня, и я выпил через руку «на ты» с Дубковым и Дмитрием и поцеловался с ними. Так как я не знал, кому принадлежит поданная бутылка шампанского (она была общая, как после мне объяснили), и я хотел угостить приятелей на свои деньги, которые я беспрестанно ощупывал в кармане, я достал потихоньку десятирублевую бумажку и, подозвав к себе человека, дал ему деньги и шепотом, но так, что все слышали, потому что молча смотрели на меня, сказал ему, чтоб он принес, *пожалуйста, уже еще полбутылочку шампанского*. Володя так покраснел, так стал подергиваться и испуганно глядеть на меня и на всех, что я почувствовал, как я ошибся, но полбутылочку принесли, и мы ее выпили с большим удовольствием. Продолжало казаться очень весело. Дубков врал без умолку, и Володя тоже рассказывал такие смешные штуки и так хорошо, что я никак не ожидал от него, и мы много смеялись. Характер их смешного, то есть Володи и Дубкова, состоял в подражании и усилении известного анекдота: «Что, вы были за границей?» — будто бы говорит один. «Нет, я не был,— отвечает другой,— но брат играет на скрипке». Они в этом роде комизма бессмыслия дошли до такого совершенства, что уже самый анекдот рассказывали так, что «брат мой тоже никогда не играл на скрипке». На каждый вопрос они отвечали друг другу в том же роде, а иногда и без вопроса старались только соединить две самые несообразные вещи, говорили эту бессмыслицу с серьезным лицом,— и выходило очень смешно. Я начинал понимать, в чем было дело, и хотел тоже рассказать смешное, но все робко смотрели или старались не смотреть на меня в то время, как я говорил, и анекдот мой не вышел. Дубков сказал: «Заврался, брат, дипломат»,— но мне было так приятно от выпитого шампанского и общества больших, что это замечание только чуть-чуть оцарапало меня. Один Дмитрий, несмотря на то, что пил ровно с нами, продолжал быть в своем строгом, серьезном расположении духа, которое несколько сдерживало общее веселье.

— Ну, послушайте, господа,— сказал Дубков после обеда,— ведь надо дипломата в руки забрать. Не поехать ли нам *к тетке*, там уж мы с ним распорядимся.

— Нехлюдов ведь не поедет,— сказал Володя.

— Несносный смиренник! ты, несносный смиренник! — сказал Дубков, обращаясь к нему.— Поедем с нами, увидишь, что отличная дама тетушка.

— Не только не поеду, но и его с вами не пушу,— отвечал Дмитрий, краснея.

— Кого? дипломата? Ведь ты хочешь, дипломат? Смотри, он даже весь просиял, как только заговорили об тетушке.

— Не то что не пушу,— продолжал Дмитрий, вставая с места и начиная ходить по комнате, не глядя на меня,— а не советую ему и не желаю, чтоб он ехал. Он не ребенок теперь, и ежели хочет, то может один, без вас, ехать. А тебе это должно быть стыдно, Дубков; что ты делаешь нехорошо, так хочешь, чтоб и другие то же делали.

— Что ж тут дурного,— сказал Дубков, подмигивая Володе,— что я вас всех приглашаю к тетушке на чашку чаю? Ну, а ежели тебе неприятно, что мы едем, так изволь: мы поедем с Володей. Володя, поедешь?

— Гм, гм! — утвердительно сказал Володя,— съездим туда, а потом вернемся ко мне и будем продолжать пикет.

— Что, ты хочешь ехать с ними или нет? — сказал Дмитрий, подходя ко мне.

— Нет,— отвечал я, подвигаясь на диване, чтоб дать ему место подле себя, на которое он сел,— я и просто не хочу, а если ты не советуешь, то я ни за что не поеду.

— Нет,— прибавил я потом,— я неправду говорю, что мне не хочется с ними ехать; но я рад, что не поеду.

— И отлично,— сказал он,— живи по-своему и не пляши ни по чьей дудке, это лучше всего.

Этот маленький спор не только не расстроил нашего удовольствия, но еще увеличил его. Дмитрий вдруг пришел в мое любимое, кроткое расположение духа. Такое влияние имело на него, как я после не раз замечал, сознание хорошего поступка. Он теперь был доволен собой за то, что отстоял меня. Он чрезвычайно развеселился, потребовал еще бутылку шампанского (что было против его правил), зазвал в нашу комнату какого-то незнакомого господина и стал пить его, пел *Gaudeamus igitur*, просил, чтоб все вторили ему, и предлагал ехать в Сокольники кататься, на что Дубков заметил, что это слишком чувствительно.

— Давайте нынче веселиться,— говорил Дмитрий, улыбаясь,— в честь его вступления я в первый раз напьюсь пьян, уж так и быть.— Эта веселость как-то странно шла к Дмитрию. Он был похож на гувернера или доброго отца, который доволен своими детьми, разгулялся и хочет их потешить и вместе доказать, что можно честно и прилично веселиться; но, несмотря на это, на меня и на других, кажется, эта неожиданная веселость действовала заразительно, тем более что на каждого из нас пришлось уже почти по полбутылке шампанского.

В таком-то приятном настроении духа я вышел в большую комнату, с тем чтоб закурить папироску, которую мне дал Дубков.

Когда я встал с места, я заметил, что голова у меня немного кружилась, и ноги шли, и руки были в естественном положении только тогда, когда я об них пристально думал. В противном же случае ноги

забирали по сторонам, а руки выделявали какие-то жесты. Я устремил на эти члены все внимание, велел рукам подняться застегнуть сюртук и пригладить волосы (причем они как-то ужасно высоко подбросили локти), а ногам велел идти в дверь, что они исполнили, но ступали как-то очень твердо или слишком нежно, особенно левая нога все становилась на цыпочку. Какой-то голос прокричал мне: «Куда ты идешь? принесут свечку». Я догадался, что этот голос принадлежал Володе, и мне доставила удовольствие мысль, что я таки догадался, но в ответ ему я только слегка улыбнулся и пошел дальше.

Г л а в а XVI

ССОРА

В большой комнате сидел за маленьким столом невысокий плотный штатский господин с рыжими усами и ел что-то. Рядом с ним сидел высокий брюнет без усов. Они говорили по-французски. Их взгляд смутил меня, но я все-таки решился закурить папироску у горевшей свечки, которая стояла перед ними. Поглядывая по сторонам, чтоб не встречать их взглядов, я подошел к столу и стал зажигать папироску. Когда папироска загорелась, я не утерпел и взглянул на обедавшего господина. Его серые глаза были пристально и недоброжелательно устремлены на меня. Только что я хотел отвернуться, рыжие усы его зашевелились, и он произнес по-французски:

— Не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь.

Я пробормотал что-то непонятное.

— Да-с, не люблю,— продолжал строго господин с усами, бегло взглянув на господина без усов, как будто приглашая его полюбоваться на то, как он будет обрабатывать меня,— не люблю-с, милостивый государь, и тех, которые так невежливы, что приходят курить вам в нос, и тех не люблю.— Я тотчас же сообразил, что этот господин меня распекает, но мне казалось в первую минуту, что я был очень виноват перед ним.

— Я не думал, что это вам помешает,— сказал я.

— А, вы не думали, что вы невежа, а я думал,— закричал господин.

— Какое вы имеете право кричать? — сказал я, чувствуя, что он меня оскорбляет, и начиная сам сердиться.

— Такое, что я никогда никому не позволю мне манкировать и всегда буду учить таких молодцов, как вы. Как ваша фамилия, милостивый государь? и где вы живете?

Я был очень озлоблен, губы у меня тряслись, и дыхание захватывало. Но я все-таки чувствовал себя виноватым, должно быть, за то,

что я выпил много шампанского, и не сказал этому господину никаких грубостей, а напротив, губы мои самым покорным образом называли ему мою фамилию и наш адрес.

— Моя фамилия Колпиков, милостивый государь, а вы вперед будьте учтивее. Мы еще увидимся с вами (vous aurez de mes nouvelles!),— заключил он, так как весь разговор происходил по-французски.

Я сказал только: «Очень рад», стараясь дать голосу как можно более твердости, повернулся и с папиросой, которая успела потухнуть, вернулся в нашу комнату.

Я ничего не сказал о случившемся со мной ни брату, ни приятелям, тем более что они были заняты каким-то горячим спором, и уселся один в уголку, рассуждая об этом странном обстоятельстве. Слова: «Вы невежа, милостивый государь» (un mal élevé, monsieur) — так и звучали у меня в ушах, все более и более возмущая меня. Хмель у меня совершенно прошел. Когда я размышлял о том, как я поступил в этом деле, мне вдруг пришла страшная мысль, что я поступил как трус. «Какое он имел право нападать на меня? Отчего он просто не сказал мне, что это ему мешает? Стало быть, он был виноват? Отчего же, когда он мне сказал, что я невежа, я не сказал ему: невежа, милостивый государь, тот, кто позволяет себе грубость? или отчего я просто не крикнул на него: *молчать!* — это было бы отлично; зачем я не вызвал его на дуэль? Нет! я ничего этого не сделал, а, как подлый трусишка, проглотил обиду». «Вы невежа, милостивый государь!» — беспрестанно раздражающе звучало у меня в ушах. «Нет, этого нельзя так оставить»,— подумал я и встал с твердым намерением пойти опять к этому господину и сказать ему что-нибудь ужасное, а может быть, даже и прибить его подсвечником по голове, коли придется. Я с величайшим наслаждением мечтал о последнем намерении, но не без сильного страха вошел снова в большую комнату. К счастью, г.Колпикова уже не было, один лакей был в большой комнате и убирал стол. Я хотел было сообщить лакею о случившемся и объяснить ему, что я нисколько не виноват, но почему-то раздумал и в самом мрачном расположении духа снова вернулся в нашу комнату.

— Что это с нашим дипломатом сделалось? — сказал Дубков,— он, верно, решает теперь судьбу Европы.

— Ах, оставь меня в покое,— сказал я угрюмо, отворачиваясь. Вслед за тем я, расхаживая по комнате, начал размышлять почему-то о том, что Дубков вовсе не хороший человек. «И что за вечные шутки и название «дипломат» — ничего тут любезного нет. Ему бы только обыгрывать Володю да ездить к тетушке какой-то... И ничего нет в нем приятного. Все, что ни скажет, солжет, или пошлость какая-нибудь, и вечно тоже хочет насмеяться. Мне кажется, он просто глуп,

¹ вы еще услышите обо мне (фр.)

да и дурной человек». В таких-то размышлениях я провел минут пять, все более и более чувствуя почему-то враждебное чувство к Дубкову. Дубков же не обращал на меня внимания, и это злило меня еще более. Я даже сердился на Володю и на Дмитрия за то, что они с ним разговаривают.

— Знаете что, господа? надо дипломата водой облить,— сказал вдруг Дубков, взглянув на меня с улыбкой, которая мне показалась насмешливою и даже предательскою,— а то он плох! Ей-богу, он плох!

— И вас надо облить, сами вы плохи,— отвечал я, злостно улыбаясь и забыв даже, что ему говорил «ты».

Этот ответ, должно быть, удивил Дубкова, но он равнодушно отвернулся от меня и продолжал разговаривать с Володей и Дмитрием.

Я попробовал было присоединиться к их беседе, но чувствовал, что решительно не мог притворяться, и снова удалился в свой угол, где и пробыл до самого отъезда.

Когда расплатились и стали надевать шинели, Дубков обратился к Дмитрию:

— Ну, а Орест и Пилад куда поедут? верно, домой беседовать о любви; то ли дело мы, проведаем милую тетушку,— лучше вашей кислой дружбы.

— Как вы смеете говорить, смеяться над нами? — заговорил я вдруг, подходя к нему очень близко и махая руками,— как вы смеете смеяться над чувствами, которых не понимаете? Я вам этого не позволю. Молчать! — закричал я и сам замолчал, не зная, что говорить дальше, и задыхаясь от волнения. Дубков сначала удивился; потом хотел улыбнуться и принять это в шутку, но наконец, к моему великому удивлению, испугался и опустил глаза.

— Я вовсе не смеюсь над вами и вашими чувствами, я так только говорю,— сказал он уклончиво.

— То-то! — закричал я, но в это же самое время мне стало совестно за себя и жалко Дубкова, красное, смущенное лицо которого выражало истинное страдание.

— Что с тобой? — заговорили вместе Володя и Дмитрий.— Никто тебя не хотел обижать.

— Нет, он хотел оскорбить меня.

— Вот отчаянный господин твой брат,— сказал Дубков в то самое время, когда он уже выходил из двери, так что не мог бы слышать того, что я скажу.

Может быть, я бросился бы догонять его и наговорил бы ему еще грубостей, но в это время тот самый лакей, который присутствовал при моей истории с Колпиковым, подал мне шинель, и я тотчас же успокоился, притворяясь только перед Дмитрием рассерженным настолько, насколько это было необходимо, чтоб мгновенное успокоение не показалось странным. На другой день мы с Дубковым встретились у Володи, не поминали об этой истории, но остались на «вы», и смотреть друг другу в глаза стало нам еще труднее.

Воспоминание о ссоре с Колпиковым, который, впрочем, ни на другой день, ни после так и не дал мне *de ses nouvelles*¹, было многие года для меня ужасно живо и тяжело. Я подергивался и вскрикивал лет пять после этого, всякий раз, как вспоминал неотплаченную обиду, и утешал себя, с самодовольствием вспоминая о том, каким я молодцом показал себя зато в деле с Дубковым. Только гораздо после я стал совершенно иначе смотреть на это дело и с комическим удовольствием вспоминать о ссоре с Колпиковым и раскаиваться в незаслуженном оскорблении, которое я нанес *доброму малому* Дубкову.

Когда я в тот же день вечером рассказал Дмитрию свое приключение с Колпиковым, которого наружность я описал ему подробно, он удивился чрезвычайно.

— Да это тот самый! — сказал он, — можешь себе представить, что этот Колпиков известный негодяй, шулер, а главное, трус, выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. Откуда у него прыть взялась? — прибавил он с доброй улыбкой, глядя на меня, — ведь он больше ничего не сказал, как «невежа»?

— Да, — отвечал я, краснея.

— Нехорошо, ну да еще не беда! — утешал меня Дмитрий.

Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, после многих лет почувствовав, что на меня напасть можно, выместил на мне, в присутствии брюнета без усов, полученную пощечину, точно так же, как я тотчас же выместил его «невежу» на невинном Дубкове.

Г л а в а XVII

Я СОБИРАЮСЬ ДЕЛАТЬ ВИЗИТЫ

Проснувшись на другой день, первую мыслью моею было приключение с Колпиковым; опять я помычал, побегал по комнате, но делать было нечего; притом нынче был последний день, который я проводил в Москве, и надо было сделать, по приказанию папа, визиты, которые он мне сам написал на бумажке. Заботою о нас отца было не столько нравственность и образование, сколько светские отношения. На бумажке было написано его изломанным быстрым почерком: 1) к князю Ивану Ивановичу *непременно*, 2) к Ивиным *непременно*, 3) к князю Михайле, 4) к княгине Нехлюдовой и к Валахиной, ежели успеешь. И, разумеется, к попечителю, к ректору и к профессорам.

¹ известие о себе (фр.)

Последние визиты Дмитрий отсоветовал мне делать, говоря, что это не только не нужно, но даже было бы неприлично; но остальные надо было все сделать сегодня. Из них особенно пугали меня два первые визита, подле которых было написано *непрерменно*. Князь Иван Иванович был генерал-аншеф, старик, богач и один; стало быть, я, шестнадцатилетний студент, должен был иметь с ним прямые отношения, которые, я предчувствовал, не могли быть для меня лестны. Ивины тоже были богачи, и отец их был какой-то важный штатский генерал, который всего только раз, при бабушке, сам был у нас. После же смерти бабушки, я замечал, младший Ивин дичился нас и как будто важничал. Старший, как я знал по слухам, уж кончил курс в Правоведении и служил в Петербурге; второй, Сергей, которого я обожал некогда, был тоже в Петербурге большим толстым кадетом в Пажеском корпусе.

Я в юности не только не любил отношений с людьми, которые считали себя выше меня, но такие отношения были для меня невыносимо мучительны, вследствие постоянного страха оскорбления и напряжения всех умственных сил на то, чтобы доказать им свою самостоятельность. Однако, не исполняя последнего приказания папа, надо было загладить вину исполнением первых. Я ходил по комнате, оглядывая разложенные на стульях платье, шагу и шляпу, и собирался уж ехать, когда ко мне пришел с поздравлением старик Грап и привел с собой Иленьку. Отец Грап был обрусевший немец, невыносимо приторный, льстивый и весьма часто нетрезвый; он приходил к нам большей частью только для того, чтобы просить о чем-нибудь, и папа сажал его иногда у себя в кабинете, но обедать его никогда не сажали с нами. Его унижение и попрошайничество так слилось с каким-то внешним добродушием и привычкою к нашему дому, что все ставили ему в большую заслугу его будто бы привязанность ко всем нам, но я почему-то не любил его, и когда он говорил, мне всегда бывало стыдно за него.

Я был очень недоволен приходом этих гостей и не старался скрывать своего неудовольствия. На Иленьку я так привык смотреть свысока, и он так привык считать нас вправе это делать, что мне было несколько неприятно, что он такой же студент, как и я. Мне казалось, что и ему было несколько совестно передо мной за это равенство. Я холодно поздоровался с ним и, не пригласив их сесть, потому что мне было совестно это сделать, думая, что они это могут сделать и без моего приглашения, велел закладывать пролетку. Иленька был добрый, очень честный и весьма неглупый молодой человек, но он был то, что называется малый с дурью; на него беспрестанно находило, и, казалось, без всяких причин, какое-нибудь крайнее расположение духа — то пласивость, то смешливость, то обидчивость за всякую малость; и теперь, как кажется, он находился в этом последнем настроении духа. Он ничего не говорил, злобно посматривал на меня и на отца и только, когда к нему обращались, улыбался своею покор-

ной принужденной улыбкой, под которой он уж привык скрывать все свои чувства и особенно чувство стыда за своего отца, которое он не мог не испытывать при нас.

— Так-то-с, Николай Петрович,— говорил мне старик, следуя за мной по комнате, в то время как я одевался, и почтительно медленно вертя между своими толстыми пальцами серебряную, подаренную бабушкой, табакерку,— как только узнал от сына, что вы изволили так отлично выдержать экзамен — ведь ваш ум всем известен,— тотчас прибежал поздравить, батюшка; ведь я вас на плече носил, и Бог видит, что всех вас, как родных, люблю, и Иленька мой все просился к вам. Тоже и он привык уж к вам.

Иленька в это время сидел молча у окна, рассматривая будто бы мою треугольную шляпу, и чуть заметно что-то сердито бормотал себе под нос.

— Ну, а я вас хотел спросить, Николай Петрович,— продолжал старик,— как мой-то Илюша, хорошо экзаменовался? Он говорил, что будет с вами вместе, так вы уж его не оставьте, присмотрите за ним, посоветуйте.

— Что же, он прекрасно выдержал,— отвечал я, взглянув на Иленьку, который, почувствовав на себе мой взгляд, покраснел и перестал шевелить губами.

— А можно ему у вас пробыть нынче денек? — сказал старик с такой робкой улыбкой, как будто он очень боялся меня, и все, куда бы я ни подвинулся, оставаясь от меня в таком близком расстоянии, что винный и табачный запах, которым он весь был пропитан, ни на секунду не переставал мне быть слышен. Мне было досадно за то, что он ставил меня в такое фальшивое положение к своему сыну, и за то, что отвлекал мое внимание от весьма важного для меня тогда занятия — одеванья; а главное, этот преследующий меня запах перегара так расстроил меня, что я очень холодно сказал ему, что я не могу быть с Иленькой, потому что целый день не буду дома.

— Да ведь вы хотели идти к сестрице, батюшка,— сказал Иленька, улыбаясь и не глядя на меня,— да и мне дело есть.— Мне стало еще досаднее и совестнее, и чтобы загладить чем-нибудь свой отказ, я поспешил сообщить, что я не буду дома, потому что должен быть у князя Ивана Ивановича, у княгини Корнаковой, у Ивина, того самого, что имеет такое важное место, и что, верно, буду обедать у княгини Нехлюдовой. Мне казалось, что, узнав, к каким важным людям я еду, они уже не могли претендовать на меня. Когда они собрались уходить, я пригласил Иленьку заходить ко мне в другой раз; но Иленька только промычал что-то и улыбнулся с принужденным выражением. Видно было, что нога его больше никогда у меня не будет.

Вслед за ними я поехал по своим визитам. Володя, которого еще утром я просил ехать вместе, чтобы мне было не так неловко одному, отказался, под предлогом, что это было бы слишком чувствительно, что два *братца* ездят вместе на одной *прелеточке*.

Итак, я отправился один. Первый визит был, по местности, к Валахиной, на Сивцевом Вражке. Я года три не видал Сонечки, и любовь моя к ней, разумеется, давным-давно прошла, но в душе оставалось еще живое и трогательное воспоминание прошедшей детской любви. Мне случалось в продолжение этих трех лет вспоминать об ней с такой силой и ясностью, что я проливал слезы и чувствовал себя снова влюбленным, но это продолжалось только несколько минут и возвращалось снова не скоро.

Я знал, что Сонечка с матерью была за границую, где они пробыли года два и где, рассказывали, их вывалили в дилижансе и Сонечке изрезали лицо стеклами кареты, отчего она будто бы очень подурнела. Дорогой к ним я живо вспоминал о прежней Сонечке и думал о том, какую теперь ее встречу. Вследствие двухлетнего пребывания ее за границей я воображал ее почему-то чрезвычайно высокой, с прекрасной талией, серьезной и важной, но необыкновенно привлекательной. Воображение мое отказывалось представлять ее с изуродованным шрамами лицом; напротив, слышав где-то про страстного любовника, оставшегося верным своему предмету, несмотря на изуродовавшую его оспу, я старался думать, что я влюблен в Сонечку, для того чтобы иметь заслугу, несмотря на шрамы, остаться ей верным. Вообще, подъезжая к дому Валахиных, я не был влюблен, но, расшевелив в себе старые воспоминания любви, был хорошо приготовлен влюбиться и очень желал этого; тем более что мне уже давно было совестно, глядя на всех своих влюбленных приятелей, за то, что я так отстал от них.

Валахины жили в маленьком, чистеньком деревянном домике, вход которого был со двора. Дверь отпер мне, по звону в колокольчик, который был тогда еще большою редкостью в Москве, крошечный, чисто одетый мальчик. Он не умел или не хотел сказать мне, дома ли господа, и, оставив одного в темной передней, убежал в еще более темный коридор.

Я довольно долго оставался один в этой темной комнате, в которой, кроме входа и коридора, была еще одна запертая дверь, и отчасти удивлялся этому мрачному характеру дома, отчасти полагал, что это так должно быть у людей, которые были за границей. Минут через пять дверь в залу отперлась изнутри посредством того же мальчика, и он провел меня в опрятную, но небогатую гостиную, в которую вслед за мною вошла Сонечка.

Ей было семнадцать лет. Она была очень мала ростом, очень худа и с желтоватым, нездоровым цветом лица. Шрамов на лице не было заметно никаких, но прелестные выпуклые глаза и светлая, добродушно-веселая улыбка были те же, которые я знал и любил в детстве.

Я совсем не ожидал ее такою и поэтому никак не мог сразу излить на нее то чувство, которое приготовил дорогой. Она подала мне руку по английскому обычаю, который был тогда такая же редкость, как и колокольчик, пожала откровенно мою руку и усадила подле себя на диване.

— Ах, как я рада вас видеть, милый Nicolas,— сказала она, вглядываясь мне в лицо с таким искренним выражением удовольствия, что в словах «милый Nicolas» я заметил дружеский, а не покровительственный тон. Она, к удивлению моему, после поездки за границу была еще проще, милее и родственнее в обращении, чем прежде. Я заметил два маленькие шрама около носу и на брови, но чудесные глаза и улыбка были совершенно верны с моими воспоминаниями и блестели по-старому.

— Как вы переменялись! — говорила она,— совсем большой стали. Ну, а я — как вы находите?

— Ах, я бы вас не узнал,— отвечал я, несмотря на то, что в это самое время думал, что я всегда бы узнал ее. Я чувствовал себя снова в том беспечно-веселом расположении духа, в котором я пять лет тому назад танцевал с ней гротеск на бабушкином бале.

— Что ж, я очень подурнела? — спросила она, встряхивая головой.

— Нет, совсем нет; выросли немного, старше стали,— заторопился я отвечать,— но напротив... и даже...

— Ну, да все равно; а помните наши танцы, игры, St.-Jérôme'a, madame Dorat? (Я не помнил никакой madame Dorat; она, видно, увлекалась наслаждением детских воспоминаний и смешивала их.) Ах, славное время было,— продолжала она, и та же улыбка, даже лучше той, которую я носил в воспоминании, и все те же глаза блестели передо мною. В то время как она говорила, я успел подумать о том положении, в котором я находился в настоящую минуту, и решил сам с собою, что в настоящую минуту я был влюблен. Как только я решил это, в ту же секунду исчезло мое счастливое, беспечно-веселое расположение духа, какой-то туман покрыл все, что было передо мной,— даже ее глаза и улыбку, мне стало чего-то стыдно, я покраснел и потерял способность говорить.

— Теперь другие времена,— продолжала она, вздохнув и подняв немного брови,— гораздо все хуже стало, и мы хуже стали, не правда ли, Nicolas?

Я не мог отвечать и молча смотрел на нее.

— Где все теперь тогдашние Ивины, Корнаковы? Помните? — продолжала она, с некоторым любопытством вглядываясь в мое раскрасневшееся, испуганное лицо,— славное было время!

Я все-таки не мог отвечать.

Из этого тяжелого положения вывел меня на время приход в комнату старой Валахиной. Я встал, поклонился и снова получил способность говорить; но зато с приходом матери с Сонечкой произо-

шла странная перемена. Вся ее веселость и родственность вдруг исчезли, даже улыбка сделалась другая, и она вдруг, исключая высокого роста, стала той приехавшей из-за границы барышней, которую я воображал найти в ней. Казалось, такая перемена не имела никакой причины, потому что мать ее улыбалась так же приятно и во всех движениях выражала такую же кротость, как и в старину. Валахина села на большие кресла и указала мне место подле себя. Дочери она сказала что-то по-английски, и Сонечка тотчас же вышла, что меня еще более облегчило. Валахина расспрашивала про родных, про брата, про отца, потом рассказала мне про свое горе — потерю мужа, и уже, наконец, чувствуя, что со мною говорить больше нечего, смотрела на меня молча, как будто говоря: «Ежели ты теперь встанешь, раскланяешься и уедешь, то сделаешь очень хорошо, мой милый», — но со мной случилось странное обстоятельство. Сонечка вернулась в комнату с работой и села в другом углу гостиной так, что я чувствовал на себе ее взгляды. Во время рассказа Валахиной о потере мужа я еще раз вспомнил о том, что я влюблен, и подумал еще, что, вероятно, и мать уже догадалась об этом, и на меня снова нашел припадок застенчивости, такой сильной, что я чувствовал себя не в состоянии пошевелиться ни одним членом естественно. Я знал, что для того, чтобы встать и уйти, я должен буду думать о том, куда поставить ногу, что сделать с головой, что с рукой; одним словом, я чувствовал почти то же самое, что и вчера, когда выпил полбутылки шампанского. Я предчувствовал, что со всем этим я не управлюсь, и поэтому *не мог* встать, и действительно *не мог* встать. Валахина, верно, удивлялась, глядя на мое красное, как сукно, лицо и совершенную неподвижность; но я решил, что лучше сидеть в этом глупом положении, чем рисковать как-нибудь нелепо встать и выйти. Так я и сидел довольно долго, ожидая, что какой-нибудь непредвиденный случай выведет меня из этого положения. Случай этот представился в лице невидного молодого человека, который, с приемами домашнего, вошел в комнату и учтиво поклонился мне. Валахина встала, извиняясь, сказала, что ей надо поговорить с своим *homme d'affaires*¹, и взглянула на меня с недоумевающим выражением, говорившим: «Ежели вы век хотите сидеть, то я вас не выгоняю». Кое-как сделав страшное усилие над собою, я встал, но уже не был в состоянии поклониться и, выходя, провожаемый взглядами соболезнавания матери и дочери, зацепил за стул, который вовсе не стоял на моей дороге, — но зацепил потому, что все внимание мое было устремлено на то, чтобы не зацепить за ковер, который был под ногами. На чистом воздухе, однако, — подергавшись и помывав так громко, что даже Кузьма несколько раз спрашивал: «Что угодно?» — чувство это рассеялось, и я стал довольно спокойно размышлять об моей любви к Сонечке и о ее от-

¹ поверенным (*фр.*)

ношениях к матери, которые мне показались странны. Когда я потом рассказывал отцу о моем замечании, что Валахина с дочерью не в хороших отношениях, он сказал:

— Да, она ее мучит, бедняжку, своей страшной скупостью, и странно,— прибавил он с чувством более сильным, чем то, которое мог иметь просто к родственнице.— Какая была прелестная, милая, чудная женщина! Я не могу понять, отчего она так переменялась. Ты не видел там, у ней, ее секретаря какого-то? И что за манера русской барыне иметь секретаря? — сказал он, сердито отходя от меня.

— Видел,— отвечал я.

— Что, он хорош собой, по крайней мере?

— Нет, совсем нехорош.

— Непонятно,— сказал папа и сердито подергал плечом и покашлял.

«Вот я и влюблен»,— думал я, катясь далее в своих дрожках.

Г л а в а XIX

КОРНАКОВЫ

Второй визит по дороге был к Корнаковым. Они жили в бельэтаже большого дома на Арбате. Лестница была чрезвычайно парадная и опрятная, но не роскошная. Везде лежали полошухи, прикрепленные чисто-начисто вычищенными медными прутами, но ни цветов, ни зеркал не было. Зала, через светло наложенный пол которой я прошел в гостиную, была также строго, холодно и опрятно убрана, все блестяло и казалось прочным, хотя и не совсем новым, но ни картин, ни гардин, никаких украшений нигде не было заметно. Несколько княжон были в гостиной. Они сидели так аккуратно и празднично, что сейчас было заметно: они не так сидят, когда у них не бывает гостей.

— Матан сейчас выйдет,— сказала мне старшая из них, подсев ко мне ближе. С четверть часа эта княжна занимала меня разговором весьма свободно и так ловко, что разговор ни на секунду не умолкал. Но уж слишком заметно было, что она занимает меня, и поэтому она мне не понравилась. Она рассказала мне между прочим, что их брат Степан, которого они звали *Этьен* и которого года два тому назад отдали в Юнкерскую школу, был уже произведен в офицеры. Когда она говорила о брате и особенно о том, что он против воли татан пошел в гусары, она сделала испуганное лицо, и все младшие княжны, сидевшие молча, сделали тоже испуганные лица; когда она говорила о кончине бабушки, она сделала печальное лицо, и все младшие княжны сделали то же; когда она вспомнила о том, как я ударил *St.-Jégôme'a* и меня вывели, она засмеялась и показала дурные зубы, и все княжны засмеялись и показали дурные зубы.

Вошла княгиня; та же маленькая, сухая женщина с бегающими глазами и привычкой оглядываться на других, в то время как она говорила с вами. Она взяла меня за руку и подняла свою руку к моим губам, чтобы я поцеловал ее, чего бы я иначе, не полагая этого необходимым, никак не сделал.

— Как я рада вас видеть,— заговорила она с своей обыкновенной речивостью, оглядываясь на дочерей.— Ах, как он похож на свою маман. Не правда ли, Lise?

Lise сказала, что правда, хотя я знаю наверно, что во мне не было ни малейшего сходства с матушкой.

— Так вот как вы, уж и большой стали! И мой Этьен, вы его помните, ведь он ваш троюродный... нет, не троюродный, а как это, Lise? моя мать была Варвара Дмитриевна, дочь Дмитрия Николаича, а ваша бабушка Наталья Николаевна.

— Так четвероюродный, маман,— сказала старшая княжна.

— Ах, ты все путаешь,— сердито крикнула на нее мать,— совсем не четвероюродный, а *issus de germains*¹,— вот как вы с моим Этьеночкой. Он уж офицер, знаете? Только нехорошо, что уж слишком на воле. Вас, молодежь, надо еще держать в руках, и вот как!.. Вы на меня не сердитесь, на старую тетку, что я вам правду говорю; я Этьена держала строго и нахожу, что так надо.

— Да, вот как мы родня,— продолжала она,— князь Иван Иваныч мне дядя родной и вашей матери был дядя. Стало быть, двоюродные мы были с вашей маман, нет, троюродные, да, так. Ну, а скажите: вы были, мой друг, у *кнезь* Ивана?

Я сказал, что еще нет, но буду нынче.

— Ах, как это можно! — воскликнула она,— это вам первый визит надо было сделать. Ведь вы знаете, что *кнезь* Иван вам все равно что отец. У него детей нет, стало быть, его наследники только вы да мои дети. Вам надо его уважать и по летам, и по положению в свете, и по всему. Я знаю, вы, молодежь нынешнего века, уж не считаете родство и не любите стариков; но вы меня послушайте, старую тетку, потому что я вас люблю, и вашу маман любила, и бабушку тоже очень, очень любила и уважала. Нет, вы поезжайте, непременно, непременно поезжайте.

Я сказал, что непременно поеду, и так как уж визит, по моему мнению, продолжался достаточно долго, я встал и хотел уехать, но она удержала меня.

— Нет, постойте минутку. Где ваш отец, Lise? позовите его сюда; он так рад будет вас видеть,— продолжала она, обращаясь ко мне.

Через минуты две действительно вошел князь Михайло. Это был невысокий плотный господин, весьма неряшливо одетый, невыбритый и с каким-то таким равнодушным выражением в лице, что оно

¹ троюродный брат (*фр.*)

походило даже на глупое. Он нисколько не был рад меня видеть, по крайней мере не выразил этого. Но княгиня, которой он, по-видимому, очень боялся, сказала ему:

— Не правда ли, как Вольдемар (она забыла, верно, мое имя) похож на свою татап? — и сделала такой жест глазами, что князь, должно быть, догадавшись, чего она хотела, подошел ко мне и с самым бесстрастным, даже недовольным выражением лица протянул мне свою небритую щеку, в которую я должен был поцеловать его.

— А ты еще не одет, а тебе надо ехать,— тотчас же после этого начала говорить ему княгиня сердитым тоном, который, видимо, был ей привычен в отношениях с домашними,— опять чтоб на тебя сердились, опять хочешь восстановить против себя.

— Сейчас, сейчас, матушка,— сказал князь Михайло и вышел. Я раскланялся и вышел тоже.

Я в первый раз слышал, что мы были наследники князя Ивана Ивановича, и это известие неприятно поразило меня.

Г л а в а XX

ИВИНЫ

Мне еще тяжелей стало думать о предстоящем необходимом визите. Но прежде, чем к князю, по дороге надо было заехать к Ивиным. Они жили на Тверской, в огромном красивом доме. Не без боязни вошел я на парадное крыльцо, у которого стоял швейцар с булавой.

Я спросил его — дома ли?

— Кого вам надо? Генеральский сын дома,— сказал мне швейцар.

— А сам генерал? — спросил я храбро.

— Надо доложить. Как прикажете? — сказал швейцар и позвонил. Лакейские ноги в штиблетах показались на лестнице. Я так оробел, сам не знаю чего, что сказал лакею, чтоб он не докладывал генералу, а что я пройду прежде к генеральскому сыну. Когда я шел вверх по этой большой лестнице, мне показалось, что я сделался ужасно маленький (и не в переносном, а в настоящем значении этого слова). То же чувство я испытал и тогда, когда мои дрожки подъехали к большому крыльцу: мне показалось, что и дрожки, и лошадь, и кучер сделались маленькие. Генеральский сын лежал на диване с открытой перед ним книгой и спал, когда я вошел к нему. Его гувернер, г. Фрост, который все еще оставался у них в доме, вслед за мной своей молодецкой походкой вошел в комнату и разбудил своего воспитанника. Ивин не изъявил особенной радости при виде меня, и я заметил, что, разговаривая со

мною, он смотрел мне в брови. Хотя он был очень учтив, мне казалось, что он занимает меня так же, как и княжна, и что особенного влечения ко мне он не чувствовал, а надобности в моем знакомстве ему не было, так как у него, верно, был свой, другой круг знакомства. Все это я сообразил преимущественно потому, что он смотрел мне в брови. Одним словом, его отношения со мною были, как мне ни неприятно признаться в этом, почти такие же, как мои с Иленькой. Я начинал приходить в раздраженное состояние духа, каждый взгляд Ивина ловил на лету и, когда он встречался с глазами Фроста, переводил его вопросом: «И зачем он приехал к нам?»

Поговорив немного со мною, Ивин сказал, что его отец и мать дома, так не хочу ли я сойти к ним вместе.

— Сейчас я оденусь, — прибавил он, выходя в другую комнату, несмотря на то, что и в своей комнате был хорошо одет — в новом сюртуке и белом жилете. Через несколько минут он вышел ко мне в мундире, застегнутом на все пуговицы, и мы вместе пошли вниз. Парадные комнаты, через которые мы прошли, были чрезвычайно велики, высокие и, кажется, роскошно убраны, что-то было там мраморное, и золотое, и обвернутое кисеей, и зеркальное. Ивина в одно время с нами из другой двери вошла в маленькую комнату за гостиной. Она очень дружески-родственно приняла меня, усадила подле себя и с участием расспрашивала меня о всем нашем семействе.

Ивина, которую я прежде раза два видал мельком, а теперь рассмотрел внимательно, очень понравилась мне. Она была велика ростом, худа, очень бела и казалась постоянно грустной и изнуренной. Улыбка у нее была печальная, но чрезвычайно добрая; глаза были большие, усталые и несколько косые, что давало ей еще более печальное и привлекательное выражение. Она сидела не сгорбившись, а как-то опустившись всем телом, все движенья ее были падающие. Она говорила вяло, но звук голоса ее и выговор с неясным произношением *p* и *l* были очень приятны. Она не занимала меня. Ей, видимо, доставляли грустный интерес мои ответы об родных, как будто она, слушая меня, с грустью вспоминала лучшие времена. Сын ее вышел куда-то, она минуты две молча смотрела на меня и вдруг заплакала. Я сидел перед ней и никак не мог придумать, что бы мне сказать или сделать. Она продолжала плакать, не глядя на меня. Сначала мне было жалко ее, потом я подумал: «Не надо ли утешать ее, и как это надо сделать?» — и, наконец, мне стало досадно за то, что она ставила меня в такое неловкое положение. «Неужели я имею такой жалкий вид? — думал я, — или уж не нарочно ли она это делает, чтоб узнать, как я поступлю в этом случае?»

«Уйти же теперь неловко, — как будто я бегу от ее слез», — продолжал думать я. Я повернулся на стуле, чтоб хоть напомнить ей о моем присутствии.

— Ах, какая я глупая! — сказала она, взглянув на меня и стараясь улыбнуться, — бывают такие дни, что плачешь без всякой причины.

Она стала искать платок подле себя на диване и вдруг заплакала еще сильнее.

— Ах, Боже мой! как это смешно, что я все плачу. Я так любила вашу мать, мы так дружны... были... и...

Она нашла платок, закрылась им и продолжала плакать. Опять повторилось мое неловкое положение и продолжалось довольно долго. Мне было и досадно, и еще больше жалко ее. Слезы ее казались искренни, и мне все думалось, что она не столько плакала об моей матери, сколько о том, что ей самой было не хорошо теперь, а когда-то, в те времена, было гораздо лучше. Не знаю, чем бы это кончилось, ежели бы не вошел молодой Ивин и не сказал, что старик Ивин ее спрашивает. Она встала и хотела уже идти, когда сам Ивин вошел в комнату. Это был маленький, крепкий, седой господин с густыми черными бровями, с совершенно седой, коротко обстриженной головой и чрезвычайно строгим и твердым выражением рта.

Я встал и поклонился ему, но Ивин, у которого было три звезды на зеленом фраке, не только не ответил на мой поклон, но почти не взглянул на меня, так что я вдруг почувствовал, что я не человек, а какая-то нестоящая внимания вещь — кресло или окошко, или ежели человек, то такой, который нисколько не отличается от кресла или окошка.

— А вы всё не написали графине, моя милая, — сказал он жене по-французски, с бесстрастным, но твердым выражением лица.

— Прощайте, monsieur Irteneff, — сказала мне Ивина, вдруг как-то гордо кивнув головой и так же, как сын, посмотрев мне в брови. Я поклонился еще раз и ей и ее мужу, и опять на старого Ивина мой поклон подействовал так же, как ежели бы открыли или закрыли окошко. Студент Ивин проводил меня, однако, до двери и дорогой рассказал, что он переходит в Петербургский университет, потому что отец его получил там место (он назвал мне какое-то очень важное место).

«Ну, уж как папа хочет, — пробормотал я сам себе, садясь в дрожки, — а моя нога больше не будет здесь никогда; эта нюня плачет, на меня глядя, точно я несчастный какой-нибудь, а Ивин, свинья, не кланяется; я же ему задам...» Чем это я хотел задать ему, я решительно не знаю, но так это пришлось к слову.

После часто мне надо было выдерживать увещания отца, который говорил, что необходимо *кюльтивировать* это знакомство и что я не могу требовать, чтоб человек в таком положении, как Ивин, занимался мальчишкой, как я; но я выдержал характер довольно долго.

КНЯЗЬ ИВАН ИВАНЫЧ

— Ну, теперь последний визит на Никитскую,— сказал я Кузьме, и мы покатали к дому князя Ивана Ивановича.

Пройдя через несколько визитных испытаний, я обыкновенно приобретал самоуверенность и теперь подъезжал было к князю с довольно спокойным духом, как вдруг мне вспомнились слова княгини Корнаковой, что я наследник; кроме того, я увидел у крыльца два экипажа и почувствовал прежнюю робость.

Мне казалось, что и старый швейцар, который отворил мне дверь, и лакей, который снял с меня шинель, и три дамы и два господина, которых я нашел в гостиной, и в особенности сам князь Иван Иванович, который в штатском сюртуке сидел на диване,— мне казалось, что все смотрели на меня как на наследника, и вследствие этого недоброжелательно. Князь был со мной очень ласков, поцеловал меня, то есть приложил на секунду к моей щеке мягкие, сухие и холодные губы, расспрашивал о моих занятиях, планах, шутил со мной, спрашивал, пишу ли я всё стихи, как те, которые написал в именины бабушки, и сказал, чтобы я приходил нынче к нему обедать. Но чем больше он был ласков, тем больше мне все казалось, что он хочет обласкать меня только с тем, чтобы не дать заметить, как ему неприятна мысль, что я его наследник. Он имел привычку, происходившую от фальшивых зубов, которых у него был полон рот,— сказав что-нибудь, поднимать верхнюю губу к носу и, производя легкий звук сопения, как будто втягивать эту губу себе в ноздри, и когда он это делал теперь, мне все казалось, что он про себя говорил: «Мальчишка, мальчишка, и без тебя знаю: наследник, наследник» и т.д.

Когда мы были детьми, мы называли князя Ивана Ивановича дедушкой; но теперь, в качестве наследника, у меня язык не ворочался сказать ему — «дедушка», а сказать — «ваше сиятельство»,— как говорил один из господ, бывших тут, мне казалось унижительным, так что во все время разговора я старался никак не называть его. Но более всего меня смущала старая княжна, бывшая тоже наследницей князя и жившая в его доме. Во все время обеда, за которым я сидел рядом с княжной, я предполагал, что княжна не говорит со мной потому, что ненавидит меня за то, что я такой же наследник князя, как и она, и что князь не обращает внимания на нашу сторону стола потому, что мы — я и княжна — наследники, ему одинаково противны.

— Да, ты не поверишь, как мне было неприятно,— говорил я в тот же день вечером Дмитрию, желая похвастаться перед ним чувством отвращения к мысли о том, что я наследник (мне казалось, что это чувство очень хорошее),— как мне неприятно было нынче целых два часа пробывать у князя. Он прекрасный человек и был очень ласков

ко мне,— говорил я, желая, между прочим, внушить своему другу, что все это я говорю не вследствие того, чтобы я чувствовал себя униженным перед князем,— но,— продолжал я,— мысль о том, что на меня могут смотреть, как на княжну, которая живет у него в доме и подличает перед ним,— ужасная мысль. Он чудесный старик и со всеми чрезвычайно добр и деликатен, а больно смотреть, как он *мальтретирует* эту княжну. Эти отвратительные деньги портят все отношения! Знаешь, я думаю, гораздо бы лучше прямо объясниться с князем,— говорил я,— сказать ему, что я его уважаю как человека, но о наследстве его не думаю и прошу его, чтобы он мне ничего не оставлял, и что только в этом случае я буду ездить к нему.

Дмитрий не расхохотался, когда я сказал ему это; напротив, он задумался и, помолчав несколько минут, сказал мне:

— Знаешь что? Ты не прав. Или тебе не должно вовсе предполагать, чтоб о тебе могли думать так же, как об этой вашей княжне какой-то, или ежели уж ты предполагаешь это, то предполагай дальше, то есть что ты знаешь, что о тебе могут думать, но что мысли эти так далеки от тебя, что ты их презираешь и на основании их ничего не будешь делать. Ты предполагай, что они предполагают, что ты предполагаешь это... но, одним словом,— прибавил он, чувствуя, что путается в своем рассуждении,— гораздо лучше вовсе и не предполагать этого.

Мой друг был совершенно прав; только гораздо, гораздо позднее я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что должно навсегда быть спрятано от всех в сердце каждого человека,— и в том, что благородные слова редко сходятся с благородными делами. Я убежден в том, что уже по одному тому, что хорошее намерение высказано,— трудно, даже большей частью невозможно, исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позже вспоминаешь их и жалеешь о них, как о цветке, который — не удержался — сорвал нераспустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным.

Я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, как деньги портят отношения, на другой день утром, перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки и стамбулки, взял у него двадцать пять рублей ассигнациями на дорогу, которые он предложил мне, и потом очень долго оставался ему должен.

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР С МОИМ ДРУГОМ

Теперешний разговор наш происходил в фэатоне на дороге в Кунцево. Дмитрий отсоветовал мне ехать утром с визитом к своей матери, а заехал за мной после обеда, чтоб увезти на весь вечер, и даже ночевать, на дачу, где жило его семейство. Только когда мы выехали из города и грязно-пестрые улицы и несносный оглушительный шум мостовой заменились просторным видом полей и мягким похряскиванием колес по пыльной дороге и весенний пахучий воздух и простор охватил меня со всех сторон, только тогда я немного опомнился от разнообразных новых впечатлений и сознания свободы, которые в эти два дня совершенно меня запутали. Дмитрий был общителен и кроток, не поправлял головой галстука, не подмигивал нервически и не зажмурился; я был доволен теми благородными чувствами, которые ему высказал, полагая, что за них он совершенно простил мне мою постыдную историю с Колпиковым, не презирает меня за нее, и мы дружно разговорились о многом таком задушевном, которое не во всяких условиях говорится друг другу. Дмитрий рассказывал мне про свое семейство, которого я еще не знал, про мать, тетку, сестру и ту, которую Володя и Дубков считали пассией моего друга и называли *рыженькой*. Про мать он говорил с некоторой холодной и торжественной похвалой, как будто с целью предупредить всякое возражение по этому предмету; про тетку он отзывался с восторгом, но и с некоторой снисходительностью; про сестру он говорил очень мало и как будто бы стыдясь мне говорить о ней; но про *рыженькую*, которую по-настоящему звали Любовью Сергеевной и которая была пожилая девушка, жившая по каким-то семейным отношениям в доме Нехлюдовых, он говорил мне с одушевлением.

— Да, она удивительная девушка,— говорил он, стыдливо краснея, но тем с большей смелостью глядя мне в глаза,— она уж не молодая девушка, даже скорей старая, и совсем нехороша собой, но ведь что за глупость, бессмыслица — любить красоту! — я этого не могу понять, так это глупо (он говорил это, как будто только что открыл самую новую, необыкновенную истину), а такой души, сердца и правил... я уверен, не найдешь подобной девушки в нынешнем свете (не знаю, от кого перенял Дмитрий привычку говорить, что все хорошее редко в нынешнем свете, но он любил повторять это выражение, и оно как-то шло к нему). Только я боюсь,— продолжал он спокойно, совершенно уже уничтожив своим рассуждением людей, которые имели глупость любить красоту,— я боюсь, что ты не поймешь и не узнаешь ее скоро: она скромна и даже скрытна, не любит показывать свои прекрасные, удивительные качества. Вот матушка, которая, ты увидишь, прекрасная и умная женщина,— она знает Любовь Серге-

евну уже несколько лет и не может, и не хочет понять ее. Я даже вчера... я скажу тебе, отчего я был не в духе, когда ты у меня спрашивал. Третьего дня Любовь Сергеевна желала, чтоб я съездил с ней к Ивану Яковлевичу,— ты слышал, верно, про Ивана Яковлевича, который будто бы сумасшедший, а действительно — замечательный человек. Любовь Сергеевна чрезвычайно религиозна, надо тебе сказать, и понимает совершенно Ивана Яковлевича. Она часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных деньги, которые сама зарабатывает. Она удивительная женщина, ты увидишь. Ну, и я ездил с ней к Ивану Яковлевичу и очень благодарен ей за то, что видел этого замечательного человека. А матушка никак не хочет понять этого, видит в этом суеверие. И вчера у меня с матушкой в первый раз в жизни был спор, и довольно горячий,— заключил он, сделав судорожное движение шеей, как будто в воспоминание о чувстве, которое он испытывал при этом споре.

— Ну, и как же ты думаешь? то есть как, когда ты воображаешь, что выйдет... или вы с нею говорите о том, что будет и чем кончится ваша любовь или дружба? — спросил я, желая отвлечь его от неприятного воспоминания.

— Ты спрашиваешь, думаю ли я жениться на ней? — спросил он меня, снова краснея, но смело, повернувшись, глядя мне в лицо.

«Что ж в самом деле,— подумал я, успокоивая себя,— это ничего, мы *большие*, два друга, едем в фэртоне и рассуждаем о нашей будущей жизни. Всякому даже приятно бы было теперь со стороны послушать и посмотреть на нас».

— Отчего ж нет? — продолжал он после моего утвердительного ответа,— ведь моя цель, как и всякого благоразумного человека,— быть счастливым и хорошим, сколько возможно; и с ней, ежели только она захочет этого, когда я буду совершенно независим, я с ней буду и счастливее и лучше, чем с первой красавицей в мире.

В таких разговорах мы и не заметили, как подъезжали к Кунцеву,— не заметили и того, что небо заволокало и собирался дождик. Солнце уже стояло невысоко, направо, над старыми деревьями кунцевского сада, и половина блестящего красного круга была закрыта серой, слабо просвечивающей тучей; из другой половины брызгами вырывались раздробленные огненные лучи и поразительно ярко освещали старые деревья сада, неподвижно блестящие своими зелеными густыми макушками еще на ясном, освещенном месте лазури неба. Блеск и свет этого края неба был резко противоположен лиловой тяжелой туче, которая залегла перед нами над молодым березником, видневшимся на горизонте.

Немного правее виднелись уже из-за кустов и деревьев разноцветные крыши дачных домиков, из которых некоторые отражали на себе блестящие лучи солнца, некоторые принимали на себя унылый характер другой стороны неба. Налево внизу синел неподвижный пруд, окруженный бледно-зелеными раkitами, которые темно отражались

на его матовой, как бы выпуклой поверхности. За прудом, по полу-горью, расстиралось паровое чернеющее поле, и прямая линия ярко-зеленой межи, пересекавшей его, уходила вдаль и упиралась в сви-цовый грозовой горизонт. С обеих сторон мягкой дороги, по которой мерно покачивался фэзтон, резко зеленела сочная уклочившаяся рожь, уж кое-где начинавшая выбивать в трубку. В воздухе было совершенно тихо и пахло свежестью; зелень деревьев, листьев и ржи была неподвижна и необыкновенно чиста и ярка. Казалось, каждый лист, каждая травка жили своей отдельной, полной и счастливой жизнью. Около дороги я заметил черноватую тропинку, которая ви-лась между темно-зеленой, уже больше чем на четверть поднявшейся рожью, и эта тропинка почему-то мне чрезвычайно живо напомнила деревню и, вследствие воспоминания о деревне, по какой-то стран-ной связи мыслей, чрезвычайно живо напомнила мне Сонечку и то, что я влюблен в нее.

Несмотря на всю дружбу мою к Дмитрию и на удовольствие, ко-торое доставляла мне его откровенность, мне не хотелось более ниче-го знать о его чувствах и намерениях в отношении Любовь Сергеев-ны, а непременно хотелось сообщить про свою любовь к Сонечке, которая мне казалась любовью гораздо высшего разбора. Но я поче-му-то не решился сказать ему прямо свои предположения о том, как будет хорошо, когда я, женившись на Сонечке, буду жить в деревне, как у меня будут маленькие дети, которые, ползая по полу, будут на-зывать меня папой, и как я обрадуюсь, когда он с своей женой, Лю-бовью Сергеевной, приедет ко мне в дорожном платье... а сказал вместо всего этого, указывая на заходящее солнце: «Дмитрий, по-смотри, какая прелесть!»

Дмитрий ничего не сказал мне, видимо, недовольный тем, что на его признание, которое, вероятно, стоило ему труда, я отвечал, обра-щая его внимание на природу, к которой он вообще был хладнокро-вен. Природа действовала на него совсем иначе, чем на меня: она дей-ствовала на него не столько красотой, сколько занимательностью; он любил ее более умом, чем чувством.

— Я очень счастлив,— сказал я ему вслед за этим, не обращая внимания на то, что он, видимо, был занят своими мыслями и совер-шенно равнодушен к тому, что я мог сказать ему,— я ведь тебе гово-рил, помнишь, про одну барышню, в которую я был влюблен, бывши ребенком; я видел ее нынче,— продолжал я с увлечением,— и теперь я решительно влюблен в нее...

И я рассказал ему, несмотря на продолжавшееся на лице его вы-ражение равнодушия, про свою любовь и про все планы о будущем супружеском счастье. И странно, что как только я рассказал подро-бно про всю силу своего чувства, так в то же мгновение я почувство-вал, как чувство это стало уменьшаться.

Дождик захватил нас, когда уже мы повернули в березовую аллею, ведущую к даче. Но он не замочил нас. Я знал, что шел до-

ждик, только потому, что несколько капель упало мне на нос и на руку и что что-то зашлепало по молодым клейким листьям берез, которые, неподвижно повесив свои кудрявые ветви, казалось, с наслаждением, выражающимся тем сильным запахом, которым они наполняли аллею, принимали на себя эти чистые, прозрачные капли. Мы вышли из коляски, чтоб поскорее до дома пробежать садом. Но у самого входа в дом столкнулись с четырьмя дамами, из которых две с работами, одна с книгой, а другая с собачкой скорыми шагами шли с другой стороны. Дмитрий тут же представил меня своей матери, сестре, тетке и Любови Сергеевне. На секунду они остановились, но дождик начинал накрапывать чаще и чаще.

— Пойдемте на галерею, там ты его еще раз представишь,— сказала та, которую я принял за мать Дмитрия, и мы вместе с дамами вошли на лестницу.

Г л а в а XXIII

НЕХЛЮДОВЫ

В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа в руках болонку, сзади всех, в толстых вязаных башмаках, всходила на лестницу и раза два, остановившись, внимательно оглянулась на меня и тотчас после этого поцеловала свою собачку. Она была очень нехороша собой: рыжа, худа, невелика ростом, немного кривобока. Что еще более делало некрасивым ее некрасивое лицо, была странная прическа с пробором сбоку (одна из тех причесок, которые придумывают для себя плешивые женщины). Как я ни старался в угодность своему другу, я не мог в ней найти ни одной красивой черты. Даже карие глаза ее, хотя и выражавшие добродушие, были слишком малы и тусклы и решительно нехороши; даже руки, эта характеристическая черта, хотя и небольшие и недурной формы, были красны и шершавы.

Когда я вслед за ними вошел на террасу — исключая Вареньки, сестры Дмитрия, которая только внимательно посмотрела на меня своими большими темно-серыми глазами,— каждая из дам сказала мне несколько слов, прежде чем они снова взяли каждая свою работу, а Варенька вслух начала читать книгу, которую она держала у себя на коленях, заложив пальцем.

Княгиня Марья Ивановна была высокая, стройная женщина лет сорока. Ей можно бы было дать больше, судя по буклям полуседых волос, откровенно выставленных из-под чепца, но по свежему, чрезвычайно нежному, почти без морщин лицу, в особенности же по живому, веселому блеску больших глаз ей казалось гораздо меньше. Глаза у нее были карие, очень открытые; губы слишком тонкие, не-

много строгие; нос довольно правильный и немного на левую сторону; рука у нее была без колец, большая, почти мужская, с прекрасными продолговатыми пальцами. На ней было темно-синее закрытое платье, крепко стягивающее ее стройную и еще молодую талию, которой она, видимо, щеголяла. Она сидела чрезвычайно прямо и шила какое-то платье. Когда я вошел на галерею, она взяла мою руку, притянула меня к себе, как будто с желанием рассмотреть меня поближе, и сказала, взглянув на меня тем же несколько холодным, открытым взглядом, который был у ее сына, что она меня давно знает по рассказам Дмитрия и что для того, чтобы ознакомиться хорошенько с ними, она приглашает меня пробить у них целые сутки.

— Делайте все, что вам вздумается, несколько не стесняясь нами, так же как и мы не будем стесняться вами,— гуляйте, читайте, слушайте или спите, ежели вам это веселее,— прибавила она.

Софья Ивановна была старая девушка и младшая сестра княгини, но на вид она казалась старше. Она имела тот особенный переполненный характер сложения, который только встречается у невысоких ростом, очень полных старых дев, носящих корсеты. Как будто все здоровье ее ей подступило кверху с такой силой, что всякую минуту угрожало задушить ее. Ее коротенькие толстые ручки не могли соединиться ниже выгнутого мыска лифа, и самый туго-натуго натянутый мысок лифа она уже не могла видеть.

Несмотря на то, что княгиня Марья Ивановна была черноволоса и черноглаза, а Софья Ивановна белокура и с большими живыми и вместе с тем (что большая редкость) спокойными голубыми глазами, между сестрами было большое семейное сходство: то же выражение, тот же нос, те же губы; только у Софьи Ивановны и нос и губы были потолще немного и на правую сторону, когда она улыбалась, тогда как у княгини они были на левую. Софья Ивановна, судя по одежде и прическе, еще, видимо, молодилась и не выставила бы седых букашек, ежели бы они у нее были. Ее взгляд и обращение со мною показались мне в первую минуту очень гордыми и смутили меня; тогда как с княгиней, напротив, я чувствовал себя совершенно развязным. Может быть, эта толщина и некоторое сходство с портретом Екатерины Великой, которое поразило меня в ней, придавали ей в моих глазах гордый вид; но я совершенно оробел, когда она, пристально глядя на меня, сказала мне: «Друзья наших друзей — наши друзья». Я успокоился и вдруг совершенно переменял о ней мнение только тогда, когда она, сказав эти слова, замолчала и, открыв рот, тяжело вздохнула. Должно быть, от полноты у нее была привычка, после нескольких сказанных слов, глубоко вздыхать, открывая немного рот и несколько закатывая свои большие голубые глаза. В этой привычке почему-то выражалось такое милое добродушие, что вслед за этим вздохом я потерял к ней страх, и она даже мне очень понравилась. Глаза ее были прелестны, голос звучен и приятен, даже эти очень

круглые линии сложения, в ту пору моей юности, казались мне не лишними красоты.

Любовь Сергеевна, как друг моего друга (я полагал), должна была сейчас же сказать мне что-нибудь очень дружеское и задушевное, и она даже смотрела на меня довольно долго молча, как будто в нерешимости — не будет ли уж слишком дружески то, что она намерена сказать мне; но она прервала это молчание только для того, чтобы спросить меня, в каком я факультете. Потом снова она довольно долго пристально смотрела на меня, видимо колеблясь: сказать или не сказать это задушевное дружеское слово; и я, заметив это сомнение, выражением лица умолял ее сказать мне все, но она сказала: «Нынче, говорят, в университете уже мало занимаются науками», — и подозвала свою собачку Сюзетку.

Любовь Сергеевна весь этот вечер говорила такими большею частью не идущими ни к делу, ни друг к другу изречениями; но я так верил Дмитрию, и он так заботливо весь этот вечер смотрел то на меня, то на нее с выражением, спрашивавшим: «Ну, что?» — что я, как это часто случается, хотя в душе был уже убежден, что в Любовь Сергеевне ничего особенного нет, еще чрезвычайно далек был от того, чтобы высказать эту мысль даже самому себе.

Наконец последнее лицо этого семейства, Варенька, была очень полная девушка лет шестнадцати.

Только темно-серые большие глаза, выражением, соединявшим веселость и спокойную внимательность, чрезвычайно похожие на глаза тетки, очень большая русая коса и чрезвычайно нежная и красивая рука — были хороши в ней.

— Вам, я думаю, скучно, monsieur Nicolas, слушать из середины, — сказала мне Софья Ивановна с своим добродушным вздохом, переворачивая куски платья, которое она шила.

Чтение в это время прекратилось, потому что Дмитрий куда-то вышел из комнаты.

— Или, может быть, вы уже читали «Роброя»?

В то время я считал своею обязанностию, вследствие уже одного того, что носил студенческий мундир, с людьми мало мне знакомыми на каждый даже самый простой вопрос отвечать непременно очень *умно и оригинально* и считал величайшим стыдом короткие и ясные ответы, как: да, нет, скучно, весело и тому подобное. Взглянув на свои новые модные панталоны и блестящие пуговицы сюртука, я отвечал, что не читал «Роброя», но что мне было очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги из середины, чем с начала.

— Вдвое интересней: догадываешься о том, что было и что будет, — добавил я, самодовольно улыбаясь.

Княгиня засмеялась как будто бы неестественным смехом (впоследствии я заметил, что у ней не было другого смеха).

— Однако это, должно быть, правда,— сказала она.— А что, вы долго здесь пробудете, Nicolas? Вы не обидитесь, что я вас зову без monsieur? Когда вы едете?

— Не знаю, может быть, завтра, а может быть, пробудем еще довольно долго,— отвечал я почему-то, несмотря на то, что мы наверное должны были ехать завтра.

— Я бы желала, чтоб вы остались, и для вас, и для моего Дмитрия,— заметила княгиня, глядя куда-то далеко,— в ваши года дружба славная вещь.

Я чувствовал, что все смотрели на меня и ожидали того, что я скажу, хотя Варенька и притворялась, что смотрит работу тетки; я чувствовал, что мне делают в некотором роде экзамен и что надо показаться как можно выгодней.

— Да, для меня,— сказал я,— дружба Дмитрия полезна, но я не могу ему быть полезен: он в тысячу раз лучше меня. (Дмитрий не мог слышать того, что я говорил, иначе я бы боялся, что он почувствует неискренность моих слов.)

Княгиня засмеялась снова неестественным, ей естественным, смехом.

— Ну, а послушать его,— сказала она,— так c'est vous qui êtes un petit monstre de perfection¹.

«Monstre de perfection — это отлично, надо запомнить»,— подумал я.

— Но, впрочем, не говоря об вас, он на это мастер,— продолжала она, понизив голос (что мне было особенно приятно) и указывая глазами на Любовь Сергеевну,— он открыл в бедной тетеньке (так называлась у них Любовь Сергеевна), которую я двадцать лет знаю с ее Сюзеткой, такие совершенства, каких я и не подозревала... Варя, вели мне дать стакан воды,— прибавила она, снова взглянув вдаль, должно быть найдя, что было еще рано или вовсе не нужно посвящать меня в семейные отношения,— или нет, лучше он сходит. Он ничего не делает, а ты читай. Идите, мой друг, прямо в дверь и, пройдя пятнадцать шагов, остановитесь и скажите громким голосом: «Петр, подай Марье Ивановне стакан воды со льдом»,— сказала она мне и снова слегка засмеялась своим неестественным смехом.

«Верно, она хочет про меня поговорить,— подумал я, выходя из комнаты,— верно, хочет сказать, что она заметила, что я очень и очень умный молодой человек». Я еще не успел пройти пятнадцати шагов, как толстая, запыхавшаяся Софья Ивановна, однако скорыми и легкими шагами, догнала меня.

— Мерси, mon cher²,— сказала она,— я сама иду туда, так скажу.

¹ это вы — чудовищное совершенство (фр.)

² Благодарю, мой дорогой (фр.)

ЛЮБОВЬ

Софья Ивановна, как я ее после узнал, была одна из тех редких немолодых женщин, рожденных для семейной жизни, которым судьба отказала в этом счастье и которые вследствие этого отказа весь тот запас любви, который так долго хранился, рос и креп в их сердце для детей и мужа, решаются вдруг изливать на некоторых избранных. И запас этот у старых девушек такого рода бывает так неистощим, что, несмотря на то, что избранных много, еще остается много любви, которую они изливают на всех окружающих, на всех добрых и злых людей, которые только сталкиваются с ними в жизни.

Есть три рода любви:

- 1) Любовь красивая,
- 2) Любовь самоотверженная и
- 3) Любовь деятельная.

Я говорю не о любви молодого мужчины к молодой девице и наоборот, я боюсь этих нежностей и был так несчастлив в жизни, что никогда не видал в этом роде любви ни одной искры правды, а только ложь, в которой чувственность, супружеские отношения, деньги, желание связать или развязать себе руки до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было. Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на одном, на некоторых или изливается на многих, про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку.

Любовь красивая заключается в любви красоты самого чувства и его выражения. Для людей, которые так любят, — любимый предмет любезен только настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются. Люди, которые любят красивой любовью, очень мало заботятся о взаимности, как о обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства. Они часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтоб приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. Для того чтобы поддержать в себе это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела. В нашем отечестве люди известного класса, любящие *красиво*, не только всем рассказывают про свою любовь, но рассказывают про нее непременно по-французски. Смешно и странно сказать, но я уверен, что было очень много и теперь есть много людей известного общества, в особенности женщин, которых любовь к друзьям, мужьям, детям сейчас бы уничтожилась, ежели бы им только запретили про нее говорить по-французски.

Второго рода любовь — *любовь самоотверженная*, заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, не обращающая никакой внимания на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету. «Нет никакой неприятности, которую бы я не решился сделать самому себе, для того чтобы доказать всему свету и ему или ей свою преданность». Вот формула этого рода любви. Люди, любящие так, никогда не верят взаимности (потому что еще достойнее жертвовать собою для того, кто меня не понимает), всегда бывают болезненны, что тоже увеличивает заслугу жертв; большей частью постоянны, потому что им тяжело бы было потерять заслугу тех жертв, которые они сделали любимому предмету; всегда готовы умереть для того, чтоб доказать ему или ей всю свою преданность, но пренебрегают мелкими ежедневными доказательствами любви, в которых не нужно особенных порывов самоотвержения. Им все равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства, ежели они в их власти; но стать под пулю, броситься в воду, в огонь, зачехнуть от любви — на это они всегда готовы, ежели только встретится случай. Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своею любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять от них.

Вы одни живете в деревне с своей женой, которая любит вас с самоотвержением. Вы здоровы, спокойны, у вас есть занятия, которые вы любите; любящая жена ваша так слаба, что не может заниматься ни домашним хозяйством, которое передано на руки слуг, ни детьми, которые на руках нянек, ни даже каким-нибудь делом, которое бы она любила, потому что она ничего не любит, кроме вас. Она *видимо* больна, но, не желая вас огорчить, не хочет говорить вам этого; она *видимо* скучает, но для вас она готова скучать всю свою жизнь; ее *видимо* убивает то, что вы так пристально занимаетесь своим делом (какое бы оно ни было: охота, книги, хозяйство, служба); она видит, что эти занятия погубят вас, — но она молчит и терпит. Но вот вы сделались больны, — любящая жена ваша забывает свою болезнь и неотлучно, несмотря на ваши просьбы не мучить себя напрасно, сидит у вашей постели, и вы всякую секунду чувствуете на себе ее соболезнующий взгляд, говорящий: «Что же, я говорила, но мне все равно, и я все-таки не оставлю тебя». Утром вам немного лучше, вы выходите в другую комнату. Комната не протоплена, не убрана; суп, который один вам можно есть, не заказан повару, за лекарством не послано; но, изнуренная от ночного бдения, любящая жена ваша все с таким же выражением соболезнования смотрит на вас, ходит на цыпочках и шепотом отдает слугам непривычные и неясные приказания. Вы хотите читать — любящая жена с вздохом говорит вам, что она знает, что вы ее не послушаетесь, будете сердиться

на нее, но она уж привыкла к этому, — вам лучше не читать; вы хотите пройти по комнате — вам этого тоже лучше не делать; вы хотите поговорить с приехавшим приятелем — вам лучше не говорить. Ночью у вас снова жар, вы хотите забыться, но любящая жена ваша, худая, бледная, изредка вздыхая, в полусвете ночника сидит против вас на кресле и малейшим движением, малейшим звуком возбуждает в вас чувства досады и нетерпения. У вас есть слуга, с которым вы живете уж двадцать лет, к которому вы привыкли, который с удовольствием и отлично служит вам, потому что днем выпался и получает за свою службу жалованье, но она не позволяет ему служить вам. Она все делает сама своими слабыми, непривычными пальцами, за которыми вы не можете не следить с сдержанной злобой, когда эти белые пальцы тщетно стараются откупорить стклянку, тушат свечку, проливают лекарство или брезгливо дотрогиваются до вас. Ежели вы нетерпеливый, горячий человек и попросите ее уйти, вы услышите своим раздраженным, болезненным слухом, как она за дверью будет покорно вздыхать и плакать и шептать какой-нибудь вздор вашему человеку. Наконец, ежели вы не умерли, любящая жена ваша, которая не спала двадцать ночей во время вашей болезни (что она беспрестанно вам повторяет), делается больна, чахнет, страдает и становится еще меньше способна к какому-нибудь занятию и, в то время как вы находитесь в нормальном состоянии, выражает свою любовь самоотвержения только кроткой скукой, которая невольно сообщается вам и всем окружающим.

Третий род — *любовь деятельная*, заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. Люди, которые любят так, любят всегда на всю жизнь, потому что чем больше они любят, тем больше узнают любимый предмет и тем легче им любить, то есть удовлетворять его желания. Любовь их редко выражается словами, и если выражается, то не только не самодовольно, красиво, но стыдливо, неловко, потому что они всегда боятся, что любят недостаточно. Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти дают им возможность удовлетворять еще новые желания. Они ищут взаимности, охотно даже обманывая себя, верят в нее и счастливы, если имеют ее; но любят всё так же даже и в противном случае и не только желают счастья для любимого предмета, но всеми теми моральными и материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно стараются доставить его.

И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре, к Любови Сергеевне, ко мне даже, за то, что меня любил Дмитрий, светилась в глазах, в каждом слове и движении Софьи Ивановны.

Только гораздо после я оценил вполне Софью Ивановну, но и тогда мне пришел в голову вопрос: почему Дмитрий, старавшийся понимать любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые

люди, и имевший всегда перед глазами милую, любящую Софью Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну и только допускал, что в его тетке есть тоже хорошие качества. Видно, справедливо изречение: «Нет пророка в отечестве своем». Одно из двух: или действительно в каждом человеке больше дурного, чем хорошего, или человек больше восприимчив к дурному, чем к хорошему. Любовь Сергеевну он знал недавно, а любовь тетки он испытывал с тех пор, как родился.

Г л а в а XXV

Я ОЗНАКОМЛИВАЮСЬ

Когда я вернулся на галерею, там вовсе не говорили обо мне, как я предполагал; но Варенька не читала, а, отложив в сторону книгу, с жаром спорила с Дмитрием, который, расхаживая взад и вперед, поправлял шеей галстук и зажмуривался. Предмет споров был будто Иван Яковлевич и суеверие; но спор был слишком горяч для того, чтобы подразумеваемый смысл его не был другой, более близкий всему семейству. Княгиня и Любовь Сергеевна сидели молча, вслушиваясь в каждое слово, видимо, желая иногда принять участие в споре, но удерживаясь и предоставляя говорить за себя, одна — Вареньке, другая — Дмитрию. Когда я вошел, Варенька взглянула на меня с выражением такого равнодушия, что видно было, спор сильно занимал ее, и ей было все равно, буду ли я или не буду слышать то, что она говорила. Такое же выражение имел взгляд княгини, которая, видимо, была на стороне Вареньки. Но Дмитрий еще горячее стал спорить при мне, а Любовь Сергеевна как будто очень испугалась моего прихода и сказала, не обращая ни к кому в особенности:

— Правду говорят старые люди — *si jeunesse savait, si vieillesse rouvrait!*¹.

Но это изречение не прекратило спора, а только навело меня на мысль, что сторона Любовь Сергеевны и моего друга была неправая сторона. Хотя мне было несколько совестно присутствовать при маленьком семейном раздоре, однако и было приятно видеть настоящие отношения этого семейства, выказывавшиеся вследствие спора, и чувствовать, что мое присутствие не мешало им выказываться.

Как часто бывает, что вы годя видите семейство под одной и той же ложной завесой приличия и истинные отношения его членов остаются для вас тайной (я даже замечал, что чем непроницаемее и потому красивее эта завеса, тем грубее бывают истинные, скрытые от вас отношения)! Но случится раз, совершенно неожиданно поднимется в

¹ если бы молодость знала, если бы старость могла (*фр.*)

кругу этого семейства какой-нибудь, иногда кажущийся незначащим, вопрос о какой-нибудь блонде или визите на мужниных лошадях,— и, без всякой видимой причины, спор становится ожесточеннее и ожесточеннее, под завесой уже становится тесно для разбирательства дела, и вдруг, к ужасу самих спорящих и к удивлению присутствующих, все истинные, грубые отношения вылезают наружу, завеса, уже ничего не прикрывая, праздно болтается между воюющими сторонами и только напоминает вам о том, как долго вы были ею обмануты. Часто не так больно со всего размаху удариться головой о притолоку, как чуть-чуть, легонько дотронуться до наболевшего, натруженного места. И такое натруженное, больное место бывает почти в каждом семействе. В семействе Нехлюдовых такое натруженное место была странная любовь Дмитрия к Любови Сергеевне, возбуждавшая в сестре и матери если не чувство зависти, то оскорбленное родственное чувство. Поэтому-то и спор об Иване Яковлевиче и суевории имел для всех них такое серьезное значение.

— Ты всегда стараешься видеть в том, над чем другие смеются и что все презирают,— говорила Варенька своим звучным голосом и отчетливо выговаривая каждую букву,— ты именно во всем этом стараешься находить что-нибудь необыкновенно хорошее.

— Во-первых, только самый *легкомысленный человек* может говорить о презрении к такому замечательному человеку, как Иван Яковлевич,— отвечал Дмитрий, судорожно подергивая головою в противоположную сторону от сестры,— а во-вторых, напротив, *ты* стараешься нарочно не видеть хорошего, которое у тебя стоит перед глазами.

Вернувшись к нам, Софья Ивановна несколько раз испуганно посмотрела то на племянника, то на племянницу, то на меня и раза два, как будто сказав что-то мысленно, открыв рот, тяжело вздохнула.

— Варя, пожалуйста, читай поскорее,— сказала она, подавая ей книгу и ласково потрепав ее по руке,— я непременно хочу знать, нашел ли он ее опять. (Кажется, что в романе и речи не было о том, чтобы кто-нибудь находил кого-нибудь.) А ты, Митя, лучше бы завязал щеку, мой дружок, а то свежо и опять у тебя разболются зубы,— сказала она племяннику, несмотря на недовольный взгляд, который он бросил на нее, должно быть за то, что она прервала логическую нить его доводов. Чтение продолжалось.

Эта маленькая ссора несколько не расстроила того семейного спокойствия и разумного согласия, которым дышал этот женский кружок.

Этот кружок, которому направление и характер, видимо, давала княгиня Марья Ивановна, имел для меня совершенно новый и привлекательный характер какой-то логичности и вместе с тем простоты и изящества. Этот характер выражался для меня и в красоте, чистоте и прочности вещей — колокольчика, переплета книги, кресла, стола,— и в прямой, поддержанной корсетом, позе княгини, и в выставленных напоказ бугорках седых волос, и в манере называть меня

при первом свидании просто Nicolas и *он*, в их занятиях, в чтении, и в шитье платья, и в необыкновенной белизне дамских рук. (У них у всех была в руке общая семейная черта, состоящая в том, что мякоть ладони с внешней стороны была алого цвета и отделялась резкой прямой чертой от необыкновенной белизны верхней части руки.) Но более всего этот характер выражался в их манере, всех трех, отлично говорить по-русски и по-французски, отчетливо выговаривая каждую букву, с педантической точностью доканчивая каждое слово и предложение. Все это, и особенно то, что в этом обществе со мной обращались просто и серьезно, как с большим, говорили мне свои, слушали мои мнения,— к этому я так мало привык, что, несмотря на блестящие пуговицы и голубые обшлага, я все боялся, что вдруг мне скажут: «Неужели вы думаете, что с вами серьезно разговаривают? ступайте-ка учиться»,— все это делало то, что в этом обществе я не чувствовал ни малейшей застенчивости. Я вставал, пересаживался с места на место и смело говорил со всеми, исключая Вареньки, с которой мне казалось еще неприлично, почему-то запрещено было говорить для первого разу.

Во время чтения, слушая ее приятный, звучный голос, я, поглядывая то на нее, то на песчаную дорожку цветника, на которой образовывались круглые темнеющие пятна дождя, и на липы, по листьям которых продолжали шлепать редкие капли дождя из бледного, просвечивающего синевой края тучи, которым захватило нас, то снова на нее, то на последние багряные лучи заходившего солнца, освещающего мокрые от дождя, густые старые березы, и снова на Вареньку,— я подумал, что она вовсе не дурна, как мне показалось сначала.

«А жалко, что я уже влюблен,— подумал я,— и что Варенька не Сонечка; как бы хорошо было вдруг сделаться членом этого семейства: вдруг бы у меня сделалась и мать, и тетка, и жена». В то же самое время, как я думал это, я пристально глядел на читавшую Вареньку и думал, что я ее магнетизирую и что она должна взглянуть на меня. Варенька подняла голову от книги, взглянула на меня и, встретившись с моими глазами, отвернулась.

— Однако дождик не перестает,— сказала она.

И вдруг я испытал странное чувство: мне вспомнилось, что именно все, что было теперь со мною,— повторение того, что было уже со мною один раз: что и тогда точно так же шел маленький дождик, и заходило солнце за березами, и я смотрел на *нее*, и она читала, и я магнетизировал ее, и она оглянулась, и даже я вспомнил, что это еще раз прежде было.

«Неужели она... она? — подумал я.— Неужели *начинается*?» Но я скоро решил, что она не *она* и что еще не *начинается*. «Во-первых, она нехороша,— подумал я,— да и она просто барышня, и с ней я познакомился самым обыкновенным манером, а та будет необыкновенная, с той я встречу где-нибудь в необыкновенном месте; и потом мне так нравится это семейство только потому, что еще я не видел ничего,— рассудил я,— а такие, верно, всегда бывают, и их еще очень много я встречу в жизни».

Я ПОКАЗЫВАЮСЬ
С САМОЙ ВЫГОДНОЙ СТОРОНЫ

Во время чая чтение прекратилось, и дамы занялись разговором между собой о лицах и обстоятельствах мне незнакомых, как мне казалось, только для того, чтобы, несмотря на ласковый прием, все-таки дать мне почувствовать ту разницу, которая по годам и положению в свете была между мною и ими. В разговорах же общих, в которых я мог принимать участие, искупая свое предшествовавшее молчание, я старался выказать свой необыкновенный ум и оригинальность, к чему особенно я считал себя обязанным своим мундиром. Когда зашел разговор о дачах, я вдруг рассказал, что у князя Ивана Ивановича есть такая дача около Москвы, что на нее приезжали смотреть из Лондона и из Парижа, что там есть решетка, которая стоит триста восемьдесят тысяч, и что князь Иван Иванович мне очень близкий родственник, и я нынче у него обедал, и он звал меня непременно приехать к нему на эту дачу жить с ним целое лето, но что я отказался, потому что знаю хорошо эту дачу, несколько раз бывал на ней, и что все эти решетки и мосты для меня незанимательны, потому что я терпеть не могу роскоши, особенно в деревне, а люблю, чтоб в деревне уж было совсем как в деревне... Сказав эту страшную, сложную ложь, я сконфузился и покраснел, так что все, верно, заметили, что я лгу. Варенька, передававшая мне в это время чашку чая, и Софья Ивановна, смотревшая на меня в то время, как я говорил, обе отвернулись от меня и заговорили о другом, с выражением лица, которое потом я часто встречал у добрых людей, когда очень молодой человек начинает очевидно лгать им в глаза, и которое значит: «Ведь мы знаем, что он лжет, и зачем он это делает, бедняжка!..»

Что я сказал, что у князя Ивана Ивановича есть дача,— это потому, что я не нашел лучшего предлога рассказать про свое родство с князем Иваном Ивановичем и про то, что я нынче у него обедал; но для чего я рассказал про решетку, стоившую триста восемьдесят тысяч, и про то, что я так часто бывал у него, тогда как я ни разу не был и не могу быть у князя Ивана Ивановича, жившего только в Москве или Неаполе, что очень хорошо знали Нехлюдовы,— для чего я это сказал, я решительно не могу дать себе отчета. Ни в детстве, ни в отрочестве, ни потом в более зрелом возрасте я не замечал за собой порока лжи; напротив, я скорее был слишком правдив и откровенен; но в эту первую эпоху юности на меня часто находило странное желание, без всякой видимой причины, лгать самым отчаянным образом. Я говорю именно «отчаянным образом», потому что я лгал в таких вещах, в которых очень легко было поймать меня. Мне кажется, что тщеславное желание выказать себя совсем другим человеком, чем есть, соединенное с несбы-

точною в жизни надеждой лгать, не быв уличенным в лжи, было главной причиной этой странной наклонности.

После чая, так как дождик прошел и погода на вечерней заре была тихая и ясная, княгиня предложила идти гулять в нижний сад и полюбоваться ее любимым местом. Следуя своему правилу быть всегда оригинальным и считая, что такие умные люди, как я и княгиня, должны стоять выше банальной учтивости, я отвечал, что терпеть не могу гулять без всякой цели, и ежели уж люблю гулять, то совершенно один. Я вовсе не сообразил, что это было просто грубо; но мне тогда казалось, что так же, как нет ничего стыднее пошлых комплиментов, так и нет ничего милее и оригинальнее некоторой невежливой откровенности. Однако, очень довольный своим ответом, я пошел-таки гулять вместе со всем обществом.

Любимое место княгини было совершенно внизу, в самой глуши сада, на маленьком мостике, перекинутом через узкое болотце. Вид был очень ограниченный, но очень задумчивый и грациозный. Мы так привыкли смешивать искусство с природою, что очень часто те явления природы, которые никогда не встречали в живописи, нам кажутся неестественными, как будто природа ненатуральна, и наоборот: те явления, которые слишком часто повторялись в живописи, кажутся нам избитыми, некоторые же виды, слишком проникнутые одной мыслью и чувством, встречающиеся нам в действительности, кажутся вычурными. Вид с любимого места княгини был в таком роде. Его составляли небольшой, заросший с краев прудик, сейчас же за ним крутая гора вверх, поросшая огромными старыми деревьями и кустами, часто перемешивающими свою разнообразную зелень, и перекинутая над прудом, у начала горы, старая береза, которая, держась частью своих толстых корней в влажном берегу пруда, макушкой оперлась на высокую, стройную осину и повесила кудрявые ветви над гладкой поверхностью пруда, отражавшего в себе эти висящие ветки и окружающую зелень.

— Что за прелесть! — сказала княгиня, покачивая головой и не обращая ни к кому в особенности.

— Да, чудесно, но только, мне кажется, ужасно похоже на декорацию, — сказал я, желая доказать, что я во всем имею свое собственное мнение.

Как будто не слышав моего замечания, княгиня продолжала любоваться видом и, обращаясь к сестре и Любови Сергеевне, указывала на частности: на кривой висевший сук и на его отражение, которые ей особенно нравились. Софья Ивановна говорила, что все это прекрасно и что сестра ее по нескольким часам проводит здесь, но видно было, что все это она говорила только для удовольствия княгини. Я замечал, что люди, одаренные способностью деятельной любви, редко бывают восприимчивы к красотам природы. Любовь Сергеевна восхищалась тоже, спрашивала, между прочим: «Чем эта береза держится? долго ли она простоит?» — и беспрестанно поглядывала на свою Сюзетку, которая, махая пушистым хвостом, взад и вперед бегала на своих кривых ножках по мостику с таким хлопотли-

вым выражением, как будто ей в первый раз в жизни довелось быть не в комнате. Дмитрий завел с матерью очень логическое рассуждение о том, что никак не может быть прекрасен вид, в котором горизонт ограничен. Варенька ничего не говорила. Когда я оглянулся на нее, она, опершись на перила мостика, стояла ко мне в профиль и смотрела вперед. Что-то, верно, сильно занимало ее и даже трогало, потому что она, видимо, забылась и мысли не имела о себе и о том, что на нее смотрят. В выражении ее больших глаз было столько пристального внимания и спокойной, ясной мысли; в позе ее столько не-принужденности и, несмотря на ее небольшой рост, даже величавости, что снова меня поразило как будто воспоминание о ней, и снова я спросил себя: «Не начинается ли?» И снова я ответил себе, что я уже влюблен в Сонечку, а что Варенька — просто барышня, сестра моего друга. Но она мне понравилась в эту минуту, и вследствие этого я почувствовал неопределенное желание сделать или сказать ей какую-нибудь небольшую неприятность.

— Знаешь что, Дмитрий,— сказал я моему другу, подходя ближе к Вареньке, так чтобы она могла слышать то, что я буду говорить,— я нахожу, что ежели бы не было комаров, и то ничего хорошего нет в этом месте, а уж теперь,— прибавил я, щелкнув себя по лбу и действительно раздавив комара,— это совсем плохо.

— Вы, кажется, не любите природы? — сказала мне Варенька, не поворачивая головы.

— Я нахожу, что это праздное, бесполезное занятие,— отвечал я, очень довольный тем, что я сказал-таки ей маленькую неприятность, и притом оригинальную. Варенька чуть-чуть подняла на мгновение брови с выражением сожаления и точно так же спокойно продолжала смотреть прямо.

Мне стало досадно на нее, но, несмотря на это, серенькие с полинявшей краской перильца мостика, на которые она оперлась, отражение в темном пруде опустившегося сука перекинутой березы, которое, казалось, хотело соединиться с висящими ветками, болотный запах, чувство на лбу раздавленного комара и ее внимательный взгляд и величаяя поза — часто потом совершенно неожиданно являлись вдруг в моем воображении.

Г л а в а XXVII

ДМИТРИЙ

Когда после прогулки мы вернулись домой, Варенька не хотела петь, как она это обыкновенно делала по вечерам, и я был так самонадеян, что принял это на свой счет, воображая, что причиной тому было то, что я ей сказал на мостике. Нехлюдовы не ужинали и расходились рано, а в этот день, так как у Дмитрия, по предсказанию

Софьи Ивановны, точно разболелись зубы, мы ушли в его комнату еще раньше обыкновенного. Полагая, что я исполнил все, что требовали от меня мой синий воротник и пуговицы, и что всем очень понравился, я находился в весьма приятном, самодовольном расположении духа; Дмитрий же, напротив, вследствие спора и зубной боли, был молчалив и мрачен. Он сел к столу, достал свои тетради — дневник и тетрадь, в которой он имел обыкновение каждый вечер записывать свои будущие и прошедшие занятия, и, беспрестанно морщась и дотрогиваясь рукой до щеки, довольно долго писал в них.

— Ах, оставьте меня в покое,— закричал он на горничную, которая от Софьи Ивановны пришла спросить его: как его зубы? и не хочет ли он сделать себе припарку? Вслед за тем, сказав, что постель мне сейчас постелят и что он сейчас вернется, он пошел к Любови Сергеевне.

«Как жалко, что Варенька не хорошенькая и вообще не Сонечка,— мечтал я, оставшись один в комнате,— как бы хорошо было, выйдя из университета, приехать к ним и предложить ей руку. Я бы сказал: «Княжна, я уже не молод — не могу любить страстно, но буду постоянно любить вас, как милую сестру». «Вас я уже уважаю,— я сказал бы матери,— а вас, Софья Ивановна, поверьте, что очень и очень ценю. Так скажите просто и прямо: хотите ли вы быть моей женой?» — «Да». И она подаст мне руку, я пожму ее и скажу: «Любовь моя не на словах, а на деле». Ну, а что,— пришло мне в голову,— ежели бы вдруг Дмитрий влюбился в Любочку,— ведь Любочка влюблена в него,— и захотел бы жениться на ней? Тогда кому-нибудь из нас ведь нельзя бы было жениться. И это было бы отлично. Тогда бы я вот что сделал. Я бы сейчас заметил это, ничего бы не сказал, пришел бы к Дмитрию и сказал бы: «Напрасно, мой друг, мы стали бы скрываться друг от друга: ты знаешь, что моя любовь к твоей сестре кончится только с моей жизнью; но я все знаю, ты лишил меня лучшей надежды, ты сделал меня несчастным; но знаешь, как Николай Иртенев отплачивает за несчастье всей своей жизни? Вот тебе моя сестра»,— и подал бы ему руку Любочки. Он бы сказал: «Нет, ни за что!...», а я сказал бы: «Князь Нехлюдов! напрасно вы хотите быть великодушнее Николая Иртенева. Нет в мире человека великодушнее его». Поклонился бы и вышел. Дмитрий и Любочка в слезах убежали бы за мною и умоляли бы, чтобы я принял их жертву. И я бы мог согласиться и мог бы быть очень, очень счастлив, ежели бы только я был влюблен в Вареньку...» Мечты эти были так приятны, что мне очень хотелось сообщить их моему другу, но, несмотря на наш обет взаимной откровенности, я чувствовал почему-то, что нет физической возможности сказать этого.

Дмитрий вернулся от Любови Сергеевны с каплями на зубу, которые она дала ему, еще более страдающий и, вследствие этого, еще более мрачный. Постель мне была еще не постлана, и мальчик, слуга Дмитрия, пришел спросить его, где я буду спать.

— Убирайся к черту! — крикнул Дмитрий, топнув ногой. — Васька! Васька! Васька! — закричал он, только что мальчик вышел, с каждым разом возвышая голос. — Васька! стели мне на полу.

— Нет, лучше я лягу на полу, — сказал я.

— Ну, все равно, стели где-нибудь, — тем же сердитым тоном продолжал Дмитрий. — Васька! что ж ты не стелешь?

Но Васька, видимо, не понимал, чего от него требовали, и стоял не двигаясь.

— Ну, что ж ты? стели, стели! Васька! Васька! — закричал Дмитрий, входя вдруг в какое-то бешенство.

Но Васька, все еще не понимая и оробев, не шевелился.

— Так ты поклялся меня погуб... взбесить?

И Дмитрий, вскочив со стула и подбежав к мальчику, из всех сил несколько раз ударил по голове кулаком Ваську, который стремглав убежал из комнаты. Остановившись у двери, Дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, пристыженным и любящим детским выражением, что мне стало жалко его, и, как ни хотелось отвернуться, я не решился этого сделать. Он ничего не сказал мне, но долго молча ходил по комнате, изредка поглядывая на меня с тем же просящим прощения выражением, потом достал из стола тетрадь, записал что-то в нее, снял сюртук, тщательно сложил его, подошел к углу, где висел образ, сложил на груди свои большие белые руки и стал молиться. Он молился так долго, что Васька успел принести тюфяк и постлать на полу, что я ему объяснил шепотом. Я разделся и лег на посланную на полу постель, а Дмитрий еще все продолжал молиться. Глядя на немного сутуловатую спину Дмитрия и его подошвы, которые как-то покорно выставлялись передо мной, когда он клал земные поклоны, я еще сильнее любил Дмитрия, чем прежде, и думал все о том: «Сказать или не сказать ему то, что я мечтал об наших сестрах?» Окончив молитву, Дмитрий лег ко мне на постель и, облокотясь на руку, долго, молча, ласковым и пристыженным взглядом смотрел на меня. Ему, видимо, было тяжело это, но он как будто наказывал себя. Я улыбнулся, глядя на него. Он улыбнулся тоже.

— А отчего ж ты мне не скажешь, — сказал он, — что я гадко поступил? ведь ты об этом сейчас думал?

— Да, — отвечал я, хотя и думал о другом, но мне показалось, что действительно я об этом думал, — да, это очень нехорошо, я даже и не ожидал от тебя этого, — сказал я, чувствуя в эту минуту особенное удовольствие в том, что я говорил ему *ты*. — Ну, что зубы твои? — прибавил я.

— Прошли. Ах, Николенька, мой друг! — заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах, — я знаю и чувствую, как я дурен, и Бог видит, как я желаю и прошу его, чтоб он сделал меня лучше; но что ж мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? что же мне делать? Я стара-

юсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. Вот Любовь Сергеевна — она понимает меня и много помогла мне в этом. Я знаю по своим запискам, что я в продолжение года уж много исправился. Ах, Николенька, душа моя! — продолжал он с особенной непривычной нежностью и уж более спокойным тоном после этого признания, — как это много значит, влияние такой женщины, как она! Боже мой, как может быть хорошо, когда я буду самостоятелен, с таким другом, как она! Я с ней совершенно другой человек.

И вслед за этим Дмитрий начал развивать мне свои планы женьтибы, деревенской жизни и постоянной работы над самим собою.

— Я буду жить в деревне, ты приедешь ко мне, может быть, и ты будешь женат на Сонечке, — говорил он, — дети наши будут играть. Ведь все это кажется смешно и глупо, а может ведь случиться.

— Еще бы! и очень может, — сказал я, улыбаясь и думая в это время о том, что было бы еще лучше, ежели бы я женился на его сестре.

— Знаешь, что я тебе скажу? — сказал он мне, помолчав немного, — ведь ты только воображаешь, что ты влюблен в Сонечку, а, как я вижу, — это пустяки, и ты еще не знаешь, что такое настоящее чувство.

Я не возражал, потому что почти соглашался с ним. Мы помолчали немного.

— Ты заметил, верно, что я нынче опять был в гадком духе и нехорошо спорил с Варей. Мне потом ужасно неприятно было, особенно потому, что это было при тебе. Хоть она о многом думает не так, как следует, но она славная девочка, очень хорошая, вот ты ее покороче узнаешь.

Его переход в разговоре от того, что я не влюблен, к похвалам своей сестре чрезвычайно обрадовал меня и заставил покраснеть, но я все-таки ничего не сказал ему о его сестре, и мы продолжали говорить о другом.

Так мы проболтали до вторых петухов, и бледная заря уже глядела в окно, когда Дмитрий перешел на свою постель и потушил свечку.

— Ну, теперь спать, — сказал он.

— Да, — отвечал я, — только одно слово.

— Ну.

— Отлично жить на свете? — сказал я.

— Отлично жить на свете, — отвечал он таким голосом, что я в темноте, казалось, видел выражение его веселых, ласкающих глаз и детской улыбки.

На другой день мы с Володей на почтовых уехали в деревню. Дорогой, перебирая в голове разные московские воспоминания, я вспомнил про Сонечку Валахину, но и то вечером, когда мы уже отъехали пять станций. «Однако странно,— подумал я,— что я влюблен и вовсе забыл об этом; надо думать об ней». И я стал думать об ней так, как думается дорогой,— несвязно, но живо, и додумался до того, что, приехав в деревню, два дня почему-то считал необходимым казаться грустным и задумчивым перед всеми домашними и особенно перед Катенькой, которую считал большим знатоком в делах этого рода и которой я намекнул кое-что о состоянии, в котором находилось мое сердце. Но, несмотря на все старание притворства перед другими и самим собой, несмотря на умышленное усвоение всех признаков, которые я замечал в других в влюбленном состоянии, я только в продолжение двух дней, и то не постоянно, а преимущественно по вечерам, вспоминал, что я влюблен, и наконец, как скоро вошел в новую колею деревенской жизни и занятий, совсем забыл о своей любви к Сонечке.

Мы приехали в Петровское ночью, и я спал так крепко, что не видал ни дома, ни березовой аллеи и никого из домашних, которые уже все разошлись и давно спали. Сгорбленный старик Фока, босиком, в какой-то жениной ваточной кофточке, с свечой в руках, отложил нам крючок двери. Увидав нас, он затрясся от радости, расцеловал нас в плечи, торопливо убрал свой войлок и стал одеваться. Сени и лестницу я прошел, еще не проснувшись хорошенько, но в передней замок двери, задвижка, косая половица, ларь, старый подсвечник, закапанный салом по-старому, тени от кривой, холодной, только что зажженной светильни сальной свечи, всегда пыльное, не выставлявшееся двойное окно, за которым, как я помнил, росла рябина,— все это так было знакомо, так полно воспоминаниями, так дружно между собой, как будто соединено одной мыслью, что я вдруг почувствовал на себе ласку этого милого старого дома. Мне невольно представился вопрос: как могли мы, я и дом, быть так долго друг без друга? — и, торопясь куда-то, я побежал смотреть, всё те же ли другие комнаты? Все было то же, только все сделалось меньше, ниже, а я как будто сделался выше, тяжелее и грубее; но и таким, каким я был, дом радостно принимал меня в свои объятия и каждой половицей, каждым окном, каждой ступенькой лестницы, каждым звуком пробуждал во мне тьмы образов, чувств, событий невозвратимого счастливого прошедшего. Мы пришли в нашу детскую спальню: все детские ужасы снова те же таились во мраке углов и дверей; прошли гостиную — та же тихая, нежная материнская любовь была разлита по всем предметам, стоявшим в комнате; прошли залу — шумливое, бес-

печное детское веселье, казалось, остановилось в этой комнате и ждало только того, чтобы снова оживили его. В диванной, куда нас провел Фока и где он постлал нам постели, казалось, все — зеркало, ширмы, старый деревянный образ, каждая неровность стены, оклеенной белой бумагой,— все говорило про страдания, про смерть, про то, чего уже больше никогда не будет.

Мы улеглись, и Фока, пожелав спокойной ночи, оставил нас.

— А ведь в этой комнате умерла татап? — сказал Володя.

Я не отвечал ему и притворился спящим. Если бы я сказал что-нибудь, я бы заплакал. Когда я проснулся на другой день утром, папа, еще не одетый, в торжковских сапожках и халате, с сигарой в зубах, сидел на постели у Володи и разговаривал и смеялся с ним. Он с веселым подергиваньем вскочил от Володи, подошел ко мне и, шлепнув меня своей большой рукой по спине, подставил мне щеку и прижал ее к моим губам.

— Ну, отлично, спасибо, дипломат,— говорил он с своей особенной шутиливой лаской, вглядываясь в меня своими маленькими блестящими глазками.— Володя говорит, что хорошо выдержал, молодец,— ну и славно. Ты, коли захочешь не дурить, ты у меня тоже славный малый. Спасибо, дружок. Теперь мы тут заживем славно, а зимой, может, в Петербург переедем; только жалко, охота кончилась, а то бы я вас потешил; ну, с ружьем можешь охотиться, Вольдемар? дичи пропасть, я, пожалуй, сам пойду с тобой когда-нибудь. Ну, а зимой, Бог даст, в Петербург переедем, увидите людей, связи сделаете; вы теперь у меня ребята большие, вот я сейчас Вольдемару говорил: вы теперь стоите на дороге, и мое дело кончено, можете идти сами, а со мной, коли хотите советоваться, советуйтесь, я теперь ваш не дядька, а друг, по крайней мере, хочу быть другом и товарищем и советчиком, где могу, и больше ничего. Как это по твоей философии выходит, Коко? А? хорошо или дурно? а?

Я, разумеется, сказал, что отлично, и действительно находил это таковым. Папа в этот день имел какое-то особенно привлекательное, веселое, счастливое выражение, и эти новые отношения со мной, как с равным, как с товарищем, еще более заставляли меня любить его.

— Ну, рассказывай же мне, был ты у всех родных? у Ивиных? видел старика? что он тебе сказал? — продолжал он расспрашивать меня.— Был у князя Ивана Иваныча?

И мы так долго разговаривали, не одеваясь, что солнце уже начинало уходить из окон диванной, и Яков (который все точно так же был стар, все так же вертел пальцами за спиной и говорил *опять-таки*) пришел в нашу комнату и доложил папа, что колясочка готова.

— Куда ты едешь? — спросил я папа.

— Ах, я и забыл было,— сказал папа с *досадливым* подергиваньем и покашливаньем,— я к Епифановым обещал ехать нынче. Помнишь Епифанову, la belle Flamande? еще езжала к вашей татап. Они слав-

ные люди.— И папа, как мне показалось, застенчиво подергивая плечом, вышел из комнаты.

Любочка во время нашей болтовни уже несколько раз подходила к двери и все спрашивала: «можно ли войти к нам?», но всякий раз папа кричал ей через дверь, что «никак нельзя, потому что мы не одеты».

— Что за беда! ведь я видала тебя в халате?

— Нельзя тебе видеть братьев без *невыразимых*,— кричал он ей,— а вот каждый из них постучит тебе в дверь, довольно с тебя? Постучите. А даже и говорить с тобой в таком неглиже им неприлично.

— Ах, какие вы несносные! Так приходите, по крайней мере, скорей в гостиную, Мими так хочет вас видеть,— кричала из-за двери Любочка.

Как только папа ушел, я живо оделся в студенческий сюртук и пришел в гостиную; Володя же, напротив, не торопился и долго просидел наверху, разговаривая с Яковом о том, где водятся дупеля и бекасы. Он, как я уже говорил, ничего в мире так не боялся, как нежностей с братцем, папашей или сестрицей, как он выражался, и, избегая всякого выражения чувства, впал в другую крайность — холодности, часто больно оскорблявшую людей, не понимавших причин ее. В передней я столкнулся с папа, который мелкими, скорыми шажками шел садиться в экипаж. Он был в своем новом модном московском сюртуке, и от него пахло духами. Увидав меня, он весело кивнул мне головой, как будто говоря: «Видишь, славно?» — и снова меня поразило то счастливое выражение его глаз, которое я еще утром заметил.

Гостиная была все та же, светлая, высокая комната с желтеньким английским роялем и с большими открытыми окнами, в которые весело смотрели зеленые деревья и желтые, красноватые дорожки сада. Расцеловавшись с Мими и Любочкой и подходя к Катеньке, мне вдруг пришло в голову, что уже неприлично целоваться с ней, и я, молча и краснея, остановился. Катенька, не сконфузившись несколько, протянула мне свою беленькую ручку и поздравила с вступлением в университет. Когда Володя пришел в гостиную, с ним, при свидании с Катенькой, случилось то же самое. Действительно, трудно было решить, после того как мы вместе выросли и в продолжение всего этого времени виделись каждый день, как теперь, после первой разлуки, нам должно было встречаться. Катенька гораздо больше покраснела, чем мы все; Володя несколько не смутился и, слегка поклонившись ей, отошел к Любочке, с которой тоже поговорив немного и то несерьезно, пошел один гулять куда-то.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАМИ И ДЕВОЧКАМИ

Володя имел такой странный взгляд на девочек, что его могло занимать: сыты ли они, выспались ли, прилично ли одеты, не делают ли ошибок по-французски, за которые бы ему было стыдно перед посторонними, — но он не допускал мысли, чтобы они могли думать или чувствовать что-нибудь человеческое, и еще меньше допускал возможность рассуждать с ними о чем-нибудь. Когда им случалось обращаться к нему с каким-нибудь серьезным вопросом (чего они, впрочем, уже старались избегать), если они спрашивали его мнения про какой-нибудь роман или про его занятия в университете, он делал им гримасу и молча уходил или отвечал какой-нибудь исковерканной французской фразой: *ком си три жоли* и т.п., или, сделав серьезное, умышленно глупое лицо, говорил какое-нибудь слово, не имеющее никакого смысла и отношения с вопросом, произносил, вдруг сделав мутные глаза, слова: *булку*, или *поехали*, или *капусту*, или что-нибудь в этом роде. Когда случалось, что я повторял ему слова, сказанные мне Любочкой или Катенькой, он всегда говорил мне:

— Гм! Так ты еще рассуждаешь с ними? Нет, ты, я вижу, еще плох.

И надо было слышать и видеть его в это время, чтобы оценить то глубокое, неизменное презрение, которое выражалось в этой фразе. Володя уже два года был большой, влюблялся беспрестанно, во всех хорошеньких женщин, которых встречал; но, несмотря на то, что каждый день виделся с Катенькой, которая тоже уже два года как носила длинное платье и с каждым днем хорошела, ему и в голову не приходила мысль о возможности влюбиться в нее. Происходило ли это оттого, что прозаические воспоминания детства — линейка, простыня, капризничанье — были еще слишком свежи в памяти, или от отвращения, которое имеют очень молодые люди ко всему домашнему, или от общей людской слабости, встречая на первом пути хорошее и прекрасное, обходить его, говоря себе: «Э! еще такого я много встречу в жизни», — но только Володя еще до сих пор не смотрел на Катеньку как на женщину.

Володя все это лето, видимо, очень скучал; скука его происходила от презрения к нам, которое, как я говорил, он и не старался скрывать. Постоянное выражение его лица говорило: «Фу! скука какая, и поговорить не с кем!» Бывало, с утра он или один уйдет с ружьем на охоту, или в своей комнате, не одеваясь до обеда, читает книгу. Ежели папа не было дома, он даже к обеду приходил с книгой, продолжая читать ее и не разговаривая ни с кем из нас, отчего мы все чувствовали себя перед ним как будто виноватыми. Вечером тоже он ложился с ногами на диван в гостиной, спал, облокотившись на руку, или врал с серьезнейшим лицом страшную бессмыслицу, иногда и не

совсем приличную, от которой Мими злилась и краснела пятнами, а мы помирали со смеху; но никогда ни с кем из нашего семейства, кроме с папа и изредка со мною, он не удостоивал говорить серьезно. Я совершенно невольно в взгляде на девочек подражал брату, несмотря на то, что не боялся нежностей так, как он, и презрение мое к девочкам еще далеко не было так твердо и глубоко. Я даже в это лето пробовал несколько раз от скуки сблизиться и беседовать с Любочкой и Катенькой, но всякий раз встречал в них такое отсутствие способности логического мышления и такое незнание самых простых, обыкновенных вещей, как, например, что такое деньги, чему учатся в университете, что такое война и т.п., и такое равнодушие к объяснению всех этих вещей, что эти попытки только больше подтверждали мое о них невыгодное мнение.

Помню, раз вечером Любочка в сотый раз твердила на фортепьяно какой-то невыносимо надоевший пассаж, Володя лежал в гостиной, дремля на диване, и изредка, с некоторой злобной иронией, не обращаясь ни к кому в особенности, бормотал: «Ай да валяет... музыкантша... *Битховен!*.. (это имя он произносил с особенной иронией), лихо... ну еще раз... вот так», и т.п. Катенька и я оставались за чайным столом, и, не помню как, Катенька навела разговор о своем любимом предмете — любви. Я был в расположении духа пофилософствовать и начал свысока определять любовь желанием приобрести в другом то, чего сам не имеешь, и т.д. Но Катенька отвечала мне, что, напротив, это уже не любовь, коли девушка думает выйти замуж за богача, и что, по ее мнению, состояние самая пустая вещь, а что истинная любовь только та, которая может выдержать разлуку (это, я понял, она намекала на свою любовь к Дубкову). Володя, который, верно, слышал наш разговор, вдруг приподнялся на локте и вопросительно прокричал:

— Катенька! *Русских?*

— Вечно вздор! — сказала Катенька.

— *В перешницу?* — продолжал Володя, ударяя на каждую гласную. И я не мог не подумать, что Володя был совершенно прав.

Отдельно от общих, более или менее развитых в лицах способностей ума, чувствительности, художнического чувства, существует частная, более или менее развитая в различных кружках общества и особенно в семействах, способность, которую я назову *пониманием*. Сущность этой способности состоит в условленном чувстве меры и в условленном одностороннем взгляде на предметы. Два человека одного кружка или одного семейства, имеющие эту способность, всегда до одной и той же точки допускают выражение чувства, далее которой они оба вместе уже видят фразу; в одну и ту же минуту они видят, где кончается похвала и начинается ирония, где кончается увлечение и начинается притворство,— что для людей с другим пониманием может казаться совершенно иначе. Для людей с одним пониманием каждый предмет одинаково для

обоих бросается в глаза преимущественно своей смешной, или красивой, или грязной стороной. Для облегчения этого одинакового понимания между людьми одного кружка или семейства устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже — слова, определяющие те оттенки понятий, которые для других не существуют. В нашем семействе, между папа и нами, братьями, понимание это было развито в высшей степени. Дубков тоже как-то хорошо пришелся к нашему кружку и *понимал*, но Дмитрий, несмотря на то, что был гораздо умнее его, был туп на это. Но ни с кем, как с Володей, с которым мы развивались в одинаковых условиях, не довели мы этой способности до такой тонкости. Уже и папа давно отстал от нас, и многое, что для нас было так же ясно, как дважды два, было ему непонятно. Например, у нас с Володей установились, Бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: *изюм* означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги, *шишка* (причем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение на оба *ш*) означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское; существительное, употребленное во множественном числе, означало несправедливое пристрастие к этому предмету и т.д., и т.д. Но, впрочем, значение зависело больше от выражения лица, от общего смысла разговора, так что, какое бы новое выражение для нового оттенка ни придумал один из нас, другой по одному намеку уже понимал его точно так же. Девочки не имели нашего понимания, и это-то было главною причиною нашего морального разъединения и презрения, которое мы к ним чувствовали.

Может быть, у них было свое *понимание*, но оно до того не сходилось с нашим, что там, где мы уже видели фразу, они видели чувство, наша ирония была для них правдой, и т.д. Но тогда я не понимал того, что они не виноваты в этом отношении и что это отсутствие понимания не мешает им быть и хорошенькими и умными девочками, а я презирал их. Притом, раз напав на мысль об откровенности, доведя приложение этой мысли до крайности в себе, я обвинял в скрытности и притворстве спокойную, доверчивую натуру Любочки, не видевшей никакой необходимости в выкапывании и рассматривании всех своих мыслей и душевных влечений. Например, то, что Любочка каждый день на ночь крестила папа, то, что она и Катенька плакали в часовне, когда ездили служить панихиду по матушке, то, что Катенька вздыхала и закатывала глаза, играя на фортепьянах, — все это мне казалось чрезвычайным притворством, и я спрашивал себя: когда они выучились так притворяться, как большие, и как это им не совестно?

Г л а в а XXX

МОИ ЗАНЯТИЯ

Несмотря на это, я в нынешнее лето больше, чем в другие года, сблизился с нашими барышнями по случаю явившейся во мне страсти к музыке. Весной к нам в деревню приезжал рекомендоваться один сосед, молодой человек, который, как только вошел в гостиную, все смотрел на фортепьяно и незаметно подвигал к нему стул, разговаривая, между прочим, с Мими и Катенькой. Поговорив о погоде и приятностях деревенской жизни, он искусно навел разговор на настройщика, на музыку, на фортепьяно и наконец объявил, что он играет, и очень скоро сыграл три вальса, причем Любочка, Мими и Катенька стояли около фортепьян и смотрели на него. Молодой человек этот после ни разу не был у нас, но мне очень нравилась его игра, поза за фортепьянами, встряхиванье волосами и особенно манера брать октавы левой рукой, быстро расправляя мизинец и большой палец на ширину октавы и потом медленно сводя их и снова быстро расправляя. Этот грациозный жест, небрежная поза, встряхиванье волосами и внимание, которое оказали наши дамы его таланту, дали мне мысль играть на фортепьяно. Вследствие этой мысли убедившись, что я имею талант и страсть к музыке, я принялся учиться. В этом отношении я действовал так же, как миллионы мужского и особенно женского пола учащихся без хорошего учителя, без истинного призвания и без малейшего понятия о том, что может дать искусство и как нужно приняться за него, чтобы оно дало что-нибудь. Для меня музыка, или, скорее, игра на фортепьяно, была средство прельщать девиц своими чувствами. С помощью Катеньки выучившись нотам и выломав немного свои толстые пальцы, на что я, впрочем, употребил месяца два такого усердия, что даже за обедом на коленке и в постели на подушке я работал непокорным безымянным пальцем, я тотчас же принялся играть *пьесы* и играл их, разумеется, с душой, *avec âme*, в чем соглашалась и Катенька, но совершенно без такта.

Выбор *пьес* был известный — вальсы, галопы, романсы (*arrangés*) и т.п., — всё тех милых композиторов, которых всякий человек с немного здравым вкусом отберет вам в нотном магазине небольшую кипу из кучи прекрасных вещей и скажет: «Вот чего не надо играть, потому что хуже, безвкуснее и бессмысленнее этого никогда ничего не было писано на нотной бумаге», и которых, должно быть, именно поэтому, вы найдете на фортепьянах у каждой русской барышни. Правда, у нас были и несчастные, навеки изуродованные барышнями «*Sonate Pathétique*»¹ и *Cis-moll*-ная сонаты Бетховена, которые, в воспоминание *таман*, играла Любочка, и еще другие хорошие вещи,

¹ «Патетическая соната» (*фр.*)

которые ей задал ее московский учитель, но были и сочинения этого учителя, нелепейшие марши и галопы, которые тоже играла Любочка. Мы же с Катенькой не любили серьезных вещей, а предпочитали всему «Le Fou»¹ и «Соловья», которого Катенька играла так, что пальцев не было видно, и я уже начинал играть довольно громко и слитно. Я усвоил себе жест молодого человека и часто жалел о том, что некому из посторонних посмотреть, как я играю. Но скоро Лист и Калькбренер показали мне не по силам, и я увидел невозможность догнать Катеньку. Вследствие этого, вообразив себе, что классическая музыка легче, и отчасти для оригинальности, я решил вдруг, что я люблю ученую немецкую музыку, стал приходиться в восторг, когда Любочка играла «Sonate Pathétique», несмотря на то, что, по правде сказать, эта соната давно уже опротивела мне до крайности, сам стал играть Бетховена и выговаривать *Бееетховен*. Сквозь всю эту путаницу и притворство, как я теперь вспоминаю, во мне, однако, было что-то вроде таланта, потому что часто музыка делала на меня до слез сильное впечатление, и те вещи, которые мне нравились, я кое-как умел сам без нот отыскивать на фортепьяно; так что, ежели бы тогда кто-нибудь научил меня смотреть на музыку как на цель, как на самостоятельное наслаждение, а не на средство прельщать девиц быстротой и чувствительностью своей игры, может быть, я бы сделался действительно порядочным музыкантом.

Чтение французских романов, которых много привез с собой Володя, было другим моим занятием в это лето. В то время только начинали появляться Монтекриссты и разные «Тайны», и я зачитывался романами Сю, Дюма и Поль де Кока. Все самые неестественные лица и события были для меня так же живы, как действительность, я не только не смел заподозрить автора во лжи, но сам автор не существовал для меня, а сами собой являлись передо мной, из печатной книги, живые, действительные люди и события. Ежели я нигде не встречал лиц, похожих на те, про которых я читал, то я ни секунды не сомневался в том, что они *будут*.

Я находил в себе все описываемые страсти и сходство со всеми характерами, и с героями и с злодеями, каждого романа, как мнительный человек находит в себе признаки всех возможных болезней, читая медицинскую книгу. Нравились мне в этих романах и хитрые мысли, и пылкие чувства, и волшебные события, и цельные характеры: добрый, так уж совсем добрый; злой, так уж совсем злой,— именно так, как я воображал себе людей в первой молодости; нравилось очень, очень много и то, что все это было по-французски и что те благородные слова, которые говорили благородные герои, я мог запомнить, упомянуть при случае в благородном деле. Сколько я с помощью романов придумал различных французских фраз для Колпикова, ежели бы я когда-нибудь с ним встретился, и для *нее*, когда я ее,

¹ «Безумца» (фр.)

наконец, встречу и буду открываться ей в любви! Я приготовил им сказать *такое*, что они погибли бы, услышав меня. На основании романов у меня даже составились новые идеалы нравственных достоинств, которых я желал достигнуть. Прежде всего я желал быть во всех своих делах и поступках «*poble*» (я говорю *poble*, а не благородный, потому что французское слово имеет другое значение, что поняли немцы, приняв слово *pobel* и не смешивая с ним понятия *ehrllich*), потом быть *страстным* и, наконец, к чему у меня и прежде была склонность, быть как можно более *comme il faut*. Я даже наружностью и привычками старался быть похожим на героев, имевших какое-нибудь из этих достоинств. Помню, что в одном из прочитанных мною в это лето сотни романов был один чрезвычайно страстный герой с густыми бровями, и мне так захотелось быть похожим на него наружностью (морально я чувствовал себя точно таким, как он), что я, рассматривая свои брови перед зеркалом, вздумал простричь их слегка, чтоб они выросли гуще, но раз, начав стричь, случилось так, что я выстриг в одном месте больше, — надо было подравнивать, и кончилось тем, что я, к ужасу своему, увидел себя в зеркале безбровым и вследствие этого очень некрасивым. Однако надеясь, что скоро у меня вырастут густые брови, как у страстного человека, я утешился и только беспокоился о том, что сказать всем нашим, когда они увидят меня безбровым. Я достал порошу у Володи, натер им брови и поджег. Хотя порох не вспыхнул, я был достаточно похож на опаленного, никто не узнал моей хитрости, и действительно у меня, когда я уже забыл про страстного человека, выросли брови гораздо гуще.

Г л а в а XXXI

COMME IL FAUT

Уже несколько раз в продолжение этого рассказа я намекал на понятие, соответствующее этому французскому заглавию, и теперь чувствую необходимость посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом.

Род человеческий можно разделять на множество отделов — на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых и т.д., и т.д.; но у каждого человека есть непременно свое любимое главное подразделение, под которое он бессознательно подводит каждое новое лицо. Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей *comme il faut* и на *comme il ne faut pas*¹. Второй род подразделялся еще на людей собственно не *comme il faut* и простой народ. Людей *comme il faut* я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вто-

¹ на благовоспитанных и неблаговоспитанных (*фр.*)

рых — притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали — я их презирал совершенно. *Мое* *comme il faut* состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?» — с ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие *comme il faut* были ногти — длинные, отчищенные и чистые; третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблука с угловатым носком и концы панталон узкие, без штрипок, — это был *простой*; сапог с узким круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу, со штрипками, облегающие ногу, или широкие, со штрипками, как балдахин стоящие над носком, — это был человек *mauvais genre*¹, и т.п.

Странно то, что ко мне, который имел положительную неспособность к *comme il faut*, до такой степени привилось это понятие. А может быть, именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило огромного труда, чтобы приобрести это *comme il faut*. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, — Володе, Дубкову и большей части моих знакомых, — все это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеваньем, над вырабатываньем в себе ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, — и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели. А комнату, письменный стол, экипаж — все это я никак не умел устроить так, чтоб было *comme il faut*, хотя усиливался, несмотря на отвращение к практическим делам, заниматься этим. У других же без всякого, казалось, труда все шло отлично, как будто не могло быть иначе. Помню раз, после усиленного и тщетного труда над ногтями, я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, давно ли они у него такие и как он это сделал? Дубков мне отвечал: «С тех пор, как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие, я

¹ дурного тона (*фр.*)

не понимаю, как могут быть другие ногти у порядочного человека». Этот ответ сильно огорчил меня. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий *comme il faut* была скрытность в отношении тех трудов, которыми достигается *comme il faut*. *Comme il faut* было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошего на свете. Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был *comme il faut*. Человек *comme il faut* стоял выше и вне сравнения с ними; он предоставлял им писать картины, ноты, книги, делать добро,— он даже хвалил их за это: отчего же не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было,— но он не мог становиться с ними под один уровень, он был *comme il faut*, а они нет,— и довольно. Мне кажется даже, что, ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были *comme il faut*, я бы сказал, что это несчастье, но что уж между мной и ими не может быть ничего общего. Но ни потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий *comme il faut*, исключаящих всякое серьезное увлечение, ни ненависть и презрение к девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка *comme il faut*,— все это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что *comme il faut* есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он *comme il faut*; что, достигнув этого положения, он уж исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей.

В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком *comme il faut* это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задается им на том свете: «Кто ты такой? и что там делал?» — не будут в состоянии ответить иначе как: «*Je fus un homme très comme il faut*»¹.

Эта участь ожидала меня.

¹ Я был очень благовоспитанным человеком (*фр.*)

ЮНОСТЬ

Несмотря на происходившую у меня в голове путаницу понятий, я в это лето был юн, невинен, свободен и поэтому почти счастлив.

Иногда, и довольно часто, я вставал рано. (Я спал на открытом воздухе, на террасе, и яркие косые лучи утреннего солнца будили меня.) Я живо одевался, брал под мышку полотенце и книгу французского романа и шел купаться в реке в тени березника, который был в полверсте от дома. Там я ложился в тени на траве и читал, изредка отрывая глаза от книги, чтобы взглянуть на лиловатую в тени поверхность реки, начинающую колыхаться от утреннего ветра, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей, ниже и ниже окрашивающий белые стволы берез, которые, прячась одна за другую, уходили от меня в даль чистого леса, и наслаждался сознанием в себе точно такой же свежей, молодой силы жизни, какой везде кругом меня дышала природа. Когда на небе были утренние серые тучки и я озябал после купанья, я часто без дороги отправлялся ходить по полям и лесам, с наслаждением сквозь сапоги промачивая ноги по свежей росе. В это время я живо мечтал о героях последнего прочитанного романа и воображал себя то полководцем, то министром, то силачом необыкновенным, то страстным человеком и с некоторым трепетом оглядывался беспрестанно кругом, в надежде вдруг встретить где-нибудь *ее* на полянке или за деревом. Когда в таких прогулках я встречал крестьян и крестьянок на работах, несмотря на то, что *простой народ* не существовал для меня, я всегда испытывал бессознательное сильное смущение и старался, чтоб они меня не видели. Когда уже становилось жарко, но дамы наши еще не выходили к чаю, я часто ходил в огород или сад есть все те овощи и фрукты, которые поспевали. И это занятие доставляло мне одно из главных удовольствий. Заберешься, бывало, в яблочный сад, в самую середину высокой, заросшей, густой малины. Над головой — яркое горячее небо, кругом — бледно-зеленая колючая зелень кустов малины, перемешанных с сорною заростью. Темно-зеленая крапива с тонкой цветущей макушкой стройно тянется вверх; разлапистый репейник с неестественно лиловыми колючими цветками грубо растет выше малины и выше головы и кое-где вместе с крапивою достает даже до развесистых бледно-зеленых ветвей старых яблонь, на которых наверху, в упор жаркому солнцу, зреют глянцевиные, как косточки, круглые, еще сырые яблоки. Внизу молодой куст малины, почти сухой, без листьев, искривившись, тянется к солнцу; зеленая игловатая трава и молодой лопух, пробившись сквозь прошлогодний лист, увлажненные росой, сочно зеленеют в вечной тени, как будто и не знают о том, как на листьях яблони ярко играет солнце.

В чаще этой всегда сыро, пахнет густой постоянной тенью, паутиной, падалью-яблоком, которое, чернея, уже валяется на прелой земле, малиной, иногда и лесным клопом, которого проглотить нечаянно с ягодой и поскорее заешь другою. Подвигаясь вперед, спугиваешь воробьев, которые всегда живут в этой глуши, слышишь их торпливое чириканье и удары о ветки их маленьких быстрых крыльев, слышишь жужжание на одном месте жировой пчелы и где-нибудь по дорожке шаги садовника, дурачка Акима, и его вечное мурлыканье себе под нос. Думаешь себе: «Нет! ни ему, никому на свете не найти меня тут...», обеими руками направо и налево снимаешь с белых конических стебельков сочные ягоды и с наслаждением глотаешь одну за другою. Ноги, даже выше колен, насквозь мокры, в голове какой-нибудь ужаснейший вздор (твердишь тысячу раз сряду мысленно: и-и-и по-оо-о двад-ца-а-ать и-и-и по семь), руки и ноги сквозь промощенные панталоны обожжены крапивой, голову уже начинают печь прорывающиеся в чашу прямые лучи солнца, есть уже давно не хочется, а все сидишь в чаще, поглядываешь, послушиваешь, подумываешь и машинально обрываешь и глотаешь лучшие ягоды.

Часу в одиннадцатом а обыкновенно приходил в гостиную, большей частью после чаю, когда уже дамы сидели за занятиями. Около первого окна, с опущенной на солнце небеленой холстинной сторой, сквозь скважины которой яркое солнце кладет на все, что ни попадется, такие блестящие огненные кружки, что глазам больно смотреть на них, стоят пальцы, по белому полотну которых тихо гуляют мухи. За пальцами сидит Мими, беспрестанно сердито встряхивая головой и передвигаясь с места на место от солнца, которое, вдруг проравшись где-нибудь, проложит ей то там, то сям на лице или на руке огненную полосу. Сквозь другие три окна, с тенями рам, лежат цельные яркие четырехугольники на некрашеном полу гостиной; на одном из них, по старой привычке, лежит Милка и, насторожив уши, вглядывается в ходящих мух по светлому четырехугольнику. Катенька вяжет или читает, сидя на диване, и нетерпеливо отмахивается своими беленькими, кажущимися прозрачными в ярком свете ручками или, сморщившись, трясет головкой, чтоб выгнать забившуюся в золотистые густые волоса бьющуюся там муху. Любочка или ходит взад и вперед по комнате, заложив за спину руки, дожидаясь того, чтоб пошли в сад, или играет на фортепьяно какую-нибудь пьесу, которой я давно знаю каждую нотку. Я сажусь где-нибудь, слушаю эту музыку или чтение и дожидаясь того, чтобы мне можно было самому сесть за фортепьяно. После обеда я иногда удостоивал девочек ездить верхом с ними (ходить гулять пешком я считал несообразным с моими годами и положением в свете). И наши прогулки, в которых я провожу их по необыкновенным местам и оврагам, бывают очень приятны. С нами случаются иногда приключения, в которых я себя показываю молодцом, и дамы хвалят мою езду и смелость и считают меня своим покровителем. Вечером, ежели гостей никого нет, после

чаю, который мы пьем в тенистой галерее, и после прогулки с папа по хозяйству я ложусь на старое свое место, в вольтеровское кресло, и, слушая Катенькину или Любочкину музыку, читаю и вместе с тем мечтаю по-старому. Иногда, оставшись один в гостиной, когда Любочка играет какую-нибудь старинную музыку, я невольно оставляю книгу, и, взглядываясь в растворенную дверь балкона в кудрявые висячие ветви высоких берез, на которых уже заходит вечерняя тень, и в чистое небо, на котором, как смотришь пристально, вдруг показывается как будто пыльное желтоватое пятнышко и снова исчезает; и, вслушиваясь в звуки музыки из залы, скрипа ворот, бабьих голосов и возвращающегося стада на деревне, я вдруг живо вспоминаю и Наталью Савишну, и татап, и Карла Иваныча, и мне на минуту становится грустно. Но душа моя так полна в это время жизнью и надеждами, что воспоминание это только крылом касается меня и летит дальше.

После ужина и иногда ночной прогулки с кем-нибудь по саду — один я боялся ходить по темным аллеям — я уходил один спать на полу на галерею, что, несмотря на миллионы ночных комаров, пожиравших меня, доставляло мне большое удовольствие. В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил сидя на своем тюфяке, взглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастье, которое мне тогда казалось высшим счастьем в жизни, и тоскуя о том, что мне до сих пор дано было только воображать его. Бывало, только что все разойдутся и огни из гостиной перейдут в верхние комнаты, где слышны становятся женские голоса и стук отворяющихся и затворяющихся окон, я отправляюсь на галерею и расхаживаю по ней, жадно прислушиваясь ко всем звукам засыпающего дома. До тех пор пока есть маленькая, беспричинная надежда хотя на неполное такое счастье, о котором я мечтаю, я еще не могу спокойно строить для себя воображаемое счастье.

При каждом звуке босых шагов, кашле, вздохе, толчке окошка, шорохе платья я вскакиваю с постели, воровски прислушиваясь, приглядываюсь и без видимой причины прихожу в волнение. Но вот огни исчезают в верхних окнах, звуки шагов и говора заменяются храпением, караульщик по-ночному начинает стучать в доску, сад стал и мрачнее и светлее, как скоро исчезли на нем полосы красного света из окон, последний огонь из буфета переходит в переднюю, прокладывая полосу света по росистому саду, и мне видна через окно сгорбленная фигура Фоки, который в кофточке, со свечой в руках, идет к своей постели. Часто я находил большое волнующее наслаждение, крадучись по мокрой траве в черной тени дома, подходить к окну передней и, не переводя дыхания, слушать храпение мальчика, побряхтыванье Фоки, полагавшего, что никто его не слышит, и звук его старческого голоса, долго, долго читавшего молитвы. Наконец тушилась его последняя свечка, окно захлопывалось, я оставался со-

вершенно один и, робко оглядываясь по сторонам, не видно ли где-нибудь, подле клумбы или подле моей постели, белой женщины,— рысью бежал на галерею. И вот тогда-то я ложился на свою постель, лицом к саду, и, закрывшись, сколько возможно было, от комаров и летучих мышей, смотрел в сад, слушал звуки ночи и мечтал о любви и счастья.

Тогда все получало для меня другой смысл: и вид старых берез, блестящих с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой — мрачно застилавших кусты и дорогу своими черными тенями, и спокойный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, и лунный блеск капель росы на цветах перед галереей, тоже кладущих поперек серой рабатки свои грациозные тени, и звук перепела за прудом, и голос человека с большой дороги, и тихий, чуть слышный скрип двух старых берез друг о друга, и жужжание комара над ухом под одеялом, и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террасы и как-то таинственно блестя на месяце своими зеленоватыми спинками,— все это получало для меня странный смысл — смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастья. И вот являлась *она*, с длинной черной косой, высокой грудью, всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, с сладострастными объятиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты ее любви всей жизнью. Но луна все выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и, вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне, что и *она*, с обнаженными руками и пылкими объятиями, еще далеко, далеко не все счастье, что и любовь к ней далеко, далеко еще не все благо; и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе к Нему, к источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза.

И все я был один, и все мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви,— мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же.

СОСЕДИ

Меня очень удивило в первый день нашего приезда то, что папа назвал наших соседей Епифановых славными людьми, и еще больше удивило то, что он ездил к ним. У нас с Епифановыми с давних пор была тяжба за какую-то землю. Будучи ребенком, не раз я слышал, как папа сердился за эту тяжбу, бранил Епифановых, призывал различных людей, чтобы, по моим понятиям, защититься от них, слышал, как Яков называл их нашими неприятелями и *черными людьми*, и помню, как татап просила, чтоб в ее доме и при ней даже не упоминали про этих людей.

По этим данным я в детстве составил себе такое твердое и ясное понятие о том, что Епифановы наши *враги*, которые готовы резать или задушить не только папа, но и сына его, ежели бы он им попался, и что они в буквальном смысле *черные люди*, что, увидев в год кончины матушки Авдотью Васильевну Епифанову, *la belle Flamande*, ухаживающей за матушкой, я с трудом мог поверить тому, что она была из семейства черных людей, и все-таки удержал об этом семействе самое низкое понятие. Несмотря на то, что в это лето мы часто виделись с ними, я продолжал быть странно предубежден против всего этого семейства. В сущности же, вот кто такие были Епифановы. Семейство их состояло из матери, пятидесятилетней вдовы, еще свеженькой и веселенькой старушки, красавицы дочери Авдотьи Васильевны и сына, заики, Петра Васильевича, отставного холостого поручика, весьма серьезного характера.

Анна Дмитриевна Епифанова лет двадцать до смерти мужа жила врозь с ним, изредка в Петербурге, где у нее были родственники, но большею частью в своей деревне Мытищах, которая была в трех верстах от нас. В околodge рассказывали про ее образ жизни такие ужасы, что Мессалина в сравнении с нею была невинное дитя. Вследствие этого-то матушка и просила, чтобы в ее доме не поминали даже имени Епифановой; но, совершенно не иронически говоря, нельзя было верить и десятой доле самых злостных из всех родов сплетней — деревенских соседских сплетней. Но в то время, когда я узнал Анну Дмитриевну, хотя и был у нее в доме из крепостных конторщик Митюша, который, всегда напомаженный, завитой и в сюртуке на черкесский манер, стоял во время обеда за стулом Анны Дмитриевны, и она часто при нем по-французски приглашала гостей полюбоваться его прекрасными глазами и ртом, ничего и похожего не было на то, что продолжала говорить молва. Действительно, кажется, уж лет десять тому назад, именно с того времени, как Анна Дмитриевна выписала из службы к себе своего почтительного сына Петрушу, она совершенно переменила свой образ жизни. Имение Анны Дмитриевны было небольшое, всего с чем-то сто душ, а расходов во времена ее веселой жизни было много, так что лет десять тому назад, понимает-

ся, заложенное и перезаложенное, имение было просрочено и неминуемо должно было продаться с аукциона. В этих-то крайних обстоятельствах, полагая, что опека, опись имения, приезд суда и тому подобные неприятности происходят не столько от неплатежа процентов, сколько оттого, что она женщина, Анна Дмитриевна писала в полк к сыну, чтоб он приехал спасти свою мать в этом случае. Несмотря на то, что служба Петра Васильевича шла так хорошо, что он скоро надеялся иметь свой кусок хлеба, он все бросил, вышел в отставку и, как почтительный сын, считавший своею первою обязанностью успокоивать старость матери (что он совершенно искренно и писал ей в письмах), приехал в деревню.

Петр Васильевич, несмотря на свое некрасивое лицо, неуклюжесть и заиканье, был человек с чрезвычайно твердыми правилами и необыкновенным практическим умом. Кое-как, мелкими займами, оборотами, просьбами и обещаниями, он удержал имение. Сделавшись помещиком, Петр Васильевич надел отцовскую бекешу, хранившуюся в кладовой, уничтожил экипажи и лошадей, отучил гостей ездить в Мытища, а раскопал копани, увеличил запашку, уменьшил крестьянской земли, срубил своими и хозяйственно продал рошу — и поправил дела. Петр Васильевич дал себе и сдержал слово — до тех пор, пока не уплатятся все долги, не носить другого платья, как отцовскую бекешу и парусиновое пальто, которое он сшил себе, и не ездить иначе, как в тележке, на крестьянских лошадях. Этот стоический образ жизни он старался распространить на все семейство, сколько позволяло ему подобострастное уважение к матери, которое он считал своим долгом. В гостиную он, заикаясь, раболепствовал перед матерью, исполнял все ее желанья, бранил людей, ежели они не делали того, что приказывала Анна Дмитриевна, у себя же в кабинете и в конторе строго взыскивал за то, что взяли к столу без его приказа утку или послали к соседке мужика по приказанию Анны Дмитриевны узнать о здоровье, или крестьянских девок, вместо того чтобы полоть в огороде, послали в лес за малиной.

Года через четыре долги все были заплачены, и Петр Васильевич, съездив в Москву, вернулся оттуда в новом платье и тарантасе. Но, несмотря на это цветущее положение дел, он удержал те же стоические наклонности, которыми, казалось, мрачно гордился перед своими и посторонними, и часто, заикаясь, говорил, что «кто меня истинно хочет видеть, тот рад будет видеть меня и в тулупе, тот будет и щи и кашу мою есть. Я же ем ее», — прибавлял он. В каждом слове и движении его выражалась гордость, основанная на сознании того, что он пожертвовал собой для матери и выкупил имение, и презрение к другим за то, что они ничего подобного не сделали.

Мать и дочь были совершенно других характеров и во многом различны между собою. Мать была одна из самых приятных, всегда одинаково добродушно-веселых в обществе женщин. Все милое, веселое истинно радовало ее. Даже — черта, встречаемая только у самых добродушных старых людей, — способность наслаждаться видом веселящейся молодежи была у нее в высшей степени. Дочь ее,

Авдотья Васильевна, была, напротив, серьезного характера или, скорее, того особенного равнодушно рассеянного и без всякого основания высокомерного нрава, которого обыкновенно бывают незамужние красавицы. Когда же она хотела быть веселой, то веселье ее выходило какое-то странное — не то она смеялась над собой, не то над тем, с кем говорила, не то над всем светом, чего она, верно, не хотела. Часто я удивлялся и спрашивал себя, что она хотела этим сказать, когда говорила подобные фразы: *да, я ужасно как хороша собой; как же, все в меня влюблены*, и т.п. Анна Дмитриевна была всегда деятельна; имела страсть к устройству домика и садика, к цветам, канарейкам и хорошеньким вещицам. Ее комнатки и садик были небольшие и небогатые, но все это было устроено так аккуратно, чисто и все носило такой общий характер той легонькой веселости, которую выражает хорошенький вальс или полька, что слово *игрушечка*, употребляемое часто в похвалу гостями, чрезвычайно шло к садику и комнаткам Анны Дмитриевны. И сама Анна Дмитриевна была игрушечка — маленькая, худенькая, с свежим цветом лица, с хорошенькими маленькими ручками, всегда веселая и всегда к лицу одетая. Только немного слишком выпукло обозначившиеся темно-лиловые жилки на ее маленьких ручках расстроивали этот общий характер. Авдотья Васильевна, напротив, почти никогда ничего не делала и не только не любила заниматься какими-нибудь вещицами или цветочками, но даже слишком мало занималась собой и всегда убежала одеваться, когда приезжали гости. Но, одетая возвратившись в комнату, она бывала необыкновенно хороша, исключая общего всем очень красивым лицам холодного и однообразного выражения глаз и улыбки. Ее строго правильное, прекрасное лицо и ее стройная фигура, казалось, постоянно говорили вам: «Извольте, можете смотреть на меня».

Но, несмотря на живой характер матери и равнодушно-рассеянную внешность дочери, что-то говорило вам, что первая никогда — ни прежде, ни теперь — ничего не любила, исключая хорошенького и веселенького, а что Авдотья Васильевна была одна из тех натур, которые ежели раз полюбят, то жертвуют уже всю жизнь тому, кого они полюбят.

Г л а в а XXXIV

ЖЕНИТЬБА ОТЦА

Отцу было сорок восемь лет, когда он во второй раз женился на Авдотье Васильевне Епифановой.

Приехав один весной с девочками в деревню, папа, я воображаю, находился в том особенном тревожно-счастливом и общительном расположении духа, в котором обыкновенно бывают игроки, забастовав после большого выигрыша. Он чувствовал, что много еще оставалось у него неизрасходованного счастья, которое, ежели он не

хотел больше употреблять на карты, он мог употребить вообще на успехи в жизни. Притом была весна, у него было неожиданно много денег, он был совершенно один и скучал. Толкуя с Яковом о делах и вспомнив о бесконечной тяжбе с Епифановым и о красавице Авдотье Васильевне, которую он давно не видел, я воображаю, как он сказал Якову: «Знаешь, Яков Харлампыч, чем нам возиться с этой тяжбой, я думаю просто уступить им эту проклятую землю, а? как ты думаешь?..»

Воображаю, как отрицательно завертелись за спиной пальцы Якова при таком вопросе и как он доказывал, что «*опять-таки* дело наше правое, Петр Александрович».

Но папа велел заложить колясочку, надел свою модную оливковую бекешу, зачесал остатки волос, вспырынул платок духами и в самом веселом расположении духа, в которое приводило его убеждение, что он поступает по-барски, а главное — надежда увидеть хорошенькую женщину, поехал к соседям.

Мне известно только то, что папа в первый свой визит не застал Петра Васильевича, который был в поле, и пробыл один часа два с дамами. Я воображаю, как он рассыпался в любезностях, как обворожал их, притопывая своим мягким сапогом, пришепывая и делая сладенькие глазки. Я воображаю тоже, как его вдруг нежно полюбила веселенькая старушка и как развеселилась ее холодная красавица дочь.

Когда дворовая девка, запыхавшись, прибежала доложить Петру Васильевичу, что сам старый Иртенев приехал, я воображаю, как он сердито отвечал: «Ну, что ж, что приехал?» — и как вследствие этого он пошел домой как можно тише, может быть, еще, вернувшись в кабинет, нарочно надел самый грязный пальто и послал сказать повару, чтобы отнюдь не смел, ежели барыни прикажут, ничего прибавлять к обеду.

Я потом часто видал папа с Епифановым, поэтому живо представляю себе это первое свидание. Воображаю, как, несмотря на то, что папа предложил ему мировой окончить тяжбу, Петр Васильевич был мрачен и сердит за то, что пожертвовал своей карьерой матери, а папа подобного ничего не сделал, как ничто не удивляло его и как папа, будто не замечая этой мрачности, был игрив, весел и обращался с ним, как с удивительным шутником, чем иногда обижался Петр Васильевич и чему иногда против своего желания не мог не поддаваться. Папа, с своею склонностью из всего делать шутку, называл Петра Васильевича почему-то полковником и, несмотря на то, что Епифанов при мне раз, хуже чем обыкновенно заикнувшись и покраснев от досады, заметил, что он не по-по-по-полковник, а по-по-поручик, папа через пять минут назвал его опять полковником.

Любочка рассказывала мне, что, когда еще нас не было в деревне, они каждый день виделись с Епифановыми, и было чрезвычайно весело. Папа, с своим умением устраивать все как-то оригинально,

шутливо и вместе с тем просто и изящно, затеивал то охоты, то рыбные ловли, то какие-то фейерверки, на которых присутствовали Епифановы. И было бы еще веселее, ежели бы не этот несносный Петр Васильевич, который дулся, заикался и все расстроивал, говорила Любочка.

С тех пор как мы приехали, Епифановы только два раза были у нас, и раз мы все ездили к ним. После же Петрова дня, в который, на именинах папа, были они и пропасть гостей, отношения наши с Епифановыми почему-то совершенно прекратились, и только папа один продолжал ездить к ним.

В то короткое время, в которое я видел папа вместе с Дунечкой, как ее звала мать, вот что я успел заметить. Папа был постоянно в том же счастливом расположении духа, которое поразило меня в нем в день нашего приезда. Он был так весел, молод, полон жизни и счастлив, что лучи этого счастья распространялись на всех окружающих и невольно сообщали им такое же расположение. Он ни на шаг не отходил от Авдотьи Васильевны, когда она была в комнате, беспрестанно говорил ей такие сладенькие комплименты, что мне совестно было за него, или молча, глядя на нее, как-то страстно и самодовольно подергивал плечом и покашливал, и иногда, улыбаясь, говорил с ней даже шепотом; но все это делал с тем выражением, *так, шутя*, которое в самых серьезных вещах было ему свойственно.

Авдотья Васильевна, казалось, усвоила себе от папа выражение счастья, которое в это время блестело в ее больших голубых глазах почти постоянно, исключая тех минут, когда на нее вдруг находила такая застенчивость, что мне, знавшему это чувство, было жалко и больно смотреть на нее. В такие минуты она, видимо, боялась каждого взгляда и движения, ей казалось, что все смотрят на нее, думают только об ней и все в ней находят неприличным. Она испуганно оглядывалась на всех, краска беспрестанно прилиwała и отлиwała от ее лица, и она начинала громко и смело говорить, большею частью глупости, чувствуя это, чувствуя, что все и папа слышат это, и краснела еще больше. Но в таких случаях папа и не замечал ее глупостей, он все так же страстно, покашливая, с веселым восторгом смотрел на нее. Я заметил, что припадки застенчивости, хотя и находили на Авдотью Васильевну без всякой причины, иногда следовали тотчас же за тем, как при папа упоминали о какой-нибудь молодой и красивой женщине. Частые переходы от задумчивости к тому роду ее странной, неловкой веселости, про которую я уже говорил, повторение любимых слов и оборотов речи папа, продолжение с другими начатых с папа разговоров — все это, если б действующим лицом был не мой отец и я бы был постарше, объяснило бы мне отношения папа и Авдотьи Васильевны; но я ничего не подозревал в то время, даже и тогда, когда при мне папа, получив какое-то письмо от Петра Васильевича, очень расстроился им и до конца августа перестал ездить к Епифановым.

В конце августа папа снова стал ездить к соседям и за день до нашего (моего и Володи) отъезда в Москву объявил нам, что он женится на Авдотье Васильевне Епифановой.

Г л а в а XXXV

КАК МЫ ПРИНЯЛИ ЭТО ИЗВЕСТИЕ

Накануне этого официального извещения все в доме уже знали и различно судили об этом обстоятельстве. Мими не выходила целый день из своей комнаты и плакала. Катенька сидела с ней и вышла только к обеду, с каким-то оскорбленным выражением лица, явно замештанной от своей матери; Любочка, напротив, была очень весела и говорила за обедом, что она знает отличный секрет, который, однако, она никому не расскажет.

— Ничего нет отличного в твоём секрете,— сказал ей Володя, не разделяя ее удовольствия,— коли бы ты могла думать о чем-нибудь серьезно, ты бы поняла, что это, напротив, очень худо.

Любочка с удивлением, пристально посмотрела на него и замолчала.

После обеда Володя хотел меня взять за руку, но, испугавшись, должно быть, что это будет похоже на нежность, только тронул меня за локоть и кивнул в залу.

— Ты знаешь, про какой секрет говорила Любочка? — сказал он мне, убедившись, что мы были одни.

Мы редко говорили с Володей с глазу на глаз и о чем-нибудь серьезном, так что, когда это случалось, мы испытывали какую-то взаимную неловкость, и в глазах у нас начинали прыгать мальчишки, как говорил Володя; но теперь, в ответ на смущение, выразившееся в моих глазах, он пристально и серьезно продолжал глядеть мне в глаза с выражением, говорившим: «Тут нечего смущаться, все-таки мы братья и должны посоветоваться между собой о важном семейном деле». Я понял его, и он продолжал:

— Папа женится на Епифановой, ты знаешь?

Я кивнул головой, потому что уже слышал про это.

— Ведь это очень нехорошо,— продолжал Володя.

— Отчего же?

— Отчего? — отвечал он с досадой,— очень приятно иметь этакую дядюшку-заику, полковника, и все это родство. Да и она теперь только кажется добрая и ничего, а кто ее знает, что будет. Нам, положим, все равно, но Любочка ведь скоро должна выезжать в свет. С этакой *belle-mère*¹ не очень приятно, она даже по-французски плохо

¹ мачехой (фр.)

говорит, и какие манеры она может ей дать. Пуассардка — и больше ничего; положим, добрая, но все-таки пуассардка,— заключил Володя, видимо, очень довольный этим наименованием «пуассардки».

Как ни странно мне было слышать, что Володя так спокойно судит о выборе папа, мне казалось, что он прав.

— Из чего же папа женится? — спросил я.

— Это темная история, Бог их знает; я знаю только, что Петр Васильевич уговаривал его жениться, требовал, что папа не хотел, а потом ему пришла фантазия, какое-то рыцарство,— темная история. Я теперь только начал понимать отца,— продолжал Володя (то, что он называл его отцом, а не папа, больно кольнуло меня),— что он прекрасный человек, добр и умен, но такого легкомыслия и ветрености... это удивительно! он не может видеть хладнокровно женщину. Ведь ты знаешь, что нет женщины, которую бы он знал и в которую бы не влюбился. Ты знаешь, Мими ведь тоже.

— Что ты?

— Я тебе говорю; я недавно узнал, он был влюблен в Мими, когда она была молода, стихи ей писал, и что-то у них было. Мими до сих пор страдает.— И Володя засмеялся.

— Не может быть! — сказал я с удивлением.

— Но главное,— продолжал Володя снова серьезно и вдруг начиная говорить по-французски,— всей родне нашей как будет приятна такая женитьба! И дети ведь у нее, верно, будут.

Меня так поразил здравый смысл и предвиденье Володи, что я не знал, что отвечать.

В это время к нам подошла Любочка.

— Так вы знаете? — спросила она с радостным лицом.

— Да,— сказал Володя,— только я удивляюсь, Любочка: ведь ты уже не в пеленках дитя, что тебе может быть радости, что папа женится на какой-нибудь дряни?

Любочка вдруг сделала серьезное лицо и задумалась.

— Володя! отчего же дряни? как ты смеешь так говорить про Авдотью Васильевну? Коли папа на ней женится, так, стало быть, она не дрянь.

— Да, не дрянь, я так сказал, но все-таки...

— Нечего «но все-таки»,— перебила Любочка, разгорячившись,— я не говорила, что дрянь эта барышня, в которую ты влюблен; как же ты можешь говорить про папа и про отличную женщину? Хоть ты старший брат, но ты мне не говори, ты не должен говорить.

— Да отчего ж нельзя рассуждать про...

— Нельзя рассуждать,— опять перебила Любочка,— нельзя рассуждать про такого отца, как наш. Мими может рассуждать, а не ты, старший брат.

— Нет, ты еще ничего не понимаешь,— сказал Володя презрительно,— ты пойми. Что, это хорошо, что какая-нибудь Епифанова Дунечка заменит тебе татап покойницу?

Любочка замолчала на минутку, и вдруг слезы выступили у нее на глаза.

— Я знала, что ты гордец, но не думала, чтоб ты был такой злой,— сказала она и ушла от нас.

— *В булку*,— сказал Володя, сделав серьезно-комическое лицо и мутные глаза.— Вот рассуждай с ними,— продолжал он, как будто упрекая себя в том, что он до того забылся, что решился снизойти до разговора с Любочкой.

На другой день погода была дурная, и еще ни папа, ни дамы не выходили к чаю, когда я пришел в гостиную. Ночью был осенний холодный дождик, по небу бежали остатки вылившейся ночью тучи, сквозь которую неярко просвечивало обозначившееся светлым кругом, довольно высоко уже стоявшее солнце. Было ветрено, сыро и сиверко. Дверь в сад была открыта, на почерневшем от мокроты полу террасы высыхали лужи ночного дождя. Открытая дверь подергивалась от ветра на железном крючке, дорожки были сыры и грязны; старые березы с оголенными белыми ветвями, кусты и трава, крапива, смородина, бузина с вывернутыми бледной стороной листьями билась на одном месте и, казалось, хотели оторваться от корней; из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья и, промокая, ложились на мокрую дорогу и на мокрую темно-зеленую отаву луга. Мысли мои заняты были будущей женитьбой отца, с той точки зрения, с которой смотрел на нее Володя. Будущее сестры, нас и самого отца не представляло мне ничего хорошего. Меня возмущала мысль, что посторонняя, чужая и, главное, *молодая* женщина, не имея на то никакого права, вдруг займет место во многих отношениях — кого же? — простая *молодая* барышня, и займет место покойницы-матушки! Мне было грустно, и отец казался мне все больше и больше виноватым. В это время я услышал его и Володин голоса, говорившие в официантской. Я не хотел видеть отца в эту минуту и отошел от двери; но Любочка пришла за мною и сказала, что папа меня спрашивает.

Он стоял в гостиной, опершись рукой о фортепьяно, и нетерпеливо и вместе с тем торжественно смотрел в мою сторону. На лице его уже не было того выражения молодости и счастья, которое я замечал на нем все это время. Он был печален. Володя с трубкой в руке ходил по комнате. Я подошел к отцу и поздоровался с ним.

— Ну, друзья мои,— сказал он решительно, поднимая голову и тем особенным быстрым тоном, которым говорят вещи, очевидно, неприятные, но о которых судить уже поздно,— вы знаете, я думаю, что я женюсь на Авдотье Васильевне.— Он помолчал немного.— Я никогда не хотел жениться после вашей татап, но...— он остановился на минуту,— но... но, видно, судьба. Дунечка добрая, милая девушка и уж не очень молода; я надеюсь, вы ее полюбите, дети, а она уже вас любит от души, она хорошая. Теперь вам,— сказал он, обращаясь ко мне и Володе и как будто торопясь говорить, чтоб мы не

успели перебить его, — вам пора уж ехать, а я пробуду здесь до нового года и приеду в Москву, — опять он замялся, — уже с женою и с Любочкой. — Мне стало больно видеть отца, как будто робеющего и виноватого перед нами, я подошел к нему ближе, но Володя, продолжая курить, опустил голову, все ходил по комнате.

— Так-то, друзья мои, вот ваш старик что выдумал, — заключил папа, краснея, покашливая и подавая мне и Володе руки. Слезы у него были на глазах, когда он сказал это, и рука, которую он протянул Володе, бывшему в это время в другом конце комнаты, я заметил, немного дрожала. Вид этой дрожащей руки больно поразил меня, и мне пришла странная мысль, еще более тронувшая меня, — мне пришла мысль, что папа служил в 12-м году и был, известно, храбрым офицером. Я задержал его большую жилистую руку и поцеловал ее. Он крепко пожал мою и вдруг, всхлипнув от слез, взял обеими руками Любочку за ее черную головку и стал целовать ее в глаза. Володя притворился, что уронил трубку, и, нагнувшись потихоньку, вытер глаза кулаком и, стараясь быть незамеченным, вышел из комнаты.

Г л а в а XXXVI

УНИВЕРСИТЕТ

Свадьба должна была быть через две недели; но лекции наши начинались, и мы с Володей в начале сентября поехали в Москву. Нехлюдовы тоже вернулись из деревни. Дмитрий (с которым мы, расставаясь, дали слово писать друг другу и, разумеется, не писали ни разу) тотчас же приехал ко мне, и мы решили, что он меня на другой день повезет в первый раз в университет на лекции.

Был яркий солнечный день.

Как только вошел я в аудиторию, я почувствовал, как личность моя исчезает в этой толпе молодых веселых лиц, которая в ярком солнечном свете, проникавшем в большие окна, шумно колебалась по всем дверям и коридорам. Чувство сознания себя членом этого огромного общества было очень приятно. Но из всех этих лиц не много было мне знакомых, да и с теми знакомство ограничивалось кивком головы и словами: «Здравствуйте, Иртенъев!» Вокруг же меня жали друг другу руки, толкались, слова дружбы, улыбки приязни, шуточки сыпались со всех сторон. Я везде чувствовал связь, соединяющую все это молодое общество, и с грустью чувствовал, что связь эта как-то обошла меня. Но это было только минутное впечатление. Вследствие его и досады, порожденной им, напротив, я даже скоро нашел, что очень хорошо, что я не принадлежу ко всему этому обществу, что у меня должен быть свой кружок, людей порядочных, и уселся на третьей лавке, где сидели граф Б., барон З., князь Р., Ивин и другие гос-

пода в том же роде, из которых я был знаком с Ивиным и графом Б. Но и эти господа смотрели на меня так, что я чувствовал себя не совсем принадлежащим и к их обществу. Я стал наблюдать все, что происходило вокруг меня. Семенов, с своими седыми всклокоченными волосами и белыми зубами, в расстегнутом сюртуке, сидел недалеко от меня и, облокотясь, грыз перо. Гимназист, выдержавший первым экзамен, сидел на первой лавке, все с подвязанной черным галстуком щекой, и играл серебряным ключиком часов на атласном жилете. Иконин, который поступил-таки в университет, сидя на верхней лавке, в голубых панталонах с кантом, закрывавших весь сапог, хохотал и кричал, что он на Парнасе. Иленька, который, к удивлению моему, не только холодно, но даже презрительно мне поклонился, как будто желая напомнить о том, что здесь мы все равны, сидел передо мной и, поставив особенно развязно свои худые ноги на лавку (как мне казалось, на мой счет), разговаривал с другим студентом и изредка взглядывал на меня. Подле меня компания Ивина говорила по-французски. Эти господа казались мне ужасно глупы. Всякое слово, которое я слышал из их разговора, не только казалось мне бессмысленно, но неправильно, просто не по-французски (*ce n'est pas français*, говорил я себе мысленно), а позы, речи и поступки Семенова, Иленьки и других казались мне неблагородны, непорядочны, *ne comme il faut*.

Я не принадлежал ни к какой компании и, чувствуя себя одиноким и неспособным к сближению, злился. Один студент на лавке передо мной грыз ногти, которые были все в красных заусенцах, и это мне показалось до того противно, что я даже пересел от него подальше. В душе же мне, помню, в этот первый день было очень грустно.

Когда вошел профессор и все, зашевелившись, замолкли, я помню, что я и на профессора распространил свой сатирический взгляд, и меня поразило то, что профессор начал лекцию вводной фразой, в которой, по моему мнению, не было никакого толка. Я хотел, чтобы лекция от начала до конца была такая умная, чтобы из нее нельзя было выкинуть и нельзя было к ней прибавить ни одного слова. Разочаровавшись в этом, я сейчас же, под заглавием «первая лекция», написанным в красиво переплетенной тетрадке, которую я принес с собою, нарисовал восемнадцать профилей, которые соединялись в кружок в виде цветка, и только изредка водил рукой по бумаге, для того чтобы профессор (который, я был уверен, очень занимается мною) думал, что я записываю. На этой же лекции решив, что записывание всего, что будет говорить всякий профессор, не нужно и даже было бы глупо, я держался этого правила до конца курса.

На следующих лекциях я уже не чувствовал так сильно одиночества, познакомился со многими, жал руки, разговаривал, но между мной и товарищами настоящего сближения все-таки не делалось ничего-то, и еще часто мне случалось в душе грустить и притворяться.

С компанией Ивина и аристократов, как их все называли, я не мог сойтись, потому что, как теперь вспоминаю, я был дик и груб с ними и кланялся им только тогда, когда они мне кланялись, а они очень мало, по-видимому, нуждались в моем знакомстве. С большинством же это происходило от совершенно другой причины. Как только я чувствовал, что товарищ начинал быть ко мне расположен, я тотчас же давал ему понять, что я обедаю у князя Ивана Ивановича и что у меня есть дрожки. Все это я говорил только для того, чтобы показать себя с более выгодной стороны и чтобы товарищ меня полюбил еще больше за это; но почти всякий раз, напротив, вследствие сообщенного известия о моем родстве с князем Иваном Ивановичем и дрожках, к удивлению моему, товарищ вдруг становился со мной горд и холоден.

Был у нас казеннокоштный студент Оперов, скромный, очень способный и усердный молодой человек, который подавал всегда руку, как доску, не сгибая пальцев и не делая ею никакого движения, так что шутники-товарищи иногда так же подавали ему руку и называли это подавать руку «дощечкой». Я почти всегда садился с ним рядом и часто разговаривал. Оперов особенно понравился мне теми свободными мнениями, которые он высказывал о профессорах. Он очень ясно и отчетливо определял достоинства и недостатки преподавания каждого профессора и даже иногда подтрунивал над ними, что особенно странно и поразительно действовало на меня, сказанное его тихим голоском, выходящим из его крошечного ротика. Несмотря на то, он, однако, тщательно записывал своим мелким почерком без исключения все лекции. Мы начинали уже сходитьсь с ним, решились готовиться вместе, и его маленькие серые близорукие глазки уже начинали с удовольствием обращаться на меня, когда я приходил садиться рядом с ним на свое место. Но я нашел нужным раз в разговоре объяснить ему, что моя матушка, умирая, просила отца не отдавать нас в казенное заведение и что я начинаю убеждаться в том, что все казенные воспитанники, может, и очень учены, но они для меня... совсем не то, *ce ne sont pas des gens comme il faut*¹, сказал я, заминаясь и чувствуя, что я почему-то покраснел. Оперов ничего не сказал мне, но на следующих лекциях не здоровался со мной первый, не подавал своей дощечки, не разговаривал, и когда я садился на место, то он, бочком пригнув голову на палец от тетрадей, делал, как будто вглядывался в них. Я удивлялся беспричинному охлаждению Оперова. Но *pour un jeune homme de bonne maison*² я считал неприличным заискивать в казеннокоштном студенте *Оперове* и оставил его в покое, хотя, признаюсь, его охлаждение мне было грустно. Раз я пришел прежде его, и так как лекция была любимого профессора,

¹ это люди неблаговоспитанные (фр.)

² для молодого человека из хорошей семьи (фр.)

на которую сошлись студенты, не имевшие обыкновения всегда ходить на лекции, и места все были заняты, я сел на место Оперова, положил на пюпитр свои тетради, а сам вышел. Возвратясь в аудиторию, я увидел, что мои тетради переложены на заднюю лавку, а Оперов сидит на своем месте. Я заметил ему, что я тут положил тетради.

— Я не знаю,— отвечал он, вдруг вспыхнув и не глядя на меня.

— Я вам говорю, что я положил тут тетради,— сказал я, начиная нарочно горячиться, думая испугать его своей храбростью.— Все видели,— прибавил я, оглядываясь на студентов; но хотя многие с любопытством смотрели на меня, никто не ответил.

— Тут мест не откупают, а кто пришел прежде, тот и садится,— сказал Оперов, сердито поправляясь на своем месте и на мгновение взглянув на меня возмущенным взглядом.

— Это значит, что вы невежа,— сказала я.

Кажется, что Оперов пробормотал что-то, кажется даже, что он пробормотал: «А ты глупый мальчишка»,— но я решительно не слышал этого. Да и какая бы была польза, ежели бы я это слышал? браниться, как *manants*¹ какие-нибудь, больше ничего? (Я очень любил это слово *manant*, и оно мне было ответом и разрешением многих запутанных отношений.) Может быть, я бы сказал еще что-нибудь, но в это время хлопнула дверь, и профессор в синем фраке, расшаркиваясь, торопливо прошел на кафедру.

Однако перед экзаменом, когда мне понадобились тетради, Оперов, помня свое обещание, предложил мне свои и пригласил заниматься вместе.

Г л а в а XXXVII

СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА

Сердечные дела занимали меня в эту зиму довольно много. Я был влюблен три раза. Раз я страстно влюбился в очень полную даму, которая ездила при мне в манеже Фрейтага, вследствие чего каждый вторник и пятницу — дни, в которые она ездила,— я приходил в манеж смотреть на нее, но всякий раз так боялся, что она меня увидит, и потому так далеко всегда становился от нее и бежал так скоро с того места, где она должна была пройти, и так небрежно отворачивался, когда она взглядывала в мою сторону, что я даже не рассмотрел хорошенько ее лица и до сих пор не знаю, была ли она точно хороша собой или нет.

Дубков, который был знаком с этой дамой, застав меня однажды в манеже, где я стоял, спрятавшись за лакьями и шубами, которые

¹ мужичье (фр.)

они держали, и узнав от Дмитрия о моей страсти, так испугал меня предложением познакомиться меня с этой амазонкой, что я опрометью убежал из манежа и при одной мысли о том, что он ей сказал обо мне, больше не смел входить в манеж, даже до лакеев, боясь встретить ее.

Когда я бывал влюблен в незнакомых и особенно замужних женщин, на меня находила застенчивость еще в тысячу раз сильнее той, которую я испытывал с Сонечкой. Я боялся больше всего на свете того, чтобы мой предмет не узнал о моей любви и даже о моем существовании. Мне казалось, что ежели бы она узнала о том чувстве, которое я к ней испытывал, то это было бы для нее таким оскорблением, которого она не могла бы мне простить никогда. И в самом деле, ежели бы эта амазонка знала подробно, как я, глядя на нее из-за лакеев, воображал, похитив ее, увезти в деревню и как с ней жить там и что с ней делать, может быть, она справедливо бы очень оскорбилась. Но я не мог ясно сообразить того, что, зная меня, она не могла еще узнать вдруг все мои об ней мысли и что поэтому ничего не было постыдного просто познакомиться с ней.

В другой раз я влюбился в Сонечку, увидав ее у сестры. Вторая любовь моя к ней уже давно прошла, но я влюбился в третий раз вследствие того, что Любочка дала мне тетрадку стихов, переписанных Сонечкой, в которой «Демон» Лермонтова был во многих мрачно-любовных местах подчеркнут красными чернилами и заложено цветочками. Вспомнив, как Володя целовал прошлого года кошелек своей барышни, я попробовал сделать то же, и действительно, когда я один вечером в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок, и прикладывая его к губам, я почувствовал некоторое приятно-слезливое расположение и снова был влюблен или так предполагал в продолжение нескольких дней.

В третий раз, наконец, в эту зиму я влюбился в барышню, в которую был влюблен Володя и которая езжала к нам. В барышне этой, как я теперь вспоминаю, ровно ничего не было хорошего, и именно того хорошего, что мне обыкновенно нравилось. Она была дочь известной московской умной и ученой дамы, маленькая, худенькая, с длинными русыми английскими буклями и с прозрачным профилем. Все говорили, что эта барышня еще умнее и учение своей матери; но я никак не мог судить об этом, потому что, чувствуя какой-то подобострастный страх при мысли о ее уме и учености, я только один раз говорил с ней, и то с неизъяснимым трепетом. Но восторг Володи, который никогда не стеснялся присутствующими в выражении своего восторга, сообщил мне с такой силой, что я страстно влюбился в эту барышню. Чувствуя, что Володе будет неприятно известие о том, что *два брата влюблены в одну девицу*, я не говорил ему о своей любви. Мне же, напротив, в этом чувстве больше всего доставляло удовольствие мысль, что любовь наша так чиста, что, несмотря на то, что предмет ее одно и то же прелестное существо, мы остаемся друзьями и готовы, ежели встретится необходимость, жертвовать собой

друг для друга. Впрочем, насчет готовности жертвовать Володя, кажется, не совсем разделял мое мнение, потому что он был влюблен так страстно, что хотел дать пощечину и вызвать на дуэль одного настоящего дипломата, который, говорили, должен был жениться на ней. Мне же очень приятно было жертвовать своим чувством, может быть оттого, что не стоило большого труда, так как я с этой барышней только раз вычурно поговорил о достоинстве ученой музыки, и любовь моя, как я ни старался поддерживать ее, прошла на следующей неделе.

Г л а в а XXXVIII

СВЕТ

Светские удовольствия, которым, вступая в университет, я мечтал предаться в подражание старшему брату, совершенно разочаровали меня в эту зиму. Володя танцевал очень много, папа тоже ездил на балы с своей молодой женой; но меня, должно быть, считали или еще слишком молодым, или неспособным для этих удовольствий, и никто не представлял меня в те дома, где давались балы. Несмотря на обещание откровенности с Дмитрием, я никому, и ему тоже, не говорил о том, как мне хотелось ездить на балы и как больно и досадно было то, что про меня забывали и, видимо, смотрели как на какого-то философа, которым я вследствие того и прикидывался.

Но в эту зиму был вечер у княгини Корнаковой. Она сама пригласила всех нас и между прочими меня, и я в первый раз должен был ехать на бал. Володя, перед тем как ехать, пришел ко мне в комнату и желал видеть, как я оденусь. Меня очень удивил и озадачил этот поступок с его стороны. Мне казалось, что желание быть хорошо одетым весьма стыдно и что нужно скрывать его; он же, напротив, считал это желание до такой степени естественным и необходимым, что совершенно откровенно говорил, что боится, чтобы я не осрамился. Он велел мне непременно надеть лаковые сапоги, пришел в ужас, когда я хотел надеть замшевые перчатки, надел мне часы как-то особенным манером и повез на Кузнецкий мост к парикмахеру. Меня завили. Володя отошел и посмотрел на меня издали.

— Вот теперь хорошо, только неужели нельзя пригласить этих вихров? — сказал он, обращаясь к парикмахеру.

Но сколько ни мазал m-r Charles какой-то липкой эссенцией мои вихры, они все-таки встали, когда я надел шляпу, и вообще моя завитая фигура мне казалась еще гораздо хуже, чем прежде. Мое одно спасенье была аффектация небрежности. Только в таком виде наружность моя была на что-нибудь похожа.

Володя, кажется, был того же мнения, потому что попросил меня разбить завивку, и когда я это сделал и все-таки было нехорошо, он больше не смотрел на меня и всю дорогу до Корнаковых был молчалив и печален.

К Корнаковым вместе с Володей я вошел смело; но когда меня княгиня пригласила танцевать и я почему-то, несмотря на то, что ехал с одной мыслью танцевать очень много, сказал, что я не танцую, я оробел и, оставшись один между незнакомыми людьми, впал в свою обычную непреодолимую, все возрастающую застенчивость. Я молча стоял на одном месте целый вечер.

Во время вальса одна из княжон подошла ко мне и с общей всему семейству официальной любезностью спросила меня, отчего я не танцую. Помню, как я оробел при этом вопросе, но как вместе с тем, совершенно невольно для меня, на лице моем распустилась самодовольная улыбка, и я начал говорить по-французски самым напыщенным языком с вводными предложениями такой вздор, который мне теперь, даже после десятков лет, совестно вспомнить. Должно быть, так подействовала на меня музыка, возбуждавшая мои нервы и заглушавшая, как я полагал, не совсем понятную часть моей речи. Я говорил что-то про высшее общество, про пустоту людей и женщин и, наконец, так заврался, что остановился на половине слова какой-то фразы, которую не было никакой возможности кончить.

Даже светская по породе княжна смутилась и с упреком посмотрела на меня. Я улыбался. В эту критическую минуту Володя, который, заметив, что я разговариваю горячо, верно желал знать, каково я в разговорах искупаю то, что не танцую, подошел к нам вместе с Дубковым. Увидав мое улыбающееся лицо и испуганную мину княжны и услыжав тот ужасный вздор, которым я кончил, он покраснел и отвернулся. Княжна встала и отошла от меня. Я все-таки улыбался, но так страдал в эту минуту сознанием своей глупости, что готов был провалиться сквозь землю и что во что бы то ни стало чувствовал потребность шевелиться и говорить что-нибудь, чтобы как-нибудь изменить свое положение. Я подошел к Дубкову и спросил его, много ли он протанцевал вальсов с *ней*. Это я будто бы был игрив и весел, но, в сущности, умолял о помощи того самого Дубкова, которому я прокричал: «Молчать!» — на обеде у Яра. Дубков сделал, будто не слышит меня, и повернулся в другую сторону. Я пододвинулся к Володе и сказал через силу, стараясь дать тоже шуточный тон голосу: «Ну что, Володя, *умаялся?*» Но Володя посмотрел на меня так, как будто хотел сказать: «Ты так не говоришь со мной, когда мы одни», — и молча отошел от меня, видимо, боясь, чтобы я еще не прицепился к нему как-нибудь.

«Боже мой, и брат мой покидает меня!» — подумал я.

Однако у меня почему-то не достало силы уехать. Я до конца вечера мрачно простоял на одном месте, и только когда все, разъезжаясь, столпились в передней и лакей надел мне шинель на конец

шляпы, так что она поднялась, я сквозь слезы болезненно засмеялся и, не обращаясь ни к кому в особенности, сказал-таки: «Comme c'est gracieux»¹.

Г л а в а XXXIX

КУТЕЖ

Несмотря на то, что, под влиянием Дмитрия, я еще не предавался обыкновенным студенческим удовольствиям, называемым *кутежами*, мне случилось уже в эту зиму раз участвовать в таком увеселении, и я вынес из него не совсем приятное чувство. Вот как это было. В начале года, раз на лекции барон З., высокий белокурый молодой человек, с весьма серьезным выражением правильного лица, пригласил всех нас к себе на товарищеский вечер. Всех нас — значит всех товарищей более или менее *comme il faut* нашего курса, в числе которых, разумеется, не были ни Грап, ни Семенов, ни Оперов, ни все эти плохонькие господа. Володя презрительно улыбнулся, узнав, что я еду на кутеж первокурсников; но я ожидал необыкновенного и большого удовольствия от этого еще совершенно неизвестного мне препровождения времени и пунктуально в назначенное время, в восемь часов, был у барона З.

Барон З., в расстегнутом сюртуке и белом жилете, принимал гостей в освещенной зале и гостиной небольшого домика, в котором жили его родители, уступившие ему на вечер этого торжества парадные комнаты. В коридоре виднелись платья и головы любопытных горничных, и в буфете мелькнуло раз платье дамы, которую я принял за самую баронессу. Гостей было человек двадцать, и все были студенты, исключая г. Фроста, приехавшего вместе с Ивиным, и одного румяного высокого штатского господина, распорядившегося пиршеством и которого со всеми знакомили как родственника барона и бывшего студента Дерптского университета. Слишком яркое освещение и обыкновенное казенное убранство парадных комнат сначала действовали так охлаждающе на все это молодое общество, что все невольно держались по стенкам, исключая некоторых смельчаков и дерптского студента, который, уже расстегнув жилет, казалось, находился в одно и то же время в каждой комнате и в каждом угле каждой комнаты и наполнял, казалось, всю комнату своим звучным, приятным, неумолкающим тенором. Товарищи же больше молчали или скромно разговаривали о профессорах, науках, экзаменах, вообще серьезных и неинтересных предметах. Все без исключения поглядывали на дверь буфета и, хотя старались скрывать это, имели выраже-

¹ Как это мило (*фр.*)

ние, говорившее: «Что ж, пора бы и начинать». Я тоже чувствовал, что пора бы начинать, и ожидал *начала* с нетерпеливою радостью.

После чая, которым лакеи обнесли гостей, дерптский студент спросил у Фроста по-русски:

— Умеешь делать жженку, Фрост?

— О ja! — отвечал Фрост, потрясая икрами, но дерптский студент снова по-русски сказал ему:

— Так ты возмись за это дело (они были на «ты» как товарищи по Дерптскому университету), — и Фрост, делая большие шаги своими выгнутыми мускулистыми ногами, стал переходить из гостиной в буфет, из буфета в гостиную, и скоро на столе оказалась большая суповая чаша с стоящей на ней десятифунтовой головкой сахару посредством трех перекрещенных студенческих шпаг. Барон З. в это время беспрестанно подходил ко всем гостям, которые собрались в гостиной, глядя на суповую чашу, и с неизменно серьезным лицом говорил всем почти одно и то же: «Давайте, господа, выпьемте все по-студенчески круговую, брудершафт, а то у нас совсем нет товарищества в нашем курсе. Да расстегнитесь же или совсем снимите, вот как он». Действительно, дерптский студент, сняв сюртук и засучив белые рукава рубашки выше белых локтей и решительно расставив ноги, уже поджигал ром в суповой чаше.

— Господа! тушите свечи, — закричал вдруг дерптский студент так приемисто и громко, как только можно было крикнуть тогда, когда бы мы все кричали. Мы же все безмолвно смотрели на суповую чашу и белую рубашку дерптского студента и все чувствовали, что наступила торжественная минута.

— Löschen Sie die Lichter aus, Frost!² — снова прокричал дерптский студент уже по-немецки, должно быть, слишком разгорячившись. Фрост и мы все принялись тушить свечи. В комнате стало темно, одни белые рукава и руки, поддерживавшие голову сахару на шпагах, освещались голубоватым пламенем. Громкий тенор дерптского студента уже не был одиноким, потому что во всех углах комнаты заговорило и засмеялось. Многие сняли сюртуки (особенно те, у которых были тонкие и совершенно свежие рубашки), я сделал то же и понял, что началось. Хотя веселого еще ничего не было, я был твердо уверен, что все-таки будет отлично, когда мы все выпьем по стакану готовившегося напитка.

Напиток поспел. Дерптский студент, сильно закапав стол, разлил жженку по стаканам и закричал: «Ну, теперь, господа, давайте». Когда мы каждый взяли в руку по полному липкому стакану, дерптский студент и Фрост запели немецкую песню, в которой часто повторялось восклицание *Юхе!* Мы все нескладно запели за ними,

¹ О да! (нем.)

² Потушите свечи, Фрост! (нем.)

стали чокаяться, кричать что-то, хвалить жженку и друг с другом через руку и просто пить сладкую и крепкую жидкость. Теперь уж нечего было дожидаться, кутеж был во всем разгаре. Я выпил уже целый стакан жженки, мне налили другой, в висках у меня стучало, огонь казался багровым, кругом меня все кричало и смеялось, но все-таки не только не казалось весело, но я даже был уверен, что и мне и всем было скучно и что я и все только почему-то считали необходимым притворяться, что им очень весело. Не притворялся, может быть, только дерптский студент; он все более и более становился румяным и вездесущим, всем подливал пустые стаканы и все больше и больше заливал стол, который весь сделался сладким и липким. Не помню, как и что следовало одно за другим, но помню, что в этот вечер я ужасно любил дерптского студента и Фроста, учил наизусть немецкую песню и обоих их целовал в сладкие губы; помню тоже, что в этот вечер я ненавидел дерптского студента и хотел пустить в него стулом, но удержался; помню, что, кроме того чувства неповиновения всех членов, которое я испытал и в день обеда у Яра, у меня в этот вечер так болела и кружилась голова, что я ужасно боялся умереть сию же минуту; помню тоже, что мы зачем-то все сели на пол, махали руками, подражая движению веслами, пели «Вниз по матушке по Волге» и что я в это время думал о том, что этого вовсе не нужно было делать; помню еще, что я, лежа на полу, цепляясь нога за ногу, боролся по-цыгански, кому-то свихнул шею и подумал, что этого не случилось бы, ежели бы он не был пьян; помню еще, что ужинали и пили что-то другое, что я выходил на двор освежиться и моей голове было холодно и что, уезжая, я заметил, что было ужасно темно, что подножка пролетки сделалась покатаая и скользкая и за Кузьму нельзя было держаться, потому что он сделался слаб и качался, как тряпка; но помню, главное, что в продолжение всего этого вечера я беспрестанно чувствовал, что я очень глупо делаю, притворяясь, будто бы мне очень весело, будто бы я люблю очень много пить и будто бы я и не думал быть пьяным, и беспрестанно чувствовал, что и другие очень глупо делают, притворяясь в том же. Мне казалось, что каждому отдельно было неприятно, как и мне, но, полагая, что такое неприятное чувство испытывал он один, каждый считал себя обязанным притворяться веселым, для того чтобы не расстроить общего веселья; притом же — странно сказать — я себя считал обязанным к притворству по одному тому, что в суповую чашу влило было три бутылки шампанского по десяти рублей и десять бутылок рому по четыре рубля, что всего составляло семьдесят рублей, кроме ужина. Я так был убежден в этом, что на другой день на лекции меня чрезвычайно удивило то, что товарищи мои, бывшие на вечере барона З., не только не стыдились вспоминать о том, что они там делали, но рассказывали про вечер так, чтобы другие студенты могли слышать. Они говорили, что был отличнейший кутеж, что дерптские — молодцы на эти дела, и что там было выпито на двадцать человек сорок

бутылок рому, и что многие замертво остались под столами. Я не мог понять, для чего они не только рассказывали, но и лгали на себя.

Г л а в а X L

ДРУЖБА С НЕХЛЮДОВЫМИ

В эту зиму я очень часто виделся не только с одним Дмитрием, который ездил нередко к нам, но и со всем его семейством, с которым я начинал сходитьяся.

Нехлюдовы — мать, тетка и дочь — все вечера проводили дома, и княгиня любила, чтоб по вечерам приезжала к ней молодежь, мужчины такого рода, которые, как она говорила, в состоянии провести весь вечер без карт и танцев. Но, должно быть, таких мужчин было мало, потому что я, который ездил к ним почти каждый вечер, редко встречал у них гостей. Я привык к лицам этого семейства, к различным их настроениям, сделал себе уже ясное понятие о их взаимных отношениях, привык к комнатам и мебели и, когда гостей не было, чувствовал себя совершенно свободным, исключая тех случаев, когда оставался один в комнате с Варенькой. Мне все казалось, что она, как не очень красивая девушка, очень бы желала, чтобы я влюбился в нее. Но и это смущение начинало проходить. Она так естественно показывала вид, что ей было все равно говорить со мной, с братом или с Любовью Сергеевной, что и я усвоил привычку смотреть на нее просто, как на человека, которому ничего нет постыдного и опасного выказывать удовольствие, доставляемое его обществом. Во все время моего с ней знакомства она мне казалась — днями — то очень некрасивой, то не слишком дурной девушкой, но я даже не спрашивал себя насчет ее ни разу: влюблен ли я или нет. Мне случалось разговаривать с ней прямо, но чаще я разговаривал с нею, обращая при ней речь к Любови Сергеевне или к Дмитрию, и этот последний способ особенно мне нравился. Я находил большое удовольствие говорить при ней, слушать ее пение и вообще знать о ее присутствии в той же комнате, в которой был я; но мысль о том, какие будут впоследствии мои отношения с Варенькой, и мечты о самопожертвовании для своего друга, ежели он влюбится в мою сестру, уже редко приходили мне в голову. Ежели же мне приходили такие мечты и мысли, то я, чувствуя себя довольным настоящим, бессознательно старался отгонять мысль о будущем.

Несмотря, однако, на это сближение, я продолжал считать своею неременною обязанностью скрывать от всего общества Нехлюдовых, и в особенности от Вареньки, свои настоящие чувства и наклонности и старался выказывать себя совершенно другим молодым человеком от того, каким я был в действительности, и даже таким, какого не могло быть в действительности. Я старался казаться страстным,

восторгался, ахал, делал страстные жесты, когда что-нибудь мне будто бы очень нравилось, вместе с тем старался казаться равнодушным ко всякому необыкновенному случаю, который видел или про который мне рассказывали; старался казаться злым насмешником, не имеющим ничего святого, и вместе с тем тонким наблюдателем; старался казаться логическим во всех своих поступках, точным и аккуратным в жизни, и вместе с тем презирающим все материальное. Могу смело сказать, что я был гораздо лучше в действительности, чем то странное существо, которое я пытался представлять из себя; но все-таки и таким, каким я притворялся, Нехлюдовы меня полюбили и, к счастью моему, не верили, как кажется, моему притворству. Одна Любовь Сергеевна, считавшая меня величайшим эгоистом, безбожником и насмешником, как кажется, не любила меня и часто спорила со мной, сердилась и поражала меня своими отрывочными, бессвязными фразами. Но Дмитрий оставался все в тех же странных, больше чем дружеских отношениях с нею и говорил, что ее никто не понимает и что она чрезвычайно много делает ему добра. Его дружба с нею точно так же продолжала огорчать все семейство.

Раз Варенька, разговаривая со мной про эту непонятную для всех нас связь, объяснила ее так:

— Дмитрий самолюбив. Он слишком горд и, несмотря на весь свой ум, очень любит похвалу и удивление, любит быть всегда первым, а *тетенька* в невинности души находится в адмирации перед ним и не имеет довольно такту, чтобы скрывать от него эту адмирацию, и выходит, что она льстит ему, только не притворно, а искренне.

Это рассуждение запомнилось мне, и потом, разбирая его, я не мог не подумать, что Варенька очень умна, и с удовольствием, вследствие этого, возвысил ее в своем мнении. Такого рода возвышения, вследствие открываемого мною в ней ума и других моральных достоинств, я производил, хотя и с удовольствием, с некоторой строгой умеренностью и никогда не доходил до восторга, крайней точки этого возвышения. Так, когда Софья Ивановна, не уставшая говорить про свою племянницу, рассказала мне, как Варенька в деревне, будучи ребенком, четыре года тому назад, отдала без позволения все свои платья и башмаки крестьянским детям, так что их надо было отобрать после, я еще не сразу принял этот факт как достойный к возвышению ее в моем мнении, а еще подтрунивал мысленно над нею за такой непрактический взгляд на вещи.

Когда у Нехлюдовых бывали гости и между прочими иногда Володя и Дубков, я самодовольно и с некоторым спокойным сознанием силы домашнего человека удалялся на последний план, не разговаривал и только слушал, что говорили другие. И все, что говорили другие, мне казалось до того неизмеримо глупо, что я внутренне удивлялся, как такая умная, логическая женщина, как княгиня, и все ее логическое семейство могло слушать эти глупости и отвечать на них.

Ежели б мне тогда пришло в голову сравнить с тем, что говорили другие, то, что я говорил сам, когда бывал один, я бы, верно, нисколько не удивлялся. Еще бы меньше я удивлялся, ежели бы я поверил, что наши домашние — Авдотья Васильевна, Любочка и Катенька — были такие же женщины, как и все, нисколько не ниже других, и вспомнил бы, что по целым вечерам говорили, весело улыбаясь, Дубков, Катенька и Авдотья Васильевна; как почти всякий раз Дубков, придравшись к чему-нибудь, читал с чувством стихи: «*Au banquet de la vie, infortuné convive...*»¹ или отрывки «Демона», и вообще с каким удовольствием и какой вздор они говорили в продолжение нескольких часов сряду.

Разумеется, что, когда бывали гости, Варенька меньше обращала на меня внимания, чем когда мы были одни, — и тогда уже не было ни чтения, ни музыки, которую я очень любил слушать. Разговаривая с гостями, она теряла для меня главную свою прелесть — спокойной рассудительности и простоты. Помню, как ее разговоры о театре и погоде с братом моим Володей странно поразили меня. Я знал, что Володя больше всего на свете избегал и презирал банальности, Варенька тоже всегда смеялась над притворно занимательными разговорами о погоде и т.п., — почему же, сойдясь вместе, они оба постоянно говорили самые несносные пошлости, и как будто стыдясь друг за друга? Всякий раз после таких разговоров я втихомолку злился на Вареньку, на другой день подсмеивался над бывшими гостями, но находил еще больше удовольствия быть одному в семейном кружке Нехлюдовых.

Как бы то ни было, я начинал находить больше удовольствия быть с Дмитрием с гостиной его матери, чем с ним одним с глазу на глаз.

Г л а в а XLI

ДРУЖБА С НЕХЛЮДОВЫМ

Именно в эту пору дружба моя с Дмитрием держалась только на волюске. Я уже слишком давно начал обсуживать его, для того чтобы не найти в нем недостатков; а в первой молодости мы любим только страстно и поэтому только людей совершенных. Но как скоро начинает мало-помалу уменьшаться туман страсти или сквозь него невольно начинают пробивать ясные лучи рассудка, и мы видим предмет нашей страсти в его настоящем виде, с достоинствами и недостатками, — одни недостатки, как неожиданность, ярко, преувеличенно бросаются нам в глаза, чувства влечения к новизне и надежды

¹ «На жизненном пиру несчастный сотрапезник...» (фр.)

на то, что не невозможно совершенство в другом человеке, поощряют нас не только к охлаждению, но к отвращению к прежнему предмету страсти, и мы, не жалея, бросаем его и бежим вперед искать нового совершенства. Ежели со мною не случилось того же в отношении Дмитрия, то я обязан только его упорной, педантической, более рассудочной, чем сердечной привязанности, которой бы мне слишком совестно было изменить. Сверх того, нас связывало наше странное правило откровенности. Разойдясь, мы слишком боялись оставить во власти один другого все поверенные, постыдные для себя, моральные тайны. Впрочем, наше правило откровенности уже давно, очевидно для нас, не соблюдалось и часто стесняло нас и производило странные между нами отношения.

У Дмитрия в эту зиму я почти всякий раз, как приезжал, заставал его товарища по университету, студента Безобедова, с которым он занимался. Безобедов был маленький, рябой, худой человек, с крошечными, покрытыми веснушками ручками и огромными нечесаными рыжими волосами, всегда оборванный, грязный, необразованный и даже плохо занимавшийся. Отношения Дмитрия с ним, так же как и с Любовью Сергеевной, были мне непонятны. Единственная причина, по которой он мог выбрать его из всех товарищей и сойтись с ним, могла быть только та, что хуже Безобедова на вид не было студента во всем университете. Но, должно быть, именно поэтому Дмитрию приятно было наперекор всем оказывать ему дружбу. Во всех его отношениях с этим студентом выражалось это гордое чувство: «Вот, мол, мне все равно, кто бы вы ни были, мне все равны, и его люблю, значит, и он хорош».

Я удивлялся, как ему не тяжело было постоянно принуждать себя и как несчастный Безобедов выдерживал свое неловкое положение. Мне очень не нравилась эта дружба.

Раз я приехал вечером к Дмитрию с тем, чтобы с ним вместе провести вечер в гостиной его матери, разговаривать и слушать пение или чтение Вареньки; но Безобедов сидел на верху. Дмитрий резким тоном ответил мне, что он не может идти вниз, потому что, как я вижу, у него гости.

— И что там веселого? — прибавил он. — Гораздо лучше здесь посидим, поболтаем. — Хотя меня вовсе не прельщала мысль просидеть часа два с Безобедовым, я не решался один пойти в гостиную и с досадой в душе на странности моего друга уселся на качающемся кресле и молча стал качаться. Мне очень досадно было на Дмитрия и на Безобедова за то, что они лишили меня удовольствия быть внизу; я ждал, скоро ли уйдет Безобедов, и злился на него и на Дмитрия, молча слушая их разговор. «Очень приятный гость! Сиди с ним!» — думал я, когда лакей принес чай и Дмитрий должен был раз пять просить Безобедова взять стакан, потому что робкий гость при первом и втором стакане считал своей обязанностью отказываться и говорить: «Кушайте сами». Дмитрий, видимо принуждая себя, зани-

мал гостя разговором, в который тщетно несколько раз хотел втянуть меня. Я мрачно молчал.

«Нечего делать такое лицо, что никто не смей подозревать, что я скучаю»,— мысленно обращался я к Дмитрию, молча, равномерно раскачиваясь на кресле. Я все больше и больше, с некоторым удовольствием, разжигал в себе чувство тихой ненависти к своему другу. «Вот дурак,— думал я про него,— мог бы провести приятно вечер с милыми родными,— нет, сидит с этим скотом; а теперь время проходит, будет уже поздно идти в гостиную»,— и я взглядывал из-за края кресла на своего друга. И рука его, и поза, и шея, и в особенности затылок и коленки казались мне до того противны и оскорбительны, что я бы с наслаждением в эту минуту сделал ему какую-нибудь, даже большую, неприятность.

Наконец Безобедов встал, но Дмитрий не мог сразу отпустить такого приятного гостя: он ему предложил ночевать, на что, к счастью, Безобедов не согласился и вышел.

Проводив его, Дмитрий вернулся и, слегка самодовольно улыбаясь и потирая руки,— должно быть, и тому, что он таки выдержал характер, и тому, что избавился наконец от скуки,— стал ходить по комнате, изредка взглядывая на меня. Он был мне еще противнее. «Как он смеет ходить и улыбаться?» — думал я.

— Зачем ты злишься? — сказал он вдруг, останавливаясь против меня.

— Я совсем не злюсь,— отвечал я, как всегда отвечают в подобных случаях,— а только мне досадно, что ты притворяешься и передо мной, и перед Безобедовым, и перед самим собой.

— Какой вздор! Я никогда ни перед кем не притворяюсь.

— Я не забываю нашего правила откровенности, я тебе говорю прямо. Как я уверен,— сказал я,— тебе несносен этот Безобедов так же, как и мне, потому что он глуп и Бог знает что такое, но тебе приятно важничать перед ним.

— Нет! И во-первых, Безобедов прекрасный человек...

— А я говорю: да; я скажу тебе даже, что и твоя дружба к Любови Сергеевне основана тоже на том, что она считает тебя богом.

— Да я тебе говорю, что нет.

— А я говорю, что да, потому что я знаю это по себе,— отвечал я с жаром сдержанной досады и своею откровенностью желая обезоружить его,— я тебе говорил и повторяю, что мне всегда кажется, что я люблю тех людей, которые мне говорят приятное, а как разберу хорошенько, то вижу, что настоящей привязанности нет.

— Нет,— продолжал Дмитрий, сердитым движением шеи поправляя галстук,— когда я люблю, то ни похвалы, ни брань не могут изменить моего чувства.

— Неправда; ведь я тебе признавался, что, когда папа меня назвал дрянью, я несколько времени ненавидел его и желал его смерти; так же и ты...

— Говори за себя. Очень жалко, коли ты такой...

— Напротив,— вскричал я, вскакивая с кресел и с отчаянной храбростью глядя ему в глаза,— это нехорошо, что ты говоришь; разве ты мне не говорил про брата,— я тебе про это не поминаю, потому что это бы было нечестно,— разве ты мне не говорил... а я тебе скажу, как я тебя теперь понимаю.

И я, стараясь уколоть его еще сильнее, чем он меня, стал доказывать ему, что он никого не любит, и высказывать ему все то, в чем, мне казалось, я имел право упрекнуть его. Я был очень доволен тем, что высказал ему все, совершенно забывая то, что единственно возможная цель этого высказывания, состоящая в том, чтоб он признался в недостатках, которые я обличал в нем, не могла быть достигнута в настоящую минуту, когда он был разгорячен. В спокойном же состоянии, когда он мог сознаться, я никогда не говорил ему этого.

Спор уже переходил в ссору, когда вдруг Дмитрий замолчал и ушел от меня в другую комнату. Я пошел было за ним, продолжая говорить, но он не отвечал мне. Я знал, что в графе его пороков была вспыльчивость, и он теперь преодолевал себя. Я проклинал все его расписания.

Так вот к чему повело нас наше правило *говорить друг другу все, что мы чувствовали, и никогда третьему ничего не говорить друг о друге*. Мы доходили иногда в увлечении откровенностью до самых бесстыдных признаний, выдавая, к своему стыду, предположение, мечту за желание и чувство, как, например, то, что я сейчас сказал ему; и эти признания не только не стягивали больше связь, соединявшую нас, но сушили самое чувство и разъединяли нас; а теперь вдруг самолюбие не допустило его сделать самое пустое признание, и мы в жару спора воспользовались теми оружиями, которые прежде сами дали друг другу и которые поражали ужасно больно.

Г л а в а XLII

МАЧЕХА

Несмотря на то, что папа хотел приехать с женою в Москву только после нового года, он приехал в октябре, осенью, в то время, когда была еще отличная езда с собаками. Папа говорил, что он изменил свое намерение потому, что дело его в сенате должно было слушаться; но Мими рассказывала, что Авдотья Васильевна в деревне так скучала, так часто говорила про Москву и так притворялась нездоровою, что папа решился исполнить ее желание.

— Потому что она никогда не любила его, а только всем уши прожужжала своей любовью, желая выйти замуж за богатого челове-

ка,— прибавляла Мими, задумчиво вздыхая, как бы говоря: «Не то бы сделали для него *некоторые люди*, если бы он сумел оценить их».

Некоторые люди были несправедливы к Авдотье Васильевне; ее любовь к папа, страстная, преданная любовь самоотвержения, была видна в каждом слове, взгляде и движении. Но такая любовь не мешала ей нисколько вместе с желанием не расставаться с обожаемым мужем — желать необыкновенного чепчика от мадам Аннет, шляпы с необыкновенным голубым страусовым пером и синего, венецианского бархата, платья, которое бы искусно обнажало стройную белую грудь и руки, до сих пор еще никому не показанные, кроме мужа и горничных. Катенька, разумеется, была на стороне матери, между же нами и мачехой установились сразу, со дня ее приезда, какие-то странные, шуточные отношения. Как только она вышла из кареты, Володя, сделав серьезное лицо и мутные глаза, расшаркиваясь и раскачиваясь, подошел к ее руке и сказал, как будто представляя кого-то:

— Имею честь поздравить с приездом милую мамашу и целовать ее ручку.

— А, милый сынок! — сказала Авдотья Васильевна, улыбаясь своей красивой, однообразной улыбкой.

— И второго сынка не забудьте,— сказал я, подходя тоже к ее руке и стараясь невольно перенять выражение лица и голоса Володи.

Ежели бы мы и мачеха были уверены во взаимной привязанности, это выражение могло бы означать пренебрежение к изъяслению признаков любви; ежели бы мы уже были дурно расположены друг к другу, оно могло бы означать иронию, или презрение к притворству, или желание скрыть от присутствующего отца наши настоящие отношения и еще много других чувств и мыслей; но в настоящем случае выражение это, которое очень пришлось к духу Авдотьи Васильевны, ровно ничего не значило и только скрывало отсутствие всяких отношений. Я впоследствии часто замечал и в других семействах, когда члены их предчувствуют, что настоящие отношения будут не совсем хороши, такого рода шуточные, подставные отношения; и эти-то отношения невольно установились между нами и Авдотьей Васильевной. Мы почти никогда не выходили из них, мы всегда были приторно учтивы с ней, говорили по-французски, расшаркивались и называли ее *chère maman*, на что она всегда отвечала шуточками в том же роде и красивой однообразной улыбкой. Одна плаксивая Любочка, с ее гусиными ногами и нехитрыми разговорами, полюбила мачеху и весьма наивно и иногда неловко старалась сблизить ее со всем нашим семейством; зато и единственное лицо во всем мире, к которому, кроме ее страстной любви к папа, Авдотья Васильевна имела хоть каплю привязанности, была Любочка. Авдотья Васильевна оказывала ей даже какое-то восторженное удивление и робкое уважение, очень удивлявшее меня.

Авдотья Васильевна в первое время часто любила, называя себя мачехой, намекать на то, как всегда дети и домашние дурно и несправедливо смотрят на мачеху и вследствие этого как тяжело бывает ее положение. Но, предвидя всю неприятность этого положения, она ничего не сделала, чтобы избежать его: приласкать того, подарить этого, не быть ворчливой, что бы ей было очень легко, потому что она была от природы невзыскательна и очень добра. И не только она не сделала этого, но, напротив, предвидя всю неприятность своего положения, она без нападения приготовилась к защите, и, предполагая, что все домашние хотят всеми средствами делать ей неприятности и оскорбления, она во всем видела умысел и полагала самым достойным для себя терпеть молча и, разумеется, своим бездействием не снискивая любви, снискивала нерасположение. Притом в ней было такое отсутствие той в высшей степени развитой в нашем доме способности понимания, о которой я уже говорил, и привычки ее были так противоположны тем, которые укоренились в нашем доме, что уже это одно дурно располагало в ее пользу. В нашем аккуратном, опрятном доме она вечно жила, как будто только сейчас приехала: вставала и ложилась то поздно, то рано; то выходила, то не выходила к обеду; то ужинала, то не ужинала. Ходила почти всегда, когда не было гостей, полуодетая и не стыдилась нам и даже слугам показываться в белой юбке и накинутой шали, с голыми руками. Сначала эта простота понравилась мне, но потом очень скоро, именно вследствие этой простоты, я потерял последнее уважение, которое имел к ней. Еще страннее было для нас то, что в ней было, при гостях и без гостей, две совершенно различные женщины: одна, при гостях, молодая, здоровая и холодная красавица, пышно одетая, не глупая, не умная, но веселая; другая, без гостей, была уже немолодая, изнуренная, тоскующая женщина, неряшливая и скучающая, хотя и любящая. Часто, глядя на нее, когда она, улыбающаяся, румяная от зимнего холоду, счастливая сознанием своей красоты, возвращалась с визитов и, сняв шляпу, подходила осмотреться в зеркало, или, шумя пышным бальным открытым платьем, стыдясь и вместе гордясь перед слугами, проходила в карету, или дома, когда у нас бывали маленькие вечера, в закрытом шелковом платье и каких-то тонких кружевах около нежной шеи, сияла на все стороны однообразной, но красивой улыбкой,— я думал, глядя на нее: что бы сказали те, которые восхищались ей, ежели б видели ее такую, как я видел ее, когда она, по вечерам оставаясь дома, после двенадцати часов, дожидаясь мужа из клуба, в каком-нибудь капоте, с нечесаными волосами, как тень ходила по слабо освещенным комнатам. То она подходила к фортепьянам и играла на них, морщась от напряжения, единственный вальс, который знала, то брала книгу романа и, прочтя несколько строк из середины, бросала его, то, чтоб не будить людей, сама подходила к буфету, доставала оттуда огурец и холодную телятину и съедала ее, стоя у окошка буфета, то снова, усталая, тоскующая, без цели

шлялась из комнаты в комнату. Но более всего разъединяло нас с ней отсутствие понимания, выражавшееся преимущественно в свойственной ей манере снисходительного внимания, когда с ней говорили о вещах, для нее непонятных. Она была не виновата в том, что сделала бессознательную привычку слегка улыбаться одними губами и наклонять голову, когда ей рассказывали вещи, для нее мало интересные (а кроме ее самой и ее мужа, ничто ее не занимало); но эта улыбка и наклонение головы, часто повторенные, были невыносимо отталкивающие. Ее веселость, как будто подсмеивающаяся над собой, над вами и над всем светом, была тоже неловкая, никому не сообщавшаяся; ее чувствительность — слишком приторная. А главное — она не стыдилась беспрестанно говорить всякому о своей любви к папа. Хотя она нисколько не лгала, говоря про то, что вся жизнь ее заключается в любви к мужу, и хотя она доказывала это всей своей жизнью, но, по нашему пониманию, такое беззастенчивое, беспрестанное тверждение про свою любовь было отвратительно, и мы стыдились за нее, когда она говорила это при посторонних, еще более, чем когда она делала ошибки во французском языке.

Она любила своего мужа более всего на свете, и муж любил ее, особенно первое время и когда он видел, что она не ему одному нравилась. Единственная цель ее жизни была приобретение любви своего мужа; но она делала, казалось, нарочно все, что только могло быть ему неприятно, и все с целью доказать ему всю силу своей любви и готовности самопожертвования.

Она любила наряды, отец любил видеть ее в свете красавицей, возбуждавшей похвалы и удивление; она жертвовала своей страстью к нарядам для отца и больше и больше привыкала сидеть дома в серой блузе. Папа, считавший всегда свободу и равенство необходимым условием в семейных отношениях, надеялся, что его любимица Любочка и добрая молодая жена сойдутся искренно и дружески; но Авдотья Васильевна жертвовала собой и считала необходимым окazyвать *настоящей хозяйке дома*, как она называла Любочку, неприличное уважение, больно оскорблявшее папа. Он играл много в эту зиму, под конец много проигрывал и, как всегда, не желая смешивать игру с семейною жизнью, скрывал свои игорные дела от всех домашних. Авдотья Васильевна жертвовала собой и, иногда больная, под конец зимы даже беременная, считала своей обязанностью, в серой блузе, с нечесаной головой, хоть в четыре или пять часов утра, раскачиваясь, идти навстречу папа, когда он, иногда усталый, проигравшийся, пристыженный, после восьмого штрафа, возвращался из клуба. Она спрашивала его рассеянно о том, был ли он счастлив в игре, и с снисходительной внимательностью, улыбаясь и покачивая головою, слушала, что он говорил ей о том, что он делал в клубе, и о том, что он в сотый раз ее просит никогда не дожидаться его. Но хотя проигрыш и выигрыш, от которого, по его игре, зависело все состояние папа, нисколько не интересовали ее, она снова каждую ночь

первая встречала его, когда он возвращался из клуба. К этим встречам, впрочем, кроме своей страсти к самопожертвованию, побуждала ее еще затаенная ревность, от которой она страдала в сильнейшей степени. Никто в мире не мог бы ее убедить, что папа возвращался поздно из клуба, а не от любовницы. Она старалась прочесть на лице папа его любовные тайны; и не прочтя ничего, с некоторым наслаждением горя вздыхала и предавалась созерцанию своего несчастья.

Вследствие этих и многих других беспрестанных жертв в обращении папа с его женою в последние месяцы этой зимы, в которые он много проигрывал и оттого был большей частью не в духе, стало уже заметно перемежающееся чувство *тихой ненависти*, того сдержанного отвращения к предмету привязанности, которое выражается бессознательным стремлением делать все возможные мелкие моральные неприятности этому предмету.

Г л а в а XLIII

НОВЫЕ ТОВАРИЩИ

Зима прошла незаметно, и уже опять начинало таять, и в университете уже было прибито расписание экзаменов, когда я вдруг вспомнил, что надо было отвечать из восемнадцати предметов, которые я слушал и из которых я не слышал, не записывал и не приготовил ни одного. Странно, как такой ясный вопрос: как же держать экзамен? — ни разу мне не представился. Но я был всю зиму эту в таком тумане, происходившем от наслаждения тем, что я большой и что я *somme il faut*, что когда мне и приходило в голову: как же держать экзамен? — я сравнивал себя с своими товарищами и думал: «Они же будут держать, а большая часть их еще не *somme il faut*, стало быть, у меня еще лишнее перед ними преимущество, и я должен выдержать». Я приходил на лекции только потому, что уж так привык и что папа усылал меня из дома. Притом же знакомых у меня было много, и мне было часто весело в университете. Я любил этот шум, говор, хохотню по аудиториям; любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса профессора мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей; любил иногда с кем-нибудь сбежать к Матерну выпить водки и закусить и, зная, что за это могут распечь, после профессора, робко скрипнув дверью, войти в аудиторию; любил участвовать в проделке, когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре. Все это было очень весело.

Когда уже все начали ходить аккуратнее на лекции, профессор физики кончил свой курс и простился до экзаменов, студенты стали собирать тетрадки и партиями готовиться, я тоже подумал, что надо готовиться. Оперов, с которым мы продолжали кланяться, но были в

самых холодных отношениях, как я говорил уже, предложил мне не только тетрадки, но и пригласил готовиться по ним вместе с ним и другими студентами. Я поблагодарил его и согласился, надеясь этой честью совершенно загладить свою бывшую размолвку с ним, но просил только, чтоб непременно все собирались у меня всякий раз, так как у меня квартира хорошая.

Мне отвечали, что будут готовиться по переменкам, то у того, то у другого, и там, где ближе. В первый раз собрались у Зухина. Это была маленькая комнатка за перегородкой в большом доме на Трубном бульваре. В первый назначенный день я опоздал и пришел, когда уже читали. Маленькая комнатка была вся закурена, даже не вакштафом, а махоркой, которую курил Зухин. На столе стоял штоф водки, рюмка, хлеб, соль и кость баранины.

Зухин, не вставая, пригласил меня выпить водки и снять сюртук.

— Вы, я думаю, к такому угощению не привыкли,— прибавил он.

Все были в грязных ситцевых рубашках и нагрудниках. Стараясь не выказывать своего к ним презрения, я снял сюртук и лег *по-товарищески* на диван. Зухин, изредка справляясь по тетрадкам, читал, другие останавливали его, делая вопросы, а он объяснял сжато, умно и точно. Я стал вслушиваться и, не понимая многого, потому что не знал предыдущего, сделал вопрос.

— Э, батюшка, да вам нельзя слушать, коли вы этого не знаете,— сказал Зухин,— я вам дам тетрадки, вы пройдите это к завтраму; а то что ж вам объяснять.

Мне стало совестно за свое незнание, и вместе с тем чувствуя всю справедливость замечания Зухина, я перестал слушать и занялся наблюдениями над этими новыми товарищами. По подразделению людей на *comme il faut* и не *comme il faut* они принадлежали, очевидно, к второму разряду и вследствие этого возбуждали во мне не только чувство презрения, но и некоторой личной ненависти, которую я испытывал к ним за то, что, не быв *comme il faut*, они как будто считали меня не только равным себе, но даже добродушно покровительствовали меня. Это чувство возбуждали во мне их ноги и грязные руки с обгрызенными ногтями, и один отпущенный на пятом пальце длинный ноготь у Оперова, и розовые рубашки, и нагрудники, и ругательства, которые они ласкательно обращали друг к другу, и грязная комната, и привычка Зухина беспрестанно немножко сморкаться, прижав одну ноздрю пальцем, и в особенности их манера говорить, употреблять и интонировать некоторые слова. Например, они употребляли слова: *глупец* вместо дурак, *словно* вместо точно, *великолепно* вместо прекрасно, *движучи* и т.п., что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту комильфотную ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили машина вместо машинá, деятельность вместо деятельность, нарочно

вместо нарѳчно, в каминѳ вместо в камѳне, Шѳкспир вместо Шекспѳр, и т.д., и т.д.

Несмотря, однако, на эту, в то время для меня непреодолимо отталкивающую, внешность, я, предчувствуя что-то хорошее в этих людях и завидуя тому веселому товариществу, которое соединяло их, испытывал к ним влечение и желал сблизиться с ними, как это ни было для меня трудно. Кроткого и честного Оперова я уже знал; теперь же бойкий, необыкновенно умный Зухин, который, видимо, первенствовал в этом кружке, чрезвычайно нравился мне. Это был маленький плотный брюнет с несколько оплывшим и всегда глянцеви-тым, но чрезвычайно умным, живым и независимым лицом. Это выражение особенно придавали ему невысокий, но горбатый над глубокими черными глазами лоб, щетинистые короткие волосы и частая черная борода, казавшаяся всегда небритой. Он, казалось, не думал о себе (что всегда мне особенно нравилось в людях), но видно было, что никогда ум его не оставался без работы. У него было одно из тех выразительных лиц, которые несколько часов после того, как вы их увидите в первый раз, вдруг совершенно изменяются в ваших глазах. Это случилось под конец вечера, в моих глазах, с лицом Зухина. Вдруг на его лице показались новые морщины, глаза ушли глубже, улыбка стала другая, и все лицо так изменилось, что я с трудом бы узнал его.

Когда кончили читать, Зухин, другие студенты и я, чтоб доказать свое желание быть товарищем, выпили по рюмке водки, и в штофе почти ничего не осталось. Зухин спросил, у кого есть четвертак, чтоб еще послать за водкой какую-то старую женщину, которая прислуживала ему. Я предложил было своих денег, но Зухин, как будто не слыхав меня, обратился к Оперову, и Оперов, достав бисерный кошелек, дал ему требуемую монету.

— Ты смотри не запей,— сказал Оперов, который сам ничего не пил.

— Небось,— отвечал Зухин, высасывая мозг из бараньей кости (я помню, в это время я думал: от этого-то он так умен, что ест много мозгу).

— Небось,— продолжал Зухин, слегка улыбаясь, а улыбка у него была такая, что вы невольно замечали ее и были ему благодарны за эту улыбку.— Хоть и запью, так не беда; уж теперь, брат, посмотрим, кто кого собьет, он ли меня, или я его. Уж готово, брат,— добавил он, хвастливо щелкнув себя по лбу.— Вот Семенов не провалился бы, он что-то сильно закутил.

Действительно, тот самый Семенов с седыми волосами, который в первый экзамен меня так обрадовал тем, что на вид был хуже меня, и который, выдержав вторым вступительный экзамен, первый месяц студенчества аккуратно ходил на лекции, закутил еще до репетиций и под конец курса уже совсем не показывался в университете.

— Где он? — спросил кто-то.

— Уж и я его из виду потерял, — продолжал Зухин, — в последний раз мы с ним вместе «Лиссабон» разбили. Великолепная штука вышла. Потом, говорят, какая-то история была... Вот голова! Что огня в этом человеке! Что ума! Жаль, коли пропадет. А пропадет наверно: не такой мальчик, чтоб с его порывами он усидел в университете.

Поговорив еще немного, все стали расходиться, условившись и на следующие дни собираться к Зухину, потому что его квартира была ближе ко всем прочим. Когда все вышли на двор, мне стало несколько совестно, что все шли пешком, а я один ехал на дрожках, и я, стыдясь, предложил Оперову довести его. Зухин вышел вместе с нами и, заняв у Оперова целковый, пошел на всю ночь куда-то в гости. Дорргой Оперов рассказал мне многое про характер и образ жизни Зухина, и, приехав домой, я долго не спал, думая об этих новых, узнанных мною людях. Я долго, не засыпая, колебался, с одной стороны, между уважением к ним, к которому располагали меня их знания, простота, честность и поэзия молодости и удальства, с другой стороны — между отталкивающей меня их непорядочной внешностью. Несмотря на все желание, мне было в то время буквально невозможно сойтись с ними. Наше понимание было совершенно различно. Была бездна оттенков, составлявших для меня всю прелесть и весь смысл жизни, совершенно непонятных для них, и наоборот. Но главною причиною невозможности сближения были мое двадцатирублевое сукно на сюртуке, дрожки и голландская рубашка. Эта причина была в особенности важна для меня: мне казалось, что я невольно оскорбляю их признаками своего благосостояния. Я чувствовал себя перед ними виноватым и, то смиряясь, то возмущаясь против своего незаслуженного смирения и переходя к самонадеянности, никак не мог войти с ними в ровные, искренние отношения. Грубая же, порочная сторона в характере Зухина до такой степени заглушалась в то время для меня той сильной поэзией удальства, которую я предчувствовал в нем, что она несколько не неприятно действовала на меня.

Недели две почти каждый день я ходил по вечерам заниматься к Зухину. Занимался я очень мало, потому что, как говорил уже, отстал от товарищей и, не имея сил один заняться, чтоб догнать их, только притворялся, что слушаю и понимаю то, что они читают. Мне кажется, что и товарищи догадывались о моем притворстве, и часто я замечал, что они пропускали места, которые сами знали, и никогда не спрашивали меня.

С каждым днем я больше и больше извинял непорядочность этого кружка, втягиваясь в их быт и находя в нем много поэтического. Только одно честное слово, данное мною Дмитрию, не ездить никуда кутить с ними, удержало меня от желания разделять их удовольствия.

Раз я хотел похвастаться перед ними своими знаниями в литературе, в особенности французской, и завел разговор на эту тему. К удивлению моему, оказалось, что, хотя они выговаривали иностранные

заглавия по-русски, они читали гораздо больше меня, знали, ценили английских и даже испанских писателей, Лесажа, про которых я тогда и не слышал. Пушкин и Жуковский были для них литература (а не так, как для меня, книжки в желтом переплете, которые я читал и учил ребенком). Они презирали равно Дюма, Сю и Феваля и судили, в особенности Зухин, гораздо лучше и яснее о литературе, чем я, в чем я не мог не сознаться. В знании музыки я тоже не имел перед ними никакого преимущества. Еще к большему удивлению моему, Оперов играл на скрипке, другой из занимавшихся с нами студентов играл на виолончели и фортепьяно, и оба играли в университетском оркестре, порядочно знали музыку и ценили хорошую. Одним словом, все, чем я хотел похвастаться перед ними, исключая выговора французского и немецкого языков, они знали лучше меня и нисколько не гордились этим. Мог бы я похвастаться в моем положении светскостью, но ее я не имел, как Володя. Так что же такое было та высота, с которой я смотрел на них? Мое знакомство с князем Иваном Ивановичем? выговор французского языка? дрожки? голландская рубашка? ногти? Да уж не вздор ли все это? — начинало мне глухо приходиться иногда в голову под влиянием чувства зависти к товариществу и добродушному молодому веселью, которое я видел перед собой. Они все были на «ты». Простота их обращения доходила до грубости, но и под этой грубой внешностью был постоянно виден страх хоть чуть-чуть оскорбить друг друга. *Подлец, свинья*, употребляемые ими в ласкательном смысле, только коробили меня и мне подавали повод к внутреннему подсмеиванию, но эти слова не оскорбляли их и не мешали им быть между собой на самой искренней дружеской ноге. В обращении между собою они были так осторожны и деликатны, как только бывают очень бедные и очень молодые люди. Главное же, что-то широкое, разгульное чуялось мне в этом характере Зухина и его похождениях в «Лиссабоне». Я предчувствовал, что эти кутежи должны были быть что-то совсем другое, чем то притворство с жженым ромом и шампанским, в котором я участвовал у барона 3.

Г л а в а XLIV

ЗУХИН И СЕМЕНОВ

Не знаю, к какому сословию принадлежал Зухин, но знаю, что он был из С. гимназии, без всякого состояния и, кажется, не дворянин. Ему было в то время лет восемнадцать, хотя на вид казалось гораздо больше. Он был необычайно умен, в особенности понятлив: ему легче было сразу обнять целый многосложный предмет, предвидеть все его частности и выводы, чем посредством сознания обсудить законы, по которым производились эти выводы. Он знал, что он был

умен, гордился этим и вследствие этой гордости был одинаково со всеми прост в обращении и добродушен. Должно быть, он много испытал в жизни. Его пылкая, восприимчивая натура уже успела отразить в себе и любовь, и дружбу, и дела, и деньги. Хотя в малой мере, хотя в низших слоях общества, но не было вещи, к которой бы он, испытав ее, не имел не то презрения, не то какого-то равнодушия и невнимания, происходящих от слишком большой легкости, с которой ему все доставалось. Он, казалось, с таким жаром брался за все новое только для того, чтоб, достигнув цели, презирать то, чего он достигнул, и способная натура его достигала всегда и цели и права на презрение. В отношении науки было то же самое: занимаясь мало, не записывая, он знал математику превосходно и не хвастался, говоря, что собьет профессора. Ему казалось много вздоров в том, что ему читали, но с свойственным его натуре бессознательным практическим плутовством он тотчас же подделывался под то, что было нужно профессору, и все профессора его любили. Он был прям в отношениях с начальством, но начальство уважало его. Он не только не уважал и не любил науки, но презирал даже тех, которые серьезно занимались тем, что ему так легко доставалось. Науки, как он понимал их, не занимали десятой доли его способностей; жизнь в его студенческом положении не представляла ничего такого, чему бы он мог весь отдаться, а пылкая, деятельная, как он говорил, натура требовала жизни, и он вдавался в кутеж такого рода, какой возможен был по его средствам, и предался ему с страстным жаром и желанием уходить себя, *чем больше во мне силы*. Теперь, перед экзаменами, предсказание Оперова сбылось. Он пропал недели на две, так что мы готовились уже последнее время у другого студента. Но в первый экзамен он, бледный, изнуренный, с дрожащими руками, явился в залу и блестящим образом перешел во второй курс.

С начала курса в шайке кутил, главою которых был Зухин, было человек восемь. В числе их сначала были Иконин и Семенов, но первый удалился от общества, не вынеся того неистового разгула, которому они предавались в начале года, второй же удалился потому, что ему и этого казалось мало. В первые времена все в нашем курсе с каким-то ужасом смотрели на них и рассказывали друг другу их подвиги.

Главными героями этих подвигов были Зухин, а в конце курса — Семенов. На Семенова все последнее время смотрели с каким-то даже ужасом, и когда он приходил на лекцию, что случалось довольно редко, то в аудитории происходило волнение.

Семенов перед самыми экзаменами кончил свое кутежное поприще самым энергическим и оригинальным образом, чему я был свидетелем благодаря своему знакомству с Зухиным. Вот как это было. Раз вечером, только что мы сошлись к Зухину, и Оперов, прикинув головой к тетрадкам и поставив около себя, кроме сальной свечи в подсвечнике, сальную свечу в бутылке, начал читать своим тонень-

БИБЛИОТЕКА
№ 217
И. А. ШЛЯХИНА

Собрание сочинений А. Н. Толстого

А. Н. Толстой Юность

Отпечатан на бумаге гутенберговского
способа, не пошедшей в
вопрос к цензуре (№ 1896, I № 437-442-издание)
первоначальное издание, по распоряжению
гос. А. Н. Толстого, вышло на свет
в издательстве М. и С. Смирнова в 1908 г.
в количестве 1000 экземпляров в 10 томах
вместе с предисловием и послесловием
от автора. Вроде не вышедших из печати.

Минус

Собрание сочинений А. Н. Толстого, 10 томов, 1908 г.
+ Предисловие и послесловие от автора. В 10 томах.
Издательство М. и С. Смирнова.

(Библиотека А. Н. Толстого) Собр.
№ I № 285-286

«ЮНОСТЬ», глава XLIV

Первый лист копии

ким голоском свои мелко исписанные тетрадки физики, как в комнату вошла хозяйка и объявила Зухину, что к нему пришел кто-то с запиской.

Зухин вышел и скоро вернулся, опустив голову и с задумчивым лицом, держа в руках открытую записку на серой оберточной бумаге и две десятирублевые ассигнации.

— Господа! необыкновенное событие,— сказал он, подняв голову и как-то торжественно-серьезно взглянув на нас.

— Что ж, за *кондиции* деньги получил? — сказал Оперов, перелистывая свою тетрадку.

— Ну, давайте читать дальше,— сказал кто-то.

— Нет, господа! Я больше не читаю,— продолжал Зухин тем же тоном,— я вам говорю, непостижимое событие! Семенов прислал мне с солдатом вот двадцать рублей, которые занял когда-то, и пишет, что ежели я его хочу видеть, то чтоб приходил в казармы. Вы знаете, что это значит? — прибавил он, оглянув всех нас. Мы все молчали.— Я сейчас иду к нему,— продолжал Зухин,— пойдете, кто хочет.

Сейчас же все надели сюртуки и собрались идти к Семенову.

— Не будет ли это неловко,— сказал Оперов своим тоненьким голоском,— что все мы, как на редкость, придем смотреть на него?

Я был совершенно согласен с замечанием Оперова, особенно в отношении меня, который был почти незнаком с Семеновым; но мне так приятно было знать себя участвующим в общем товарищеском деле и так хотелось видеть самого Семенова, что я ничего не сказал на это замечание.

— Вздор! — сказал Зухин.— Что ж тут неловкого, что мы все идем проститься с товарищем, где бы он ни был. Пустяки! Идем, кто хочет.

Мы взяли извозчиков, посадили с собой солдата и поехали. Дежурный унтер-офицер уже не хотел нас пускать в казарму, но Зухин как-то уговорил его, и тот же самый солдат, который приходил с запиской, провел нас в большую, почти темную, слабо освещенную несколькими ночниками комнату, в которой с обеих сторон на нарах, с бритыми лбами, сидели и лежали рекруты в серых шинелях. Вступив в казарму, меня поразил особенный тяжелый запах, звук храпения нескольких сотен людей, и, проходя за нашим проводником и Зухиным, который твердыми шагами шел впереди всех между нарами, я с трепетом вглядывался в положение каждого рекрута и к каждому прикладывал оставшуюся в моем воспоминании сбитую жилистую фигуру Семенова с длинными всклокоченными, почти седыми волосами, белыми зубами и мрачными блестящими глазами. В самом крайнем углу казармы у последнего глиняного горшочка, налитого черным маслом, в котором дымно, свесившись, коптился нагоревший фитиль, Зухин ускорил шаг и вдруг остановился.

— Здорово, Семенов,— сказал он одному рекруту с таким же бритым лбом, как и другие, который, в толстом солдатском белье и в серой шинели внакидку, сидел с ногами на нарах и, разговаривая с другим рекрутом, ел что-то. Это был он, с обстриженными под гребенку седыми волосами, выбритым синим лбом и с своим всегдашним мрачным и энергическим выражением лица. Я боялся, что взгляд мой оскорбит его, и поэтому отворачивался. Оперов, кажется, тоже разделяя мое мнение, стоял сзади всех; но звук голоса Семенова, когда он своей обыкновенной отрывистой речью приветствовал Зукина и других, совершенно успокоил нас, и мы поторопились выйти вперед и подать — я свою руку, Оперов свою дощечку, но Семенов еще прежде нас протянул свою черную большую руку, избавляя нас этим от неприятного чувства делать как будто бы честь ему. Он говорил неохотно и спокойно, как и всегда:

— Здравствуй, Зухин. Спасибо, что зашел. А, господа! садитесь. Ты пусти, Кудряшка,— обратился он к рекруту, с которым ужинал и разговаривал.— С тобой после договорим. Садитесь же. Что? удивило тебя, Зухин? А?

— Ничего меня от тебя не удивило,— отвечал Зухин, усаживаясь подле него на нары, немножко с тем выражением, с каким доктор садится на постель больного,— меня бы удивило, коли бы ты на экзамены пришел, вот так так. Да расскажи, где ты пропадал, и как это случилось?

— Где пропадал? — отвечал он своим густым, сильным голосом,— пропадал в трактирах, кабаках, вообще в заведениях. Да садитесь же все, господа, тут места много. Подожди ноги-то, ты! — крикнул он повелительно, показав на мгновение свои белые зубы, на рекрута, который с левой стороны его лежал на нарах, положив голову на руку, и с ленивым любопытством смотрел на нас.— Ну, кутил. И скверно. И хорошо,— продолжал он, изменяя при каждом отрывистом предложении выражение энергического лица.— Историю с купцом знаешь: умер канала. Меня хотели выгнать. Что были деньги — все промотал. Да это все бы ничего. Долгов гибель оставалось — и гадких. Расплатиться было нечем. Ну, и все.

— Как же такая мысль могла прийти тебе? — сказал Зухин.

— А вот как: кутил раз в «Ярославле», знаешь, на Стоженке, кутил с каким-то барином из купцов. Он рекрутский поставщик. Говорю: «Дайте тысячу рублей — пойду». И пошел.

— Да ведь как же, ты — дворянин,— сказал Зухин.

— Пустяки! Все обделал Кирилл Иванов.

— Кто Кирилл Иванов?

— Который меня купил (при этом он особенно — и странно, и забавно, и насмешливо блеснул глазами и как будто улыбнулся). Разрешение в сенате взяли. Еще покутил, долги заплатил да и пошел. Вот и все. Что же, сечь меня не могут. Пять рублей есть. А может, война...

Потом он начал рассказывать Зухину свои странные, непостижимые похождения, беспрестанно изменяя выражение энергического лица и мрачно блестя глазами.

Когда нельзя было больше оставаться в казармах, мы стали прощаться с ним. Он подал всем нам руку, крепко пожал наши и, не вставая, чтоб проводить нас, сказал:

— Заходите еще когда-нибудь, господа, нас еще, говорят, только в будущем месяце погонят,— и снова он как будто улыбнулся.

Зухин, однако, пройдя несколько шагов, снова вернулся назад. Мне хотелось видеть их прощанье, я тоже приостановился и видел, что Зухин достал из кармана деньги, подавал их ему, и Семенов оттолкнул его руку. Потом я видел, что они поцеловались, и слышал, как Зухин, снова приближаясь к нам, довольно громко прокричал:

— Прощай, голова! Да уж, наверно, я курса не кончу — ты будешь офицером.

В ответ на это Семенов, который никогда не смеялся, захохотал звонким, непривычным смехом, который чрезвычайно больно поразил меня. Мы вышли.

Всю дорогу домой, которую мы прошли пешком, Зухин молчал и беспрестанно немножко сморкался, приставляя палец то к одной, то к другой ноздре. Придя домой, он тотчас же ушел от нас и с того самого дня запил до самых экзаменов.

Г л а в а XLV

Я ПРОВАЛИВАЮСЬ

Наконец настал первый экзамен, дифференциалов и интегралов, а я все был в каком-то странном тумане и не отдавал себе ясного отчета о том, что меня ожидало. По вечерам на меня, после общества Зухина и других товарищей, находила мысль о том, что надо переменить что-то в своих убеждениях, что что-то в них не так и не хорошо, но утром, с солнечным светом, я снова становился *comme il faut*, был очень доволен этим и не желал в себе никаких изменений.

В таком расположении духа я приехал на первый экзамен. Я сел на лавку в той стороне, где сидели князя, графы и бароны, стал разговаривать с ними по-французски, и (как ни странно сказать) мне и мысль не приходила о том, что сейчас надо будет отвечать из предмета, который я вовсе не знаю. Я хладнокровно смотрел на тех, которые подходили экзаменоваться, и даже позволял себе подтрунивать над некоторыми.

— Ну что, Грап,— сказал я Иленьке, когда он возвращался от стола,— набрались страха?

— Посмотрим, как вы,— сказал Иленька, который, с тех пор как поступил в университет, совершенно взбунтовался против моего влияния, не улыбался, когда я говорил с ним, и был дурно расположен ко мне.

Я презрительно улыбнулся на ответ Иленьки, несмотря на то, что сомнение, которое он выразил, на минуту заставило меня испугаться. Но туман снова застлал это чувство, и я продолжал быть рассеян и равнодушен, так что даже тотчас после того, как меня проэкзаменуют (как будто для меня это было самое пустячное дело), я обещался пойти вместе с бароном З. закусить к Матерну. Когда меня вызвали вместе с Икониним, я оправил фалды мундира и весьма хладнокровно подошел к экзаменному столу.

Легкий мороз испуга пробежал у меня по спине только тогда, когда молодой профессор, тот самый, который экзаменовал меня на вступительном экзамене, посмотрел мне прямо в лицо и я дотронулся до почтовой бумаги, на которой были написаны билеты. Иконин, хотя взял билет с тем же раскачиваньем всем телом, с каким он это делал на предыдущих экзаменах, отвечал кое-что, хотя и очень плохо; я же сделал то, что он делал на первых экзаменах, я сделал даже хуже, потому что взял другой билет и на другой ничего не ответил. Профессор с сожалением посмотрел мне в лицо и тихим, но твердым голосом сказал:

— Вы не перейдете на второй курс, господин Иртеньев. Лучше не ходите экзаменоваться. Надо очистить факультет. И вы тоже, господин Иконин,— добавил он.

Иконин просил позволения переэкзаменоваться, как будто милостыни, но профессор отвечал ему, что он в два дня не успеет сделать того, чего не сделал в продолжение года, и что он никак не перейдет. Иконин снова жалобно, униженно умолял; но профессор снова отказал.

— Можете идти, господа,— сказал он тем же негромким, но твердым голосом.

Только тогда я решился отойти от стола, и мне стало стыдно за то, что я своим молчаливым присутствием как будто принимал участие в униженных мольбах Иконина. Не помню, как я прошел залу мимо студентов, что отвечал на их вопросы, как вышел в сени и как добрался до дому. Я был оскорблен, унижен, я был истинно несчастлив.

Три дня я не выходил из комнаты, никого не видел, находил, как в детстве, наслаждение в слезах и плакал много. Я искал пистолетов, которыми бы мог застрелиться, ежели бы мне этого уж очень захотелось. Я думал, что Иленька Грап плюнет мне в лицо, когда меня встретит, и, сделав это, поступит справедливо; что Оперов радуется моему несчастью и всем про него рассказывает; что Колпиков был совершенно прав, осрамив меня у Яра; что мои глупые речи с княжной Корнаковой не могли иметь других последствий, и т. д., и т. д. Все

тяжелые, мучительные для самолюбия минуты в жизни одна за другой приходили мне в голову; я старался обвинить кого-нибудь в своем несчастье: думал, что кто-нибудь все это сделал нарочно, придумывал против себя целую интригу, роптал на профессоров, на товарищей, на Володю, на Дмитрия, на папа за то, что он меня отдал в университет; роптал на провидение за то, что оно допустило меня дожить до такого позора. Наконец, чувствуя свою окончательную гибель в глазах всех тех, кто меня знал, я просился у папа идти в гусары или на Кавказ. Папа был недоволен мною, но, видя мое страшное огорчение, утешал меня, говоря, что, как это ни скверно, еще все дело можно поправить, ежели я перейду на другой факультет. Володя, который тоже не видел в моей беде ничего ужасного, говорил, что на другом факультете мне, по крайней мере, не будет совестно перед новыми товарищами.

Наши дамы вовсе не понимали и не хотели или не могли понять, что такое экзамен, что такое не перейти, и жалели обо мне только потому, что видели мое горе.

Дмитрий ездил ко мне каждый день и был все время чрезвычайно нежен и кроток; но мне именно поэтому казалось, что он охладил ко мне. Мне казалось всегда больно и оскорбительно, когда он, приходя ко мне наверх, молча близко подсаживался ко мне, немножко с тем выражением, с которым доктор садится на постель тяжелого больного. Софья Ивановна и Варенька прислали мне чрез него книги, которые я прежде желал иметь, и желали, чтобы я пришел к ним; но именно в этом внимании я видел гордое, оскорбительное для меня снисхождение к человеку, упавшему уже слишком низко. Дня через три я немного успокоился, но до самого отъезда в деревню я никуда не выходил из дома и, все думая о своем горе, праздно шлялся из комнаты в комнату, стараясь избегать всех домашних.

Я думал, думал и, наконец, раз поздно вечером, сидя один внизу и слушая вальс Авдотьи Васильевны, вдруг вскочил, взбежал наверх, достал тетрадь, на которой написано было: «Правила жизни», открыл ее, и на меня нашла минута раскаяния и морального порыва. Я заплакал, но уже не слезами отчаяния. Оправившись, я решил снова писать правила жизни и твердо был убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам.

Долго ли продолжался этот моральный порыв, в чем он заключался и какие новые начала положил он моему моральному развитию, я расскажу в следующей, более счастливой половине юности.

24 сентября, Ясная Поляна

НЕОКОНЧЕННОЕ

ЗАПИСКИ

Зиму третьего года я жил в Москве, жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели; и жил так не потому, что, как говорят и пишут многие, в Москве все так живут, а просто потому, что такого рода жизнь мне нравилась.— Частью же располагает к лени и положение молодого человека в московском свете.— Я говорю: молодого человека, соединяющего в себе некоторые условия, а именно образование, хорошее имя и тысяч 10 или 20 дохода.— Молодого человека, соединяющего эти условия, жизнь самая приятная и совершенно беспечная, ежели он не служит (т.е. серьезно), а просто числится и любит полениться. Все гостиные открыты для него, на каждую невесту он имеет право иметь виды; нет ни одного молодого человека, который бы в общем мнении света стоял выше его. Приезжай же тот же барин в Петербург, его будет мучить, отчего С. и Г. Горчаковы были при дворе, а я не был; как бы попасть на вечера к баронессе З., на рауту к графине А. и т.д., и не попадет, только ежели он не может взойти в салоны эти, опираясь на какую-нибудь графиню. И ежели он не вырос там, или ежели умеет переносить унижения, пользоваться всяким случаем, и проползти хотя с трудом, но без чести.

<ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ РАЗВИТИЯ>

[Вы, кажется, не на шутку сердитесь на меня за то, что я не прислал вам тотчас же обещанных записок.— Вы пишете мне: «Неужели я не стою на столько доверия?» «Неужели любопытство мое оскорбляет вас?» При этом вы пускаетесь в рассуждения о любопытстве, говоря, что любопытство может иметь два противоположные основания: зависть — желание найти слабую сторону, и любовь — желание видеть хорошую сторону; и мало ли еще какие тонкие рассуждения вы делаете по этому случаю. К несчастью, для меня совершенно все равно, какого рода бы ни было любопытство ваше и всех тех, которым вы можете показать эти записки; я об этом рассуждаю так, как тот невинно приговоренный к казни, который не просил оправдания, но просил только, чтобы выслушали его оправдание.— Я несчастлив и ежели не совершенно невинен, то не более виноват в своем несчастье, чем другие, которые счастливы.— Поэтому-то мне приятно всякое любопытство. Не прислал же я вам записок две недели тому назад это потому, что вы ничего не разобрали бы, когда они были в первоначальном состоянии: надо было собрать, привести в порядок, кое-что вычеркнуть и прибавить. Я писал их для себя, никогда не думая, что мне захочется когда-нибудь дать их читать кому-нибудь.— Зачем писал я их? Я вам верного отчета дать не могу. Приятно мне было набросать картины, которые так поэтически рисуют воспоминания детства. Интересно было мне посмотреть свое развитие, главное же хотелось мне найти в отпечатке своей жизни одно какое-нибудь начало — стремление, которое бы руководило меня, и вообразите, ничего не нашел ровно: ничего, случай... судьба!

Впрочем, я так был откровенен в этих записках во всех слабостях своих, что я думаю, не решился бы прямо бросить их на суждения толпы. Хотя я убежден, что я не хуже большей части людей; но я могу показаться самым ничтожным человеком, потому что был откровенен. Скрытность есть склонность скрывать дурные качества и выказывать хорошие; откровенность — склонность выказывать дурные и скрывать хорошие. Скрывать хорошие качества есть скромность, выказывать хорошие — хвастовство, тщеславие.— Будьте же мне и исповедником и судьей, поверяюсь вам в этих записках. Лучше я не

мог выбрать, потому что нет человека, которого бы я любил и уважал больше вас.

Г. Л. Н.

Кажется, как выгодна скрытность и как невыгодна откровенность; но откровенность есть хорошая склонность, которую нельзя скрыть, и эта склонность так хороша, что она выкупает, мне кажется, все дурные.]

Вы не знали моей матери и истории ее. Она урожденная княжна Б..., дочь князя Иван Андреича Б. и племянница князя Семена и Петра, которых кто не знал или по крайней мере не слышал о них. Воспитание ее и положение в свете были самые блестящие во всех отношениях. Она вышла замуж за князя Д....., человека глупого, грубого и необразованного. Не знаю, что было поводом к этой свадьбе; никто мне не мог объяснить этого. Я не знал и никогда не видал князя Д., но знаю, что татапа не любила его. Она прожила с ним три месяца и оставила его, или он оставил ее, не знаю, только знаю, что они разошлись. Это было в 1818 году. В 1819 году татапа зиму жила в К., где на бале встретила она с отцом моим, тогда еще молодым и очень приятным человеком. Он был адъютантом Григория Федоровича Орлова и был там в отпуску. Как составила эта несчастная связь, не знаю. Знаю только то, что с 1819 года и до времени кончины матушки, 1834 года, она жила с отцом моим как с мужем то в своей деревне П. губернии, то в Тульской губернии, в дорогом воспоминаниями сердцу моему Красном. Мы все родились в Красном — старший Владимир, я и Васенька, одна Любочка родилась в Москве.

Матушка имела одно из тех лиц, которые не хороши, но чрезвычайно приятны; особенно же замечательно было как ее лицо, так и талия аристократическим отпечатком.— У нее были большие черные и всегда влажные глаза, полузакрытые веками и ресницами, с добрым и страстным выражением. Глаза ее отличались тем, что пространство между ними было уже, чем того требуют правила живописи. Нос был хотя довольно широк в ноздрях, но чрезвычайно сух и хотя в общем контуре неправилен, но линии, составлявшие его, все были изящны. Губы, довольно толстые и влажные, носили отпечаток главной черты характера ее — восприимчивости — они беспрестанно переменили выражения: то улыбка веселия, то улыбка горести, но всегда была улыбка.— Что в особенности составляло прелесть ее лица — это было всегда одинаковое выражение глаз и рта. Зубы неправильные, редкие, но белые. Очерк лица неправильный, продолговатый, в особенности к подбородку, но опять-таки линии, составлявшие его, имели особенную прелесть. Уши средние, руки и ноги длинные и сухие. Прибавьте к этому прелестные черные волосы, средний женский рост, маленький пушок на верхней губе, и вот вам общий

очерк наружности моей матушки, какую я ее знал, т.е. когда ей было лет около 30. Теперь я объясню, что может быть вам неясно в этом описании. Во-первых, я сказал, что матушка была аристократически сложена.— Я нахожу, что то, что называют выражением, не столько заметно в лице, сколько в сложении. Например, я не называю аристократическим сложением нежность и сухость рук и ног, но всё: линии рук, bras¹, плеч, спины, шеи. Принято мнение, не знаю почему, что порода узнается по оконечностям. Действительно, оконечности — части самые сложные, но никак не самые нежные и красивые. Притом же мало ли по каким причинам форма их может измениться, и судить по ним нельзя. Все линии, составляющие очерк сложения, нежны, потому что они линии резкие, и линии, составляющие очерк спины, груди, шеи, гораздо красивее, чем линии рук, ног, лица.— Отступи природа на волосок от этой линии, которая составляет красоту,— и красота потеряна.— В душе каждого человека вложен идеал красоты. Прикладывая все действительные типы к этому, нельзя не заметить два главные отступления — тип плебейский, резкость линий, и тип аристократический, мягкость и нежность. Не только по сложению я привык отыскивать эти два типа, но я составил себе физиологию по телосложению. Жалею, что наука эта не идет вперед. Эта наука полезна и возможна. Но мне кажется, что не так за нее взялись,— не по форме головы, но по движению лица должно заключать.— Я отличаю по сложению людей добрых, злых, хитрых, откровенных и особенно людей, понимающих и не понимающих вещи. Высокая грудь — человек добрый и энтузиаст. Впалая и выдавшиеся спинные позвонки — человек, склонный к жестокости и скрытный. Впалый живот и выдавшиеся лопатки — человек, не понимающий вещей, и наоборот. И мало ли еще у меня примет. (Вы не знаете, что я называю понимающими и непонимающими людьми. Объясню после.) Женщин гораздо труднее отличать по этой методе, потому что большая часть их сложения скрыта. В особенности тех, которые одеваются в платья. От этого-то и утвердилось мнение, что трудно узнать женщину.— Мода носить мало юбок есть только стремление к откровенности.— Я сказал, что матушка имела улыбку горести. Надо объяснить вам. Красивое и приятное движение губ я называю улыбкой.— Надо вам сказать, что я красоту меряю по улыбке.— Когда лицо хочет улыбаться и этим движением губ делается некрасивее, я называю дурным; то лицо, которое остается таким же, улыбаясь, я называю обыкновенным. То лицо, которому улыбка прибавляет красоты и переменяет, я называю красивым. Верх красоты — это то лицо, которое плачет и остается красивым. Такое лицо было у тапан.— Я сказал, что особенно замечательно было в лице матушки это всегдашнее верное отношение выражения глаз и губ.— Заметьте,

¹ рука, от плеча до кисти (фр.)

это-то отношение есть то, что называют приятным выражением. Есть люди, у которых одни глаза смеются,— это люди хитрые и эгоисты. Есть люди, у которых рот смеется без глаз,— это люди слабые, нерешительные, и оба эти смеха неприятны. Мне кажется, что по движениям лица и по отношению движений этих между собою должна бы заключать физиология, а не по шишкам на голове.

Не думайте, чтобы я был пристрастен. Действительно матушка была ангел. Впрочем, может быть, я и пристрастен; но сколько бы я ни искал, я бы не мог найти недостатков в характере ее и дурных поступков в жизни, исключая несчастной страсти ее к отцу моему.— На это, однако, я привык смотреть так, как на несчастье, которое постигло все наше семейство и в котором я не могу обвинять своей матери. Вы тоже в молодых годах потеряли матушку; поэтому поймете это чувство страстной любви, обожания и грустной привязанности к памяти той, которой существование вы не умели обсуживать, а только чувствовали. Отец мой жив, и ежели я его часто обвиняю, обсуживаю его дела и не чувствую к нему десятой доли того чувства, которое питаю к памяти матушки, то это оттого, что я не могу не судить его.— Как ни больно, ни тяжело мне было по одной срывать с него в моих понятиях завесы, которые закрывали мне его пороки, я не мог не сделать этого. А какая может быть любовь без уважения? Ежели бы я не боялся обвинения в парадоксальности, я бы сказал, что великое зло, когда родители переживают полное развитие своих детей. По крайней мере при теперешнем положении общества — это хотя противуестественно, но справедливо.— Вы знаете отца моего, каков он теперь. Все говорят, что он приятный старик, мне же он неприятен, или потому, что я его слишком хорошо знаю, или потому, что я знал его еще свежим и молодым мужчиной. Большой статный рост, смешная довольно походка, привычка дергаться, маленькие, серенькие, всегда смеющиеся глазки, большой орлиный нос; губы неправильные, которые, когда еще у него были зубы, как-то неловко склабились, и недостаток в произношении — пришепетывание, кажется, ничего не могли иметь приятного, но очень нравились. Со всем этим он в свое время и был, что называли, *homme à bonnes fortunes*¹. Что он нравился женщинам, это еще можно объяснить страшным сладострастием этого человека. Страсть эта, должно быть, научила его тому, что нужно, чтобы нравиться им. Но главная черта его характера — это то, что он нравился всем: старикам, людям должностным, статским, военным, ученым и в особенности тем, кому хотел нравиться.— Он умел взять верх над тем, над кем хотел. Не бывши никогда человеком большого света, он водился с людьми и высшего круга и всех возможных кругов, ежели люди эти были ему нужны, и всегда так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру самонадеянности и

¹ удачливый человек (фр.)

уверенности в себе, которая возвышала его и не оскорбляла других. Он умел быть оригинальным, но не до крайности; он употреблял оригинальность тогда, когда она нужна ему была, заменяя светскость или богатство. Он умел всегда показывать одну выгодную сторону своей жизни. Был скромнен там, где нужна была ему скромность, надменен там, где надменность была полезна. Ничто не могло заставить показать его свое удивление, в каком бы он ни был неожиданном блестящем положении; казалось, что он для этого и рожден был. Одним словом, он был то, что по-французски называют «un homme de tact», а по-русски практический человек. Но с такими способностями к практической жизни я не встречал ни в одном человеке, кроме отца. Во всем он был чрезвычайно изящен и знал в вещах толк. До сих пор не знаю, есть ли у него религия и верит ли он во что-нибудь, так гибки его правила и взгляд на вещи. К старости у него образовался известный взгляд на вещи, но не на основании ни моральных, ни религиозных правил, но на основании тех случаев, которые были счастьем в его жизни. Вы знаете, как он увлекательно говорит; эта способность содействует гибкости его правил. Он ту же вещь в состоянии рассказать как милую и умную шутку и как низкую подлость. Вообще он человек страстный и любящий прекрасное; но не в отвлеченном, а в искусствах. Главные две страсти его — женщины и карты.

Как он умел обыгрывать людей до последней копейки и оставаться им приятелем, я решительно не понимаю. Он как будто делал одолжение людям, которых обирал. Играл ли он чисто или нет, я об этом не стану божиться. Знаю только то, что никогда во все время его игры никто ему не смел делать никакого замечания. Он во всю свою жизнь выиграл больше 1 1/2 миллиона. Своим обращением он очень гордится в душе и в провинции действительно может прослыть и прославлял за человека высшего круга. Я же терпеть не могу этот *genre* клубный — смесь офицерского, игорного, светского и трактирного. Но, впрочем, зачем так подробно описывать его; ежели вы прочтете до конца мои записки, то, хотя и знаете его, познакомитесь еще лучше с его задушевной стороной.

[У меня прежде еще были набросаны некоторые сцены из моей жизни и все замечательные случаи в моей жизни, т.е. такие случаи, в которых мне перед собою нужно было оправдаться; вот из этих-то отрывков с дополнениями, собственно для вас написанными, и составились эти записки.]

12 августа 1833.— Был хороший день.— Иван Карлович разбудил нас, как и обыкновенно, в 7 1/2 часов.— Детский верх разделялся на две половины площадкой, окруженной точеными, но некрашенными перильцами, на которых лежали особыми кучками наши три курточки, панталончики и манишки; под каждой парой стояли у старшего желанные сапоги, у меньшего презренные башмачки. С одной стороны площадки была наша спальня и классная.— Классная была комната в три маленьких окна, обвешанная с одной стороны старыми

географическими картами, искусно подклеенными Карлом Иванычем, с другой стороны были две полочки — одна наша, детская, на ней были всевозможные учебные книги в переплетах и без, стоячи и лежа. Только две, не помню, какие-то переплетенные книги всегда чинно стояли с краю, а потом пойдут низенькие, большие, оборванные кусочки; все туда же бывало нажмешь и всунешь, а то иначе не отпускались в сад, покуда не приведешь в порядок *die Bibliothek*. Другая полочка была занята вещами для употребления самого Карла Иваныча, были на ней 8 книг его собственных и приобретенных по случаю, частью во время его жительства у нас, частью еще у Спазиных, от которых он перешел к нам 8 лет тому назад. В числе книг этих была Библия, которую он читал по воскресеньям, Географический словарь, который он часто читал, и Анекдоты Фридриха Великого, которые он редко выпускал из рук. На этой же полочке стоял глобус, хлопушка для мух из сахарной бумаги, собственного изделия, à bas jour из наклеенной картинке модного журнала и еще некоторые вещи. На третьей стене висели 2 линейки, одна изрезанная, для нашего употребления, другая новенькая, *собственная* Карла Иваныча, которую он больше употреблял не столько для линейвания, как для поощрения к прилежанию. Рядом висела черная доска, на которой в первом детстве нашем Карл Иваныч отмечал большими крестами невоздержание в постели — за большой и кружками за маленький, а в то время, о котором я пишу, отмечались очень дурные поступки вообще крестами, а *шалостей* — кружками. Подле этой доски дверь в спальню, над которой Карл Иваныч мелом писал обыкновенно свой календарь. Таким образом: М. D. M.¹ и т.д. За дверью еще доска для

5 6 7

чертежей, печка, а за печкой уже известная стена с картами. В середине комнаты стол с оборванной черной клеенкой, из-под которой видны изрезанные края. Кругом жесткие деревянные табуреты без спинок. В этой комнате происходило наше образование. Всего памятной мне один угол между печкой и доской, в который Карл Иваныч имел дурную привычку ставить нас на колени. Как помню я заслонку этой печки, все ее качества и недостатки. Она неплотно затворялась; бывало, стоишь, стоишь, думаешь, Карл Иваныч забыл про меня, оглянись, а он сидит, читает Анекдоты Фридриха, и видно, что ему так покойно, что он думает, что и мне хорошо. Оглянешься, говоришь, и начнешь потихоньку закрывать и открывать заслонку или ковырять штукатурку с стены, но ежели по несчастью да отскочит (чего и не желаешь) большой кусок и с шумом упадет, один страх, право, хуже всякого наказания, оглянись, а Карл Иваныч все так же сидит и читает Фридриха. Смотришь, вдруг, о счастье, начинает подвигать табакерку и нюхать табак. Это хороший признак. Обык-

¹ Montag, Dienstag, Mittwoch — понедельник, вторник, среда (*нем.*)

новенно перед тем, как простить и прочесть нотацию, он нюхает табак.— Вид из окон классной был чудесный: прямо под крайним окном росла старая изогнутая рябина, за которой виднелась соломенная крыша старой бани, потом акациевые, липовые аллеи и речка, которая течет за садом. Высунувшись из окна, видна была внизу направо терраса, на которой сживали все обыкновенно до обеда. Бывало покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь, видишь черную голову татап и чью-нибудь спину и слышишь внизу говор; так делается грустно, досадно. Когда, думаешь, перестану я учиться, все бы сидел там, слушал бы, и, Бог знает, отчего, станет так грустно, что и не заметишь, как Карл Иванович злится и делает строгие замечания за ошибки. Из классной дверь вела в спальню. Как можно забыть и не любить время детства! Разве может возвратиться когда-нибудь эта чистота души, эта невинная, естественная беззаботность и эта возвышенная религиозно-сентиментальная настроенность, которыми я, не зная их цены, пользовался в детстве? — Дети — идеал совершенства, потому что они имеют две главные добродетели: невинную веселость и беспредельную потребность любви.— Бывало как заставит нас прочесть молитвы, уложит нас в чистенькие постели Карл Иванович, вспомнишь или о том, что татап тогда-то плакала, или про несчастную свою историю, которую рассказывал Карл Иванович, станешь жалеть и так полюбишь его, что увернешься в одеяльце и плачешь, плачешь. Господи, думаешь, дай ему счастье и позволь мне показать ему свою любовь.— Где те смелые молитвы, то чувство близости Богу? Где те чистые слезы умиления? Они не сохли на щеках моих. Прилетал ангел-хранитель, утирал их и навевал сладкие мечты нетронутому детскому воображению. Неужели жизнь так испортила меня, что навеки отошли от меня восторги и слезы эти? — С другой стороны площадки была первая комната нашего дядьки, в которой жил он, дядька, и лежали все наши вещи, как шкаф с платьями, колодки, вакса, самовар, охотничий снаряд. Николай Дмитрич был охотник и поэтому был приятелем с Карлом Ивановичем, который любил охоту и ходил часто, но убивал редко. Карла Ивановича была следующая комната. В ней была высокая постель, покрытая узорчатым ваточным одеялом, комод, стол с вещами: чернильница, вышитый кружочек, кошелек, зеркало и другой стол, рабочий, на котором Карл Иванович клеил коробочки (работа, которую он очень любил и гордился оной) и по именинам дарил в нашем семействе. Над постелью висели двое часов на кружках и образ Спасителя, шитый бисером, работы особы, которую Карл Иванович не называл, но про которую с улыбкой умалчивал.— В 7 1/2 мы встали, оделись и, по обыкновению, пошли с Карлом Ивановичем здороваться вниз. Батюшка с матушкой сидели за чаем. Матушка разливала чай, она была в каком-то сером капоте с маленьким вышитым воротничком и без чепца на голове; она не заметила нас тотчас же, видно было, что она чем-то очень озабочена; она пристально смот-

рела на кончик самовара и не поворачивала крана, из которого текла в чайник уже лишняя вода. Услышав громкое и обычное «с добрым утром» Карла Иваныча, она опомнилась и стала с нами здороваться. У нас в семействе целовались рука в руку. Как хороши были все движения матушки, как она умела придавать цену всякому своему движению. Поцеловавши мою руку, она взяла меня за голову, откинула назад, посмотрела и поцеловала еще раз в глаза.

— Хорошо ли спали дети, Карл Иваныч? Я у вас поздно вчера слышала, кто-то ходил, однако я посылала Машу, она мне сказала, что никого нет; а я слышала шаги именно в классной. Это вы, верно, Карл Иваныч?

Бедный Карл Иваныч! Как он сконфузился! Я же, о детская невинность, стал рассказывать, как я видел во сне, что будто Карл Иваныч с Марфой ночью взшел в классную, взял там забытую ермолку, заглянул к нам и пошел с ней в свою спальню. Карл Иваныч загорелся, готов уже был извиняться и признаться в грехе, как татап, начавшая с удовольствием слушать рассказ моего сна, вдруг удержала улыбку и спросила так естественно и так мило:

— Что, вы были у папа, дети? Володя, скажи папа, что, ежели он может, чтобы зашел ко мне, когда на гумно пойдет, да пошли ко мне Никиту, ежели он там.

В то время как татап это говорила с видимым намерением перебить Карла Иваныча речь, он, бедный, конфузился, а я неумолимо-вопрошающим взглядом смотрел на него. Матап встала, подошла к пяльцам, позвонила, велела убирать со стола, расположилась шить и сказала Карлу Иванычу с улыбкой:

— Нынче, хотя и суббота (она знала, что в табельные дни мы повторяли все зады, что составляло страшную, даже невозможную работу), но отпустите детей пораньше.

Карл Иваныч изъясил мычанием согласие, оглянувшись на нас, и мы пошли к папа.

Пройдя комнату, так называемую *официантскую*, мы взшли в кабинет папа. Он стоял подле письменного стола и, показывая на бумаги, запечатанные конверты, кучки денег, горячился и что-то толковал приказчику Никите Петрову, который на обычном своем месте, подле барометра, расставив ноги на приличное расстояние, заложив руки назад и приводя за спиною пальцы в движение тем быстрее, чем более горячился папа, спереди не выказывал ни малейшего знака беспокойства, но, напротив, выражением лица выказывал совершенное сознание своей правоты и вместе с тем подвластности. Папа, не отвечая даже на «с добрым утром» Карла Иваныча и не оглянувшись (что тогда мне казалось необыкновенно дерзким поступком), сказал только, сделав движение к нам рукою: «Сейчас, Карл Иваныч, погодите, дети» и продолжал к Никите: «Ах, Боже мой милостивый, что с тобой нынче, Никита», и папа дернулся плечом по привычке и слегка покраснел.

— Этот конверт со вложением 800 рублей...— Никита подвинул счета, кинул 800 и сказал: «Слушаю-с». Папа продолжал.— Для расходов по экономике, понимаешь? Деньги, которые получатся из Хабаровки, подашь княгине. Здешние доходы: за мельницу ты должен получить 400 рублей — так? Залоги должны поступить из казны 8000 — так? — Никита продолжал кидать на кости.— И вообще все доходы с Красного и с Малаховки, за вычетом уплаты в Совет, пришлешь ко мне, теперь же в конторе у нас 21000 — так? — Никита смешал счета и положил 21 тысячу.— Эти деньги, исключая 1000 рублей, которые ты употребишь на жалованье себе и дворовым людям, я возьму с собою. Этот же конверт ты знаешь?

Я посмотрел на надпись пакета. На нем было написано: «К.И.Келлеру».— Папа, должно заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, взял меня за плечо и показал мне направление прочь от стола, продолжая говорить. Я понял, что это и ласка и замечание, поцеловал эту руку и пошел к дверям террасы, у которых русачей повалкой, зажмурив глаза, на солнце лежала любимая борзая сука — Милка. Я, весьма сконфуженный, стал гладить ее, думая совсем о другом. Отчего нынче мы были допущены присутствовать при занятиях с Никитой папа, на которые я смотрел тогда, как на что-то гораздо выше занятий дипломатических кабинетов, как на занятия, недоступные никому, кроме папа и Никиты? Потом, что бы значил этот пакет Карлу Иванычу? — Папа сказал: «прислать ко мне», стало быть, он едет. Куда? Надолго ли?

Совещание же продолжалось. Со стороны папа с видимым нетерпением — он не любил говорить при чужих — он краснел и подергивался чаще и чаще. Никита же переменял, наконец, выражение тупоумия, с которым он считал нужным слушать приказания господина, как бы говоря: «Извольте говорить, язык без костей, но все это не так, а вот я вам скажу, как», — на выражение, обыкновенное русскому человеку, ума и сметливости и, смешав все на счетах, начал:

— Вы изволили говорить, в Совет заплатить с мельницы залогов и доходов. Мельник приходил, говорит: «Ради Бога повремените, помола не было, денег нет, несчастным человеком сделаете. Дайте поправиться, я, дескать, буду еще вам плательщиком». И в самом деле, сударь, ежели нам его снять, найдется ли еще по той цене. Насчет залогов секретарь Иван Афанасьевич говорил мне в среду, что, дескать, доложи Александру Михайловичу, покуда не получится квитанция в доставке, Журнал составить нельзя. Я, хотя без вашего приказания, приказал два воза муки насыпать, в город Ивану Афанасьевичу свести воскресеньем, да Беляева поблагодарить нужно. Бог даст, через месяц и охлопочу; а в Совет, сами изволите знать, срок 14. Новых доходов до установки цен трогать нельзя.

Видно было, что у Никиты запас аргументов еще был большой, но папа остановил его.

— Я распоряжений своих не переменю; но ежели в получении будет задержка, тогда возьмешь в Совет платить из Хабаровских денег. Я княгине сам скажу.

Никита только сказал: «слушаю-с», но в выражении голоса видно было торжество победы — ему только и нужно было.

Хабаровка было одно из имений матушки, и Никита любил, когда, случалось, в пользу своего имени папа брал из ее денег взаймы. Отец мой во всех случаях жизни был человек нерешительный. Он считал неблагородным пользоваться деньгами женщины, которая его любила; брать деньги даже взаймы ему нельзя было, потому что он был игрок; вместе с тем он часто пользовался ими. Теперь, например, предлагая этот расчет Никите, он знал, что тот не найдет другого способа устроить все, как взять из денег княгини. Ему нужно было, чтобы кто-нибудь выказал необходимость сделать это, и тогда уже совесть его была покойна. Займы же эти совершались очень часто и, разумеется, без платежа, потому что или отец играл, или клал деньги на хозяйство, что он, однако, надо отдать ему справедливость, всегда делал очень дельно.— Окончив дела с Никитой, папа обратился к нам.

— Ну, дети, в последний раз вам нынче учиться у Карла Ивановича,— нынче в ночь едем в Москву: уже вы большие ребята стали. Пора вам серьезно работать и утешать свою татап. Она теперь остается здесь, и одна для нее будет радость — это знать, что вы умны, учитесь хорошо, и вами довольны.

Хотя по приготовлениям, которые мы недели за две могли заметить, мы и догадывались, что должно случиться что-нибудь особенное, но эта неожиданная новость ошеломила нас. Володя, поцеловав руку папа и помолчав немного, опомнился и сдержанным голосом, за которым слышны были слезы, передал поручение татап. Вася разревелся. Я не двигался с места, мне стало очень, очень жалко оставить татап, вместе с тем мысль, что мы стали большие и что я могу утешить татап, приятно пощекотала мое тщеславие. «Ежели мы нынче едем,— подумал я,— стало быть, классов не будет, как я рад; а впрочем лучше бы век учиться, да не оставлять татап и не обижать бедного Карла Ивановича — он и так очень несчастлив».

Тысячи такого рода противоречащих мыслей мгновенно мелькали в моей расстроенной голове, и я стоял, не двигаясь, с большим вниманием наблюдая быстрое движение пальцев Никиты... Сказав еще несколько слов с Карлом Ивановичем о положении барометра и приказав Никите не кормить собак, чтобы после обеда на прощанье выехать послушать молодых гончих, папа против моего ожидания отослал нас учиться, утешив, однако, тем, что вечером обещался взять на охоту.— Грустные и расстроенные, пошли мы под предводительством еще более расстроенного Карла Ивановича, ожидавшего отставки,— учиться. Ученье шло плохо. Один Володя, который всегда был тверд, хотя и не повесничал по обыкновению и был бледен, учил-

ся, как и всегда: все старые диалоги повторил прекрасно и под диктовку сделал только одну ошибку. Вася был так расстроен, что от слез, которые беспрестанно набирались ему в глаза, не мог читать и от рыданий не мог говорить, под диктовку же от слез, которые, падая на его тетрадь, мешались с чернилами, наделал таких клякс, что ничего нельзя было разобрать, как будто он писал водою на оберточной бумаге.— Карл Иваныч, находясь сильно не в духе, поставил его в угол, твердил, что это упрямство, кукольная комедия, что надобно дать ему «шампанскую мушку» и требовал, чтобы он просил прощения, тогда как бедный мальчик от слез не мог выговорить слова.

Я, как и всегда, учился дурно и поэтому не обратил на себя особого внимания Карла Иваныча, который беспрестанно ходил в комнату дядьки, и мне слышно было, как он поверял ему все несправедливости нашего дома против него и как не умели ценить его услуг и привязанности.

Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что два лица, которых я люблю одинаково,— отец и Карл Иваныч — не поняли друг друга. Даже в моих руках весы правосудия покачнулись бы на сторону Карла Иваныча. В кабинете же, который был прямо под нашими окошками, мне слышны были голоса папа и татап, которые говорили громко, что редко случалось с татап. Теперь же она говорила с большим воодушевлением и, как я мог заметить, про нас.

Впоследствии я узнал от Мими, Любочкиной гувернантки, в чем состоял этот разговор.

Случалось мне слышать и читать, что по устройству дома, расположению комнат как-то можно узнавать характер хозяина. Этого я не знаю и не умею; но что я всегда замечал, так это отношения двух людей между собою по расположению комнат, ежели они оба живут в одном доме, в особенности в деревне.

Когда живут муж с женою в одном доме, можно заметить по расположению дома, кто из них первое лицо. По выражению одного милого остроумного французского писателя: *Dans l'amitié, comme dans l'amour, il y a deux côtés: l'un tend la joue et l'autre embrasse*¹. В отношениях отца с матерью первый подставлял щеку, а вторая целовала. У кого на половине было больше окошек, более веселые комнаты, из чьих окошек был лучше вид? Чья прислуга лучше была помещена? К кому вход был красивее и покойнее? От чьей половины были ближе фортепианная, бильярдная, выход в сад? На чьей половине больше сживали? Где принимались общие гости? Где был камин? На чью половину приносили кактус Грандифлору, когда старый садовник объявлял с приличною спокойною важностью, что завтра будет в цвету? К чьим окошкам подводили медведя и собирались дети и дворня? — Все эти преимущества были на половине папа. Я уверен, что

¹ в дружбе, как и в любви, две стороны: один подставляет щеку, другой — целует (фр.)

никогда ни папа и тем менее татап в голову не приходило подумать об этой несправедливости, даже сама татап, которая всему умела дать изящный колорит, беспрестанно придумывала новые улучшения на половине папа и никогда не думала о своей.— Отец мой деликатен, вежлив, когда того требуют приличия; но того внутреннего бессознательного чувства нежной деликатности, которая бы указала ему на это, он не имел. С другой женщиной он, бывши таким же, каким и был с татап, мог бы называться самым внимательным и нежным супругом; но с татап он был груб. Например, татап редко звала его к себе — она боялась, не помешать бы ему; он же всегда, когда ему было нужно видиться и ему нельзя было идти самому. Случалось, что он не сейчас приходил, когда татап звала его, и тогда она сама шла к нему в кабинет, боясь, не занят ли он или не огорчен ли. В этот день случилось так же — татап пришла сама к нему, только что мы ушли.

Мне кажется, что отец делал это сознательно, испытывая свою власть и приучая ее к ней. Матап была благородно горда и поэтому не тщеславна. Он же только тщеславен. Поэтому никогда ни в чем он не задевал ее гордости, а, напротив, уступал ей. Тщеславия же его она вовсе не замечала, и они жили мирно.

— Что, объявил ты детям, *mon cher*?¹ — спросила татап, усевшись на диван.

— Да, очень огорчены бедняжки.— И, усаживаясь опять перед столом, с которого Никита, наконец, понявши все приказания, взял конверты, бумаги и деньги и скромно вышел: — Ну теперь, слава Богу, все кончил, остается только самое трудное, уговорить тебя успокоиться и не грустить.

Матап только что хотела отвечать с грустным выражением лица: «Послушай, *Alexandre...*», он перебил ее.

— Да, *j'ai une prière à vous faire*², может, деньги с залогов получатся нескоро, так *j'ai ordonné à Никита de s'adresser à vous*³, пожалуйста, ты дай ему тогда для Совета, сколько нужно, из Хабаровских денег. *Dès qu'il recevra l'argent, dont je vous parle, il vous...*⁴

— Ах, пожалуйста перестань, это, ей-Богу, смешно, я у тебя всегда беру, не спрашивая; а ты беспрестанно говоришь о отдавать и взаймы. Разве я не знаю, сколько теперь будет стоить денег ехать в Москву, определить детей.

Папа имел дурную привычку перемешивать французские слова, такие слова, которые он очень хорошо мог сказать по-русски, с русскими, в особенности, когда он говорил вещи трудные. (Трудными словами я называю такие, которые не говорятя тотчас, как приходятя

¹ мой дорогой (*фр.*)

² у меня к тебе просьба (*фр.*)

³ я приказал Никите обратиться к тебе (*фр.*)

⁴ Как только он получит деньги, о которых я тебе говорю, он тебе (*фр.*)

в голову, а которые знаешь, что должен сказать, и перед которыми, чтобы выговорить их, происходит внутренняя борьба.)

Бедная татап продолжала:

— Мне с тобою нужно серьезно поговорить, Alexandre.

«Нужно серьезно поговорить» всегда говаривала татап, когда ее, бывало, не слушает отец и хочет заговорить, закидать словами, когда она обдумала вещь и не хочет спорить и разговаривать и хочет ясно высказать свою мысль, но это «серьезно поговорить» она говорила таким тоном, который значил: «хоть раз выслушай меня». Когда татап хотела и дело шло о вещи близкой ее сердцу, она говорила так ясно, так логически и вместе так женски красноречиво, что невозможно было противустоять ей. Одно только было оружие против ее доводов — это нежность: надо было расчувствовать ее, а она была так восприимчива и пылка и так сильно любила отца, что это было ему нетрудно, — тут же все забывалось. Настаивать в другой раз у ней не достало бы силы. — Отец бессознательно чувствовал свое преимущество и всегда употреблял его.

— Хотя ты уже решился и говоришь, что все кончено, выслушай меня, пожалуйста, в последний раз. Я обязана перед Богом думать о судьбе моих детей. Твои планы насчет детей — отдать их в коммерческое училище, послать их за границу, дать им капитал и сделать их коммерциантами большой руки — так ли? — мне не по душе, я откровенно скажу, я боюсь. Ты хочешь, чтобы они были тем, чего у нас в России нет. Знаю, знаю, ты будешь мне приводить примеры молодых людей, которых я много видела за границей, — там это очень хорошо, и у нас может быть, но со временем только. И сколько может быть им неудач на этой дороге — неудач таких, от которых им нельзя будет подняться. Не выдержи курса (татап так говорила), нашали молодой человек, у которого есть имя в университете, сколько у него есть дорог — военная служба, хозяйство, выборы, но тут — все пропало.

— Отчего же все пропало, *chere amie!*¹? Разве они не будут иметь капитала, с которым в нынешнем веке все можно сделать?

— Постой, дай мне тебе сказать. Ты говоришь: «капитал». Разве он есть у них?

— Все равно, что есть: он будет.

— Полно, Alexandre, ты меня заставляешь говорить вещи, о которых грустно вспоминать. Ты сам знаешь, что своим состоянием ты для них располагать не можешь, я знаю, что ты для них все готов сделать. Я тоже — их мать — и не могу им ничего оставить. Из доходов, ты говоришь, в несколько лет составитя небольшой капитал для них; но что это за состояние для 3 детей, которые не имеют ни

¹ дорогой друг (*фр.*)

имени, ни родных. Притом же разве можно отвечать, что я проживу так долго.

— Pourquoi parler de ces choses, chère amie, vous savez les raisons, pourquoy il est impossible de faire autrement¹.

Отец прошелся по комнате и сел опять на кресло. Несколько минут они молчали. Матан опять продолжала:

— Нет, я не вижу, отчего ты не возьмешь векселей от меня.

Отец опять встал и, покраснев и подергиваясь:

— Ne revenons pas sur ce sujet, ma chère. J'ai dit, — он сделал ударение на этом слове, — que c'est une chose, que je ne ferai jamais².

Матан тоже встала и, взяв его за руку, начала говорить с сильным жаром, что с ней редко бывало: видно было, что она решилась. Я воображаю, как она была хороша в эту минуту. Как покрылось легкой краской ее прекрасное лицо, как загорелись ее черные умные глаза. (Мими, которая подслушивала и подсматривала в щелку, говорила, что это один раз только она видела, что матан высказала все, что у нее было на сердце.)

— Я, 14 лет живя с тобой, совершенно счастлива, я не раскаиваюсь в том, что осудили бы другие люди, потому что это суждено было Богом. Ежели бы мне Бог позволил избрать новую жизнь, я только просила бы прожить сначала эти 14 лет, опять так же, без всякой перемены. Ежели я пожертвовала, как говорят, для тебя общественным мнением, то эта жертва только усиливает мою любовь и благодарность за твою любовь ко мне — я жертвы этой не чувствую. Я была совершенно счастлива, говорю я, но участь детей, за которую я боюсь, не знаю почему, тревожит меня. Я на детях ожидаю наказания за свою любовь, и это наказание будет для меня ужасно! Я могла всем жертвовать для своего счастья, когда на мне не лежала обязанность матери; но теперь я мать!

Ты говоришь про причины, которые не позволяют тебе сделать того, о чем я прошу тебя. Я знаю, что ты благороден; но ты дурно понимаешь благородство. Это эгоистическое дурное чувство, то чувство, которое мешает тебе взять от меня векселя. Ты и я, мы должны сделать это; иначе на нас ляжет обвинение детей и гнев Бога. Ты боишься молвы. Напрасно. Судьба детей твоих так важна, что я бы на твоём месте: забыл бы о молве и о ложных правилах чести, я бы всем прямо сказал, что я делаю, и пускай обвиняют, не понимают меня. Это дело так важно, так велико, что нельзя, я не понимаю, как думать об осуждении!

— Успокойся, мой друг, я сделаю все, что ты хочешь, как ни больно мне это будет.

¹ Зачем говорить обо всем этом, дорогой друг; ты знаешь основание, почему невозможно поступить иначе. (фр.)

² Дорогая, не будем вновь возвращаться к этому вопросу. Я сказал, что никогда этого не сделаю. (фр.)

— Сколько раз просила я тебя просить государя об узаконении наших детей; или сделать сделку с князем. Ты не соглашаешься на это. Я знаю отчего. Опять оттого, что ты благороден и деликатен; но ты не знаешь того чувства матери и того страха сделать несчастье детей, который заставляет меня говорить вещи, о которых больно вспоминать, о которых я не думала, но чувствую и о которых ты никогда не думал. Я твоя жена перед Богом; но тебе больно сказать перед всеми, что связь наша незаконная; ты боишься оскорбить меня, говоря и напоминая об этом. Ты ошибаешься — твое благородство ввело тебя в ошибку. Мне легче слышать, когда ты говоришь прямо, откровенно обо мне и моей страсти, чем когда ты говоришь так, что я вижу, ты боишься затронуть некоторые струны, как будто они постыдные. Я давно уже дала себе и Богу отчет в своем поступке, я ничего не боюсь! Проси государя узаконить детей, говори прямо обо мне — мне легче будет.— Да, Alexandre, теперь только, когда я начинаю предвидеть участь моих детей, я начинаю раскаиваться.

И мама заплакала, ей больно было, что она увлеклась и невольно оскорбила отца. Он тоже был растроган, слезы были у него на глазах.

— Как может раскаиваться ангел, прости меня? Приказывай мне, и я буду исполнять.

Это были только слова; но мама уже перешла от настроенности высокого материнского чувства к исключительному чувству любви к одному человеку.— Отец просил простить его, ежели он виноват; обещал исполнить все, ежели будет возможно; уверял в любви, просил забыть этот тяжелый для него разговор. Нарисовал ей блестящую картину нашей молодости в его духе, говорил, что переменить теперь этого невозможно; но что, бывши в Москве, он будет хлопотать о узаконении нас и, возвратившись, возьмет от нее вексель (он надеялся выиграть довольно, чтобы от себя дать нам достаточный капитал).— Мама не имела, как я говорил, силы возвратиться к прежнему разговору и ослабела под припадком нежности. Судьба наша осталась в руках отца, которого решение зависело от хорошей или дурной вены два вечера в клубе.

Долго еще сидели мы наверху, долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов. Карл Иванович был так взведен, что и решительно, кажется, никогда не хотел кончить несносного класса. Он беспрестанно сердился, сморкался, бегал к Николаю Дмитричу жаловаться на всех и на все и даже зажмуривал глаза, когда мы ему говорили наши уроки, что было всегда признаком очень дурным для нас.

Он даже сказал, что мы не дети, а медведи и что таких детей нет ни в Саксонии, где он жил у богатого отца, который был арендатором, ни у енерал-Спазин, у кого он и жил не так, как у нас — не как учитель, а как друг, в доказательство чего он приводил то, что генерал ничего не предпринимал, не посоветовавшись с ним. О причинах же, которые заставили его оставить счастливую жизнь в Саксонии и

у Спазина, он умалчивал. Впрочем, заключил он, когда совесть чиста, то нечего бояться и что он не ожидал благодарности никогда и знает очень хорошо, чьи это все штуки (Мими). Он желал счастья этим людям, ему же было все равно, и он полу-отчаянным, полу-грустным жестом показывал, что он многое бы мог сказать; но не стоит того.

Уже было без четверти час (а в час ровно садились обедать). Карл Иванович не одевался, и ни по чему решительно нельзя было заметить, что он скоро намерен кончить. Из буфета долетал уже до нас стук тарелок. Я слышал, как папа велел давать одеваться. Видел, как прошла дворовая женщина мыть тарелки. Слышал, как в столовой раздвигали стол и уставляли стулья. Скоро, скоро позовут нас, одно только может задержать. Я видел, как после разговору в кабинете тамап, Мими, Любочка и Юзенька пошли в сад и не ворочались. Но вот, кажется, виднеются их зонтики; нет, это Мими с девочками. Ах! да вон и тамап идет. Как она тихо идет и какая грустная, голубушка. Зачем она не едет с нами? А что, ежели мне сказать папа, что я ни за что без нее не поеду, обнять ее и сказать: «Умру, папа, а с тамап не разлучусь». Ведь, верно, он меня оставит, и тогда мы с тамап и с Любочкой будем всегда, всегда вместе жить, я дома буду учиться, буду писать братьям, а потом, когда вырасту большой, дам Карлу Ивановичу домик, он будет жить всегда в Красном, а я поеду служить и, когда буду генералом, женюсь на Юзеньке, привезу его родных из Саксонии, или нет, лучше я ему дам денег, и пускай он едет. Много мечтал я о генеральском чине, о Саксонии и о любви тамап, которая за то, что я с ней останусь и буду генералом, будет любить больше всех братьев. Какое гадкое эгоистическое чувство!

Ну, сейчас позовут обедать. Вот дворецкий Фока с салфеткой на руке идет в сад искать тамап и докладывает, что кушанье готово. Какой он смешной всегда в черном сертуке, в белом жилете и плеши-вый. Как это он не видит тамап, она по средней дорожке идет; а он бежит к оранжерее; ну, наконец, нашел, чуть-чуть не упал. А вот и нас идет звать. Слава Богу.— Я никак не мог угадать, однако, чьи были шаги, которые приближались по лестнице. Уже не говоря о братьях, я по походке мог узнавать всю прислугу. Мы все с любопытством смотрели на дверь, в которой, наконец, показалась совершенно незнакомая нам фигура. Это был человек огромного роста с длинными, но редкими полуседеыми волосами, с широким, изрытым оспою лицом, с редкой седой бородой, кривой на один глаз и одетый в платье, между подрясником и кафтаном, с палкой больше своего роста в руке.

— И-их, птички вы мои, птички!! Самка скучает, грустит, а птички выросли, в поле летят. Не видать ей птенцов своих, велики, умны стали; а коршун их заклюет, бедняжек. На могиле камень, на сердце свинец. Жалко! Ох, больно,— и он стал плакать, утирая действительно падавшие слезы рукавом подрясника. Голос его был груб и хрипл,

речь бессмысленна и несвязна; но интонации были так трогательны и безобразное лицо его принимало такое откровенно печальное выражение, что нельзя было смотреть на него и слушать без участия. Это был юродивый Гриша, который хаживал еще к бабушке (маменькиной матери) в Петербурге и очень любил ее, когда она была еще малюткой и, отыскав ее здесь, пришел полюбоваться птенцами ее, так он поэтически называл нас, детей.

— А ты дурак,— вдруг сказал он, обращаясь к Карлу Иванычу, который в это время одевался и надевал помоча,— хоть ты на себя ленты надевай, а все ты дурак — ты их не любишь.

Карл Иваныч был в скверном положении: сердиться на сумасшедшего ему было совестно, сносить его глупые слова ему тоже не хотелось.

— Das fehlte noch¹, подите вниз, я вас не желаю видеть, не ваше дело, любит ли, не любит.— Он говаривал всегда *вы* и по-русски, когда сердился, и говорил очень дурно; но я, приводя его речь, не коверкаю слов, как он коверкал, потому что такого рода коверканье ничего мне не напоминает, кроме плоских рассказов про немцев, которые беспрестанно все рассказывают, и все слушают с стыдом за тех, кто рассказывает.— Наконец давно желанный и пунктуальный Фока пришел и к нам и объявил, что кушанье готово, и мы пошли. Гриша, стуча костылем и продолжая говорить разную нелепицу, пошел за нами. В столовой для него был накрыт особый стол, по его неопрятности и потому, что он ел постное,— все это по иждивению *мапан*.— Все уже собрались в гостиной. *Матан* с папа ходили рука об руку по гостиной. Мими важно сидела на одном из кресел, симметрично, под прямым углом, примыкавшем к дивану, подле нее с одной стороны сидела Любочка, которая, как только мы взошли, бросилась целоваться с нами, с другой Юзенька, которой тоже очень хотелось вскочить и подбежать к нам, но это было несогласно с этикетом Мими. Мы должны были подойти сначала к Мими и сказать «*bonjour, Mimi*»² и потом... нет, решительно не помню, как я здорововался с Юзой, целовал или нет? Не помню. Помню только то, что я при Мими никогда от души не говорил с этой чудесной, белокуренькой, беленькой, чистенькой девочкой Юзой. Несносная Мими беспрестанно приставала, оглядываясь на папа: «*Parlez donc français*»³. А тут-то, как на зло, так и хотелось болтать по-русски. Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь поговорить по душе, ни одного французского слова в голову нейдет; а ежели хочешь блеснуть, тогда другое дело. Я тогда только выучился говорить хорошо, т.е. говорить как на природном языке, а то ведь прежде только переводил русские мысли по-французски, когда понял, что

¹ Этого еще не доставало (*нем.*)

² «здравствуйте, Мими» (*фр.*)

³ «Говорите же по-французски» (*фр.*)

это считается достоинством — хорошо говорить, а не смотрел на это как на придирку злой Мими, как на фразу, которая испортила много детской моей крови: «Mangez donc du pain»¹ (за обедом), «опять хлеба не ешь» и т.п. Отчего девочки раньше лучше говорят? Оттого, что у них раньше является тщеславие.— Пошли в столовую, большие впереди, так что мы, дети, оставшись сзади, успели перекинуть между собою, мальчики и девочки, несколько приятных слов, приятных тем, что нельзя было их сказать при всех: «После обеда на охоту папа едет».— «Вас берут?» — «Да — верхом, а вас?» — «Не знаю. Попроси мамашу».— «Нельзя».— «Постараемся».

За обедом между папа и мамам завязался очень интересный разговор насчет юродивого Гриши, который из-за своего столика продолжал твердить: «Птички от матки летят, matka плачет, не видать ей больше птенцов. Лети, голубь, в небо! На могиле камень, на сердце свинец» и т.д., прерывая свои слова всхлипываниями и рыданиями, которые, очень понятно, усиливали расстройство нервов мамам, которая уважала в душе Гришу, да и вообще имела слабость к странникам, юродивым и, хотя не признавалась, верила в способность предсказывать некоторых.

— Ах, да, я хотела пожаловаться тебе, Alexandre,— сказала она, подавая ему тарелку с супом (она сама разливала),— на твоего охотника... Ах, Боже мой, как его зовут?.. помнишь, про которого я всегда говорила, что он страшный...

— Прохора?

— Да.

— Что он сделал? Ты так редко бываешь недовольна людьми, что я знаю все случаи, в которые может случиться, что ты жалуешься. Первое — или он подошел разговаривать к детям. Ты этого не любишь, а они без памяти рады и горды с охотником говорить. Не правда ли, дети? — Мы улыбались.— Или жена его приходила жаловаться, или он при тебе ударил больно собаку: вот три главные случая. Не правда ли?

Мамам с улыбкой, которая употребляется тогда, когда смеются над вашими добрыми качествами, отвечала, что нет, и рассказала отцу с большим прискорбием, как бедного Гришу чуть не съели собаки, когда он проходил по дворне, и решительно, ежели бы не его большая палка, его так-таки и загрызли собаки; а все виноват этот злой Прохор, который нарочно притравливал их. Гриша подтверждал эту речь указаниями на изорванные полы подрясника и твердил отцу: «ты его больно не бей, он дурак, а то и совсем не бей, грех. Бог простит. Дни не такие».— Разговор начался следующий и по-французски.

¹ «Ешьте же хлеб» (фр.)

Папа. Я откровенно тебе говорю всегда и буду говорить, что я вообще этих господ не люблю. Ты можешь любить их и верить им; а по-моему все или большая часть — лентяи, лицемеры, корыстолюбивы и, главное, никого не любят и никакой благодарности ни к кому и ни за что. Что меня больше всего сердит, это их смелость и самонадеянность, которые они скрывают под личиной простоты и грубости. Все они плуты.

Матап. Да почему это так думаешь? есть исключения...

Папа. Почему? Например, сейчас, как он говорил ловко, просил меня, чтобы я не наказывал и не бил бы больно, как он говорит, Прохора, как будто уже я намерен был его наказывать. Я в этом вижу только дерзкую хитрость — выставить себя добреньким; другие могут видеть в этом христианское милосердие. Отчего в этих людях никогда не найдешь откровенности? Ни один не расскажет тебе всей своей жизни; а они очень ловко умеют как будто скрывать то, чего нет. Например, М.П. (странница, которая жила у нас) своими недоконченными фразами, намеками умела всех уверить, что она несчастный отросток очень знатного рода, тогда как она просто крестьянка и бывшая любовница какого-то тверского помещика. Они даже как будто не хотят показывать свой ум и образование, которых и нет, умеют уверить, что они и умны и образованны. Хотя я и не стану их травить собаками и побраню Прохора, но, ей-Богу, они того стоят. (Папа ужасно разгорячился. Матап с улыбкой попросила его передать горчицу, он взял ее в руку и, не подавая ее матап, которая протянула уже руку, с этим орудием в руке продолжал.)

— Нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные вдаются им в обман. Все они имеют претензию предсказывать, мелют вздор и так много, что с добрым желанием можно разобрать во всей этой галиматье что-нибудь и похожее на предсказание.

Матап, видно, не хотелось спорить как о предмете, о котором свое особенное твердое мнение, и она с улыбкой продолжала просить горчицы; но папа и слышать не хотел.

— Нет,— сказал он, опять отодвигая руку с горчицей.— Нет, они только на то хороши, чтобы своими глупыми вздохами еще больше расстроивать женщин и без того с слабыми нервами. Прекрасно делают, что полиция взялась за этих пророков — их надо учить.— Он, наконец, подал горчицу и замолчал; но матап не вытерпела. Она была совсем другого об этом мнения.

— Послушай, Alexandre, это люди, которых клеветать грех,— эти люди все преданы Богу и несчастны или по крайней мере выдают себя за таких, как ты говоришь. Не спорю, во всем есть злоупотребления.— Но ежели им делаешь добро с участием, добро, которое нам ничего не стоит, то зато они за нас молют Бога, и пускай 9 из 10 обманщики, одного святого человека молитва за нас и то много может искупить наши наказания. Ты мне говоришь пример М.П. Что мне за дело, что они были прежде? И всегда ли их жизнь была так чиста,

какою кажется теперь; поверь, это звание юродивого не так привлекательно и выгодно, чтобы из честолюбия или денег человек бы решился всю жизнь посвятить себя этой тяжелой жизни. Есть три причины, которые могут заставить их выбрать эту карьеру: раскаяние, несчастье и призвание, все причины прекрасные. В призвании нельзя не верить. Сколько есть из них, которые с детства, сами не зная почему, выбрали эту тяжелую жизнь. Согласись тоже, что они просто жалки как люди. Как не желать, сколько можешь, облегчить участь таких людей, которые, вот как Гриша, 20 лет скитаются без пристанища, питаюсь самой суровой пищей, зиму и лето в одном этом подрыснике. И сверх того на нем,— сказала она, указав на Гришу,— закованы вериги в 1 1/2 пуда. Я еще маленькая подслушала ночью, как он молился, и видела эти вериги, которые и теперь на нем. Другие зимой ходят босиком в трескучие морозы, и мало ли есть таких добровольных мучеников. Меня всегда они интересовали и интересуют; хотя, правда, под этим видом есть обманщики; но я, слава Богу, никогда таких не встречала. Ты смеешься над предсказаниями, но я сама видела примеры удивительные этого вдохновения, не дальше как на моем покойном отце, которому странник Кирюша, день в день, час в час, предсказал его смерть; да не только его смерть, но и всю жизнь матушки. Я тебе рассказывала это?

— Да, я знаю. Но это ничего не доказывает, случай,— отвечал папа.

— Как не верить в предсказания, когда все и всегда верили в это. Невольное чувство заставляет человека желать узнать будущее, и должна быть возможность удовлетворить этому чувству. Я сколько ни слышала про Каллиостро, про m-le Normand, которую я сама видела в Париже, я не могу верить в силу этих предсказаний, но что есть этот дар у этих людей, у юродивых, сумасшедших, которых ты презираешь, это я очень не то что понимаю, а чувствую. Человек, который беспрестанно убивает не только все свои страсти, но даже простые желания, который весь предался Богу и изгоняет из души все помышления, которые не достойны Его, который не думает о тех мелочах жизни, которые поглощают наше существование, так очищает свою душу и возвышает, что в ней открывается с ясностью этот дар предвидения, который мы все имеем, но не можем употреблять, потому что мы беспрестанно заняты чем-нибудь плотским, что мешает этой способности выразиться. Один юродивый, который точно предсказывал, мне рассказывал, что он никогда не мог отвечать на вопросы, которые ему делали, но что когда он смотрел пристально на какое-нибудь лицо, ему вдруг приходили слова, которые он понимал только тогда, когда сам слышал их, и он говорил, сам не зная что и почему.

Матап много спорила в этом духе с отцом, но он не поддался и окончил спор какой-то шуточкой и принялся делать салат. Разговор этот сначала занял меня. Я слушал и понимал, но потом, замечая, что

обед клонится к концу, я перестал слушать, тем более что Юза беспрестанно мигала мне, указывая на татап и Мими, что значило, что обед кончится, а такого удобного времени, чтобы все были вместе, не скоро найдешь, чтобы просить девочек на охоту.

Я толкнул Володю, и он решился.— Всегда как кажется страшно просить, даже через другого, не знаешь, на какой половинке стула сидеть, да как попросишь и позволят, кажется, отчего давно не просил этого; а не позволят, но ежели уже начал, какая смелость и откуда возьмется, даже решаешься спорить и доказывать, что можно и нужно позволить. Я в этом отношении остался до сих пор ребенком. Да что я говорю в этом отношении, во всех отношениях слабости остались те же, разница только в том, что выказываются они на других желаниях.— Во время пирожного был позван Никита и отданы приказания насчет собак, линейки для татап с девочками и насчет верховых лошадей для нас, все с величайшей подробностью, называя каждую лошадь по имени. Для Володи не было лошади его обыкновенной, и папа велел оседлать охотничью. Но это слово «охотничья лошадь» как-то особенно звучало в ушах татап, ей казалось, что охотничья лошадь должна непременно быть зверем и бешено понести и убить Володю. Так, несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что он любит, когда лошадь несет, бедняжка татап продолжала говорить, что она все гулянье не будет покойна.— Наконец обед кончился, большие пошли пить кофей в кабинет папа, а мы, дети, побежали шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими листьями, в сад. Там начались разговоры о том, как стыдно, Васенька боится верхом ездить, как стыдно, что Любочка старше и тише бегаёт, чем Юза, о том, что делали и говорили большие за столом и как бы интересно посмотреть вериги Гриши и как он молится. Ежели он рано уйдет спать на мужской верх, то решено было перед ужином идти смотреть. Долго толковали мы и были только оторваны от этих занятий стуком подъезжавшей линейки, на которой у всякой рессоры сидело по дворовому мальчику, криком охотников на собак, их отрывистым взвизгиваньем и чудесным видом кучера Парфена, который ехал на назначенной Володе лошади и вел в поводу наших. Все бросились к забору, от которого видны были все эти прелести, а оттуда одеваться на верх, и одеваться так, чтобы как можно более походило на охотников. Одно из главных к этому средств было всучивание панталон в сапоги. За что мы и принялись с большим нетерпением кончить и бежать наслаждаться у крыльца видом собак, запахом лошадей и разговором с охотниками.

За что охота с собаками, это изящное, завлекательное и невинное занятие, находится в презрении и посрамлении как у городских, так и у деревенских жителей? — «Собак гонять», «зайцев гонять». — Да что же тут дурного? Кому это приносит вред? — Разоряются, убиваются, портят людей. Все неправда. Охота стоит совсем недорого, и

ежели бы те помещики, которые имеют охоту, во все время, которое она продолжается, ездили бы жить в столицы, чтобы не умереть от скуки, они прожили бы втрое более. Хорошие охотники никогда не скачут, как безумные, и не убиваются. Насчет людей: пример — наши люди. Лучшие люди во всех отношениях были охотники. На охоте, как и в походах, люди формируются. А что же и хорошего-то в охоте? А вот что.

День был жаркий, белые тучки с утра показались на горизонте, потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, кое-где видна была и черная тучка или сторона тучки. Около полдня беспрестанно закрывалось и опять открывалось солнце, и пахнет в это время посвежее ветерок. Славно. К вечеру, сколько ни ходили по небу тучи, не суждено, видно, им было собраться в грозовую тучу и помешать в последний раз нашему удовольствию. Они, попугав нас немного, опять стали расходиться. Одна только на востоке была большая длинная туча, другие же на самом верху превратились в белую чешую, другие подлиннели, побелели и все бежали на горизонт.

Дождя нечего было бояться. Даже Карл Иваныч, который всегда знал, куда какая туча пойдет, объявил, что будет погода хорошая. Фока сбежал очень ловко и скоро, несмотря на преклонные лета, крикнул «подавай» и стал твердо по середине подъезда, между тем местом, куда должен был кучер Иван подкатить линейку, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности подсаживать. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться, раскрыли зонтики и отправились. (Линейке нужен был объезд, а охота пойдет прямо.) Мы в страшном нетерпении попрыгали на лошадях и с помощью хлыстов делали по двору разные эволюции, объезжая лежащих по двору собак, чтобы избежать всегдашнего выговора охотников: «Собаку, сударь, не извольте раздавить». — Володя влез на *охотничью* лошадь, несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания. На лошади же он был очень хорош: точно большой! Особенно обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно, особенно завидно потому, что я на своем стриженном клепере, сколько я мог судить по тени, далеко не имел такого прекрасного вида. Вот послышались на лестнице шаги папа. Выжлятник подогнал отрыскавших гончих. Борзятники подозревали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к крыльцу. Собаки своры папа, которые прежде лежали и стояли в разных живописных позах около его лошади, бросились к нему. Он вышел на крыльцо, за ним в бисерном ошейнике весело выбежала Милка, которая, выходя, всегда здорововалась со всеми собаками: на некоторых прыгала, с другими поиграла. Она точно барыня была перед другими собаками.

— Как ты думаешь, Турок,— спросил папа, садясь на лошадь, у доезжачего,— куда нам нынче ехать?

Папа всякий раз делал этот вопрос, отправляясь на охоту, и всякий раз, как и теперь, получал тот же ответ:

— Куда вам будет угодно.

— Нет, да ты, как ты думаешь? Ежели нам в дубки ехать, так с одной стороны там еще хлеб не снят, а зато уж верно там найдем. В Калиновом же Бог знает, будет ли что-нибудь.

— В Калиновом-то оно так-с, да вчера вечер там Ермолай лисицу видел, как в лес за дровами ходил, говорит, матерая, как волк точно.

— Ну, так поедем в Калиновый, а оттуда дуброву и эти мелочи захватим.

— Как вам будет угодно-с.

Решено было в Калиновый, и мы поехали. Турок открывал шестивие, за ним пестрым кружком бежали сомкнутые гончие. Жалко было смотреть, какая участь постигала ту неосторожную, которой вздумывалось отстать: ей надо было за шею перетянуть свою подружку и, сверх того, один из выжлятников, исполняя свою обязанность, не пропустил этого случая, чтобы ударить ее арапником, крикнув «в кучку».

Разровнялись. По сторонам ехали борзятники на славных низовых горбоносых, с хорошим ходом лошадях,— все красивые люди, со всеми охотничьими доспехами. Редко можно видеть красивее группу, составленную из человека и животных, как охотника на лошади, за которым рыщут борзые собаки, особенно когда он им бросает прикурку. Очень красиво!

Подъехав к Калиновому, мы нашли линейку уже там и, сверх всякого ожидания, еще тележку в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик и держал что-то в салфетке между ног; с одной стороны торчал самовар, и еще были кое-какие привлекательные узелки. Нельзя было ошибиться — это был сюрприз: чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. Радость наша была неопишанная.— Чай в чайной не доставлял никакого удовольствия; из буфета — очень малое; на балконе было очень приятно; но на воздухе, там, где никогда не пьют чай, где-нибудь под березой — это был верх наслаждения.

Турок слез с лошади и, выслушав подробное наставление с величайшим вниманием, как ровняться и куда выходить, наставление, которое, впрочем, ему было совсем не нужно — он всегда делал по-своему,— разомкнул собак, сел опять на лошадь и, потихоньку по-свистывая, скрылся за молодыми березками.

Разомкнутые гончие прежде всего выразили маханьями хвостов свое удовольствие, потом встряхнулись, сделали все это и еще больше того около неизвестно почему избранных ими кустиков, что делают солдаты, когда им говорят «оправься», и принялись серьезно за дело. Нам дали по собаке, которую мы должны были держать на платке, слезши с лошади, и разослали по разным местам. Меня послали довольно далеко, я бросился опретью туда. То собака меня

тащила, то упиралась, я торопился и диким голосом кричал у... у... Наконец, запыхавшись, добежал и уселся в траве. Настала минута ожидания. — Разумеется, воображение мое ушло далеко вперед действительности, уже я пятого зайца сам затравливал и даже одну лисицу, как отозвалась одна гончая. Тут решительно я пришел в неописанное волнение, глаза выкатились у меня изо лбу, пот катился градом, и капли его хотя и щекотали меня, сбегая по подбородку, я не вытирал их, я не переводил дыхания и с бессмысленной улыбкой смотрел то на лес, то на собаку. Мне казалось, что решается моя участь и что минуты решительнее этой в жизни быть не может. Но положение это было слишком неестественно, оно не могло продолжаться. Гончие всё гоняли; зайца не было, я стал смотреть по сторонам. Подле самого меня муравей тащил огромную соломинку, и хотя она цеплялась беспрестанно, он продолжал тащить, поворачиваясь с боку на бок. Его постоянство и сила обратили мое особое внимание, тут еще на беду мою прилетела бабочка. В ней ничего не было особенного — желтая с белым, — но она так мило покружилась над длинным белым цветочком, потом уселась и только изредка взмахивала желтыми крыльшками, наконец совсем замерла, видно было, что ей приятно, очень приятно: солнушко ее пригрело. В это время Жиран рванулся. Не знаю, что сделалось с бабочкой, я оглянулся и увидел... на опушке, одно ухо приложил, другое поднял, перепрыгивает заяц. Все мои планы *выдержать* исчезли, я спустил собаку и закричал голосом, неистовое выражение которого нельзя передать.

Только что я сделал это, в ту же минуту я стал раскаиваться. Заяц присел, сделал прыжок, и уж больше я его не видал. Но каков был мой стыд, когда за гончими, которые в голос вывели на опушку, выехал Турок. Он видел мое приключение и только сказал: «Ах, барин». Мне бы было легче, ежели бы он мне отрезал ноги, как зайцу, и повесил бы меня на седло, чем выслушать только эти два слова. Но как они были сказаны!

(У меня есть тетушка, довольно дальняя; но я привык ее звать тетушкой. У этой тетушки есть брат, у брата есть охота. Тетушка особа весьма степенная, пожилых лет, у нее свой дом, своя воспитанница, и круг ее знакомых состоит из лиц самых почетных в губернии. Все архиереи, которые были в продолжение 20 лет, что она живет в городе, бывали у нее, и она пользовалась расположением преосвященных. Одним словом, тетушка — особа. Уезжая из деревни брата своего, куда она приезжала на короткое время, в ноябре месяце, брат ее предложил ей проводить ее верхом несколько верст (была пороша, самый Михайлов день, 8 ноября). Только что выехали за околицу, братец ее заметил малик, который пошел к гумнам. Он поехал съезжать, рассчитывая догнать сестрицу. Заяц вскочил, охотники стали травить. Заяц покосил на дорогу. Около дороги были сугробы. Собаки проваливались, русак оттянул, выбрался на дорожку и был таков. — Надо заметить, что это дело происходило возле самого возка тетушки. Но

каково положение братца, когда он увидел следующую картину. Тетушка, подобрав салоп, была по колено в снегу. Старый лакей не мог догнать ее, она падала от усталости. Ноги ее в белых мохнатых сапогах отказывались двигаться. Кучер смотрел на нее в тупом изумлении, но что хуже всего, тетушка в эту минуту (после она раскаивалась) не чувствовала всей непристойности своего положения, а продолжала твердить: «Что ж, братец, я бы и рада, но сил нет. Ушел?» — спрашивала она.

Второй случай. В нашем губернском городе жил купец Подъемщиков. Он всегда вел дела с отцом, и отец любил его за честность и аккуратность. Об охоте же он отзывался всегда с презрением. Уговорил его раз отец ехать на охоту. После некоторых безуспешных отговорок он влез в длиннополом купеческом кафтане и с седенькой бородкой на охотничью лошадь и ездил все поле с нами. Поле было неудачно. Ироническая и презрительная полуулыбка не сходила с его лица. Пришлось, наконец, у самых ног его лошади затравить беляка. (Травля беляка красивее травли русачей, хотя и не так легка, беляк беспрестанно увиливается.) Я следил за ним во время всей травли, желая знать, какое на него произведет впечатление. Он скакал как сумасшедший. Я беспрестанно ждал, что или упадет лошадь, или он раздавит собак. Сам же он едва сидел на седле. Упав на переднюю луку, он помирал со смеху. Когда затравили беляка, он не слез, а свалился с лошади и, упав на землю, продолжал смеяться, так что уже не слышно было звуков, а по конвульсиям можно было заключить, что он смеется. Насилу серьезные лица охотников его успокоили.)

Долго стоял я в немом отчаянии на том же месте, не звал даже собаки и только твердил с самыми выразительными жестами: «Ах, какая досада». Я слышал, как погнались дальше гончие, как заатукали на другой стороне леса, как отбили зайца и как вызывал доезжачий собак, но я все не трогался с места.

Охота кончилась. На ковре, в тени, сидели все кружком. Буфетчик Василий стоял на коленях и из коробка вынимал завернутые в листья груши и персики. Так было жарко и хотелось есть, что, кажется, проглотил бы весь коробок с Василием, а надо было дожидаться, пока Василий выложит все на тарелки, расставит эти тарелки симметрично на ковре и когда после больших раздадут нам по одной штучке. Как ни долго ждали мы этого, однако дождались и тотчас побежали устраивать беседочку. Любочка нашла необыкновенной величины зеленого червяка, все мы припали, головами вместе, к листочку, на котором сорвала его она и с ужасом бросила на землю. Юза решила поднять его, подставив ему сухую травку на дороге, и, чтобы ловчее сделать это, она сделала движение плечом, за которое всегда сердилась Мими, говоря, *que c'est un geste du femme du chambre*¹. Платье с

¹ что это жест горничной (фр.)

открытой шеей спускается ниже плеча, и, подымая и потом опуская как-то плечо, я часто видал, что девочки опять приводят платье на настоящее место. Юза, стоя на коленях и нагнувшись над червяком, сделала это самое движение. Я смотрел ей через плечо. В это самое время ветер поднял косыночку с ее беленькой, как снег, шеи. Я посмотрел на это голое плечико, которое было от моих губ на вершок, и припал к нему губами так сильно и долго, что, ежели бы Юза не отстранилась, я никогда бы не перестал. Юза покраснела и ничего не сказала. Володя презрительно сказал: «что за нежности?» и продолжал заниматься пресмыкающимся. У меня были слезы на глазах. Это было первое проявление сладострастия.

Охота и гулянье больше ничем не были замечательны. Нечто тем, что тут татап, найдя удобную веселую минуту, упростила папа отложить расставание до завтрашнего утра, после раннего завтрака.

Назад мы поехали другим порядком: не с охотой, а с линейкой. Мы один перед другим гарцовали около линейки. Я по тени казался довольно удовлетворительным, но меня приводило в смущение другое обстоятельство.

Я хотел прельстить всех сидевших в линейке своей ездой, пролетев мимо них. Я сзади начинал хлыстом разгонять лошадь, поровнявшись с линейкой, принимал самое непринужденное и грациозное положение, поводя правой рукой по поводьям от левой руки до конца, как вдруг, поровнявшись с упряжными лошадьми, моя лошадь, несмотря на все мое старанье, останавливалась. И это несколько раз. Ужасно досадно.

Приехали домой, пили чай, играли. Явился Гриша. Наконец уселись все с татап, чтобы провести последний вечер с ней — это была мысль старшего, Володи. Папа не было, его голос слышен был из кабинета — он занимался с Никитой. Гриша продолжал говорить притчами; очень легко было перевести его слова так, что он предсказывал татап смерть и то, что она с нами больше не увидится. Он плакал в нашем доме. Это одно, по мнению принимавших его за пророка, значило, что нашему дому предстоит несчастье. Он встал и стал прощаться. Мы переглянулись и вышли потихоньку, но только что наших шагов не могло быть слышно, мы опрометью бросились на верх и засели в темный чулан, из которого видно нам будет, как будет молиться Гриша.

Никто из нас друг другу не признавался, но всем нам было страшно в темноте, и мы все жались друг к другу. Гриша с своей палкой и свечкой в руке взошел в комнату. Мы не переводили дыхания. Гриша беспрестанно твердил «Господи, помилуй» и «Господи, Иисусе Христе» и «Мати, пресвятая Богородица» с разными интонациями и выговаривая эти слова так, как говорят те, которые их часто произносят. — Он с молитвой поставил свой посох в угол, осмотрел постель и стал раздеваться. Снял изорванный нанковый подрясник, сложил его, снял сапоги, подвертки, все это тщательно и медленно. Выраже-

ние лица его было совсем другое, чем обыкновенно. Вместо всегдашнего выражения торопливости, беспокойства и тупоумия, в эту минуту он был спокоен, важен и умно задумчив. Оставшись в одном белье, которое совсем не было бело, он сел на кровать видно с усилием, потому что он в это время сморщился, оторвал под рубашкой от тела вериги. Онибрякнули.— Посидев немного, он встал с молитвой, поднял свечку в уровень с кивотом, в котором стояли несколько икон, перекрестился на них и повернул свечку огнем вниз. Она с треском потухла.— Прямо в оба окошка, обращенные на лес, ударяла полная луна.

Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена лучами месяца, с другой длинную тень падала по полу, стене и доставала до потолка. Он стоял, сложив руки на груди, опустив голову и беспрестанно прерывисто вздыхая. Наконец он с трудом опустился на колени и начал молиться, сначала тихо ударяя только на некоторые слова, потом видно было, что он все более и более воодушевлялся. Он перестал уже твердить молитвы известные, которых он много прочел. Он говорил свои слова простые, даже нескладные; хотя он старался выразиться по-славянски, чтобы было похоже на молитву. Он молился о себе, чтобы Бог простил его, молился о матери, о нас, твердил: «Боже, прости врагам моим», беспрестанно кряхтя, припадал к земле лбом, бил о пол и опять подымался, несмотря на вериги, которые издавали звуки железа. Долго, долго находился он в этом положении религиозного экстаза, импровизируя молитвы, и слова его были грубы, но трогательны. То твердил он: «Господи, помилуй меня» несколько раз сряду и всякий раз с большим и большим воодушевлением. Он говорил: «Прости меня», «Научи мя, что творить» с таким выражением, как будто он говорил с кем-нибудь. Его вера была так сильна, что он чувствовал, что Бог слышит его молитву. Любовь его была так сильна и тепла, что он бессознательно настраивал голос на самое жалостливое выражение, как будто Бог слушал его слова.— Раскаяние, преданность воле Божией и сознание своего ничтожества так сильны, что он замолкал, не знал, что говорить, и лежал, приложив лоб к земле, только изредка вздыхая.— Описывая впечатления, которые произвела на меня в детстве молитва Гриши, когда все хорошее сильно отзывается в еще неиспорченной душе нашей, мне пришли на мысль некоторые несправедливые понятия, которые я и сам разделял когда-то, о бесполезности наружных знаков благоговения при молитве. Большая часть людей нынешнего века, исключая тех, которые вам скажут откровенно (а это я ценю), что они ни во что не верят, состоит из людей, которые вам ответят, ежели вы их спросите, молятся ли они, что они не полагают молитву в том, чтобы в известные часы становиться в позицию перед дурно намалеванной доской и читать заученные слова; но что они молятся всегда и везде, где придут к ним мысли благоговения.— Не верьте им, это люди, которые не имеют ничего святого, и эти мысли благогове-

ния никогда им не приходят. Говорят они, что их возбуждает к молитве величие природы. Ежели бы это было так, то они всегда бы должны молиться, потому что есть ли такая природа, которая бы не была велика? Чтение известных, условленных молитв и все признаки благоговения, которые приняты у нас при молитве, невольно возбуждают мысли религиозные. Во-первых, потому, что, читая молитвы, заученные вами в детстве, переносят вас к этому времени, времени единственному, в котором вы чувствовали чистоту души и не сомневались в том, что Бог слышит вашу молитву. Простота есть величие. Молитва есть просьба. Мне скажут — раскаяние, преданность воле Божьей есть тоже молитва. Раскаяние есть просьба простить грехи наши, преданность воле Божьей есть просьба принять нас в свою волю. Всякая молитва есть просьба.

Просить Бога от души нельзя иначе, как так же, как мы просим человека: языком самым простым, доступным и понятным для того человека, которого просим. Искать таких молитв и выражения мыслей, которые бы были достойны Бога, есть верх гордости человеческого ума. Некоторые люди говорят, что, удивляясь творению Бога, изучая творчество, я мыслями переношусь к Богу и хвалю его. Какая же это хвала, ежели ты ее не можешь выразить? Моли Бога, как ты молишь человека. Эта молитва будет доступна для самого тебя, ты дашь себе отчет в том, о чем ты просишь; а для Бога доступны всякие слова.— Я вижу гораздо больше величия в словах одной жалкой девочки 10 лет, которая умирала от водяной и смерть которой я видел, в страшных страданиях и, не переставая молиться, говорила: «Божия мать, избави меня, помилуй меня. *Да помилуй меня, да прости же меня*» (это *да* есть верх величия и простоты в молитве. Эта девочка чувствовала, что Бог слышит ее молитву), чем в словах людей, которые говорят, что это оскорбление Божеству, ежели допускать, что есть молитвы святых, которые могут искупить мои грехи, есть иконы, которые имеют силу исцелить, а не Бог, которого творения я вижу во всем от мириад бесконечно мелких насекомых до мириад светил небесных.— Человек существо плотское, и поэтому чем проще он берется за молитву, тем более видна его вера и тем угоднее эта молитва Богу, и чем более старается человек стать мыслями на уровень величия Божия, тем более он заблуждается, тем менее он в состоянии дать отчет в том, что он называет своей молитвой, и тем менее она угодна Богу. Чем более имеет человек верное понятие о своем ничтожестве, тем более верное понятие будет иметь он о величии Бога. Поэтому-то я говорю: во-вторых, не отклоняйтесь от знаков благоговения при молитве — они указывают на ваше ничтожество и на величие Бога.

Все мы, сидя в темном чулане и безмолвно смотря на Гришу, были проникнуты чувством детского удивления, благоговения и жалости к Грише. Гриша продолжал молиться. Любопытство наше было удовлетворено, и чувство умиления вместе с ним скоро пропа-

ло. Юза взяла мою руку и спросила шепотом: «чья эта рука?» — в темноте мы не узнавали друг друга. Юза сидела на полу, я, облокотившись на локоть, лежал за нею. — Как только я услышал пожатие ее руки и голос ее над самой моей щекой, я вспомнил нынешний поцелуй, схватил ее голую руку и стал страстно целовать ее, начиная от кисти до сгиба локтя; найдя эту ямочку, я припал к ней губами изо всех сил и думая только об одном, чтобы не сделать звука губами и чтобы она не вырвала руки. Юза не выдергивала руки; но другой рукой отыскивала в темноте мою голову и своими нежными тонкими пальчиками провела по моему лицу и по волосам. Потом, как будто ей стало стыдно, что она меня ласкает, она хотела вырвать руку; но я крепче сжал ее, и слезы капали у меня градом. Мне так было сладко, так хорошо, как никогда в жизни. Я назвал Юзу чистенькой девочкой. Это была ее главная черта и красота: всегда она была беленькая, розовенькая, на лице, руках у нее было ни слишком бледно, ни слишком красно, все контуры как лица, так и талии были чрезвычайно отчетливы и ясны. — Кожа была глянцевитая и всегда сухая. Ежели она была в испареньи, то *franchement*¹ пот катился градом. Улыбка чудесная. Как описать то восхитительное чувство, которое я испытывал, плача и целуя ее беленькую ручку. Это, должно быть, была любовь, должно быть, тоже и сладострастье, но сладострастье не сознание. Мне довольно подумать, что я хочу иметь N, чтобы больше не желать. Сознание сладострастья — чувство тяжелое, грязное, а это было чувство чистое и приятное и особенно грустное. — Все высокие чувства соединены с какой-то неопределенной грустью. Васенька, пошевелившись, зацепил за какое-то сломанное, выставленное в чулан стуло, и, хотя тут ничего не было смешного, особенно для меня, кто-то не удержался от смеху и, потому что нельзя было смеяться, фыркнул, и мы все с шумом выбежали из комнаты. — Для меня прекратилось самое блаженное состояние; а Гришу на минуту оторвали от молитвы. Он тихо оглянулся и стал крестить все стороны, читая молитвы.

На другой день утром коляска и тарантас, запряженные *почтовыми лошадьми* (не могу не заметить, что мы очень гордились ехать на *почтовых*, привыкши ездить на своих), окруженные многочисленной дворней: стариков, женщин, детей, которые пришли прощаться, стояли у подъезда. Мы все и папа в дорожных платьях, татап, Любочка, Юзенька, Мими, Карл Иваныч сошлись после завтрака в гостиной прощаться.

Я так был занят тем, что мы едем на почтовых, что мне будет жарко в лисьей шубке и что совсем не нужно шарфа (что я за неженка), что и не думал о том, как грустно будет расставаться. Все сидели в гостиной. Папа и татап ничего не говорили о себе и о нас. Они оба

¹ откровенно (*фр.*)

чувствовали, что так грустно, что об этом не надо говорить; а говорили о вещах, которые никого не интересовали, как то, хороша ли будет дорога, что сказать княжне Д. и т.д. Фоке поручено было доложить, когда все будет готово. Он взошел. Ему велели затворить все двери и сели, Фока тоже присел у двери. Я продолжал быть беззаботен и нетерпелив; просидели не более 10 секунд, а мне казалось, что очень долго; наконец встали, перекрестились. Папа обнял татап, и мне смешно казалось, как они долго целуются, и хотелось, чтобы поскорее это кончилось, и ехать; но когда татап обернулась к нам и когда я увидел эти милые глаза, полные слез, тогда я забыл о том, что надо ехать, мне так стало жалко бедную душечку татап, так грустно было с ней расставаться... Она целовала отца и прощалась с ним; а плакала о нас. Это все я почувствовал. Она стала прощаться с Володей и столько раз его крестила и целовала, что я несколько раз совалясь вперед, думая, что настал мой черед. Наконец и я обнял мамашу и плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме о своем горе. Вышли на крыльцо, уселись в экипажи. Матап почти на каждой ступени останавливала и крестила нас. Я уселся в коляске с папа на переднем месте, верх был поднят, мне не видно было татап; но я чувствовал, что она тут. «Еще раз поцеловать ее,— думал я,— или нет, лучше не надо». Однако я протянулся еще раз к ней; она была на другой стороне, мы разошлись. Увидав мою ошибку, она грустно улыбнулась и крепко, крепко поцеловала меня в последний раз. Мы поехали; сердце мое сжималось; я уже не плакал, я рыдал; мне что-то давило в горле; с большой дороги мы еще видели платок, которым махала татап, стоя на балконе, я стал махать своим. Это движение протрезвило меня, и я уже перестал отчаиваться; теперь меня занимало и как-то доставляло удовольствие, что я плачу о татап, что я чувствительный ребенок. Отец молчал и смотрел изредка на меня с участием; я подвинулся на самый зад и продолжал плакать, глядя на пристяжку, которую видел с своей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пристяжная, как переменяла аллюр она: то рысью, то галопом; смотрел, как прыгала на ней шлея, и смотрел до тех пор, пока шлея взмылилась. Папа стал рассчитывать дни, когда мы приедем; я стал вслушиваться и скоро забыл про татап, а рассчитывал, когда мы, днем или ночью, увидим Москву. После только я вспомнил о том, что я холодно простился с Любочкой и Юзой, так я в то время был огорчен. А как они, бедные, плакали, особенно Любочка. И Карла Ивановича жалко, и Фоку жалко, и березовую аллею жалко, и все, все жалко, а бедная татап! и слезы опять навертывались мне на глаза, но ненадолго.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Здесь кончается писанное мною прежде, и я опять начинаю писать к вам и для вас.

Нас привезли в Москву и отдали в Коммерческое училище. Время, которое я провел там, я не стану описывать, да и что описывать — ничего, кроме тяжелых и грустных воспоминаний, грустных не так, как бывают сладко грустны воспоминания время счастливого, а к этим воспоминаниям, напротив, всегда в душе моей примешивается какая-то горечь и досада. Хотелось бы остановить воображение, которое бессознательно, как глупая машина, *lanterne magique*¹, рисует верно и те и другие. Вы заметили, я и говорить не люблю про это время. Сколько оскорблений, сколько разочарований суждено было перенести мне, ребенку нежному. Еще свежи были в воображении моем ласки любящей и любимой матери.

Меня поражало и оскорбляло все, начиная от того, что вместо того, чтобы мне, как я привык, оказывали все знаки признательности, уважения (меня долго удивляло то, что люди ходят мимо окошка, на котором я сижу, и не снимают шапки), меня заставляли кланяться каким-то людям, которых я никогда не видал и видеть не хотел и которые нисколько обо мне не заботились, и кончая тем, что, исключая братьев, я ни в одном товарище не находил тех понятий, с которыми я свыкся и которые были необходимы для того, чтобы мы могли понимать друг друга. Они рассказывали про каких-то отцов с бородами, которые никогда их не ласкали, про матерей, которые боялись мужей и которых били. Я ничего этого не понимал; а что понимал, то было мне противно. Особенно же отталкивало меня как от воспитателей, так и от воспитанников, это недостаток изящества физического и морального; даже не было того, что заменяет моральное изящество, — теплоты сердечной; или ежели она и была, то под такой грубой корой, что я никак не мог откопать ее.

Сколько раз старался я — детскому сердцу необходимо чувство — сойтись с кем-нибудь или хоть издали полюбить — я не мог: наружные проявления чувства не были согласны с теми, которые я привык видеть у татап, ничтожное обстоятельство разрушало план огромного чувства. Мне надо было или забыть татап и ее любовь, или привыкнуть к тому, что меня окружало, но на это нужно было время; или в пору, самую пылкую, когда душа ищет предмета, на который бы излить весь запас любви, уединиться от окружающего света, презирать его и жить одними воспоминаниями. Я выбрал последнее, хотя и самое трудное. Этому выбору, признаюсь, содействовало дурное чувство — гордость. — Я учился дурно, от лени и от того, что воля моя была устремлена на то, чтобы, несмотря на частые

¹ волшебный фонарь (*фр.*)

искушения, удержать себя в этом отдалении от всех, и не было достаточно, чтобы употребить усилия на занятия. Как мне ни толковали, что мне учение необходимо для той карьеры, к которой я готовлюсь, я, сам не зная почему, не верил, чтобы я когда-нибудь был купцом. Володя учился прекрасно, с товарищами был горд и вместе с тем водился с ними, и его уважали. Стоило только раз взглянуть на весь класс, чтобы сказать, что он был первый — морально — из всех. Васенька играл самую жалкую роль. Способности собственно учиться у него были хорошие, но он был ленив и тщеславен. В обращении с товарищами он подражал то мне, то Володе. То он никого знать не хотел и удалялся от всех, но этот маневр не удавался ему. Меня за это уважали, потому что я для всех был тайной — я никогда не пробовал ни играть, ни повесничать с ними. «Почем знать,— думали они,— может быть, он не хуже или лучше нас может это все сделать; но не хочет, потому что он очень умен». Неразвитые опытною умы всегда предполагают в спокойствии силу и ум и уважают его. Вася же, после того, как, стараясь стать на уровень их в повесничании и играх и не быв в состоянии достигнуть этого, отчуждался от них и становился горд. Он, верно, не рассуждал о том, почему он так поступал; но бессознательно хотел их обманывать. Они также бессознательно понимали этот обман и платили за него презрением. Отношения детей между собою происходят совершенно на тех же основаниях, как и между взрослыми людьми, с тою только разницею, что все делается бессознательно и поэтому благороднее. Например, человек, который употребляет, как средство, свое умение владеть собою, чтобы приобрести влияние над другим человеком, поступает, я нахожу, неблагородно; но ежели это делается бессознательно, какие бы ни были следствия, в этом ничего нет предосудительного. Итак, Васенька подражал то мне, выказывая презрение после неудач; то Володе, вдаваясь опять в их шайку, в которой он тоже не мог приобрести того влияния, которое имел Володя, действуя во всех случаях прямо, решительно и откровенно. Это жалкое положение Васеньки в училище, которое трудно и было требовать, чтобы заметили воспитатели, и развило его так странно, что он от себя единственно был целый век несчастлив. Сознание выросло больше способностей, и развилась странная страсть, болезнь все анализировать — до самых мелочей.

Мы недолго были в училище — 8 месяцев. Володе было 15 лет, мне 14, Васе 11.— Письмо, которое мы получили от матушки в 1834, 10 апреля, переменяло нашу участь; но прежде чем я вам выпишу это письмо и наши ответы на него, скажу несколько слов об отце.

Я перечел то, что написал вам, противно моему намерению, о нашей жизни в училище. Мне хотелось вам дать некоторое понятие о наших характерах и о том, как они выразились в новой сфере; но мне это не удалось. Я уверен, что эти страницы никакого не дадут вам понятия об этом времени.— Чем общее стараешься описывать предметы и ощущения, тем выходит непонятнее, и наоборот — это общее

правило. Сколько незаметных для самого себя кроется в душе человеческой обманов! Я не хотел рассказывать вам про время, проведенное в училище; но боясь, чтобы отвращение мое говорить об этом вы не перетолковали иначе — хуже, я невольно употребил фигуру, над которой часто смеются и часто употребляют в комедиях и романах: «Не стану вам рассказывать мою жизнь, вы знаете то-то и то-то». Потом, чтобы выразить себя, мне нужно было так же, как и при описании моего детства, взять картины и случаи из этого времени и с тщательностью разбирать все мельчайшие обстоятельства; тогда только вы узнали бы меня, мою особенную личность; но так как для того, чтобы с вниманием обрабатывать и разбирать воспоминания прошедшего времени, нужно любить, лелеять эти воспоминания, чего я не мог сделать, я вдался в общие места, и, вместо моей особенной личности, вышел какой-то мальчик в какой-то школе, до которого вам и дела нет. В то время же, как я писал это, мне казалось, что я пишу из сердца, а я писал из головы, и вышло жидко. — Тем легче в этом случае себя обмануть, что, когда пишешь из сердца, язык кажется очень грубым способом выражения и далеко не имеет той гибкости и нежности, которых требует то, что хочешь выразить; когда же пишешь из головы, перо послушно бежит за мыслями и слова складно и без усилия ложатся на бумагу. Вы знаете, в пенье есть голос горловой и грудной. Можно петь грудью и горлом. Так же и в литературе можно писать из сердца и из головы. — Это сравнение верно даже и в отношении действия, которое производят и то и другое на слушателей. Пусть будет голос хриплый, пусть мелодия будет самая простая, но когда услышишь полной грудью взятую ноту, не знаю, как другие, но у меня слезы навертываются на глаза. Зато груб грудной голос. Надобно, чтобы очень обработан был голос и очень хороша была мелодия, чтобы горловой голос понравился мне; но за живое он никогда меня не заденет. Зато гибок горловой голос.

Кто немного имеет уха, тот сейчас отличит в музыке грудной от горлового голоса. Кто немного имеет чувствительности, тот сейчас в литературе отличит писанное из головы и из сердца. Я для вас хочу писать только из сердца.

Но я завлекся, я хотел рассказать вам, что в эти 8 месяцев делал отец. Он два месяца жил в Москве, играл, и играл счастливо; но как требовать от игрока, чтобы он отложил деньги, которые выиграл. Выигранные деньги дороже для игрока денег, заработанных самыми тяжелыми трудами. «Почем знать, рассчитывает игрок, может быть, я завтра все проиграю, а на те деньги, которые я отложил, я бы мог отыграться. Потом, как расстаться с деньгами, из-за которых я столько перенес моральных страданий, — они мои, я за них мучился. Хотя я добровольно избирал такое состояние, но не менее того деньги эти достаются не даром. Сколько борений, сколько оскорблений, нанесенных и перенесенных. Как тяжело беспрестанное напряжение воли».

Скажут, что стоило ему уделить хоть часть от огромной суммы (он был в выигрыше около 300000). Чем больше сумма, тем больше страданий и, следовательно, тем больше приобретает он на нее прав и ни за что не выпустит из рук. Самое тяжелое для игрока — это быть под влиянием одного из самых тяжелых чувств (потому что это чувство низкое), чувства страха. — Игрок всегда боится или зарваться, или не получить, или попасться, ежели он нечистый игрок. Потом, главная причина: игрок в то время, как играет (я разумею все то время, когда он предвидит настоящую игру), теряет сознание всего окружающего. Одна сторона, которой он сообщается с светом, — это планы к будущему; но настоящее все кажется ничтожным, кажется совсем в другом и, главное, кажется столько же подверженным законам судьбы, как и самая игра. Игроки привычку ожидать всего от вены переносят и в действительную жизнь. — С отцом было то же, поэтому он ничего того, о чем просила татап, не делал, ожидая какого-то необыкновенного случая, который, по его мнению, должен был все устроить.

В ноябре месяце он воротился в деревню, но ненадолго; татап по письмам знала, что он в большом выигрыше и что весь выигрыш нынешнего года он намерен был весною положить вместе со всеми доходами этого года имений татап в ломбард на наше имя. Впрочем, татап с помощью Мими, которая любила прослыть за женщину, которая может в *делах* обойтись без помощи мужчин, выписала из уездного города протоколиста уездного суда, потолковала с ним и поехала в уездный город, под видом набожной поездки в монастырь, и там втайне от отца написала на его имя 3 заемных письма, в 600000 (по 200000 каждому из нас). — Когда приехал в деревню отец и объявил татап свои планы насчет упрочения нашего будущего состояния, татап не вытерпела и призналась ему в своей против него вине, показала ему вексель, который просила его взять, чтобы совершенно обеспечить нашу судьбу. Папа оскорбило это как будто недоверие в его планы. Он стал убеждать татап, говоря, что, во-первых, Бог знает, кому из них суждено прежде умереть, что ежели это будет он, то наследники его воспользуются этими деньгами, и эта сделка не принесет другой пользы, как только пятно на его память, что даже ежели бы, чего Боже избави, татап умерла бы прежде, то опекун ее законного сына князь Иван мог бы вступить и опровергнуть законность этих векселей. Не знаю, что еще и как доказывал папа бесполезность этой сделки, но знаю, что он заключил свои доказательства тем, что векселя, которые у него во время разговора были в руках, он, сообразив, что татап достаточно убеждена, разорвал и бросил в камин, против которого они сидели. Матап повиновалась и больше не настаивала; но она все боялась за нашу участь. Она чувствовала, что ей недолго остается жить. — Петруша Козловский в это время был в юнкерской школе и в этом 34-ом году должен был быть выпущен офицером. Он был под опекою князя Ивана. — Князь Иван был

человек добрый и любил татап, как сестру. Но братская любовь трех родов: любовь, которая происходит от родства, крови. Этот род любви имеет начало в физических свойствах человека, и этот род любви никакие обстоятельства не могут уничтожить. Сколько есть примеров, что брат, несмотря на то что никогда не жил с своим братом, что в чувствах и мыслях совершенно противоположен ему, что даже презирает его, несмотря на все это, продолжает питать к нему чувство, которое заставляет его радоваться счастью и соболезновать несчастью. Второй род братской любви это есть привязанность человеческая, которую вы чувствуете к брату как к человеку, которого качества, направление вам нравится и вы любите его, сами не зная за что и почему. Наконец третий род братской любви, и самый обыкновенный, это есть чувство заботливости и участия, которое вы чувствуете к брату, единственно на том основании, что он вам брат. Это чувство основано на одном себялюбии. Вам больно слышать, что ваш брат сделал вещь, которую свет не одобряет, вам приятно, когда вы, напротив, знаете, что он чем-нибудь возвысил себя в мнении света, вам приятно и неприятно не за него, а за себя, вы заботитесь не о нем, а о том отблеске его поступков, который отразится на вас.— В этом роде любви все участие ваше устремлено не на то, что действительно могло бы составить счастье его, но на то, что удовлетворяет его и вашему тщеславию. Заметьте, отчего братья не любят вместе выезжать в свет. Это оттого, что, когда остается только этот род любви, что часто бывает, они беспрестанно боятся краснеть один за другого, и это состояние доставляет много внутренних моральных страданий.— Эти 3 рода любви часто бывают вместе. Например, к братьям я питал все три рода; к старшему Петруше, которого я не знал вовсе, и к сестре, которую я не хотел знать, я питал только два — родовую любовь и тщеславную.— Но все это я говорю к тому, что князь Иван, как добрый человек, сначала любил татап полной братской любовью, но после связи ее с папа, которую он никогда не мог ей простить, он потерял к ней уважение и любовь как к женщине, но продолжал любить только как сестру. Следовательно, и поступками его не управляла любовь, а тщеславие. Он настоял на том, чтобы Петруша, о котором его отец нисколько не заботился, был взят от татап и отдан ему, несмотря на то, какое это должно было причинить горе татап. Он занимался его воспитанием, однако внушал ему чувства уважения к матери, к которой заставлял его писать. (Детские письма Петруши, писанные еще по линейкам, татап всегда читала нам, в них посылались и поцелуй братьям.) Но я как-то странно воображал себе этого брата, который не жил с татап, не жил с нами, а только писал к нам. Я ничего не понимал, почему это так, какая разница между нами и Петрушей; хотя я сказал, что я любил его, но я воображал себе, что он преступник.— Князь Иван тоже писал к татап (я после читал эти письма), но видно было по письмам его и вообще по отношениям его с татап, что им руководила не братская

любовь, а какие-то правила, основанные на тщеславии, которым он, как *grand seigneur*¹, почитал себя обязанным следовать. Папа был с ним знаком и даже в хороших отношениях, но я решительно не знаю, как он умел это устроить.— Просьбу татап об узаконении нас папа, разумеется, не исполнил; но еще раз обещал и даже взял у нее письма к разным лицам в Петербург, которые, по предположению татап, еще не забыли старую дружбу к ней и должны были помочь ей в этом деле.— Папа недолго пробыл в деревне и опять уехал в Москву, где продолжал вести тот же образ жизни, играл опять счастливо и день ото дня сбирался в Петербург. Накануне решительного отъезда в апреле 1834 он получил от татап следующее письмо.

Красное. 12 апреля.

Добрый друг Alexandre!

Вчера вечером получила я твое доброе письмо от 3-го, но Федор, который привез мне его из города, был так недогадлив, что подал мне его только нынче утром. Нынче же утром М.В., *la belle Flamande*², которая гостит у меня, не дала мне его, потому что не совсем была здорова, так что я только что теперь, в 12 часов ночи, прочла его и отвечаю.— Пожалуйста, не пугайся, милый дружок. Я 4 дни тому назад ездила отдать визит нашим добрым соседям, голубкам, как ты их называешь (М.Ф. очень добрая женщина, напрасно ты ее не любишь), и, выезжая от них, лошади увязли в грязи, мне вздумалось пройти до большой дороги пешком. Салоп я сняла, потому что было тяжело, ботинки на мне были тонкие — я простудилась. Не брани меня за мою неосторожность, я и сама очень раскаиваюсь; тем более, что моя болезнь удерживает меня теперь в постеле и мешает мне самой заниматься Любочкой, а это мое одно утешение.— Старый наш знакомый и друг, доктор И.В., которого мы (между нами будь сказано) немного забыли, приехал два раза и теперь сидит у меня, и я слышу, как он в диванной рассказывает девочкам по-немецки историю Наполеона, говорит, что, Бог даст, дней через пять я встану. *La belle Flamande* выбрала меня своей *confidente*³ и целый день рассказывает мне, как за ней волочатся, особенно какой-то уездный лекарь. По правде сказать, она мне надоедает; но что делать, это слабость всех больных — приятно, когда кто-нибудь тут сидит и болтает, даже глупости. Действительно она очень хороша собой и неглупа. Теперь ей только 16 лет, и ежели бы она была в хороших руках, из нее бы вышла премилая светская девушка; ежели бы у меня не было так много своих детей, я бы взяла ее. Но что я тебе болтаю вздор, поговорим о чем-нибудь интереснее — больные, как дети, всякие пустяки их занимают. Любочка сама тебе пишет; но не знаю,

¹ вельможа (фр.)

² красавица фламандка (фр.)

³ поверенной (фр.)

удастся ли ей кончить — она изорвала третий лист бумаги. Эта строгость к самой себе мне нравится. Мими Кофертал все такая же любящая дама, а Юза — достойная любви девочка. Вот тебе все наши домашние новости. Да еще две: первое, нынче утром *Мах*.¹ пришел поздравить меня с своими именинами и принес крендель. Я ему дала полтинник, который он, должно быть, очень дурно употребил, потому что вечером приходила его мать жаловаться. Бедные люди! Второе, твоя Милка ведет себя очень дурно, беспрестанно приходит к моим дверям и воет; так что я велела Никите ее запереть. Не то, чтобы я верила замечанию, а это мне расстроивает нервы.— Успехи твои в игре очень радуют меня — ты знаешь, что я не люблю вообще, когда ты играешь; но теперь я радуюсь этому, потому что ты это делаешь для детей. Я знала вперед, что ты наверное выиграешь. Извини меня, что я даю тебе советы, я позволяю это себе только тогда, когда дело идет о детях. Мне кажется, теперь довольно играть и пора тебе ехать в Петербург. Сделай это, мой друг, и ты меня совершенно успокоишь. Ты обещался мне сделать это еще в том месяце, но все откладывал. Ради Бога, не откладывай больше, ты знаешь, как это важно. Прошу тебя, ежели ты меня любишь, ежели ты дорожишь моим счастьем и спокойствием, завтра же уезжай в Петербург и употреби все усилия. Ежели бы дети наши были узаконены, я бы была совершенно счастлива и спокойна.— Я чувствую, что мне недолго жить, *Alexandre*, но как мне ни больно будет расстаться с тобой, с детьми, я привыкла к этой мысли и умерла бы спокойно, ежели бы знала, что дети мои не будут обвинять меня. Еще раз прошу тебя: сделай это. Пожалуйста, не беспокойся насчет моей болезни, я скоро выздоровлю; а то я знаю тебя, вместо того, чтобы ехать в Петербург, ты прилетишь ко мне. Не делай этого, это меня огорчит. Прощай, мой ангел. Молю Бога и ангела хранителя, чтобы он помогал тебе во всех предприятиях твоих... не твоих, а наших... Я тебе мало пишу, потому что уже поздно, а я еще хочу написать детям.

[Милые мои друзья и дети Володенька, Мишенька и Васенька. Не ожидайте найти в этом письме радости и утешения; напротив, оно для вас будет очень грустно. Вас нет у меня, и нет у меня веселых мыслей.— Но мысль моя всегда с вами: нет часу, в который бы я несколько раз не думала о вас, нет ночи, чтоб я не видела вас во сне. Всякую минуту, где бы я ни была, мне все кажется, вот вбегут мои шалуны; но вспомню, что вас нет, и одно воображение рисует мне вас, какими вы были и какими будете; но может быть, оттого, что я одна, или оттого, что нездорова, мне страшно за вас.

Слушайте меня, дети,— теперь я с вами буду говорить не как с детьми, а как с добрыми и рассудительными мальчиками. Старайтесь понять меня. Я обязана перед Богом объявить вам печальную для вас

¹ Так звали у нас Максима. (Прим. Л. Н. Толстого.)

истину. Когда вы узнаете ее, обещайтесь исполнять мою просьбу. Слушайте.

Когда мужчина и женщина любят друг друга и хотят навсегда жить вместе, они идут в церковь и перед лицом всего света клянутся вечно любить друг друга и просят Бога благословить их союз, и Бог благословляет их; тогда они делаются муж с женой и называется “они женились”. Но есть несчастные люди, любовь которых Бог не благословляет, и за то, что они против воли Божьей живут вместе, Бог наказывает их и их детей. Это грех и большой грех. Бог не благословил любовь мою к вашему отцу, потому что я была замужем еще прежде за князем. Он не любил меня — и я тоже не могла любить его, хотя он не злой человек, но жалкий и несчастный. От этого старший брат ваш, сын князя, живет не с вами, от этого вы — мои дети, а не можете быть дворяне и мои наследники, от этого я несчастна и прошу Бога, чтобы он не наказывал вас, а всю тяжесть наказания прошу его, чтобы он позволил перенести одной мне; от этого же я вас, детей своих, прошу простить меня и обещать мне никогда ни с кем про это не говорить и не обвинять меня. Ежели бы вы знали, дети, как мысль, что я вас родила, может быть, на ваше несчастье, мучает меня; и ежели бы вы знали, дети (впрочем, рано или поздно вы узнаете), что заставило меня поступить против воли Божией. Любовь, дети! Теперь для вас это слово без значения; но что значит это слово, вы поймете когда-нибудь и тогда поплачете о вашей бедной матери... Я не знаю, догадывались ли вы о том, что я вам объявила; но ежели нет, то я уверена, что вам легче узнать это от самой меня, чем вы могли бы, чего я боялась, узнать это от людей посторонних, которые вас не любят. Теперь вы пожалеете обо мне и о себе, поплачете, вспомните, что во всем воля Божья и что это крест.

Бог послал нам — мне и вам — крест, который мы должны нести без ропота, и надеяться на Его бесконечную милость. Он не накажет вас. Так много злых и нечувствительных людей, что нашлись бы и, может, найдутся люди, которые опишут вам так ваше положение, что вам больно будет подумать о нем. Не слушайте никого и знайте и помните только то, что все определено свыше и что ежели бы можно было, то мать ваша сейчас отдала бы свою жизнь, чтобы избавить вас от этого положения. Я нездорова, и кто знает, может, я вас больше не увижу. Теперь я спокойна, чувства ваши ко мне не изменятся. Прощайте, друзья мои, ангелы мои. Нежно, нежно целую вас и молю Бога, чтобы он не оставил вас. Прощайте, дети.]

К письму этому была приложена записка от Мими Купфертал следующего содержания:

Княгиня очень больна. П.И. говорил мне, что даже опасно больна. Мысль, что она не встанет от этой болезни, не оставляет ее, и эта мысль более всего меня пугает, хотя она совершенно спокойна. Вы хорошо сделали, ежели бы приехали. Она беспрестанно в бреду говорит про вас и думает, что вы в Петербурге. Видно, что ее мучает, что

вы так далеко от нее. Я уже четвертую ночь провожу на волтеровском кресле в спальне княгини; но вам нечего говорить о моих чувствах к ней. Вы знаете, что я всем пожертвовала бы для нее, не только что несколькими бессонными ночами. Я делаю это с удовольствием и не ропщу.

Приезжайте же поскорее, с совершенным уважением и т. д.
[Ответ Володи.]

Милая мама!

Письмо твое огорчило меня не тем, что ты нам в нем объявила (я уж это прежде знал), но тем, что ты говорила про это — тебе, верно, это больно. Прежде, еще когда я не знал этого, но многое мне казалось странным, я не спрашивал у тебя об этом, потому что предчувствовал, не знаю почему, что тебе больно будет говорить. Я не понимаю, зачем ты написала нам это.— Неужели ты думала, что нам когда-нибудь придет в голову судить тебя? Я отвечаю за себя и за братьев, что не только судить с другими об этом, но и в голову никогда нам не придет между собою рассуждать об этом. Мы тебя любим, так чего же нам больше.]

На другое же утро отец заехал к нам в пансион. Я то время сочинял ответ на грустное письмо, которое получили накануне от мамы, в котором она нам описывала наше положение незаконных детей, но описывала его так, как могла только это сделать мать, чтобы не оскорбить нашего самолюбия, но только заставить нас полюбить ее еще больше (и так как с любовью, по крайней мере во мне, всегда неразлучно чувство страдания) и жалеть ее еще больше. Я прежде уже знал это, Володя тоже; но мы сами, по догадкам отыскивая решения некоторых вопросов, как-то: почему Петруша Козловский живет особенно от нас, почему на адреса папа было «Высокоблагородию», а на адреса мамы «Ее сиятельству» и т. д., и узнав все, что узнает мальчик от 12 до 15 лет в пансионе, составили себе понятие о нашем положении. Но в детях есть врожденное чувство тонкой деликатности, которое не позволяло нам доверить друг другу наши открытия. Но Вася, узнав некоторые невероятные вещи насчет различия полов и происхождения рода человеческого, пришел и стал объявлять нам эти новости, уверяя, что ей-Богу это правда; но мы его прогнали, сказав, что он врет и что ему соврали; потом, разбирая те же вопросы, которые и нас приводили в затруднение, он пришел поверить нам свои умозаключения; но и тут мы его прогнали и сказали ему, что он дрянной мальчишка.— Не знаю, как другие дети, но я, когда еще был так молод, что не имел никаких причин подозревать истину, я предчувствовал какую-то тайну в моем рождении. Когда меня, бывало, накажут или поставят в угол, мне всегда приходило в голову, что я самый несчастный мальчик, что я, должно быть, подкидыш и что меня за то никто не любит. Это не было предчувствие, а особенная страсть к несчастью, которая есть в душе у каждого человека. Не то, чтобы человек желал бы быть несчастливym, но он любит знать, что

он несчастлив.— Отец объявил нам, что едет в деревню и берет нас с собою, сейчас же.

[Что-то защемило у меня в сердце, когда он нам это сказал, и мысль моя сейчас обратилась к матушке.]

14 апреля мы у крыльца Красненского дома вылезали из дорожной коляски (в которой мы поместились все 4). Папа, выезжая из Москвы, был задумчив. Когда Володя спросил у него, не больна ли татап, он с грустью посмотрел на нас и сказал, что да. В продолжение дороги он успокоился и был как и всегда; но, подъезжая к дому, лицо его все более и более принимало печальное и задумчивое выражение, и когда мы выходили из коляски и он спросил у выбежавшего Фоки: «где М.Ф.?», голос его был нетверд, и, как мне казалось, что за ответ Фоки такого рода как: «они изволили пойти в сад» или «они в гостиной», он сейчас бы отдал весь свой выигрыш. Но, несмотря на то, что слезы готовы были брызнуть из его глаз, Фока доложил, что «они уже 6-й день не изволят с постели вставать», и добрый старик Фока, как бы жалея о том, что он обязан был нанести такой удар отцу, прибавил в утешение, отворяя в это время дверь в переднюю: «сейчас Маша понесла кашку; только не знаю, изволили ли кушать». Милка, выпущенная из заключения, с радостью бросилась к отцу, и, несмотря на то, что она выражала радость такими красивыми движениями, что весело было смотреть, папа даже не посмотрел на нее, а прошел прямо в гостиную, оттуда в фортепианную, оттуда в диванную, из которой была дверь прямо в спальню татап. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем менее опирался он на каблук и тем более даже по спине его заметно было его беспокойство. Взойдя в эту последнюю комнату, он шел уже на самых ципочках, едва переводил дыхание и два раза перекрестился, прежде чем заглянул в щелку затворенной двери.— Там было темно, и слышны были тяжелые вздохи. Вы понимаете, как тяжело все это действовало на наши настроенные к горю тяжелым предчувствием души. Из боковой двери выбежала непричесанная Мими с платком в руках и слезами на глазах. Она шепотом сказала только: «Ах, П.А.», и заметив, что папа берется за ручку замка, она прибавила: «здесь нельзя пройти — ход из девичьей». Сию минуту шум проехавшей мимо окон моих телеги очень испугал меня. Мне показалось, что я еще в этой грустной комнате, у той двери, за которой на одре смерти лежала та, которую я любил больше всего на свете. Мы пошли через коридор в девичью, в коридоре на дороге попался нам дурачок истопник Аким, который всегда смешил нас. Когда мы прошли мимо его и он поклонился, он сделал нам пресмешную гримасу; но что тогда крайне меня удивило, это то, что вместо того, чтобы рассмешить меня, эта гримаса прибавила еще только грусти.— В девичьей две девушки сидели за работами; но когда они привстали, чтобы поклониться нам, они приняли такие грустные лица, что мне досадно на них стало, я подумал: «зачем они притворяются?» Пройдя комнату Мими, папа отворил дверь в

спальню, и мы взошли. Направо от двери были два окна, оба заставленные ставешками, которые были не по окошкам, немного малы, и сверху завешены платками; у одного из них сидела старушка Афимья, наша бывшая няня, с очками на носу и вязала чулок. Она встала с чулком в руке и через очки показала нам глаза, очень заплаканные. Она не стала целовать нас, как то обыкновенно делала, но посмотрела на нас, и слезы потекли у нее градом.— Мне прежде не нравилось то, что все, кого мы видели, как по заказу, только что увидят нас, начинали плакать; но потом, обдумав это, я понял, что они все, даже и две горничные, показывали грусть не для нас, а мы возбуждали в них слезы.

Налево от двери стояли ширмы, за ширмами стояла кровать и волтеровское кресло. На кровати лежала татап, у кровати стояла молодая девушка в белом утреннем капоте; засучив немного рукава, она терла виски татап одеколоном. В комнате было почти темно и пахло мятой, одеколоном, гофманскими каплями — вообще пахло тем, чем не знаю, как вам описать, но все это вместе составляло один известный запах, который я очень помню и который, когда я его слышу, сейчас же с необыкновенною верностью впечатления переношусь к этой минуте.

Девушка эта была соседка наша, о которой татап писала и которая была известна нам под именем *la belle Flamande*. Лишь только она увидела нас, она покраснела, отняла одну руку от висков татап, только для того, чтобы освидетельствовать ею, не непристоен ли ее туалет, и, не кланяясь отцу, но грустно улыбаясь, тоже шепотом сказала ему: «в забытьи».— Некоторые говорят, что в сильном горе человек не думает ни о чем больше, как о своем горе. Неправда, я был в сильном горе в эту минуту; но я замечал все мелочи: например, я заметил эту полуулыбку *de la belle Flamande*, которая значила: «хотя и грустное теперь время, но всё я вам рада». Я заметил, как отец в одно и то же время, как он посмотрел на лицо татап, кинул взгляд и на ее прекрасные, обнаженные почти до локтя, руки. Я уверен, что отец, который был убит горем в эту минуту, полюбовался этими руками; но подумал: «как можно в такую минуту думать о таких вещах». Глаза татап были открыты, но она не видала. О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нем было видно ужасное страдание! Нас увели. Больше я ничего не помню, не знаю и вспоминать не хочу. Страшно! Я потом у Афимьи спрашивал о кончине матушки. Вот что она мне сказала. «Как вас увели, бедняжек, она еще долго металась, как давило ее что-то, потом свалилась с подушек и будто задремала. Мы хотели с Софьей Александровной хоть подушечку под головку подложить. П.И. не велел, говорит, пускай лучше так, не будите ее. Только что я вышла посмотреть, что питье не несут, прихожу, а уж она опять, моя сердечная, все раскидала на постеле и все манит Софью Александровну к себе. Та нагнется к ней, а уж сил, видно, нет сказать — и все охала: “Боже мой, Боже мой, детей”. Я

хотела за вами бежать. П.М. говорит: “не надо, это хуже встревожит”; после уж только руку подымет и опять опустит. И что она этим хотела, Бог ее знает, уж мы так думали, что вас благословить, да видно не привел Господь. Потом, видно, опять подступила хуже боль, приподнялась, моя голубушка, по глазам видно, что страдала бедняжка; и упала опять на подушки. Только зубами за простыню уцепилась, а слезы в три ручья». — «Ну, потом?» — спросил я. — «Что потом, батюшка», — и слезы закапали из глаз доброй старушки. Она не могла больше говорить.

Мама умерла в ужасных страданиях. За что? Помню я, как второй день взошел я в гостиную. На столе стоял гроб, в гробу лежала *татап*. Это было вечером, свечи нагорели, один дьячок сидел в дальнем углу, и слышно было его однообразное и тихое чтение. Лицо было открыто. Я тихо отворил дверь, дьячок оглянулся и продолжал читать. Мне хотелось посмотреть на нее. Неописанное чувство страха обуяло всего меня, нервы были страшно расстроены, на щеках только что высохли слезы, я подошел к стулу и стал смотреть; но я видел только свет, парчи, серебряные подсвечники. Когда взоры мои устремлялись на то место, где должна была быть ее голова: розовая подушка, чепчик, венчик и еще что-то белое цвета воску, которое я принимал то за лицо, то говорил себе, что это не может быть оно, — все сливалось вместе, и ничего для меня не представляло. Я стал на стул, чтобы рассмотреть лучше ее лицо; но и тут сначала я не верил себе, что то желтоватое бесцветное лицо, в котором я сначала не мог разобрать никакого выражения, было ее; но мало-помалу я стал узнавать знакомые черты, стал вглядываться в них, и, несмотря на то, что глаз не было, что на одной щеке, под какой-то прозрачной кожей видно было черное пятно, склад губ, вытянувшиеся линии щек — все носило такой отпечаток спокойствия, и спокойствия неземного, что я не мог оторвать глаз от них.

Я смотрел, смотрел и о чем я думал, что я чувствовал — этого описать нет сил. Я уверен, что ангелы, которые несли душу моей матери в небесах, чтобы вселить ее в жилище праведных и отдать ее Богу, взяли и мою на время. Так пробыл я, облокотясь к стене, до тех пор пока не отворилась дверь и не взошел другой дьячок на смену — это разбудило меня. — Все время, которое я провел в этом созерцании, можно вычеркнуть из моей жизни; но зато после смерти моей, я уверен, что душа моя вспомнит эти минуты. Я не плакал, но когда меня разбудили, я заметил, что мне пора выйти, и мысль, что дьячок, который видел мое положение, может принять его за бесчувственность и детское любопытство, пришла мне. Я перекрестился, поклонился в землю, и слезы хлынули из глаз моих градом. — Было 12 часов; я пошел спать. Я спал крепко, спокойно и долго. Нервы мои успокоились, утром мы пошли к панафиде, которую служили перед тем, как нести тело в церковь. Дворовые и крестьяне пришли простаться. (Наверно больше половины плакали от души, потому что *татап* все

обожили.) Запах был сильный и тяжелый, но мне не верилось, чтобы это пахло тело, я искал другой причины.— Во время панафиды я не молился, но стоял довольно в душе хладнокровно, хотя плакал и кланялся беспрестанно в землю.— Новый полуфрачек, который на меня надели, жал мне под мышками, и я чувствовал, что я скорее смешон в этой одежде, чем жалок; ежели бы меня оставили в обыкновенном платье, какое бы оно смешное ни было, хоть арлекинское, мне бы это в голову не пришло, но о новом, непривычном платье я думал.

Панафида кончилась, лицо открыли, и все стали прощаться — прикладываться; но нам не позволили. Я стоял и смотрел на эту операцию: подошла прикладываться какая-то крестьянка с девочкой лет 8 на руках, в это самое время я хотел уйти и стал кланяться в землю; но только что я нагнулся, меня поразил страшный крик, но такой страшный, такой пронзительный и исполненный ужаса, что, проживи я 100 лет, я никогда его не забуду, и всегда пробежит дрожь по моему телу, когда я вспомню об этом «а...а...а...а...» Я поднял голову — на табурете подле гроба стояла та же крестьянка, держа в руках девочку, которая, взмахнув руками и отвернув голову, откинулась назад и продолжала кричать испуганным голосом. Я вскрикнул, я думаю, ужаснее этой девочки и выбежал из комнаты. Неужели здесь, в гробу, лежит татап, та же татап, которую я так любил?! О, это ужасно!!

Я говорю, что есть какое-то наслаждение в горе. И вот доказательство: в то время, как я описывал это несчастье, я чувствовал его не слабее, как тогда. И мне это доставляло какое-то грустное удовольствие. Но довольно.

Планы отца насчет нас переменялись. В пансион мы больше не возвращались, и в ту же осень он повез нас в Д. гимназию и поручил своему старому приятелю. Перспектива наша была уже не купечество, а университет, служба. Капитала же, который он намерен был положить на наше имя, он не положил, не знаю почему. Должно быть, потому, что весь его капитал, состоящий из 300000, он оставил себе на игру. Игроку и нельзя было иначе поступить, тем более что все свое имение он намерен был передать нам тогда, когда мы выйдем из университета и получим первый чин (который в то время давал родовое дворянство), в противном же случае он намеревался продать его и дать нам деньгами.— Но все эти предположения были так шатки и подвержены стольким случайностям, что ничего не было положительного. Он мог умереть без завещания, и тогда мы оставались без куска хлеба. Так как он всю жизнь свою старался приобретать во всех отношениях и так как для того, чтобы приобретать, нужно уметь пользоваться удобными случаями, он никогда ни на что неизменно не решался.

Смерть матушки, однако, была для него тяжелым ударом. Это горе так сильно на него подействовало и так скоро прошло, как то

лишь бывает с людьми, одаренными такими пылкими страстями и способными быстро увлекаться ими.

Теперь следуют 6 лет новой жизни, обстоятельства которой я вам описывать не буду. Ознакомлю вас только с главными переворотами, случившимися в нашем семействе, и с лицами, составляющими его. Отец жил зимы в Москве, и после 4 удачных зим (в отношении игры) дела пошли худо, и он в две последние зимы проиграл все и остался при своих 400 душах, правда, очень хорошо устроенных, потому что летом, живя в деревне, он занимался хозяйством и привел его в довольно редкие между русскими помещиками порядок и устройство.

Любочка, я уже вам сказал, кажется, была очень хорошенькая девочка и стала хорошенькой девушкой. Знали, что у отца есть деньги и что он намерен ей дать хорошее приданое. Подвернулся К. помещик, дальний сосед по имению, но близкий знакомый по охоте — скупой, пожилой и грубый хохол Пестович, сделал предложение. — Обоюдные условия насчет приданого покончили с большой тщательностью со стороны Пестовича и с притворною щедростью и беззаботностью со стороны отца. Любочку мы совершенно потеряли из виду. Вся губерния толковала, что отец мой прекрасный, примерный отец, что он так пристроил дочку, что хоть бы родному. Да и что говорить, какие балы задавал! — Мими Купфертал после свадьбы была отпущена. Семейство Ипатович оказалось чудом неблагодарности, по ее словам. Что ежели бы княгиня была жива и видела это? Карл Иваныч давно был отпущен. Мими жила с Юзой в Москве и неизвестно на какие суммы нанимала квартиру, лучших учителей всех возможных искусств и наук для образования необыкновенных способностей ко всему Юзы. — Подробное положение всех этих лиц вы узнаете из последующих моих записок. Теперь поговорю немного про нас и наше развитие в этот 6-ти годовой период.

Чтобы понять характер молодых людей, нужно рассматривать поступки их в трех главных сферах и подвиги их на трех этих поприщах, именно: наук, светского обращения и нежнейшей из страстей. — Под светским обращением я разумею обращение со всеми людьми, с которыми судьба сталкивает человека: высших, низших, равных. Начну по старшинству с Володи. В общих чертах описывать характеры так трудно, что даже невозможно; я раз уже пробовал описать вам в общих чертах нашу жизнь в училище, и мне не удалось. Теперь, чтобы дать вам понятие о наших *респективных* характерах, я возьму эпизоды из нашей жизни — самые простые, но постараюсь как можно подробнее передать их вам и с тою же простотою, с которою тогда они представлялись мне.

Как я уже сказал вам, мы были поручены одному приятелю папа, у него и жили. — Приятель этот был профессором физиологии человеческого тела и анатомии, вместе читал он историю медицины. Отец мой знавал его в первой своей молодости, был с ним однокашник. Обращаясь всегда в высшем или близком к высшему кругу общест-

вах, отец совершенно упустил его из виду и даже ежели бы и имел его на виду, то не очень бы обрадовался. Когда же пришло время нас пристроить, папа вспомнил хотя и не блестящего, но полезного в настоящих обстоятельствах профессора и, узнав, что он преподает вышеозначенные науки и что он декан и даже одно время исполнял должность ректора, сообразил, что эта связь, которую совершенно от него зависит поддержать визитом и ласковым обхождением, может быть для него и для нас крайне полезна. Папа почитал бесполезным осведомиться о том, в каком он факультете был деканом, довольно того, что это слово звучало приятно в его ушах, особенно с прибавлением профессор Эмерит, не обращая внимания на то, что мы никогда не предназначались к медицинской карьере; он вообразил, что его влияние на всех молодых людей, воспитывающихся в университете, всемогуще. Сообразно с этим, сделав первый визит самому доктору и вторичный его семейству, папа умел, несмотря на пришепетование, внушить величайшее уважение к своей особе будущему нашему покровителю, который, несмотря на все свои прекрасные качества, был очень тщеславен и твердо убедился в том, что он может быть нам полезен и что это составляет его непрременную обязанность для того, чтобы не отстать от общества и всегда быть в состоянии возобновить в нем связи, с помощью которых он будет в состоянии прилично пристроить свою 16-тилетнюю дочку, белокуренькую овечку Зинаиду. Но что я рассказываю? Я только хотел сказать, что мы жили у доктора, и в 1836 году в апреле Володя, у которого была особенная комната, сидел в ней на большом кресле с полозьями, которое приятно покачивалось, держал в руках тетрадки уголовного права и, задравши ноги кверху, смотрел с большим вниманием на стены и потолок своей комнаты.

Дело происходило перед экзаменами, за 5 дней до экзамена уголовного права профессора Шмерца, который, как то было известно через некоего студента-собаку, который составлял вопросы, был недоволен осанкою Володи, находя ее слишком самостоятельной, и выражался так: «Я знать ничего не хочу; я сужу по репетициям; а г-н Карталин отозвался, что он не может приготовить всех прочитанных лекций. Посмотрим, он умен, я знаю; но и я тоже тверд в своем слове. Г-н Карталин еще молод, и ему нужно пробить два года в 3-ем курсе для узнавания основательнее предмета».

Понятно, что Володя занимался этим предметом преимущественно перед другими и неусыпно. Комната его была расписана по всем стенам философиями уголовного права, и даже в одном месте конспект смешанных теорий доставал до потолка.— Меблировка Володиной комнаты состояла из кресла на полозьях, *смело*, как говорил Володя, *кинутого на середину комнаты*. Все находили, что это кресло, хотя и чрезвычайно приятно в нем качаться, стоит не у места; но Володя утверждал, что это так нужно и что он, как хороший живописец, не размазывает тщательно картины, а смело сажает шишки. Он

так выговаривал это слово «шишки» и, сжимая все пальцы правой руки, делал ими движение, как будто бросая что-нибудь с отвращением, что все слушавшие его невольно убеждались, что это кресло *шишка* и стоит прекрасно.

Заговорив о *шишках*, я нахожу, что это темно для всех, кроме членов нашего семейства и коротких знакомых, и понять настоящее значение того, что я говорю, может только человек, которого я называю понимающим. Я обещался вам растолковать то, что я называю понимающими и непонимающими людьми. Нет удобнее случая; но приступая к этому объяснению, я боюсь, что не сумею провести для вас эту черту, которая в моих глазах разделяет весь род человеческий на два разряда. Ни один из качественных противоположных эпитетов, приписываемых людям, как то добрый, злой, глупый, умный, красивый, дурной, гордый, смиренный, я не умею прилагать к людям: в жизни моей я не встречал ни злого, ни гордого, ни доброго, ни умного человека. В смирении я всегда нахожу подавленное стремление гордости, в умнейшей книге я нахожу умные вещи и т.д., и т.д. Но понимающий и непонимающий человек — это вещи так противоположные, что никогда не могут слиться одна с другою, и их легко различить. Пониманием я называю ту способность, которая способствует нам понимать мгновенно те тонкости в людских отношениях, которые не могут быть постигнуты умом. Понимание не есть ум, потому что хотя посредством ума можно дойти до сознания тех же отношений, какие познает *понимание*, но это сознание не будет мгновенно и поэтому не будет иметь приложения. От этого очень много есть людей умнейших, но непонимающих; одна способность несколько не зависит от другой.

Такт опять совсем другое дело. Такт есть умение обращаться с людьми, и хотя для этого умения необходимо понимание отношений людских, но это понимание может происходить от привычки, от хорошего воспитания, а чаще всего люди так называемые с тактом основывают эту способность на хладнокровии, на умении владеть собою и на медленности и осторожности во всех проявлениях. От этого большей частью люди с тактом — люди непонимающие. Медленность и хладнокровность совершенно противоположны этой способности, основанной, напротив, на быстроте соображения. Какая разница между человеком, который едет с визитом соболезнования в дом, хозяева которого сильно огорчены потерей какого-нибудь родственника, и говорит там, почитая то своею обязанностью, пошлые и избитые фразы участия, и тем, который, предвидя в этом визите много тяжелых минут, не едет вовсе? — Какая разница между человеком, который с первого взгляда на другого человека говорит вам: «это умный и порядочный человек», и тем, который парикмахера принимает за артиста? Какая разница между тем человеком, который, когда кончился анекдот, спрашивает вас: «ну, а потом?», не по-

нимая, как груб этот вопрос, и тем, который, когда вы только начинаете рассказывать, оценил уже ваш рассказ и никогда не спросит этого? Разница между человеком понимающим и непонимающим. Самые приятные отношения с людьми понимающими. Есть много понятий, для которых недостает слов ни на каком языке. Эти-то понятия могут передаваться и восприниматься только посредством понимания. Чтобы передать такого рода понятие, для которого нет выражения, один из собеседников говорит другому один из признаков этого понятия или выражает его фигурно; другой по этому признаку или фигуре, а более по предшествующему разговору и выражению губ и глаз понимает, что первый хочет выразить, и, чтобы еще более объяснить понятие и вместе с тем показать, что оно для него понятно, говорит другой характеристический признак. Это средство распространяет круг разговора и притом доставляет большое наслаждение. Когда люди привыкли один к другому, то игра эта идет с необыкновенною быстротою, и чем быстрее, тем приятнее, как игра в мяч. В нашем семействе понимание весьма развито, и сначала я полагал, что оно произошло от одинакового воспитания, от того, что каждому из нас вся жизнь другого известна до мельчайших подробностей, одним словом, что оно происходило от родства в мыслях, так же, как и может существовать, независимо от способности понимания, во всяких кружках; но сталкиваясь с различными людьми, я убедился окончательно, что, несмотря на чрезвычайную разницу в прошедшем с многими людьми, некоторые сейчас понимали... другие, как ни часто я с ними сходилась, всегда оставались непонимающими и что резкая черта эта между всеми людьми существует, хотя и с подразделением: на людей, понимающих всегда и везде, и на людей, понимающих в известном кружке и вследствие известных обстоятельств.— Я привел пример *шишки*. Шишка называлась у нас такая вещь, которая поставлена не у места, с претензией на *laisser aller*¹.— Видите, как много слов в описании понятия, которое выражалось *шишка* и значило гораздо больше. Так, шишка говорилось о известном способе завязывать галстук; даже в разговоре, в лекциях профессоров некоторые отступления назывались *шишка*. Много было у нас таких понятий, выраженных странно, много типов. Например, в то время, как перестали носить стрипки, *со стрипками* выражало очень много: галстук «со стрипками», прическа «со стрипками», даже разговор и манера танцевать «со стрипками» были для нас вещами очень ясными.— Продолжаю. Меблировка комнаты состояла из этого кресла на полозьях, дивана, который, очень искусно, превращался к вечеру в кровать и к утру опять приходил в первобытное положение, ломберного стола, который всегда был раскрыт и на котором лежали книги, тетради, пенковая трубка, из которой никто не курил, и так называемая изюм-

¹ свободное развитие событий (фр.)

ная чернильница с подсвечником в середине. (Один раз, расспрашивая Володю об одном молодом человеке, юнкере, нашем родственнике, я сказал ему, не удовлетворяясь его ответами: «Да ты дай мне о нем понятие. Что, он глуп был?» — «Нет, он еще молоденький мальчик был, ни глуп ни умен — так себе; но знаешь, в таком возрасте, в котором всегда бывают смешны молодые люди. У него была губительная слабость, от которой, я всегда уверял его, он расстроит и желудок и обстоятельства,— это изюм покупать». «Как изюм?» — спросил я. «Ну, да как изюм? Как есть деньги, уж он не может выдержать, посылает в лавочку покупать изюм, не изюм, так пряники, а не пряники, так саблю или тёрку какую-нибудь купит».) С тех пор изюмом называется у нас всякая такого рода покупка, которая покупается не потому, что ее нужно, а так.— Володя признавался, что чернильница эта была куплена в изюмные времена, да и вид она имела изюмный.

Доктор, должно быть предполагая, что посещение его никак для нас не может быть неприятно, заходил очень часто то в мою, то в Володину комнату. Он долго сидел у меня, и, несмотря на то, что действительно мне было некогда переливать с ним из пустого в порожнее на какую-то философическую тему, несмотря на то, что перед тем, как он взошел ко мне, я с математической верностью расчел, на сколько часов предстоит мне занятий, и несмотря на то, что я сказал сам себе, что не дам никому помешать себе, прямо скажу, что мне некогда, он сидел у меня, и хотя я слушал его и сам отвечал ему, мысль моя была занята тем, что глупо, бессмысленно из ложного стыда расстраивать порядок своих занятий; а между тем что-то говорило во мне: «совестно сказать ему, что некогда; он так рад поговорить, старик, с человеком, об уме которого он весьма высокого мнения, и говорит он не глупо, главное же, как заметить ему, что он мне мешает, когда он в полной уверенности, что делает мне превеликую честь и удовольствие; впрочем, он сам скоро уйдет, не стоит и обижать его. Вот Володя, тот, хотя также хорошо понимает все эти тонкости и хотя ему нужнее его задобривать, по случаю дочки, но Володя сейчас скажет, и видно, что ему это труда никакого не стоит. Я тоже могу; но это стоит мне всегда большого труда, и я сделаю это раз, два, но никогда такое обращение не взойдет мне в привычку. А чтобы успевать в делах мирских, это необходимо, и от мала до большого между мной и Володей эта разница. Должно быть, от этого Володя приобретает влияние на других, ведь доктор, хотя старик, но уважает его, это видно во всем его обращении».

Так рассуждал я втихомолку, а доктор, преспокойно усевшись на моей постели, так покойно, что не было надежды, чтобы он когда-нибудь встал, рассуждал вслух: «Я все-таки полагаю, что те люди, которые, как вы говорите, счастливы своей независимостью и твердостью, с которыми переносят неудачи, не могут быть совершенно счастливы. Эгоизм происходит от слабости. Они не могут любить, потому что не чувствуют довольно силы, чтобы сделать счастье других

людей. Как ни говорите, а этих людей я презираю». Он сбил ногтем среднего пальца пепел с конца сигары. Я сам как-то затеял речь об эгоистах, теперь же вовсе не слушал, и мысли мои можно было перевести вот как: «что он толкует, *слабость, чувствуют силу какую-то*, не хочется мне спорить; а стоит, чтобы его сбить, только спросить, что он разумеет под этими фразами; и долго ли еще он намерен сидеть; должно быть, еще докурит эту сигару; хоть бы он к Володе пошел». Ожидания мои сбылись. «Поверьте мне, М.А., вы еще молоды, нет выше счастья для человека известных лет, как иметь такое занятие, которым бы он занимался с любовью, вот я, например... да, впрочем, что вам говорить; вы знаете, как я живу», и он так разгорячился, что, не доканчивая доказательства, каким образом он один умел найти счастье (что, впрочем, он мне неоднократно доказывал), он встал, бросил сигару за окошко и сказал: «однако вам надо заниматься, не хочу вам мешать, теперь, я знаю, для студентов минута дорога» и вышел.

Когда мне, бывало, помешают в занятиях, как помешал этот доктор, не столько мешают тем, что отрывают от занятий, но, так как я очень впечатлителен, расстраивают настроенность духа. Только что он ушел, я не сел заниматься, а вышел, слышал, как он взошел к Володе, потянулся и стал ходить по комнате, улыбаясь и думая Бог знает о чем: и о том, что он добрый человек, но очень тщеславен, о том, что из чего он так хлопочет рисоваться передо мной своими добродетелями, о том, что славно, что он ушел, но что можно зайти к Володе, отдохнуть и поболтать; притом же я не встал, как он уходил, может, он обиделся.

Володя сидел в той же позе, доктор на диване и толковал что-то о том, что, по его мнению, человеку без средств жениться на девушке, тоже небогатой, он почитает делом подлым и низким и т.д. «Как это попал на этот пункт у них разговор? — подумал я, — и как он может (доктор) с жаром толковать обо всем — должно быть, у него нет никаких убеждений, от этого он как-то странен и стыдлив, а иногда груб и неловок в обращении. Теперь, например, он не замечает, что этот разговор похож на намек Володе, который волочится за его дочерью». Я бы растерялся в таком положении, а Володя чудо как холодно и просто отвечает ему, что нельзя предполагать, чтобы человек, имеющий некоторые способности, не нашел средств содержать семейство, и притом, говорил он, «любовь извиняет его, ежели бы даже жена его переменит образ жизни», что любовь мужа для нее должна заменить эту потерю.

— А для детей что облегчит нищету? Нежные речи и воркованье родителей, которые, поверьте, в бедности перестанут нежничать.

Должно быть, тут он заметил, что этот разговор мог иметь отношение к взаимному отношению его к Володе, и он сейчас же и чрезвычайно неловко и глупо переменял тон.

Вы понять не можете, сколько положение наше заставляло нас переносить страданий таких, о которых и мысль не придет другому.— Я сначала думал, что эти страдания происходили только от дурной склонности анализировать все, даже пустую речь пустого человека; но теперь я убежден, что вследствие нашего положения и беспрестанных мелких страданий для самолюбия развилась эта способность. Вам бы никак не пришла в эту минуту та мысль, которая заставила пожелать доброму старику всего самого дурного за его неловкость; ежели бы я был помоложе, я бы заплакал: положим, он говорил без всякой цели, но для нас это было тяжело. Рождением и воспитанием поставленные на такую степень, с которой, естественно, мы могли не то чтобы презирать его, по крайней мере несколько не нуждаться в докторе, мы в то же время были в таком положении, что могло казаться, что Володя за честь почитает получить по выходе из университета руку докторской дочки. Во всех такого рода случаях я всегда страдал гораздо больше за братьев, чем за самого себя. Часто приходила мне мысль, глядя на гордое, прекрасное и всегда спокойное лицо Володи, что бы было, ежели бы кто-нибудь пришел и сказал бы ему в глаза: «ты»¹, назвал бы его так, как бранно называют незаконных детей. Дрожь всегда пробегает по телу при этой мысли. Что бы было? Что бы он стал делать? Нет, этого не может быть. Впрочем, это уже другое чувство; это то же чувство, что думаешь, что ежели взять да броситься с этого обрыва или, как мне всегда приходит на мысль, когда я вижу очень важное лицо: что ежели кто-нибудь подойдет и ударит изо всех сил его по носу кулаком. Что будет?

Доктор стал закусывать губы и покраснел даже.

— Да, я с вами согласен в том, что ежели человек твердо уверен в том, что может быть опорой своего семейства...

Я уверен, что Володя все заметил не хуже моего; но он остался так же спокоен и продолжал с улыбкой и таким тоном, который принимают обыкновенно, чтобы кончить разговор:

— Пускай даже он обманется в своих надеждах, приведет в бедность свое семейство, этого я и знать не хочу, вы будете смеяться, но я того мнения, что любовь — истинная любовь — извиняет все.

Он помолчал немного, взглянул на свои тетрадки и сейчас же обротившись к доктору:

— Вы меня извините, доктор; но я теперь работаю решительно без отдыха.

Он указал на стены, на потолок, улыбнулся, встал с места и взял в руки тетради. Что значили все эти движенья, трудно объяснить; но, должно быть, доктор их очень хорошо понял, потому что сейчас простился и просил зайти к нему вечером.

¹ Точки в подлиннике

Вслед за ним взошел товарищ наш по университету, веселый, добрый и очень порядочный молодой человек З. Володя очень обрадовался ему, потому что был с ним большой приятель, и как-то всегда они с ним вместе влюблялись и не ревновали друг к другу. Я очень обрадовался ему, потому что он вывел нас из неприятного положения; после такого разговора, который был с доктором, и вообще после разговора, в котором было что-нибудь неприятного, я не люблю оставаться с глазу на глаз с человеком, которого я и который меня хорошо понимает. Говорить, вспоминать и разбирать то, что было неприятного и скрытого в разговоре, кажется тяжелым, и мне всегда не хочется начинать; между тем молчать о такой вещи, которую мы очень хорошо оба поняли, тоже смешно и неуместно, оттого что мы могли бы сообщить друг другу интересные вещи на этот счет.

— Ну умо-ри-тельно, бтец.

— Что?

— Да милые Кору и *надеюсь на вашу любезность и все*.

Надо заметить, что у них был между собою условленный язык: например, все фамилии девушек, за которыми они волочились, они переделывали и придавали окончания множественного числа. *Надеюсь на вашу любезность* — значило мать Коровиной, а *Кору* — сама Коровина (девушка).

— Когда же ты их видел? Да, я и забываю, что только я, несчастный, работаю, как лошадь; а ты по *пунктам* разъезжаешь. (*Пунктами* назывались предметы любви.)

— Нынче был у них, бтец, ведь *надеюсь на вашу любезность* именинница. Приезжаю я часов в 12, уж народу пропасть: все любители Коров — лось, милашка Андреев (технические названия лиц), одним словом, вся компания Коровская, которую ты так ненавидишь, все собрались и трудятся ужасно есть пирог, любезничать и притом иметь величавый вид, что очень трудно, когда рот набит тестом: в одной руке шляпа, в другой тарелка и еще предлагают бокал. Ну, я затмил их совершенно; так приняли, что уже дело начинает принимать серьезный характер и очень. Как мы уселись с милыми Корами, знаешь, на возвышении над плющом, *надеюсь на вашу любезность* куда-то отправилась и папаша тоже, и того и ждал, что для именин они выдут с образами. Да, да, чего? Филипп мой мне рассказывал. Только что я приехал, из всего собрания кучеров вызывают его на крыльцо и для именин *надеюсь на вашу любезность* подносят ему стакан вина. По какому случаю? Неизвестно.

— Неужели,— подхватил Володя,— это очень мило, и Филипп, я воображаю, как доволен; теперь уже ты с ним не советуйся — il est согготри¹. Да ты самого интересного не расскажешь, что, Кору удовлетворительны ли были?

¹ он подкуплен (фр.)

— Очень, т.е. как тебе сказать? — Он приостановился и сделал движение, которым, видно, хотел заменить недостаток точности выражений. — Свежи были очень как лицом, так и туалетом. Серенькое, тебе уже известное платье, не менее известная черная ленточка, любезны были очень; но что-то я ко всему этому был очень хладнокровен: не знаю, или это излишняя любезность милых родителей, или то, что просто этот пункт становится плох, или меня расстроило то, что, как я взошел, они рассыпались в любезностях с этим дураком, ну, как его, толстого этого... Улининым и потом что-то шептались с *юными Корами*. Не то уж, — окончил он с грустным лицом.

— Так и лучше бы, — сказал Володя, — заниматься бы экзаменами, вот как я, тогда бы не охладел.

— Ах да, об тебе с милой улыбкой очень спрашивали, отчего тебя не видно, и заботились о том, что перейдешь ли ты, как бы не помешал тебе Шмерц. Уж откуда она это знает, удивительно, — прибавил он, заметя, что Володя конфузится.

— Верно этот дурак, *наш пок ровитель*, по всему городу благовестит, — прибавил Володя, — ведь ему только и занятия, что о нас говорить.

— Что ты на него так сердит? Нет, он славный. Однако послушай, нынче еще день можно жуировать. — При этом он взял со стола тетрадки Володи и отодвинул их подальше. — Поедем по *пунктам*, пожалуйста, и М. с нами поедет, — сказал он, обращаясь ко мне.

У него была такая удивительная веселость, что хотелось всегда участвовать в ней, и притом он и сам не понимал веселости иначе, как *avalanche*¹. Кого бы он ни встретил, он всякого звал и, переменяя интонации, говорил «*пожалуйста*, поедем» до тех пор, пока действительно находил настоящую и убеждал; но когда он обратился ко мне, я был в самом дурном расположении духа. Слушая их веселый, беззаботный разговор, мне в душе было им завидно; но я, сколько ни пробова, не мог и не умел так волочиться, как они, и поэтому в эту минуту бес научал меня презирать их веселость и что, как они мною мало занимаются, так и мне надо мало заниматься ими и идти в свою комнату; но я не уходил. Надо заметить еще, что я, так же как и они, был влюблен почти во все *пункты*; но не мог действовать так же, как они, потому что сталкивался бы везде с братом, а брат меня так хорошо понимал и я его, что это столкновение было бы нам неприятно. Поэтому, когда он обратился ко мне, я сконфузился и отвечал, что «нет». Он был человек понимающий, поэтому не продолжал настаивать, сообразив, что это предложение мне неприятно; но ежели бы у него спросить, почему оно мне неприятно, он, верно, ошибся бы и сказал, что я *Философ* и не люблю этих вещей.

¹ в компании (фр.)

— Удивительно, я не знаю у него ни одного *пункта*,— прибавил Володя,— может быть, и есть таинственный какой-нибудь, но мне до сих пор неизвестен.

Мне опять было больно, что сказал Володя, тем более что я знал, что он не сказал бы этого, ежели бы мы были с ним с глазу на глаз. Я уверен был, что он, хотя темно, но понимал отчасти причину моей философии. Отчего это, я не раз замечал, между людьми, которые друг друга хорошо понимают, говорятя в обществе такие вещи, которые наедине не скажут ни за что друг другу? — Поговорив еще и довольно подробно о разных *пунктах*, они сделали расписание порядка, по которому следовало нынче отправляться по *пунктам*, следующее. Прежде ехать к Корам, но войти нельзя, потому что был утром; стало быть, только постоять под окошком. Оттуда к *Бронам*; смотря по обстоятельствам, взойти или нет; но во всяком случае оставить знак своего присутствия. Потом к 10000000 (так называлась одна девушка, в которую тоже был влюблен Володя и название это получила от того, что когда З. уезжал на vacation, то просил Володю писать к нему и доносить о ней; но для того, чтобы в каком-нибудь случае не открылось это дело, писать о ней под названием 10 миллионов. Я полагаю, что осторожность эта была совершенно излишняя) и т.д., и т.д.

— А где Васенька? — спросил З.,— не поедет ли он? Что он нынче философ, артист, un homme tout à fait comme il faut¹ или просто Васенька? Я его лучше всего люблю артистом.

— Кажется, нынче мы un homme très comme il faut, утром были у Т. и обедали там в гимназическом сертуке английского покроя, и поэтому на него надежда плохая. Однако теперь еще рано, а я до 8 часов буду заниматься, в 8 ты приезжаешь, а теперь прощай.

— Ну хорошо, так я пойду к *покровителю*; ты ведь обещался прийти к нему, так зайди за мной — это будет 5 пункт.

То, что сейчас так легко и просто сказано было о Васеньке, с некоторыми пояснениями даст вам ясное понятие о его характере в это время. В какое бы положение ни поставила судьба человека, она всегда дает ему способы быть довольным им. Чтобы быть довольным в том положении, в которое нас поставила судьба, нужно иметь одно из трех качеств: или твердость характера и практическую способность к жизни, которой наделен в высшей степени Володя, или умение ставить всегда и во всем свое тщеславие — умение, которым я могу похвастаться, или какую-нибудь одну блестящую специальную способность, которой был наделен Васенька. Вы знаете, какой он был музыкант! Природа, как нарочно, разделила эти качества между нами 3-мя. Известно, что когда ищешь одну вещь между многими, ту, которую нужно, находишь последнюю. Это справедливо даже тогда,

¹ вполне порядочный человек (*фр.*)

когда молодой человек ищет себе дорогу. Васенька рожден, чтобы быть артистом, но он не убежден в том, что это его призвание, и вместе с тем он ищет какую-нибудь специальность и бросается то на философию, т.е. на такую дорогу, на которой прогресс его не будет поворачиваться практической жизнью и вместе с тем из которой он может почерпнуть убеждение о своем достоинстве; то на музыку, но, к несчастью, не остается на этой дороге; то на grand genre¹, в которой, как в вещи очень легкой и к которой он склонен, он дошел до большого совершенства. Ни у кого я не видал таких рук и ногтей, как у него; зато он не выпускает из рук железки. Он знает все великосветские анекдоты, отношения, привычки, он отлично умеет быть презрительным, ласковым и т.д. Но, к несчастью, не на чем разыграться этому умению. В этом городе есть 3 или 4 точно порядочных дома, в которых Васенька свой человек, и только. Он так привык метаться в этих направлениях, что уже отвык быть естественным. Он поступает наизусть. Обыкновенно по влечению чувств становится в известное положение и потом обсуживают его. Он же сначала обсуживает и представляет себе известное положение и потом старается стать в него. Иной день он только и говорит, что о большом свете, и с презрением смотрит на все, что не большой свет, другой день он сидит за каким-нибудь Шеллингом, которого не понимает, и всё пустяки, кроме философии. За музыку же, за настоящую склонность и способность, к несчастью, он реже всего принимается.

Ах, как он славно играл! В наше время (а может быть, и всегда так было) развилось несметное количество музыкантов, которые не занимаются музыкой, ничего не умеют играть, а вместе с тем всегда и при всех имеют дерзость играть и судить и рядить о музыке. Иногда у этих безграмотных господ точно есть талант; но, к несчастью, от лени или от убеждения, что подчиняться труду и общепринятым правилам значит подавить талант, взгляд их делается односторонним, руки неспособными, и сами они делаются очень неприятными.— Большой частью жертвою этих господ делаются фортепиано, на которых они экзекутируют свои фантазии, состоящие из ряду диссонансов и консонансов, хотя и правильных, не имеющих никакого смысла.— Эти господа играют по слуху все, что слышат, и искажают лучшие вещи. Обыкновенно они удаляются от людей, основательно понимающих музыку, и даже с презрением отзываются о них, называя их педантами и немцами, произведения же своих талантов отдают на суд людей, которые безразлично говорят «c'est charmant»² про шутку Албицкого и Мендельсона. Суждения их о музыке похожи на те суждения, которые я читал в французских романах (по-французски позволительно врать — уж к этому привыкли), например, «Elle exécute un charmant point d'orgue» или «une touchante mélodie en

¹ светскость (фр.)

² «это очаровательно» (фр.)

bémol»¹. Что же всего хуже, это то, что эти именно господа дают приговор всем талантам, имеют апломб непостижимый, когда сообразишь их безграмотность. Мне случалось выдать их сочинения, наполненные ошибками против контрапункта, орфографии и здравого смысла; случалось видеть своими глазами, как дирижируют они в благородных концертах, как без всякого основания махают неровно палочкой, быстро оборачиваются то к контрабасам, то к флейтам, стараясь копировать капельмейстеров, которых видали. Меня удивляло всегда в таких случаях, как целая зала, наполненная народом, не расхохочется, глядя на эти несообразные движения. Сколько раз краснел я за этих господ, слушая их суждения. Сначала пробовал я самым учтивым образом доказать им, что они не могут говорить о том, чего не знают, но всегда неуспешно, *les rieurs étaient de leurs côtés*². Поэтому я теперь только слушаю и продолжаю краснеть. Что люди всегда любят говорить о том, чего не знают,— эта слабость общая всем. Что можно любить музыку и иметь талант, но не посвятить себя ей, это тоже я понимаю. Но почему ни о какой науке, ни о каком искусстве нельзя услышать столько совершенно бессмысленных рассуждений, как о музыке, и с такою огромною самоуверенностью, я не понимаю.

Васенька принадлежал к числу безграмотных и светских музыкантов, но с тем только исключением, что, несмотря на его лень, он так хорошо чувством понимал и играл всякую вещь по слуху, что в отношении исполнения нечего было желать; но зато рассуждал он о музыке, как дитя, по незнанию, и как Бах, по самоуверенности.— Сколько раз меня, который с 16-ти лет начал серьезно и не перестаю до сих пор заниматься наукой музыки, он ставил в ничто и заставлял молчать каким-нибудь до того безграмотным и высокопарным аргументом, что я видел, что заставить его согласиться со мною нельзя, иначе как объяснив ему всю теорию музыки с самого начала, что было бы слишком долго. Я помню, у нас был разговор по тому случаю, что, не помню, в какой пьесе Васенька имитацию в басу назвал фугой.

— Послушай, как хорошо я проделал фугу.

— Так это не фуга, а имитация,— говорю я.

— Вечно ты споришь, ну как же не фуга. Вот тебе *gondo* Бетховенской сонаты, разве это не фуга, ну и моя точно то же. Ну, имитация,— прибавил он, видя, что я не соглашаюсь,— только это разные названия одному и тому же.

— Нет, не одно и то же, потому что у тебя мотив имеет одно основание тонику как в теме, так и в подражании, а там сначала мотив имеет основанием тонику, а потом доминанту.

¹ «Она исполнила чудесную органную пьесу» или «трогательную бемольную мелодию» (*фр.*)

² большая часть публики была на их стороне (*фр.*)

— Ну, началось — *des grands mots vide de sens*¹. Я ничего не понимаю, что ты толкуешь. Какое отношение имеет тут *le ton dominant*?²

— *Le ton dominant c'est le ton mineur*³.

— Ну так что ж?

Я замолчал, и Васенька был убежден, что я, а не он говорил слова без смысла, и что я виноват, что он меня не понимает, и что я про доминанту сказал только, чтобы пощеголять словом.

Шарлатанство в чем ужасно, что они некоторые музыкальные термины присвоили в свой язык и понимают их совсем наыворот, например, fuga у некоторых значит «avec fugue»⁴ и т.д., одним словом, так же переврали, как из «négligé»⁵ вышло «негляже», из «promener»⁶ — «проминать».

Разговор шел довольно вяло. Ежели бы другой человек, более беспечного характера, был на моем месте, он, верно, умел бы оживить его; но меня не оставляла мысль, которую выразил В., что они думают: «зачем он к нам приехал?» Допрашивали меня о том, в каком я классе, на что я отвечал, что в третьем курсе; спрашивали, что *учат* у нас, я сказал, что математику; спрашивали, не у нас ли учит профессор Мит., я отвечал утвердительно, что он читает дифференциальное исчисление, а Ив. интегральное, а Эт. физику, а Н. астрономию. «Но кто же математику-то читает?» — спросила хозяйка. По этому вопросу я заключил, что она весьма ученая дама, но не нашел ответа.— Притом же мне казалось, что надо бы дать разговору другой оборот; а то он похож стал на книжку с вопросами и ответами, и, верно, по моей вине, думал я; но что спросить у людей, которых в первый раз вижу? Я попробовал говорить о городе и его удовольствиях; но хотя и говорил, перемешивая рассказ о жителях довольно остроумными замечаниями, я замечал в глазах слушателей выражение учтвого внимания. Вместе с тем, раз приехавши, я хотел оставить о себе хорошее мнение и в молчании придумывал, чем бы блеснуть; и хотя много в это короткое время пробежало блестящих мыслей в моей голове, я упустил время сказать их. Мне ужасно досадно было видеть, что они чувствуют, что пора бы и ехать мне домой и что я не очень приятный молодой человек, и досадно было, что приличия не позволяют сказать им прямо: «вы не думайте, что я всегда такой дурак, я, напротив, очень не глуп и хороший человек; это только я с первого раза не знаю, что говорить, а то я бываю любезен, очень любезен». Зачем они говорят со мною так, как с мальчиком, и жалким

¹ громкие слова без смысла (*фр.*)

² доминанта? (*фр.*)

³ Доминанта — это минорный тон. (*фр.*)

⁴ «с подъемом» (*фр.*)

⁵ «небрежный» (*фр.*)

⁶ «гулять» (*фр.*)

мальчиком; они, верно, думают, что я смущаюсь от мысли о моем положении; эта мысль всегда мне придавала энергии; а впрочем, пускай их думают, что хотят, мне что за дело, и я взялся за шляпу. Но в это время в комнату вошла Л.А. (она ходила гулять с сестрой) и за ними здешний молодой человек. Л.А. с детским удивлением посмотрела на меня, когда ей сказали, кто я, и сейчас, снимая шляпку, назвала меня «*mon cousin*» и стала что-то рассказывать как давно знакомому человеку. Доброта ли это или глупость, не знаю, но я ее полюбил за это.

Молодой человек, которого я прежде встречал и знал за дурака, был недавно представлен в их дом, но, несмотря на это, вошел так развязно, о погоде и о обществе, о тех же самых предметах, о которых и я принужден был говорить, говорил с таким жаром, что с ним, как я заметил, говорили без всякого принуждения. Он спорил о погоде, доказывал что-то, приводил примеры из прошлого года, и так громко, что из другой комнаты непременно захотелось бы послушать этот занимательный разговор.

«Неужели,— думал я,— этим преимуществом передо мной он обязан своей глупости, тому, что у него в голове ничего другого нет, а что я не могу говорить о погоде и думать о ней — я в это время обыкновенно думаю о другом; поэтому не говорю от души».

Л.А. в это время, разговаривая со мной о жизни в этом городе, дала мне заметить, что они знакомы почти со всем здешним обществом. Эта новость для меня была неприятна; мне казалось сначала, что она никого не знает и что я буду ее ресурсом, но теперь я боялся, что она, как и многие другие предметы моей страсти, пропадет для меня в этом светском кругу, к которому я никогда не мог привыкнуть. Я представил уже себе ее на бале губернатора рука об руку с племянницей Корндта, против них Исленева, который во время отдыха между танцами ходит задом.— Надо сказать, что тогда уже я никак не решился бы подойти к кей. Эти два лица были для меня хуже всякого пугала; я был представлен К., но потом как-то забыл ей поклониться, в другой раз поклонился, она не видала, и я совсем перестал кланяться, но зато стал всегда обходить ее и бегать, что и вошло в привычку. Г-ну Исленеву я раз поклонился, и, хотя он смотрел в мою сторону, не отдал мне поклона; с тех пор я не то чтобы возненавидел его, а мне неловко на него смотреть, и я удаляюсь от него.— Чтобы удержать Л.А., которая мне очень понравилась, на сколько можно, я просил ее *de m'accorder une contredanse*¹ на первом бале. Она не представила никаких возражений, но только покраснела. Я покраснел еще больше и испугался своего поступка. Хотя и не оправившись от смущения, я раскланялся и вышел довольно удачно, но в зале зацепил за полосуху и чуть не упал. Это увеличило мое смуще-

¹ согласиться протанцевать со мной кадрили (*фр.*)

ние, и я, уходя, до передней говорил несвязные слова вслух.— Надевая шинель, я услышал голос хозяйки и затем шаги хозяина (я догадался, что она заметила ему, что надо было меня проводить). Он догнал меня в передней и просил не забывать их, но в тоне его не было радушия, к которому он, судя по лицу, должен был быть способен. Как ни глупа была мысль, что он не желает меня видеть, потому что я как будто намеревался волочиться за его свояченицей, она мелькнула в моей голове. Эта мысль довела мое смущение до такой степени, что хозяину, видно, было очень тяжело говорить со мною, и что, надев шляпу как-то на бок, а шинель почти навыворот и спотыкнувшись еще, я весь в поту, с слезами на глазах, совершенно неестественно выскочил на улицу. Как ужасно и сильно я страдал в подобные минуты, описать невозможно. Это на меня находило днями, и это похоже на болезнь. Были такие дни, в которые малейшая вещь могла меня довести до такого смущения, от которого я плакал.

Отчего бы это? Когда сконфужен, Бог знает, откуда берутся столы и полосухи, о которые спотыкаешься. Будь дома я один, я способен сделать 1000 самых замысловатых прыжков посреди расставленных кеглей, не зацепив ни одну и ни разу не споткнувшись.

ИСТОРИЯ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

Пишу я историю вчерашнего дня, не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен, скорее мог назваться замечательным, а потому, что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления, хотя темных, неясных, но не менее того понятных душе нашей, проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что не достало бы чернил на свете написать ее и типографшиков напечатать. [С какой стороны ни посмотри на душу человеческую, везде увидишь беспредельность, и начнутся спекуляции, которым конца нет, из которых ничего не выходит и которых я боюсь.] К делу.

Встал я вчера поздно, в 10 часов без четверти, а все оттого, что лег позже 12-ти. (Я дал себе давно правило не ложиться позже 12-ти, и все-таки в неделю раза 3 это со мной случается); впрочем, есть такие обстоятельства, в которых я ставлю это не в преступление, а в вину; обстоятельства эти различны; вчера было вот какого рода.

Здесь прошу извинить, что я скажу, что было третьего дня: ведь пишут романисты целые истории о предыдущей генерации своих героев.

Я играл в карты; но нисколько не по страсти к игре, как бы это могло казаться; столько же по страсти к игре, сколько тот, кто танцует польский по страсти к прогулке. Ж.-Ж. Руссо в числе всех тех вещей, которые он предлагал и которых никто не принял, предлагал в обществе играть в бильбоке, для того чтобы руки были заняты; но этого мало, нужно, чтобы в обществе и голова была занята или, по крайней мере, имела такое занятие, при котором можно бы было говорить или молчать. Такое занятие у нас и придумано — карты. Люди старого века жалуются, что «нынче разговора вовсе нет». Не знаю, какие были люди в старом веке (мне кажется, что всегда были такие же), но разговору и быть никогда не может. Разговор как занятие — это самая глупая выдумка. Не от недостатка ума нет разгово-

ра, а от эгоизма. Всякий хочет говорить о себе или о том, что его занимает; ежели же один говорит, другой слушает, то это не разговор, а преподавание. Ежели же два человека и сойдутся, занятые одним и тем же, то довольно одного третьего лица, чтобы все дело испортить: он вмешается, нужно постараться дать участие и ему, вот и разговор к черту.

Бывают тоже разговоры между людьми, которые заняты одним, и никто им не мешает, но тут еще хуже: каждый говорит о том же по своей точке зрения, перенося все на свою или меряя по своей мерке, и чем более продолжается разговор, тем более отдаляется один от другого, до тех пор пока каждый увидит, что он уже не разговаривает, а проповедует с не доступной никому, кроме его, вольностью, выставляя себя примером, а другой его не слушает и делает то же. Катали ли вы яйца на Святой неделе? Пустите два яйца одинакие по одному лубку, но у каждого носок в свою сторону. И покатаются они сначала по одному направлению, а потом каждое в ту сторону, в которую носочек.— Есть в разговоре, как и в катанье яиц, шлюпики, которые катятся с шумом и не далеко, есть востроносые, которые Бог весть куда занесутся; но нет двух яиц, исключая шлюпиков, которые бы покатались в одну сторону. У каждого свой носок.

Я не говорю о тех разговорах, которые говорятся оттого, что неприлично было бы не говорить, как неприлично было бы быть без галстука.— Одна сторона думает: ведь вы знаете, что мне никакого дела нет до того, о чем я говорю, но нужно; а другая: говори, говори, бедняжка,— я знаю, что необходимо.

Это уже не разговор, а то же, что черный фрак, карточки, перчатки,— дело приличия.

Вот почему я и говорю, что карты хорошая выдумка. Во время игры можно поговорить тоже и потешить самолюбие, сказать красивое словцо, не быв обязанным продолжать на тот же лад, как в том обществе, где только разговор.

Надо приберегать последний заряд ума на последний круг, в то время как берешься за шляпу: вот время разразиться всем запасом. Как лошадь на приз. Иначе покажешься бледен и беден; и я замечал, что люди не только умные, но которые могут блеснуть в свете, теряли от недостатка в постепенности. Ежели сгоряча, пока не надоело, говоришь, а потом от скуки не хочется и отвечать, так и уйдешь; последнее впечатление останется, и скажут: «Как он тяжел...» Когда же в карты играют, этого нет, можно молчать не предосудительно.

Притом же женщины (молодые) играют, стало быть, чего лучше желать, чтобы 2–3 часа быть подле той женщины. А ведь ежели есть женщина, этого за глаза довольно.

Так вот, я играл в карты, садился справа, слева, напротив, и везде было хорошо.

Такого рода занятие продолжалось до 12 часов без четверти. Три роберта кончились. Отчего эта женщина любит меня (как бы мне хо-

телось здесь поставить точку) приводить в замешательство, и без того уже я не свой при ней; то мне кажется, что у меня руки очень нечисты, то сижу я нехорошо, то мучает меня прыщик на щеке именно с ее стороны.

Впрочем, кажется, она ни в чем не виновата, а я сам всегда не в своей тарелке с людьми, которых я или не люблю, или очень люблю. Отчего бы это? От того, что одним хочешь показать, что не любишь, а другим, что любишь; а показать то, что хочешь, очень трудно. У меня всегда выходит наыворот; хочешь быть холоден, но потом кажется это уже слишком, и сделаешься слишком приветлив с людьми, которых любишь и любишь хорошо, но мысль, что они могут думать, что любишь скверно,— сбивает, и делаешься сух и резок.

Она для меня женщина, потому что она имеет те милые качества, которые их заставляют любить, или, лучше, ее любить, потому что я ее люблю; но не потому, чтобы она могла принадлежать мужчине. Это мне в голову не приходит. У нее дурная привычка ворковаться с мужем при других, но мне и дела до этого нет; мне все равно, что она целовала бы печку или стол,— она играет с мужем, как ласточка с пушком, потому что душа хорошая и от этого веселая.

Она кокетка; нет, не кокетка, а любит нравиться, даже кружить голову; я не говорю кокетка, потому что или это слово нехорошо, или понятие, с ним связанное. Называть кокетством показывать голое тело, обманывать в любви — это не кокетство, а это наглость и подлость. Нет, а желать править и кружить головы, это прекрасно. Никому вреда не делает, потому что Вертеров нету, а доставляет себе и другим невинное удовольствие. Вот я, например, совершенно доволен, что она мне нравится, и ничего больше не желаю. Потом, есть умное и глупое кокетство: умное — такое, которое незаметно и не поймает преступника на деле; глупое — напротив: ничего не скрыто, и вот как оно говорит: «Я собой не очень хороша, но зато какие у меня ноги! Посмотрите: видите? что, хороши?» — «Ноги у вас, может быть, хороши, но я не заметил, потому что вы показывали». Умное говорит: «Мне совершенно все равно, смотрите ли вы или нет; мне жарко, я сняла шляпу». — «Все вижу». — «А мне что за дело». У нее и невинное, и умное.

Я посмотрел на часы и встал. Удивительно: исключая, как когда я с ней говорю, я никогда не видал на себе ее взгляда, и вместе с тем она видит все мои движения. «Ах, какие у него розовые часы!» Меня очень оскорбило, что находят мои брегетовские часы розовыми, мне так же обидно показалось, ежели бы мне сказали, что у меня розовый жилет. Должно быть, я приметно смутился, потому что когда я сказал, что это, напротив, прекрасные часы, она, в свою очередь, смутилась.

Должно быть, ей было жалко, что она сказала вещь, которая меня поставила в неловкое положение. Мы оба поняли, что смешно, и улынулись. Очень мне было приятно вместе смутиться и вместе улыбнуться. Хотя глупость, но вместе.— Я люблю эти таинственные

отношения, выражающиеся незаметной улыбкой и глазами, и которых объяснить нельзя. Не то чтобы один другого понял, но каждый понимает, что другой понимает, что он его понимает, и т.д.

Хотелось ли ей кончить этот милый для меня разговор, или посмотреть, как я откажусь, и знать, откажусь ли я, или просто еще играть: она посмотрела на цифры, написанные на столе, провела мелком по столу, нарисовала какую-то не определенную ни математикой, ни живописью фигуру, посмотрела на мужа, потом между им и мной и сказала: «Давайте еще играть три роберта». Я так был погружен в рассматривание не этих движений, но всего, что называют *charme*¹, который описать нельзя, что мое воображение было очень далеко и очевидно не поспело, чтобы облечь слова мои в форму удачную; я просто сказал: «Нет, не могу». Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться,— то есть не весь я, а одна какая-то частица меня. Нет ни одного поступка, который бы не осудила какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу: что за беда, что ты ляжешь после 12, а знаешь ли ты, что будет у тебя другой такой приятный вечер. Должно быть, эта частица говорила очень красноречиво и убедительно (хотя я не умею передать), потому что я испугался и стал искать доводов. Во-первых, удовольствия большого нет, сказал я: тебе вовсе она не нравится, и ты в неловком положении; потом ты уже сказал, что не можешь, и ты потерял во мнении...

— *Comme il est aimable, ce jeune homme*².

Эта фраза, которая последовала сейчас за моей, прервала мои размышления. Я стал извиняться, что не могу; но так как для этого не нужно думать, я продолжал рассуждать сам с собою: Как я люблю, что она меня называет в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я бы любил и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко звать меня по имени, по фамилии и по титулу. Неужели это от того, что я... «Останься ужинать»,— сказал муж. Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости. Мне очень стало досадно, и я начинал было порядком журить самого себя, когда меня развлекло весьма приятное обстоятельство. Она с большим вниманием нарисовала что-то, чего я не видал, подняла мелок немного выше, чем бы было нужно, положила его на стол, потом, упершись руками на диван, на котором сидела, и передвигаясь со стороны на другую, придвинулась к самой спинке и подняла головку — головку с тонким и кругловатым очерком лица, черными, полузакрытыми, но энергическими глазами, с узеньким и острым, острым носиком и с таким ртом, который с глазами составлял одно

¹ очарование (*фр.*)

² Как он любезен, этот юноша (*фр.*)

и всегда выражал что-нибудь новое. В эту минуту, как сказать, что он выражал? Была и задумчивость, и насмешка, и болезненность, и желание удержаться от смеха, и важность, и каприз, и ум, и глупость, и страсть, и апатия, и еще мало ли что он выражал. Немного погодя муж вышел, должно быть, приказать ужин.

Когда меня оставляют одного с ней, мне всегда делается страшно и тяжело. Когда я провожаю глазами тех, которые уходят, мне так же больно, как в 5-й фигуре: я вижу, как дама моя переходит на другую сторону и я должен оставаться один. Я уверен, что Наполеону не так больно было видеть, как саксонцы при Ватерлоо перешли к неприятелю, как мне в первой юности было больно смотреть на эту жестокую эволюцию. Средство, которое я употребляю в кадрили, употребляю я и при этом случае: я делаю, как будто не замечаю, что я один и даже теперь разговор, который был начат до его ухода, кончился; я повторил последние слова, сказанные мною, прибавив только: «так, стало быть», она повторила свои, прибавив: «да»; но вместе с тем тут же завязался другой, неслышный разговор.

Она. Я знаю, зачем вы повторяете то, что уже сказали: вам неловко быть одному, и вы видите, что мне неловко,— так чтобы казаться нам занятыми, вы заговорили. За это внимание вас очень благодарю, но можно бы сказать что-нибудь поумнее. *Я.* Это правда, ваше замечание верно, но я не знаю, отчего вам неловко; неужели вы думаете, что ежели вы одни, то я стану вам говорить такие вещи, которые будут вам неприятны? И чтобы доказать вам, как я готов жертвовать своими удовольствиями для вас, что как мне ни приятен наш теперешний разговор, я стану говорить громко. Или вы начинайте. *Она.* Ну, давайте!

Я только что приводил рот в порядок, чтобы сказать какую-нибудь такую вещь, при которой можно бы было думать об одном, а разговаривать о другом, как она начала разговор громкий, который, по-видимому, мог бы продолжаться долго; но в таком положении самые занимательные вопросы падают, потому что продолжается *тот* разговор. Сказавши по фразе с каждой стороны, мы замолчали, попробовали еще говорить, опять замолчали. *Тот разговор.* *Я.* Нет, никак нельзя говорить, так как вам, я вижу, неловко, лучше бы, если б воротился ваш муж. *Она* (громко). Человек, где Иван Иванович? Попроси их сюда.— Ежели бы кто не верил, что есть такие тайные разговоры, то вот доказательство.

«Я очень рад, что мы теперь одни,— продолжал я тем же способом разговаривать,— я вам заметил уже, что вы меня часто оскорбляете своим недоверием; ежели я нечаянно дотронусь до вашей ножки своей ногой, вы сейчас спешите извиняться и не даете мне времени сделать того же, когда я только что, разобрав, что это действительно ваша нога, хотел извиниться. Я за вами не могу поспеть, а вы думаете, что я не деликатен».

Муж пришел. Мы посидели, поужинали, поговорили, и я поехал домой в половине первого.

В САНЯХ

Теперь весна, 25-е марта. Ночь тихая, ясная; молодой месяц виденся напротив из-за красной крыши большого белого дома; снегу уже мало.

«Подавай, N!..»

Одни мои ночные санки были у подъезда, да и Дмитрий очень хорошо и без возгласа лакея слышал, что я выхожу, потому что слышно было его чмоканье, как будто он целовал кого-нибудь в темноте, и которое, по моим предположениям, имело целью заставить маленькую лошадку сдвинуть сани с камней мостовой, по которой неприятно скрипели и визжали подреза. Наконец санки подъехали, услужливый лакей взял меня под локоть и повел сесть же; ежели бы он не держал меня, я бы прямо прыгнул в сани, теперь же, чтобы не оскорбить его, я пошел тихо и продал ледочек подернувшейся лужи и замочил ноги. «Благодарствуй, брат. Дмитрий, морозит?» — «Как же можно-с; теперь все по ночам заморозки пойдут-с».

«Как глупо! Зачем я спрашиваю?» Неправда, ничего глупого нет: тебе хочется говорить, быть в сношениях с людьми, потому что ты весел. Отчего же я весел? За полчаса ежели бы я сел в сани, я бы не стал разговаривать. А оттого, что ты довольно хорошо говорил перед отъездом, оттого, что ее муж тебя вышел провожать и сказал: «Когда ж мы опять увидимся?» Оттого, что как только лакей тебя увидел, он сейчас встрепенулся, и несмотря на то, что пахло от него петрушкой, он с удовольствием тебе услужил. Я ему как-то дал полтинник. Во всех наших воспоминаниях середина выпадает, а остается первое и последнее впечатление, особенно последнее. Поэтому прекрасный обычай хозяину дома провожать гостя до двери, у которой, обыкновенно устроив ноги винтом, нельзя хозяину не сказать чего-нибудь любезного гостю; несмотря ни на какую короткость отношений, этим правилом пренебрегать не надо. Например, «когда мы опять увидимся» ничего не значит, но невольно из самолюбия гость переведет так. *Когда* значит: пожалуйста поскорее; *мы* значит: я и жена, которой тоже очень приятно тебя видеть; *опять* значит: мы нынче провели вечер вместе, но с тобой нельзя соскучиться; *увидимся* значит: еще раз нам сделай удовольствие; и гостю остается приятное впечатление. Также необходимо, особенно в домах не хорошо устроенных, где не все лакеи, особенно швейцар (это самое важное лицо, потому что первое и последнее впечатление), учтивы, давать денег людям. Они вас встречают и провожают, как человека домашнего, и услужливость их, источник коей полтинник, переводишь так: вас здесь все любят и уважают, поэтому мы стараемся, угождая господам, угодить вам. Может быть, только и любит и уважает лакей; но все-таки приятно. Что за беда, что ошибаешься? ежели бы не было ошибок, то не было бы...

«Аль белены объелся!.. Чеерт!..»

Мы с Дмитрием тихохонько и скромнехонько ехали каким-то бульваром и держимся ледочком правой стороной, как вдруг какой-то «леший» (Дмитрий так назвал после его) в карете парой столкнулся с нами. Разъехались, и только отъехавши шагов десять, Дмитрий сказал: «Вишь, леший, правой руки не знает!»

Не думайте, чтобы Дмитрий был робкий человек или не скор на ответ. Нет, он, напротив, хотя был небольшого роста, с бритой бородой (но с усами), он глубоко сознавал собственное достоинство и строго исполнял долг свой, но причиной в этом случае его слабости были два обстоятельства. 1) Дмитрий привык ездить на экипажах, внушающих уважение, теперь же мы ехали на пошевеньках, запряженных очень маленькой лошадкой в весьма длинных оглоблях, так что даже кнутом с трудом можно было достать ее, и лошадка эта заплетала жалко задними ногами, что в зрителях посторонних могло возбудить насмешку, поэтому тем более обстоятельство это было тяжело для Дмитрия и могло уничтожить чувство собственного достоинства. 2) Должно быть, вопрос мой: «Морозит ли?» — напомнил ему такого же рода вопросы осенью в отъезде. Он охотник; охотнику есть о чем замечаться — и забыть ругнуть впазд кучера, который не держит правую руку. У кучеров, как и у всех, тот прав, кто с большей уверенностью и прежде крикнет на другого. Есть исключения; например, ванька никак не может крикнуть на карету, одиночка, даже щегольская, с трудом может крикнуть на четверню; впрочем, все зависит от характера, от обстоятельств времени, а главное, от личности кучера, от направления, в котором едут. Я один раз видел в Туле разительный пример влияния, которое может иметь один человек на других дерзостью.

Было катанье на масленице: сани парами, четвернями, кареты, рысаки, шелковые салопы — все тянулись цепью по Киевской, — пешеходов кучи. Вдруг крик с поперечной улицы: «Держи, эй, держи лошадь-то! Пади, эй!» — громким, самоуверенным голосом. Невольно пешеходы посторонились, пары и четверни придержали. Что ж вы думаете? Оборванный извозчик, стоячи на избитых санишках, размахивая над головой концами вожжей, на скверной кляче с криком продрал на другую сторону, покуда никто не опомнился. Даже будочки и то расхохотались.

Ежели едут экипажи по одному направлению, то распря бывает продолжительнее: тот, кто обидел, старается уехать или отстать, другой же иногда успевает доказать ему неправоту поступка и берет верх; впрочем, когда едут в одну сторону, то перевес на стороне того, чьи лошади резвее.

Дмитрий хотя человек азартный и ругнуть любит, но сердце имеет доброе, скотину жалеет. Кнут он употребляет не как средство побуждения, но исправления, то есть он не погоняет кнутом: это несообразно с достоинством городского кучера, но ежели рысак не стоит у подъезда, он ему даст «раза». Я это и сейчас имел случай за-

метить: переезжая с одной улицы на другую, лошадка наша насилу вытащила нас, и я заметил по отчаянным движениям спины, рук и чмоканию, что он был в неприятном положении. Ударить кнутом,— он к этому не привык. Ну, а что, ежели бы лошадь остановилась? Он не перенес бы этого, хотя тут нельзя было бояться шутника, который бы сказал: «Аль кормить?» Вот доказательство, что Дмитрий действует более по сознанию долга, чем из тщеславия.

Я много еще думал об многообразных отношениях кучеров между собою, об их уме, находчивости и гордости. Должно быть, при больших съездах они узнают друг друга, с кем сталкивались, и переходят из враждебных в миролюбивые отношения. Все интересно на свете, особенно отношения тех классов, к которым мы не принадлежим.

Все эти отношения очень удобно прикладываются к отношениям вообще в жизни. Интересно тоже для меня отношения господ между собою и кучерами при такого рода столкновениях. «Эка дрянь, куда прешь?» Когда это обращается ко всему экипажу, невольно седок старается принять вид серьезный, или веселый, или беззаботный,— одним словом, такой, который он прежде не имел; заметно, что ему приятно бы было, ежели бы было наоборот. Заметил я, что господа с усами в особенности сочувствуют обидам, нанесенным их экипажу.

— Кто едет? — Это прокричал будочник, который нынче утром при мне очень был оскорблен тоже кучером.

У подъезда против этой самой будки стояла карета; славный с рыжей бородой кучер, уложив под себя вожжи и опершись локтями на колена, грел спину на солнце, как было видно, с большим удовольствием, потому что даже почти совсем зажмурился. Напротив него будочник похаживал на площадке перед будкой и концом алебарды поправлял доску над лужей перед своим балконом. Вдруг ему не понравилось, или что карета тут стоит, или завидно стало, что кучеру так приятно греться, или хотел разговориться — он прошел по своему балкончику, заглянул в переулок, потом, стукнув алебардой по доске: «Эй ты, куда стал? Дорогу загородил». Кучер немного отщурил левый глаз, посмотрел на будочника и опять закрыл. «Съезжай! тебе, что ли, говорят!» Никакого внимания. «Аль не слышишь! сворачивай, говорят!» Будочник, видя, что нет ответа, прошел по балкончику, еще заглянул в переулок и, видно, собирался сказать что-нибудь разительное. В это время кучер приподнялся, поправил под собой вожжи и, повернувшись с заспанными глазами к будочнику: «Что зеваешь? Тебе, дураку-то, и ружья в руки не давали, а туда же кричит!».

— Подавай!

Кучер проснулся и подал.

Я посмотрел на будочника; он что-то пробормотал и сердито посмотрел на меня; ему, видно, неприятно было, что я слышал и смотрю на него. Я знаю, что ничем больше нельзя оскорбить человека в глу-

бине, как тем, чтобы дать понять ему, что заметил, но говорить про это не хочешь; поэтому я сконфузился, пожалел будочника и пошел прочь.

Люблю я в Дмитриии тоже способность разом назвать человека; меня это забавляет. «Пади, шапка, служба, борода, пади, салазки, пади, прачка, пади, коновал, пади, фигура, пади, мусье». Удивительно умеет русский человек найти обидное слово другому, которого он в первый раз видит, не только человеку, сословию: мещанин — «кошатник», будто бы мещане кошек обдирают; лакей — «лакало, лизоблюд». Мужик — «Рюрик», отчего, не знаю. Кучер — «гужеед» и т.д.— всех не перечтешь. Повздорь русский человек с человеком, которого первый раз видит, он сейчас окрестит его таким именем, которым заденет за живую струну: кривой нос, косой черт, толстогубая бестья, курносый. Надо испытать, чтобы знать, как верно и метко всегда попадают прямо в больное место. Я никогда не забуду обиды, которую заочно получил. Один русский человек говорил про меня: «Ах, он, редкозубый!» Надо знать, что у меня зубы чрезвычайно дурны, испорчены и редки.

ДОМА

Я приехал домой. Дмитрий заторопился слезать, чтобы отворить ворота, я тоже, чтоб пройти в калитку прежде его; это всякий раз так бывает: я тороплюсь войти, потому что привык уже, он торопится подвезти меня к крыльцу, потому что он так привык. Я долго не мог дозвониться; свечка сальная очень нагорела, и Пров, мой лакей-старичок, спал. Покуда я звонил, вот о чем я думал: отчего мне противно входить домой, где и как бы я ни жил? противно видеть того же Прова на том же месте, ту же свечку, те же пятны на обоях, те же картины, так что даже грустно делается?

Особенно надоедают мне обои и картины, потому что они имеют претензию на разнообразие, а стоит посмотреть на них два дня, они хуже белой стены. Это неприятное чувство, входя домой, должно быть, оттого, что не рожден человек, чтобы в двадцать два года жить холостяком. То ли бы было, ежели бы можно было спросить Прова, который вскочил и, стуча сапогами (верно, чтобы показать, что он давно слышит и исправен), отворяет дверь: «Барыня почивает?» — «Никак нет, в гостиной книжку читают». То ли бы дело: взял бы я обеими руками за головку, подержал бы перед собой, посмотрел бы, поцеловал бы, и опять посмотрел, и опять поцелуй; и не скучно бы было ворочаться домой. Теперь один вопрос, который я могу сделать Прову, чтобы показать ему, что я заметил, что он никогда не спит, когда меня дома нет, это: «Был кто-нибудь?» — «Никого». Всякий раз, когда бывает такого рода вопрос, ответ Пров делает жалким голосом, и всякий раз мне хочется ему сказать: «Зачем же ты говоришь

жалким голосом? Я очень рад, что никто не был». Но я удерживаюсь: Пров мог бы оскорбиться, а он человек почтенный.

Я обыкновенно вечером пишу дневник, франклиновский журнал и ежедневные счета.

Нынешний я ничего не издержал, потому что ни гроша нету, так нечего писать в счетную книгу.

Дневник и журнал — другое дело: нужно бы было писать; но поздно, отложу до завтра.

Мне часто случалось слышать слова: «пустой человек, живет без цели»; и сам даже я это часто говорил и говорю, не от того чтобы я повторял чужие слова, но я чувствую в душе, что это нехорошо и что нужно иметь в жизни *цель*.

Но как же это сделать, чтобы быть «полным человеком и жить с целью»? Задать себе цель никак нельзя. Это я пробовал сколько раз, и не выходило. Надо не выдумать ее, но найти такую, которая бы была сообразна с наклонностями человека, которая бы и прежде существовала, но которую я только бы сознал. Такого рода цель я, мне кажется, нашел: всестороннее образование и развитие всех способностей. Как одно из главных сознанных средств к достижению — дневник и франклиновский журнал. — В дневнике я каждый день исповедуюсь во всем, что я сделал дурно. В журнале у меня по графам расписаны слабости — лень, ложь, обжорство, нерешительность, желание себя выказать, сладострастие, мало *fierité*¹ и т.д., всё вот такие мелкие страстишки: в этот журнал я из дневника и выношу свои преступления крестиками по графам.

Я стал раздеваться и думал: «Где же тут всестороннее образование и развитие способностей, добродетели, а разве этим путем дойдешь ты до добродетели? Куда поведет тебя этот журнал, который служит тебе только указателем слабостей, которым конца нет, которые всякий день прибавляются и которыми, ежели бы ты даже уничтожил их, не достигнул бы добродетели? Ты только обманываешь себя и играешь этим, как дитя игрушкой. — Разве достаточно какому-нибудь художнику знать те вещи, которых не нужно делать, чтобы быть художником? Разве можно отрицательно, удерживаясь только от вредного, достигнуть чего-нибудь полезного? Земледельцу не достаточно выполоть поле, надо вспахать и посеять его. Сделай себе правила добродетели и следуй им». Это говорила частица ума, которая занимается критикой.

Я задумался. Разве достаточно уничтожить причину зла, чтоб было добро? Добро положительно, а не отрицательно. Оттого именно и достаточно, что добро положительно, а зло отрицательно; зло можно уничтожить, а добро нет. Добро всегда в душе нашей, и душа добро; а зло привитое. Не будь зла, добро разовьется. Сравнение с

¹ достоинства (*фр.*)

земледельцем не годится: ему надо посеять и пахать, в душе же добро уже посеяно. Художнику нужно упражняться, и он достигнет искусства, ежели он не будет сообразоваться с правилами отрицательными, но ему нужна свобода от произвола. Для упражнения в добродетели не нужно упражнений — упражнения: жизнь.

Холод — отсутствие тепла. Тьма — отсутствие света. Зло — отсутствие добра. Отчего человек любит тепло, свет, добро? Оттого, что они естественны. — Есть причина тепла, света и добра — солнце, Бог; но нет солнца холодного и темного, нет злого Бога. Мы видим свет и лучи света, ищем причину и говорим, что есть солнце: нам доказывает это и свет, и тепло, и закон тяготения. Это в мире физическом. В моральном мире видим добро, видим лучи его, видим, что такой же закон тяготения добра к чему-то высшему и что источник — Бог.

Сними грубую кору с бриллианта, в нем будет блеск. Откинь оболочку слабостей, будет добродетель...

Но неужели только эти мелочи, слабости, которые ты пишешь в журнале, мешают тебе быть добрым? Нет ли больших страстей? И потом, откуда такое множество каждый день прибавляется: то *обман себя*, то *трусость* и т.д., прочного же нет исправления, во многом никакого хода вперед. Это заметила опять замена негативной критики. Правда, все слабости, которые я написал, можно привести к трем разрядам, но так как каждая имеет много степеней, то комбинаций может быть без числа: 1) гордость, 2) слабость воли, 3) недостаток ума. Но нельзя все слабости относить отдельно к каждой, ибо они происходят от соединений. Первые два рода уменьшились, последняя, как независимая, может подвинуться только со временем. Например, нынче я солгал, как приметно было, без причины: меня звали обедать, я отказался, потом сказал, что не могу от того, что у меня урок. «Какой?» — «Английский язык», когда у меня была гимнастика. Причины: 1) мало ума, что вдруг не заметил, что глупо солгать, 2) мало твердости, что не сказал, отчего, 3) гордость глупая, полагая, что аглицкий язык скорее может быть предлогом, чем гимнастика.

Разве добродетель состоит в том, чтобы исправляться от слабостей, которые тебе в жизни вредят? Кажется, добродетель есть самоотвержение. — Неправда. Добродетель дает счастье потому, что счастье дает добродетель. Всякий раз, когда я пишу дневник откровенно, я не испытываю никакой досады на себя за слабости; мне кажется, что ежели я в них признался, то их уже нет.

Приятно. Я помолился и лег спать. Вечером я лучше молюсь, чем утром. Скорее понимаю, что говорю и даже чувствую; вечером я не боюсь себя, утром боюсь — много впереди. Прекрасная вещь сон во всех фазах: приготовление, засыпание и самый сон. Только что я лег, я думал: какое наслаждение вернуться потеплее и сейчас забыться; но только что я стал засыпать, я вспомнил, что приятно засыпать, и

очнулся. Все наслаждения тела уничтожаются сознанием. Не надо сознавать; но я сознал, что сознаю, и пошло, и пошло; и заснуть не могу. Фу, досада какая! Для чего дал нам Бог сознание, когда оно только мешает жизни? Для того, что, напротив, моральные наслаждения глубже чувствуются, когда они сознаны. Рассуждая так, я повернулся на другую сторону и раскрылся. Какое неприятное чувство в темноте раскрыться. Все кажется: вот схватит меня кто-то или что-то или тронет холодным или горячим раскрытую ногу. Я поскорее закрылся, подвернул под себя со всех сторон одеяло, спрятал голову и стал засыпать, рассуждая вот как.

[«Морфей, прими меня в свои объятия». Это божество, которого я охотно бы сделался жрецом. А помнишь, как обиделась барыня, когда ей сказали: «Quand je suis passé chez vous, vous étiez encore dans les bras de Morphée»¹].

Она думала, что Морфей — Андрей, Малафей. Какое смешное имя!.. А славное выражение: *dans les bras*. Я себе так ясно и изящно представляю положение *dans les bras*, — особенно же ясно самые *bras* — до плеч голые руки с ямочками, складочками и белую, открытую нескромную рубашку. Как хороши руки вообще, особенно ямочка одна есть! Я потянулся. Помнишь, *Saint-Thomas* не велел вытягиваться. Он похож на Дидрикса. Верхом с ним ездили. Славная была травля, как подле станového Гельке атукнул и Налет ловил из-за всех, да еще по колоти. Как Сережа злился. Он у сестры. Что за прелесть Маша — вот бы такую жену! Морфей на охоте хорош бы был, только нужно голому ездить, а то можно найти и жену. Пфу, как катит *Saint-Thomas* — и за всех на угонках уж барыня пошла; напрасно только вытягивается, а впрочем, это хорошо *dans les bras*. Тут, должно быть, я совсем заснул. Видел я, как хотел я догонять барыню, вдруг — гора, я ее руками толкал, толкал — свалилась (подушку сбросил), приехал домой обедать. Не готово; отчего? Василий куражится (это за перегородкой хозяйка спрашивает, что за шум, и ей отвечает горничная девка, я это слушал, потому и это приснилось). Василий пришел, только что хотели все у него спросить, отчего не готово, — видят — Василий в камзоле, и лента через плечо; я испугался, стал на колени, плакал и целовал у него руки; мне было так же приятно, ежели бы я целовал руки у нее, — еще больше. Василий не обращал на меня внимания и спросил: «Заряжено?» Кондитер тульский Дидрихс говорит: «Готово!» — «Ну, стреляй!» Дали залп (ставня стукнула) — и пошли польский, я с Василием, который уже не Василий, а она. Вдруг — о ужас! — я замечаю, что у меня панталоны так коротки, что видны голые колени. Нельзя описать, как я страдал (раскрылись голые колени; я их во сне долго не мог закрыть, наконец закрыл). Но тем не кончилось: идем мы польский, и королева Виртембергская тут; вдруг

¹ Когда я пришел к вам, вы были еще в объятиях Морфея (*фр.*)

я пляшу казачка. Зачем? Не могу удержаться. Наконец принесли мне шинель, сапоги; еще хуже: панталон вовсе нет. Не может быть, чтобы это было наяву; верно, я сплю. Проснулся. Я засыпал — думал, потом не мог более, стал воображать, но воображал связно картины, потом воображение заснуло, остались темные представления; потом и тело заснуло. Сон составляется из первого и последнего впечатления.]

Мне казалось, что теперь под этим одеялом никто и ничто меня достать не может. Сон есть такое положение человека, в котором он совершенно теряет сознание; но так как засыпает человек постепенно, то теряет он сознание тоже постепенно. Сознание есть то, что называют душою; но душою называют что-то единое, между тем как сознаний столько же, сколько отдельных частей, из которых слагается человек. Мне кажется, что этих частей три: 1) ум, 2) чувство, 3) тело. 1) есть высшее, и это сознание есть принадлежность только людей развитых, животные и животноподобные люди не имеют его; оно первое засыпает; 2) сознание чувства, принадлежность тоже одних людей, засыпает после; 3) сознание тела засыпает последнее и редко совершенно. У животных этой постепенности нет; также и у людей, когда они в таком положении, что теряют сознание, после сильных впечатлений или пьяные. Сознание сна будит сейчас.

Воспоминания о времени, которое мы проводим во сне, не происходят из того же источника, из которого происходят воспоминания о действительной жизни,— из памяти, как способности воспроизводить впечатления наши, но из способности группировать впечатления. В минуту пробуждения мы все те впечатления, которые имели во время засыпания и во время сна (почти никогда человек не спит совершенно), мы приводим к единству под влиянием того впечатления, которое содействовало пробуждению, которое происходит так же, как засыпание: постепенно, начиная с низшей способности до высшей. Эта операция происходит так быстро, что сознать ее слишком трудно, и привыкши к последовательности и к форме времени, в которой проявляется жизнь, мы принимаем эту совокупность впечатлений за воспоминание проведенного времени во сне.— Каким образом объяснить то, что вы видите длинный сон, который кончается тем обстоятельством, которое вас разбудило: вы видите, что идете на охоту, заряжаете ружье, подымаете дичь, прицеливаетесь, стреляете, и шум, который вы приняли за выстрел, это графин, который вы уронили на пол во сне. Или вы приезжаете к вашему приятелю N., ждете его, наконец приходит человек и докладывает: N. приехал; это наяву вам говорит ваш человек, чтобы вас разбудить. Чтобы поверить справедливость этого, избави Бог верить снам, которые вам рассказывают те, которые всегда что-нибудь видели, и видели что-нибудь значащее и интересное.

Эти люди от привычки выводить заключения из снов, на основании гадателей, дали себе форму известную, к которой они приводят

все; добавляют из воображения недостающее и выкидывают все то, что не подходит под эту форму.

Например, вам будет рассказывать мать, что она видела, как ее дочь улетела на небо и сказала: «Прощайте, маменька, я за вас буду молиться». А она просто видела, что дочь ее лезла на крышу и ничего не говорила и что эта дочь, когда влезла наверх, сделалась вдруг поваром Иваном и сказала: «А вы не влезете».

А может быть, в воображении их по силе привычки полно слагается то, что они рассказывают, и тогда это служит еще доказательством моей теории о сне.

Ежели хотите поверить, то на себе испытайте: вспомните ваши мысли, представления во время засыпания и просыпания и ежели кто-нибудь видел, как вы спали, и может рассказать вам все обстоятельства, которые могли подействовать на вас, то вы поймете, отчего вы видели то, а не другое. Обстоятельств этих так много, зависящих от сложения, от желудка, от физических причин, что всех не перечтешь. Но говорят, что когда мы видим во сне, что мы летаем или плаваем, это значит: мы растем. Заметьте, отчего один день вы плаваете, другой летаете; вспомните все, и очень легко объясните.

Заметьте тоже, что постепенности во времени воспоминаниям нет. Ежели вы вспоминаете сон, то вы не знаете, что вы видели прежде.

Ежели бы пришлось видеть мой сон кому-нибудь из тех, которые, как я говорил, привыкли толковать сны, вот как бы рассказан был мой сон. «Видела я, что St.-Thomas бегаёт, очень долго бегаёт, и я будто говорю ему: “Отчего вы бегаёте?” — и он говорит мне: “Я ищущу невесту”. Ну вот посмотри, что он или женится, или будет от него письмо».

Во время ночи несколько раз (почти всегда) просыпаешься, но пробуждаются только два низшие сознания души: тело и чувство. После этого опять засыпает чувство и тело — впечатления же, которые были во время этого пробуждения, присоединяются к общему впечатлению сна, и без всякого порядка и последовательности. Ежели проснулось и 3-е, высшее, сознание понятия и после опять засыпаешь, то сон уже разделяется на две половины.

ЕЩЕ ДЕНЬ (НА ВОЛГЕ)

3 июня

Вздумал я из Саратова ехать до Астрахани по Волге. Во-первых, думал я, лучше же, ежели время будет не благоприятное, проехать долже, но не трястись еще 700 верст; притом — живописные берега Волги, мечтания, опасность: все это приятно и полезно может подействовать; воображал я себя поэтом, припоминал людей и героев, которые мне нравились, и ставил себя на их место, — одним словом, думал, как я всегда думаю, когда затеваю что-нибудь новое: вот теперь только начнется настоящая жизнь, а до сех пор это так, предисловьице, которым не стоило заниматься. Я знаю, что это вздор. Сколько раз я замечал, что всегда я остаюсь тот же и не больше поэт на Волге, чем на Воронке, а все верю, все ищу, все дожидаюсь чего-то. Все кажется, когда я в раздумье, делать ли что-либо или нет: вот ты не сделаешь этого, не поедешь туда-то, а там-то и ждало счастье; теперь упустил навеки. Все кажется: вот начнется без меня. — Хотя это смешно, но это заставило меня ехать по Волге в Астрахань. Я прежде боялся, и совестно мне было действовать по таким смешным поводам, но сколько я ни смотрел в прошедшую свою жизнь, я большей частью действовал по не менее смешным поводам. Не знаю, как другие, но я привык к этому, и для меня слова «мелочное, смешное» стали слова без смысла. Где же «крупные, серьезные» поводы?

Пошел я к Московскому перевозу и стал похаживать около лодок и дощаников. «Что, заняты эти лодки? Есть ли свободная?» — спросил я совокупности бурлаков, которые стояли у берега. «А вашей милости чего требуется?» — спросил у меня старик с длинной бородой, в сером зипуне и поярчатой шляпе. «До Астрахани лодку». — «Что ж. Можно-с».

«ВЕРНО ЛИ ЭТО? У НАС ВЕДЬ ЛЮБЯТ...»

Глава I

— Верно ли это? У нас ведь любят петербургские ложные слухи распускать. И от кого вы это слышали, моя милая?

— Помилуйте, Марья Ивановна, я вам ведь говорю, была я у княгини Полянской, к ней молодая княгиня вчера только из Петербурга приехала и рассказывала, что у них только и разговора, что про эту свадьбу. (*С расстановкой.*) La comtesse Lise Bersenieff, la jeune personne la plus recherchée, la plus aimable, le parti le plus brillant de Pétersbourg épouse un какой-то Taramonoff, mauvais genre achevé!¹ Костромской медведь какой-то. В комнату не умеет взойти. Ни родства, ни богатства, ни связей, ничего! И что меня удивляет, так это то, что говорят, оба дяди этого очень хотят: и граф Александр и граф Петр.

Старушка подвинула табакерку с портретом и обтерла стеклушко одним из двух батистовых платков.

— Incroyable...² Ежели это костромские Тарамоновы, так я старика знала, когда мы жили на Мечах, так он езжал к покойнику Этиену и детей приваживал: босоногие бегали. Покойник его любил и ласкал; они хорошей фамилии однако, но бедно жили. Что теперь у них есть, это уж старик нашил, но детям никакого воспитания не дал. Должно быть те, а то есть вологодские, так это не те...

Марья Ивановна Игреньева, урожденная Дамыдова, почтенная дама. Родилась она 50 лет тому назад в Москве от богатых и знатных родителей, их было две сестры и три брата; вышла Марья Ивановна замуж за Игреньева, богатого человека и тоже москвича. Жили они зиму всегда в Москве, где имели большие связи не только с московскою знатью, но и со всем, что было знатного в России, летом в тульской деревне, и жили как в городе, так и в деревне барски. Покойник был в чинах и пользовался всеобщим уважением. Одним словом, дом

¹ Графиня Лиза Берсенева, молодая особа в высшей степени изысканная и милая, самая блестящая партия в Петербурге, выходит за какого-то Тарамонова, в полном смысле дурного тона! (*фр.*)

² Невероятно... (*фр.*)

Игреньевых был вот какой: у приезжего, которого почитали достойным, спрашивали: «Вы уже были у Игреньевых?» или: «Как это вы еще не были у Игреньевых?»

Марья Ивановна овдовела 16 лет тому назад с несколько расстроенным состоянием и с двумя детьми, сыном 15 лет и дочерью, которая была уже замужем.— Марья Ивановна женщина очень умная, или нет, лучше сказать хитрая, несмотря на свою доброту, и умеющая иметь влияние на других и пользоваться общим уважением. Она, должно быть, не была хороша собою; большой орлиный нос в особенности мешал красоте ее; но она была хороша как свежая не столько физически (она говаривала: «Я удивляюсь себе, как могла я перенести столько горестей!»), сколько морально старушка. Она не отставала от моды, сколько могла, сама придумывала, как бы переделать чепчик или мантилию *«по-старушечьи»*.— Она любила свет и свет любил ее; она судила о всем и о всех

ЮНОСТЬ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Гл. 1. ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА

Из положения отчаяния, в которое привело меня мое посрамление в университете, вывели меня надежда на будущее и умственная деятельность. Передо мной открывалось бесконечное моральное совершенство, не подлежащее ни несчастьям, ни ошибкам, и ум с страстностью молодости принялся отыскивать пути к достижению этого совершенства. И это увлечение совершенно утешило меня и изменило мое положение отчаяния в состояние почти постоянного душевного восторга. В Москве я только перечел старые правила, окриковал их и придумал новые подразделения, выводы и соображения. Пристальное занятие этим делом я отложил до Петровского, куда мы скоро переехали все вместе.

Выпросив у отца комнатку во флигеле, где никто не жил, я один, без человека, поселился в ней, так что сам убирал комнату, и никто не мешал мне; и там-то начались для меня эти чудные незабвенные ранние утра от 4 до 8 часов, когда я один сам с собой перебирал все свои бывшие впечатления, чувства, мысли, поверял, сравнивал их, делал из них новые выводы и по-своему перестраивал весь мир божий. Я уже и прежде занимался умозрительными рассуждениями, но никогда я не делал этого с такой ясностью, последовательностью и с таким упоением. Под влиянием совершенно других окружающих меня предметов и — главное — под влиянием этого умственного увлечения, я совершенно забыл свое московское несчастье и был почти счастлив.

Одно из главных стремлений на пути к счастью, вложенных в душу человека, есть стремление к самозабвению, к пьянству. Ежели это не пьянство наслажденья или любви, или труда, то это пьянство гордой умственной деятельности. Я все это время был совершенно пьян от наслаждения копаться в этой девственной земле детских впечатлений и чувств и делать из них новые, совершенно *новые* выводы. Ни семейные дела, ни прогулки, ни рыбные ловли — ничто меня не интересовало. Я в это время заметно охладел ко всем нашим. И я убежден, что выводы, которые я делал, были не только относительно

меня, но положительно новые. Я чувствовал это по тому неожиданному, счастливому и блестящему свету, который вдруг разливалась на всю жизнь вновь открытая истина. Я внутренне чувствовал, что, кроме меня, никто никогда не дошел и не дойдет по этому пути до открытия того, что открывал я. Никому не нужно было будить меня. Часто всю ночь я видел и слышал во сне великие, новые истины и правила, которые днем оказывались вздором, но которые большей частью будили меня. Я вставал, умывался, выкладывал на стол обе тетради, сшитые в четвертушку из 12-ти листов серой бумаги, садился за стол, с удовольствием перелистывал прежде написанное, радовался, как много, и приступал к дальнейшим умствованиям. Но тотчас я чувствовал такой наплыв мыслей, что я вставал и начинал ходить по комнате, потом выходил на балкон, с балкона перелезал на крышу и все ходил, ходил, пока мысли укладывались. Тогда я записывал, и снова делался прилив, и снова я выходил иногда даже на луг и в сад, в любимую мою чащу малины, где делались мои великие философские открытия.

Одна тетрадь была тетрадь правил, в которой сделалось много новых подразделений, другая тетрадь была без заглавия, это была новая философия. Одна была приложение к жизни; другая — отвлечение. Помню, что основание новой философии состояло в том, что человек состоит из тела, чувств, разума и воли, но что сущность души человека есть воля, а не разум, что Декарт, которого я не читал тогда, напрасно сказал *cogito, ergo sum*,¹ ибо он думал потому, что хотел думать, следовательно, надо было сказать: *volo, ergo sum*.² На этом основании способности человека разделялись на волю умственную, волю чувственную и волю телесную. Из этого вытекали целые системы. И помню радость, когда я в согласии выводов находил подтверждение гипотезы. Правила на том же основании подразделялись на правила: 1) для развития воли умственной, 2) воли чувственной и 3) воли телесной. Каждое из этих разделений подразделялось еще на а) правила в отношении к Богу, б) к самому себе и с) к ближнему. Пересматривая теперь эту серую, криво исписанную тетрадь правил, я нахожу в ней забавно наивные и глупые вещи для 16-ти летнего мальчика. Например, там есть правило: не лги никогда, ибо этим, ежели и выиграешь на время в мнении людей, потеряешь потом; или в правилах для развития воли умственной: занимаясь каким-нибудь делом, устремляй на него все свои силы. Но в душе своей я нахожу вместе с тем трогательное воспоминание о том радостном чувстве, с которым я открывал и записывал эти правила. Мне казалось, что теперь уж, когда правило записано, я всегда буду сообразоваться с ним.

Потом в жизни я старался прилагать эти правила, выписывал из них важнейшие и задавал себе, как урок, приучаться к ним. И много,

¹ я мыслю, следовательно я существую (*лат.*)

² я хочу, следовательно я существую (*лат.*)

много других внутренних движений и переворотов произошло со мной в это время; но к чему рассказывать эту грустную по бесплодности, закрытую моральную механику каждой души человеческой.

Кроме того, в это же лето я прочел «Principes philosophiques»¹ Вейса и несколько вещей Руссо и делал на них свои письменные замечания. В голове моей происходила горячечная, усиленная работа. Никогда не забуду сильного, радостного впечатления и того презрения к людской лжи и любви к правде, которые произвели на меня признания Руссо. «Так все люди такие же, как я,— думал я с наслаждением,— не я один, такой урод, с бездной гадких качеств родился на свете. Зачем же они все лгут и притворяются, когда уже все обличены этой книгой?» — спрашивал я себя. И так сильно было в то время мое стремление к знанию, что я уж не признавал почти ни дурного ни хорошего. Одно возможное добро мне казалась искренность как в дурном, так и в хорошем. Рассуждение Руссо о нравственных преимуществах дикого состояния над цивилизованным тоже пришлось мне чрезвычайно по сердцу. Я как будто читал свои мысли и только кое-что мысленно прибавлял к ним.

.....

Одно было нехорошо. Не считая никого достойным понимать мои умствования, я никому не сообщал их и все более и более разобщался и холодел ко всему семейству. Я не только не привязывал себя к жизни новыми нитями любви, я понемногу разрывал те, которые существовали. Я думал, что мне никого не нужно в жизни. Впрочем, это не был эгоизм, это была неопытная гордость молодости. Ежели я хладел к другим, то не потому, чтобы я любил себя. Напротив, я все это время был недоволен собой, не любил себя. Одно, что мне нравилось в себе, это ум, который доставлял мне наслаждения. Но я любил ни себя, ни других, а чувствовал в себе силу любви и любил что-то так, *in's blaue hinein*.² Скоро, однако, эта потребность любви приняла более положительное направление.

ГЛ. 2. ТРОИЦЫН ДЕНЬ

Это было дней 10 после нашего приезда. Было чудесное весеннее утро, я совершенно забыл про праздник — это вовсе меня не интересовало — и часов в 6, рассуждая о чем-то, ходил по росистой еще крыше, когда меня поразили экипажи, выкаченные из сараев. На дворе более, чем обыкновенно, оживленное движение и яркие, чистые, розовые, голубые и белые цвета рубашек и платий, которые виднелись то около двора, то около колодцев и закут. Несмотря на увлечение, с которым я занимался умозрительными занятиями, я с ве-

¹ «Философские принципы» (фр.)

² сам не зная что (нем.)

личайшим вниманием следил всегда за каждым женским, особенно розовым, платьем, которое я замечал или около пруда, или на лугу, или в саду перед домом. В это утро я видел их несколько и на лугу и в саду; они, нагибаясь, собирали что-то. Тут только я вспомнил, что нынче Троицын день и что папа вчера спрашивал, в чем кто хочет ехать в церковь. Я спрятал свою тетрадь и пошел в сад за чем-то; в ту сторону, где много было сиреней.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЕТСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

1. Орел

Орел, царь птиц. Говорят о нем, что один мальчик стал дразнить его, он рассердился на него и заклевал его.

2. Сокол

Сокол есть очень полезная птица, она ловит газелей. Газель есть животное, которое бежит очень скоро, что собаки не могут его поймать; то сокол спускается и убивает его.

3. Сова

Сова есть очень сильная птица, при солнце она не видит. Филин и сова все равно. Филин только своими рожками отличается.

4. Попугай

Попугай есть очень красивая птица, у него нос поклапой или крючком, его учат говорить.

5. Павлин

Павлин также красив, по нем синие пятна, хвост более его самого.

6. Колибри

Колибри есть очень маленькая птичка, у ней хохол золотой, она бывает белая.

7. Петух

Петух есть красивая птица, его пестрый хвост загнут вниз, горло у него красное, синее и всех цветов, а борода красная. Когда индейский петух поет, то распускает хвост и надувается у него горло красное, черное и всех цветов, у него борода красная так же как и у петуха. У индейского петуха хвост другой, как у петуха, у индейского петуха хвост распущен.

РАССКАЗЫ ДЕДУШКИ

В селе П: жил девяностолетний старик, который служил под 5 государями, он видел более ста сражений, он был чином полковник, имел десять орденов, которые он купил своею кровью, ибо у него было десять ран, он ходил на костылях, ибо у него не было ноги, лицо с 3 рубцами на лбу, середний палец лежал под Браиловом. У него было 5 детей, двое девочек и трое мальчишек, так называл он их, хотя у старшего было [двое] 4 детей и 4 внучек и у всех было уже 4 ребятишек, а младшему из его правнуков было десять лет, а старшего хотели уже на будущий год женить на вдове, у которой семь детей, ибо уже все его внучки были женаты и у каждого по одному дитя, стало его семейство состояло из 82 человек — из которых старшему было 60 лет. Сверх того у него был племянник, у которого было шесть детей и у старшего было трое детей и все жили в одном доме.

ЕГО СЫН

Его сына звали Николай Дмитрич, ибо отца его звали Дмитрием, он его звал обыкновенно <но> Николашкой по старой привычке, етому Николашке было 60 лет, он был заслуживой моряк, с которым [в его] случилось много происшествий, он ездил кругом света, жил на нескольких необитаемых островов, он видел много <раз> морское сражение, дети очень любили слушать его рассказы. Один вечер начал он так свой рассказ.

Я ведь знаю, что вы [дураки] ничего в морской науке не понимаете, дак стало я и не стану вам рассказывать путешествие по море, но начну вот с чего: в одну бурную ночь, когда не мой был черед и хотя корабль был в опасности, но видя что я не мог ничего помочь я пошел в мою каюту чтобы поужинать с товарищами и после улегся спать.

Как во время бури, спросил один белоку<рый> мальчишка, который до сих пор слушал с примечанием, лежа на столе и выпуча глаза.

П<апаша> трус, [закричал другой]. Ну отчего не спать коли ты не можешь ничего помочь, сказал сын того, который рассказывал.

А ты мой [пузырь голопузый] дружок, сказал прадедушка, целуя в лоб толстого [пухлого] малютку, который играл подле, ты бы не оробел бы.

Не знаю, отвечал он и сел опять играть.

Но оставим на минуту кораблекрушения, опишем жизнь и характер некото<рых> из лиц, которые тут. Сын Николая Дмитрича был везде с отцом, но не находил удовольствием. Он не любил этого беспрестанного труда, он был мужествен и деятельный когда была опасность, но он совсем не охотно трудился целый век [и чтобы] ибо он любил и наслаждаться посему сделался ученым, сочинил несколько книг, но в 1812 видя что отечеству нужны солдаты он решился идти в военную службу, получил пять <ран>, служил храбро, получил разные знаки отличия, дослужился до полковника, вышел в отставку. [Этот сын] Он-то и будет играть большую роль в происшествии, которое его отец начал рассказывать.

Но [один] одному из его детей пришло на ум, что верно отец хочет их испытать и все стало опять тихо. Отец все эта слы<шал>. На другой день отец сказал, что в награждение севодни так рано начнут рассказы, что они успеют и разрешить все четыре вопроса и даже слышать историю о злом коте и еще одну. Так

Тогда Алфред с радостью показал [б] 7 картин, но как все нашли, что они очень дурны, то он начал кричать, отец сказал, что за то [он завтра не бу<дет>], что за ним уже часто примечает, что он любит командовать, то ему позволят слушать одну только историю, а вп<оследствии?> он будет сидеть в углу.

<УЧЕНИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ>

ФОРТУНА И НИЩИЙ

Один нищий, таскаясь по городам, роптал на свою участь и говорил: я не понимаю, отчего богатые люди никогда не довольны своими богатствами и, желая приобрести много, теряют последнее. Таких примеров очень много. Я знаю купца, который очень обогател торговлею, но ему этого не было довольно; ему захотелось больше; он нагрузил корабли и отправил их в море; но они потонули вместе с его богатствами — и он остался беднее прежнего. Другой пустился в откупы; нажил себе миллион; потом забрал много и вовсе разорился. Тут нищему фортуна вдруг предстала и говорит ему: давай твою сумку, я ее наполню червонцами; только я тебя должна предупредить, что если червонец упадет на пол, то превратится в прах. Нищий от радости чуть дышит; расправил свою сумку — и в нее посыпались червонцы. «Сума-то тяжеленька». — «Нет, еще немножко». — «Не треснула б». — «Отчего? прибавь еще немножко». Но вдруг кошель прорвался, и червонцы обратились в прах. Фортуна скрылась, а удивленный нищий пошел по-прежнему скитаться.

СОБАЧЬЯ ДРУЖБА

Две дворовые собаки лежали подле кухни Полкан и Барбос; и зашел у них разговор об дружбе. Говорит Полкан: что б нам, Барбос, с тобою б свести дружбу? ну на что это похоже, что две собаки с одного двора не могут одного дня провести без драки? какое сравнение, если мы жили в дружбе? Ну что ж, ведь это дело. И наши новые друзья стали обниматься; не знают, как себя назвать. Орест! ты мой Пилат! Только в эту минуту из кухни выбросили кость, и новые друзья к ней в запуски летят. Смотри, и наш Орест с Пилатом уж грызутся, и их розлили водой.

ДЕНЬ

День был ясный; прекрасная погода вызвала меня на двор; я пошел в лес; сел под пышным деревом, которое своими густыми ветвями защищало меня от горячих лучей солнца, и долго любовался прелестями природы; но среди размышлений я услышал вдалеке раздававшиеся звуки флейты. Любопытство подстрекнуло меня подойти поближе к месту, от которого выходили звуки: тут я увидел молодого пастуха, наигрывавшего свои песни. Наслушавшись его приятной песни, я направил свой путь на долину — и тут все кипело жизнью. Крестьяне и крестьянки убирали с веселыми песнями свое сено. Одни отдыхали после тяжелых работ; другие шли с веселыми песнями обедать. Широкая долина была орошаема быстрою рекою. На [другой] [другом] берегу сидел рыбак и пристально смотрел на свой поплавок, едва пошевеливающийся от легкого ветерка. Я хотел еще погулять среди таких приятных предметов; но вспомнил, что меня ждут к обеду, и пошел домой, полный приятных ощущений.

ОСЕНЬ

Наступает осень — и все медленно умирает. Деревья желтеют; луга начинают белеться. Только одна сосна стоит с гордостью посреди других деревьев, как бы не чувствуя никакой перемены. Теперь нельзя отдохнуть под их ветвями; но надобно скрываться в дома. Природа представляет печальное зрелище. Все сожалеют [об] о лете и готовят работы себе на зиму. Ветер печально завывает, ударяя в окна, как будто сам сожалеет [об] о хорошей погоде; мелкий дождик падает на землю и наводит на душу какую-то грусть; по утрам и вечерам жестокие морозы как бы напоминая, что теперь кончились прогулки на открытом воздухе.

ВЕСНА

Как приятна весна! Как она все оживляет! Голые деревья начинают одеваться в свои пышные зеленые платья; и птицы своим гармоническим пением возвещают радость и приближение весны. Журавли и другие птицы прилетели в свои теплые жилища и там вьют гнезда. В одно утро погода была прекрасная; блуждающие облака [гуляли] бродили по небу; солнце очень пекло. Я не мог удержаться дома и пошел наслаждаться приятной погодой и усладить взор приятными картинами природы. Я искал дерево, под тению которого я мог бы отдохнуть; наконец увидел сосну, под которой сидел молодой пастух, а перед ним было большое стадо овец. Я сел рядом с ним и с удовольствием смотрел на овец, из которых одни [играли] отдыхали, другие щипали траву, иные резво прыгали [и отдыхали] по траве. Обратив глаза вправо, я увидел воду, которая быстро падала с крутой горы. Я бросился к этому ключу и жадно впивал его прохладную и

освежительную воду. [Я уже] И возвратился домой, когда солнце было довольно высоко и своим чрезмерным жаром приводило в расслабление.

НОЧЬ

Темнота набросила свое покрывало на долины, горы и леса, и только изредка лунный свет <проникал> сквозь блуждающие по небу облака. Казалось, что месячный свет и темнота старались истребить друг друга: то свет месяца раздирал облака, то [в] снова застилался ими. Все замолкло; ночная тишина царствовала повсюду; только изредка была прерываемая криками совы и топотом лошадей, послушных голосу своего хозяина, и песню ямщика, прерываемой время от времени бранью на своих лошадушек. Среди усыпления природы я сам был усыплен ее магическим действием и не чувствовал, что время текло; звезды стали скрываться, а заря показываться. Тут я вспомнил, [что] как время воротиться домой, где своим долговременным отсутствием мог причинить много беспокойств. Я услышал вдалеке пение соловья; подошел поближе и до полного рассвета я все слушал певца природы. Исполненный приятными мечтаниями, я пошел домой с намерением делать каждый вечер такие приятные прогулки.

КУЛИКОВО[Е] ПОЛЕ

Когда Дмитрий Иоаннович узнал, что Мамай идет к Москве, чтобы смирить непокорного князя, то прежде всего поехал в Троицкую лавру, принял благословение от благочестивого старца Сергия. Простившись с супругою и детьми, отслужил напутственный молебен, поехал в Коломну. Здесь, соединившись с другими князьями, осмотрел войско и пошел навстречу неприятеля, ожидавшего к себе изменника Литовского и Рязанского. Оба войска сошлись при Куликовом поле. Дмитрий, объехав свои полки, готовые к битве, воодушевляемые мужеством и любовью к Отечеству, готовые победить или умереть за свободу Отечества. Он убеждал их не страшиться многочисленных полчищ мамаевых. Мамай стоял на холме, чтобы оттуда назирать все движения своего войска. Передовые полки начали дело потом; мало помалу битва завелась; кровь лилась рекой. Донской все был впереди рядов; но в самом жару битвы был тяжело ранен, упал с коня под дерево и, лишившись чувств, он не видел окончания сей великой битвы.

ПОЖАР

Какое плачевное зрелище представлялось глазам, когда огонь мгновенно распространялся по всему пространству Тулы и этот богатый многолюдный город сделался жертвою огня. Богатство, великолепие зданий, произведений искусства и художества — все погибло от губительной силы огня. Везде слышались стон и вопли несчаст-

ных, там мать, успевши спастись сама, горько оплакивала дитя, которое она оставила среди огня. Отец бежал сквозь пламя к умирающему сыну в ужасных мучениях. Но удивительный пример материнской нежности: мать спускала через окно своего сына, претерпевая ужаснейшие мучения от огня, который, подобно ненасытному чудовищу, пожирал свою жертву. Не прошло и дня, как все обратилось в пепел: богатый, собравший себе богатства годами и тяжкими трудами, в один день лишился всего. Повсюду виднелись груды пепла, развалины домов и люди, из которых один оплакивал отца, другой мать, супругу или сына. Редкая семья оставалась без потери: так, когда Бог захочет наказать, то может в один час сравнять богатейшего с беднейшим.

КРЕМЛЬ

Какое великое зрелище представляет Кремль! Иван великий стоит как исполин посреди других соборов и церквей и напоминает этого хитрого похитителя престола. Этот старинный теремок как бы свидетельствует о бурных временах Иоанна Грозного. Эти белые каменные стены вспоминают великого гения и героя, который у этих стен потерял все свое счастье, и видели стыд и поражение непобедимых полков Наполеоновых. У этих стен взошла заря освобождения России от иноплеменного ига; а за несколько столетий в этих же стенах положено было начало освобождения России от власти поляков во времена Самозванца. А какое прекрасное впечатление производит эта тихая река Москва; она видела, как она, быв еще селом, стояла никем не знаемая, как потом возвеличивалась, сделалась городом, видела ее все несчастья и славу и наконец дождалась до ее величия. Теперь эта бывшая деревенька Кучко сделалась величайшим и многолюднейшим городом Европы.

ПОМПЕЯ

Как все переменчиво и непостоянно в свете. Помпея, бывший вторым городом [Европы] Италии во время славы и цветущего своего состояния, и что же теперь: одни развалины и куча пепла. Ужасно было зрелище, когда вдруг земля потряслась как бы в своем основании и из недр испустила пламя. Испуганные жители хотели убежать от гибели, но лава и пепел преследовали их и засыпали среди покушения убежать от опасности. Башни, капища и дома падали и под своими развалинами погребали тысячи жертв. Ужас распространялся повсюду и придал новые силы. Там покорный сын, еще слабый, на плечах своих тащил дряхлую мать; но лава, пепел и камни заграждали ему путь; мать [тащила] несла на себе трех слабых детей и падала почти на каждом шагу от излишней тяжести. Нежный отец хотел спасти свое единственное дитя, скрывая в своем плаще; но один удар, и он падал без чувств, держа в своих холодных руках сына. Одни умирали от огня, других засыпало пеплом и лавою, иные умирали под развалинами своих домов.

единственным путем избежать их совсем
никак: но одним ударом и они падают
без остатка. Деревья в своих холодных
рукавах свои свои усмирены отныне
и другие закалились метелью и лавою
лишь усмирены под развалинами
своих домов.

Марфа Посадница. —

Но одни события великие моды
бывают а великие революции.

Никогда во Новгород не было таких
раздоров а столько несогласий,
как во время царствования Гоши.
Все хотело быть самостоятельным, свободным
а без сопротивления Гоши, другие пропали
помощь у Казимира, Казимира Гоши.
Вторую очередь поддерживать Гоши.

ДЕТСКОЕ СОЧИНЕНИЕ «МАРФА-ПОСАДНИЦА»

Автограф

МАРФА ПОСАДНИЦА

Не одни бывают великие люди, бывают и великие женщины.

Никогда в Новгороде не было таких раздоров и столько несогласий, как во время царствования Иоанна. Одни хотели, более благоразумные, предаться без сопротивления Иоанну, другие просить помощь у Казимира, польского короля. Сторону первых поддерживал Феофил, владыка Новгородский, а последних Марфа, вдова посадника Иакова Борецкого. Вечевый колокол раздался по всему Новгороду; все сердца одушевились, и шумные толпы народа бежали к площади. Там стояла Марфа с Мстиславом, сыном своим. Она представляла им все выгоды, которые можно получить от подданства Казимиру..... Народ колебался; но она, чтобы уничтожить последнюю преграду своим честолюбивым замыслам, внушила своим красноречием сменить архиепископа и избрать благочестивого старца Пимена. Народ, как бы вспомнив в первый раз о нем, бросился к нему и почти насильно извлекли его из кельи и привели на площадь. Марфа приняла от него благословение; народ с почтением слушал мудрые ответы старца и общим голосом просил его вместе с Марфою опять принять управление паствою. — Да будет твоя святая воля, — сказал он, обратив глаза к небу, — я жил в уединении и никогда не думал, что меня опять вызовут из моей пещеры, чтобы вручить управление обширную паствою Новгородскою, я готов все сделать для моих храбрых соотечественников.

Раскол мало помалу стал утихать, и все расходились по домам, потому что наступала темная ночь. — На другой день звук вечевого огласил всю окрестность; народ с беспокойством бросился к вечу. Там стоял Холмский, присланный от Иоанна к новгородцам объявить его волю. Холмский, окруженный начальниками посадниками и тысячниками, убеждал народ покориться Иоанну. — Неужели не чувствуете вы счастья быть под властью Иоанна? Ужели не видите, что никакое государство не может состоять без единодержавия? Ужели не можете понять, что ваша вольность рано или поздно должна погибнуть? Для вас гораздо полезнее покориться Иоанну, царю православному, [ему] который [не знает] исповедует одну веру с вами, имеет одни обычаи, одни нравы, чем Казимиру латинщику, который не знает обычаев Св. Руси, не знает правил нашей церкви. И не был ли прежде Новгород [прежде] достоянием и областью великих князей? Слеза выкатилась из глаз Марфы; народ в буйстве закричал: Берите его! Берите его! — и его хотели связать; но Марфа бросилась к ним и просила не трогать посланника Иоаннова.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Как приятна сельская жизнь

МИЛОЙ ТЕТИНЬКЕ

Пришел желанный день счастливый,
И я могу вам доказать,
Что не дитя я молчаливый,
Когда меня ласкала мать.

Теперь я ясно понимаю,
Все, что вы сделали, я знаю,
Для нас пожертвовали собой
И добрым сердцем и душой.

Теперь я счастье понимаю,
Которым день сей подарил,
От всего сердца вам желаю,
Чтоб Бог за все труды благословил.

Теперь еще раз, может быть,
Фортуна к нам опять заглянет,
Веселье прежних дней настанет,
И мы счастливо будем жить.

Я, как залог счастливых дней,
С восторгом день сей принимаю,
Поток жизни вам желаю,
Чтоб был прозрачней и светлей.

Лев Толстой.

<ЭПИТАФИЯ А.И.ОСТЕН-САКЕН>

Уснувшая для жизни земной,
Ты путь перешла неизвестный.
В обителях жизни небесной
Твой сладок, завиден покой.
В надежде сладкого свиданья —
И с верою за гробом жить,
Племянники сей знак воспоминанья —
Воздвигнули: чтоб прах усопшей чтить.

КОММЕНТАРИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АРХИВОХРАНИЛИЩА

- ГАРФ* — Государственный архив Российской Федерации (Москва).
ГМТ — Государственный музей Л.Н.Толстого. Рукописный отдел (Москва).
РГБ — Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва).
РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Бирюков* — Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. Изд 3-е. М.—Пг., 1923.
Герцен — Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1965.
Гольденвейзер — Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959.
Гусев, I, II — Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954; Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957.
Дневники С.А. Толстой — Толстая С.А. Дневники: В 2 т. М., 1978.
Достоевский — Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972–1990.
Летопись — Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828–1890. М., 1958.
ЛП — Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность («Литературные памятники»). Изд. подготовила Л.Д.Опульская. М., 1978 и 1979.
ЛН — «Литературное наследство», т. 69, М., 1961; т. 75, М., 1965; т. 90, М., 1979.
Некрасов — Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений: В 12 т. М., 1948–1953.
Описание рукописей — Описание рукописей художественных произведений Л.Н.Толстого. Сост. В.А.Жданов, Э.Е.Зайденшнур, Е.С.Серебровская. Общ. ред. В.А.Жданова. М., 1955.

- Переписка* — Л.Н.Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. Изд. 2-е, доп. Сост., вступит. статья и прим. С.А.Розановой. М., 1978.
- Переписка с сестрой и братьями* — Переписка Л.Н.Толстого с сестрой и братьями. Сост., подг. текста и комментарии Н.А.Калининой, В.В.Лозбяковой, Т.Г.Никифоровой. Вступ. статья Л.Д.Опульской. М., 1990.
- Тургенев* — Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: В 28 т. Сочинения в 15 т. Письма в 13 т. М.—Л., 1960–1968.
- Тургенев и круг «Современника»* — Тургенев и круг «Современника». Неизданные материалы. 1847–1861. М.—Л., 1930.
- Чернышевский* — Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1939–1950.
- Юб.* — Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1928–1958.

В первый том Полного собрания сочинений вошли художественные произведения Л.Н.Толстого, создававшиеся в 1850–1856 годах. Центральное среди них — трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность», впервые опубликованная в журнале «Современник» в 1852, 1854 и 1857 годах. «Обрати внимание на повесть “Детство” в IX № — это талант новый и, кажется, надежный», — писал редактор журнала Н.А.Некрасов И.С.Тургеневу в октябре 1852 г. (Некрасов, т. 10, с. 179). В начале 1857 г., когда появилась «Юность», Тургенев назвал Толстого «единственной надеждой нашей литературы» (Тургенев. Письма, т. 3, с. 91).

Творческое сознание Толстого формировалось в непрерывном и сложном движении различных художественных замыслов, идей, сюжетов, тем. Одновременно с планом романа о «четырех эпохах развития», который можно считать истоком будущей трилогии, развивался сюжет «Романа русского помещика», давший напечатанную в 1856 г. повесть «Утро помещика». Еще не закончив последнюю редакцию «Детства», Толстой начал первый военный рассказ — «Набег», затем, работая над «Отрочеством», писал рассказы «Рубка леса», «Разжалованный», «Записки маркера». Завершение «Юности» хронологически совпадает с созданием Севастопольских рассказов и повести «Два гусара». Наконец уже в 1853 г. возник один из самых сложных и дорогих Толстому замыслов — повесть (первоначально романа) «Беглец» (будущие «Казачьи»).

В те же годы начаты автобиографические «Записки», «История вчерашнего дня», «Еще день (На Волге)», сделан перевод нескольких глав «Сентиментального путешествия» Л.Стерна, обдумывались сюжеты других рассказов и повестей. Этот широкий поток творчества с трудом вписывается в хронологические рамки, далеко не все здесь удается датировать с точностью до одного дня. Художественная проза и драматургические опыты 1850–1856 годов, а также законченная в 1862 г. повесть «Казачьи» входят в последующие три тома настоящего издания.

Характерно, что первый литературный набросок 1850 г. — «Записки» о жизни в Москве зимой 1848–1849 г. — был сделан Толстым в тетради дневника, а сочинение 1851 г. «История вчерашнего дня» развивало дневниковую запись 24 марта того же года. Вообще дневник, который Толстой начал весной 1847 г. девятнадцатилетним студентом Казанского университета и вел потом в течение всей жизни, содержит не только фактически достоверный материал для истории создания, датировок разных сочинений, всякого рода заметки, характеризующие движение замыслов, но сам стал своеобразной лабораторией художественного творчества. Напряженный

анализ Толстым своей внутренней жизни на страницах дневника соотносим с «диалектикой души» тех вымышленных героев, в жизненном и духовном складе которых силен автобиографический элемент. В романе о четырех эпохах развития, в черновых рукописях трилогии видно сложное взаимодействие начал, сплетавшихся и сопутствовавших друг другу постоянно: глубоко личный, автобиографический материал служил основой художественного замысла, а собственные душевные искания, противоречия, которые Толстой непрерывно анализировал на страницах дневника, воплощались в психологических коллизиях и образах обобщенно-реалистического повествования. Излюбленным жанром на первых порах, в духе старинной сентиментальной традиции (Н.М.Карамзин, Л.Стерн), становились записки, письма. Одновременно совершались собственные художественные открытия: умение рассказать о моменте жизни, одном ее «дне» так, что перед читателем вставала целая «эпоха развития» и до небывалых глубин раскрывалась «диалектика души», освещенная нравственным взглядом на вещи.

В дневник попадали и наблюдения над окружающей жизнью, которые, трансформируясь, тоже составляли материал для творчества. С.А.Толстая в «Материалах к биографии Л.Н.Толстого» рассказывала: «В первый раз, живши в Москве, ему пришлось в голову описать что-нибудь. Прочитав “*Voyage Sentimental*” par Sterne, он, взволнованный и увлеченный этим чтением, сидел раз у окна, задумавшись, и смотрел на все происходящее на улице. “Вот ходит будочник, кто он такой, какая его жизнь; а вот карета проехала — кто там и куда едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь их... Как интересно бы было все это описать, какую можно бы было из этого сочинить интересную книгу”» (ЛН, т. 69, кн. 1, с. 504). Весь этот рассказ очень напоминает то, что Софья Андреевна могла прочитать в первых книгах и рукописях Толстого.

Первая повесть трилогии — «Детство» — появилась в свет, когда ее создателю только что исполнилось 24 года. По суждению историка русской литературы Д.Н.Овсяннико-Куликовского, Толстой «сразу выступил на свой настоящий путь, без тех исканий, блужданий, уклонений в сторону, какими обычно начинают свою литературную деятельность крупные писатели-художники. У него не было ни подражательного периода, ни слабых опытов» (Овсяннико-Куликовский Д.Н. Лев Николаевич Толстой. К 80-летию великого писателя. Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания. СПб., 1908, с.6). Но выступлению Толстого в печати предшествовала напряженная внутренняя, творческая работа, отразившаяся в его дневниках и черновых рукописях.

В раздел «Неоконченное» первого тома включены все художественные сочинения, работа над которыми прервалась в 1851 г.; в их числе — черновик незавершенного романа «Четыре эпохи развития».

Н.Н.Гусев полагал, что заголовок «Четыре эпохи развития» не вполне соответствует содержанию: «Вторая “эпоха развития” — отрочество — в этой редакции почти не затронута, а в описании юности главное внимание обращено не на историю развития героя и его братьев, а на внешние условия их жизни и изображение их знакомых» (Гусев, I, с. 346). Учитывая всю условность этого заглавия, приходится признать, что лучшего не найдено. «Эпохи развития» определяли с самого начала идею замысла, хотя само заглавие и количество частей — четыре — определились позднее. На первой странице вступления (впоследствии зачеркнутого) герой, посылая другу

«обещанные записки», обозначил мотивы их создания. Среди них такой: «Интересно было мне просмотреть свое развитие...». Оставив незавершенной сильно продвинувшуюся рукопись и составляя дальнейшие планы, Толстой предполагал в своей первой книге дать четыре части: «детство, отрочество, юность и молодость, в форме автобиографии младшего брата». «Четыре эпохи развития» — так названо задуманное сочинение в письме Н.А.Некрасову 3 июля 1852 г.; «Четыре эпохи жизни» — в рукописях «Детства» и дневнике 30 ноября 1852 г. Последняя сохранившаяся рукопись «Детства», датированная 27 мая — 4 июля 1852 г., озаглавлена: «[Четыре эпохи жизни. Роман. Первая часть.] Детство» (квадратные скобки означают зачеркнутое автором).

Очевидно, вместе с тем, что первую незавершенную рукопись нельзя считать первой редакцией «Детства». «Четыре эпохи развития» соотносятся с «Детством» так же, как повесть «Утро помещика» с другим неоконченным сочинением молодого Толстого — «Романом русского помещика» (где отчасти воплотилась так и не начатая четвертая часть «эпох развития» — «Молодость»). В «Романе русского помещика» в первоначальном виде уже имелись все главы, которые составили опубликованное впоследствии «Утро помещика», и все же «Роман» с полным основанием печатался в 90-томном издании сочинений Л.Н.Толстого как самостоятельная вещь, хотя и незавершенная. Точно так же в «Четырех эпохах развития» частично находится материал для деревенских сцен будущей первой повести трилогии, но совсем еще нет «второго дня» — в Москве, появившегося лишь в работе над первой редакцией собственно «Детства». Поэтому «Четыре эпохи развития» печатаются в настоящем издании как незавершенное произведение.

Начало «Второй половины» «Юности» также помещено в разделе «Неоконченное». Когда Толстой стал писать «Вторую половину» «Юности», «Первая половина» была уже напечатана. Ни черновой редакцией, ни вариантом опубликованного текста рукопись не может считаться: это начало нового произведения — «Юность. Вторая половина». Само намерение начать «Вторую половину» отмечено впервые в дневнике 12 января 1857 г., на другой день после выхода «Современника» с «Первой половиной»; потом 22 марта того же года.

Помещая опубликованную «Юность» в собрании сочинений (изд. Ф.Стелловского, 1864), Толстой снял журнальный подзаголовок: «Первая половина», хотя в конце текста оставил: «Долго ли продолжался этот моральный порыв, в чем он заключался и какие новые начала положил он моему моральному развитию, я расскажу в следующей, более счастливой половине юности».

Много лет спустя, в 1895 г., один из собеседников Толстого, художник П.И.Нерадовский, спросил: «Когда же будет продолжение “Юности”? Ведь вы кончаете повесть обещанием рассказать, что будет дальше с ее героями.

Лев Николаевич сразу нахмурился. Было очевидно, что мой наивный вопрос испортил ему настроение.

— Да ведь все, что было потом написано, и есть продолжение “Юности”, — сказал он сухо» (ЛН, т. 69, кн. 2, с. 132).

Не только лежащие близко к повести «Роман русского помещика» и «Утро помещика», «Казачки», незаконченные «Лето в деревне» и «Отъездное поле» — оказывается, «все, что было потом написано», все это — продолжение «Юности».

В собрания художественных сочинений Толстого ранее не включались начатые в дневнике 1850 г. автобиографические «Записки». Тексты «Истории вчерашнего дня», набросков «Еще день (На Волге)», не озаглавленного автором начала, напечатанного в *Юб.* под названием «Отрывок разговора двух дам» и «Второй половины» «Юности» впервые публикуются с полным сводом вариантов (см. вторую серию издания). Несколько сочинений молодого Толстого остались только в замыслах: «повесть из цыганского быта» (дневниковые записи в декабре 1850 г.); «жизнь Татьяны Александровны» (22 марта 1851 г.); «история с Гельке» (6 апреля 1851 г.); «история охотничьего дня» (17 апреля 1851 г.).

В разделе «Приложения» помещены детские, в том числе ученические, сочинения Толстого, стихотворения «Милой тетиньке» и Эпитафия А.И.Остен-Сакен.

Тексты и комментарии подготовлены *Л.Д.Громовой-Опупьской*. Составитель выражает признательность *Н.И.Бурнашевой*, *Л.В.Гладковой*, *Л.П.Корчагиной*, *Н.Г.Шеляпиной*, *М.И.Щербаковой* за помощь при работе над комментариями.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1851–1856 гг.

ДЕТСТВО

Впервые: «Современник», 1852, № 9, с. 6–104. Подпись: Л.Н.

Вошло в книгу: Детство и Отрочество. СПб., 1856.

Рукописный фонд составляет 250 листов.

Печатается по изданию 1856 г. со следующими исправлениями:

С. 11, строка 26: в шитом бисером башмачке — *вместо:* в шитом бисерном башмачке (по А_{1,2})¹.

С. 13, строки 10–11: а потом пошли — *вместо:* а потом и пошли (по А, А_{1,2}).

С. 16, строка 14: не замечала и того — *вместо:* не замечала того (по А_{1,2} и ж. «Современник»).

С. 19, строка 36: Да известно что, говорит — *вместо:* Да известно что? говорит (по А₂ и ж. «Современник»).

С. 31, строка 23: заатукали — *вместо:* застукали (по А, А_{1,2}).

С. 31, строки 30–31: доставал из коробочка — *вместо:* доставал из коробочки (по А_{1,2}).

С. 34, строки 15–16: недостаток в произношении — пришепетывание — *вместо:* недостаток в произношении — пришептывание (по А, А_{1,2}).

С. 36, строки 4–5: Чувство это было похоже на воспоминание; но воспоминание чего? — *вместо:* Чувство это было похоже на воспоминания; но воспоминания чего? (по А_{1,2}).

С. 38, строка 28: в чугунную доску — *вместо:* в медную доску (по письму Толстого Н.А. Некрасову от 18 ноября 1852 г.)²

С. 40, строка 6: взял ее в *верх* — *вместо:* взял ее в *верх* (по А_{1,2}).

С. 52, строка 28: кнезь Михайло — *вместо:* князь Михайло (по А_{1,2}).

¹ А_{1,2} — автографы первой и второй редакций «Детства». А — автограф «Четырех эпох развития».

² В письме Некрасову содержится еще указание на ошибку — в гл. XIV: вместо «тяжело двошали» (о собаках) в «Современнике» было напечатано «тяжело дышали». Но в изд. 1856 г. оставлено: «дышали». Возможно, Толстой отказался от диалектизма, тем более что сочетание «тяжело двошали» содержит тавтологию. «Двошать» значит «тяжело дышать»; так что можно сказать либо «двошали», либо «тяжело дышали». Второй случай касается гл. XII «Гриша»: «в слезах пал на землю». В письме сказано: надо «повалился на землю». «Повалился» восстановлено в изд. 1856 г.; так же читается и в автографах.

С. 62, строка 14: не заплакал, небось — *вместо*: не заплакал, надеюсь (по А₂).

С. 65, строка 9: Вот так так! — *вместо*: Вот так, так! (по А₂).

С. 66, строки 28–29: до ее мантилии — *вместо*: до ее мантии (по А_{1,2}).

С. 75, строка 17: как он им рассказывает — *вместо*: как им рассказыва-
ет (по А₂).

С. 76, строка 35: Я перевожу ее — *вместо*: Я перевожу его (по А_{1,2}).

С. 76, строка 38: Я одна знаю — *вместо*: Я одно знаю (по А₂).

С. 76, строки 40–41: обнять тебя и благословить их — *вместо*: обнять и
благословить их (по А₂).

С. 78, строка 12: Восемнадцатого апреля — *вместо*: 15 апреля (по А₁).

С. 78, строка 35: ход из девичьей — *вместо*: ход из дверей (по А₂).

С. 81, строка 19: из шалости или любопытства — *вместо*: из жалости
или любопытства (по А₂).

С. 84, строка 27: Нашей называла — *вместо*: Наташей называла (по
А_{1,2}).

С. 89, строка 4: потачки не дает — *вместо*: потачки не даст (по А₂).

После книги «Детство и Отрочество», которая вместе с «Военными рас-
сказами» (СПб., 1856) стала первым собранием сочинений Толстого, «Дет-
ство» входило во все прижизненные собрания сочинений, начиная с двух-
томника изд. Ф.Стелловского (СПб., 1864)¹ и кончая подготовленным
С.А.Толстой в 1910 г. двенадцатым изданием «Сочинений гр. Л.Н.Толсто-
го» (в 1885 г. Толстой дал жене доверенность на издание Сочинений). Ни в
одном из этих изданий Толстой не вносил никаких изменений в текст.

В 12-м издании, вышедшем в 1911 г., С.А.Толстая решила напечатать
«Детство» по рукописи. В предисловии она писала: «Предполагая, что из-
дание “Детства” по рукописи, всецело написанной рукою Льва Николаевича,
без вмешательства редакции и пропусков цензуры, представит большой
интерес, я решила печатать “Детство” в новом издании по этой рукописи»
(Сочинения гр. Л.Н.Толстого, изд. 12-е, ч. 1, М., 1911, с. 6).

Весной 1910 г., когда Софья Андреевна занималась сверкой рукописи с
печатным текстом и обсуждала со старшим сыном Сергеем Львовичем за-
меченные различия, она полагала, что после переписки на ремингтоне Тол-
стой «прочтет» и поправит. Но, как свидетельствует Д.П.Маковицкий,
Толстой сказал: «Нет» (запись 3 марта 1910 г.— ЛН, т. 90, кн. 4, с. 190).
Впоследствии эта рукописная редакция «Детства» воспроизводилась еще
раз в отдельном издании трилогии (Петроград, 1922). Но считать этот
текст основным никак нельзя. После рукописи Толстой еще работал над
повестью, создав новую редакцию, отправленную в печать, а потом вносил
изменения при подготовке книги «Детство и Отрочество». В «Современни-
ке» текст подвергся редакционной правке, вызванной цензурными условия-
ми того времени; но она была невелика по объему. В отдельном издании
1856 г. Толстому удалось восстановить свой текст (за исключением одного
места в «Отрочестве» — см. ниже).

В 1876 г. появилось «новое дешевое издание, переделанное автором для
детского чтения» — второе издание «Детства» и «Отрочества», в двух
книжках. В тексте «Детства» нет никаких отличий сравнительно с книгой

¹ Следующее издание, вышедшее в 8 частях в 1873 г., Толстой обозначил на
титальном листе «третьим».

1856 г.; в «Отрочестве» — семь сокращений. Отрывки помещались в школьных хрестоматиях, порою даже без ведома автора и всегда без его поправок в тексте.

1

Истоки повести «Детство», как и всей трилогии, — в незавершенном романе «Четыре эпохи развития» (см. с. 482–484).

История создания повести «Детство» начинается дневниковой записью, сделанной в станице Старогладковской 22 августа 1851 г.: «28 мое рождение, мне будет 23 года; хочется мне начать с этого дня жить сообразно с целью, которую сам себе поставил». Тут же дается задание на следующий день: «С восхода солнца заняться приведением в порядок бумаг, счетов, книг и занятий; потом привести в порядок мысли и начать переписывать первую главу романа». 23 августа снова: «Писать роман до обеда». И 26 августа: «С утра писать роман».

Так началась работа над первой редакцией собственно «Детства». Вместе с другими повестями оно должно было составить роман. «В сущности роман», как сказано в письме Н.А. Некрасову 3 июля 1852 г.

В первой редакции «Детства» определился способ художественного оформления материала: целая эпоха жизни должна предстать перед читателем в повествовании о нескольких, всего двух днях. На полях первой страницы рукописи: «[1-й день] Детство»; перед главой «Стихи»: «2-й день».

В дневнике 22 августа было обозначено: «переписывать первую главу». Действительно, для некоторых глав «Детства» у Толстого был материал (о «первом дне», проведенном в деревне) в рукописи незаконченного романа «Четыре эпохи развития».

Первая редакция всей повести, начатая 23 августа 1851 г., была закончена в январе 1852 г. в Тифлисе, где Толстой жил с 1 ноября 1851 г. Дневника в это время он не вел. Сохранились лишь два листа с дневниковыми записями конца 1851 — начала 1852 г., вырезанные из большой тетради. Там ничего не говорится о работе над «Детством». Хотя есть важные «замечания для писателя», которые могут быть соотнесены с мыслями одной из заключительных глав первой редакции — «К читателям»: «Всякий писатель для своего сочинения имеет в виду особенный разряд идеальных читателей. Нужно ясно определить себе требования этих идеальных читателей, и ежели в действительности есть хотя во всем мире 2 таких читателя — писать *только для них*».

20 марта 1852 г., находясь снова в Старогладковской, Толстой вспоминал в дневнике свою зимнюю жизнь: «В октябре месяце я с братом поехал в Тифлис для определения на службу. В Тифлисе провел месяц в нерешительности: что делать, и с глупыми тщеславными планами в голове. С ноября месяца я лечился, сидел целых 2 месяца, т.е. до нового года, дома; это время я провел хотя и скучно, но спокойно и полезно — написал всю первую часть. Январь я провел частью в дороге, частью в Старогладковской, писал, отделявал первую часть, готовился к походу и был спокоен и хорош».

Толстой работал уединенно и скрытно. В переписке того времени с братьями, сестрой, тетушкой Т.А. Ергольской и другими корреспондентами о творческой работе — ни слова. Первое упоминание — в письме к Ер-

гольской от 12 ноября 1851 г. из Тифлиса: «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы; так вот я послушался вашего совета — мои занятия, о которых я вам говорю, — литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу». И даже в июле следующего года, когда «Детство» было отправлено в печать, Ергольская, узнав об этом, выказала полную неосведомленность (вплоть до того, на каком языке создано сочинение): «Наконец-то, милый мой, *работе Пенелопы* наступил конец. Твой роман закончен и отослан в Питер. Под каким заглавием он появится и на каком языке он написан? Не терпится мне это узнать и еще больше не терпится прочесть его» (*Юб.*, т. 59, с. 197).

О литературных занятиях, конечно, знал брат Николай Николаевич. А.А.Стахович рассказывал даже, что повесть «Детство» своим появлением обязана вечернему разговору Толстого со старшим братом, когда они, находясь в походе, вспоминали детство (Стахович А.А. Ключки воспоминаний. «Толстовский ежегодник 1912 г.», М., 1912, с. 33–34). Это, разумеется, преувеличение; но нет никакого сомнения в том, что литературно даровитый Н.Н.Толстой поощрял брата к писательству. Позднее в «Воспоминаниях» Толстой привел мнение И.С.Тургенева о Николае Николаевиче: «Тургенев говорил про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно не интересно было, что о нем думают люди». 27 марта 1852 г. Толстой читал брату «писанное в Тифлисе» и отметил в дневнике: «По его мнению не так хорошо, как прежде, а по-моему ни к черту не годится». Речь тут идет о второй половине «Детства» (день в Москве), созданной в Тифлисе.

Вот и все документальные свидетельства о работе Толстого над первой доведенной до конца рукописью. Предстояли переделки, переписыванье, занявшие еще полгода, но в первой редакции «Детство» было завершено в начале 1852 г. в Тифлисе и дополнялось новыми вставками в Старогладковской.

Судить о начальной творческой истории «Детства» можно по рукописи, которая сохранилась полностью. Этот автограф обычно называли второй редакцией «Детства»¹, но в действительности он является первой редакцией повести (см. комментарий к «Четырем эпохам развития»). Вместе со вставками, сделанными при просмотре и переделке рукописи, она печатается полностью в первом томе второй серии настоящего издания.

В первой редакции установилось начало, оставшееся и в печатном тексте: глава «Учитель немец» (позднее — «Учитель Карл Иваныч»). Все повествование делится на короткие главы, каждая из них имеет название. Позднее, в дневнике 31 декабря 1853 г., Толстой так формулировал «литературное правило»: «Манера, принятая мною с самого начала, писать маленькими главами, самая удобная. Каждая глава должна выражать одну только мысль или одно только чувство».

¹ В Юбилейном издании; в кн. «Описание рукописей художественных произведений Л.Н.Толстого», М., 1955; в книгах Н.Н.Гусева — «Л.Н.Толстой. Материалы к биографии...» и в «Летописи жизни и творчества Л.Н.Толстого».

Всего в рукописи 25 нумерованных глав и еще несколько нумерованных, добавленных на отдельных листах: «Отступление. Детство», «О свете», «Секли ли нас в детстве», «К тем господам критикам, которые захотят принять ее на свой счет» и «К читателям». К основной рукописи, пронумерованной Толстым по сложенным вдвое четвертушкам: 1–39, листки вставок подключались цифрами, помеченными в скобках; получилось три 14-х, две 18, 21, 22-х, три 31-х. «Отступление» о детстве («Какая счастливая пора детство!..») после небольших изменений дошло до печатного текста (гл. XV). Обращения же к читателям и критикам, чрезвычайно важные для характеристики эстетических взглядов молодого Толстого, еще присутствовали, по всей видимости, в следующих планах повести, но не были отправлены в печать. (Глава «К читателям» имела номер 34-й, исправленный на 1.)

Вообще в черновиках гораздо больше, чем в окончательном тексте, авторских отступлений и рассуждений. В первой редакции это: о помещицкой деревенской жизни (глава «Портрет папа»), об охоте с собаками (целая глава «Что же и хорошего-то в псовой охоте?»), о литературе и музыке (несколько вариантов главы «О музыке», об исполнении матерью Патетической сонаты Бетховена), о светском обществе (глава «О свете»). Кое-что из этих фрагментов перейдет и во вторую редакцию, но почти совершенно исчезнет потом. Еще 10 августа 1851 г., незадолго до начала работы над первой редакцией, Толстой записал в дневнике: «Я замечаю, что у меня дурная привычка к отступлениям; и именно что эта привычка, а не обильность мыслей, как я прежде думал, часто мешает мне писать и заставляет меня встать от письменного стола и задуматься совсем о другом, чем то, что я писал. Пагубная привычка. Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже и у него».

Дело, видимо, не только в освобождении от «пагубной привычки», давшемся не сразу, но в поисках верного тона всего повествования. Уже в первой редакции повести, отказавшись от записок к другу, как было в черновике «Четырех эпох развития», Толстой приблизился к окончательной форме: рассказ от первого лица, но не как воспоминание о прошлом, а как бы присутствие, жизнь в этом прошлом. Повествование ведется, конечно, взрослым человеком, но так, будто он снова стал ребенком. Позднейшие мысли и рассуждения на разные темы становились, в этой связи, явно неуместными и постепенно удалялись из текста. Не все, но многие.

Кроме того, в ходе работы повесть совершенствовалась, обогащалась, углублялась, но одновременно сильно сокращалась. Приступив ко второй редакции, в дневнике 27 марта 1852 г. Толстой сформулировал правило: «Нужно без жалости уничтожать все места неясные, растянутые, неуместные, одним словом, неудовлетворяющие, хотя бы они были хороши сами по себе». Как свидетельствует рукопись второй редакции, много раз он руководился этим правилом.

Есть в первой редакции глава, которая потом, вероятно, показалась излишней жанровой сценой: «Любочка» (как Любочка ушиблась и была наказана). Еще две главы этой рукописи: 18-я — «Прогулка» и 19-я — «Обед» — также не войдут в повесть при окончательной ее компоновке. Может быть, из-за своей критической направленности: ироничное описание старшей Валахиной, фривольное поведение папа в кондитерском магазине и пр. Нет еще в первой редакции очень важных именно «детских» глав:

самостоятельной главы «Игры», а также главы «Ивины» (в последней — все эпизоды с Иленькой Грапом).

Хотя предсмертное письмо матери было уже в черновике «Четырех эпох развития», здесь оно писалось заново — прежде всего потому, что исчез бывший там мотив: незаконные дети. Но пока оставлено намерение отца поместить детей в казенное учебное заведение — и по этому случаю тапан высказывает свои возражения. Письма к детям нет совсем. Появилась сначала по-французски, а потом по-русски вторая часть письма — о предчувствии неизбежной смерти. Записочка от Мими — только по-французски. Затем следовала глава, названная «Продолжение 23-й»: позднейший комментарий к письмам и разговор с Натальей Савишной, в окончательном тексте занявший несколько строк в конце XXV главы.

Дальнейшие события — приезд в деревню, смерть и похороны тапан — были впервые описаны в черновике «Четырех эпох развития». И тут перед нами — единственный для первой редакции «Детства» случай, когда несколько страниц Толстой не стал писать заново, а выправил текст в «большой книге». В начале главы 24-й «Горе» помета: «18 апреля (в большой книге от стр. 63 до стр. 68 и вложенный листок)». Стр. 63–68 — это текст «Четырех эпох развития» от слов: «14 апреля мы у крыльца К<расне-ского> дома вылезали из дорожной коляски...» до: «О, это ужасно!!» По тексту на 68-й странице помета: «Впечатл<ения> В<олоди>, отца и Н<ата-льи> Сав<ишны>». Только теперь на полях черновика и на отдельных листах было рассказано, как переживали смерть тапан разные лица, в том числе сам Николенька. Наталья Савишна окончательно заменила няню Афимью черновика. Само это имя — Наталья Савишна — мелькнуло при просмотре старой рукописи: на последней странице «первой части» «Четырех эпох развития» оно написано поверх текста.

Лишь при работе над первой редакцией были созданы чрезвычайно важные для повести две главы: 13-я «Наталья Савишна» и 25-я «Что было после», или «Некоторые подробности» — разговор о покойной тапан и смерть Натальи Савишны. После небольших изменений обе главы войдут в окончательный текст, при этом вторая станет заключительной для всей повести: «Последние грустные воспоминания».

Завершалась повесть в первой редакции обращениями автора к читателям и критикам.

Параллельно обдумывались и составлялись (хронологически разделенные) планы всего сочинения — о «четырёх эпохах жизни» (см. т. I второй серии). В первом среди «основных мыслей сочинения» намечено: «Резко обозначить характеристические черты каждой эпохи жизни: в детстве теплоту и верность чувства; в отрочестве скептицизм, сладострастие, самоуверенность, неопытность и гордость; в юности красота чувств, развитие тщеславия и неуверенность в самом себе; в молодости — эклектизм в чувствах, место гордости и тщеславия занимает самолюбие, знание своей цены и назначения, многосторонность, откровенность». И во втором плане: «Главная мысль: Чувство любви к Богу и к ближним сильно в детстве. В отрочестве чувства эти заглушаются сладострастием, самонадеянностью и тщеславием, в юности гордостью и склонностью к умствованию, в молодости опыт житейский возрождает эти чувства». Продумывались сюжетные линии и основные характеристики. В первоначальной наброске «содержания» к «Отрочеству» были отнесены «смерть матери» и «переезд в Москву». Реплика о «Детстве»: *«уже написано»* заставляет думать, что в тот

момент оно мыслилось в виде рассказа об одном дне — в деревне (как в рукописи неоконченного романа). Но и здесь в семье «два сына» (не три, как было в «Четырех эпохах развития»). Во втором плане уже разработано содержание «2-го дня», «Смерть матери» поставлена в конце, а перед нею — «Детство» (особая глава, которая при новом переписывании повести станет, как и в окончательном тексте, посередине — между первым и вторым днем).

Весь февраль 1852 г. Толстой находился в походе, отправившись в него уже не добровольцем, а юнкером. В марте, когда он вернулся в Старогладковскую, вновь началась литературная работа. «Отправляясь в поход,— записал он 20 марта в дневнике,— я до такой степени приготовил себя к смерти, что не только бросил, но и забыл про свои прежние занятия, так что теперь мне труднее, чем когда-нибудь, снова приняться за них». Однако 21 марта отмечено: «После обеда переписывал 1-ую часть и работал без всякого принуждения. Дай Бог, чтобы это всегда так было. <...> Порядок занятий, который я принял, т.е. утром перевод¹, после обеда корректура и вечером повесть — очень хорош. <...> Когда занимаешься, то время идет так скоро, что хотелось бы остановить его. В праздности оно идет так тихо, что хотелось бы гнать его».

Так началась переделка первой и создание второй редакции «Детства». Корректурой Толстой называл исправление прямо в рукописи прежнего текста.

Вообще дневник на этот раз подробно фиксирует всю работу и настроение, с каким она проходила. Записи продолжаются почти каждый день.

22 марта: «Корректур сделал не так много, как вчера, и не так чисто; а это главное, чтобы не надоел труд. <...> Не продолжал повесть частью оттого, что не успел, а частью оттого, что я сильно начинаю сомневаться в достоинстве первой части. Мне кажется слишком подробно, растянуто и мало жизни. Подумаю об этом».

24 марта: «Немного поделал корректуры. <...> Завтра праздник, я буду делать только корректуры...»

27 марта отмечено, что «25-го встал в 7, читал, делал корректуры». 27 марта до 11 часов «делал корректуры не совсем чисто и отчетливо», продолжал ту же работу после обеда, а потом читал брату «писанное в Тифлисе» (см. с. 384). Далее замечено: «Хотел облегчить свой труд; но писаря переписывать не могут; следовательно, нужно работать одному». Определено задание на завтра: «... буду переписывать <...> и обдумаю 2-й день: можно ли его исправить или нужно совсем бросить?»

28 марта: «Писал мало, под тем предлогом, что болен».

29 марта: «... писал довольно мало». Но много думал о своем призвании: «Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все <...> Я стар — пора развития или прошла, или проходит; а все меня мучат жажды... не славы — славы я не хочу и презираю ее; а принимать большое влияние в счастья и пользе людей. Неужели я так и сгасну с этим безнадежным желанием? <...> Я писал повесть с охотой; но теперь презираю и самый труд, и себя, и тех, которые будут читать ее; ежели я не бросаю этот труд, то только в надежде прогнать скуку, получить навык к работе и сделать удовольствие Татьяне Александровне».

¹ «Сентиментального путешествия» Л.Стерна.

Ежели примешивается тут тщеславная мысль, то она так невинна, что я извиняю ее в себе, и приносит пользу — деятельность».

31 марта Толстой «отделал одну главу». В тот же день отмечено, что «Ванюшка¹ лениво переписывает». И на другой день — то же: «Ванюшка переписывает дурно и вяло, но я не теряю надежды его приучить». Вероятно, шла отделка главы «Гриша», потому что 1 апреля сказано: «Писал главу *о молитве*, шло вяло. <...> Писал, писал, наконец стал замечать, что рассуждение о молитве имеет претензию на логичность и глубину мыслей; а не последовательно. Решился покончить чем-нибудь, не вставая с места, и сейчас сжег половину — в повесть не помешу; но сохраню как памятник». Этот несожженный листик сохранился и печатается в вариантах второй редакции «Детства» (т. 1 второй серии)².

Работа над второй редакцией продолжалась в апреле и почти весь май.

2 апреля: «Читал и писал. <...> После обеда читал и засадил Ванюшку <...> после ужина писал до сих пор — до 1/2 2-го. 2-й день очень плох, *нужно заняться им хорошенько*».

3 апреля: «После обеда пришел Николенька, я предлагал ему читать 16 главу³, он меня оскорбил холодностью. Писал немного <...> Работа с Ванюшкой подвигается. 1-я глава, «Стихи»⁴, написана, но я не составил о ней никакого мнения — скорее дурна, чем хороша; ежели я в нерешительности». «Работа с Ванюшкой» — вероятно, диктовка.

5 апреля: «Завтра встаю с светом и кончаю 1-ый день и пересматриваю его».

6 апреля: «Встал в 6 часов и был этим очень доволен. Писал до обеда. Обедал дома. Еще писал, но не тщательно; потому что клонил сон. Чтобы разгуляться, в 5 часов поехал верхом, вернулся в 7-м и дописал 1-й день; хотя не тщательно; но слог, кажется, чист, и прибавления не дурны».

7 апреля: «Перечел и сделал окончательные поправки в 1-м дне. Я решительно убежден, что он никуда не годится. Слог слишком небрежен и слишком мало мыслей, чтобы можно было простить пустоту содержания. Однако я решился докончить корректуры всей первой части и завтра примусь за 2-й день. Пошлю ли я или нет это сочинение? Я не решил. Мнение Николеньки решит это дело. Я об нем очень беспокоюсь, и мне на душе как-то тяжело и жутко. Очень хочется мне начать коротенькую кавказскую повесть⁵; но я не позволяю себе этого сделать — не окончив начатого труда».

8 апреля: «...принялся писать, но был не в духе; поэтому, написав две страницы, бросил».

10 апреля: «...принялся за роман; но, написав две страницы, остановился; потому что мне пришла мысль, что второй день не может быть хорош без интересу и что весь роман похож на драму. Не жалею, отброшу завтра все лишнее».

¹ И.В.Суворов, слуга Толстого.

² В *Юб.* опубликован как самостоятельный фрагмент (т. 1, с. 247–248).

³ В этой редакции 16-й была глава «Детство».

⁴ Это была первая глава о втором, московском дне «Детства».

⁵ Первое упоминание о рассказе «Набег».

11 апреля: «Думал о переменах, которые нужно сделать в повести, и ежели тоска и апатия, которые я чувствовал нынче, пройдут, завтра при-мусь за дело».

12 апреля: «...писал, обедал, еще писал <...> У меня становится дурная привычка навязываться с чтением своей повести».

13 апреля: «Встал в 7-м, писал...»

15 апреля: «Писал до 1. Ложусь спать».

16 апреля: «Писал, но кажется нехорошо. Однако надо кончить».

17 апреля: «Писал новую главу — «Ивины»; но вышло дурно <...> Отдал переписывать первый день».

18 апреля: «Был у меня писарь Алексеев».

19 апреля: «Писал немного <...> Я вспомнил эпизоды Эсташевского сада и жалею, что не поместил их в повести».

Этот эпизод — о том, как детей Толстых не пустили в красивый богатый сад близ Тверского бульвара, когда они пришли туда без хорошенькой Юзеньки, дочери гувернантки, Толстой рассказывал позднее биографу П.И.Бирюкову (*Бирюков*, т. 1, с. 47).

20 апреля: «Писал много».

21 апреля: «Писал; но писанье мне кажется плохо».

23 апреля: «Пробовал писать, но, во-первых, от морального беспокойства, и во-вторых, от того, что предыдущая глава мне кажется очень дурною, ничего не написал».

24 апреля, по дороге в Кизляр, Толстой услышал тронувший его до слез рассказ крестьянина о том, как после 40 лет разлуки он хотел видеться в России с родными: «Не чувствую. Вот просто как дерево, только сердце так и бьется как голубь». Это «как голубь» вскоре вошло в рукопись главы «После мазурки» (в первой редакции такого сравнения не было): «Я чувствовал только, что кровь приливает мне к сердцу, что оно бьется, как голубь...»

10 мая: «Завтра принимаюсь за продолжение “Детства” и, может быть, за новый роман»¹.

11 мая: «Мне пришло на мысль, что я очень был похож в своем литературном направлении этот год на известных людей (в особенности барышень), которые во всем хотят видеть какую-то особенную тонкость и замысловатость».

18 мая, в Пятигорске, куда приехал для лечения: «Встал рано, писал “Детство”, оно мне опротивело до крайности, но буду продолжать».

19 мая: «...написал главу “Детства” — порядочно».

20 мая: «...написал главу “Детства”».

22 мая: «Перечитывал главу “Горе” и от души заплакал. Действительно, есть места прекрасные; но есть и очень плохие».

23 мая: «*Детство* кажется мне не совсем скверным. Ежели бы достало терпенья переписать его 4-й раз, вышло бы даже хорошо»².

24 мая: «Писал немного, но хорошо».

¹ Имеется в виду «Роман русского помещика».

² Слова о «4-м разе» подразумевают, что первой рукописью (из которой родилось «Детство») автор считал «Четыре эпохи развития».

25 мая: «... писал мало, потому что задумался на мистической, малоосмысленной фразе, которую хотел написать красноречиво. Потерял за ней все утро и все-таки недоволен».

Поскольку ясно, что в это время работа шла над заключительной главой — о смерти Наталии Савишны, по всей видимости, речь идет о вариантах фразы (вставка к последней странице), которая лишь в следующей редакции приобрела простой, окончательный вид: «Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни — умерла без сожаления и страха» (ср. варианты в т. I второй серии).

26 мая: «Кончаю последнюю главу. <...> Завтра кончаю “Детство”, пишу письма и начинаю окончательно пересматривать».

27 мая: «... утром окончил “Детство” и целый день ничего не мог делать».

Такова хроника работы над второй редакцией «Детства»: от 21 марта до 27 мая 1852 г. 30 мая Толстой написал в Ясную Поляну Т.А.Ергольской: «... мои литературные занятия идут понемножку, хотя я еще не думаю что-нибудь печатать. Одну вещь, которую я начал уже давно, я переделал три раза и намерен еще раз переделать, чтобы быть ею довольным; пожалуй это вроде работы Пенелопы, но это меня не удручает, я пишу не из честолюбия, а по вкусу — нахожу удовольствие и пользу в этой работе, потому и работаю».

Рукописи второй редакции настолько близки к окончательному тексту, что в большинстве случаев расхождения могут быть представлены в виде вариантов. Но все же это именно редакция, поскольку в ней еще нет некоторых глав, которые появятся потом («Игры»); есть большие фрагменты, которые исчезнут при окончательной обработке (главы «Что же и хорошего в псовой охоте?», «Музыка», «Любочка»); местами иная композиция: «Что за человек был мой отец?» составляет главу 4-ю, следуя сразу после «Папа», а не X, как это стало в печатном тексте.

Хотя Толстой пытался найти помощников-переписчиков, лишь шесть глав из двадцати девяти — копии, исправленные при новых просмотрах рукописи. Все остальное — автограф; само собою разумеется, что, переписывая, Толстой менял текст, существенно приближая его к окончательной редакции.

Художественная отделка шла по всему тексту, на каждой странице. Полный свод вариантов, впервые составленный при подготовке настоящего издания, свидетельствует об этом со всей наглядностью.

В этой рукописи еще сохранено точное хронологическое приурочение событий: первый день, в деревне — «12-го августа 1836 года»; второй день, в Москве — «1836 года 8-го сентября».

История текста последней — третьей — редакции началась, судя по дневнику, 27 мая 1852 г., и завершилась 4 июля того же года, когда рукопись была отправлена в Петербург.

27 мая, без всякого перерыва, Толстой снова вернулся к первым главам: «Начало, которое я перечитываю, очень плохо; но все-таки велю переписать и тотчас же пошлю». В заглавии оставлено одно слово: «Детство» (см. выше с. 377).

31 мая: «Был у меня писарь, отдал и прочел ему 1-ую главу. Она решительно никуда не годится. Завтра переделываю вторую, и по мере того как буду переписывать, буду переделывать».

1 июня: «имел глупость» прочесть несколько глав знакомому молоденькому офицеру Н.И.Бuemскому, и в этот же день писец принес переписанную 1-ю главу; «а я был так ленив, что даже не приготовил в целый день следующей».

2 июня: «... поправлял “Детство”, задал работу писарю».

Мнение о сделанном склонялось в благоприятную сторону. Еще 30 мая в дневнике было отмечено сурово: «Есть ли у меня талант сравнительно с новыми русскими литераторами? Положительно нету». Теперь появилась иная запись: «Хотя в “Детстве” будут орфографические ошибки¹, оно еще будет сносно. Все, что я про него думаю, это то, что есть повести хуже; однако я еще не убежден, что у меня нет таланта. У меня, мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости, тоже нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях. В последнем я еще сомневаюсь, однако».

4 июня: «Писарь задержал. Один пьян, другой не умеет писать. Несчастье. На этот раз, как и при работе над второй редакцией, Толстому пришлось многое «переписывать» самому.

6 июня: «Встал в 5 и тотчас принялся переписывать <...> работал усердно до обеда и после до 1/2 6».

7 июня: «... переписывал и поправлял до 6 вечера <...> читал апрельский «Современник», который гадок до крайности. Чувствую себя гордым, не знаю чем?»

Вероятно, мысль отправить свое сочинение в этот «лучший» журнал уже возникла.

8 июня: «Охота к переписыванию прошла — я очень мало писал нынче».

10 июня: «Ежели Иван Моисеевич² пишет скверно, зато услужлив».

11 июня: «... писал и поправлял».

12 июня: «... переписывал довольно мало».

13 июня: «Писал довольно». Решил завтра пересмотреть не переписанные Иваном Моисеевичем «главы 1-й части».

14 июня: «Завтра встаю в 5-м <...> пишу утром “Детство”...»

15 июня: «Писал. Кончил вторую часть, перечел ее и опять очень недоволен, однако буду продолжать».

16 июня: «Продолжал с большими сокращениями 1-ую часть. Хоть как-нибудь да кончить».

17 июня: «Переписал дурно и мало. <...> рассердился на Буемского. Он пишет³ мне, но плоха на него надежда».

19 июня: «Переписывал мало, но зато Буемский серьезно принялся».

20 июня: «Встал в восемь, пил воды, потом писал. Прибавил описание уборки — порядочно. Описание «хлебной уборки» — в главе VII «Охота». В этот же день Толстой читал № 5 «Современника», где ему понравилась повесть М.И.Михайлова «Кружевница». «Буемский с своими переписками мешает мне работать. Впрочем, я и сам ленюсь».

21 июня: «Встал рано <...> писал».

22 июня: «Написал недурную главу “Игры”». «Игры» — это глава VIII. Начало ее взято из бывшего в первых рукописях рассказа о том, что проис-

¹ Вероятно, стилистические погрешности.

² Писарь в Пятигорске. Фамилия неизвестна.

³ То есть переписывает.

ходило, как «охота кончилась»: буфетчик Гаврило, развернув и положив на тарелки, раздал детям фрукты.

Дальше в предыдущей редакции было: «Когда нас оделили мороженым и фруктами, сидеть на ковре было незачем, и мы побежали в лес играть в Робинсона. Игра эта состояла в представлении сцен из «Robinson Suisse»¹, которого мы перед этим читали. Я был Эрнест, Любочка была мать». Затем шел эпизод, составивший в третьей редакции следующую главу — «Что-то вроде первой любви». Здесь же был написан весь разговор между детьми об играх и замечательное итоговое рассуждение Николеньки: «Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда останется?..»

В дневнике в тот же день, 22 июня, отмечено: «Начинаю чувствовать необходимость и желание в третий раз переписать “Детство”. Может выйти хорошо». Этот замысел не был исполнен. Вторая «переписка», то есть создававшаяся в это время третья редакция, оказалась последней.

23 июня: «Встал в шесть <...> ничего не писал <...> Бумеский писал <...> Бумеский мешает, а много было хороших мыслей».

25 июня: «Писал до обеда нехорошо, после обеда почувствовал зубную боль и писал еще хуже...».

27 июня: «... писал “Детство”».

28 июня: «Встал в осемь, переписал много и хорошо...»

29 июня: «Переписал последние главы».

30 июня: «Переписывал мало и дурно».

1 июля: «Завтра кончу “Детство” и решу его судьбу».

2 июля: «... окончил “Детство” и поправлял его. <...> написал черновое письмо редактору».

3 июля: «... поправлял “Детство”, написал письмо редактору».

4 июля: «Ванюшка разбудил меня в 5-м часу. Встал, окончил поправлять <...> все отправил на почте довольно аккуратно».

Тогда же, 4 июля, в письме к Т.А.Ергольской, тоже отправленном из Пятигорска, Толстой сообщил о посылке в Петербург «романа».

Судить о последней, третьей редакции «Детства», рукопись которой была отправлена в «Современник» и не сохранилась, можно, лишь сопоставляя вторую редакцию с напечатанным в журнале текстом. Стилистическая правка, судя по обилию вариантов, была значительной. Что касается содержания, то нового появилось довольно мало. Зачеркнуто существенно больше. В главе I снят эпизод с наказанием Володи — за изломанную у Карла Иваныча коробочку. В главе II — рассказ о семейном обычае «целоваться рука в руку». В главе «Классы» — о манере Карла Иваныча говорить по-немецки («довольно хорошо и просто») и по-русски («на каждом слове делал кучу ошибок и имел, кажется, претензию на красноречие»); довольно пространное рассуждение о «подчиненном» положении матери и в конце главы — мечты Николеньки о том, что он сделает, когда вырастет большой. В главе «Юродивый» снят эпизод столкновения Гриши с Карлом Иванычем, сжат рассказ о Мими, а в конце главы — воспоминание о том, как страшно было в детстве начинать о чем-нибудь просить, и рассуждение, завершавшее главу: «Эту слабость, т.е. как тяжел для меня был первый шаг, я замечал за собою не только в детстве, но и в более зре-

¹ «Швейцарский Робинзон».

лых летах. Да что я говорю *эта слабость*, все слабости, которые были в детстве, остались те же; разница только в том, что проявляются они в других желаниях».

Следующая глава — «Что же и хорошего в псовой охоте?» — была снята полностью. В главе «Что-то вроде первой любви» зачеркнут рассказ о том, как засмеялась Катенька, увидав неудачную попытку Николеньки пронестись вихрем на своей лошадке. Глава «Что за человек был мой отец?» не только переставлена, но сильно сокращена: снято все, что говорилось об отношении отца к религии («он был набожен только для других»), о моральных убеждениях («Моральных же убеждений <...> и подавно у него не было») и др. Исчезли и находившиеся в этой главе общие рассуждения о помещичьей жизни в деревне (о разных видах «дани» — соседям, местным чиновникам, властям).

Глава «Музыка» была переименована: «Занятия в кабинете и гостиной». Об игре тапап, так подробно и блестяще охарактеризованной, осталось только два абзаца. Из следующей — «Любочка» — исчез эпизод о том, как она разбила нос, а текст, связанный с решением папа взять Карла Иваныча в Москву, был, напротив, расширен и вошел в главу «Занятия в кабинете и гостиной». Самостоятельная глава «В чулане», весь эпизод с целованием Катенькиной руки, был сильно сжат и составил два абзаца в предыдущей главе — «Гриша». Даже в главе «Детство», которая возникла в минуту большого вдохновения и потом только шлифовалась, сокращено патетическое рассуждение о Боге: «Я знал и чувствовал, что Бог велик, справедлив и добр, я был уверен, что все просьбы мои будут исполнены, все проступки наказаны, что всем, всем я обязан Ему и что он никогда не оставит меня. Ни одно сомнение не приходило нарушать моего спокойствия».

В главе «Княгиня Корнакова» снята сцена: Карл Иванович просит разрешения уйти с именин бабушки, чтобы поздравить жену старого друга мадам Шёнхайт, замечание папа, что он «избалуется» в Москве, как и прекрасный рассказ о возвращении из гостей пьяного Карла Иваныча.

Сильно изменилась при новом переписывании глава «Ивины». Особенно заключительная часть — о жестокости с Иленькой Грапом; текст стал короче и эмоционально напряженнее.

Пять начальных строк главы «Собираются гости» заменили две страницы подробного описания. В главе «Мазурка» рассказ о переживаниях Николеньки после неудачи с танцем заменила строка точек. Зачеркнуто было вступление к следующей главе. Из письма тапап изъяты все возражения против казенных учебных заведений — едва ли по цензурным, а не психологическим мотивам.

Если говорить о добавлениях, то, исключая главы «Игры», впервые появившейся в этой редакции, это были все художественные уточнения, детали. Нет возможности перечислить их полностью. Вот несколько примеров.

«Это я во сне плакал, тапап,— сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон». Добавлено: «и невольно содрогаясь при этой мысли».

«Вы изволите говорить, что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена». Это слова приказчика Якова. Толстой дополнил: «продолжал он с расстановкой» — так подчеркнута уверенность Якова в разговоре с папа. Появилось и новое завершение всей сцены:

«— Слушаю-с.

По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие».

В следующей главе, «Классы», добавлено о Карле Ивановиче: «зажмурившись, слушал меня (это был дурной признак)». И дальше, в разговоре Карла Ивановича с Николаем: «сказал он, прикладывая руку к груди», «с выразительным жестом кинул». После того, как была продиктована фраза о неблагодарности, — «Лицо его не было угрюмо, как прежде», Толстой добавил еще: «оно выражало довольство человека, достойно отомстившего за нанесенную ему обиду». Легкий юмор все более становился характерной чертой стиля «Детства». Много лет спустя, расхваливая «Душечку» А.П.Чехова, Толстой сказал: «...описано с юмором, оно и мило, и действует так же, как Карл Иванович» (*ЛН*, т. 90, кн. 1, с. 129).

Очень многое уточнялось в своей пластической выразительности. «Желтое» лицо юродивого Гриши стало «желтым уродливым»; Марья Ивановна не просто «сидела» на одном из кресел, а «чинно сидела». Доезжий Турка «ехал впереди всех» — дополнено: «на голубой горбоносой лошади в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе» и еще: «По мрачной и свирепой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту». В разговоре с папа о Жиране Никольенька не «сказал», а «сказал с видом знатока» и потом обматал платком не «шеею», а «мохнатую шею» собаки. Только в этой редакции появилось изумительное описание уборки хлеба — просторный поэтический абзац вместо одной-единственной фразы во второй редакции: «А жнивье или зеленыя в солнечный день — какой прекрасный фон для этой картины!»

Решив взять Карла Ивановича в Москву, папа сказал об этом «веселым голосом, положив руку на плечо тапан» (это добавлено). «Un très bon diable» («Славный малый»), — говорит он о Карле Ивановиче. Лишь в последней редакции есть и детское размышление Никольеньки: «Я никак не мог постигнуть, зачем папа бранит Карла Ивановича».

В главе «Гриша» добавлены детали: сев на кровать, он «окрестил ее со всех сторон», «заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах платье»; руки его стали «огромными»; лучи освещавшего его месяца — «бледными, серебристыми».

Наталья Савишна наказывает Никольеньку за испорченную скатерть (гл. XIII). Добавлено: «несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны»; а потом говорит не «простите», а «простите, мой голубчик».

В главе XIV «Разлука» появилось: «Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла, горизонт был серо-лилового цвета», ветер «поднимал столбами пыль с дорог и полей»; «пристяжная» стала «пегой пристяжной».

В главе «Детство» к слову «креслице» добавлено «высокое»; тапан, лаская, берет голову Никольеньки «обеими руками»; «слезы капаят» заменено: «слезы ручьями льются»; «смелые молитвы к Богу» — «горячими молитвами».

В обращениях бабушки к княгине Корнаковой в нескольких местах присоединилось «моя милая», и весь разговор иронически заострен. Но в целом во всей московской части повести работа над текстом, даже и стилистическая, шла по линии сокращения. Впрочем, о князе Иване Ивановиче добавлено: «Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона», а в его обращенных к бабушке словах о Хабаровке (имени тапан) — «в которой мы с вами, во

время оно, игравали на театре». Бабушка отвечает ему «с грустным выражением» — эти слова тоже появились лишь в окончательном тексте, как и упоминание о «глупой гувернантке», с которой осталась мамап в деревне.

В главе «Ивины» «щегольское платье» их гувернера господина Frost'a было дополнено сначала «большой рубиновой булавкой в шарфе», а в окончательном тексте появилось еще: «концы которого были просунуты под помочи». Характерны вставки и в описании Сережи Ивина. После жестких сцен с Иленькой Грапом все «не знали, что делать» и «старались принужденно улыбаться». Об Ивине добавлено: «Первый опомнился Сережа» и потом сказал резкую фразу, «неестественно засмеявшись».

Все это, как будто, мелочи, детали. Но без этих «чуть-чуть» не было бы художественной картины, не было бы всей поэзии и правды «Детства».

Итак, если оставить в предыстории «Детства» работу над черновиком неоконченного романа «Четыре эпохи развития» (декабрь 1850 — март 1851 г.), собственно повесть «Детство» была создана менее чем за год на Кавказе: с 23 августа 1851 по 4 июля 1852 г. Толстой к концу этого труда уже осознал писательское свое призвание. Отправив «Детство» в журнал «Современник», он на другой день принялся за продолжение «Письма с Кавказа», т.е. рассказа «Набег».

До конца жизни сохранил Толстой воспоминание о том, как работал на Кавказе над «Детством», а хозяин хаты, где он стоял, старый казак Епифан Сехин советовал бросить и простить им: «Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!» «О писании в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе», — добавил от себя автор «Казак» (гл. XXVIII).

2

3 июля 1852 г. Толстой составил письмо Н.А.Некрасову, но на другой день, отправляя рукопись, приложил не свой автограф, а копию (возможно, сделанную под диктовку) рукой Н.И.Бумеского. Вполне официальный тон и неуверенность в успехе соединились в этом обращении к «опытному и добросовестному редактору», каким был для Толстого Некрасов, с чувством авторского достоинства. О посылаемой рукописи здесь говорится: «Я вперед соглашаюсь на все сокращения, которые вы найдете нужным сделать в ней, но желаю, чтобы она была напечатана без прибавлений и перемен». Толстой допускал, что повесть не сможет быть напечатана в одном номере, и предлагал свое деление: «от начала до главы 17-ой, от главы 17-ой до 26-ой и от 26-ой до конца». В журнале «Детство» было помещено сразу полностью.

Письмо заканчивалось словами: «... я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит жечь все начатое». Подписавшись «Л.Н.», Толстой просил адресовать ответ Н.Н.Толстому. В письмо были вложены деньги для обратной пересылки рукописи, если бы такая пересылка понадобилась.

На письме позднейшая помета Некрасова: «При этом письме прислана повесть "Детство". Автор гр. Лев Толстой». Но в ту пору, когда «Детство» печаталось, Некрасов еще ничего не знал об авторе. Обращая внимание И.С.Тургенева на девятый номер «Современника» за 1852 год, Некрасов

называл автором повести Н.Н.Толстого: «офицер, служащий на Кавказе» (Некрасов, т. 10. с. 179).

Свое мнение о «Детстве» Некрасов изложил дважды. В первом письме, которое Толстой получил в конце августа и которое обрадовало его, как помечено в дневнике, «до глупости», говорилось: «Я прочел Вашу рукопись (“Детство”). Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатала. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет поболее живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш, и талант меня заинтересовали. Еще я посоветовал бы Вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо с своей фамилией, если только Вы не случайный гость в литературе». Прочитав повесть «внимательно в корректуре, а не в слепо написанной рукописи», Некрасов выразился еще определеннее: «...эта повесть гораздо лучше, чем показалась мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант» (*Переписка*, т. 1, с. 50–51).

Сентябрьская книжка «Современника» получила разрешение цензора А.Л.Крылова 31 августа. 5 сентября Некрасов извещал Толстого, что она выйдет «завтра», т.е. 6 сентября, и будет послана на Кавказ. И еще о том, что кое-что исключено («немного, впрочем»), но не прибавлено ничего. Просил сообщить полное имя автора — ему, как редактору журнала, необходимо это было знать по правилам тогдашней цензуры.

Гонорар за первую вещь начинающего автора в «Современнике», как и в других лучших тогдашних журналах, не полагался, и 30 сентября Толстой, не знаящий этого, заметил в дневнике: «Получил письмо от Некрасова — похвалы, но не деньги». В следующем письме (от 30 октября) Некрасов назначил за последующие труды «лучшую плату, какую получают наши известные (весьма немногие) беллетристы, то есть 50 рублей серебром с печатного листа» (там же, с. 53).

2 октября Толстой извещал Т.А.Ергольскую, что его «роман», отосланный в Петербург, вышел в сентябрьской книжке «Современника» под заглавием «Детство», подписан «Л.Н.»: «... кроме Николеньки, автора никто не знает. Я желаю, чтобы никто этого и не знал».

«Современник» не был послан в Старогладковскую (Некрасов забыл распорядиться отпечатать лишний номер журнала), но 31 октября Толстой увидел этот девятый номер. «Прочел свою повесть, изуродованную до крайности», — записано в этот день в дневнике. В те же дни повесть Толстого фигурировала в рапорте чиновника особых поручений при Главном управлении цензуры Н.В.Родзянко министру народного просвещения. Касаясь содержания девятого номера журнала «Современник», чиновник благосклонно отозвался об «Истории моего детства»: «повесть автобиографического и нравоописательного содержания, взятая из домашнего и семейного быта одного русского помещика и его родственников и знакомых в Москве. Сочинение изобилует хорошими в нравственном отношении рассказами и суждениями» (*РГИА*, ф. 772, оп. 1, ч. 1, д. 2790, л. 58).

До публикации из текста уже были удалены все опасные в цензурном отношении места.

Вообще редакторских изменений и цензурных искажений было не так уж много, но Толстой относился к своему первому созданию с особенной

ревностью. «Скажу только,— написал он 18 ноября Некрасову в неотправленном письме,— что, читая свое произведение в печати, я испытал то неприятное чувство, которое испытывает отец при виде своего любимого сына, уродливо и неровно обстриженного самоучкой-парикмахером»¹.

Главная перемена, поразившая Толстого, заключалась в ином заглавии: вместо «Детства» — «История моего детства». Не приходится сомневаться, что оно было дано редакцией «Современника» просто потому, что автобиографический жанр процветал в тогдашней беллетристике и отвечал читательским вкусам. Такое предположение высказал Н.Н.Гусев (*Гусев, I, с. 397*); с ним трудно не согласиться. В 1855 г. Некрасов заметил: «Теперь только и пишутся, что записки, признания, воспоминания, автобиографии». Заглавие «Детство» (сохраненное «Современником» в колоннотитуле) было восстановлено в отдельном издании 1856 г., хотя и там еще на шмуц-титule фигурирует злополучная «История моего детства».

В журнальной публикации исчезли «несколько слов предисловия», которые, как писал Толстой Некрасову, «объясняли мысль сочинения»: это предисловие утрачено навсегда. Вероятно, оно было написано перед самой отправкой «Детства» в печать и едва ли повторяло отброшенные простран-ные черновые главы «К читателям» и «К тем господам критикам...». Скорее всего, в предисловии говорилось, что «Детство» — первая часть романа об эпохах жизни, а последующие части его «Отрочество», «Юность», «Молодость».

Крайне недоволен был Толстой, никак не обозначивший жанр отправленной рукописи, тем, что в печати она именовалась «повесть». В позднейших изданиях ни предисловие, ни слово «роман» не появились, но название «повесть» было снято. Сначала «Детство» и «Отрочество», а потом и вся трилогия составили первую созданную Толстым книгу и в собраниях сочинений печатались рядом, как единое целое: три повести, а «в сущности роман». Об оригинальности художественной формы «Детства» Толстой говорил и в конце жизни: «Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразным, то так же и их форма. Как-то в Париже мы с Тургеневым вернулись домой из театра и говорили об этом, и он совершенно согласился со мной. Мы с ним припоминали все лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих произведениях форма совершенно оригинальная. Не говоря уже о Пушкине, возьмем «Мертвые души» Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. Потом «Записки охотника» — лучшее, что Тургенев написал. Достоевского «Мертвый дом», потом, грешный человек, — «Детство», «Былое и думы» Герцена, «Герой нашего времени»...» (*Гольденвейзер, с. 116, запись 28 июля 1902 г.*).

Цензурное вмешательство коснулось нескольких мест «Детства» и больно задело автора. На первой же странице «образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати» (т.е. иконка) был заменен «портретом

¹ Первое письмо — от 8 ноября, которое, как отмечено в дневнике, «успокоило» Толстого, тоже не было послано. Это, второе, найдя и его «слишком жестким», Толстой переслал брату Сергею Николаевичу: «Мне неприятно думать, что ты можешь приписать мне различные пошлости, вставленные каким-то господином» (10 декабря 1852 г.). Некрасову 27 ноября был отправлен более спокойный вариант.

моей маменьки». Далее в гл. XIII опущена вся история любви Натальи Савишны — «история, обрисовывшая ее, быт старого времени и придававшая важность и человечность этому лицу», как писал Толстой Некрасову. Взамен появилась «бесмысленная» фраза: «Она даже подавила в сердце своем любовь к молодому официанту Фоке...». Эти искажения удалось устранить в книге «Детство и Отрочество» 1856 г., но цензурная история «Детства» запомнилась Толстому и отразилась на последующем творчестве, прежде всего на военных рассказах. 27 ноября 1852 г. в письме Некрасову — характерное признание: «Хотя у меня кое-что и написано, я не могу прислать вам теперь ничего: во-первых потому, что успех моего первого сочинения развил мое авторское самолюбие и я бы желал, чтобы последующие не были хуже первого, во-вторых, вырезки, сделанные цензурой в “Детстве”, заставили меня, во избежание подобных, переделывать многое снова».

Впервые Толстой подписался в этом обращении к Некрасову полной фамилией, но просил, чтобы «это было известно одной редакции».

В неотправленном письме Некрасову от 18 ноября Толстой говорил «о бесчисленных обрезках фраз без малейшего смысла». Н.Н.Гусев полагал, что это могло относиться к предсмертному письму татап, где она критикует учебные казенные заведения. В последней сохранившейся рукописи это несколько страниц текста — целый трактат (см. т. I второй серии). В «Современнике» — многоточие. Но вполне возможно, что Толстой сам сократил этот фрагмент при окончательной отделке.

Что касается записки Мими, в отправленном 4 июля 1852 г. тексте «Детства» она явно была на французском языке. В «Современнике» появился только перевод, причем Толстой был недоволен переводом слова «*délicie*» как «горячность». В изд. 1856 г. записка дается по-русски, но перевод исправлен: «в бреду».

Другие погрешности журнальной публикации были также устранены в 1856 г. (см. с. 379).

Собственно авторская правка «Детства» в изд. 1856 г. невелика. Сняты два эпиграфа: в гл. VIII «Игры» — из Беранже и в гл. XIX «Ивины». Несколько расширена характеристика отца (гл. X «Что за человек был мой отец?») и дополнен рассказ Натальи Савишны в заключительной главе: «Прежде чем душа праведника в рай идет — она еще сорок мытарств проходит, мой батюшка, сорок дней, и может еще в своем доме быть...».

Историю отдельных изданий «Детства» и «Отрочества» в 1856 и 1876 гг. см. в комментариях к «Отрочеству».

3

О прототипах некоторых персонажей «Детства» говорил сам Толстой. Особенно много — в незаконченных «Воспоминаниях» (1903–1906) и в тогдашних заметках для биографа П.И.Бирюкова (*Юб.*, т. 34, с. 394–400).

«Воспоминаниям» предпослано введение, где Толстой весьма строго оценил «Детство».

«Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и

моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей...». Далее назван англичанин Л.Стерн с его «Сентиментальным путешествием» и швейцарец Р.Телфер с «Библиотекой моего дяди».

Авторский поздний суд не всегда бывает справедлив. «Детство» порицается здесь за биографическую неполноту, хотя по самой своей природе не было автобиографией. «“История моего детства” противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории моего детства?..» — возмущенно спрашивал Толстой Некрасова в 1852 г. Что касается литературного воздействия, в частности писателей-сентименталистов, оно имело место, но совсем не в такой мере, чтобы говорить о «несамостоятельности форм выражения».

В гл. VII «Воспоминаний» сказано: «Немца нашего учителя Фед. Ив. Рёсселя я описал, как умел подробно, в “Детстве” под именем Карла Ивановича. И его история, и его фигуры, и его наивные счеты — все это действительно так было». В рукописях «Детства» встречается порою характерная описка: Ф.И. вместо К.И.; в одном письме к А.А.Толстой (1865) не менее поразительная оговорка: «Я помню, как передо мной покраснел раз Карл Иванович».

Т.А.Ергольская писала Толстому 12 декабря 1852 г. на Кавказ после чтения только что появившегося в печати «Детства»: «Невозможно лучше описать личность Рёсселя, так правдиво и так правильно; Прасковья Исаишна тоже хорошо описана...» (Юб., т. 59, с. 210).

В гл. VIII «Воспоминаний» об этой Прасковье Исаевне (фамилия ее остается неизвестной; умерла в феврале 1839 г. в Ясной Поляне) — подробный рассказ: «Прасковью Исаевну я довольно верно описал в “Детстве”. Все, что я об ней писал, было действительно <...> Прасковья Исаевна была почтенная особа — экономка, а между тем у нее, в ее маленькой комнатке, стояло наше детское суднышко...». Как и с Натальей Савишной в «Детстве», с Прасковьей Исаевной бывали разговоры про дедушку, как он воевал и привез из-под Очакова смолку, случались и обиды — не только за испорченную скатерть. «Кроме той преданности и честности ее, я особенно любил ее потому, что она с Анной Ивановной! казалась мне представительницей таинственной старины жизни дедушки с Очаковым и курением».

Сохранился план дома, где родился Толстой и где прошло его детство: между детской и девичьей помечена комната «Прасковья Савишна» (Гусев, I, между с. 80 и 81; ЛН, т. 69, кн. 1, с. 505). План чертился по воспоминаниям, в 1898 г., когда П.А.Сергеенко, готовя книгу «Как живет и работает гр. Л.Н.Толстой», расспрашивал Толстого о фактах его жизни. С.А.Толстая записала 19 февраля 1898 г. в дневнике: «Весь день провел у нас Сергеенко <...> Сегодня Л.Н. ему чертил план дома, который был в Ясной Поляне, в котором родился и рос Л.Н. и который он же продал за карточный долг помещику Горохову в селе Долгом. Он и теперь там стоит, полуразвалившийся, и Сергеенко едет туда с фотографом снять этот дом и поместить в сборник. Когда Л.Н. чертил план этого дома, у него было такое умиленное, хорошее лицо. Он вспоминал: тут была детская, тут жила Прасковья Савишна, тут был большой отцовский кабинет, большая зала, комната холос-

¹ Няня у детей Толстых.

тых, официантская, диванная и т.д. Большой был дом» (*Дневники С.А. Толстой*, 1, с. 357). В письмах Сергея и Николая Толстых из Москвы в Ясную Поляну, относящихся к 1838 г., постоянно упоминалась эта Прасковья Исавишна, или Прасковья Исаевна (Исавна): дети посылали ей поклоны, спрашивали о здоровье, благодарили за «посылочки» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 21–23).

Относительно юродивого Гриши в замечаниях к «Биографии Л.Н.Толстого», составленной П.И.Бирюковым, сказано, что это «лицо вымышленное»: «Юродивых много разных бывало в нашем доме <...> Подслушивали же мы, дети, молитву не юродивого, а дурачка, помощника садовника, Акима, действительно молившегося в большой зале летнего дома между двух оранжерей и действительно поразившего и глубоко тронувшего меня своей молитвой, в которой он говорил с Богом, как с живым лицом. “Ты мой лекарь, ты мой аптекарь”, — говорил он с внушительной доверчивостью. И потом пел стих о страшном суде, как Бог отделит праведников от грешников и грешникам засыпет глаза желтым песком...» (*Юб.*, т. 34, с. 395).

О Катеньке, дочери гувернантки, Толстой заметил: «Под Катенькой я описал Дунечку, воспитанницу Темешева» (там же, с. 396). Однако история и характер этой незаконной дочери троюродного дяди — А.А.Темешева, как о ней рассказано в гл. VII «Воспоминаний», — говорю мало напоминает образ Катеньки в «Детстве». Не приходится сомневаться, что по мере работы над повестью в Катеньке, как и в других персонажах, сливались черты многих лиц, вымысел с действительностью. Имя Юзенька и фамилия Кофертал, Купфертал в черновиках «Детства» заставляют вспомнить Юзю Копервейн и ее мать — гувернантку в доме Исленьевых (тульский помещик А.М.Исленьев, приятель отца Толстого, был дедом С.А.Берс; ее мать Любовь Александровна в девичестве носила фамилию Иславина; дети, родившиеся без признанного церковного брака А.М.Исленьева и С.П.Завадской, не считались «законными»).

Много позднее, в 1909 г., когда в Ясной Поляне играла маленькая девочка-пианистка Энери (И.А.Горяинова), в разговоре о «Детстве» Толстой сказала, что Катенька — это Юзенька Копервейн, Любочка — сестра Машенька, Володя — брат Сергей, Ивины — Мусины-Пушкины (*Гольденвейзер*, с. 296–297). В заметках для Бирюкова — о том же: «Под фамилией Ивиных я описывал мальчиков гр. Пушкиных, из которых на днях умер Александр, тот самый, который так нравился мне мальчиком в детстве. Любимая игра нас с ним была игра в солдаты» (об игре с Ивиным в солдаты рассказывалось в первой редакции «Детства» — см. т. 1 второй серии).

В черновых рукописях «Детства» встречаются даже характерные оговорки: Машенька — вместо Любочка, Сережа — вместо Володя. Это верные признаки действительных прототипов: М.Н. и С.Н.Толстых. И.С.Тургенев, познакомившийся с М.Н.Толстой в 1854 г., заметил (конечно, с ее слов) в одном из тогдашних писем: «В “Отрочестве” Толстой описал свою сестру под именем Любочки. Только у ней теперь ноги не “гусем” и талия прекрасная» (*Тургенев*, Письма, т. 2, с. 240).

Инициалы отца в «Четырех эпохах развития» — А.М. (Александр Михайлович) — подтверждают слова С.А.Толстой в ее кратких, не напечатанных при жизни Толстого «Материалах к биографии...» (1876): «...тип “папа” в “Детстве” есть живой портрет моего деда Исленьева» (*ЛН*, т. 69, кн. 1, с. 500). Эту же версию высказал ее брат, Ст. А.Берс, в книге «Воспо-

минания о графе Л.Н.Толстом», вышедшей в Смоленске в 1893 г. Т.А.Кузминская свидетельствует в книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», что Исленьев узнал себя в повести и «много смеялся своему изображению». «Дедушка был старого закала: хороший хозяин, крепостник, и иногда даже жестокий, как я слышала про него. Отличительная черта его характера была жизненная энергия, которую он сохранил до глубокой старости. Он был страстный игрок, охотник, любитель цыган и цыганского пения» (Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1976, с. 33–34).

В конце жизни, 5/18 марта 1918 г., С.А.Толстая свидетельствовала: «Все типы, описанные в “Детстве”, взяты из двух семей: граф. Толстых и Александра Михайловича Исленьева, моего родного деда по матери. Его и описал Лев Николаевич под заглавием “Папа” и “Что за человек был мой отец”».

Матери Лев Ник. не помнил, ему не было 2-х лет, когда она умерла. Из семьи моего деда Исленьева, кроме его самого, описана еще гувернантка дочерей деда, в том числе и моей матери — шведка по мужу — мадам Копервейн. Она и воспитала и мою мать и ее сестер. Прозвище ее было “Мими”. При ней жила и ее дочь, “Юзенька” (Жозефина), в “Детстве” она названа “Катенькой”.

Еще описаны в “Юности” вторая жена деда: “La belle Flamande”; первая, незаконная жена деда умерла молодая. Она была дочь графа П.В.Завадовского, фаворита Екатерины 2, замужем за княз. Козловским, которого она покинула, полюбив моего деда А.М.Исленьева. Учитель Карл Иванович, француз St.-Jérôme были при мальчиках Толстых, но Карл был Федор Иванович, а St.-Jérôme был St.-Thomas. Наталья Савишна была у Толстых.

“Володя” был брат Сергей, другие братья не описаны. А “Любочка” — это описана сестра Льва Ник. Машенька. “Бабушка” это мать отца Льва Ник. “Князь Иван Ив.” — это князь Горчаков, родственник бабушки, рожденной кн. Горчаковой.

“Княгиня Корнакова” с бесчисленными княжнами — это тоже родственница, княгиня Горчакова.

“Сонечка” — это Сонечка Калошина, жившая впоследствии в Троице-Сергиевской лавре, никогда не вышедшая замуж. Она была первой любовью еще мальчика Льва Никол-ча.

Все лица в Детстве, Отрочестве и Юности взяты с натуры, но я не ясно помню, с кого они именно писались. Приятели Льва Ник-ча в молодости были Д.А.Дьяков, Зыбин и другие. Все больше из русских помещиков и дворян. Думаю, что “Ивины” были Мусины-Пушкины» («Печать и революция», 1924, № 4, с. 96).

Имение Исленьева, в 37 верстах от Ясной Поляны, называлось Красное — так и в черновике «Четырех эпох развития». Сын матери от первого брака носит фамилию Козловский.

Известно, что в бытность в Москве зимой 1850–1851 г. Толстой посещал дом Горчаковых и княгиня Анна Александровна (жена троюродного дяди, Сергея Дмитриевича Горчакова), мать шестерых дочерей, мечтала женить его на одной из них.

Брат Сергей Николаевич писал Толстому в ноябре 1852 г.: «Прочитай твою повесть раза два, и с большим вниманием, меня ужасно стало беспокоить то, что, может, она мне показалась отличною потому только, что ее писал ты, и что все лица, в ней находящиеся, мне совершенно известны, и

что на человека, не знакомого с ними, она произведет совсем другое впечатление. Но после я успокоился, потому что видел многих людей, ее читавших, которые отзывались о ней как нельзя лучше» (*Перетиска с сестрой и братьями*, с. 125). Толстой ответил брату 10 декабря: «Я так хорошо знаю тебя, что как только послал свою рукопись, сказал Николеньке, что, как только она выйдет в печати, ты непременно напишешь мне на нее свои замечания, и ожидал и получил их с большим нетерпением и удовольствием, чем отзывы журналов». 12 апреля 1853 г. С.Н.Толстой снова извещал: «Писал ли я тебе, что Ферзен, который женился, велел мне тебе сказать, что он, бывши в это время с женой в Крыму, чутьем узнал, что “Детство” писано тобой, и что они, читая это с женой, оба плакали. Перфильевы, молодые и старые, Аникеева, даже и Горчакова, которая или себя не узнает, или показывает, что не узнает, милые Волконские, Костенька <Иславин>, которого это страшно мучает, что это не он написал, и многие другие чрезвычайно довольны твоим “Детством”» (там же, с. 134). С.Н.Толстому вторила в письме 12 декабря Т.А.Ергольская: «Невозможно лучше и правдивее описать характер и личность Рёсселя, Прасковья Исаишна тоже хорошо описана, но самая трогательная и самая интересная сцена — это смерть матери. Она написана с таким чувством, что нельзя читать ее без волнения. Без пристрастия и без леги скажу тебе, что надобно обладать настоящим и совершенно особенным талантом, чтобы придать интерес столь мало интересному сюжету, как детство, и ты, мой милый, владеешь этим талантом». Далее говорилось о похвалах Тургенева («Ежели этот молодой человек будет продолжать так, как он начал, он далеко пойдет») и совет не писать «длинных историй» — наподобие романа И.И.Панаева «Львы в провинции»¹ («Ясная Поляна», 1997, № 1, с. 249–250).

Позднее Толстой говорил одному из собеседников, что у него есть лица, списанные с натуры и не списанные, о преимуществах того и другого способа создания типов, о том, что в черновиках он иногда дает действительные имена, чтобы яснее представлять лицо, послужившее прототипом.

Огромный запас личных жизненных наблюдений и опыта понадобился Толстому при создании его первой книги. Но то, что случалось на самом деле, глубоко отличается от правды искусства. Художественная правда — вечная, хотя заново и как бы впервые открываемая гением.

В конце своей жизни Толстой сказал: «Когда я писал “Детство”, то мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства. Повторяю, и в литературе нужно целомудрие» (Булгаков В. Л.Н.Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л.Н.Толстого. М., 1989, с. 146; запись 12 апреля 1910 г.).

Не менее важное свидетельство — в мемуарах М.Горького: «О “Войне и мире” он сам говорил: “Без ложной скромности — это как “Илиада”. М.И.Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку “Детства”, “Отрочества”» (Горький М. Очерк «Лев Толстой»).

¹ Печатался с продолжениями в “Современнике” 1852 года.

30 октября 1852 г., менее чем через два месяца после выхода в свет девятого номера «Современника» с повестью Толстого, Некрасов написал автору о «суде публики»: «этот суд оказался как нельзя более в Вашу пользу» (*Переписка*, т. 1, с. 53).

Читающая «публика» того времени — это прежде всего писатели и критики.

28 октября, еще не зная подлинного автора «Детства», Тургенев отозвался о нем в письме Некрасову: «Ты прав — это талант *надежный*. В одном упоминении женщины под названием *La belle Flamande*, которая появляется к концу повести — целая драма. Пиши к нему — и поощрай его писать. Скажи ему, если это может его заинтересовать, что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему» (*Тургенев*, Письма, т. 2, с. 79).

В письме того же времени А.А.Краевскому Тургенев назвал повесть «Детство» «замечательной», а немного позднее в письме И.Ф.Миницкому — «прелестной» (там же, с. 85, 152).

За месяц до повести Толстого была напечатана «История Ульяны Терентьевны» Николая М. (украинский писатель П.А.Кулиш). Толстой записал тогда в дневнике: «Читал новый “Современник”. Одна хорошая повесть, похожая на мое “Детство”, но неосновательная». Тургенев же, когда в октябре появилась новая повесть Кулиша «Яков Яковлич», заметил в письме издателям «Современника»: «Только от него до Толстого (Л.Н.), как от земли до неба — и “Ульяну Терентьевну” я читать не стану» (там же, с. 86).

М.Н.Толстая 4 апреля 1853 г. рассказывала в письме, отправленном брату на Кавказ: «...я прочитала твое первое эссе “Мое детство”, это очаровательно, и не одна я это говорю, побуждаемая братской любовью, таково общее мнение. Брат И.С.Тургенева — наш сосед, мне случалось несколько раз видеть его жену, которая выразила мне свое восхищение твоим талантом, сказав мне, что Иван Сергеевич прочел эту статью и очень ее хвалит и очень желает с тобой познакомиться, он даже посылал к нам узнавать, правда ли, что ты будто приехал с Кавказа.

Каким образом все узнали, что это ты писал, я не знаю, но мне все знакомые твердят одно: “Как ваш брат отлично пишет!”

Я от всей души желаю, дорогой Левочка, чтобы ты продолжал эту карьеру так, как ты ее начал; по-моему, это самая приятная и самая почетная карьера. Я говорю, естественно, о карьере талантливого писателя, и надо надеяться, что ты им будешь» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 131–132).

Своего восхищения новым выдающимся талантом Тургенев не скрывал от других литераторов, в частности — А.И.Герцена. 18 февраля 1857 г., отвечая на парижское письмо Тургенева (Толстой тоже находился тогда в Париже), Герцен написал: «Очень, очень рад буду познакомиться с Толстым — поклонись ему от меня как от искреннего почитателя его таланта. Я читал его “Детство”, не зная, кто писал,— и читал с восхищением, но второго отдела не читал вовсе — нет ли у него?» (*Герцен*, т. 26, с. 77). Вскоре обе первые книги Толстого — «Детство и Отрочество», «Военные рассказы» — появились у Герцена. 26 апреля 1857 г. он спрашивал М.К.Рейхель: «Читали ли Вы Толстого повести и рассказы — достаньте непременно — удивительно хороши» (там же, с. 91). Раньше, отвечая на страницах «Поллярной звезды» (1856, кн. II) корреспонденту из России, Герцен писал, что

все появившееся от 1848 до 1855 г. принадлежит к «тому же сознательно-гоголевскому направлению»: «Из новых произведений меня поразила своей пластической искренностью повесть графа Толстого “Мое детство”» (там же, т. 12, с. 316).

Н.А.Тучкова-Огарева вспоминала: «Незадолго до отъезда из России Огарев и я читали с восторгом “Детство”, “Отрочество”, “Юность” Толстого, его рассказы о Крымской войне. Огарев постоянно говорил об этих произведениях и об их авторе. Приехав в Лондон, мы спешили поделиться с Герценом рассказом о новом, необыкновенно даровитом писателе. Оказалось, что Герцен читал уже многое из его сочинений и восхищался ими. Особенно удивлялся Герцен его смелости говорить о таких тонких, глубоко затаенных чувствах, которые, быть может, испытаны многими, но которые никем не были высказаны» (Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания. М., 1959, с. 178).

И.И.Панаев в «Заметках нового поэта» вспоминал: «Мы приветствовали графа Л.Н.Толстого, автора “Детства” и “Отрочества” <...> Мы даже несколько оробели перед его талантом, который показался нам чуть не гениальным» («Современник», 1861, № 3, отд. II, с. 161). «Детство» упомянуто в объявлении «Об издании “Современника” в 1853 году»: «Что касается редакции, то она смеет думать, что никогда еще не удавалось ей в такое короткое время соединить на страницах своего журнала по отделу “Словесности” столько произведений, если не в равной степени замечательных, то, несомненно, даровитых, как в настоящем году» (*Некрасов*, т. 12, с. 163). И затем «Л.Н.», «Л.Н.Т.» назывался в объявлениях вплоть до 1858 г. (с 1857 г., наравне с Д.В.Григоровичем, А.Н.Островским, И.С.Тургеневым, в качестве «исключительного» сотрудника).

Позднее, в 1866 г., Тургенев о «Детстве» отзывался критически («просто плохо, скучно, мелкотравчато, натянуто — и устарело до невероятности» — *Тургенев*, Письма, т. 6, с. 55), но это было связано с его недовольством первыми частями «Войны и мира», появившимися в «Русском вестнике».

Литературная критика 50-х годов обратила внимание больше всего на художественные достоинства повести.

Уже в октябре 1852 г. появились три отзыва: в «Отечественных записках», «Москвитяине» и «Пантеоне». С.Н.Толстой написал в ноябре брату: «Вероятно, ты на Кавказе получаешь все русские журналы, и в таком случае тебе излишне говорить, что “Отечественные записки” тебя расхвалили» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 125). В дневнике Толстого 25 ноября отмечено: «Прочел критику о своей повести с необыкновенной радостью».

Позднее С.А.Толстая в биографическом очерке писала: «Рассказывал он мне, что раз получили они на Кавказе “Отечественные записки” и Л.Н. стал читать статью: “О Современнике”, а там самые лестные похвалы о неизвестном авторе “Детства”. Он говорил мне: “Лежу я в избе на нарах, а тут брат и Оголин, читаю и упиваюсь наслаждением похвал, даже слезы восторга душат меня, и думаю: никто не знает, даже вот они, что это меня так хвалят”» (*ЛН*, т. 69, кн. 1, с. 508).

В «Отечественных записках» (1852, № 10, с. 84–85, отдел «Библиографическая хроника») статья была напечатана без подписи; принадлежала она С.С.Дудышкину.

«Если это первое произведение г. Л.Н., то нельзя не поздравить русскую литературу с появлением нового замечательного таланта», — утверж-

дал критик. И еще: «Давно не случилось нам читать произведения более прочувствованного, более благородно написанного, более проникнутого симпатией к тем явлениям действительности, за изображение которых взялся автор. Содержание рассказа очень просто: описывается та далекая пора, о которой каждый из нас вспоминает с благоговейным чувством, пора детства, когда мы были еще im Werden¹ (по выражению Гете), со всеми светлыми ее радостями и кроткими печальями. Мы желали бы познакомиться читателей с произведением г. Л.Н., выписав из него лучшее место; но *лучшего* в нем нет: все оно, с начала до конца, истинно прекрасно».

Далее критик все же привел цитату — из гл. XVII «Горе»: «Как все черты верны в этом отрывке, и каким глубоким чувством проникнут он весь! Хотелось бы привести здесь и всю главу, начало которой выписано нами; но мы отошлем читателя к самой “Истории моего детства”».

Также в октябре появился отклик журнала «Москвитянин». Автор, подписавшийся «Б.А.» (Б.Н.Алмазов), свой библиографический обзор журналистики начал с упоминания повести Л.Н.: «Что это нашло на русскую литературу? Она как будто стала поправляться; стали опять показываться отрадные явления <...> то и дело выступают новые литературные деятели с свежими силами и здоровым направлением <...> Очень понравилась нам повесть: “История моего детства”. Многие *черты детства* здесь схвачены очень живо. Рассказ проникнут теплым чувством» («Москвитянин», 1852, № 19, с. 106, 113).

В десятом номере петербургского журнала «Пантеон» статью поместил редактор этого ежемесичника Ф.А.Кони, сравнивший повесть Толстого с «Историей Ульяны Терентьевны» Кулиша: «Очевидно, что надо много умения и искусства, чтобы заинтересовать читателей историею этих неинтересных годов человеческого возраста. Всем нам было и восемь и четырнадцать лет, но не все мы Диккенсы, чтобы описывать эти года. Лучше всего эту истину доказал г. Николай М. Его “История Ульяны Терентьевны” удивительно скучна и растягута, тогда как в то же время г-н. Л.Н., автор “Истории моего детства”, вышел с честью из этого тяжелого испытания, написав очень милый и безыскусственный рассказ, в котором много занимательно-го и любопытного» («Пантеон», 1852, № 10, отд. VII, с. 13).

Журнал «Отечественные записки» в начале каждого года помещал критические обзоры о литературе в истекшем году. В январском номере 1853 г. анонимный автор обзора «Русская литература в 1852-м году» замечал: «С удовольствием мы распространились бы о вновь выступившем в прошлом году авторе г. Л.Н., которому принадлежит “История моего детства” (“Современник”), если б нами и без того не было уж много сказано в похвалу этому прекрасному рассказу. Редко случалось нам читать такое живое и увлекательное описание первых лет жизни. В содержании нет ничего особенного: детство, его первые впечатления, первое пробуждение способностей, первое сознание себя и своей обстановки, одним словом — все то, что мы знаем, что мы испытали. Но как все это рассказано! Какое умение владеть языком и подмечать первые движения нашей души! А между тем как передать красоту рассказа, прелесть которого именно заключается в рассказе?» («Отечественные записки», 1853, № 1, отд. IV, с. 21).

¹ в становлении, начале (нем.)

Гораздо позднее, но еще при жизни Толстого, С.А. Венгеров, автор энциклопедической статьи в словаре Брокгауза — Эфрона (т. 65, СПб., 1901, с. 451), написал: «"Детство" <...> имело чрезвычайный успех; автора сразу стали причислять к корифеям молодой литературной школы, наряду с пользовавшимися уже тогда громкою литературною известностью Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Островским. Критика — Аполлон Григорьев, Анненков, Дружинин, Чернышевский — оценили и глубину психологического анализа, и серьезность авторских намерений, и яркую выпуклость реализма, при всей правдивости ярко схваченных подробностей действительной жизни чуждого какой бы то ни было вульгарности».

Статьи названных Венгеровым критиков появились в журналах после публикации «Отрочества», выхода книги «Детство и Отрочество», появления в печати «Юности» (см. комментарии к «Отрочеству» и «Юности»). Сведения о переводах на иностранные языки — в комментариях к «Юности».

С. 13. ...«*Histoire des voyages*»... — Полное название этого 19-томного издания, вышедшего в Париже в 1746–1770 гг.: «*Histoire générale des voyages ou Nouvelle collection de toutes les relations des voyages*» («Всеобщая история путешествий, или Новое собрание всех описаний путешествий»).

...*истории Семилетней войны*... — Европейская война 1756–1763 гг.; Россия выступала в союзе с Австрией, Францией, Испанией, Саксонией, Швецией. Историю этой войны в XVIII в. написали немец Archengoltz и англичанин Sloyd.

С. 14. ...*ландкарты* — географические карты (нем. Landkarte).

С. 16. ...*этюды Clementi*. — Муцио Клементи.

...*арpeggio* — арпеджио, звуки аккорда, следующие один за другим.

С. 27. ...*клепер* — порода лошади.

С. 28. ...*выжлятник* — старший псарь, распорядившийся гончими собаками.

Стремянный — конюх, ухаживающий за верховой лошадью своего господина; обычно ведал сворой барских охотничьих собак.

Доезжачий — слуга, ведавший барской псарней.

С. 29. ...*бирка* — небольшая палочка с насечками, служившая для счетоводства и учета работ.

...*второчил смычки* — отвязал от ошейников веревки (смычки), которые попарно привязаны собаки, и прикрепил (второчил) смычки к седлу.

С. 30. ...*гончие варили варом* — преследовали зверя с неумолкаемым, залившимся лаем.

С. 32. ...«*Robinson Suisse*» — «Швейцарский Робинзон», роман швейцарского пастора Иоганна Давида Вейса: Wyss J.D. Robinson Suisse. Trad. de l'allemand par m-me E.Voiart. Paris, 1840. В 1906 г. Толстой говорил, что это «слабое произведение» (ЛН, т. 90, кн. 2, с. 61).

С. 35. ...*приятеля своего А...* — Имеется в виду композитор А.А. Алябьев.

С. 41. ...*очаковское куренье*. — Толстой рассказал об этом и в своих «Воспоминаниях» (1903–1906): Прасковья Исаевна доставала душистую смолку из шкафа, зажигала ее и говорила, что привез это куренье дедушка Толстого, кн. Н.С. Волконский, из-под Очакова.

С. 42. ...*корнет* — рожок, трубочка из бумаги (фр. cornet).

С. 61. ...*лексиконы Татищева*... — Трехтомный «Всеобщий французско-русский словарь, составленный по изданиям Раймонда Нодье, Болота и французской Академии... И.И. Татищевым» (1839).

- С. 67. ...*chaine* \hookrightarrow *glissade* — фигуры в танце.
 ...*кадриль* из «*Девы Дуная*»... — Опера-феерия австрийского композитора Ф. Кауэра по пьесе К. Ф. Генслера «*Дунайская нимфа*» (1792).
 С. 68. ...*pas de Basques* — старинные па мазурки.
 С. 77. ...*Веньямин*... — любимый сын (фр. *benjamin*).

ОТРОЧЕСТВО

Впервые: «Современник», 1854, № 10, с. 81–146. Подпись: Л. Н. Т.

Вошло в книгу: *Детство и Отрочество*, СПб., 1856.

Рукописный фонд составляет 170 листов.

Печатается по изданию 1856 г. со следующими исправлениями:

С. 92, *строка 9*: глянцевиты от росы — *вместо*: глянцевитые от росы (по А₂).

С. 92, *строка 27*: пробегает мимо нас — *вместо*: перебегает мимо нас (по А₂).

С. 93, *строки 25–26*: приветливо-любопытно — *вместо*: приветливо, любопытно (по А₂).

С. 102, *строки 9–10*: даже чувство любви заменилось во мне состраданием — *вместо*: даже чувством любви заменилось во мне сострадание (по А₂).

С. 103, *строка 22*: он предавался им всей душой — *вместо*: он предался им всей душой (по А₁ и А₂).

С. 108, *строка 6*: вы, кажется, знаете — *вместо*: кажется, знаете (по А₁ и А₂).

С. 118, *строка 20*: «Вы? Здесь?» — *вместо*: «Вы здесь?» (по А₁ и А₂).

С. 118, *строка 28*: Я молчал. — *вместо*: Я помолчал. (по А₂).

С. 119, *строка 10*: Лудо... кор... — *вместо*: Людо... кар... (по А₂).

С. 129, *строка 37*: не... не хочу... я не могу — *вместо*: не... хочу... я не могу (по А₁).

С. 135, *строки 9–10*: продолжая бранить все и всех и проклинать свое житье — *вместо*: продолжая бранить все и всех и прокликает свое житье (по смыслу).

С. 137, *строки 37–38*: до состояния, близкого сумасшествию — *вместо*: до состояния близкого сумасшествия (по А₁).

В 1876 г., переиздавая повесть «для детского чтения», Толстой сделал сокращения (см. в т. I второй серии варианты), но само это издание остается особой, «боковой» редакцией «Отрочества».

1

Работа над «Отрочеством» началась после того, как «Детство» увидело свет в «Современнике» и Толстой 31 октября 1852 г. прочел свое первое напечатанное создание. И то не сразу: в сентябре — ноябре, судя по дневнику, продолжалось писание «Романа русского помещика», начат очерк «Поездка в Мамакай-Юрт», закончен рассказ «Набег». 15 сентября, благодаря Некрасова за «доброе мнение» о «Детстве», Толстой писал ему: «Принятая мною форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущею так стесняют меня, что я часто чувствую желание бросить их и оставить 1-ую без продолжения. Во всяком случае, ежели продолжение будет окончено, и как скоро оно будет окончено, я пришлю его Вам».

Лишь 29 ноября в дневнике отмечено: «Примусь <...> за “Отрочество”». На другой день Толстой «много думал, но ничего не делал». В дневнике появилась важная запись, поясняющая замыслы двух романов: «4 эпохи жизни составят мой роман до Тифлиса. Я могу писать про него, потому что он далек от меня. И как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен, хотя не догматический. Роман же русского помещика будет догматический». Еще совсем недавно в письмах Некрасову было высказано резкое, и справедливое, недовольство переменной заглавия «Детство» на «История моего детства» («Кому какое дело до истории моего детства?»); дневниковая запись указывает на значительность автобиографического момента в замысле «Четырех эпох жизни».

В отправленном 27 ноября 1852 г. письме к редактору «Современника» сказано, что «Детство» — «первая часть романа, которого следующие должны были быть: Отрочество, Юность и Молодость».

В черновой рукописи «Четырех эпох» материала для «Отрочества» не было, в сущности, совсем. Почти все создавалось впервые. Правда, уже существовали планы всего сочинения, где определены основные мысли, форма, содержание каждой части. Для «Отрочества» содержание намечалось таким: «Смерть матери, переезд в Москву, новый гувернер, новое ученье. Жалованье, пряники, займы, ухаживанье за горничной, любовь к товарищам»; «Возвращение в Москву, отставка Федора Иваныча, новый гувернер, [дочь гувернантки делается дурной девочкой, порывы сладострастия, вакансии, любовь к мачехе. Смерть бабушки]».

Первые рукописи «Отрочества» развивают пункты, намеченные во втором плане: «Первый день. Мы опять в Москве с сестрой [у нас новый гувернер. Бабушка очень огорчена]. Мне 15 лет, брату 16. Утро. Он едет держать экзамен, разговор с ним». И еще: «Отрочество.— 1. St. Jérôme) («Сен-Жером»). Дальше обозначено содержание еще двух глав, оставшихся не воплощенными. В частности: «3-я. Русский учитель, сила». Судя по второму плану, в «Отрочестве» тоже, как и в «Детстве», должно было повествоваться о двух «днях», но в обратной последовательности: первый — в Москве, кончающийся смертью бабушки; второй — в деревне: «[Отец женится.] Моя прогулка к соседям, встреча с отцом, узнаю, что отец женится. Рассказ брата. Исповедь 2».

Вполне вероятно, что к «Отрочеству» (а не к «Роману русского помещика») относятся записи в дневнике 26 и 27 декабря 1852 г.: «Ничего не писал; но завтра начну непременно»; «...стал было писать Роман».

По аналогии с «Детством», открывающимся главой «Учитель Карл Иваныч», первая глава была названа «Учитель француз»; в другом начале повести, после заглавия «Отрочество», сразу следует текст: «Мы все опять в Москве, в том же памятном мне бабушкином доме...» В этих черновиках начала — иная хронология событий. В первом после смерти матери прошло четыре года, Николеньке 14 лет, Володе — 16, он поступает в университет. Как обычно в черновиках трилогии, много места занимают отступления, рассуждения, в данном случае — о «родах любви» между братьями, о ее мотивах. Собственно сюжетная часть этого начала повести войдет потом в главы XVII «Ненависть» (о Сен-Жероме) и XX «Володя» (о вступительном экзамене Володи), т.е. будет отнесена к заключительной поре эпохи отрочества. Во втором начале от событий «Детства» повествование отделено двумя годами, во время которых произошли большие перемены, хотя семейство «составляют те же лица». Об этих переменах в бабушке,

Карле Иваныче, Мими, Любочке, Катеньке и в отношениях к ним героя рассказывается здесь. В окончательном тексте этому будет посвящена глава IV «В Москве». Она писалась позднее заново и по мере обработки все время сокращалась.

Уже в первой завершенной редакции повесть открывается главами «Путешествие», «Гроза», «Новый взгляд», дошедшими, с поправками, до окончательного текста. Началом новой эпохи жизни, обозначившим рубеж между детством и отрочеством, стал не гувернер-француз, а встреча с миром своей страны — людьми, природой, всякого рода конфликтами.

Работа над «Отрочеством» возобновилась и шла очень интенсивно весной 1853 г. Вероятно, в связи с нею 17 апреля Толстой, как отмечено в дневнике, «перечитывал свое “Детство”». 22 мая — запись: «Бросил рассказ <“Святочная ночь”> и пишу “Отрочество” с такой же охотой, как писал “Детство”. Надеюсь, что будет так же хорошо. <...> Литературное поприще открыто мне блестящее <...> Надо трудиться и воздерживаться, и я могу быть еще очень счастлив». Новое начало повести: путешествие из деревни в Москву, судя по всему, писалось с большим подъемом.

Потом заметки об «Отрочестве» следуют в дневнике почти каждый день.

28 мая: «Писал мало, зато окончательно обдумал “Отрочество”, “Юность”, “Молодость”, которые надеюсь кончить».

29 мая: «Писал и обдумывал свое сочинение, которое начинает ясно и хорошо складываться в моем воображении».

30 мая: «Писал довольно много и легко».

31 мая: «Ничего не писал целый день. История Карла Иваныча затрудняет меня...»

В первой редакции «История Карла Иваныча» составляет одну пространную VI главу (в окончательном тексте — три коротких). «Затрудняло», скорее всего, не содержание, в основном ясное с самого начала, а сложная языковая форма: мера неправильностей в русском языке, сочетание немецкой и русской речи в рассказе Карла Иваныча.

В июне Толстой ездил с кунаками в крепость Воздвиженскую и затем Грозную (по дороге случился эпизод, отразившийся позднее в рассказе «Кавказский пленник»: нападение чеченцев). Вернувшись «домой» — в Старогладковскую, записал 23 июня: «Решился пробыть здесь месяц, чтобы закончить “Отрочество”».

Но писанье наладилось не сразу. 25 июня отмечено: «Этот проклятый отряд совершенно сбил меня с настоящей колеи добра, в которую я так хорошо вошел было и в которую опять желаю войти, несмотря ни на что; потому что она лучшая. Господи, научи, настави меня. Не могу писать. Я пишу слишком вяло и дурно. А что мне делать кроме писанья?»

В дальнейшем, опять почти ежедневно, записи об «Отрочестве». Работа шла вместе с напряженным обдумыванием и часто суровой критикой.

25 июня: «Писал необдуманно и мало <...> Тщеславился сочинениями перед Громаном¹, которому читал “Историю Карла Иваныча”. Завтра <...> писать “Отрочество” до обеда...».

¹ Прапорщик Цезарь Громан.

26 июня: «Начал писать; но все выходит так жидко, бессвязно,— должно быть, оттого что необдуманно,— что написал мало. <...> Завтра утром обдумаю “Отрочество” и буду писать его до обеда».

27 июня: «Писал утром довольно хорошо “Отрочество”. <...> Завтра. Встать рано и писать “Отрочество” как можно тише, *старательнее*. <...> Вечером писать “Записки кавказского офицера” <“Рубка леса”> или, ежели будет мало мыслей, то продолжать “Отрочество”».

28 июня: «Утром писал хорошо <...> Завтра с утра писать “Отрочество” до обеда».

29 июня: «Утро вел себя хорошо, но после обеда ничего не делал».

30 июня: «Встал рано, писал мало. Опять сомнения и лень».

1 июля: «Начал было писать, помешал И.В. и сманил меня на сенокосы. <...> Писать “Отрочество” до обеда и после обеда».

2 июля: «Встал поздно, писал утро хорошо. <...> Писать “Отрочество” утро и вечер».

3 июля: «Встал поздно, писал хорошо, помешал Барашкин¹. После обеда продолжал писать <...> Завтра писать, писать и писать “Отрочество”, которое начинает складываться хорошо».

4 июля: «Завтра писать “Отрочество”».

5 июля: «Встал поздно, писал хорошо, но мало».

6 июля: «Завтра: писать “Отрочество”...»

7 июля: «Утром писал, но дурно, невнимательно, и мыслей было много, но пустые. Все-таки понемногу подвигался».

8 июля: «Встал поздно. Начал было писать, но нейдет. Я слишком недоволен своей бесцельной, беспорядочной жизнью».

9 июля Толстой уехал в Пятигорск, где тогда находилась сестра Мария Николаевна.

Работа над «Отрочеством» продолжалась.

16 июля: «Вчера писал утром, обедал у Маши. После обеда пришел домой и проспал до 1 1/2. До утра 5 часов писал. Уже вижу конец “Отрочества”, приятно. Даже нынче могу кончить. Поэтому буду писать целый день».

17 июля: «Писал до обеда и после обеда от 5 до 6. Конец близко. <...> Завтра постараться кончить “Отрочество” начерно».

18 июля: «Встал поздно, думал прекрасно, писал хорошо, но мало. Пришел Николенька. Я читал ему написанное. И кажется, хорошо. <...> Завтра встать рано и писать, писать до вечера, чтобы кончить “Отрочество”».

19 июля: «Ничего не писал утром <...> Завтра буду писать, только вечером пойду к Маше».

20 июля: «... не писал ничего <...> Завтра обедать дома, встать рано и писать».

21 июля: «Встал в 11 часов. Обедал дома, писал довольно много, так что кончил “Отрочество”, но еще слишком небрежно».

Так в Пятигорске 21 июля 1853 г. была завершена первая редакция «Отрочества», начатая в мае того же года в Старогладковской.

Хронологически действия в ней отделено от «Детства» шестью неделями: 40 дней после смерти матери семейство провело в деревне. Глава первая

¹ Офицер, страстный охотник.

названа «Путешествие». Это будущая первая глава «Отрочества» — «Поездка на долгих». Начинается она иначе: «Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая эпоха отрочества». С небольшими изменениями этот пространственный абзац войдет и в следующую рукопись, но там будет зачеркнут. Повесть откроется прямо сценой отъезда: «Снова поданы два экипажа к крыльцу Петровского дома...» В тексте появляются дополнения, новые эпизоды: рассказ о самоубийстве Николеньки в дороге («Редко провела я несколько дней...» и т.д.); картина виднеющегося за оврагом села и разговоры приставленного к мальчикам Василия (в первой редакции его звали Михеем) с проезжими извозчиками; диалог с кучером Филиппом о лошадях; описание деревни, где предстояло обедать и отдыхать. Это описание деревни заменит несколько заключительных строк главы «Путешествие» в первой редакции: «Иногда чепец с черными лентами Мими высовывается из окна кареты, и она грозит нам головой; но вообще все время путешествия Мими необыкновенно добра. Мне почему-то неприятна ее снисходительность, она напоминает мне, что мы сироты».

Далее в первой редакции предполагалась глава «Наблюдения», но несколько вступительных строк исправлены, потом зачеркнуты и начата глава, получившая уже здесь окончательное название: «Гроза». В следующей рукописи, однако, не повторились вступительные фразы: «Но вот одно из самых ясных памятных для меня впечатлений за это путешествие. Часа в 4 вечера, покормив лошадей, мы отправились дальше»; повествование началось сразу картиной: «Солнце склонялось к западу...», и весь текст стилистически сильно выправлен. Вообще, «переписывая», Толстой, как обычно, многое менял. В первоначальном описании грозы еще нет того ощущения величественности, которое появится позднее, со ссылкой на мнение народное: «Гнев Божий! Как много поэзии в этой простонародной мысли!» Для характеристики художественной правки ограничимся одним примером. В первой редакции: «Вот легкий ветерок ясно приносит мне запах черемухи. Несколько распутившихся кустов стоят около самой дороги». Во второй появилось и дошло до окончательного текста: «Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы, запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков, черемухи, что я не могу усидеть в бричке...».

Третью главу Толстой хотел назвать «Разговоры», еще: «Катенька хочет идти в монастырь», но уже в первой редакции появилось окончательное: «Новый взгляд». Текст здесь гораздо пространнее: есть подробное воспоминание Николеньки о бале в бабушкином доме и о Сонечке; сравнение Катеньки с Любочкой; упоминается отец Катеньки и возникшее по этому поводу «сожаление к положению Мими». В этой главе помещен эпизод с Машей и Михеем, который в следующей редакции составит самостоятельную главу (не шестую, как в окончательном тексте, а десятую).

Четвертая глава «Дробь» также гораздо обширнее соответствующей позднейшей главы. Подробно рассказано о перемене, происшедшей с Карлом Иванычем, о разговоре его с Николенькой и Володей во время прогулки — все это останется в черновике, как и большой фрагмент о бабушке.

Следующая, пятая глава — «Странная перемена» — прелюдия к «Истории Карла Иваныча». Здесь помещен эпизод с возвращением из гостей пьяного Карла Иваныча (однажды он уже был написан, но исключен — см. гл. 22-ю первой редакции «Детства»). Все это будет отброшено еще раз, а заключение главы «Странная перемена» станет началом «Истории Карла Иваныча».

Как уже говорилось, «История Карла Ивановича» составляла в первой редакции одну, VI главу. Впоследствии она была разбита на три и стилистически еще не раз выправлена.

Затем следовала VII глава, сначала названная «Новый губернёр», затем — в этой же рукописи — «Новый порядок вещей»: подробный рассказ о сборах Карла Ивановича к отъезду, его разговор с бабушкой, Мими и губернёром-французом; наконец, о самом Сен-Жероме, которому бабушка представляет внуков. Все это не войдет во вторую редакцию повести.

Нумерация глав, а потом и заглавия исчезают в дальнейшей рукописи первой редакции. Толстой торопился довести начерно до конца свое повествование об отрочестве героя.

Следующая глава, без цифры, еще имеет название. Сначала — «Ненависть», потом — «Унижение». После детального сопоставления Сен-Жерома и Карла Ивановича рассказано подробно о столкновении лакея Василия с «мусью» и о чувстве Николеньки: «Это происшествие долго мучило меня. Я не мог простить Василию, что он помирился с ним и взял деньги. Как он, француз, смел ударить нашего русского человека!» Далее, повествуя об отношении самого Николеньки к французу, Толстой сделал в рукописи помету: «(Отношения мои с St.-Jérôme — из 3-й тетради последнего листа)» — отсылка к заключению предыдущей главы.

В дальнейшем в первой редакции повествование идет сплошь, лишь кое-где есть разделительные черточки.

Так, сразу после рассказа о Сен-Жероме, без какого бы то ни было обозначения, следует текст, составивший впоследствии главу V «Старший брат». Затем черновики, развившиеся в главы: VI «Маша», XI «Единица», XII «Ключик», XIII «Изменница», XIV «Затмение», XV «Мечты», XVI «Перемелется, мука будет» (еще без этого утешения Николая: «Эх, сударь!.. не тужите, перемелется, мука будет»).

Дальнейший текст начинается словами: «Меня не наказывали и никто даже на напоминал мне о моем приключении». Затем обобщенный рассказ об отрочестве, как особой эпохе жизни; но содержание его иное, чем в следующей редакции и в главе XIX окончательного текста. Очень сильны здесь автобиографические детали: надежда встретить мать, мечты, что она не умерла; писание сочинений об отвлеченных предметах.

Далее следует глава, получившая название «Маша», потом «Девичья»; по содержанию она близка к главе XVIII окончательной редакции.

Последние листы — конспективный рассказ, предвещенный таким рассуждением: «Я не в состоянии час за часом, день за днем следить за моими воспоминаниями; но брошу быстрый взгляд на главнейшие события моей жизни с того времени, до которого я довел свое повествование, и до моего сближения с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мое развитие и направление». Дальше бегло рассказано о Володе и его первом вступительном экзамене, о приятелях Володи, о Катеньке, Любочке, отце — обо всем том, что составит впоследствии главы XX, XXI, XXII, XXV.

Завершается первая редакция главой «Начало дружбы», но по тексту она близка не к будущей заключительной главе «Отрочества», а к главе XXV «Приятель Володи». Воспроизведен разговор Дубкова, Володи и Нехлюдова, обрывающийся на полуфразе (часть текста утрачена). Потом рассказывается о концерте, о том, что Любочку определяют для воспитания в институт Загоскиной, о смерти бабушки, горести Гаши — все это стреми-

тельно, конспективно. Затем следует конспект последних глав «Отрочества», как они намечались в ту пору: деревенская жизнь, сенокос; любовь Володи к Катеньке, зашедшая «далеко», и Володя «должен жениться»; папа «поймали» в отношениях с Belle Flamande, и ему тоже нужно жениться. В плане всего «Отрочества», завершающем рукопись, эти главы раскрыты так: «32. Сенокос в саду. Приезд Нехлюдова и разговор с ним о Володе и папа»; «33. Приезд папа и рассказ Володи, пойман»; «34. Мечты моего друга».

Судя по плану, «Отрочество» должно было состоять из трех частей. Первая — от «Путешествия» до «Истории Карла Ивановича»; вторая — от «Нового порядка вещей» до «Любочка и Катенька»; третья — от «Папа» до «Мечты моего друга». Всего 34 главы. Заглавия многих изменены уже в этом плане; некоторые зачеркнуты. В итоге осталось 26 глав. Заключительная: «Мы все разъезжаемся. Начало дружбы». Главы 32–34 отделены черточкой и не вошли в последний счет. Содержание их отчасти воплотилось позднее в «Юности».

Предполагалось все же разговоры о женитьбе отца отнести к «Отрочеству». Намеченная глава 24-я «Странная новость» была создана при работе над второй редакцией. Но потом оставлена, и весь эпизод перенесен в «Юность».

Вполне вероятно, что план «Отрочества» был набросан 21 июля 1853 г., в день окончания первой редакции. Как отмечено в дневнике, 22 июля Толстой был в Ессентуках, «ничего не делал», а уже 23 июля: «Переписал [много] I главу порядочно. <...> Труд, труд! Как я чувствую себя счастливым, когда тружусь».

Началась работа над второй редакцией повести. Хронология ее отражена в дневнике. Страницы дневника все более становились пространством, на котором Толстой не только намечал, планировал, но тщательно контролировал свою работу.

24 июля: «Встал в 8, переправил I-ую главу и ничего не писал целый день...». Задание на завтра: «Встать рано и писать, не останавливаясь на том, что кажется слабо, только чтобы было дельно и гладко. Поправить можно, а потерянное без пользы время не воротишь».

25 июля: «Исключая часов 3, проведенных на бульваре, занимался целый день; но переписал только 1 1/2 главы. “Новый взгляд” натянута, но “Гроза” превосходно <...> Завтра утро писать, взять с собой тетради, обежать у Маши и опять писать».

26 июля: «Утром переписал мало, пришел к Маше. Ее не было. <...> Пришел домой и закончил главу “Грозу”. Мог бы написать лучше».

27 июля: «Ничего не делал. <...> Читал “Записки охотника” Тургенева, и как-то трудно писать после него. — Целый день писать».

28 июля: «*Без месяца 25 лет, а еще ничего!* Ничего не писал».

29 июля: «Ничего не делаю, а читаю глупый роман».

30 июля: «Завтра утро писать...».

4 августа: «Хочется писать».

7 августа: «Утром писал немного “Отрочество”...».

26 августа: «Решился бросить “Отрочество”, а продолжать Роман <“Роман русского помещика”> и писать рассказы кавказские. <...> Жалко бросать “Отрочество”, но что делать? Лучше не докончить дело, чем продолжать делать дурно».

27 августа: «Ничего не делал. Хочу однако продолжать “Отрочество”».

На другой день, 28 августа, была начата «казахья повесть» (будущие «Казаки»), а «Отрочество» вновь упомянуто лишь 31 августа: «“Встреча” нейдет как-то, а на “Отрочество” не осталось времени».

Затем 11 сентября: «Я писал утром и вечером, но мало. Не могу одолеть лень. Придумал в повесть писать по главе и не вставать, не окончив».

12 сентября: «Встал поздно. Окончил “Историю Карла Иваныча” до обеда. <...> Завтра утром пойду в парк, обдумаю главу “Б<абушка>”¹. Напишу ее до обеда. После обеда полежу и обдумаю главу “Отрочество” — непременно».

Несколько следующих дней было отдано «Запискам маркера». По этому поводу Н.Н.Толстой (уехавший тогда с Кавказа) недоумевал: «Какого ты там сварганил “Самоубийцу”²? И так скоро? Это на тебя не похоже. Я, признаюсь, лучше бы желал, чтоб ты издал свое “Отрочество” или что-нибудь из тех вещей, над которыми ты больше трудился» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 152).

23 сентября вновь появилась запись об «Отрочестве»: «Только два последние дня писал понемногу “Отрочество”. Коли приняться, то можно кончить его в неделю».

26 сентября: «Ничего не делал, нынче написал только маленькую главу...».

28 сентября: «Ничего не делал. Не пишется».

29 сентября: «Утром написал главу “Отрочества” хорошо <...> В “Смерть бабушки” придумал характерную черту религиозности и вместе непростения обид».

1 октября: «Вчера и нынче написал по главе, но не тщательно».

2 октября: «Писал главу “Отрочество”, встал в 5 часов. Все “Отрочество” представляется мне в новом свете и я хочу заново переделать его».

7 октября: «После обеда начал было писать “Девичью”, но так неаккуратно, что бросил — нужно пересматривать с начала».

8 октября: «Выехал в десять, в 6 приехал в Георгиевскую и здесь написал 3/4 листа “Девичьей”».

12 октября: «Встал до зари, начал было писать, но бросил».

13 октября: «Читал нынче литературную характеристику гения, и это сочинение разбудило во мне уверенность в том, что я замечательный по способностям человек, и рвение к труду. С нынешнего дня примусь. Утро писать “Отрочество”...».

14 октября: «Написал 1/4 листа “Девичьей”».

15 октября: «Утром писал мало <...> Доконал “Девичью” <...>. Определено «правило»: «Перечитывая и поправляя сочинение, не думать о том, что нужно прибавить (как бы хороши ни были приходящие мысли), если только не видишь неясности или недосказанности главной мысли, а думать о том, как бы выкинуть из него, как можно больше, не нарушая мысли сочинения (как бы ни были хороши эти лишние места)». Этому правилу Толстой неукоснительно следовал при дальнейшей работе над «Отрочеством»: 27 глав повести уместились на 66 страницах журнала «Современник».

¹ В Юб., т. 46, с. 174, расшифровано неверно: «Беглеца».

² Рассказ «Записки маркера».

16 октября: «Встал рано <...> писал “Университет Володи”, который и кончил...». В этот же день, в другой тетради, в разделе «Мысли», записано: «Интерес “Отрочества” должен состоять в постепенном развращении мальчика после детства и потом в исправлении его перед юностью.

Притом внутренняя история его должна для разнообразия уступать место внешней истории лиц, его окружающих, так чтобы внимание читателя не постоянно было устремлено на один предмет.

17 октября: «Встал не рано. Читал, писал очень мало...».

18 октября: «Написал 1/2 листа, после обеда написал еще главу».

19 октября: «Написал главу “Отрочества”».

20 октября: «...переправил, и то плохо, одну главу до ужина».

22 октября: «...до обеда писал немного <...> Писал потом, несмотря на присутствие мальчишек <...> “Отрочество” опротивело мне до последней степени. Завтра надеюсь кончить».

23 октября: «Дурное расположение духа и беспокойство помешали мне заниматься. <...> Я берусь за свою тетрадь “Отрочества” с каким-то безнадежным отвращением, как работник, принужденный трудиться над вещью, которая, по его мнению, бесполезна и никуда не годна. Работа идет неаккуратно, вяло и лениво.

Докончив последнюю главу, нужно будет пересмотреть все сначала и сделать отметки и начерно окончательные перемены. Переменять придется много: характер Я вял, действие растянуто и слишком последовательно — во времени, а непоследовательно в мысли. Например, прием в середине действия описывать для ясности и выпуклости рассказа прошедшие события, с моим разделением глав, совсем упущен.

<...> снова сел за отвратительное “Отрочество” <...> Опять поработал над “Отрочеством”, кое-как дописал одну главу».

24 октября: «Встал раньше вчерашнего и сел писать последнюю главу. Мыслей набралось много; но какое-то непреодолимое отвращение помешало мне окончить ее. Как во всей жизни, так и в сочинении прошедшее обусловливает будущее — запущенное сочинение трудно продолжать с увлечением и, следовательно, хорошо. Обдумывал перемены в “Отрочестве”, но не сделал никаких. Надо на легкую руку набросать заметки и просто начать переписывать снова».

25 октября: «С утра пересмотрел “Отрочество” и решился переписывать его снова и насчет изменений, перемещений и прибавлений, которые нужно в нем сделать».

На следующий день началась новая переписка, т.е. создание третьей редакции, отправленной в печать.

Итак, работа над второй редакцией продолжалась с 23 июля по 24 октября 1853 г.

В рукописях не видно уже никаких следов намерения разделить повествование на части. Текст сохранился не полностью, но ясно, что идет сплошная нумерация глав, от первой — «Поездка на долгих» — до двадцать четвертой — «Концерт». Помимо стилистической правки, много зачеркиваний: снято вступление в первой главе¹, рассуждение об истории и ее изуче-

¹ Не исключено, впрочем, что это легкое зачеркивание полутора страниц автографа было сделано позднее, вслед за окончательной отделкой последней рукописи (см. с. 418).

нии в третьей. Сильно сокращен в главе четвертой, которая называется здесь «Новый взгляд», рассказ о бабушке; впоследствии останется всего один абзац, а весь художественный материал перейдет в одну из заключительных глав — «Бабушка». Появится стройное композиционное построение — на переломе от отрочества к юности рассказ обо всех основных лицах: «Володя», «Катенька и Любочка», «Папа», «Бабушка», «Я», «Приятель Володи». В главе «Маша» (здесь десятой) зачеркнут большой кусок об «упойтельном восторге», испытанном Николенькой при виде Маши.

Во второй редакции Толстой не отказался еще от мысли посвятить отдельную главу гувернеру-французу. После «Истории Карла Ивановича» (заглавие зачеркнуто и заменено новым: «Песнь Лебеда») идут главы седьмая «Новый гувернер» и восьмая «Новый порядок вещей», целиком отданные Сен-Жерому. В следующей редакции после «Истории Карла Ивановича» сразу начнутся злоключения Николеньки: «Единица», «Ключик», «Изменница», «Затмение», «Мечть», «Перемелется, мука будет». В каждой из них действует Сен-Жером, а затем следует итог — глава «Ненависть».

В печатном тексте главы «Ключик» ничего не сказано о том, что увидел Николенька в портфеле отца: строка точек. Во второй редакции есть рассказ о «письмах Лизы», «Lettres de Clara» («Письмах Клары»), «Записках бедной Аксюты» и о векселях. Заглавие «Становлюсь все более и более виноватым» изменено на «Ключик».

Дальше рукописи второй редакции сохранились фрагментарно, и достоверно судить можно лишь о работе над главами «Девичья» и «Отрочество». «Девичья» уже была в первой редакции, теперь переименована: «Василий и Маша», затем снова стала «Девичья». Открывается она эпитафией из Стерна, впоследствии снятым (неизвестно, на какой стадии, потому что в «Современнике» эта глава не появилась вовсе по цензурным условиям).

Рассуждения, составляющие главу «Отрочество», были (правда, в несколько ином виде) в первой редакции, перед главой «Девичья». Теперь глава писалась заново, с небольшим использованием прежнего текста.

Находится в этой рукописи и глава «Странная новость» (неполно, но с двумя вариантами окончания) — о женитьбе папа, впоследствии совсем не вошедшая в «Отрочество».

Третья редакция была начата на другой день после окончания второй, 26 октября 1853 г. В этот день в дневнике отмечено: «С утра работал порядочно над перепиской и приведением в порядок “Отрочества”, но скоро позвали обедать, а после обеда, почитав немного и посидев с Алексеевым, который приходил ко мне, сделал очень мало. Когда и мог бы — до ужина, чтобы сделать удовольствие Громану, вызвавшемуся переписывать мне, диктовал и читал ему».

27 октября: «...застрял на “Новом взгляде”, для которого ничего нейдет в голову».

1 ноября снова повторено правило: «Всякое оконченное начерно сочинение пересматривать, вымарывая все лишнее и не прибавляя ничего. Это первый процесс».

4 ноября к Толстому пришел Акршевский (вероятно, из сосланных на Кавказ поляков), приглашенный для переписки «Отрочества».

5 ноября: «Начал пересматривать “Отрочество”; но кроме вымарок ничего не сделал».

6 ноября: «...поправлял “Отрочество”, которое переписывает Акршевский».

15 ноября: «Оставил Акршевскому почти половину “Отрочества” для переписки».

16 ноября: «Встал рано, принялся писать; но несмотря на обилие мыслей и аккуратность писания, написал весьма мало».

18 ноября: «Вчера встал рано; но писал мало. Две главы “Девичья” и “Отрочество”, которые я так долго не могу окончательно обработать, задерживали меня <...> Нынче встал поздно. Писал довольно усердно, так что докончил “Девичью” и “Отрочество”, но не набело».

Тут же сделана заметка к главе «Концерт», которая была во второй редакции и совсем опущена потом: «Случается, что вдруг чувствуешь, что на мне осталась по забывчивости удивленная физиономия там, где уже нет более причины удивляться».

Из записи 22 ноября выясняется, что перепиской «Отрочества» занимался и штабс-капитан В.Е.Зуев: ему были в этот день отправлены деньги и две главы.

1 декабря сделана опять заметка для главы «Концерт»: «Что бы было, ежели бы мужья и жены могли видеть картины, которые рисует молодым мальчикам их воображение, при виде женщин?»

2 декабря: «...хотел приняться за “Отрочество”, но без предыдущих тетрадей нашел неудобным». Тетради же были отданы переписчикам.

10 декабря: «Акршевский все не присылает тетрадей».

20 декабря: «Чтоб сочинение было увлекательно, мало того, чтобы одна мысль руководила им; нужно, чтобы все оно было проникнуто и одним чувством.— Чего у меня не было в “Отрочестве”».

21 декабря: «Получил письмо от Зуева и Акршевского, он не переписал и не прислал мне “Отрочества”. Это меня бесит. “Отрочество” из рук вон слабо — мало единства и язык дурен».

Работа над «Отрочеством» возобновилась лишь в январе 1854 г.

13 января: «Только немного переписал “Песнь Лебеда” и пересмотрел старое».

Затем задание писать или пересматривать «Отрочество» утром и вечером дается каждый день.

14 января: утром «принялся за дело», но пришли офицеры и помешали. «...в сумерки принялся писать. До ужина написал листа 2. Да после ужина — один».

15 января: «Утром окончил “Песнь Лебеда”».

16 января: «Проснулся поздно, так как вчера писал до петухов». К переписке был привлечен юнкер Янушкевич. «После обеда написал порядочно главу “Дружба”, переправил Янушкевичево писанье, так что нынче “Отрочество” должно быть кончено». Вечером «переправил одну главу».

Наконец в дневнике появилась, после множества прежних критических, иного тона запись, связанная, несомненно, с «Отрочеством»: «Сочинение кажется обыкновенно в совершенно другом и лучшем свете, когда оно окончено».

17 января: «Пересмотрел “Отрочество” <...> Приехал Балта и помешал мне писать 2 главы, которые я решил переделать».

18 января: «Написал две главы».

19 января: «Докончить “Отрочество” и уехать. Исполнил. Встал рано и до самого отъезда писал или хлопотал. <...> Перечел “Отрочество” и решил не смотреть его до приезда домой...».

Толстой поехал в Ясную Поляну, с тем чтобы потом отправиться в Дунайскую армию.

Находясь 19 января в станице Щедринской, наметил в дневнике:

«В «Отрочестве» я решил сделать следующие поправки.

1) Укоротить главу «Поездка на долгих». 2) «Грозу» — упростить выражения и исключить повторения. 3) «Машу» сделать приличней. 4) Соединить «Единицу» с «Дробью». 5) «Ключик» — прибавить то, что найдено в портфеле. 6) Мечты о матери изменить. 7) Приискать заглавие «Перемелется, мука будет». 8) «Дубков и Нехлюдов» — переменить начало и добавить описание нас самих и нашего положения во время беседы».

6 февраля 1854 г. в дневнике появилась запись: «Докончил «Отрочество»».

Но 14 марта в Бухаресте, начав новую тетрадь дневника, Толстой записал: «Вечер просижу дома и займусь «Отрочеством»».

Рукопись, отправленная в «Современник», не сохранилась, поэтому о третьей редакции можно судить, лишь сопоставляя печатный текст с последними оставшимися в архиве рукописями.

Судя по ним, не все намеченные 19 января поправки понадобились при окончательной отделке повести. В главе «Поездка на долгих» сделаны мелкие сокращения (может быть, только теперь было зачеркнуто вступление), но в конце вместо строки точек появилось добавление: «Вот и рыжеватые дворники с обеих сторон подбегают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Тпруу! Ворота скрипят, вальки цепляют за воротаща, и мы въезжаем во двор. Четыре часа отдыха и свободы!»

Глава «Гроза», как ею ни был доволен Толстой прежде, заново шлифовалась, но и здесь на последней стадии добавлено: «Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения».

Глава «Маша» уже заняла свое окончательное место, но в журнальном тексте ее нет совсем (по цензурным условиям). Вероятно, в третьей редакции Толстой еще раз сократил главу, делая ее «приличней», но что именно — судить трудно.

«Единица» не объединилась с «Дробью». Прибавления в «Ключике» о том, что было найдено в портфеле, — взамен отрывка, находившегося во второй редакции, возможно, были сделаны, но в «Современнике» их нет, а в издании 1856 г. в этом месте строка точек.

Неизвестно, как были изменены «мечты о матери» в главе «Мечты»: во второй редакции соответствующая рукопись не сохранилась, а в печатном тексте главы XV вообще ни слова не сказано о матери.

Заглавие «Перемелется, мука будет» было изменено: в «Современнике» — «Болезнь». Однако в 1856 г. было восстановлено прежнее.

«Дубков и Нехлюдов» — такой главы нет в печатном тексте. Видимо, это глава XXV «Приятели Володи» и, вероятно, еще XXVI — «Рассуждения». Во второй редакции рукописи их нет, а в первой редакции текст весьма далек от окончательного (см. т. I второй серии).

Рукопись «Отрочества» была отправлена в «Современник» из Бухареста в апреле 1854 г.

Еще 6 февраля 1854 г. Некрасов писал, что «Отрочество» «может быть напечатано очень скоро», если Толстой не замедлит «его присылкою» (*Переписка*, т. 1, с. 61). В архиве Толстого сохранилась квитанция, удостоверяющая, что рукопись была отправлена Некрасову в Петербург 27 апреля.

10 июля, прочитав «Отрочество», Некрасов написал: «Если я скажу, что не могу прибрать выражения, как достаточно похвалить Вашу последнюю вещь, то, кажется, это будет самое верное, что я могу сказать, да и не совсем ловко говорить в письме к Вам больше. Перо, подобно языку, имеет свойство застенчивости — это я понял в сию минуту, потому что никак не умею, хоть и покушаюсь, сказать кой-что из всего, что думаю; выберу только, что талант автора “Отрочества” самобытен и симпатичен в высшей степени и что такие вещи, как описание летней дороги и грозы, или сидение в каземате, и многое, многое дадут этому рассказу долгую жизнь в нашей литературе» (там же, с. 61–62). Письмо это дошло до Толстого только 24 августа, пока же в дневнике 11 июля отмечено: «...я опять в самом затруднительном денежном положении: ни копейки, по крайней мере до половины августа, не предвидится ниоткуда, исключая фуражных, и должен доктору. Не предвидится, я говорю, потому, что нынче получил “Современник” и убежден, что рукописи мои сидят где-нибудь в таможене».

Весть о новой повести, между тем, уже распространялась в литературных кругах. 31 мая Тургенев писал С.Т.Аксакову: «От Толстого, автора “Истории моего детства”, прислана повесть, продолжение первой, под названием “Отрочество” — говорят, превосходная» (*Тургенев*, Письма, т. 2, с. 222).

30 сентября датировано цензурное разрешение на десятый номер «Современника». «Отрочество» появилось с подзаголовком «Повесть» и редакционным примечанием: «В “Современнике” 1852 г., № 9, помещен был рассказ под названием “Детство”, без сомнения, оставшийся в памяти у читателей нашего журнала. Этот рассказ был собственно началом романа, которого общее заглавие “Четыре эпохи развития”. Ныне мы представляем вторую часть этого романа, имеющую, подобно первой, интерес и как отдельное целое». Так редакция журнала искупила свою вину перед Толстым, обозначив подлинное заглавие «первой части» романа («Детство», а не «История моего детства») и, видимо, кратко изложив «несколько строк» авторского предисловия, которое не появилось в 1852 г.

24 августа 1854 г. Толстой записал в дневнике: «Получил лестное об “Отрочестве” письмо от Некрасова, которое, как и всегда, подняло мой дух и поощрило к продолжению занятий». Но в следующем письме, от 2 ноября, Некрасов уведомлял о «значительных и обидных урезываньях». Цензор В.Н.Бекетов потребовал исключения двух глав: VI «Маша» и XVIII «Девичья»; в других были сделаны значительные купюры. Некрасов утешал, что «лучшие вещи все уцелели в неиспорченном виде»: «Вещь эта произвела в читающем мире то, что называется *эффект*, а что касается литераторов, разумеется, смыслящих, то они сознаются, что очень давно ничего подобного не было в русской литературе. В самом деле, хорошая вещь» (*Переписка*, т. 1, с. 63).

Военная почта ходила плохо, и 19 декабря Толстой, с августа не получавший «Современника», недоуменно спрашивал Некрасова: «Напечатаны

ли и когда будут напечатаны “Рассказ маркера” и “Отрочество” и почему не получаю я “Современника”? Уведомьте меня, пожалуйста, об этом и письмом страховым, чтобы это было вернее. Адрес мой все тот же: в Кишинев, в главный штаб Южной армии».

17 января 1855 г. Некрасов снова повторял и свой отзыв, и строки о цензуре, и мнение других литераторов: «Что касается до литературного мира, то все порядочные люди единогласно находили эту вещь исполненною поэзии, оригинальною и художественно выполненною. <...> Мои приятели Тургенев и Анненков в восторге от этого произведения, в таком же, как и я». О цензурных вымарках здесь сказано: «Его изрядно общипала цензура, вымарав многое из первых проявлений любви в отроке и кое-что там, где рассказчик говорит об отце» (там же, с. 68).

«Первые проявления любви в отроке» — это главы «Маша» и «Девичья», но также несколько абзацев и отрывков в главах «Единица», «Затмение», «Я». Строки «об отце» — в главе «Папа». Сделано было и много других поправок явно цензурного свойства: сняты все упоминания о Боге, церкви, религиозных сомнениях. Даже кличка лошади Дьячок была изменена: Зайчик. Исчезли рассуждения Катеньки о неравенстве («Вы богаты — мы бедны...» и др.), бывшие в рукописях и появившиеся вновь в изд. 1856 г. Вероятно, по той же причине нет в «Современнике» дерзкого разговора горничной Гаши с бабушкой (гл. «Дробь»), как и воображаемого диалога Николеньки с государем (гл. «Мечты»). Поскольку не сохранилась не только рукопись, посланная в «Современник», но и в предыдущем автографе — большие пропуски, о цензурных вымарках можно судить, сопоставляя журнальную публикацию с отдельным изданием 1856 г., где текст был восстановлен (кроме одного случая — см. ниже).

В том же письме от 17 января 1855 г. Некрасов извещал Толстого, что номер «Современника» с «Отрочеством» он распорядится отослать завтра же *«по легкой почте»*. Когда получил эту посылку Толстой, неизвестно, но в переписке с редакцией журнала в 1855 г. много разговоров о военных рассказах, «Отрочество» же упомянуто однажды в письме И.И.Панаеву 14 июня, отправленном с позиции на реке Бельбек: «Деньги за “Отрочество” я получил...».

17 мая 1856 г., находясь в Петербурге, Толстой записал в дневнике: «Утром пришли Горбунов и Долгорукой, Прац и Колбасин 2-й¹, последнему отдал из 10 процентов издание “Детства и Отрочества”».

Не приходится сомневаться, что Колбасину был оставлен оригинал для набора. «Ведомость о рассмотренных С.-Петербургским цензурным комитетом рукописях и печатных книгах в течение мая месяца 1856 г.», сохранившаяся в бумагах цензурного ведомства, под № 574 отмечает, что 25 мая поступила «Печ. кн. и рукоп. “История моего детства”, в количестве 191 страницы, и была одобрена цензором Бекетовым 28 мая» (РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 3808, л. 131 об.). В этом документе особенно важен счет страниц. Для нового набора использовались, конечно, оттиски «Современника», но обе повести занимали там 166 страниц. Стало быть, 25 страниц

¹ Эдуард Прац владел типографией в Петербурге. Д.Я.Колбасин, брат литератора Е.Я.Колбасина, занимался издательскими делами (в частности, И.С.Тургенева).

представлены были в виде рукописи — те самые главы и большие куски, которые в журнале не появились вовсе.

Дальнейшая судьба книги прослеживается по нескольким дневниковым записям Толстого и по переписке с Д.Я.Колбасиным.

2 июня Колбасин известил Толстого: «Вчера я возвратился из Москвы и нашел, к полному моему удовольствию, что “Детство и Отрочество” уже пропущены обязательным Бекетовым без всяких пропусков, кроме 28 строк из религиозных сомнений, начиная словами: “Все это было бы смешно и забавно, если бы я не распространял своих сомнений и т.д. до — по ночам вставал и по несколько раз перечитывал все известные мне молитвы...”. Вот и весь пропуск, если Вы находите, что он не важен, то не для чего и тревожить Ковалевского. Мне кажется, что пропуск этот нисколько не вредит целому, и если мы захотим постоять на своем, то это затянет дело надолго, пойдет на рассмотрение попов и т.д. и выйдет та же длинная история, что и с “Муму” Тургенева, а еще пожалуй и хуже. Во всяком случае жду от вас скорого ответа насчет этого пропуска <...> С 6-го числа приступлю к набору “Детства”, в котором и *иконка* прошла благополучно» (Юб., т. 1, с. 334; т. 2, с. 372). В следующем письме, без даты, но тоже июньском, Колбасин сообщал, что бумага заказана фабриканту: «Печатать еще не начал. Прац просит подождать, он скоро кончает другую работу» (Юб., т. 1, с. 334). И 21 июня: «Писал я к Вам, Лев Николаевич, два письма, не знаю, получили ли Вы их; если нет, то знайте, что “Детство” и “Отрочество” Бекетов пропустил без всяких помарок, исключая, кажется, 18 строк¹ из “Отрочества” в *религиозных сомнениях*, что, мне кажется, ничуть не повредит целому и даже остальным *сомнениям*. Поэтому, не получая от Вас известий, я решился приступить к набору только на этой неделе...» (Юб., т. 2, с. 372).

Судя по дневнику, Толстой писал Колбасину 28 июля 1856 г., но письмо не сохранилось.

Цензурное изъятие в 28 строк было сделано в гл. XIX «Отрочество». Восстановить этот фрагмент не удастся. В рукописи второй редакции здесь пропуск (не оттого ли, что соответствующий лист был положен для набора?), а в черновике находится краткий текст, не совпадающий с окончательным ни в одном слове (см. т. 1 второй серии).

В письмах 21 июня и 7 августа Колбасин рассказывал о практических делах, связанных с изданием, просил выслать деньги на бумагу и т.п.: «К концу сентября постараюсь окончить наше издание и тогда начнем заgrabать денежки» (Юб., т. 1, с. 335).

13 августа в дневнике Толстого отмечено: «Написал письмо с поправками “Детства” и “Отрочества” Колбасину. Письмо неизвестно, но скорее всего речь идет об авторских изменениях, не связанных с цензурными пропусками (см. в т. 1 второй серии варианты журнала «Современник»). Что касается цензурных пропусков (не глав, а более мелких), то текст их должен был переслать Толстому Колбасин. Возможно, в его распоряжении находилась рукопись, отправленная в 1854 г. Некрасову. 26 августа Колбасин писал в Ясную Поляну: «Пишу к Вам, Лев Николаевич, в кратких словах — очень занят. Деньги все получены, поправки тоже, кажется, можно будет обойтись без цензора. Пропуски из “Отрочества” постараюсь прислать,

¹ В первом письме было: 28 строк.

хотя их очень много. Печатание началось, но я приостановил, ожидая правок...» (Юб., т. 2, с. 372). Неизвестно, выслал ли Колбасин эти «пропуски», но ясно, что в изд. 1856 г. они восстановлены. В том же письме Колбасин спрашивал: «Как напечатать в заглавии книги: “История моего Детства и Отрочества” или иначе?» (Юб., т. 1, с. 335). В итоге с заглавием книги опять вышла путаница: на обложке и титуле стоит «Детство и Отрочество», на шмуцтитальном листе и первой странице текста: «История моего детства». В содержании: «Детство».

20 сентября Колбасин извещал: «Сегодня, многоуважаемый Лев Николаевич, продержал я корректуру последнего листа нашего издания, и недели через две все будет готово и книга поступит в продажу. Книга вышла небольшая, но очень милая по наружности. Цена назначается ей 1 р. 50 коп., а с пересылкою 2 рубля, так же как и изданная Давыдовым, который тоже окончил печатание¹. Дороже пустить нельзя» (Юб., т. 1, с. 335). Его брат Е.Я.Колбасин помогал в чтении корректур и 29 сентября написал И.С.Тургеневу: «...перечитывая с братом корректурные листы, я снова восхитился ими до седьмого неба — что за роскошная вещь!» (Тургенев и круг «Современника», с. 271).

3 октября книга «Детство и Отрочество. Сочинение графа Л.Н.Толстого. Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1856» вышла в свет (РГИА, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 288). Объявление книжного магазина А.И.Давыдова появилось в «С.—Петербургских ведомостях», № 218 от 6 октября. 18 октября в Прибавлении к № 125 «Московских ведомостей», кроме объявления, сказано: «Считаем лишним распространяться о достоинствах предлагаемого издания, достаточно упомянуть, что этими произведениями автор стал на ряду первых наших писателей и что в этом издании к “Отрочеству” прибавлено две новых главы и многие места пополнены».

20 сентября Колбасин спрашивал Толстого, сколько экземпляров выслать или ждать его приезда в Петербург, кому и куда послать еще. Вероятно, Толстой ответил. Во всяком случае, уже 6 октября А.В.Дружинин в подробном письме в Ясную Поляну с отзывом о «Юности» приписал: «“Детство”, “Военные рассказы” я получил, и очень благодарю Вас за память» (Переписка, т. 1, с. 269). 13 октября Толстого извещал И.И.Панаев: «У меня на столе лежат Ваши “Военные рассказы” “Детство и Отрочество”. Последнее издание с большим вкусом, но я уже говорил Колбасину, что цвет обертки неудачен, а обертка придает большую красоту книжке» (там же, с. 136). Обложка была зеленого цвета.

18 октября Е.Я.Колбасин заметил в письме Тургеневу: «“Отрочество и Детство” — черт бы побрал русскую публику! — пока в продаже идет плохо» (Тургенев и круг «Современника», с. 291).

7 ноября 1856 г. Толстой приехал в Петербург.

9 ноября в дневнике отмечено: «Книги идут плохо». И на другой день писал брату Сергею Николаевичу: «Книги идут плохо. Продано и тех и других экземпляров 900». В этот же день в дневнике записано: «Купил книгу...». Вероятно, это была собственная книга, а не издание повестей Тургенева, как сказано в комментариях т. 47 Юб. издания (все три части «Повестей и рассказов» Тургенева, вышедших в начале ноября 1856 г.,

¹ Книга «Военные рассказы».

Толстому прислал издатель П.В.Анненков). Сохранился экземпляр, подаренный сестре М.Н.Толстой (библиотека ГМТ).

Новое отдельное издание «Детства» и «Отрочества» появилось в двух книгах в 1876 г. и было предназначено для детей. На обложке издания 1877 г. «Русских книг для чтения» объявлено, что это «второе издание» «Детства и Отрочества» — «новое дешевое издание, переделанное автором для детского чтения». В Музее книги Российской государственной библиотеки находится экземпляр изд. 1856 г., подаренный П.И.Юшковой, с надписью: «Любезной и дорогой тетушке Пелагее Ильиничне от автора». (В конце 1875 г. Юшкова умерла в Ясной Поляне.) На этом экземпляре Толстой правил текст — делал карандашом сокращения в «Отрочестве»; «Детство» появилось в 1876 г. в том же виде. Было исключено почти все, что касалось любви: целиком главы «Маша» и «Девичья»; история появления на свет Карла Ивановича («Я родился шесть недель ~ не любил меня»), подробности его собственной любовной истории в гл. IX; осуждение папа в гл. XXII и заключающий главу эпизод с Машей; фрагмент о Маше и Василии в главе XXIV «Я».

Вероятно, Толстой учитывал, делая все эти сокращения, мнение педагога В.П.Острогорского, напечатавшего в «Педагогическом листке» (1875, № 3) статью «Русские писатели как воспитательно-образовательный материал для занятий с детьми». Впрочем, Острогорский находил, что и в «Детстве» глава IX «Что-то вроде первой любви» не пригодна для детского чтения. Между тем, когда книга Толстого только появилась из печати, анонимный рецензент газеты «Московские ведомости» (1856, 13 октября, № 123) писал: «Литературную новостью следует назвать сочинение графа Л.Н.Толстого “Детство и Отрочество”. Сначала (в 1854 г.) оно напечатано было в “Современнике” и теперь является отдельною книгою. Сочинение это тем замечательно, что, будучи написано для чтения взрослых, вместе с тем, может быть с удовольствием прочтено и детьми, которые так нуждаются у нас в хорошем чтении, но которым большею частью дают пустейшие переводы, толкующие о чужеземной жизни вкривь и вкось, а главное, не о действительной жизни, но о каких-то фантастических или неестественных похождениях рыцарей и дон-кихотов новейшего покроя. Рассказы гр. Толстого отличаются необыкновенною легкостью языка, доступного детям, и увлекательностью содержания, родного детям по их возрасту и знакомым им обстоятельствам школьной жизни. Если б побольше являлось таких рассказов, то они вытеснили бы те аферные детские книги, которые десятками издаются у нас для детей, в красивых папках и с политипажами, нередко, впрочем, восхваляемыми недобросовестными рецензентами, заботящимися, как видно, только о пользе букинистов-издателей, но ничуть не о правильном развитии и воспитании детей».

3

В «Отрочестве», сравнительно с «Детством», появились новые лица и, соответственно, понадобились новые прототипы, возникли новые автобиографические черты.

В Москве, куда семья Толстых переехала в 1837 г. — и с этого времени Толстой начинал счет своего отрочества, — у детей появился гувернер Про-

спер Антонович Сен-Тома. В «Отрочестве» ему дано имя Проспер Антонович Сен-Жером.

«Я описал в своем “Детстве”¹,— говорится в черновике статьи “Стыдно” (1895),— тот испытанный ужас, когда губернёр-француз предложил высечь меня». О том же рассказано в дополнениях к «Биографии», составленной П.И.Бирюковым: «Не помню уже, за что, но за что-то самое не заслуживающее наказания St.-Thomas, во-первых, запер меня в комнате, а потом угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования и возмущения и отвращения не только к St.-Thomas, но к тому насилью, которое он хотел употребить надо мною. Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насильем, которые я испытывал всю свою жизнь». В «Отрочестве» это один из центральных эпизодов.

Горничная Маша, влечение к ней Николеньки, ее любовь к Василию тоже взяты из жизни. 29 ноября 1851 г. в дневнике Толстой вспоминал: «Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет — время самое безалаберное для мальчиков (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенною силою».

Эта «Маша», а в действительности Матрена Васильевна вышла впоследствии замуж за Василия Брускова. В архиве Толстого сохранилось письмо 1898 г. их сына Никифора: он просил материальной помощи как сын горничной, которая изображена в «Отрочестве» под именем Маши.

Автобиографичны и многие другие чувства, размышления, увлечения, занятия главного героя повести (см. *Гусев, I*, с. 170–176). Рассуждениям Николеньки о симметрии (гл. XIX) вполне соответствует эпизод, рассказанный С.А.Толстой в «Материалах к биографии Л.Н.Толстого»: «...раз он почему-то много думал о том, что такое симметрия, и написал сам на это философскую статью в виде рассуждения. Статья эта лежала на столе, когда в комнату вошел товарищ братьев Шувалов с бутылками во всех карманах, собираясь пить. Он случайно увидел на столе эту статью и прочел ее. Его заинтересовала эта статья, и он спросил, откуда Лев Николаевич ее списал. Л.Н. робко ответил, что он ее сам сочинил. Шувалов рассмеялся и сказал, что это он врет, что не может этого быть, слишком ему показалось глубоко и умно для такого юноши. Так и не поверил, и с тем и ушел» (*ЛН*, т. 69, кн. 1, с. 503).

Сочинения «О симметрии» нет среди ранних набросков Толстого, но сохранились другие философские отрывки, предшествующие «Детству»; весь рассказ о симметрии записан Софьей Андреевной, очевидно, со слов Толстого.

Горничная Гаша заставляет вспомнить действительное лицо — горничную П.Н.Толстой Агафью Михайловну (1808–1896). Про бабушку Пелагею Николаевну Толстой писал в «Воспоминаниях» почти как в «Отрочестве»: «...с своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, называя: “вы, моя милая” и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее». Но затем добавлял: «И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой каприз-

¹ Ошибка памяти. На самом деле — в «Отрочестве».

ничать бабушки и с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с нею». В 1838 г., когда умерла П.Н.Толстая, Агафье Михайловне было 30 лет. Она так и не вышла замуж и доживала свой век в Ясной Поляне, на дворне, получая от Толстых пенсию. Позднее о ней писала Т.Л.Сухотина-Толстая, включив этот очерк в книги «Друзья и гости Ясной Поляны» (М., 1923) и «Детство Тани Толстой в Ясной Поляне». Татьяна Львовна рисует портрет старухи, умеющей хорошо ухаживать за больными, очень любившей животных, особенно собак: «Рассказывали, что когда ее понесли на погост, то все собаки с псарки с воем проводили ее далеко за деревню по дороге на кладбище» (Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М., 1980, с. 67).

4

17 января 1855 г., извещая Толстого, что «Отрочество» «вышло в свет в октябре 1854 года <...> и произвело то, что называется эффектом, то есть некоторый говор в Петербурге», Некрасов заметил: «Что касается до литературного круга, то все порядочные люди единогласно находили эту вещь исполненной поэзии, оригинальной и художественно выполненной» (*Переписка*, т. 1, с. 68). Еще 29 сентября, до выхода десятого номера с повестью, Панаев написал М.Н.Лонгинову: «“Отрочество” графа Толстого — великолепная вещь» («Сборник Пушкинского Дома на 1923 год», Пг., 1922, с. 216).

17 октября 1854 г. Тургенев послал В.П. и М.Н.Толстым номер «Современника» с «Отрочеством». Ясно, что сам он повесть уже прочитал. На другой день он советовал художнику-карикатуристу Л.Н.Вакселю: «Прочтите “Отрочество” в 10-й кн. “Современника”. Вот наконец приемник Голя!» (*Тургенев*, Письма, т. 2, с. 234).

Сестре Толстой и ее мужу Тургенев написал: «Я чрезвычайно высоко ценю талант Льва Николаевича и весьма бы желал знать о нем, где он и что с ним» (там же, с. 232). В тот же день Тургенев извещал П.В.Анненкова: «Я на днях познакомлюсь с сестрой Толстого (автора “Отрочества” — скоро не нужно будет прибавлять этого эпитета — одного только Толстого и будут знать в России)...» (там же). Спустя несколько дней — в письме Некрасову: «“Отрочество” я еще не перечел; я послал книгу “Современника”, к графу Толстому, который женат на сестре автора; на третьего дня приехал ко мне знакомиться, а я в воскресенье у него буду (он отсюда верстах в 20) — и сообщил мне много подробностей о своем шурине» (там же, с. 236). Н.Н.Толстой рассказывал брату в ноябрьском письме об этом событии: «Валериан познакомился с Тургеневым, первый шаг сделал Тургенев, он принес им № “Современника”, где была твоя повесть, от которой он в восторге. Маша очарована Тургеневым, ты понимаешь, как я хочу его видеть; как только я его увижу, напишу тебе, какое впечатление он произвел на меня» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 176–177). Т.А.Ергольская извещала 3 декабря: «Ты уже слышал от Валерьяна и Машеньки, что они познакомились с Тургеневым, который в восхищении от твоего нового сочинения, он говорит, что оно наделало шума в Петербурге, что тебя расхваливают на все лады и что все литераторы предсказывают тебе блестящее будущее» («Ясная Поляна», 1997, № 1, с. 264).

Эти письма документально опровергают позднейший рассказ М.Н.Толстой (зафиксирован в «Яснополянских записках» Д.П.Маковицкого и в «Биографии Л.Н.Толстого», составленной П.И.Бирюковым), что знакомство произошло, когда Тургенев привез им «Современник» с повестью «Детство». Все событие относится к 1854 г., времени выхода в свет «Отрочества».

Увидав у М.Н.Толстой портрет ее брата, Тургенев тогда заметил: «Некрасивое, но умное и замечательное лицо» (*Тургенев, Письма*, т. 2, с. 238).

29 октября петербургскому литератору Е.Я.Колбасину Тургенев написал: «Очень рад я успеху “Отрочества”. Дай только Бог Толстому пожить — а он, я твердо надеюсь, еще удивит нас всех. Это талант первостепенный» (там же, с. 237). И спустя несколько дней — другому корреспонденту, И.Ф.Миницкому, хвалившему его повести, в частности «Затишье»: «Но в 10-м № “Современника” Вы найдете повесть Толстого, автора “Детства”, перед которою все наши попытки кажутся вздором. Вот наконец преемник Гоголя — нисколько на него не похожий, как оно и следовало. Жаль, что цензура многое выкинула!» (там же, с. 241).

Тургенев интересовался тем, как встречено «Отрочество» в литературном кругу, спрашивал об этом Некрасова, и тот отвечал 6 ноября: «Ты хочешь знать об “Отрочестве” — конечно, все его хвалят <...> но видят настоящую его цену немногие» (*Некрасов*, т. 10, с. 213).

Из Петербурга 4 декабря Тургенев писал М.Н. и В.П.Толстым: «“Отрочество” произвело здесь глубокое впечатление — Лев Николаич стал во мнении всех в ряду наших лучших писателей, и теперь остается ему написать еще такую же вещь, чтобы занять первое место, которое принадлежит ему по праву — и ждет его» (*Тургенев, Письма*, т. 2, с. 247). Немного позднее в письме В.П.Боткину Тургенев сказал о Толстом: «Это, говоря по совести, единственная надежда нашей литературы» (там же, т. 3, с. 91). И затем — в письме Я.П.Полонскому: «Этот человек пойдет далеко и оставит за собою глубокий след» (там же, с. 95).

Когда «Детство и Отрочество» вышло отдельным изданием, Тургенев просил выслать ему книгу в Париж, и 3 января 1857 г. написал Толстому: «Ваше “Детство и отрочество” производит фурор между здешними русскими дамами; присланный мне экземпляр читается нарасхват, и уже я должен был обещать некоторым, что непременно Вас познакомлю с ними, требуют от меня Ваших автографов — словом, Вы в моде — пуше кринолина» (там же, с. 75–76).

Публикация «Отрочества» пробудила интерес к Толстому у Ф.М.Достоевского, находившегося тогда в ссылке. 15 апреля 1855 г. он писал из Семипалатинска этнографу и юристу Е.И.Якушкину (сыну декабриста): «Уведомьте, ради Бога, кто такая *Ольга Н¹*. и *Л.Т.* (напечатавший “Отрочество” в “Современнике”)»? (*Достоевский*, т. 28, кн. 1, с. 184).

Уместно вспомнить, что перед самым арестом в 1849 г. Достоевский отдал в «Отечественные записки» три части: «Детство», «Новая жизнь», «Тайна» своей повести «История одной женщины» (будущая «Нечочка Незванова»), а в Петропавловской крепости писал рассказ об 11-летнем подростке «Маленький герой».

¹ С.В.Энгельгардт, печатавшая свои повести в «Отечественных записках» и «Современнике».

Позднее, в «Униженных и оскорбленных» (1861), о Толстом разговаривают герои романа: «Детство» и «Отрочество» вошли в «читательское» сознание эпохи.

«А ведь это очень трудно *ты* говорить. Это, кажется, где-то у Толстого хорошо выведено: двое дали друг другу слово говорить *ты*, да и никак не могут и всё избегают такие фразы, в которых местоимения. Ах, Наташа! Перечтем когда-нибудь “Детство и отрочество”; ведь как хорошо!» (*Достоевский*, т. 3, с. 329). Тогда же в одной из статей Достоевского упомянут Сен-Жером — в отрицательном отношении к самоуверенному и малоразвитому фразузу Достоевский был согласен с Толстым: «Сколько гувернеров, учителей — всяких Сен-Жеромов и Мон-Ревешей — приезжало к нам в старину из-за Рейна для образования России, ровно ничего не зная ни из какой науки...» (там же, т. 18, с. 49).

В черновых заметках 1876 г. упоминается «история Карла Ивановича и выброшенной девушки» (будущая «Кроткая») и далее следует диалог с искаженной русской речью (там же, т. 17, с. 9, 12–13). Видимо, здесь не «имитация», как сказано в комментариях к этому тексту, а комическое преобразование, пародирование. В замысле Достоевского совсем нет той ласковой ироничности, какая сквозит в соответствующих главах «Отрочества».

Интерес к подробностям чувства постоянно вызывал в памяти Достоевского имя Толстого. Среди записей начала 60-х годов, связанных с переработкой «Двойника», заметка: «Сокровеннейшие тайны чиновничьей души à la Толстой» (там же, т. 1, с. 432). Позднее, среди набросков к роману «Подросток», также много раз встречается это «à la Лев Толстой» («как Лев Толстой»).

Особенно запомнилась Достоевскому в «Отрочестве» глава «Мечты»: назаслуженно жестокое наказание и мечты мальчика отомстить за обиду. В романе «Идиот» Аглая признается князю Мышкину: «...когда тринадцатилетнею девочкой была, думала отравиться, и все это написать в письме к родителям, и тоже думала, как я буду в гробу лежать и все будут надо мною плакать, а себя обвинять, что были со мной такие жестокие...» (там же, т. 8, с. 354).

Но обычно своего отпрыска «случайного семейства» Достоевский противопоставлял толстовским героям, и первым, и позднейшим, включая «Войну и мир». 1 января 1870 г. в планах «Жития великого грешника» (черновики «Бесов») находится запись: «Совершенно обратный тип, чем [прогнанный] измелчившийся до свинства отпрыск того благородного графского дома, которого изобразил Толстой в “Детстве” и “Отрочестве”» (там же, т. 9, с. 128).

Полемизируя с «Детством» и «Отрочеством», писал и заканчивал Достоевский в 1875 г. роман «Подросток»: «Да, Аркадий Макарович, вы — член *случайного семейства*, в противоположность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь различные от ваших детство и отрочество» (там же, т. 13, с. 455).

В январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год главу V «Именинник» Достоевский начал вопросом: «Помните ли вы “Детство и отрочество” графа Толстого?» И продолжал: «Там есть один мальчик, герой всей поэмы <...> это мальчик довольно необыкновенный, а между тем именно принадлежащий к этому типу семейства средне-высшего дворянского круга, поэтом и историком которого был, по завету Пушкина, вполне и всецело, граф Лев Толстой». Создатель «Подростка» видит в толстовском

рассказе об этом мальчике, в главе «Мечты» из «Отрочества», «чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный» (там же, т. 25, с. 32). Но в отличие от Николеньки Иртеньева, мечтавшего о смерти, современный оскорбленный мальчик убивает себя. В этом самоубийстве 12-летнего подростка Достоевский узнал «особенную черту уже совершенно нашего времени» («*помечтал, да и сделал*»). Далее в «Дневнике писателя» — рассуждения о художнике, который воплотит весь хаос «какой-то новой действительности, совсем другой уже, чем какая была в успокоенном и твердо, издавна сложившемся московском помещицком семействе средне-высшего круга, историком которого явился у нас граф Лев Толстой» (там же, с. 35).

Тогда же Достоевский уверенно утверждал: «Где вы найдете теперь такие “Детства и отрочества”, которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например, нам *свою* эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в “Войне и мире” его же? Все эти поэмы теперь *не более лишь как исторические картины давно прошедшего*» (там же, с. 173).

Достоевский, конечно, не знал, что исток «Детства» и «Отрочества» — в черновике романа о «незаконных» детях. А в 70-х годах Толстой создавал свой роман о современной жизни и «случайном семействе» — «Анну Каренину». Если оставить в стороне политические разногласия (отношение к сербской войне), именно Достоевский стал глубоким ценителем нового романа Толстого.

Что касается «Отрочества», у этой повести было много восторженных читателей.

Служивец Толстого К.Н.Боборыкин писал из Кишинева 26 января 1855 г.: «После отзывов журналов не буду говорить, скажу только, что к любимым моим авторам Гоголю и Тургеневу прибавился еще г. Л.Н.Т.» (Гусев, I, с. 519). Он же сообщал, что «в восторге» от повести адъютант М.Д.Горчакова Е.П.Ковалевский (впоследствии писатель и путешественник; ему в июне 1855 г. Толстой читал в Бахчисарае рассказ «Севастополь в мае»).

Некая Эстель Джексон, симферопольская знакомая Толстого, написала 11 февраля 1855 г.: «Украшением наших вечеров стало чтение Вашего прелестного описания благословенного отроческого возраста, когда будущее видится в розовом цвете; я охотно разделяю с Вами энтузиазм, который внушил Вам Карл Иванович, как и его достойные соотечественники» (ГМТ; перев. с франц.).

Писательница Н.Д.Хвощинская в заслугу Толстому ставила то, что во время как многие изображали детство и юность, он один коснулся переходного возраста в своем «Отрочестве» (В.Поречников <Н.Д.Хвощинская>. Провинциальные письма о нашей литературе. — «Отечественные записки», 1863, № 4, с. 186).

В.Э.Направник, сын выдающегося русского композитора и дирижера, живший зимой 1892 г. в Майданове близ Клина и часто видевшийся с П.И.Чайковским, свидетельствует: «Петр Ильич восхищался Л.Толстым, особенно любил “Детство и отрочество”; эту книгу, по его словам, он перечитал раз десять» («Советская музыка», 1949, № 7, с. 65). Управляющий петербургскими императорскими театрами В.П.Погожев писал Чайковскому 15 декабря 1890 г.: «Вы, конечно, читали “Детство и отрочество” Толстого? Вероятно, и на Вас и на всех других, читавших это произведение, оно про-

изводило один и тот же эффект: Вы читаете мысли, которые и Вам в свое время в голову приходили,— вспомните картины, которые когда-то мелькали и перед Вами, и все это восстанавливается в Вашей голове в такой изумительной правдивости, подробности и полноте и все настолько Вам знакомо, что в первую минуту Вы чувствуете даже досаду на то, что Вам раньше не пришла в голову мысль воспроизвести этот простой, по-видимому даже наивный синтез; это в первую минуту; и только позднее, вдумавшись, Вы начинаете чувствовать величину таланта, с которым написана эта вещь! И талант этот заключается, главным образом, в собирании и обобщении тех мелочей жизни, которые сами по себе не останавливают ничьего внимания, они ничтожны, как тиканье часов, которое настолько обыкновенно, что навыкнущее к нему ухо перестает его слышать до тех пор, покаду внимание не будет обращено именно на это тиканье. Попробуйте прекратить это тиканье. Вы будете чувствовать, что чего-то не хватает, а чего? даже не сумеете доискаться... А талант доискивается, он инстинктивно чувствует и неполноту картины, и то, чего не хватает» (Воспоминания о П.И.Чайковском. М., 1973, с. 458–459). В 1892 г. Чайковский сочинял музыку к последнему своему балету «Щелкунчик», и надо полагать, перечитывание «Детства» и «Отрочества» было тогда связано с этой работой.

Первым журнальным откликом на «Отрочество» стала, как и два года назад на «Детство», статья в «Отечественных записках» (1854, № 11, отд. IV «Журналистика»). «Не знаем,— писал тот же критик, С.С.Дудышкин,— что больше хвалить в этих двух повестях: талант ли автора неоспоримый, мастерство ли рассказа или ту умную наблюдательность, которая так редка. Сверх того, г. Л.Н.Т. во многих местах своих повестей — истинный поэт. Все эти достоинства поставили г. Л.Н.Т. сразу, как семь лет назад г. Гончарова, с которым у него очень много общего, в число немногих лучших наших писателей последнего времени». Каким-то чутьем критик постиг, что художественное совершенство: «ни одного слова лишнего, ни одной черты ненужной, ни одной фразы без картины или без цели» — далось автору повестей долгим трудом: «не бросает их в печать недоконченными» (с. 34).

Сравнив Толстого с Диккенсом, Дудышкин заметил о картине, нарисованной в «Детстве» и «Отрочестве»: «Англичанин поймет ее так же хорошо, как и русский, хотя это и совершенно русская картина <...> в первом пробуждении ума, в первых наклонностях дитяти и в дальнейшем его развитии мы видим историю не одной русской, но и вообще человеческой жизни» (там же). Описание грозы покорило критика «Отечественных записок» не меньше, чем редактора «Современника» Некрасова, и он целиком привел этот фрагмент второй главы «Отрочества». «Г.Т.,— писал Дудышкин,— истинный поэт, и на кого не подействует описание грозы в “Отрочестве”, тому мы не советуем читать стихов ни г.Тютчева, ни г.Фета: тот ровно ничего не поймет в них; на кого не подействуют последние главы “Детства”, где описана смерть матери, в воображении и чувстве того уж ничем не пробьешь отверстия; кто прочтет XV главу “Детства” и не задумается, у того в жизни решительно нет никаких воспоминаний» (с. 35).

В 1854 — начале 1855 г. сочувственные отзывы об «Отрочестве» поместили газета «Петербургские ведомости», журналы «Москвитянин», «Пантеон» и «Библиотека для чтения». Газетный рецензент отметил в «замечательной» повести «тонкую наблюдательность, психологическую верность» («Петербургские ведомости», 1854, 4 декабря, № 271). В «Москвитянине»

снова писал Б.Н.Алмазов, откликнувшийся раньше на «Детство», и тоже находил у Толстого «замечательную способность к тонким психическим наблюдениям» («Москвитянин», 1854, № 23, отд. IV, с. 113). В журнале «Пантеон» «Отрочество», как и «Фанфарон» А.Писемского, названо «лучшей повестью прошлого года». «Первая — удивительный, безыскусственный очерк, написанный прекрасным языком, замечательный мастерским анализом тонких, почти неуловимых чувств и впечатлений ребенка, делающего отроком» («Пантеон», 1855, № 1, отд. IV, с. 4–5). Критик «Библиотеки для чтения» писал, что «Отрочество» «свежо, замечательно верно и яркостью красок, проникнуто душевною теплотою автора» («Библиотека для чтения», 1854, № 11, отд. VI, с. 13). Все это были верные, но слишком общие слова. Первый глубокий анализ психологического мастерства Толстого дал в 1856 г. Н.Г.Чернышевский в статье о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах».

В январе 1855 г. Некрасов обращался к Толстому: «Да пишите побольше — нас всех очень интересует Ваш талант, которого в Вас много. Кстати, в № 1 «Современника» не печатал я статью Анненкова “По поводу последних произведений Тургенева и Л.Н.Т.”; в ней Вы найдете несколько дельных замечаний о себе — она высказывает несколько мыслей, на которые наводят Ваши произведения» (*Переписка*, т. 1, с. 69).

Статья П.В.Анненкова называлась «О мысли в произведениях изящной словесности (Заметки по поводу последних произведений гг. Тургенева и Л.Н.Т.)».

В соответствии с заглавием статьи, Анненков сосредоточил внимание на содержании, смысле двух первых частей из обещанной автором «Истории четырех эпох»: «Полнота выражения в лицах и предметах, глубокие психические разъяснения и, наконец, картина нравов известного светского и строго приличного круга, картина, написанная такой тонкой кистью, какой мы уже давно не видели у себя при описаниях высшего общества, были плодом серьезного понимания автором своего предмета» («Современник», 1855, № 1, отд. III, с. 22). Далее следовало очень важное замечание: «Повествование г. Л.Н.Т. имеет многие существенные качества *исследования*, не имея ни малейших внешних признаков автора его и оставаясь по преимуществу произведением изящной словесности. Искусство здесь находится в дружном отношении к мысли, постоянно присутствующей в рассказе...» (там же).

По словам критика, у Толстого «почти нет малозначительных внешних признаков для лица, ничтожных подробностей для события. <...> Автор доводит читателя, неослабной проверкой всего встречающегося ему, до убеждения, что в одном жесте, в незначительной привычке, в необдуманном слове человека скрывается иногда душа его и что они часто определяют характер лица так же верно и несомненно, как самые яркие, очевидные поступки его». Что касается среды, изображенной в «Детстве» и «Отрочестве», Анненков полагал, что Толстой «не обсуждает тот круг, куда был поставлен, и который, не очень глубоко и серьезно понимая вещи, бережет только внешний вид достоинства и благородства: он его описывает». С «полным убеждением» Анненков причислил Л.Н.Т. к «лучшим нашим рассказчикам», назвав далее Гончарова, Григоровича, Писемского и Тургенева (там же, с. 24, 26).

Анонимный рецензент «Библиотеки для чтения» (1855, № 5, отд. VI) согласился с увиденными Анненковым основными чертами таланта Толсто-

го: «строгость психического наблюдения, полнота выражения в лицах и предметах, замечательная деятельность мысли, отсутствие противозстетического смещения целей» (с. 43–44).

Другой член «бесценного триумvirата», как называл Толстой П.В. Анненкова, В.П. Боткина и А.В. Дружинина (в письме Боткину от 20 января 1857 г.), а именно Дружинин, выступил в печати лишь в 1856 г., с разбором двух новых повестей — «Метель» и «Два гусара». Исходные рассуждения критика — все же о «Детстве» и «Отрочестве»: «Немногие русские литераторы начинали свою деятельность так счастливо, правильно и разумно, как начал ее граф Л.Н. Толстой <...> Автор “Детства”, едва выступив на литературное поприще, не встретил от публики ни холодности, ни мгновенного сильного успеха, всегда почти действующего на молодых писателей довольно вредно. <...> Успех произведений графа Л.Н. Толстого прежде всего начался в круге писателей <...> Повесть “Отрочество” утвердила все надежды, возлагаемые на нового писателя» («Библиотека для чтения», 1856, № 9, отд. V, с. 1–2).

Дружинин увидел в создателе «Детства» и «Двух гусаров» «одного из бессознательных представителей той теории свободного творчества, которая одна кажется <...> истинною теориею всякого искусства» (с. 6). Но все сказанное критиком о новаторской силе таланта Толстого вполне справедливо и точно: «По первым произведениям Л.Н.Т. в нем не трудно было распознать писателя вполне независимого. Самая тень рутинности не касалась его молодых сил. Он не знал многого, но зато и не заблуждался во многом. Для него как будто не существовало прошлого; все мелкие грешки нашей словесности — ее общественный сентиментализм, ее робость перед новыми путями, ее одностороннее стремление к отрицательному направлению, наконец, остатки старого дидактического педантизма, отнявшие столько силы у наших современных деятелей,— нисколько не отразились на таланте нового повествователя» (с. 7).

Касаясь того, что ждет Толстого, Дружинин пронизательно заметил: «Ему нечего бояться литературной рутинности: он не будет писать сентиментальных диссертаций на современные темы и, вместе с тем, не станет изображать какого-нибудь журчащего ручья, если его собственное настроение не повлечет его к журчащему ручью с непреодолимою силою. Он будет прям и искренен в проявлениях своей поэтической фантазии. Если ему вздумается написать идиллию, никакой авторитет не склонит его переделать идиллию в сатиру. Если вдохновение застанет его в минуты тяжелые для души, граф Толстой не станет насиловать себя для идиллической картины. Весь мир раскроется перед ним с своими светлыми и темными сторонами, а он не устремится к той или другой стороне мира по чужому указанию» (с. 7–8). И в заключение статьи: «Поэтическое зеркало графа Толстого поражает своею беспримерною чистотою, оттого мы, не обинуясь, признаем нашего автора одним из писателей наших, предназначенных на наиболее блистательную будущность» (с. 26).

Не приходится сомневаться, что Дружинин, как всякий талантливый критик со *своими* взглядами, печатал статью, имея в виду не только представить разбор сочинений Толстого, но и воздействовать на него самого, а может быть, и на все течение русской словесности. Во всяком случае, закончил критик восклицанием: «Будущим нашим беллетристам, которые бы увлеклись дидактическим настроением, мы постоянно станем указывать на графа Толстого, самого младшего по годам, но самого самостоятельного,

самого энергического из наших талантливых повествователей. Пусть его творческая независимость наведет их на благие помыслы, а пускай его строгое, блистательное, оригинальное положение вне всяких литературных партий заставит задуматься не одного начинающего литератора!» (с. 30). В первом номере за 1857 г. своего журнала Дружинин снова вернулся к Толстому в статье об «Очерках из крестьянского быта» А.Ф.Писемского. С точки зрения критика, Островский, Писемский и Толстой — представители школы чистого искусства и не зависят от недавних авторитетов и дидактических теорий гоголевского периода, подтверждая «здравость русской литературы в ее общем течении»: «Граф Толстой начинает свое дело как человек, твердо держащийся за свою самостоятельность, на зло всем недавним авторитетам» («Библиотека для чтения», 1857, № 1, отд. V, с. 8).

Критик из другого лагеря, Н.Г.Чернышевский, поместил вскоре в «Современнике» знаменитую статью, не скрывая своих намерений, о которых в письме Некрасову 5 декабря 1856 г. сказано: «В “Критике” <...> моя статья о “Детстве”, “Отрочестве” и “Военных рассказах” Толстого, написанная так, что, конечно, понравится ему, не слишком нарушая в то же время и истину» (Чернышевский, т. 14, с. 329–330). В предыдущем, ноябрьском письме тому же Некрасову критик извещал, что Толстой скоро привезет в Петербург «Юность»: «Я побываю у него, — не знаю, успею ли получить над ним некоторую власть — а это было бы хорошо и для него и для “Современника”» (там же, с. 328).

Статья Чернышевского «Детство и Отрочество. Сочинение графа Л.Н.Толстого. Военные рассказы графа Л.Н.Толстого» появилась в декабрьском номере «Современника» за 1856 год.

Имея в виду ставшие уже привычными суждения о Толстом, критик писал: «Наблюдательность, тонкость психологического анализа, поэзия в картинах природы, простота и изящество — все это вы найдете и у Пушкина, и у Лермонтова, и у г. Тургенева, — определять талант каждого из этих писателей только этими эпитетами было бы справедливо, но вовсе недостаточно для того, чтобы отличить их друг от друга; и повторить то же самое о графе Толстом еще не значит уловить отличительную физиономию его таланта, не значит показать, чем этот прекрасный талант отличается от многих других столь же прекрасных талантов. Надобно было охарактеризовать его точнее» («Современник», 1856, № 12, отд. III, с. 53).

Далее Чернышевский дал эти свои, действительно точные характеристики.

«Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином. <...> Есть живописцы, которые знамениты искусством улавлять мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на шедящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по преимуществу говорят, что они умеют улавлять жизнь природы. Нечто подобное делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В этом состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело» (с. 54–58).

«Есть в таланте г. Толстого еще другая сила, сообщающая его произведениям совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью — чистота нравственного чувства» (с. 59).

Эта сила нравственного чувства замечательно проявилась в «Детстве» и «Отрочестве»: «...только при этой непосредственной свежести сердца можно было рассказать “Детство” и “Отрочество” с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною грациозностью, которые дают истинную жизнь этим повестям. Относительно “Детства” и “Отрочества” очевидно каждому, что без непорочности нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их» (с. 60).

Чернышевский уверенно утверждал: «Эти две черты — глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, придающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого, останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии» (с. 61).

Как ни любил Чернышевский в литературе изображение общественной жизни (и откровенно в этом признавался), о Толстом написал: «...изображая “Детство”, надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями» (с. 62).

Завершил критик статью словами об «истинном таланте», «замечательном таланте» Толстого — «настоящего художника». И восклицал: «Какая прекрасная надежда для нашей литературы, какие богатые новые материалы жизнь даст его поэзии! Мы предсказываем, что все, данное донныне графом Толстым нашей литературе, только залогом того, что совершит он впоследствии; но как богаты и прекрасны эти залого!» (с. 64).

Дальнейшие отзывы о «Детстве» и «Отрочестве» критиков, а потом историков литературы появились после публикации в 1857 г. «Юности» (см. комментарии).

С. 112. *Я был под Ульм, я был под Аустерлиц! я был под Ваграм!* — Во всех этих сражениях (8 октября, 20 ноября 1805 г., 5–6 июля 1809 г.) австрийские войска потерпели поражение.

С. 117. *...книги Смарагдова...* — С.Н.Смарагдов составил для средних учебных заведений «Руководство к познанию» древней, средней и новой истории. Здесь, очевидно, упомянута книжка по средней истории, выдержавшая в течение 1849–1859 гг. шесть изданий.

...книгу Кайданова... — Книга И.К.Кайданова «Краткое начертание всемирной истории» издавалась с 1822 по 1854 г. 16 раз.

С. 118. *...о крестовом походе Людовика Святого...* — Французский король Людовик IX предпринял в 1249 г. крестовый поход в Палестину.

С. 119. *...своей матери.* — Мать Людовика IX — Бланка Кастильская.

С. 137. *...в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки...* — Подобными размышлениями заняты накануне Шенграбенского сражения офицеры Тушин и Белкин в одной из черновых редакций «Войны и мира».

ЮНОСТЬ

Впервые: «Современник», 1857, № 1, с. 13–163. Подпись: Граф Л.Н.Толстой.

Рукописный фонд составляет 153 листа.

Печатается по тексту «Современника», с восстановлением по рукописи изъятой цензурой второй половины гл. XLIV «Зухин и Семенов» и следующими исправлениями:

С. 166, строка 34: жалобно обнажилась — *вместо*: жалобно обнажалась (по А₂)

С. 167, строки 30–31: стоечка с образами и лампадкой, висевшей перед ними — *вместо*: стоечка с образами и лампадка, висевшая перед ними (по А₂)

С. 171, строки 23–24: в черную тень забора — *вместо*: в вечернюю тень забора (по А₂)

С. 175, строка 25: теория сочетаний — *вместо*: теории сочетаний

С. 175, строки 34–35: к нашему брату поступающему, а нашему брату поступающему — *вместо*: к нашему брату поступающему, и нашему брату поступающему (по А₂)

С. 176, строка 28: это была теория сочетаний — *вместо*: это была теория сочетания (по А₂)

С. 183, строка 30: нетерпеливо — *вместо*: неторопливо (по А₂)

С. 186, строка 37: сказал Дубков после обеда — *вместо*: сказал Дубков, — после обеда (по А₂)

С. 198, строка 17: совсем не четвероюродный — *вместо*: совсем не троюродный (по смыслу и сопоставлению со строкой 15)

С. 199, строка 11: в отношениях с домашними — *вместо*: в отношении с домашними (по А₂)

С. 201, строка 12: а когда-то — *вместо*: и когда-то (по А₂)

С. 213, строка 14: брезгливо дотрогиваются до вас — *вместо*: брезгливо дотрогиваются до вас (по смыслу)

С. 222, строка 41: ласкающих глаз — *вместо*: ласкающихся глаз (по А₂)

С. 236, строки 25–26: огни из гостиной перейдут в верхние комнаты — *вместо*: огни в гостиной перейдут в верхние комнаты (по А₃)

1

11 марта 1855 г., вернувшись из Севастополя на позиции своей батареи близ Симферополя, Толстой записал в дневнике: «Военная карьера не моя и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше».

На другой день была начата «Юность»: «Утром написал около листа...». Из писем Н.А.Некрасова Толстой уже знал, что «Отрочество» напечатано, что его «изрядно оципала цензура» и что в литературных кругах оно произвело «эффект» (см. выше, с. 419 и 425). Едва ли к тому времени до Толстого дошел номер журнала с этой повестью.

В набросанных еще на Кавказе в 1851 г. планах всего сочинения конспект «Юности» начинался так: «Жизнь в П<етровском>, равнодушие отца, поступление в Университет». И в более подробной разработке: «Я дурно поступаю в Университет. Мы живем в П<етровском> одни с

отцом,— я начинаю шалить, влюбляюсь, брат отбивает...». Заканчивался этот вполне «романический» конспект пунктами, никогда не осуществленными: «Замужество сестры и волокитство зятя. Мои планы на этот счет. К.А. протежирует нам, брат поступает на службу. Я бросаю восторженные планы и живу беспутно, но тщеславно. *После путешествия возвращение*. Потом еще план, тоже далекий от текста «Юности»; здесь, в частности, мелькнуло: «Я решаюсь быть [ученым] писателем...» (см. т. I второй серии).

Работа над первой редакцией продолжалась весь март 1855 г. и половиной апреля, вместе с писанием «Севастополя в декабре месяце».

13 марта: «Писал “Юность”...».

16 марта: «Вчера писал “Юность”...».

17 марта: «Написал около листа “Юности” хорошо, но мог бы написать больше и лучше».

18 марта: «Написал нынче около листа “Юности”».

28 марта: «Утром написал страницы 4 “Юности”...».

29 марта: «Написал страниц 8 “Юности” и недурно...».

С 5 апреля 1855 г. началась служба Толстого в Севастополе, на четвертом бастионе.

7 апреля: «Все эти дни так занят был самыми событиями и отчасти службой, что ничего, исключая одной нескладной странички “Юности”, не успел написать еще».

11 апреля: «Очень, очень мало написал в эти дни “Юности” и “Севастополя”...».

13 апреля: «Тот же 4-ый бастион, который мне начинает очень нравиться, я пишу довольно много. Нынче окончил “Севастополь днем и ночью” и немного написал “Юности”».

14 апреля: «Тот же 4-й бастион, на котором мне превосходно. Вчера написал главу “Юности” и очень недурно. Вообще работа “Юности” уже теперь будет завлекать меня самой прелестью начатой и доведенной почти до половины работы. Хочу нынче написать главу “Сенокос”...».

Но глава «Сенокос», задуманная еще в пору «Отрочества» (см. с. 413), не была написана ни тогда, ни после, хотя в подробном плане «Юности», составленном в 1855 г., она значится (гл. 12). 21 апреля дневник отмечает: «7 дней, в которые я решительно ничего не сделал, исключая двух перебеленных листов “Севастополя” и проекта адреса¹. 3-го дня у нас отбиты ложменты против 5 бастиона, отбиты со срамом. Дух упадает ежедневно, и мысль о возможности взятия Севастополя начинает проявляться во многом».

Упоминания о «Юности» прервались в дневнике до 30 июня 1855 г. И лишь 1 июля Толстой «пытался писать план “Юности”». В записи 6 июля «Юность» и «Молодость» названы, правда, «главным занятием», но «что для денег, практики слога и разнообразия». Творческая сила уходила в это время на военные рассказы («Рубка леса», «Севастополь в мае»), и хотя в записных книжках начиная с 8 июля много заметок к «Юности», энергичная работа над повестью снова началась только летом 1856 г. в Ясной Поляне. 10 июля 1855 г. в дневнике отмечено: «Пропасть есть мыслей для

¹ Проект докладной записки главнокомандующему кн. М.Д.Горчакову относительно воззвания к защитникам Севастополя.

“Юности”, записанных в записную книжку, скоро употреблю их, не переписывая».

Отправив 11 июля в Петербург «Севастополь в мае», Толстой 12 июля определил задание: «Завтра пишу “Юность” с утра», но 13 июля «ничего не писал» и лишь 24 июля «начал писать», хотя «написал только 1/2 листа», и 26 июля «утром и после обеда писал немного». Потом 27 июля «написал только 1/2 листочка», затем снова перерыв, и 12 августа «дописал 1-ю главу “Юности”. Весьма мало». Слова о «первой главе» ясно свидетельствуют, что в эти дни «Юность» писалась с начала, т.е. создавалась вторая редакция повести. Впрочем, работа на этот раз была и не могла не быть мимолетной: наступили последние дни Севастополя.

Высказывалось предположение, что написанное Толстым весной 1855 г. не сохранилось (*Юб.*, т. 2, с. 375; т. 47, с. 283). Но есть все основания полагать, что первая сохранившаяся рукопись, содержащая шесть пространных глав, и есть та самая «доведенная почти до половины работа», про которую Толстой писал в дневнике 14 апреля 1855 г.¹ Открывается она главой «Выставляют окна», которая позднее даст две — вторую и третью — главы: «Весна» и «Мечты». Так сохранится и потом: события «Юности» начинаются весной — порой обновления в природе и в душе героя. В таком отношении к весне ясно просвечивают автобиографические черты. В марте 1851 г., например, Толстой писал, находясь тогда в Москве, Т.А.Ергольской: «Прочел недавно в одной книге, что первые признаки весны действуют обыкновенно на моральную сторону человека. С оживающей природой хочется переродиться самому, жалешь о прошлом, о дурно использованном времени, раскаиваешься в своих слабостях, и будущее представляется светлым впереди; становишься лучше, нравственно лучше. Относительно меня это совершенно верно; с тех пор как я начал жить (самостоятельно), весна всегда приводила меня в хорошее состояние, в котором я удерживался более или менее долго, но зима всегда была камнем преткновения. Всегда сбывает».

Глава 2-я названа «Хор», но в середине нее между строками вписан еще заголовок: «Глава 2-я. Исповедь»; первая половина главы, хотя и не зачеркнута, осталась в тексте лишь этого черновика. Далее — глава 3-я «Экзамены», а потом, минуя 4-ю, сразу идет глава 5-я «Семейство Нехлюдовых» (возможно, Толстой ошибся в счете, а может быть, учел то, что вторая глава поделена на две; никаких пропусков в тексте нет). Заключительная в этой рукописи глава 6-я сначала была названа «Трубка», потом «Ложь», снова восстановлена «Трубка», но затем сверху написано: «Я хочу убедиться в том, что я большой». В окончательном тексте начало этой главы станет главой XIII: «Я большой». В первом черновике повествование начинается с пометы: «(В след<ующих> главах: 1) деньги, 2) ложный стыд)». На последней странице рукописи заметка: «Куренье после». Глава заканчивается (на об. л. 24) написанным поперек, по заполненной уже странице: кажется, будто у автора не осталось уже ни листочка бумаги.

План, составленный 1 июля 1855 г., в значительной мере был реализован во второй (первой завершенной) редакции повести, начатой в июле-августе в Севастополе.

¹ Н.Н.Гусев также считал, что рукопись сохранилась (*Гусев, II*, с. 138).

Первой главой в плане оставалась «Выставляют окна». Относительно второй сомнения: «Хор. Страстная пятница...» обозначено, зачеркнуто, восстановлено, но затем 2-й главой в плане стало иное: «Обед в страстную пятницу». Эта глава появилась затем в рукописи и там зачеркнута. 3-я глава «Исповедь» и далее до 19-й «Не выдержал экзамена» — конспект того, что будет и во второй редакции и, с изменениями, в окончательном тексте. Но есть пункты, так и оставшиеся только в плане: в гл. 8 — «[Беднос<ть>]». Чувство сострадания мужикам»; в 11-й — «Жестокость Володи к Кат<еньке>; я сам не знаю, что делаю»; в 14-й — «Концерт»; в 15-й — «Катенька выходит замуж за артиста Листа». Не вошли, по крайней мере в «первую половину» «Юности», наброски глав 20–23: «20) Кутежи, игра, деньги. 21) Отец дает свободу. 22) Стечение несчастий. 23) Опминаюся и в деревню с планами составления философии и помещицства, которые в себе ничего не имеют, кроме тоски. Меня сбивают, я иду юнкером».

Как обычно при работе над трилогией, Толстой в «Юности» отказывался от «острых» сюжетно-романических мотивов, расширяя внутренний психологический и социальный планы.

В конспекте ничего нет о студентах-разночинцах (гл. XLIII и XLIV окончательного текста — «Новые товарищи», «Зухин и Семенов»). В рукописи второй редакции «Юности» они появляются, правда в очень черновом, кратком виде.

Хронология работы над обширной рукописью, составляющей вторую редакцию повести, прослеживается по дневнику.

После 12 августа 1855 г., когда Толстой «дописал 1-ю главу», в дальнейшем до отъезда из Крыма всего несколько записей, в основном о намерении продолжить работу.

13 августа: «Написал весьма мало, хотя и был в духе».

17 сентября: «Завтра <...> утро пишу “Юность”».

19 сентября: «“Юность” хочу издать сам».

21 сентября: «Завтра <...> пишу <...> “Юность”...».

23 сентября: «Не писал “Юности”. <...> Завтра <...> пишу “Юность”...»

Затем подобные записи повторяются 24, 26, 27 сентября, 1 и 2 октября. Лишь 23 октября появилось: «Писал вчера и нынче немного, но легко», хотя неясно, относится ли это к «Юности» или к «Севастополю в августе».

21 ноября, уже в Петербурге, намечено: «Завтра пишу “Юность”...». 9 декабря 1855 г. И.С. Тургенев известил П.В. Анненкова, что Толстой читал «начало своей “Юности” и начало другого романа¹. О — есть вещи великолепные!» (*Тургенев, Письма*, т. 2, с. 328). По дневнику А.В. Дружинина устанавливается, что чтение это происходило 3 декабря. Толстой до конца жизни запомнил восхищение Тургенева, сказавшего тогда о «Юности»: «лучшее произведение в мире» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого. 12 ноября 1906 г. — *ЛН*, т. 90, кн. 2, с. 301)².

¹ Будущие «Казачьи» или «Роман русского помещика».

² Возможно, впрочем, что так трансформировался отзыв И.И. Панаева в его письме Тургеневу (см. с. 448), переданный Толстому в начале 1857 г. при встрече с Тургеневым в Париже.

Затем дневник Толстого прерывается до 10 января 1856 г. Только 19 февраля опять упомянута «Юность». Наконец 25 мая в Москве: «Писать ужасно хочется “Юность”».

3 июня, в Троицын день, Толстой вернулся в Ясную Поляну.

10 июня: «Гулял по заказу, кое-что придумал. Главное, что “Юность” надо писать предпочтительно...». Далее работа шла почти не прерываясь, до конца сентября, когда «Юность» была еще раз переписана и закончена.

11 июня: «Встал в 9, перечел “Юность”».

22 июня: «... составил ясно не на бумаге, а в голове план “Юности”».

26 июня: «... переписал заметки, перечел “Юность”, хотел писать, но так и остановился».

27 июня: «Перечел “Юность”, поправил кой-что...».

28 июня: «Встал в 10, отделал первую главу “Юности” с большим удовольствием». Вообще над первой главой — «Что я считаю началом юности» — Толстой особенно много работал. После всех переделок, сокращений, в частности, автобиографических моментов, остался текст, составивший в печатном варианте одну страницу.

30 июня: «Написал страничку “Юности”...».

1 июля: «... написал странички 2 “Юности”...».

3 июля: «Писал немного “Юность”...».

26 июля: «...дописал дней за 5».

27 июля: «Писал немного “Юность” и с большим удовольствием. Непременно, с моей привычкой передумыванья, мне надо привыкнуть писать сразу».

29 июля: «Писал утро “Юность”, дописал главу “Исповедь”».

30 июля: «Писал главу “Экзамены”, написал листочка два».

31 июля: «Писал главу экзаменов». В этот же день в записной книжке: «Непременно переделать всю первую главу».

1 августа: «Просыпался рано и в пробуждении пробовал придумывать свои лица. Воображение ужасно живо. Успел представить себе отца — отлично. Дописал “Экзамены”».

2 августа: «... писал целый день...».

3 августа: «Писал много».

6 августа: «4,5,6. Не выезжал, писал с удовольствием».

9 августа: «7 августа не помню. Знаю только, что в эти дни писал каждый день часа по два...».

10 августа: «...писал утро...».

11 августа: «Писал дома 6-ю главу по 2-ой переписке. Кончил». 6-я глава — «Семейство Нехлюдовых», бывшая в крымской рукописи главой 5-й.

12 августа: «... пописал немного».

13 августа: «Писал до 2...».

14 августа: «Принимаюсь писать 7-ю главу. Написал листа 2, но в целый день, который был свободен, этого мало».

15 августа: «Целый день дома, писал довольно много...».

16 августа: «Ничего не писал».

17 августа: «Утро дома мало писал, “Женитьба отца” поставила меня в тупик...». В сохранившейся рукописи два варианта этой главы, с большой правкой.

18 августа: «Все дождь, писал и марал утро».

19 августа: «Писал немного, ездил с собаками».

20 августа: «То же самое».

21 августа: «То же самое».

22 августа: «Кончил начерно “Юность”, 1-ую половину...».

23 августа: «Хотел поправлять, но не приступил».

Итак, вторая редакция, начатая в июле 1855 г. в Севастополе, завершена была 22 августа 1856 г. в Ясной Поляне.

Работа над последней, 3-й редакцией «Юности» началась 27 августа 1856 г., когда в Ясную Поляну «приехал писарь» из Тулы (Иван Иванович, фамилия неизвестна).

Рукописи второй редакции сохранились, видимо, полностью, со всеми дополнениями и переменами, сделанными Толстым. Здесь нет ни одного листочка копии, только автографы (см. во второй серии полный свод вариантов). Так много правок, особенно во второй половине, что рукопись, по началу чистая, стала черновой.

Основной автограф содержит 11 глав: 1. «Выставляют окна»; далее зачеркнута гл. 2 «Постный обед», и гл. 3-я «Исповедь» стала 2-й; 3. «Экзамены»; 4. «Я большой»; 5. «[В гостях] Визиты». 6. «Семейство Нехлюдовых»; 7. «В деревне»; 8. «Женитьба отца»; 9. «В Москве»; 10. «Мачеха»; 11. «Я проваливаюсь».

Однако здесь же название «Глава 1-я. Выставляют окна» изменено на «Глава 3-я. Юность», а затем вписано новое: «Глава 3-я. Моральный порыв» (в печатном тексте это глава II «Весна»). Создано новое начало, где первая глава названа «Новый взгляд», потом «Что я считаю началом юности» (так и в печатном тексте), а вторая глава — «Наше семейство» (очень далекая от гл. IV печатного текста «Наш семейный кружок»). Автограф обеих глав заключен в обложку из узкой полоски бумаги, на которой рукой Толстого помечено: «Переписанное начало “Юности”». Заново была написана гл. 4 «Обед» (текст близок к печатной гл. IV «Наш семейный кружок»). К ней присоединилось начало главы «Исповедь», а на следующих страницах между строк вписаны заглавия: «Глава 5. Правила», «Глава [6] 5. Исповедь», «Глава [7] 6. Поездка в монастырь», «Глава 7. Еще исповедь». В дальнейшем также между строк, где чернилами, где карандашом (иногда обведенном чернилами), Толстой вписывал названия, дробя текст на короткие главы. Это знаки уже последней, третьей редакции, рукописи которой, за исключением маленького фрагмента, до нас не дошли. Видимо, Толстой отказался от намерения самому издавать «Юность», а печатая в журнале, вслед за «Детством» и «Отрочеством», новую часть трилогии следовало тоже разбить на короткие главы.

Переписывая сам, поручая работу писарю, диктуя ему, Толстой в автографе основной рукописи намечал новое деление текста. Глава 3 «Экзамены» была разбита на 4: «Как я готовлюсь к экзамену», «Экзамен истории», «Экзамен математики», «Экзамен латыни»¹; 4-я «Я большой» составила гл. 13 «Я большой», 14 «Дубков», 15 «Обед», 16 «Ссора» (намечалась еще одна: 17 «Другая ссора», но это заглавие вписано между строк и зачеркнуто)²; глава 5 «Визиты» дала 18 «И.Грап», 19 «Валахины», 20 «Корнаковы», 21 «Ивины», 22 «Князь Иван Иванович»³; глава 6 «Семейство Нехлюдовых»:

¹ В печатном тексте гл. IX-XII.

² В печатном тексте гл. XIII-XVI.

³ В печатном тексте гл. XVII-XXI.

начало перешло в предыдущую; затем 22¹ «Кунцево», 23 «Нехлюдовы», [25] 24 «[Любовь] Отступление», 26 «Настоящие отношения», 27 «Ложь», 28 «Прогулка», 29 «Дмитрий»²; глава 7 «В деревне» — 30 «Приезд в Петровское», 31 «[Братья и сестры] Отношения», 32 «Музыка и чтение», 33 «Comme il faut», 34 «Юность»³; глава 8 «Женитьба отца» — 35 «Соседки враги», 36 «Отец женится», 37 «Как мы приняли это известие»⁴; глава 9 «В Москве» — [38] 36 «Университет», 39 «Товарищество», 40 «[Мои три любви] Сердечные дела», 41 «[Свет, бал] Свет», 42 «Кутеж» (этой главы, собственно, нет; карандашом поверх текста конца предыдущей главы вписано заглавие и конспект), 43 «[Откровенность] Дружба Дмитрия», 44 «Оперов», 45 «Дружба с семьей»⁵. Лишь глава 10 «Мачеха» осталась по-прежнему одной главой — здесь 46-й. Глава 11 «Я проваливаюсь» составила три главы: 47 «Новые товарищи», 48 «Русский студент», 49 «Я проваливаюсь»⁶. На последней странице рукописи, перед двумя заключительными абзацами, вписано еще одно заглавие: 50 «Правила либеральные». Но текст расширен не был, а впоследствии даже сокращен, составив завершающие несколько строк опубликованной «первой половины» «Юности».

Сопоставляя текст второй редакции с печатным, можно убедиться, что даже последний слой рукописи сильно отличается от завершеного позднее и опубликованного в «Современнике».

Многие фрагменты не удастся представить в виде вариантов и приходится давать пространными кусками; для некоторых глав («Наш семейный кружок», «Женитьба отца») в рукописи было несколько вариантов; иных глав («Кутеж», «Дружба с Нехлюдовыми») нет совсем. Так что в последней сохранившейся рукописи перед нами, особенно если учесть первоначальное разделение на 11 глав (вместо 45 в печатном тексте), другая редакция «Юности», ее «первой половины», как полагал Толстой, думая впоследствии написать «вторую половину».

При окончательной отделке в главе «Мечты» был сокращен большой кусок о «брюнетке с родинкой», виденной давным-давно; в главе «Правила» — фрагмент об Ольге Петровне, московской барыне, всегда появлявшейся в доме, когда приходилось иметь дело с духовенством; о влюбленности Любочки в Дмитрия Нехлюдова. Словом, убиралось все «лишнее», ненужное, хотя бы оно было и хорошо само по себе. С другой стороны, на последних стадиях текст расширялся, обогащаясь новыми художественными деталями. Например, в главе «Я большой» во второй редакции было сказано о новом, студенческом костюме: «Все платье было готово. Я надел его». Потом появилось: «Надев это платье и найдя его прекрасным, несмотря на то, что St.-Jérôme уверял, что спинка сюртука морщила, я сошел вниз с самодовольной улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моем лице, и пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая

¹ Вероятно, перечитывая предыдущее, Толстой заметил, что название гл. 17 зачеркнуто и там образовался пробел.

² В печатном тексте гл. XXII-XXVII.

³ В печатном тексте гл. XXVIII-XXXII.

⁴ В печатном тексте гл. XXXIII-XXXV.

⁵ Последнее слово написано карандашом, неясно. В печатном тексте гл. XXXVI-XLI.

⁶ В печатном тексте гл. XLIII-XLV.

взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня».

В главе «Я собираюсь делать визиты» лишь в последней, третьей редакции появился подробный рассказ об отце Иленьки Грапа и разговор с ним. В следующих главах расширены эпизоды с Сонечкой Валахиной, княгиней Корнаковой, князем Иваном Ивановичем. В сущности, лишь в третьей редакции появилась глава «Comme il faut». В рукописи второй редакции этой теме посвящено всего несколько строк. Глава «Новые товарищи» близка по тексту во второй и третьей редакциях лишь на первых полутора страницах (фамилия студента, впрочем, не Зухин, а Мухин). Все остальное писалось заново, перед отправкой «Юности» в печать. Глава «Зухин и Семенов» (первоначально «Русский студент») также представляет собою во второй редакции небольшой черновой набросок. (Достоверно зная, что при публикации в «Современнике» в этой главе было сделано большое цензурное изъятие, мы не можем обратиться для восстановления текста к автографу второй редакции, а вынуждены довольствоваться копией, сохранившейся даже не в архиве Толстого.)

Громадной была работа над стилем, особенно в описаниях природы.

Рукописи последней стадии работы не сохранились. Уцелел лишь небольшой автограф конца главы XXXII «Юность» и начала гл. XXXIII «Соседи» и два листа копии той же гл. XXXIII. Толстой делал новые изменения, и перед отправкой в печать эти листы, по всей видимости, переписывались (см. варианты третьей редакции).

Судить о творческой работе над третьей редакцией в целом можно, сопоставляя рукопись второй редакции с опубликованным текстом (что было кратко сделано выше) и по дневниковым записям от конца августа до конца сентября 1856 г., а также по записным книжкам 1855–1856 гг.

25 августа 1856 г. Толстой пометил, что «привел в порядок записки». Скорее всего, речь идет о заметках в записной книжке, многие из которых еще не были использованы.

Эти записи (Н<аблюдения>, З<амечания>, М<ысли>, Ф<акты>, П<равила>) делались с 8 июля 1855 г. до конца работы и даже после отправки «Юности» в печать. Не все в них ясно. Многое так и осталось нерелизванным.

8 июля 1855 г.: «Н.З.М. В юности — цветочек, сувенир, который я беру только потому, что видал, все так делают».

Использовано в гл. «Сердечные дела».

«Н.З.Ф. в «Юность» — характер семейства дробится <1 стерлось> передают. Руку целуют у мачехи после обеда».

Развито в гл. «Мачеха».

10 июля.: «Н.З.М. для «Юности». Смутность понимания дел, враг».

Использовано в гл. «Соседи».

«Н.З. для «Юности». Разочарование в математике. 48–13 дроби. (К<арл?> И<ванович?>) (А+6), в геометрии метод. Философия математики, увлекающая меня в педагогию, философию вообще и удаляющая от истории. История науки о законах, государствах, войне — слова, которые я понимаю».

Использовано не было.

«Н.З.М. для «Юности». Жечь перья, ожидая химического соединения. М. Она перенесла с предмета своей любви на меня блестящий взгляд, и я чувствую, как прелесть взгляда, глядя на мое дурное лицо, — умирает».

Использовано не было.

12 июля: «Ф. для “Юности”: 1) Я невольно говорю грубости женщинам, в которых я влюблен. 2) Студент, читая, гладит руку <1 нрзб.>».

Использовано не было.

«М. для “Юности”: 1) злоба беспричинная на человека, с которым живешь, и 2) история за К<атеньку> с Володей. Володя скрытен, ревность, храбрость Володи. Отец отдал счеы. Сцена в пруду, спасение Володи и утешения Василья».

Не использовано, хотя в плане было намечено.

«М. для “Юности”. Я болен, и Матрена подает мне чай с засученным рукавом и от взгляда моего опускает его».

Использовано не было.

«М. для “Юности”. В манеже падает с лошади».

Использовано не было.

30 июля: «Н.З. для “Юности”. Человек, прощаясь, вздыхает».

Использовано не было.

29 мая 1856 г.: «11 часов, у высоких окон на сад стоят пальцы и какая-нибудь женщина шьет в них, сторы до половины опущены и отдувают, темно-зеленый сад блестит в окна и сквозь деревья бегает по пальцам. <...> И сто два-ать-дцать по-се-ем. Я на 4-й версте застал себя покоющим мысленно эту штуку».

Использовано в гл. «Юность».

Июнь 1856. «Вчера винный поверенный Беленко, красный, как говядина, старичок, знающий околосок, как свои карманы, рассказывал Василию про соседние именья. Большую часть описаний он начинал так: Тоже мужичонки разорены, но богатое именье».

Использовано в гл. 8 второй редакции «Женитьба отца».

«Есть 3 рода любви: 1) находящая наслаждение в самоотвержении, хотя бы оно было вредно для любимого, 2) находящая наслаждение в изыществе выражения, Пелагея Ильинична, и 3) в деятельности».

Использовано в гл. «Любовь».

«К “Юности”. Я смотрю, как на недоступные совершенства образования, ума, деликатности, на русских франтов, как Столыпин, Трубецкой, Строганов; потом узнаю и нахожу, что они на меня смотрят с завистью и притворяются, что презирают».

Отчасти использовано в гл. «Comme il faut».

«К “Юности”. Отец — женится на дочери врага. Детское понятие о враге».

Использовано в гл. «Соседи».

14 июля: «Приятно в постороннем кружке, который показывает вам одну ложную лицевую сторону жизни, поднять такой вопрос, который задевает всех членов кружка за живое. Как скоро соскакивает тогда эта ложная обстановка, и вы видите все настоящие отношения. Иногда этот вопрос не об состоянии, не об неверности мужа, а о кружевах или супе, посредством спора сделанный желчным».

Использовано в гл. «Я знакомливаюсь».

«К “Юности”. Я замечаю, что руки у брата, особенно роусе <большой палец>, когда он берет что-нибудь, как у большого, мне кажется, что он это нарочно <...> Тип Вал<ерьяна?>, любящий имя и отчество и вещи, имеет маленькие, закругленные пухлые ручки, похожие на кисточки».

Использовано в гл. «Чем занимались Володя с Дубковым», при этом в рукописи текст ближе к заметке в записной книжке.

«Ежели 2 любящих человека поверяют 3-му неудовольствие друг на друга, они уже не любят друг друга».

Использовано в гл. «Дружба с Нехлюдовым».

«К “Юности”. Характер Дмитрия Нехлюдова: иногда нежен и ребячлив, иногда жесток и упрям, но всегда честен, на художества туп».

Развито в главах, где появляется Нехлюдов.

31 июля: «К “Юности” 1-й главе. Краткий очерк всех отношений. Характер Дмитрия. Дмитрий глуп, но я не смею думать этого. Дома расстроены. Гость приехал, все другие спали».

Запись реализована в двух новых начальных главах второй редакции, где глава так и названа «Наше семейство» (заглавие вписано между строк). Впоследствии Толстой сильно сократил первую главу и совсем убрал вторую. Характеристика семейных отношений вошла в главу IV «Наш семейных кружок», во время уже начатого действия, при описании обеда (первоначально глава называлась «Обед»).

«К “Юности”. Сладострастие отца, ссора с Семеновым. От князя Ивана Иваныча мы ждем наследства».

Использовано в гл. «Князь Иван Иваныч» и «Женитьба отца».

«Володя. Не кончит курс, поступает в гвардию. Я не хочу подчиниться более влиянию Дмитрия, и дружба уничтожается. Дубкову не могу смотреть в глаза: или я, или он. Робею с братом друг за друга».

Кроме первой фразы, использовано в гл. «Чем занимались Володя с Дубковым» и «Ссора».

«Мы уже не говорим своих мыслей о планах женитьбы на сестрах. Как только сделает что-нибудь хорошее, находит кроткое расположение».

Использовано в гл. «Дмитрий» и «Дружба с Нехлюдовым».

«Т<етушка?>. П<олковник>. Дипломат. У Нехлюдова есть брат».

Использовано в гл. «Чем занимались Володя с Дубковым» и «Меня поздравляют».

«Тип belle Flamande — ревнива, добра и любит наряд».

Использовано в гл. «Мачеха».

«Дмитрий жесток с людьми».

Использовано в гл. «Дмитрий».

«К 1-ой главе: порвано было нормальное положение. Жизнь только подготавливала их — ссоры, домашние. Катенька. Пашенька. Володя. Валерьян».

Ср. первую запись от 31 июля.

«Любовь Дмитрия к Любви Сергеевне и Полубояринову».

Использовано в гл. «Дружба с Нехлюдовым». Полубояринов — в печатном тексте Безобедов (в рукописи 2-й редакции — Полубезобедов).

«Лунная ночь в беседке с Ф. и Катенькой и Володя».

Использовано не было.

«В чаще цепляет, ищет орехи. К 1-й главе “Юности” городские мечты».

Использовано не было.

«Нехлюдов. Тетка Татьяна Александровна. Молодежь смеется над теткой, что она покраснела, когда ей сказали, что она влюблена в сына, потому что она была влюблена в отца».

Использовано в гл. «Любовь». Т.А.Ергольская послужила отчасти прототипом Софьи Ивановны Нехлюдовой.

«Я убеждаюсь, что коли все говоришь, то ничего не делаешь; разговор с Дмитрием у князя Ивана Ивановича солгал, и он».

Использовано в гл. «Я показываюсь с самой выгодной стороны» и «Дружба с Нехлюдовым».

«К<арл?> И<ваныч?> в Хабаровке».

Расшифровано предположительно (см. *Юб.*, т. 2, с. 379; в т. 47, с. 191: «К<нязь> И<ван?>»). Скорее «Карл Иванович»: в планах «Юности» было намерение сделать Николая Иртеньева хозяином в Хабаровке, имени матери, и туда он должен был взять старого учителя-немца.

«Варенька художническая натура, драматическая, быстрая. А худож. сосредоточ.».

Использовано в гл. «Я показываюсь с самой выгодной стороны».

«К “Юности”. Брат везет другого (некрасивого) в гости и любителю на него, как на молодую женщину. В Хабаровке».

Использовано в гл. «Свет».

«Глупое занятие музыкой и романами».

Использовано в гл. «Мои занятия».

«Дубков лгун. Каждый должен говорить своим языком».

«Троицын день вклеить и следующее лето».

Использовано в начале «Второй половины» «Юности».

«Кутеж притворство».

Использовано в гл. «Кутеж».

«Comme il faut ногти».

Использовано в гл. «Comme il faut».

«Ноги благородные и подлые».

Использовано в гл. «Comme il faut». Во второй редакции в главе «Экзамены» («Экзамен истории») по тексту та же помета: «Подлые и благородные ноги».

«Понимание, известная степень тонкости иронии».

Использовано в гл. «Кутеж».

«К “Юности” — деятельность».

Смысл записи неясен. Несомненно лишь, что и эта заметка, и ряд предыдущих были сделаны уже в августе 1856 г. Рядом с нею, в строку, записка к «Отъезду к полю», задуманному 22 августа.

«Ложь в первую главу. В главу “Любовь” — почему Дмитрий любит Любовь Сергеевну, а не тетку».

Использовано в гл. «Любовь».

Перед 23 сентября: «К “Юности”: замолчали и заговорили о другом. Как будто их не интересовало то, что я сказал».

Использовано в гл. «Я показываюсь с самой выгодной стороны».

И, наконец, 7 октября: «Чтение, воротничок прибавить к “Юности”, ежели успею».

Видимо, заметка относится к главе «Вторая исповедь» (ср. помету в рукописи второй редакции: «Запонка. Причастие»), но использована она не была. Рукопись «Юности» находилась тогда у А.В. Дружинина в Петербурге.

Хронология работы над последней редакцией повести довольно ясно прослеживается по дневнику.

27 августа 1856 г.: «Утро работал с писарем, идет медленно, написано 5 глав в день. <...> вечер писал».

28 августа: «Мое рождение <...> переправил 4 главы, 1/2 переписал».

29 августа: «Утром дописал главу понимания».

Здесь речь идет о главе ХХІХ «Отношения между нами и девочками». В прежней рукописи не было всей второй половины этой главы (лишь один абзац про разговоры с девочками о любви и об искренности — см. варианты в т. I второй серии). Вторая половина — о «понимании» как человеческом качестве.

30 августа: «Написал начисто главу, продиктовал немного...»

Это скорее всего следующая глава, «Мои занятия». Во второй редакции имелся лишь краткий черновик, озаглавленный «Музыка и чтение».

31 августа: «Написал начисто главу, продиктовал».

Видимо, речь идет о главе ХХХІ «Comme il faut». В прежней рукописи было только два абзаца рассуждений на эту тему.

1 сентября: «Диктовал и написал “Юность”, с удовольствием до слез».

«Юность» — это глава ХХХІІ. Теперь была создана ее новая редакция.

2 сентября: «С утра диктовал. Но целый день не в духе, ездил верхом, хочу завтра ехать, а Ивану Ивановичу работы нет».

3 сентября: «... все видел во сне “Юность” — ездил на охоту <...> Потом дома лег спать, проснувшись продиктовал главу».

4 сентября: «Продиктовал 3 главы, и последняя очень хороша».

5 сентября: «Продиктовал 3 и поправил 3 главы».

6 сентября: «...продиктовал и порядочно главу: Кутеж». «Кутеж» — глава ХХХІХ. Во 2-й редакции был лишь краткий конспект ее.

7 сентября: «После ужина написал страничку 40 гл.».

В *Юб.*, т. 47, с. 92 опечатка: 70 гл. Речь, несомненно, идет о гл. ХІ «Дружба с Нехлюдовыми». В рукописи второй редакции ее не было совсем.

Следующие дни Толстой был болен и «ничего не делал».

12 сентября: «Поправляю <...> додиктовал все, но переделки много».

13 сентября: «Поправляя “Юность”».

15 сентября: «Вчера переправил слегка всю “Юность”. Нынче начал окончательно отделять».

20 сентября: «... работал нынче без охоты».

22 сентября: «... переделывал “Юность” порядочно, кажется, получил от Дружинина письмо и отвечал ему, посылая “Юность”».

23 сентября: «Поправил “Юность”. Вторая половина очень плоха».

24 сентября: «Кончил “Юность”, плохо, послал ее». Эта дата: «24 сентября. Ясная Поляна» появилась в опубликованном тексте.

Видимо, в эти же дни был составлен тот перечень всех глав, где Толстой, строго судя себя, дал оценку каждой главе. Как и в печатном тексте, в перечне 45 глав, обозначенных римскими цифрами; названия почти все совпадают. Лишь глава ХVІІ называлась еще «Иленька Грап», а не «Я собираюсь делать визиты»; глава ХХІІ «Кунцево», а не «Задушевный разговор с моим другом» и в главе ХХХV глагол употреблен в настоящем времени: «Как мы принимаем это известие». Во многих случаях «оценки» вполне положительны: «нечего переделывать», «хорошо», «славно», «конец превосходный» (гл. «Юность») и даже «К удивлению моему славно» (о гл. «Свет»). В других — намерение «переделать», «добавить», «переписать» или «содержания мало», «по языку плохо» и даже «пусто, но ничего» («Иленька Грап») и «порядочно, пусто» («Кунцево»). О главе «Зухин и Семенов» сказано: «порядочно, но лучше переделать, потому что содержание прелестно». Главы ХХІХ и ХХХ оценены отрицательно, потому что «рас-

суждения, а не художественное». Глава же XXXI «Comme il faut» — «рассуждения, но хорошо».

Еще 21 сентября 1856 г. Толстой обратился с письмом к А.В.Дружинину: «Вот в чем моя просьба. Я написал 1-ю половину “Юности”, которую обещал в “Современник”. Я никому ее не читал и писал пристально, так что решительно не могу о ней судить — все у меня в голове перепуталось. Кажется мне, однако, без скромности, что она очень плоха — особенно по небрежности языка, растянутости и т. д. Кажется мне это потому, что когда я пишу один, никому не читая, то мне обыкновенно одинаково думается, что то, что я пишу, превосходно и очень плохо, теперь же гораздо больше думается последнее. Но я совершенно с вами согласен, что, раз взявшись за литературу, нельзя этим шутить, а отдаешь ей всю жизнь, и поэтому я, надеясь впредь написать еще хорошее, не хочу печатать плохое. Так вот в чем просьба. Я к вам пришлю рукопись,— вы ее прочтите и строго и откровенно скажите свое мнение, лучше она или хуже “Детства” и почему и можно ли, переделав, сделать из нее хорошее или бросить ее. Последнее мне кажется лучше всего, потому что, раз начав дурно и проработав над ней 3 месяца, она мне опротивела донельзя».

Дальше Толстой просил никому не показывать рукопись; «и только, ежели ваше решение хорошо и я напишу еще вам, тогда отдайте Панаеву».

Дружинин был старше Толстого всего на четыре года; но создатель «Юности» доверял в ту пору его литературному вкусу и дружескому расположению.

Рукопись и письмо были отправлены в Петербург 24 сентября.

6 октября, кончив читать «Юность», Дружинин высказал в письме свое мнение:

«О “Юности” надо написать двадцать листов. Я читал ее с озлоблением, с криками и ругательствами — не по случаю литературного ее достоинства, а по случаю тетради и почерков. Это смешение двух рук, знакомой и незнакомой¹, отвлекло мое внимание и мешало толковому чтению. Будто два голоса кричали мне в ухо и нарочно меня сбивали, и я знаю, что оттого впечатление не имело нужной полноты. Однако скажу Вам, что могу.

Задача Ваша ужасна, и Вы ее выполнили очень хорошо. Ни один из перешших писателей не мог бы так схватить и очертать волнующий и бесполовый период юности. <...> Поэзии в Вашем труде — бездна; все первые главы превосходны, только вступление сухо, до описания весны и выставления рам. Потом превосходен приезд в деревню, перед ним описание семейства Нехлюдовых, объяснение отца перед вступлением в брак, глава “Новые товарищи” и “Я проваливаюсь”. От многих глав пахнет поэзией старой Москвы, никем еще не подсмотренной как должно. Кутеж у барона З. удивителен. Недостатки (я все говорю с точки зрения понимающих людей, а о массе скажу потом) заключаются в следующем. Некоторые главы сухи и длинны, например, все разговоры с Дмитрием Нехлюдовым, изображение отношений к Вареньке и та, где говорится о семейном *понимании*. Длинна также пирушка у Яра и перед ней визит Грапа с Иленькой. Рекрутство Семенова нецензурно.

¹ Т.е. автографа и копии (или диктовки) рукой переписчика.

Рассуждений не бойтесь, они все умны и оригинальны. Есть у Вас ползновение к чрезмерной тонкости анализа, которая может разрастись в большой недостаток. Иногда Вы готовы сказать: “У такого-то ляжки показывали, что он желает путешествовать по Индии”. Обуздать эту склонность Вы должны, но гасить ее не надо ни за что на свете. Вся Ваша работа над своим талантом должна быть в таком роде. Каждый Ваш недостаток имеет свою часть силы и красоты, почти каждое Ваше достоинство имеет в себе зернушки недостатков.

Слог Ваш совершенно подходит к этому заключению. Вы сильно безграмотны, иногда безграмотностью нововводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад и навсегда, — иногда же безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже. Наверно можно сказать, что все пассажи, писанные с любовью, у Вас превосходны, но чуть Вы холодеете, у Вас слог пугается и являются адские обороты речи. Поэтому места, писанные с холодностью, надо бы пересмотреть и выправить. Я пробовал было выправлять местами и кинул, эту работу только Вы сами можете и должны сделать. Для системы же разумного направления могу сказать главное только: избегайте длинных периодов. Дробите их на два и на три, не жалейте точек. С частями речи поступайте без церемонии, слова *что*, *который* и *это* марайте десятками. При затруднении берите фразу и представляйте себе, что вы ее кому-нибудь хотите передать гладким разговорным языком. <...>

Для массы читателей мало развитых “Юность” понравится гораздо менее, чем “Детство” и “Отрочество”. За эти две вещи говорил их малый объем и некоторые эпизоды, вроде рассказа Карла Ивановича. Самый пустой человек хранит несколько детских воспоминаний и радуется, когда ему истолковывают их поэзию, но период “Юности” (той смутной и нескладной юности, обильной щелчками и унижениями, которую Вы перед нами раскрываете) обыкновенно затаивается в душе, а оттого меркнет и забывается. Приблизить Ваш труд к пониманию масс можно весьма долгим трудом, двумя-тремя забавными эпизодами и так далее, но сделать его совершенно по вкусу большинству всему едва ли кто может. По замыслу и по сущности труда — Ваша “Юность” будет гастрономическим куском лишь для людей мыслящих и чующих поэзию.

Уведомьте, пересылать ли Вам рукопись или отдать ее Панаеву. Ею Вы не сделали огромного шага в какую-нибудь новую сторону, но показали, что в Вас есть и чего мы еще от Васждемся. Имени Вашего Вы ею не уроните даже у массы читателей» (*Переписка*, т. 1, с. 266–268).

Получив этот отзыв, Толстой записал в дневнике: «Хвалит “Юность”, но не слишком». В тот же день, 15 октября, он написал И.С.Тургеневу в Париж, извещая об окончании первой половины «Юности». К сожалению, не сохранилось ни одного письма Толстого Тургеневу за 1856 год (их было не менее 7). Тургенев ответил: «Вы окончили 1-ую часть “Юности” — это славно. Как мне обидно, что я не могу услышать ее! Если Вы не свихнетесь с дороги (и, кажется, нет причин предполагать это) — Вы очень далеко уйдете. Желаю Вам здоровья, деятельности — и свободы, свободы духовной» (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 43).

19 октября Толстой благодарил Дружинина за отзыв, просил не присылать рукопись, потому что намерен скоро быть в Петербурге, и в конце добавил: «Ежели бы вы отдали до моего приезда переписать “Юность”, с большими полями, это было бы отлично».

Между тем И.И.Панаев, ведавший делами «Современника» после отъезда за границу Некрасова, еще 16 августа напоминал Толстому про обещание «в непродолжительном времени» «доставить» первую половину «Юности» и просил рукопись для октябрьского номера: «Вы знаете, что Ваша повесть необходима к осени. Она должна служить лучшим украшением журнала, я в этом уверен и говорю Вам это без лести и без всяких комплиментов. В Вас теперь — сила и власть. Поддерживайте же эту силу «Современник»» (*Переписка*, т. 1, с. 132).

Не получив ответа (письмо пропало), Панаев 25 сентября писал снова, и 6 октября Толстой известил его, что повесть кончена, но послана «одному господину»: «ежели получу удовлетворительный ответ, то тотчас же пришлю ее вам, в противном случае тоже уведомя вас очень скоро». В письме 13 октября Панаев «умолял» прислать «Юность» к 15 ноября, чтобы она могла появиться в январской книжке.

26 октября Толстой ответил: «Письмо ваше получил и распоряжением вашим поместить “Юность” в январе весьма доволен. Она одобрена моим критиком, чему я очень счастлив, и, стало быть, на нее вы можете рассчитывать наивернейше».

7 ноября Толстой приехал в Петербург, в тот же вечер виделся с Дружининым, а на другой день с Панаевым. Нет никаких данных о том, что в ноябре была какая-нибудь работа над «Юностью». Скорее всего, рукопись была отдана Панаеву. 3 декабря в дневнике отмечено: «Панаев хвалит “Юность” очень». 5 декабря Панаев возвратил рукопись: «Посылаю Вам Вашу “Юность”. Это вещь прекрасная, и если уж надо делать какие-нибудь замечания, то — по моему мнению, местами надо немного пожать, поопределеннее сделать Дмитрия, что Вам говорил Дружинин и что Вы сами заметили, да в цензурном отношении — смягчить последние главы — в таком виде, в каком они есть, теперь их не пропустят. Переписчик наврал страшно, но независимо от переписчика периоды, кажется, кое-где длинноваты и темноваты от длинноты, частое повторение одних слов, все это я заметил в рукописи и проч.; пожалуйста, Лев Николаевич, по мере исправлений присылайте ко мне тетради. Через несколько дней надо будет начать печатать» (там же, с. 137–138).

На другой же день Панаев поделился впечатлением от «Юности» с Тургеневым: «Толстова “Юность” — прекрасна, я прочел ее всю третьего дня. Такой прелестнейшей автобиографии, я думаю, нет ни в какой литературе. Автор ее так и роется в себе, так, кажется, и боится упустить всякое свое внутреннее движение и выводит его на свет Божий, обставляя его внешними мельчайшими подробностями и аксессуарами и воскрешая свое прошедшее со всеми подробностями в данную минуту. Все эти мелочи у него выходят не только не утомительны, а необходимы и поэтичны. <...> Я вчера отдал ему ее для исправления в языке — писать совсем не умеет, периоды у него в два аршина, мысль — прелесть, — а в выражении ее часто путаница...» (*Тургенев и круг «Современника»*, с. 58–59).

10 декабря в дневнике Толстого помечено: «Переправляя “Юность”». Начался последний просмотр рукописи. 13 декабря первая тетрадь была отдана для набора.

В «Современнике» начали ждать «Юность» задолго до завершения Толстым этой части трилогии. 3 мая 1855 г. И.И.Панаев осведомлялся, можно ли рассчитывать на военные рассказы и «Юность» (в письме ошибка: «Юношество») к осени: «Не могу Вам выразить, с каким нетерпением ожидаем мы, все почитатели Вашего таланта (а таких у Вас очень много), и того и другого» (*Переписка*, т. 1, с. 120). 15 июня того же года Некрасов писал в Севастополь (Толстой находился тогда на позиции близ р.Бельбек, в 20 верстах от города): «Для “Юности” также уже определено местечко в 9 № “Современника”, уведоьте меня или Панаева, можете ли доставить ее к этому времени, то есть к половине августа» (там же, с. 72).

8 августа Толстой известил, что, «к несчастью», не может прислать рукопись раньше середины сентября; «но наверно, ежели только буду здоров и жив, пришло к этому времени». Панаев ответил 28 августа радостно: «Буду ждать с нетерпением к 1/2 сентября Вашей “Юности”» (там же, с. 131). Ему вторил Некрасов в письме 2 сентября: «Пожалуйста, присылайте. Независимо от журнала я лично интересуюсь продолжением Вашего первого труда. Мы приготовили для «Юности» место в X или XI книге, смотря по времени, как она получится» (там же, с. 74). Помещая в январе 1856 г. в разных газетах объявление о продолжающейся подписке на «Современник» 1856 года, Панаев и Некрасов объявили, что в числе поступивших в редакцию «статей» (как тогда назывались часто рассказы и повести) находится «Юность», «повесть гр. Л.Н.Толстого».

Однако «Юность» не была закончена в 1855 г., а 2 июля следующего года Толстой заметил в письме Некрасову: «Я пишу “Юность”, но плохо, лениво». Это дало повод Некрасову в письме 22 июля снова спрашивать, к какой книжке можно рассчитывать на “Юность” и намечать ее печатание на десятую или одиннадцатую. Уехав за границу для поправки здоровья, Некрасов опять просил: «Не забывайте “Современника”» (там же, с. 85).

Дальнейшая переписка шла с Панаевым (см. с. 448). «Без Вашей “Юности” — просто гибель», — писал Панаев 16 августа 1856 г. и просил «первую половину» на 10-ю книжку, потому что она «очень важная» — из-за подписки (там же, с. 133). Узнав в начале октября от Толстого, что вещь окончена, но послана на суд «одному господину», Панаев недоумевал: «...меня удивляет Ваше недоверие к самому себе, простирающееся даже до того, что Вы не знаете, стоит ли ее печатать. Я не имею понятия о Вашей “Юности”, но убежден (и нет сомнения, что я прав), что печатать ее не только можно, но должно. Такие таланты, как Ваш, не обманывают. Совет, конечно, дело хорошее, особенно с человеком в литературе смыслящим, но и Пушкин был прав, когда говорил:

Всех строже оценить умеешь ты свой труд...

Ты им доволен ли, взыскательный художник? — и проч. Я убежден, что Вы для себя — судья самый строгий» (там же, с. 136).

Панаев прочел «Юность» в ноябре. Толстой, живя тогда более двух месяцев в Петербурге, правил в декабре окончательно свои тетради, учитывая восторженный отзыв и некоторую критику со стороны издателя журнала. Повесть появилась целиком в январском номере за 1857 г.

Этот последний этап работы, проходивший одновременно с набором, проведением через духовную и светскую цензуру, корректурами, отразился в дневниковых записях Толстого.

Еще 19 октября, благодаря Дружинина за его «слишком лестный суд» о рукописи, Толстой заметил: «Уж ежели есть хорошее в ней, то я хочу сделать все, что могу, чтобы это хорошее представить в наилучшем свете». Записи о правке «Юности» начинаются 10 декабря 1856 г. и завершаются в последние дни декабря.

10 декабря: «Переправлял “Юность”».

12 декабря: «Утром поправил “Юности” первую тетрадь...».

13 декабря: «...едва успел переправить тетрадку “Юности”...».

14 декабря: «...поправил тетрадку...».

15 декабря: «На гимнастику опять опоздал, переправляя 3 тетрадь “Юности”».

16 декабря: «...к Боткину, у него продержал корректуры...».

17 декабря: «проснулся в 11, стал поправлять 3 тетрадь, принесли перемаранные корректуры духовной цензурой. <...> Завтра ехать к Иоанну...».

18 декабря: «Поехал к отцу Иоанну, стерва! <...> Боткин в восхищенье от “Юности”...».

Главы VI–VIII «Исповедь», «Поездка в монастырь», «Вторая исповедь» обязаны были проходить не только общую, но и духовную цензуру. Чтобы не задержать выход январского номера, редакция, не дожидаясь окончания набора, отправила туда корректуру этих глав. Цензором стал архимандрит Иоанн Соколов, в 1848–1857 гг. член Петербургского духовно-цензурного комитета. Возможно, в связи с цензурными делами 18 декабря Толстой ездил к Д.Н.Блудову, только что назначенному президентом Академии наук и бывшему главноуправляющим II Отделения собственной его величества канцелярии, и к П.А.Вяземскому («С Вяземским неловко»), товарищу министра народного просвещения, ведавшему делами цензуры.

19 декабря: «Встал поздно, едва успел поправить одну тетрадку».

21 декабря: «Встал в 1/2 8 и занялся корректурами...».

22 декабря: «Занимался корректурами <...> поправлял “Юность”».

23 декабря: «Поехал <...> в типографию».

24 декабря: «Ездил к Вяземскому по цензурным делам».

28 декабря: «Вяземский запретил последнюю главу. <...> Не кончил корректуру, пришли наряженные».

29 декабря: «Нелепость и невежество цензуры ужасны».

В конце «Юности» цензурой была урезана не последняя, а предпоследняя глава XLIV «Зухин и Семенов». Копия всей этой главы, включая и цензурное изъятие (от слов: «Зухин вышел и скоро вернулся...» — с. 272), сохранилась среди книг библиографа П.А.Ефремова и в 1908 г. была приобретена профессором Петербургского университета И.А.Шляпкиным. Опубликована эта рукопись впервые лишь в 1911 г. в брошюре Шляпкина «Памяти Л.Н.Толстого», вышедшей в Петербурге. На первом листе копии — пояснительные замечания Шляпкина. Его указание, что рукопись исправлена рукой Толстого, ошибочно: расшифровки неясных, недописанных слов сделаны копиистом. Все прижизненные издания «Юности» печатались без этого текста.

В 1913 г. П.И.Бирюков, готовивший в изд. И.Д.Сытина «Полное собрание сочинений Л.Н.Толстого», перепечатал изъятый цензурой кусок, но в приложениях. В примечании он пояснял, что считает себя не в праве вста-

вить это место в текст, т.к. подлинность рукописи необходимо засвидетельствовать серьезным исследованием. Впервые вторая половина гл. XLIV была восстановлена в основном составе «Юности» в изд.: Полное собрание художественных произведений, приложение к ж. «Огонек», М., 1928, т. I. По рукописной копии (а не публикации Шляпкина, имеющей ряд неточностей) напечатана в ЛП и печатается в настоящем издании.

Сложнее дело обстоит с вымарками духовной цензуры в главах VI–VIII. Они, несомненно, были, судя по резким дневниковым записям Толстого. Но пока не найдется документальных подтверждений, восстановить что-либо по сохранившейся рукописи второй редакции (третья, с которой набирался текст в «Современнике», остается неизвестной) нельзя. Можно лишь догадываться, что неслучайно «отец Макарий» везде был заменен «духовником», «самодовольно-легкое настроение» Николенки после первой исповеди — «отрадным настроением», а из главы «Поездка в монастырь» исчезло все описание внешности молодого монаха и его веселого поведения: «Монах пристально посмотрел на меня, встряхнул расчесанными волосами, показал мне язык и попрыгал дальше.

Часто я после думал и теперь думаю: для чего этот монах показал мне язык, и одно объяснение, которое могу придумать — то, что у меня, верно, была очень глупая рожа и что он во взгляде моем прочел что-нибудь слишком молодое и смешное вместе.

Весьма удивленный таким странным поступком монаха и особенно пораженный видом его пушистых, как пена, волос и вычищенных сапогов, я вдруг понял, что предприятие мое слишком смело».

Так читается это отсутствующее в печатном тексте место в автографе второй редакции. Н.Н.Гусев полагал, что мы, вероятно, никогда не узнаем, как выглядело это место в рукописи Толстого, отданной им самим в печать. Как не узнаем и то, когда «криворукий старичок в монашеской одежде, но без клобука» обратился в «старичка в черной одежде». То же относится и к ряду других вариантов автографа, вместо которых в журнале появился смягченный, облегченный текст. И к тому, может быть, что из описания монашеской кельи совсем исчезла «желтая кошка», а во второй исповеди заключение всего эпизода: «Лицо монаха было совершенно спокойно и даже несколько рассеянно.

— Поздравляю с духовным исцелением,— сказал он.— Петру Александровичу (это папа) мое нижайшее почтение,— прибавил он, снимая епитрахиль». В печатном тексте читается только: «Лицо монаха было совершенно спокойно».

В отличие от «Детства» и «Отрочества», Толстой не переиздал «Юность» самостоятельной книгой, хотя думал об этом и в начале, и в конце работы. 14 ноября 1856 г., уже отдав рукопись Панаеву, несколько не сомневаясь, что журнал напечатает ее, Толстой отмечал в дневнике: «Завтра написать Некрасову <в Рим> и объявить цену за “Юность” и предложить Давыдову». Но отдельное издание «Юности» не состоялось, и к тексту повести после публикации 1857 г. в «Современнике» Толстой не возвращался.

Цензурная же история «Юности» продолжалась и после публикации. Сохранился рапорт чиновника особых поручений, статского советника гр. Е.Е.Комаровского о замечаниях по поводу помещенных в журнале «Современник» сочинениях, в частности — о «непозволительных по причине выражения в них безнравственности» строках гл. XLI «Юности»: «Ведь я тебе

признавался, что, когда папа меня назвал дрянью, я несколько времени не навидел его и *желал его смерти*» (РГИА, ф. 772, оп. 1, ч.2, д. 3785, л. 16; дата: 27 февраля 1857). На полях и поверх рапорта резолюция кн. П.А.Вяземского: «Конечно, замеченная фраза неприлична, но на следующей странице предосудительность ее несколько ослабляется, когда автор говорит: “Мы доходили до самых *бесстыдных признаний*, выдавая, к своему стыду ~ разъединяли нас”».

Включая «Юность» в собрание сочинений (1864, изд. Стелловского), Толстой лишь снял подзаголовок «Первая половина» (см. комментарии к начатой в 1857 г. «Второй половине»).

3

Друг Иртеньева-студента назван Дмитрием Нехлюдовым. Эта фамилия, которая так часто встречается в художественных сочинениях Толстого, от «Романа русского помещика» до «Воскресения», — возможно, немного переименованная фамилия действительного лица: «В “Списке студентам и слушателям имп. Казанского университета” за 1844–1845 годы в числе студентов III курса юридического факультета значится Неклюдов Дмитрий» (Гусев, I, с. 445). Однако нет никаких данных о том, чтобы этот Неклюдов играл какую-нибудь роль в жизни Толстого.

В замечаниях к «Биографии», составленной П.И.Бирюковым, Толстой удостоверил: «Материал для этого описания дружбы дала мне позднейшая дружба с Дм.Ал.Дьяковым в первый год моего студенчества в Казани». Дьяков был старше Толстого на пять лет. Дружба началась в студенческие годы и продолжалась до конца жизни Дьякова (в 1891 г.): его имение Чермошня находилось в 15 км от Ясной Поляны. Летом 1846 г. Толстой писал старшему брату Николаю Николаевичу о сестре: «Машенька, по моему наблюдению, стала держаться более непринужденно и любезно, и мне даже кажется, слегка увлекается Дьяковым». Отголоски этого «увлечения» слышатся в черновиках «Юности» и в гл. V, XXVII окончательного текста, но в целом сердечные дела Дмитрия Нехлюдова ничем не похожи на жизнь Дмитрия Дьякова: в 1852 г., когда Толстой был на Кавказе, он благополучно женился на женщине своего круга Дарье Александровне Тулубьевой.

Совсем иначе сложилась судьба у другого Дмитрия — родного брата Толстого. В гл. IX «Воспоминаний» о казанской жизни рассказано: «К нашему семейству как-то пристроилась, взята была из жалости, самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка, не знаю, какую ей дали фамилию. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Протасова (из тех Протасовых, от которых Жуковский). Как она попала к нам, не знаю. Слышал, что ее жалели, ласкали, хотели пристроить, даже выдать замуж за Федора Ивановича¹, но все это не удалось. Она жила сначала у нас — я этого не помню; а потом ее взяла тетенька Пелагея Ильинична в Казань, и она жила у нее. Так что узнал я ее в Казани. Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У нее была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал ее, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у нее болезнь, но лицо ее было все распухлое так, как бывают

¹ Ф.И.Рёсселя.

запухлые лица, искусанные пчелами. Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевиными, без бровей подушками. Такие же распухшие, глянцевиные, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волоса у нее были еще черные, но редкие, не скрывавшие голый череп. <...> От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удрушительный запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И — удивительное дело — мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим, Митенька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намеком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось все время, пока мы жили в Казани». Д.Н.Толстой не оставлял своего друга до самой ее смерти (она умерла от водянки 27 августа 1844 г.).

Описание сознательно жестко и нравственно заострено, как почти всегда у позднего Толстого. Но очевидно, что эта Любовь Сергеевна стала прототипом «рыженькой», на которой Нехлюдов даже собирается жениться; выведена под именем Любова Сергеевна в главах XXII–XXVI.

Другой эпизод «Юности» тоже связан с Д.Н.Толстым и Казанью. «Мы, главное — Сережа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми; Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым, и мы, жалкие ребята, находили это забавным и смеялись над Митенькой). Он только с Полубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам» (гл. IX «Воспоминаний»). В «Юности» друг Нехлюдова носит фамилию Безобедов (в черновиках — Полубезобедов): «...хуже Безобедова на вид не было студента во всем университете». А.И.Полубояринов учился в Казанском университете в 1843–1845 гг.

Некоторые черты внешности, например, подергивание шеей во время взволнованного разговора у Дмитрия Нехлюдова — от Дмитрия Толстого. В декабре 1856 г., уже после смерти Д.Н.Толстого, Толстой определил его характер в таких словах: «переменчиво нежно-кроткий и способный на жестокость. Методист». Это похоже на то, что думает Иртеньев о своем друге в «Юности».

Н.Н.Гусев полагал, что имя Екатерина Дмитриевна дано матери Нехлюдова также по казанской знакомой Толстого — Е.Д.Заголкиной, «оригинальной, умной женщине», начальнице Родионовского института, где некоторое время училась М.Н.Толстая; тетка же Нехлюдова Софья Ивановна своей самоотверженной любовью не к своим детям напоминает Т.А.Ергольскую (Гусев, II, 144–145). В записной книжке 1856 г. характерная заметка: «Нехлюд. Тетка Т.А.»

В первой редакции «Юности», создававшейся в 1855 г. в Крыму, знакомство с Нехлюдовыми, всем семейством, происходит ранней весной, в их московском доме на Садовой, окруженном прекрасным садом. Позднее это заменено поэтическим описанием поездки на дачу в Кунцево — явный след пережитого самим Толстым 23 мая 1856 г., когда он, находясь тогда в Москве, ездил на дачу к В.П.Боткину. «У Боткина, в Кунцево и дорогой туда, до слез наслаждался природой», — отмечено в этот день в дневнике.

Возвращение в родной дом — гл. XXVIII «В деревне», «ласка милого, старого дома» («не невольно представился вопрос: как могли мы, я и дом, быть так долго друг без друга?») — также, без сомнения, автобиографичны (вероятно, приезд Толстого в Ясную Поляну в 1854 г., после Кавказа — по дороге в Южную армию). Из биографии Толстого перешли в «Юность» увлечение французскими романами (всякими «тайнами»), успешный ответ на вступительном экзамене по математике («бином Ньютона») и провалы по истории и латинскому языку.

Относительно «Отрочества» и «Юности», перечитав их в пору работы над «Воспоминаниями», Толстой заметил «неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным,— мое демократическое направление». Прежде всего это, видимо, относится к главе «Comme il faut» и заключающим повесть главам «Новые товарищи», «Зухин и Семенов», «Я проваливаюсь».

Дневники и письма Толстого 50-х годов убедительно опровергают эти упреки самому себе в неискренности. Может быть, в Казани, во времена студенчества, юношу Толстого и увлекал порою идеал «светскости»; но после попыток разрешить в Ясной Поляне крестьянский вопрос, после первых намерений устроить школу для деревенских детей, после Кавказа и Севастополя, после мечтаний жениться на казачке или крестьянке — о неискренности демократизма создателя «Юности» говорить не приходится.

В картины «Юности» вошел этот позднейший опыт. Что касается юности самого Толстого, прошедшей в Казани, то, по заключению биографа, здесь вне семьи Толстой «приобрел только двух друзей — Дьякова и Зыбина¹. Ни с одним из своих товарищей-студентов он не сошелся близко» (Гусев, I, с. 230). Студенты-разночинцы были ему новые знакомые, может быть, чем-то симпатичные; но не так, как для Иртеньева — «новые товарищи».

В образе Дубкова, товарища старшего брата, воплотились некоторые черты В.П.Толстого, мужа сестры Толстого.

4

Еще в конце ноября 1856 г. Тургенев, находившийся тогда в Париже, спрашивал В.П.Боткина его мнение о «Юности», которое «жаждал узнать» (Тургенев, Письма, т. 3, с. 47). Боткин ответил: «О “Юности” его еще не могу ничего сказать тебе; я знаю ее только по немногим отрывкам — но в этих отрывках есть места удивительные...». («В.П.Боткин и И.С.Тургенев. Неизданная переписка. 1851–1869. По материалам Пушкинского дома и Толстовского музея». М.—Л., 1930, с. 111). Отзыв Боткина обо всей повести сообщил Тургеневу Е.Я.Колбасин в январе 1857 г.: «Я был свидетелем, когда Василий Петрович сказал ему самую колоссальную лесть: *каждая строчка*, сказал он Толстому, *написана на меди*» (Тургенев и круг «Современника», с. 316).

¹ Братья Ипполит и Кирилл Зыбины приходились дальними родственниками со стороны Волконских. С одним из братьев Толстой написал вальс, который иногда сам играл (записан в Ясной Поляне в 1906 г. С.И.Танеевым и А.Б.Гольденвейзером).

В декабре 1856 г. Тургенев осведомлялся у А.В.Дружинина: «Что его “Юность”, присланная Вам на суд?» (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 52). Впрочем, относительно Дружинина предостерегал Толстого: «Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым — и находитесь под его влиянием. Дело хорошее — только, смотрите, не объестьтесь и его» (там же, с. 54). О себе Тургенев заметил в следующем письме: «Я желаю следить за каждым Вашим шагом» (там же, с. 62). В те же дни Тургенев написал М.Н.Толстой о ее брате: «Мне кажется, в нем происходит перемена к лучшему. Дай Бог ему успокоиться и смягчиться — из него выйдет великий (без преувеличения) писатель и отличный человек» (там же, с. 65–66).

В дальнейших письмах Тургенева — много суждений о Толстом, о разных его вещах, о восхищении и несогласиях; о «Юности» — ни слова.

Как выясняется из переписки, мнение В.П.Боткина не было столь однозначным, как сообщал Тургеневу Колбасин. 20 января 1857 г. Толстой заметил в письме Боткину: «Благодарствуйте за Ваш суд о “Юности”, он мне очень, очень приятен, потому что, не обескураживая меня, приходится как раз по тому, что я сам думал — *мелко*».

Гораздо более остро обсуждалась «Юность» в переписке Чернышевского с Некрасовым и Тургеневым.

В письме Чернышевского от 5 декабря 1856 г. — довольно сдержанный отзыв о «Юности», прочтенной в рукописи: «По совести, “Юность” должна быть несколько хуже “Детства” и “Отрочества”, — я сужу по первой половине, которую прочитал. Но все-таки вещь недурная» (*Чернышевский*, т. 14, с. 330).

В «Юности» Чернышевский усмотрел влияние на Толстого «аристархов», критиков чистого искусства, прежде всего Дружинина. Весьма язвительно об этом говорится уже в письме Тургеневу, отправленном 7 января 1857 г.: «Мне досадно, что Вы по своей доброте не обрываете уши всем этим господам нувеллистам и всем этим господам ценителям изящного, которые сбивают с толку людей, подобных Толстому, — прочитайте его “Юность” — Вы увидите, какой это вздор, какая это размазня (кроме трех-четырёх глав) — вот и плоды аристарховских советов — аристархи в восторге от этого пустословия, в котором $\frac{9}{10}$ — пошлость, скака, бессмыслие, хвастовство бестолкового павлина своим хвостом, не прикрывающим его пошлой задницы, — именно потому и не прикрывающим, что павлин слишком кичливо распустил его. Жаль, а ведь есть некоторый талант у человека. Но — гибнет оттого, что усвоил себе пошлые понятия, которыми литературный кружок руководится при суждениях своих» (там же, с. 332).

Спустя несколько дней критик посетил Толстого, и в дневнике у Толстого 11 января появилась запись: «Пришел Чернышевский, умен и горяч». Много позднее Толстой рассказывал об этом визите П.И.Бирюкову: «После приглашения в комнату вошел человек с робким видом, который, сев на предложенный ему стул, сильно стесняясь, стал говорить о том, что вот у Льва Николаевича есть талант, меньше, но что он не знает, что нужно писать, что вот такая вещь, как “Записки маркера”, это очень хорошо, надо продолжать писать в этом духе, т.е. обличительно. Воодушевляясь более и более, он прочел Льву Николаевичу целую лекцию об искусстве и затем удалился» (*Гусев, II*, с. 134).

В ближайших письмах 1857 г. Чернышевский несколько раз возвращался к Толстому. «Л.Н.Толстой теперь, вероятно, уже в Париже, — не сбьет ли с него путешествие ту умственную шелуху, вред которой он, кажет-

ся, начал понимать?» (Н.А. Некрасову, 13 февраля; *Чернышевский*, т. 14, с. 341). «Толстой, который до сих пор по своим понятиям был очень диким человеком, начинает образовываться и вразумляться (чему отчасти причиною неуспех его последних повестей) и, может быть, сделается полезным деятелем» (А.С. Зеленому, первая половина апреля; там же, с. 343). «И Вам не грех слушать тупцов, которые восхищались «Юностью» и т.д.? В настоящее время русская литература, кроме Вас и Некрасова, не имеет никого» (И.С. Тургеневу, конец апреля — май; там же, с. 345).

11 января 1857 г., когда Чернышевский посетил Толстого, вышел в свет первый номер «Современника», где была помещена «Юность» и напечатана статья критика «Заметки о журналах», с разбором повести «Утро помещика». Упомянуты здесь и те несколько глав, которые полюбились критику в «Юности»: «сцены университетской жизни Иргеньева».

«Заметки о журналах» дают возможность понять, о чем промолчал Чернышевский в статье о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах»: о смысле, идейном пафосе. «Между тем нельзя не помнить, что вопрос о пафосе поэта, об идеях, дающих жизнь его произведениям, — вопрос первостепенной важности» («Современник», 1857, № 1, отд. III, с. 166–167).

«Утром помещика» критик был удовлетворен. Это был последний печатный отзыв Чернышевского о художественных сочинениях Толстого. Лишь в 1862 г., по просьбе Толстого, он откликнулся в «Современнике» на появление первых двух номеров журнала «Ясная Поляна» и «Книжек «Ясной Поляны»».

Отзывы литературной критики, ближайшие к появлению «Юности» в «Современнике», были довольно сдержанны и даже критичны. Рецензент петербургского еженедельника «Сын отечества» нашел, что рассказ «вышел немножко длинен, немножко скучен и местами незанимателен». Однако затем отмечал верность описания умственного развития героя, прекрасные портреты студентов и других действующих лиц, превосходные пейзажи («картина одной летней ночи до того хороша, что от нее трудно оторваться»), отдельные замечательные эпизоды («Сын отечества», 1857, № 8, 24 февраля). П.Б. (Басистов) поместил статью в «Петербургских ведомостях». Критик увидел в повести «убийственную холодность и даже сухость», а в юноше Иргеньеве — клевету «и на общество, и на самый возраст юности» («Петербургские ведомости», 1857, 28 февраля, № 46).

Доброжелательные суждения и основательные разборы пришли на этот раз из славянофильского, почвеннического лагеря. В архиве музея «Мураново» хранится письмо А.Ф. Тютчевой к сестре Екатерине Федоровне, относящееся к февралю 1857 г.: «Читала ли ты «Юность» Толстого? Я от нее в восторге. Он производит на меня впечатление некоторых людей, которые всегда пристально копаются в себе, чтобы обнаружить симптом какой-нибудь болезни. Мне бы хотелось думать, что он говорит на себя напраслину и в конце концов он не так глуп и тщеславен по молодости, как он хочет себя показать» (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 304, л. 12).

В первой книжке «Русской беседы» за 1857 год опубликовал статью «Обозрение современной литературы» К.С. Аксаков. Правда, и описания в «Юности», и психологический анализ вызвали неодобрение в силу излишней подробности. Поразительно, что критик в отрицательном смысле употребил здесь слово «микроскоп», которое потом будет нередко встречаться у Толстого в его рассуждениях о показе душевной жизни, при этом в абсолютно позитивном значении.

К.Аксаков писал: «К <...> личным рассказам¹ относятся “Детство”, “Отрочество” и “Юность”. Здесь, с самого начала, кроме прекрасных картин окружающей жизни,— впрочем, описание окружающей жизни доходит иногда до невыносимой, до приторной мелочности и подробности,— видим мы анализ самого себя. В “Детстве” и “Отрочестве” анализ имеет несколько объективный характер, ибо автор рассматривает еще несовершенного человека, но в “Юности” этот анализ принимает характер исповеди, беспощадного обличения всего, что копошится в душе человека. Это самообличение является бодрым и решительным, в нем нет ни колебания, ни невольной попытки извинить свои внутренние движения. Нет, автор строго относится к внутреннему миру души, обращается с собой беспощадно и твердо, и видишь, что он хочет одного — *правды*. Внутренний анализ г. Тургенева имеет в себе нечто болезненное и слабое, неопределенное, тогда как анализ гр. Толстого бодр и неумолим. Много верного подметил он в изгибах души человеческой, и это твердое желание обличения себя во имя правды само по себе уже есть заслуга и оставляет благое впечатление. Но мы, однако, сделаем здесь некоторые замечания. Анализ гр. Толстого часто подмечает мелочи, которые не стоят внимания, которые проносятся по душе, как легкое облако, без следа; замеченные, удержанные анализом, они получают большее значение, нежели какое имеют на самом деле, и от этого становятся неверны. Анализ в этом случае становится микроскопом. Микроскопические явления в душе существуют, но если вы увеличите их в микроскоп и так оставите, а все остальное останется в своем естественном виде, то нарушится мера отношения их ко всему окружающему, и, будучи верно увеличены, они делаются решительно неверны, ибо им придан неверный объем, ибо нарушена общая мера жизни, ее взаимное отношение, а эта мера и составляет действительную правду» («Русская беседа», 1857, № 1, отд. IV, с. 34–35).

Как почти все серьезные критики, К.Аксаков не мог не думать о будущем развитии таланта Толстого. В конце разбора он советовал и предостерегал: «Надо меньше заниматься собою, обратиться к Божьему миру, яркому и светлому, думать о братьях и любить их,— и тогда, не теряя самосознания, станешь и себя видеть и чувствовать в настоящей мере и настоящем свете. Вот опасности душевного анализа, и в рассказах гр. Толстого, которые мы высоко ценим, есть многие признаки этих свойств анализа. Талант его очевиден, и мы надеемся, что он освободится от этой мелочности и, можем сказать, микроскопичности взгляда, и талант его окрепнет и созреет» (с. 35).

Более пронизательным оказался взгляд другого критика тех лет — А.А.Григорьева.

Еще в 1858 г. Григорьев напечатал в «Библиотеке для чтения» статью «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики и искусства». Там сказано: «Только *рожденными* художественными произведениями вносится новое в жизнь, только в плоть и кровь облеченная правда сильна и сильна притом так, что никакой теоретической критике не удастся представить ее неправдою; свидетельство налицо во всем новом: в

¹ «Личное» критик понимал так: «Это не значит, чтобы автор рассказывал именно о себе; мы это предполагать не имеем права, и не в этом дело; довольно того, что здесь я говорю о самом себе».

Островском, «Семейной хронике», Писемском, Толстом» («Библиотека для чтения», 1858, № 1, отд. V, с. 6).

На описание ночи в саду из «Юности» ссылался Григорьев в статье «Несколько слов о законах и терминах органической критики»: «То полное и подчиненное слияние с природою, которым отзываются эти и подобные им места, — результат местности, то есть воздействия особой полосы на особенное племя...». («Русское слово», 1859, № 5, отд. II, с. 15). В том же году Григорьев напечатал статью «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». Здесь он писал, что герой «Юности» — это «честная личность», которая «при встрече с кружком умных и энергических, хотя и не порядочных, хоть даже и пьющих молодых людей, вдруг сознает всю свою мелочность пред ними и в нравственном и в умственном развитии» («Русское слово», 1859, № 2, отд. II, с. 38).

В 1861 г. в журнале «Время» появился цикл статей «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина». Во второй («Западничество в русской литературе, причины происхождения его и силы»), осуждая романтизм и одобряя «требование правды в изображении действительности, правды во что бы то ни стало», Григорьев сочувственно говорил даже и о «крайностях того психического анализа, которым так сильны и так совершенно новы рассказы гр. Толстого» («Время», 1861, № 3, отд. «Критическое обозрение», с. 20). В четвертой («Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия») — снова о Толстом: «Посмотрите, как побледнел юродивый Митя “Юрия Милославского” перед одной главой в “Детстве” Толстого, где с такой правдой и любовью изображено лицо юродивого, так что вы в этом простом художественном изображении не заподозрите не то что тени фальши, но даже какой-либо сентиментально-субъективной примеси» («Время», 1861, № 5, отд. «Критическое обозрение», с. 5).

В своих воспоминаниях «Мои литературные и нравственные скитальчества», рассказывая о детской любви, Григорьев заметил: «Если я теперь могу в этом признаться, то ведь право, я, как и все, вероятно, обязан этим Толстому, обязан новой эпохе» («Воспоминания Аполлона Григорьева и воспоминания о нем». М.—Л., 1930, с. 63).

Итоговые суждения Григорьева, умершего в 1864 г., высказаны в двух статьях, напечатанных журналом «Время» в 1862 г. под заглавием «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения».

В первой Григорьев писал: «Толстой прежде всего кинулся всем в глаза своим беспощаднейшим анализом душевных движений, своею неумолимой враждою ко всякой фальши, как бы она тонко развита ни была и в чем бы она ни встретилась. Он сразу выдался, как писатель необыкновенно оригинальный, смелостью психологического приема. Он первый посмел говорить вслух, печатно о таких душевных дрязгах, о которых до него все молчали, и притом с такою наивностью, которую только высокая любовь к правде жизни и к нравственной чистоте внутреннего мира отличает от наглости. Этот прием изобличал в художнике и возвышенную искренность натуры, и бесспорно гениальное чутье жизни. Едва ли что подобное искренности этого приема найдется в каком другом писателе, даже из писателей чужеземных» («Время», 1862, № 1, отд. II, с. 5).

Григорьев настаивал, что «Люцерн», «Альберт», «Семейное счастье» — «не крутой поворот какой-нибудь с прежней дороги, а прямое продолжение ее, прямой результат того психического анализа, который пора-

зил всех в “Военных рассказах”, в “Детстве и Отрочестве” — и несколько утомил даже читателей, как и самого автора, в “Юности”» (с. 6). По мысли критика, самый этот прием «вытекает прямо из нашей народной сущности, из свойств самой природы русского человека. В этом-то и заключается главным образом его сила. Русский человек — так уж его Бог создал — не боится прилагать нож анализа и бич комизма к каким бы то ни было *видимым* явлениям» (с. 6–7).

Во второй статье Григорьев опять вернулся к трилогии: «Душевный процесс, который раскрывается нам в “Детстве и Отрочестве” и первой половине “Юности”, — процесс необыкновенно оригинальный. Герой этих замечательных психологических этюдов родился и воспитался в среде общества, столь искусственно сложившейся, столь исключительной, что она в сущности не имеет реального бытия, в сфере так называемой аристократической, в сфере высшего света. Неудивительно, что эта сфера образовала Печорина — самый крупный свой факт — и несколько более мелких явлений, каковы герои разных великосветских повестей. Удивительно, а вместе с тем и знаменательно то, что из нее, этой узкой сферы, выходит, т.е. отрешается от нее посредством анализа, герой рассказов Толстого» («Время», 1862, № 9, отд. II, с. 24).

И дальше: «Натура <...> героя “Детства”, “Отрочества” и “Юности” по преимуществу аналитическая. Анализ развивается в нем рано и подкапывается глубоко под основы всего того условного, чем он окружен, того условного, что в нем самом. Доходя до явлений, ему не поддающихся, он перед ними останавливается. В этом последнем отношении в высокой степени замечательны главы о няне, о любви Маши к Василью и в особенности глава о юродивом, в которой сталкивается он с явлением, которое и в самой народной простой жизни составляет нечто редкое, исключительное, эксцентрическое. Все эти явления анализ противопоставляет всему условному, его окружающему, в котором целеет нетронутым один только святой образ, — образ матери, нежно, любовно и грациозно нарисованный образ. Ко всему другому анализ беспощаден. И понятно: перед ним уже стоят несокрушимою стеною, о которую он разбился, иные, противоположные, совершенно безыскусственные явления иной, не условной, а непосредственной жизни» (с. 24–25).

Так Григорьев, единственный из критиков 50-х — начала 60-х годов, уловил демократическое, народное силовое поле трилогии.

В 1858 г. в редакцию московского журнала «Атеней» из Петербурга неизвестным лицом, подписавшимся «А.В.», была прислана «Критическая заметка о таланте графа Л.Толстого», сохранившаяся в архиве Коршей (Е.Ф.Корш редактировал журнал). Трилогия рассматривалась здесь с точки зрения последовательного «идеалиста»: «Взгляд графа Л.Толстого на мир есть широко развитый взгляд материалиста, все достоинства, все недостатки его таланта прямо вытекают из этого взгляда, в нем одном берут свое основание. <...> Осознательность всего описываемого — вот то качество, без которого мы не в состоянии вообразить себе рассказа графа Толстого; стремление к осознательности изображения — вот та существенная, двигающая его талантом сила, отнявши которую и самый талант не мог бы существовать. Стремлением к осознательности дышат необыкновенно пластичные изображения местностей и видов в повестях нашего автора; то же стремление проявляется в нескрываемом им желании все определить, всему дать название, форму, отыскать слово, которое бы самым точным образом

определяло описываемый предмет; <...> поразительный анализ самых мелких ощущений, самых тайных помыслов лиц, выводимых им в своих произведениях, не есть ли выражение того же стремления к осязательности, перенесенного на нравственный мир человека? Граф Толстой анализирует самые тайные, хотя бы и пошлые и мелкие, мысли и чувства героев своих повестей для того, чтобы понять и *осязать* нравственное положение этих лиц в данную минуту. С другой стороны, он же с недоверием останавливается перед чувством любви между мужчиной и женщиной: со своим стремлением все осязать, он не может понять чувство, не поддающееся осязательному определению и основанное на отсутствии матерьялизма, — и потому решительно отвергает существование и возможность этого чувства» (РГБ, ф. 465, к. 3, ед. хр. 2).

В последующих работах о Толстом, появившихся при его жизни, конечно, много раз упоминалась и оценивалась трилогия; но таких обстоятельных разборов, какие были сделаны критикой названных лет, уже не было.

Рецензент «Библиотеки для чтения» Е.Эдельсон, разбирая повесть «Казак», писал, что в ней, как в «Детстве и Отрочестве» и в «Семейном счастье», выразился «идеал» Толстого: «здоровая, цельная жизнь души, правда и искренность отношений». «Душа в своих глубочайших и вечных проявлениях и притом русская душа, жизнь, просто жизнь, как она есть, т.е. постоянное столкновение одной мыслящей и чувствующей души с другими, отношения, отсюда развивающиеся и, наконец, крепким узлом связывающие человека с остальными людьми, радости и горести, отсюда истекающие, обязанности, этими отношениями налагаемые — вот главнейшее содержание сочинений гр. Л.Н.Толстого» («Библиотека для чтения», 1863, № 3, отд. II, с. 10).

П.В.Анненков в статье о тех же «Казаках» заметил: «Еще в первых своих произведениях: „Детстве и Отрочестве“ — Толстой уже был психологом и скептиком; он уже и тогда показал публике, до чего может идти острый психический анализ, опирающийся на сомнения в человеческой природе, которая испорчена прикосновением цивилизации. Взрослые, уже кончившие полный курс извращения своих естественных чувств и наклонностей, и молодые их отпрыски, только еще начинающие эту науку извращения — одинаково подпали его исследованиям, разумеется в меру успехов, полученных ими на поприще скрытности, лицемерной сдержанности и разлады между настоящим чувством и чувством выражаемым» («С.-Петербургские ведомости», 1863, № 144).

В статье 1864 г. «Цветы невинного юмора» Д.И.Писарев отмечал: «В последнее пятилетие не было решительно ни одного чисто литературного успеха; чтобы не упасть, беллетристика принуждена была прислониться к текущим интересам дня, часа и минуты; все беллетристические произведения, обращавшие на себя внимание общества, возбуждали говор единственно потому, что касались каких-нибудь интересных вопросов действительной жизни. Вот вам пример: „Подводный камень“¹, роман, стоящий по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имеет громадный успех, а „Детство, отрочество и юность“ графа Л.Толстого, вещь замечательно хорошая по тонкости и верности психологического анализа, чи-

¹ Роман М.В.Авдеева, напечатанный «Современником» в 1860 г.

тается холодно и проходит почти незамеченною» («Русское слово», 1864, № 2, отд. II, с. 36).

В августе того же года в Петербурге в изд. Ф.Стелловского вышло двухтомное собрание сочинений Толстого. В первом томе была помещена трилогия.

Статью «Промахи незрелой мысли» Писарев начал признанием: «...Я должен поправить один *промах* моей собственной мысли, которую я во многих отношениях считаю очень незрелой. Лет пять-шесть тому назад я прочитал раза два или три повести и рассказы графа Л.Н.Толстого, печатавшиеся тогда в “Современнике”. Читал я их с увлечением; они мне очень нравились, но я был еще до такой степени молод, что решительно не в силах был бросить на них общий взгляд и вдуматься в настоящий смысл тех типов, которые изучил и воспроизвел граф Толстой» («Русское слово», 1864, № 12, отд. II, с. 1). Теперь в изд. Стелловского критик снова прочитал «Детство», «Отрочество», «Юность», «Утро помещика» и «Люцерн»: «Меня изумили обилие, глубина, сила и свежесть мыслей». Писарев корил себя за то, что, вслед за другими, не видел в сочинениях Толстого «ничего, кроме чистой художественности». Критик намеревался дать «анализ тех живых явлений, над которыми работала творческая мысль графа Толстого» (с. 2–3).

Далее последовал детальный анализ, однако не творческой мысли Толстого, а выведенных им типов: «Иртеньевы и Нехлюдовы, как по своему возрасту, так и по характеру, занимают середину между Рудиными, с одной стороны, и Базаровыми, с другой. Рудины — чистые говоруны, не имеющие даже понятия о возможности какой-нибудь деятельности, кроме деятельности языка. Базаровы — чистые работники, допускающие деятельность языка только в том случае, когда она содействует успеху работы. А Иртеньевы и Нехлюдовы — ни рыба, ни мясо. Они за все хватаются, везде хотят произвести что-нибудь изумительно хорошее и в то же время совсем ничего не знают и решительно ничего не умеют сделать как следует». По мнению критика, Толстой вполне раскрыл причины этой практической непригодности: «остается только сгруппировать для общих выводов те бытовые и психологические факты, которые разбросаны в отдельных сценах и отрывочных эпизодах “Детства”, “Отрочества” и “Юности”» (с. 4–5).

Защищая интересы практического дела, науки, образования, Писарев критиковал толстовских героев, да и творческий метод автора: «Заглядывать в душу других людей такое же пустое и неприятное занятие, как выносить другим людям напоказ свои собственные душевные тайны» (с. 29).

По случаю выхода двухтомника сочинений Толстого журнал «Современник» поместил рецензию А.П.Пятковского: «Художественный талант гр. Толстого, его наблюдательность и тонкий психологический анализ достаточно выразились в его первом произведении (“Детство и Отрочество”); этим качествам и обязаны некоторые его повести своим несомненным успехом в большинстве читающей публики». В первой книге Толстого рецензент отмечал лишь «верную и безыскусственную комбинацию разных житейских фактов» («Современник», 1865, № 4, отд. «Современное обозрение», с. 323–324).

Литературная критика второй половины 60-х годов посвящена была почти исключительно «Войне и миру». В рецензиях трилогия упоминалась обычно как начало творческого пути Толстого. Или для противопоставле-

ния роману «очерков и рассказов чисто художественного свойства, без всякой претензии на решение мировых, отвлеченных вопросов» (статья А.П.Пятковского «Историческая эпоха в романе гр. Л.Н.Толстого» — «Неделя», 1868, № 26, с. 817). Или для указания на художественное сходство: «В новом романе графа Толстого те же литературные приемы, которые так пленяли читателей в первых его произведениях, в его “Детстве” и “Отрочестве”, тот же подробный, чрезвычайно тонкий психологический анализ. Только размах этого анализа теперь гораздо шире» («Голос», 1868, № 11).

Ссылаясь на суждения о трилогии А.Григорьева, Н.Н.Страхов сопоставлял душевные переживания героев романа и Николая Иртеньева: «...Критическое отношение к обществу есть в сущности борьба с идеями, которые в нем живут. Процесс этой борьбы ни у кого из наших писателей не изложен с такою глубокою искренностью и правдивою отчетливостью, как у гр.Л.Н.Толстого. Герои его прежних произведений обыкновенно мучатся этою борьбою, и рассказ о ней составляет существенное содержание этих произведений». Вспомнив главу «Comme il faut» и выделив слова Иртеньева: «Эта участь ожидала меня» — Страхов продолжал: «Вышло однако же совершенно другое, и в этом внутреннем повороте, в том тяжком перерождении, которое совершают над собою эти юноши, заключается величайшая важность». С другой стороны, по мысли Страхова, опять согласной с Григорьевым, в поисках положительных начал герои Толстого, уже с детства, «неволью останавливают свое внимание на случайно попадающихся им явлениях, в которых им открывается какая-то другая жизнь, простая, ясная, чуждая испытываемого ими колебания и раздвоения» (Страхов Н.Н. Критический разбор «Войны и мира». СПб., 1871. Оттиски статей из «Зари» 1869 и 1870 г., с. 236, 238, 240).

В 1873 г. вышло третье издание Сочинений гр. Л.Н.Толстого, включившее и «Войну и мир». Теперь рецензенты писали о романе как некоем синтезе всего предшествующего творчества, начиная с «Детства»: «Что раздельно и отрывочно является в его прежних произведениях, то в “Войне и мире” является в полном, ясном и отчетливом виде. Изучение военного быта в севастопольских и кавказских рассказах, мастерское изображение интимных и мимолетных движений человеческого сердца, чем так богаты “Детство” и “Отрочество”, поэтичность “Трех смертей”, эскизы из народного быта, как “Поликушка” и многие сцены “Метели” и “Казачков” — все эти качества и особенности самым счастливым образом соединены в последнем произведении нашего автора» («Московские ведомости», 1874, № 2 — «Библиографические заметки». Сочинения графа Л.Н.Толстого, в восьми частях. Москва, 1873. Статья А.).

О «Детстве», «Отрочестве», «Юности» вспоминали критики 70-х годов, когда появилась «Анна Каренина», где Толстой, по их мнению, вновь проявил себя, как и в трилогии, «умным наблюдателем мельчайших душевных волнений» (статья В.В.Чуйко в газете «Голос», 1875, № 37); «глубоким аналитиком человеческой души, тонким знатоком самых запутанных душевных моментов» (статья в «Одесском вестнике», 1875, № 42; подпись Z.Z.Z.— С.Т. Герцо-Виноградский).

В 1879 г. напечатал очерк «Граф Л.Н.Толстой» критик Вс.С.Соловьев: «Граф Л.Н.Толстой принадлежит к числу самых блестящих представителей нашей реально-художественной школы. Уже первое его произведение “Детство” указало на его крупный талант и обличило те прекрасные свой-

ства этого таланта, которые в дальнейших, более зрелых творениях его получили самое широкое развитие. Он сумел сразу, с первых же шагов своей литературной деятельности стать на истинную дорогу. В нем не было заметно никаких шатаний, никакой подражательности; он не выработался в самобытного, оригинального писателя,— он был им с самого начала. Жизнь, как она есть, без всяких идеализаций в ту или другую сторону, человек во всех тончайших своих внешних и внутренних проявлениях — вот что постоянно выливалось и выливается из-под пера Толстого. Ничего деланного, надуманного, тенденциозного нельзя найти в его произведениях. Читая его, сразу переносишься в описываемую им жизнь и чувствуешь ее полную реальность. Трудно найти в произведениях Толстого характеры необыкновенные, эффектные сцены, освещенные бенгальскими огнями, удивительные лица, оригинальные позы,— одним словом все то, производство чего становится все легче и легче, все, что очень дешево продается на литературном рынке. Вместо всего этого в его произведениях заключается то, что составляет большую редкость в наше время — простота неподдельного искусства; полнота жизненной правды и удивительно тонкое чувство меры — одно из главнейших оснований художественности произведения и совсем почти затерявшееся в современной литературе» («Нива», 1879, № 43, с. 854). В те же 70-е годы радикальный демократ П.Н.Ткачев, ведший свой «Критический фельетон» в журнале «Дело», противопоставлял положительное изображение народной среды в трилогии, «Утре помещика» и Севастопольских рассказах — идеологии создателя «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Начиная с 80-х годов первая книга Толстого стала достоянием истории русской словесности. Теперь о ней стали писать авторы историко-литературных курсов, монографий, статей на разные темы.

С 1892 г. отмечались своего рода юбилеи выхода «Детства» и тем самым даты творческой работы Толстого. В октябре 1892 г. в «Книжках “Недели”» статью «Первое произведение гр. Л.Н.Толстого. По поводу 40-летия его литературной деятельности» напечатал М.М. (М.О.Меньшиков). В первой книге Толстого критик выделял автобиографизм, а в ее герое увидел задатки гениальности: «Помните завет Гоголя беречь свои детские воспоминания; из писателей, кажется, только гр. Л.Н.Толстой воспользовался этим советом своевременно. <...> “Детство” является как бы своего рода Евангелием, вынесенным Толстым из лучшего мира, нападением его на долгий литературный путь» («Книжки “Недели”», 1892, октябрь, с. 201).

В 1902 г. журнал «Педагогический листок» отмечал пятидесятилетие «Детства» и «Отрочества», подчеркивая педагогическое, воспитательное значение всех сочинений Толстого («Педагогический листок», 1902, № 6, с. 553–554). Тогда же Н.Кульман в речи по случаю 50-летия литературной деятельности Толстого (издана в СПб. в 1903 г.) обращал внимание на заключительные строки «Отрочества» (про «восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться»): «Исключительно художником он никогда не был. Гениальные проявления творческого дарования постоянно соединялись у него с стремлениями общественными и моральными. Эти стремления, постоянно овладевая им, нередко заставляли его на время совершенно забывать художественно-литературную работу и становиться общественным деятелем, философ-моралистом или публицистом» (с. 2–3).

По случаю 55-летия трилогии писал С.Н.Дурылин, назвав свою статью «Великая книга о детстве («Детство», «Отрочество», «Юность» Л.Толстого)»: «Пятьдесят пять лет тому назад появилось в печати одно из величайших произведений русского слова — первая часть трилогии Л.Н.Толстого. <...> Это была та самая повесть, которой изумился великий провидец человеческой души — Достоевский, которую приветствовали Чернышевский, К.Аксаков и Некрасов, которой удивлялся Герцен». По мнению критика, все русские книги о детстве: повести и рассказы Достоевского, Короленко, Чехова, Вересаева, Мамина-Сибиряка, Ф.Сологуба, Л.Андреева — «духовно» происходят от «Детства» Толстого («Свободное воспитание», 1907–1908, № 3, с. 106–108). П.А.Сергеенко поместил тогда же в газете «Русское слово» (6 сентября, № 205) статью, где впервые опубликовал переписку Толстого с Некрасовым о «Детстве».

Педагоги, психологи постоянно обращались к трилогии Толстого. Отрывки из «Детства» вошли в IX выпуск «Русской библиотеки», изданный в 1879 г. в тип. М.Стасюлевича, и во «всемирную хрестоматию» «Литературная “Детская библиотека”» (М., 1883). В журнале «Вестник воспитания» появились статьи М.Б.Николаевой «Детские типы современной беллетристики» (1893, № 1); И.Одесского «Факторы детского счастья» (1896, № 6); Л.Д.Седова «Психология юношеского возраста» (1897, № 6, 7). По мнению М.Б.Николаевой, Толстой создал тип «задумывающихся» детей; Николенька Иртеньев сопоставлялся, в этой связи, с Колей Красоткиным из романа Достоевского «Братья Карамазовы». И.Одесский анализировал иные, счастливые переживания героя и сравнивал книгу Толстого с «Детскими годами Багрова-внука» С.Т.Аксакова. Л.Д.Седов, сославшись на статью американца Е.Г.Ланкастера «Психология и педагогика юности», нашел, что наилучшая автобиография юношеского возраста — повесть Толстого: «Это — воспоминания сильного, здорового характера. Данные других автобиографий представляют гораздо более сомнительную ценность для научных построений» («Вестник воспитания», 1897, № 6, с. 69). А.Н.Острогорский в книге «Педагогические экскурсии в область литературы» писал о книге Толстого: «Жизнь здесь течет в своей норме; оттого и наблюдать ее интересно, что выводы, получаемые из этих наблюдений, могут иметь применение всегда и везде» (М., 1897, с. 3). Позднее Н.Лосский в статье «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма», говоря о честолюбии, тщеславии, о мелочных, ежеминутных проявлениях этих качеств, приводил примеры из «Детства» и «Отрочества» («Вопросы философии и психологии», 1903, янв.-февр., с. 28–29).

Педагог В.П.Острогорский в книге «Русские писатели как воспитательно-образовательный материал для занятий с детьми и для чтения народу», выдержавшей в 1890–1900-е годы несколько изданий, рекомендовал «Детство» и «Отрочество». Такие же советы давали составители учебных книг и пособий. В 1891 г. В.В.Розанов составил «Каталог избранных книг для детского чтения. Пособие для составления библиотек в учебных заведениях и родителям и воспитателям при выборе детских книг». Здесь рекомендовано издание «Детства и Отрочества», выпущенное самим Толстым для детского чтения в 1876 г.

Однако воспользоваться этими советами было трудно, поскольку С.А.Толстая, которой Толстой дал в 1885 г. доверенность на издание своих сочинений, написанных до 1881 г., неохотно шла на то, чтобы трилогия, даже в отрывках, печаталась где бы то ни было, кроме собрания сочине-

ний. Так, в 1886 г. она дала разрешение выпустить иллюстрированное издание «Детства» и «Отрочества» редактору журнала «Вокруг света» М.А.Вернеру (соответствующие документы сохранились в ГМТ), а в 1908 г., когда под редакцией П.А.Сергеенко выходила «Хрестоматия из писаний Льва Толстого», составленная группой детей (издание было приурочено к 80-летию Толстого), возник конфликт, с объяснениями в газетах. «Раннее утро» 6 августа поместило разъяснение юриста, что, согласно существующему законодательству, включение в хрестоматию отрывков не является самовольным изданием.

В № 16 за 1908 г. детского журнала «Тропинка», целиком посвященном Толстому, напечатана целая серия статей. Среди них — «Искатель правды», где З.Гиппиус рассказывала о любимых книгах своего детства: «Все у меня в душе перевернулось, когда мне дали прочесть в первый раз “Детство и Отрочество” Льва Толстого. Сразу стала она, эта книга, самой моей любимой, самой дорогой, а главное, самой мне близкой — родной какой-то» («Тропинка», 1908, 15 августа, № 16, с. 617).

Тогда же критик иного лагеря, В.А.Поссе, напечатал статью «За чтением Толстого»: «Могу сказать совершенно серьезно, что для меня, для моей жизни, для моего развития произведения Толстого нужнее, чем вся остальная художественная литература. И я сознаю это в особенности теперь, когда перечитываю Толстого, начиная с первой страницы “Детства”, написанного 56 лет тому назад. <...> И разве Толстой просто “писал”, “сочинял”; нет, он жил и живет в своих творениях, он познавал и развивал в них свой дух. Он познавал и исповедовался. Все его произведения — как бы сплошная исповедь, исповедь мировая. Оттого-то каждый, искренно мыслящий, чувствующий и, главное, страдающий человек, познавая Толстого, познает в нем самого себя. Но не только познает, а расширяет свою личность, развивает свою душу» («Слово», 1908, 16 августа).

Постоянно упоминалась трилогия в общих работах о Толстом и курсах истории литературы.

Орест Миллер в книге «Русские писатели после Гоголя» с полным основанием отмечал, что «своеобразная психологическая трилогия» Толстого «вовсе не личные только воспоминания» (Миллер Орест. Русские писатели после Гоголя. СПб., 1886, с. 223–224).

Критик Р.А.Дистерло, касаясь «основной идеи, или замысла», утверждал, что замысел этот состоит не в изображении помещичьего быта крепостной России: «Мы охотно признаем, что всякий желающий действительно найдет в повести графа Толстого много характерных черт изображаемого времени и известной общественной среды, что многие лица повести, как, например, отец Николая Иргеньева, его бабушка, немец-учитель — всем известный Карл Иваныч, несколькими штрихами схваченная Наталья Савишна, Дубков, князь Нехлюдов, имеют несомненное значение типов, принадлежащих определенному времени; но, несмотря на это, нам кажется, что граф Толстой писал свою повесть, подчиняясь иному творческому мотиву, что перед ним стояла задача показать формирующуюся душу человека не в зависимости от тех или других общественно-исторических условий, но в зависимости от присущих ей законов развития; что он хотел представить постепенное изменение жизни как последствие неизбежных метаморфоз души. Как реалист, он воплотил свою идею в формы действительной жизни тогдашней (т.е. дореформенной) России; как художник, он создал образы, исполненные правды и силы, образы, естественно подни-

мающиеся до значения типов,— но все это только необходимый для выражения идеи материал, только канва, по которой художник вышивает узоры внутренней жизни человека» (Дистерло Р.А. Граф Л.Н.Толстой как художник и моралист. СПб., 1887, с. 47–48).

С.А.Андреевский утверждал: «Толстой помнит все жизненные процессы так счастливо, что, вызывая их из прошлого в своем воображении, он их может списывать с действительности по секундно...» (Андреевский С.А. Литературные чтения. Изд. 2-е. СПб., 1891, с. 254).

Первый биограф Толстого, Рафаил Лёвенфельд, в 1892 г. выпустил в Берлине книгу «Leo N.Tolstoj. Sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung» (летом 1891 г. Толстой просматривал корректуру этой книги). В 1896 г. появился русский перевод. Лёвенфельд писал: «По задаче своей «Эпохи жизни» дали Толстому возможность обратиться к той форме художественной техники, которая вполне соответствовала характеру его гения и которой он с большим или меньшим успехом пользовался во всех своих произведениях» (Лёвенфельд Р. Гр. Л.Н.Толстой, его жизнь, произведения и миросозерцание. Перевод с немецкого С.Шклявера. СПб., 1896, с. 55). Далее биограф оспаривал суждения К.С.Аксакова (см. с. 456–457), хотя в самой художественной технике и находил «несколько утомительную мелочность».

Историк русского романа К.Ф.Головин вторил биографу: «Толстой не смотрит на своего героя только со стороны, как делают это другие писатели,— он становится на его место и говорит прямо от его имени. <...> Первое его произведение было в то же время и первым художественным изображением детства. Неудивительно, что оно дало ему сразу громкую известность» (Головин К. Русский роман и русское общество. СПб., 1897, с. 131).

С другой стороны взглянул на трилогию автор «критического очерка» «Учение графа Л.Н.Толстого в его целом» П.Е.Астафьев (М., 1890; изд. 2-е, доп., 1892). Соглашаясь с К.Ф.Головиным, писавшим в «Русском обозрении» (1890, июль) о том, что все сочинения Толстого, от «Детства» до «Анны Карениной», «проникнуты одной руководящей идеей — сознанием бессилия единичной человеческой воли и человеческого ума и необходимости смиренного подчинения бессознательной власти судьбы», Астафьев противопоставлял этой идее «свободное и любовное, христиански-смиренное подчинение воле личного Бога» (изд.2, с. 44).

Философ Н.Ф.Федоров в конце жизни свидетельствовал, что идея его «учения о воскрешении» возникла в начале 1850-х годов и внутренне связана с трилогией, где Толстой «оплакивает утрату детства» (Федоров Н.Ф. Собр.соч. в 4 т. Т. 4. М., 1999, с. 15).

С.Весин, автор книги «Былое. Из русской жизни и литературы 40–60-х годов», вышедшей в Житомире в 1899 г., писал, что тонкий психологический анализ и сочувствие к лицам независимо от их внешнего положения, свойственные Толстому, проявились впоследствии в «Обломове» Гончарова и «Братьях Карамазовых» Достоевского. Но у Толстого изображение детских лет имеет самостоятельное значение (Весин С. Былое. Из русской жизни и литературы 40–60-х годов. Житомир, 1899, с. 110).

Проницательное суждение высказал Д.С.Мережковский: «При неисчерпаемых богатствах Л.Толстого в других областях, тем поразительнее скудость не только исторической, но и вообще культурно-бытовой окраски в его произведениях. Так называемые “вещи”, смиренные и безмолвные

спутники человеческой жизни, неодушевленные, но легко одушевляющиеся, отражающие образ человеческий, у Л.Толстого не живут, не действуют. Только в «Детстве и Отрочестве» есть любовное описание домашней обстановки русской помещичьей семьи; впоследствии, однако, это сочувствие к быту сословия, из которого он вышел, заглушается в нем и отравляется нравственным осуждением, преднамеренным сопоставлением с бытом простого народа» (Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достоевский. СПб., 1901, с. 204).

А.Н.Веселовский в книге о Герцене заметил, что Толстой и Герцен пишут «духовную историю среды» (Веселовский А.Н. Герцен-писатель. М., 1909, с. 134–135).

А.М.Скабичевский, в прошлом литературный критик либерально-народнического толка (осуждавший Чехова за «отсутствие мировоззрения»), обращал внимание на критическую сторону трилогии: «Уже в этих первых произведениях гр. Толстого вы видите задатки того разъедающего, глубокого анализа, которым отличаются позднейшие его произведения. Так, например, возьмите вы хотя бы первые его произведения “Детство” и “Отрочество”. <...> Какою юношескою свежестью веет от них; сколько обаятельной, чарующей поэзии находите вы в описании красот природы, детских впечатлений, игр, симпатий и антипатий ребенка! И тем не менее вдумайтесь внимательно во все изображенное в его целом, и вы убедитесь, какая беспощадная ирония таится в этих произведениях. Читая их, вы видите, как шаг за шагом из ребенка, исполненного самых прекрасных задатков, вырабатывается пошлый, тщеславный фат и совершенно пустопорожний коптител небя. Вас поражает здесь полная изолированность ребенка от жизни взрослых, совершенная отчужденность его от интересов семьи. Он не участвует ни в каких трудах взрослых, радостях и печалях» (Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы (1848–1890). СПб., 1891, с. 162–163; вариант той же оценки — в кн.: Русские писатели со времен Петра Великого и до наших дней. Пособие для народной и средней школы. СПб., 1908, с. 201).

Р.В.Иванов-Разумник, автор главы о Толстом в «Истории русской литературы XIX века» под ред. Д.Н.Овсяннико-Куликовского, писал о «некоторой *сентиментальности*, проникающей и во все произведения Л.Толстого и в позднейшую его проповедь», о связи с Руссо и Стерном: «История души ребенка, переданная с глубокой правдивостью, тонкой нежностью и с налетом сентиментальности, сразу показала в авторе громадного художника» (История русской литературы XIX века. Под ред. Д.Н.Овсяннико-Куликовского. Т. 5. М., 1910, с. 331–332).

Достойные Толстого слова нашел автор «Истории русской литературы XIX столетия» Н.Энгельгардт: «В 50-х годах выступил писатель, которому предстояло озарить сиянием своего гения всю вторую половину XIX века, дать эпопею русского народа и в конце века стать властителем дум не только в своем отечестве, но и во всем мыслящем человечестве» (Энгельгардт Н. История русской литературы XIX столетия. Т. 2, 1850–1890. СПб., 1903, с. 67).

Глубокие мысли о первой книге Толстого были высказаны в конце 1890–1900-х годах В.В.Розановым.

В 1892 г. в статье «Эстетическое понимание истории» Розанов, касаясь напечатанной в «Русском вестнике» книги К.Н.Леонтьева «Анализ, стиль и влияние. По поводу романов гр. Толстого», коснулся толстовского «пони-

мания человеческой души»: «Ему, как справедливо замечает г. Леонтьев, одинаково доступен внутренний мир мужчины и женщины, человека, не вышедшего из первобытной наивности и высокоразвитого, старика и ребенка. В возрасте, в поле, в степени образования и в уклоне характеров разные писатели встречали грани, за которыми они видели лишь положения и движения, — и только для одного гр. Толстого как будто не существует этих граней, и каков бы ни был человек, где бы он ни находился и что бы ни делал, он был ему понятен с внутренней стороны своей жизни. В одном только, в национальности, он встречается некоторое препятствие для своего анализа, чрез которое не знаем, может ли, но очевидно не хочет¹ переступить» («Русский вестник», 1892, № 1, с. 160).

В более поздней статье, «Из загадок человеческой природы», Розанов пояснял неслучайность обращения Толстого — в самом начале творческого пути — к теме детства и отрочества. «Какое его первое произведение? — “Детство и отрочество”, т.е. об этом торопливо и раньше всего захотел он сказать свое слово. В высшей степени характерны и важны эти первые темы великих умов <...>; в них они высказывают самую глубокую и живучую в себе мысль, свой “гений”, “талант”, по крайней мере как “умоначертание”, и очень часто — программу, абрис своего жизненного труда. В самом деле, вся почти необозримая по разнообразию деятельность Толстого, в сущности, примыкает к теме “Детства и отрочества”. “Крейцера соната”, например — что она такое, как не “плач неутешной души” над поруганным в мире материнством, над оскверняемым в самых его родниках “детством” и “отрочеством”. <...> Толстой не знает, т.е. он отвергает, иную психологию, кроме как психологию возраста и пола; но если взять и весь круг его забот, тревог, его ожесточенности против “нашей цивилизации”, “плодов” нашего “просвещения”, не трудно открыть их всех общий родник в страхе и отвращении к тому же загрязненному или без внимания обходимому “детству” и всему, что его вынашивает, т.е. к человеку в рождающих его глубинах» (Розанов В.В. В мире неясного и не решенного. Изд. 2-е. СПб., 1904, с. 11; в книге собраны статьи, впервые напечатанные в газетах 1898–1899 гг.).

В год 70-летия Толстого Розанов поместил в «Новом времени» (1898, 22 сентября, № 8107) статью, где утверждал: «Но когда же Толстой только изображал? Его первое произведение “Детство и отрочество” есть уже философия в самой теме своей <...> Он целен от “Детства и отрочества” до “Почему люди одурманиваются”; и если в нем есть перемены, то только перемены тем мышления и также предметов любви и отвращения». Отметил Розанов «кроткую полосу в отношениях к церкви», как она проявилась в «Юности». О том же, применительно к «Детству», писал в 1898 г. В.Г. Щеглов, автор книги о Толстом и Ницше: «Необходимо заметить, что

¹ Судя по типам двух гувернеров, немца и француза, в «Детстве и отрочестве», скорее можно думать, что не хочет. По поводу психического анализа иноплеменных людей у гр. Л. Толстого, вообще, можно заметить, что он *собирателен*, тогда как, касаясь русских, он *индивидуален*. В изображении французов или немцев мы не видим у него *лица*, но только племя, народ, представленный в собирательных чертах своих чрез одно лицо; напротив, в изображении русских это собирательное есть, но оно рассеяно, как и должно, по бесчисленным фигурам его произведений, совершенно теряясь, в каждой из них, за чертами личными. (Прим. В.В. Розанова.)

появление всех литературных произведений Толстого связано с обстоятельствами личной его жизни, разными ее возрастными. В Толстом *дитяти* (Николае Иртеневе) жило непосредственное религиозное чувство, выразившееся в страстном порыве при виде молящегося юродивого Гриши» (Щеглов В.Г. Граф Л.Н.Толстой и Фридрих Ницше. Ярославль, 1898, с. 4).

В позднейших статьях Розанов подчеркивал автобиографичность трилогии и «добрую память» ее создателя. «Кроме дара свободной, непринужденной жизни, жизни *неторопливой* — у него есть дар благодарной, ласковой памяти. У многих людей, едва ли не у большинства, есть *злая* память, мстительная или карающая. Но у Толстого есть добрая память, доброе воспоминание, доброта в воспоминаемости,— и она сыграла большую роль в его творчестве. Самые ранние его произведения суть *воспоминания*. Таково все его “Детство и отрочество”...» (Варварин В. На закате дней (Л.Толстой и быт) — Русское слово, 1907, 5 октября, № 228). Продолжение статьи напечатано 30 октября с подзаголовком «Л.Толстой и интеллигенция»: «Крайне важна крохотная сценка в конце “Воскресения”, где Нехлюдов, осматривая детские комнаты, кажется, дочери генерал-губернатора, дает вдруг почувствовать атмосферу «Детства и отрочества», Кити и Наташи Ростовской».

В 1908 г. Розанов опять писал об исповедальности творчества Толстого, в том числе первой его книги: «Он гнался за душою, как гончая за зверем, соединяя в себе и охотника и жертву. Он был вечным исповедником себя, неутомимым судьей. Конечно, это открыло ему жизнь только собственной души. Но во всех людях живет собственно одна душа, и один в ней закон: и только закон этот разнообразится до бесконечности в разнообразных положениях и от разнообразных столкновений. Но уже не трудно, поняв *суть*, объяснять подробности. Через громадный внутренний опыт, через постоянный самоанализ, Толстой сделался великим сердцеведцем. А великие художественные дары, бывшие в нем вне связи с этим самоуглублением, повели к тому, что все это выразилось в серии романов, повестей и рассказов, давших XIX веку, в соответственных литературных формах времени, то самое, что дал Шекспир XVII веку».

Утверждая, что художник «гораздо раньше своей критики научил нас верить в русскую землю», Розанов стремился определить корни творчества Толстого: «Если мы спросим себя о роднике этого, мы можем только догадаться и сказать, что, судя по “Детству и Отрочеству”, куда вошло много незамаскированно автобиографического, Толстой уже с очень ранних лет был как бы испуган нравственной ответственностью души и погружен вообще в загадки и волнения, в падения и просветления человеческой совести. Как будто он постоянно нес нравственную муку или во всяком случае нравственный труд. <...> Его произведения, начиная с “Детства и Отрочества” и кончая “Крейцеровою сонатою”, слишком явно пропитаны личным началом, этим *исповедным* характером, который мы в нем отметили» («Новое время», 1908, 28 августа, № 11660, без подписи).

К истокам творчества обращался тогда же М.О.Меньшиков в статье «Россия и Лев Толстой»: «Ни один писатель не оставил собственных более законченных портретов, как автор “Детства и Отрочества”, “Утра помещика” и пр. <...> Он, как и Россия, жил эти 80 лет фантастической и смутной жизнью, но, как и она,— *работал*. Талант несравненно блестящее труда, но именно честный труд спас Толстого и спасет Россию. Если бы Толстой был бездеятельною натурой, у нас не было бы ни “Детства и Отрочества”, ни

“Казакон”, ни “Воскресения” — не говоря о более мелких драгоценностях его пера» (там же).

В другой газете, «Речь», выступил Д.С.Мережковский: «Можно бы почти сказать, что во всех произведениях его — одна единственная личность, один единственный герой — он сам. От Николенки до старца Акима, от Левина до Пьера Безухова, от Платона Каратаева до дяди Ерочки — все он же, Толстой. Лицо его отражается во всех этих лицах, как в зеркалах, разлагается на все эти лица, как белый луч солнца на многоцветную радугу.

Если же кто-либо из них дерзает утверждать себя самого как иную, отдельную, Толстому равную личность, то творец казнит непокорную тварь: Наполеон побеждается Кутузовым, купец Брехунов замерзает “раскарякою”, как свиная туша, Анна Каренина бросается под поезд, Вронский погрязает в пошлости, Иван Ильич превращается заживо в “кусочек разлагающегося мяса”. <...> Он во всех, он во всем. Он и все — Творец и тварь» («Речь», 1908, 28 августа, № 205).

В тот же день критик «Петербургской газеты» Н.Бернштейн затронул, в связи с трилогией, тему музыки в жизни и творчестве Толстого: «Все вместе взятое свидетельствует о том, какую музыкальной душой обладает “великий писатель земли русской”, вопреки всем толкам об его будто бы враждебном отношении к музыке» («Петербургская газета», 1908, 28 августа, № 236).

Под названием «Великий писатель земли русской» напечатал статью Вл.Буюкович в газете «Приднепровский край». «Критический очерк» начат, естественно, с «Детства»: «Первое же выступление Толстого в литературе с повестью “Детство”, подписанной просто инициалами “Л.Н.”, было необычайно удачно. Сразу все почувствовали, что на литературном небосклоне вспыхнула новая блестящая звезда» («Приднепровский край», 1908, 28 августа, № 3465).

В 1910-м, трагическом для Толстого году, в журнале «Современный мир» напечатал статью В.В.Вересаев под многозначительным заглавием: «И да здравствует весь мир». «Солнце,— яркое, горячее солнце над прекрасною землею. Куда ни взглянешь, всюду неожиданная, таинственно значительная жизнь, всюду блеск, счастье, бодрость и вечная, не тускнеющая красота. Как будто из мрачного подземелья вдруг вышел на весенний простор, грудь дышит глубоко и свободно. Вспоминается далекое, изжитое детство: тогда вот мир воспринимался в таком свете и чистоте, тогда ощущалась эта таинственная значительность всего, что кругом. Среди прекрасного мира — человек. Из души его тянутся живые корни в окружающую жизнь, раскидываются в ней и тесно сплетаются в ощущении непрерывного, целостного единства» («Современный мир», 1910, № 10, с. 180).

В 1908–1912 гг. иллюстрации к трилогии сделал художник Д.Н.Кардовский.

3 января 1857 г. Тургенев писал П.В.Анненкову из Парижа: «В какой восторг приходят здешние барыни от “Детства” Толстого — этого описать нельзя! Надобно будет перевести эту вещь чрез посредство унылого Делава» (Тургенев, Письма, т. 3, с. 74). Спустя полтора года в письме к Полине

Виардо Тургенев заметил: «...что касается Толстого, так это, всерьез и на самом деле, талант выдающийся, и я надеюсь когда-нибудь Вас убедить в этом, переведа Вам его "Историю детства"» (там же, с. 419). По-французски «Детство» появилось в 1863 г., уже после смерти Анри Ипполита Делава (переводчика Тургенева и Герцена).

Первый перевод «Детства» и «Отрочества» был выполнен Мальвидой Мейзенбуг, другом Герцена и воспитательницей его дочери Ольги. Это английское издание («Childhood and youth») вышло в Лондоне, с ошибочным обозначением на титульном листе Николая Толстого как автора сочинения¹: Газета «Morning Post» обратила внимание на это издание, а «Русский инвалид» поместил полный перевод английской статьи: «Русская беллетристическая литература, говорит "Morning Post", совсем незнакома английской публике. Англичане не знают обычаев русского народа, русская жизнь им вовсе неизвестна; семейные отношения, образ мыслей, верования русского общества — все это для англичан темно; одним словом, им неизвестны все те вещи, которые составляют область беллетристики и которые беллетрист, если имеет талант, описывает с аккуратностью и верностью, невозможными для историка и туриста. На английский язык переведены повести "Детство" и "Юность", написанные русским писателем гр. Толстым. Перевод сделан г-жою фон Мейзенбуг, с большим искусством. Язык перевода прекрасен и, что главное, сохранен оригинальный тип русского подлинника. От этого перевода английский язык ничего не потерял; он ясен и точен, как только можно желать.

Сама повесть возбуждает более любопытства, нежели интереса. Заметна неопределенность как в идее повести, так и в ее выполнении, но она представляет верную картину русской жизни; повесть имеет слишком достаточное количество прекрасных страниц, чтобы скрыть художественные недостатки еще неопытного пера. Переводчица в небольшом предисловии, с большим искусством, делает оценку переведенных ею повестей гр. Толстого. Она замечает, что гр. Толстой, как и большая часть русских писателей, обладает поразительной способностью наблюдательности; в нем развито стремление к той смелой правдивости, которая называет вещи их настоящими именами. <...>

Его произведение есть рассказ его собственного детства; он желает представить и в целом представляет весьма успешно полную картину детской жизни. Здесь прекрасно выставлены ощущения детской природы, которые дитя сам по себе не понимает, но его пытливость чувствует их. Гр. Толстой прекрасно олицетворяет кратковременные и по-видимому неопределенные влияния, действующие на детский ум и определяющие его жизненный путь. Во всей повести много превосходных изображений мелких быденных вещей, видна поэтическая прелесть воображения при описании простых семейных чувств, дающая повести особенные качества, не встречающиеся в произведениях, где развиты идеи с более широким вымыслом. В повести много истины, много действительности, так тонко очерчены милые, симпатичные характеры; в особенности хорошо очерчен характер кормилицы. Как этот характер оригинален! Он нисколько не походит на

¹ Сведения о переводах даются в основном по книге: Художественные произведения Л.Н.Толстого в переводах на иностранные языки. Отдельные зарубежные издания. Библиография. М., 1961.

подобные характеры других народов. Кормилица гр. Толстого не похожа ни на английскую кормилицу, ни на французскую, ни на швейцарскую бонну. В этой повести поразительно описаны русские похороны; это описание представляет большой интерес для иностранных читателей. В заключение всего мы должны сказать, что прекрасное произведение гр. Толстого, переведенное в настоящее время, заставит английскую публику пожелать знакомства и с другими произведениями этого замечательного писателя, еще не переведенными на английский язык» (Русский инвалид, 1862, 22 марта, № 64).

С английского издания француз Эмиль Форг (Forgue) переводил «Детство» в 1863 г. для журнала «Revue des deux mondes» (отрывки появились 15 февраля под заглавием «Николенька. Воспоминания молодости русского дворянина»). Тот же перевод Форга помещен в 1866 г. парижским издателем Hachette в составе сборника «Scènes de la vie aristocratique en Angleterre et en Russie (M. Kingsley, Tolstoï, Shakespeare)». В 1868 г. Герцен рекомендовал «Детство» парижскому издателю Громору (Gromort), однако следующий французский перевод «Детства» и «Отрочества» появился лишь в 1886 г. («Enfance et adolescence». Trad. de M. Délines) и затем дважды повторен — в том же и в 1887 г. Начиная с 1887 г., одновременно в переводах А. Барина и И. Гальперина-Каминского, печаталась уже вся трилогия. В 1902 г. «Детство», «Отрочество» и «Юность» составили первые два тома французского Собрания сочинений Толстого (перевод Ж. Бьенштока, просмотренный П. Бирюковым). В архиве сохранился автограф перевода Жербо (1885, ГАРФ, ф. 722, оп. 1, ед. хр. 646; сообщено И. А. Зайцевой).

Новый английский перевод всей трилогии был сделан американкой Изабеллой Хэпгуд и напечатан в Нью-Йорке в 1886 г. 24 августа н. ст. переводчица послала книгу Толстому (сохранилась в яснополянской библиотеке): Childhood, Boyhood, Youth. Count Lyof N. Tolstoi. Translated from the russian by Isabel F. Hapgood. New York. Этот же перевод — в составе Сочинений Толстого, изданных в 1886, 1889 и 1899 гг., а также в лондонских изданиях 1888 и 1902 гг. В Лондоне трижды (1890, 1894, 1895) выходил перевод К. Попова, а в 1898 г. трилогия составила второй том Сочинений, изданных В. Чертковым. К 1904 г. относится новый перевод — Л. Винера (т. 1 Собрания сочинений, Лондон и Бостон).

Повести, отрывки из них и вся трилогия при жизни Толстого переводились на болгарский, голландский, датский, испанский, итальянский, немецкий, польский, румынский, сербско-хорватский, словацкий, финский, чешский, шведский и японский языки. Далее указываются первые переводы, в хронологической последовательности их появления.

Немецкий: Geschichte meiner Kindheit. Übers. v. E. Röttger. Leipzig, 1882; Lebensstufen. Kindheit. Knabenalter. Jünglingsjahre. Übertr. v. E. Röttger. Berlin, 1891.

Датский: Barndom og drængeaar. En fortælling. Overs. af E. Hansen. Kjøbenhavn, 1885.

Шведский: Från mina barndoms — och ynglingaar. Stockholm, 1886; Min ungdom. Övers. av E. Lundquist. Stockholm, 1887.

Голландский: Mijne Gedenkschriften: Kindsheid, Jeugd, Jongelingsjaren. Vertaald door A. van Burchvliet. Amsterdam, 1887 (с франц. пер. А. Барина); Jeugd en Jongelingsjaren. Naar de Fransche vertaling van Michel Delines voor Nederland bewerkt door B. H. van Breemen. Amsterdam, 1887.

Чешский: Dětství, chlapectví a jinošství. Přel. J.K. Pravda a E.Hlavina. Praha, 1889.

Сербско-хорватский: Detinjstvo.— Nedoraslost.— Mladost. Prev. A.Harambašić. Zagreb, 1890.

Словацкий: Detstvo, chlapectvo a mladenectvo. Prel. A.Styk. Ružomberok, 1891.

Болгарский: Детинство. Повест. Ч. 1. Търново, 1893.

Японский — в 1893, 1907 и 1908 гг. Переводчики: Хаяси Кюси, наст. имя Кувабара Кэндзо; Тикамацу Сюю (сообщил Ким Рехо).

Испанский: Recuerdos de mi infancia. Madrid, 1894; Mijuventud. Madrid, 1895; Memorias. Infancia, adolescencia, juventud. Vers. castellana de J.S.Hervas. Barcelona, 1901.

Румынский: Amintiri din copilărie. «Lib», 29. XI. 1900 — 21.I.1901 (*ЛН*, т. 75, кн. 2, с. 329).

Итальянский: Memorie: infanzia, adolescenza, giovinezza. Milano, 1901.

Финский: Lapsuus, poika-Ikä, nuoruus. Kolme novellia. Suom. A.lärefelt. Helsinki. 1904–1905.

Польский: Lata dziecięce. Tłum. J.Kindelski. Kraków, 1909.

Хотя на некоторые европейские языки, например, венгерский, трилогия при жизни Толстого не переводилась, она читалась в этих странах в других переводах. 26 января 1901 г. одна из венгерских почитательниц Толстого Анна де Исаак отправила письмо (на франц. языке), где говорила, что она читала «Детство», «Отрочество» и узнает в герое своего сына. С другой стороны, хотя итальянский перевод появился уже в 1901 г., переводчик религиозно-философских трактатов Толстого Эмилио Жиларди в 1903 г. писал, что не читал «ранних произведений», в том числе «Детства».

Толстой не следил за переводами, но многие из них доходили до него, часто с дарственными надписями переводчиков. В 1902 г. Гаспру, где тогда находился Толстой, посетила Мария Тереза Блан (Т.Бензон), сотрудница «Revue des deux Mondes». Вскоре в этом парижском журнале появился ее очерк «Вблизи Толстого»: «На мой вопрос, не принесли ли ему утешение прекрасные переводы “Воскресения” (г. де Визева) и “Детства”, “Отрочества”, “Юности” (Арведа Барина) после стольких огорчений, причиненных ему отвратительными переводами других его произведений, Толстой согласился, что скверный перевод — действительно довольно жестокое испытание для авторского самолюбия, но еще больше, чем калечения переводчиками, он боится принятого во всех странах обычая вырезать из сочинения все, что противоречит установившимся верованиям и предрассудкам. Впрочем, все это, по его словам, не имеет большого значения» (*ЛН*, т. 75, кн. 2, с. 36–37).

Первые печатные европейские отзывы о трилогии появились в славянских странах.

В польском энциклопедическом справочнике «Księga Świata» (Варшава, 1858), по данным, взятым из журнала В.Ф.Тимма «Русский художественный листок», давалась высокая оценка «Детства», «Отрочества» и Севастопольских рассказов. Автор статьи предсказывал, что если Толстой целиком посвятит себя литературе, из-под его пера, несомненно, выйдет много хороших сочинений (там же, с. 252, обзор «Толстой в Польше» Б.Бялокозовича). Эта оценка была повторена в 1867 г. польской энциклопедией С.Оргельбранда, в заметке Я.Савинича. Однако позднее, в 1886 г., поль-

ская клерикальная печать высказывала неприязненное отношение к Толстому. Критик Б. (Jan Bardeni) увидел в трилогии «скучный дневничок», а самого писателя, вслед за М. де Вогюз, называл «отцом русского нигилизма» (там же, с. 257). Более основательные суждения появились в 1900 г. в статьях известного польского литератора Л.Бельмонта (Блюменталя): в сочинениях Толстого, в частности — трилогии, отмечен «обильный автобиографический материал, на основании которого можно воспроизвести историю духовного развития писателя» (там же, с. 267).

Как свидетельствует чех Ян Дрда, уже в 1858 г. в «*Časopise Českého Musea*» была напечатана первая статья о «Детстве», «Отрочестве» и «Юности» (там же, кн. 1, с. 245).

Англичанин Уильям Ролстон, бывший библиотекарь Британского музея, критик и переводчик, собираясь писать статью о «Войне и мире», в 1878 г. отправил Толстому из Лондона такие строки: «Ваше “Детство”, “Отрочество” было переведено и опубликовано здесь несколько лет назад и, кажется, в Америке переведены “Военные рассказы”, но сам я никогда их на английском не видел» (*ЛН*, т. 75, кн. 1, с. 306, обзор Э.Г.Бабаева «Иностранная почта Толстого»). Статья Ролстона появилась в апрельском номере журнала «*Nineteenth Century*» за 1879 г. и была послана в Ясную Поляну. В ней — краткий обзор литературной работы Толстого от «Детства» до «Войны и мира».

В предисловии к «Казакам» Ю.Скайлер, американский переводчик и пропагандист творчества Толстого, назвал трилогию «очаровательным, полубиографическим произведением» (Schuyler E. Preface to the Cossacks.— In: *The Cossacks*. L., 1878).

По совету И.А.Гончарова переводить Толстого начал датчанин Петер Эмануэль Ганзен. В 1885 г. вышли «Детство», «Отрочество», в 1886 г.— «Юность»; Гончаров поздравил переводчика: «Радуюсь, что вы трудитесь так много над сближением русской и датской литератур». В письме к Толстому 9 мая 1888 г. из Петербурга, сообщая о своих переводах первого (трилогия) и двенадцатого тома, Ганзен заметил: «Из сопоставления <...> ясно видно, насколько автор остался верен самому себе» (*ЛН*, т. 75, кн. 1, с. 318).

Изабелла Хэпгуд в 1886 г., посылая книгу, в сопроводительном письме — первом из обширной переписки с Толстым и его семьей — заметила: «Мне выпали счастье и честь перевести ее на английский язык. Надеюсь, что перевод вам понравится» (там же, с. 409).

Немного позже, в декабре 1886 г., Джордж Кеннан написал Толстому из Вашингтона (летом Кеннан был в Ясной Поляне): «После моего возвращения из России я прочел английский перевод “Детства”, “Отрочества” и “Юности”. Перевод сделан мисс Хэпгуд и как будто очень хорош. Я еще не успел тщательно сверить его с подлинником, но он, судя по всему, верен и читается так легко, как если бы это был не перевод, а произведение, написанное по-английски» (там же, с. 418).

Тогда же в Париже появился очерк Эрнеста Дюпюи «*Les Grands Maîtres de la Littérature Russe du dix-neuvième siècle*» («Великие мастера русской литературы XIX в.»). Американский журнал «*Literary World*» напечатал английский перевод очерка (1886, 2 октября). Писатель Уильям Дин Хоуэлс, первый в США пропагандист Толстого, свое предисловие к Севастопольским рассказам, изданным в переводе с французского в Нью-Йорке (1887), начал словами: «Когда я читаю в замечательном очерке г. Эрнеста Дюпюи, что “граф Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года в Ясной

Поляне, деревне неподалеку от Тулы”, у меня появляется ощущение, будто нас разделяет с ним космическое пространство, будто эти географические названия относятся к каким-то точкам Луны, которых даже в справочниках не отыщешь. И, тем не менее, этот русский аристократ, живущий где-то за тридевять земель,— самое близкое мне на свете существо. Не потому вовсе, что я с ним лично знаком. Причина в том, что он помог мне познать самого себя; в том, что никто из известных мне писателей не рассказывал так правдиво о человеческой жизни в ее всеобщем значении и, в то же время, в ее наиболее интимных и индивидуальных проявлениях. Это качество, в известной мере, вообще присуще русским писателям. Но Толстой обладает им в наибольшей степени. Поэтому чтение “Войны и мира”, “Анны Карениной”, “В чем моя вера?”, “Детства”, “Отрочества” и “Юности”, “Севастопольских рассказов”, “Казаков”, “Смерти Ивана Ильича”, “Кати” <“Семейное счастье”> и “Поликушки” составляет целую эпоху в жизни каждого мыслящего читателя. На мой взгляд, в этих книгах, впервые в художественной литературе, вы отчетливо видите живых людей. Во всех иных литературных произведениях временами проглядывает вымысел, и только книги Толстого всегда воспринимаются как сама правда жизни. <...> Трилогия “Детство”, “Отрочество” и “Юность” была первым произведением литературы, познакомившим меня с подлинной сутью юного человеческого существа» (там же, с. 85–86). Американского писателя особенно восхищало то, что в мире Толстого любовь стоит выше страсти. Книгой, которая наряду с другими шедеврами Толстого построена на любви, а не на страсти, по мнению Хоуэлса, является «Детство». «Толстой — самый великий художник, когда-либо живший на земле, так как, в отличие от других писателей, он творил в атмосфере добра и не отрицал личную сопричастность своему искусству» (см.: Howells W.O. Criticism and fiction and other essays. New York University press. 1959, p.174).

В 1886 г. в Париже вышла знаменитая книга Мельхиора де Вогюэ «Le roman russe» (отрывки из нее печатались в 1884 г. журналом «Revue des deux mondes»). В 1887 г. появился русский перевод: «Современные русские писатели. Толстой — Тургенев — Достоевский»; в 1892 г. суждения Вогюэ составили часть изданной в Москве книги: «Граф Л.Н.Толстой. Критические статьи Вогюэ и Геннекена».

«Вся история этой жизни есть история мысли, непрерывно работающей над самой собой,— писал Вогюэ.— По слегка только замаскированной автобиографии, озаглавленной “Детство”, “Отрочество” и “Юность”, мы можем проследить, как мысль эта зарождается, определяет свои качества и исповедует первые сомнения». Далее трилогия названа «дневником пробуждающейся умственной жизни», повествующим о том, «как складывался нравственный мир» Толстого: «Автор делает попытку приложить к собственному своему существу тот проникающий неумолимый анализ, который он внесет впоследствии в изучение общества. Он поднимает руку на самого себя, прежде чем дать почувствовать силу ее другим. Это замечательная книга. <...> Болезненная наблюдательность, докучливая, пока прилагается к мелочам, делается могучим оружием в применении к духовному миру, когда она становится психологией» (Мельхиор де Вогюэ. Современные русские писатели. Толстой — Тургенев — Достоевский. М., 1887, с. 14, 18). Впрочем, тут же, со ссылкой на тот же пристальный, беспощадный анализ, сделан вывод о нигилизме и пессимизме Толстого, а в его

«замечательной книге» обнаружены «длинноты»: «Диккенс показался бы краток по сравнению с русским писателем».

Книга Вогюэ усилила европейский интерес к русским писателям. До выхода первых голландских переводов появилась объемная статья «De ontwikkelingsgeschiedenis van Tolstoï (Léon Nikolaéwitsch)» («История развития Толстого») Frédéric Lyncée (псевдоним голландского критика F.Laripdoth) в журнале «Los en Vast» («Всякая всячина») 1886 г. Трилогия рассматривалась здесь вместе с «Исповедью» в характеристике «становления души Толстого». Жалуясь на всемирный отход от церкви и веры, критик специально выделял Россию, «страну нигилистов», и в ней фигуру Толстого в особенности как «обращенного нигилиста». История душевной жизни Толстого «пишется без труда» исходя из трилогии и «Исповеди», хотя критик признает, что трилогия — только отчасти автобиографична, однако насколько — «тульский пророк, наверно, никогда не откроет». Следуя самокритике в «Исповеди», критик выбирал самые пасмурные отрывки из трилогии, чтобы продемонстрировать «нигилизм» Толстого. Характерны последние слова о ней: «Осенью 1855 г. молодой писатель отправляется в Петербург, где его принимают с энтузиазмом. Тем не менее, должно быть, у него бывали там весьма мрачные настроения, ибо самые черные страницы его растянутой и насковоз неприятной скрытой автобиографии <...> были написаны в эти дни». Основываясь на русском 7-м издании «Сочинений графа Л.Н.Толстого» (в 12 т., М., 1887) и 3-м издании книги Ореста Миллера «Русские писатели после Гоголя» (СПб., 1886), Х.Вольфганг ван дер Мей написал для того же журнала свой «Комментарий к Толстому» (1888, № 1, р. 1–34). В статье критик коснулся и ранних произведений Толстого, в том числе трилогии, указав на далеко не общеизвестный тогда факт, что «Детство» явилось литературным дебютом. По поводу главы «Затмение» из «Отрочества» проводилась параллель с Достоевским. (Сообщено Эриком де Хаардом.)

В те же годы трилогию внимательно читал и записывал свои суждения в дневнике, изданном много лет спустя, Ромен Роллан, тогда ученик Ecole Normale: «“Давид Копперфильд”. Я постоянно думаю о “Детстве” Толстого, и сравнение не в пользу Диккенса. Мне не нравится, что Диккенс надевает маленького мальчика романтической сентиментальности восемнадцатилетней девушки. Меня коробят фразы, подобные следующей: “Мне показалось, что я ощутил, как содрогается могила, и это страшным ударом отозвалось в моем сердце” (когда мальчик узнал, что его мать снова выходит замуж). И насколько ослаблен, притуплен реализм в описании чувств, когда речь идет о смерти матери. Диккенс не хочет видеть действительность такой, какая она есть на самом деле: у него нет такой горячей любви к правде, как у Толстого; он не лишен пристрастий, и это мешает ему правильно видеть» (ЛН, т. 75, кн. 1, с.70).

В 1886 г. в Петербурге вышла книга Ф.И.Булгакова «Граф Л.Н.Толстой. Критика его произведений, русская и иностранная» (3-е изд.— в 1899 г.), где содержится немало сведений о переводах и отзывах. «До сих пор из новейших наших писателей только И.С.Тургенев удовлетворял европейским вкусам. Все остальные, начиная с Гоголя, считались какими-то степняками и непомерно скучными <...>. Но вот в иностранных журналах появляется один, другой критический этюд, восстанавливающий права русской литературы на интерес и внимание публики, и переводчики засуетились. В два-три года за границей сделано столько для ознакомления с тво-

рениями этих степняков, что в их цивилизующем значении никто уже не сомневается в Европе. Льву Толстому принадлежит первое место в деле упрочения такого мнения. Раньше других посчастливилось французам расчутья достоинства нашего писателя» (Ч. I, с. 17).

Помимо отзывов Вогюэ, Булгаков привел мнение французского критика Циона (статья «Un pessimist russe» в «Nouvelle Revue»): «Этот несравненный аналитик, когда надо бывает обнажить самые потаенные уголки в русском характере, впадает в шарж, как только ему хочется изобразить иностранца. Он строит свои типы при помощи традиционных шуток на счет различных национальностей» (Ч. II, с. 24). Англичанина У.Ролстона («Nineteenth Century»), который находил в «Детстве» и «Отрочестве» «мастерское изображение семейной жизни и природы в России, полное глубокомысленных суждений о первых проблесках и постепенном развитии умственной и душевной жизни тогдашней молодежи» (Ч. II, с. 98). Немца Е.Цабеля, книга которого «Очерки литературной России» появилась в 1885 г. Цабель писал о трилогии: «Прелесть рассказа заключается прежде всего в той безграничной искренности и правдивости, которыми дышит каждое слово, о чем бы ни заговорил автор; как будто видишь перед собой кристалл, видишь все до одной черточки, которые провела жизнь на чистом листе этого характера» (Цабель Евгений. Граф Л.Н.Толстой. Литературно-биографический очерк. Перевод с нем. В.Григоровича. Киев, 1903, с. 31).

В 1900 г. появился перевод И.С.Дурново книги М.Ольдена-Уарда «Три биографии (Томас Карлейль. Джон Рескин. Лев Толстой)». Английский автор сравнивал «Детство» и «Отрочество» с «Dichtung und Wahrheit» Гете, полагая, что и то и другое «сплошная автобиография», «исповедь духа»: «Иртеньев — это Лев Толстой». То же повторил Ольден-Уард в книге «Жизнь Л.Н.Толстого», перевод которой был напечатан в Одессе в 1903 г.

Иван Панин в своих американских лекциях о русской литературе, сравнивая Тургенева и Толстого, заметил: «Тургенев — великий зодчий в области искусства слова. Толстой — великий художник панорамы в литературе <...> В “Детстве, отрочестве и юности” нет и намека на фабулу. Это произведение состоит из вереницы картин, каждая из которых сама по себе неотразимо прекрасна, но все они собраны таким образом, чтобы дать целостную панораму полного роста человеческой души с момента, когда человек из животного превращается в личность» (Ivan Panin. Lectures on Russian Literature. New York. London, 1889, p. 182–183).

Э.Штайнер рассматривал трилогию в едином контексте творческого наследия Толстого, видя в ней ростки художественного и философского мироощущения писателя. «В самом деле, эта первая проба пера, которую едва ли можно назвать повестью, содержит в себе не только пророчество более великих произведений, но является также их основой. Правдиво и искренне он сделал первое наблюдение о самом себе и о своем внутреннем мире, и эта склонность проявляется во всех его сочинениях с нарастающей силой <...> Стремление к исповеди, очищению, исчерпывающей самооценке, все то, что столь характерно для литературной деятельности Толстого, выявлено и в этой первой книге». Проявилась в трилогии, по мнению критика, и любовь Толстого к простому, неподдельному, естественному в жизни: «Николенька идет к старой няне и находит утешение, потому что она на самом деле переживает глубокое горе и оплакивает усопшую, не вы-

ставляя свои чувства напоказ» (см. Edward A. Steiner. Tolstoy the man. New York, 1904, p. 62–63).

Ч. Тёрнер, английский профессор русской литературы, писал, что если современники Толстого почти никогда не выходили за круг образованного класса, Толстой в «Детстве» изобразил мир высшего сословия по контрасту с «простыми, менее претенциозными качествами народа» (см. Charles Edward Turner. Count Tolstoy as novelist and thinker. London, 1886, p. 13).

Английский эссеист и критик Э. Госсе, друг и корреспондент Хоуэлса и американского исследователя Толстого Перри, отметил, что «Детство» — это и очаровательный вымысел и одновременно подлинная автобиография, в которой запечатлена абсолютная правда. «Но странно,— писал Госсе,— что эти полувывмышленные, глубоко личные и необычайно подробные записки о детском рассудке были сделаны Толстым не в старости, когда память часто возвращается к далекому прошлому, а в самом начале творческого пути» (Lyof Tolstoy. Work While ye have light. With intr. of Edmund Gosse. London, 1890, p. 6–7).

Г. Перрис, соотечественник Госсе, в одной из своих книг о Толстом сказал о «Детстве»: «По существу, это очень оригинальная и замечательная автобиография. Даже если бы мы и не знали, что она создавалась в юности, когда свежо предание, каждая ее глава свидетельствует о подлинном и достоверном. Счастливые детские годы проходят мимо нас, как сменяющиеся картины, пока мы читаем эти длинные, никогда не утомляющие, и порой глубоко пронизательные, утонченно живописные страницы. Мы видим патриархальный дом, чем-то отдаленно напоминающий Вирджинию в дни ее рабства» (см. Perris G. H. Leo Tolstoy. The grand mujik. A study in personal evolution. London, 1898, p. 25). В другом отзыве о «Детстве» сказано: «В нем нет никакого сюжета, мало внешних событий. Реализм в основном жесток, но в ряде мест смягчен огромной изобразительной мощью, например, описанием грозы, рассказом о смерти солдата, а также беспощадно живыми страницами, повествующими о смерти матери. В этой ранней книге обнаруживаются зачатки и художественного пафоса, и будущего этического учения Толстого» («The Bookman» Booklets. Leo Tolstoy. By G. K. Chesterton, G. H. Perris etc. London, 1903, p. 11–12).

Т. Ноулсон также склонен был рассматривать трилогию как автобиографию первых дней юности, «воспоминания, отражающие мысли и устремления тех лет» (T. Sharper Knowlson. Leo Tolstoy. A biographical and critical study. London and New York, 1904, p. 19).

Иные стороны отметил немецкий критик социал-демократической ориентации Франц Меринг. По его мнению, в трилогии «уже обнаруживаются когти льва; они чувствуются и в беспощадной искренности и правдивости, с которой описывается борьба идеалистически настроенного мальчика с отвратительным суеверием, с поверхностным образованием, с мещанской моралью его окружения, и в реалистической технике, столь уверенно отображающей самые мимолетные душевные движения и пластически воссоздающей явления внешнего мира, и, не в последнюю очередь, в том чудесном волшебстве настроений, которое этот великий художник настроений распространяет и на историю детской жизни» (Mehring F. Leo Tolstoy.— «Wahre Jacob», 1900, № 361, S. 3250–3252; ЛН, т. 75, кн. 2, с. 237–238).

Японский перевод гл. I–XIII «Детства» появился в 1893 г. в журнале «Уранисики» («Мир внутренней души») с кратким предисловием переводчика, где вся трилогия названа «шедевром великого русского писателя»:

«природа человека раскрыта через психологическое наблюдение жизни». В 1897 г. о «Детстве», «Отрочестве» и «Юности» писал в своей книге Токутоми Рока: очерк входил в серию о 12 самых выдающихся писателях мира. Знакомый со статьей Чернышевского, Рока в свою очередь отмечал остроту психологического анализа, проникновенное наблюдение окружающего мира, гармонию серьезного содержания и свежего чувства, особый облик автора записок, занимающегося самонаблюдением, искренно ищущего правду жизни. В первой книге Толстого — «ростки произведений всей его жизни». По мнению Н.И.Конрада, в «замечательном» романе Токутоми Рока «Омоидэ-но ки» («Записки воспоминаний», 1901), «можно без труда заметить явную печать знакомства автора с “Детством”, “Отрочеством” и “Юностью” русского писателя» (ЛН, т. 75, кн. 2, с. 350–351). В 1899 г. Мори Огай, писатель, критик, переводчик, военный врач, изучавший медицину в Германии и там познакомившийся с европейской и русской литературой, особо выделил связь психологии, философии, этики как отличительную черту всей трилогии. В 1906 г. писатель и публицист Сираянаги Сюко в журнале «Кабэн» («Огненный кнут»), № 4, говорил о наивности повествования — «кажется, как будто невинный мальчик рассказывает» — и вместе с тем этот мальчик «критикует жизнь взрослых». Японский автор находил, что «педагогическая теория известного критика Писарева основана на этих произведениях». Переводчик «Детства» и «Отрочества» Тикамацу Сюко поместил в токийском журнале «Бунсесэкай» («Мир литературы», 1909, № 5) статью «Мастерство Толстого», где сравнивал тонкость психологизма русского писателя (в сцене у гроба папана) с мастерством французских импрессионистов, в частности — братьев Гонкуров. У Толстого нет изысканности и чрезмерного лаконизма («десятью строками составить главу»), но есть сжатость: «То, что он хочет сказать, многогранно и остро». Порою чувство передается описанием окружающих вещей. (Материалы сообщила Янаги Томико.)

Особый интерес к первой книге Толстого возник в 1906 г., когда в Париже изд-во «Société du Mercure de France» выпустило «Биографию Л.Н.Толстого» П.И.Бирюкова, куда были включены «Воспоминания» (1903–1906).

Арвед Барин (псевдоним известной французской журналистки Сесиль Венсан) поместил 3 октября в «Journal de Débats» статью «Юность Толстого»: «Бирюков справедливо полагает, что читатель составил себе ложное впечатление о ранней поре жизни его героя, и еще более ложное представление о его окружении, и виною тому сам Толстой, который в ту пору, когда он еще не презирал литературу, опозитизировал свои воспоминания в прелестной книге, которую прочитал весь мир: “Детство”, “Отрочество”, “Юность”».

По поводу этого же издания в газете «Figaro» 19 мая 1906 г. писал Андре Бонье: «Кто не читал и не полюбил “Детство” и “Отрочество”? Толстой и сам перечитывал свои замечательные прежние писания. Но он объявил, что “это нехорошо, литературно, неискренно написано...” Теперь, когда он искренен и выказывает великое презрение к литературе, он вновь возвращается к повествованию о своем детстве и оно выходит из-под его пера изумительным».

Но поздние (незавершенные) «Воспоминания», как и начатая в конце 1870-х годов, в преддверии «Исповеди», автобиографическая «Моя жизнь» («Первые воспоминания»), не заслонили в глазах читающего мира первую

книгу Толстого, навсегда оставшуюся и первым его шедевром. В 1908 г. 16-летний юноша из Бразилии Этор Перейра де Лира просил у Толстого автограф и написал: «Я начал читать Ваши сочинения в 9-летнем возрасте. Хорошо помню, что это были “Детство” и “Отрочество”. Эту книгу дала мне мама и сказала: “Сынок, когда вырастешь, постарайся лучше узнать этого великого писателя”» (ГМТ).

С. 155. ...«Алгебру» Франкера...— «Полный курс чистой математики» французского математика Л.Б.Франкера, изданный в русском переводе в 1830–1840 гг. (в двух частях).

С. 157. ...из белянкой — 25-рублевая ассигнация.

С. 158. ...от Педотти...— Кондитерская Педотти находилась в 1840–1860-х годах на Кузнецком мосту в Москве.

...сильней Раппо.— Карл Раппо, известный силач-гимнаст, прозванный Северным Геркулесом, выступал в Москве летом 1839 г.

С. 162. ...латинский лексикон. — «Латинско-Российский лексикон» И.Я.Кронеберга.

С. 171. ...к звуку «Соловья»...— Романс А.А.Алябьева.

С. 181. ...подле магазина картин Даццаро.— Художественный магазин Даццаро находился на Кузнецком мосту.

...не Жукова... табуку...— В.Г.Жуков — владелец табачной фабрики в Петербурге.

С. 182. ...в герб Бостонжогло...— Табачная фабрика этой фирмы помещалась в Москве на Старой Басманной ул.

С. 190. ...Орест и Пилад...— Герои в «Илиаде» Гомера. В древнегреческих и французских трагедиях XVII в. стали нарицательными именами преданных друзей.

С. 205. ...съездил с ней к Ивану Яковлевичу...— И.Я.Корейша — известный московский юридивый. Во второй редакции «Юности» главе XXII соответствует XVIII — «Кунцево». Здесь Толстой сделал примечание: «Иван Яковлевич был известный сумасшедший, содержавшийся весьма долго в Москве и пользовавшийся между московскими барынями репутацией предсказателя».

С. 209. ...читали «Роброя» — роман Вальтера Скотта.

С. 226. ...ком си три жоли — искаженное фр. *comme se très joli* (как это мило).

С. 230. ...«Le Fou» ...— Фортепьянная пьеса немецкого композитора Ф.Калькбреннера.

...разные «Тайны»...— В 1840-х годах в России были популярны французские романы: «Тайны Лондона» П.Феваля, «Парижские тайны» Э.Сю и «Тайны инквизиции» П.Ферреалья. Впоследствии Толстой рассказывал о себе: «Я помню, когда был семнадцати лет, ехал в Казанский университет, купил на дорогу восемь томиков «Монте-Кристо». До того интересно, что не заметил, как дорога окончилась. Тогда вся большая публика увлекалась им, а я принадлежал к большой публике» (Дневник В.Ф.Лазурского, запись 2 июля 1894 г.— ЛН, т. 37–38, с. 458). В первом варианте списка книг, произведших большое впечатление в возрасте от 14 до 20 лет, Толстой назвал романы Дюма — «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо».

С. 249. ...в манеж Фрейтага...— Этот манеж существовал в Москве.

С. 258. ...«*Au banquet de la vie, infortuné convive...*» — Стих из «Оды, написанной в подражание многим псалмам» французского поэта Жильбера (1751–1780).

С. 268. ...«Лиссабон» — московский трактир.

НЕОКОНЧЕННОЕ

ЗАПИСКИ

Впервые: Дневник молодости Льва Николаевича Толстого. Т. 1. Под ред. В.Г.Черткова. М., 1917.

Печатается по автографу дневника.

Возобновив, после трехлетнего перерыва, 14 июня 1850 г. дневник, Толстой записал: «Последние три года, проведенные мною так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными, поэтическими и частью полезными; постараюсь пооткровеннее и поподробнее вспомнить и написать их».

Автобиографические «Записки» начаты в тетради дневника 17 июня 1850 г. После записей 18 и 19 июня дневник был оставлен, а вернувшись к нему в Москве 8 декабря, Толстой заметил: «Записки свои продолжать теперь не буду, потому что занят делами в Москве, ежели же будет свободное время, напишу повесть из цыганского быта».

В декабре 1850 г. Толстой часто бывал с приятелями у цыган; но повесть скорее всего даже не была начата (Н.Н.Гусев полагал, что она была «уничтожена автором»; никаких данных для такого предположения нет).

В «Записках» намечался рассказ о московской жизни в октябре 1848 — январе 1849 гг. Т.А.Ергольской Толстой писал тогда, что он «собой недоволен»: «Я распустился, предавшись светской жизни. Теперь мне все это страшно надоело, я снова мечтаю о своей деревенской жизни и намерен скоро к ней вернуться» (26 декабря 1848 г.). Однако в феврале 1849 г. он уехал в Петербург, с намерением остаться там «навек» — держать экстерном кандидатский экзамен в университете и потом служить (письмо С.Н.Толстому, 13 февраля 1849 г.). Этим планам не суждено было осуществиться. В конце мая 1849 г. Толстой вернулся в Ясную Поляну.

<ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ РАЗВИТИЯ>

Впервые: *Юб.*, т. 1, с. 103–166. С вариантами зачеркнутого текста: *ЛП*, с. 249–306.

Печатается по автографу, с исправлением описки: из окон классной — *вместо*: из окон спальни (с. 286, строка 2).

В рукописи заглавия нет. Две части, при этом вторая явно не завершена; 47 листов большого формата, пагинация рукой Толстого: 1–91 (цифры 55 и 61 повторяются). Обозначение «Вторая часть» вписано позднее между строк. Заключительный фрагмент (от слов: «Разговор шел...») не стыкуется с предыдущим текстом, другие чернила и, кажется, другое перо. Возможно, что-то утрачено: стоит крестик, означающий отсылку. Когда замысел сильно преобразился, а части задуманного романа представились самостоятельными повестями, объединенными общим героем, Толстой назвал его в письме Н.А. Некрасову 3 июля 1852 г. «Четыре эпохи развития», а 30 ноября того же года в дневнике — «Четыре эпохи жизни» (см. выше с. 377). «Четыре эпохи жизни» — зачеркнутое заглавие в рукописи второй редакции «Детства».

Как можно судить по дневнику, работа началась в Москве в декабре 1850 г. 8 декабря, возобновив после пятимесячного перерыва дневник, Толстой записал: «Большой переворот сделался во мне в это время...». Одним из признаков «переворота» стали серьезные литературные планы. Задания писать «повесть» упоминаются постоянно, хотя и не всегда оказываются исполненными. «Повесть из цыганского быта», названная 8 декабря, видимо, не была начата; во всяком случае, от нее не осталось никаких следов, ни одной строчки, хотя вообще бумаги, предшествующие началу литературной деятельности, первому выступлению в печати, сохранились исправно.

19 декабря: «Исполнил то, что назначено 18». А на 19-е намечалось «до 12 писать» и потом после двух «писать и писать до вечера». 22 и 24 декабря одинаковые задания: «Писать 1-е письмо». Сочинение об эпохах «развития» было начато в форме «записок», писем к другу — от лица вымышленного персонажа.

Дневниковая запись 18 января 1851 г. уже определенно относится к «Четырем эпохам развития»: «Писать историю дня»¹. Первая часть задуманного романа представляла собою описание дня, точно обозначенного: «12 августа 1833». Видимо, работа продолжалась в ближайшие месяцы. Среди занятий на 8 марта обозначен «роман», и едва ли это было чтение, а не писание своего романа.

9 марта 1851 г. Толстой отправил письмо петербургскому приятелю барону Г.Е. Ферзену, служившему в Министерстве внутренних дел, прося его представить в цензуру повесть. Письмо не сохранилось, но известен ответ Ферзена: он советовал обратиться к Н.А. Ермакову, чиновнику того же министерства, который «сам прежде писал повести и переводил французские романы и часто с цензурой имел дело, потому что в различных русских журналах печатал свои статьи» (Гусев, I, с. 283).

Ответ Ферзена почему-то задержался: его письмо датировано 10 июня 1851 г. Толстой был тогда далеко и от Петербурга, и от Москвы — в лагере близ Старого Юрта, на Кавказе. Но отправленное в марте письмо ясно сви-

¹ В т. 46, с. 45, предложено неверное чтение: «Писать историю м<оего> д<е-ства>». Также неверно высказанное позднее предположение: «Писать историю м<инувшего> д<ня>» (замысел автобиографической «Истории вчерашнего дня» возник лишь в марте 1851 г.) и «Писать историю м<оего> д<ня>». Верное чтение автографа предложил Н.Н. Гусев в кн. «Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1891–1910» (М., 1960, с. 840, поправка к первому тому «Летописи»). См. также ЛН, т. 69, кн. 2, с. 489–490.

детельствует, что сочинение продвинулось достаточно далеко и можно было думать о его печатании. Характерно, что рукопись пронумерована автором: обычно Толстой делал это, когда работа близилась к окончанию.

Достоверные сведения находятся в дневнике. 11 марта 1851 г. помечено: «Писал письмо хорошо, немного торопливо». Речь идет, видимо, о предсмертном письме татап, входящем во «вторую часть» романа. Далее задание «писать» повторяется в мартовских записях почти каждый день.

«Вечером писать. Засиделся до 1-го часа» (15 марта). «С 8 до 10 перечитывать Ламартина, свое писание и писать» (20 марта). «Утром занимался писанием и чтением, писал мало, был не в духе и боялся поправить. — *Правило. Лучше попробовать и испортить (вещь, которую можно переделать), чем ничего не делать*» (21 марта). «С 8 до 10 читать и писать» (22 марта). «Читал и писал, не поправил писанья» (23 марта). Ясно, что речь идет о творческой работе, «своём писании», а не только о выписках из книг и рассуждениях по поводу прочитанного, какие находятся в особой тетради дневника (март-апрель 1851 г., *Юб.*, т. 46, с. 69–76; обозначенная здесь дата «март-май» неточна). На 24 марта намечено: «До 12 читать и писать». 24-го Толстой «писать не успел», а вечером был в гостях у Волконских: следующие дни отданы «Истории вчерашнего дня».

К работе над романом Толстой вернулся лишь на Кавказе, куда уехал с братом Николаем Николаевичем в конце апреля 1851 г. Та «большая книга» (большого формата переплетенная конторская тетрадь), в которой находился черновик романа, была взята с собой: в ней же, после «Истории вчерашнего дня», начат датированный 3 июня очерк «Еще день (На Волге)».

3 июля 1851 г. в дневнике помечено: «Завтра буду писать роман», но в подробной записи 4 июля ничего не сказано об этой работе. Слова в дневнике 22 августа: «начать переписывать первую главу романа» — фиксируют начало собственно «Детства».

Толстой пользовался рукописью «Четырех эпох развития» для «первого дня» «Детства» — в деревне и для заключительных глав повести — о смерти татап. Но весь сюжет в черновике романа строится иначе: татап, «урожденная княжна Б...», женщина знатного происхождения, расставшись с первым мужем, живет в «незаконном» браке с отцом героя, его двух братьев и сестры. Дети не будут иметь ни дворянского титула, ни права наследства; их судьба не обеспечена. Не считаясь с уговорами татап, отец находит нужным отдать их в коммерческое училище. Обо всем этом рассказывается в первом письме. Второе письмо («Вторая часть»), отправленное к тому же другу, содержит беглое повествование о новой жизни — в коммерческом училище, прервавшейся со смертью матери. Рассказ доведен до юности героя, университетских экзаменов и визитов по «пунктам» — домам с возможными невестами. Среда, в которой проходит жизнь братьев, совсем не аристократическая; отец поселил их в доме доктора, преподающего в университете.

В этом конспективном тексте, в черновой подборке материалов для будущего романа, не были еще определены даже имена героев и действующих лиц. Члены семейства именуются то Ипатовичами, то Карталиными; отец — Александр, Александр Михайлович, П.А.; сам автор записок М. (Михаил?); нет совсем Натальи Савишны и ее истории; кратко упоминается старая няня Афимья. Ясно обозначились губернатор Карл Иванович (при этом встречается характерная описка: Федор Иванович), но не Мауер, а Келер; гу-

вернантка Мими, с фамилией Кофертал или Купфертал; ее дочь зовут Юза, Юзенька.

Перед Толстым, если бы работа и в дальнейшем шла по этому плану, возникла необходимость подробнее, чем это сделано в черновом тексте, описать коммерческое училище, дать картины жизни, с которой сам он не имел ничего общего, и разработать сложный сюжет, не ввязавшийся не только с его собственной, но и вообще с русской жизнью.

Многолинейный, чрезмерно усложненный романический сюжет о детях «незаконного» семейства был оставлен, вместе с ним оставлены тон исповеди, сентиментально-лирические ламентации и прямые обращения к воображаемому другу. Повествование перешло в объективно-реалистический план, и в дальнейшей работе Толстой сосредоточился на образе первого своего героя Николеньки Иртеньева, точнее сказать — на эпохах его жизни, истории души, а в сущности — на эпохах развития всякого человека вообще.

Это изменение замысла явственно видно в работе над первой редакцией собственно «Детства», а также в планах всего сочинения, которые намечались параллельно с писанием первой редакции повести и по-прежнему предполагали «четыре эпохи развития» (см. т. I второй серии издания).

Лишь шесть страниц черновика романа (63–68) были выправлены прямо в этой рукописи при работе над первой редакцией «Детства» — главой «Горе», да и то понадобились большие дополнения текста, сделанные на новых листах.

Несколько кусков текста зачеркнуто, видимо, при одном из позднейших авторских обращений к рукописи: вступление, подписанное «Г.Л.Н.» («Граф Лев Николаевич»); строки, перекликающиеся с ним (см. с. 284); письмо татап к детям и ответ Володи (эти фрагменты даются в наст.изд. в квадратных скобках).

С. 283. ... *по шишкам на голове*.— В XVIII–XIX вв. была популярна френология — попытка судить по строению черепа о психических особенностях человека. Толстой был знаком с трактатом на эту тему швейцарца И.К.Лафатера (1741–1801) «Физиогномические фрагменты».

С. 290. ...«шампанскую мушку»...— Переделанное — от «шпанская мушка» (пластырь из высушенного и измельченного жучка — шпанской, т.е. испанской «мухи»).

...*милого остроумного французского писателя*...— Имеется в виду Ж.А.Карр.

С. 294. ... *дурной вены — неудачи (фр. mauvaise veine)*.

С. 303. ... *малик* — след.

С. 304. ... *жил купец Подъемщиков*.— Действительное лицо. Упомянут в письме к брату С.Н.Толстому от 7 января 1852 г. (из Тифлиса): «... как Подъемщиков смеялся, когда увидел, как затравили зайца».

С. 333. ... *эзекютируют* — разыгрывают, исполняют (фр. exécuter).

ИСТОРИЯ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

Впервые: Л.Н.Толстой. Неизданные рассказы и пьесы. Под ред. С.П.Мельгунова, Т.И.Полнера, А.М.Хирьякова (По копиям, сделанным с оригиналов «Товариществом по распространению и изучению творений

Л.Н.Толстого», принадлежащих «Задруге»). Изд. Н.П.Карбасников. Париж, 1926, с. 9–36. По автографу: Юб., т. 1, с.279–294.

Печатается по автографу.

Работа над «Историей вчерашнего дня» точно датируется дневниковыми записями.

23 марта 1851 г., определяя занятия на завтра, Толстой пометил: «С 8 до 10 Волконский». Вечер 24-го прошел у Волконских — троюродного брата князя Александра Алексеевича Волконского, женатого на Луизе Ивановне Трузсон. Портрет этой Луизы Ивановны до сих пор висит в яснополянском кабинете, с надписью С.А.Толстой на обороте: «Маленькая княгиня из «Войны и мира». В 1865 г., когда первые части «Войны и мира» были опубликованы, Л.И.Волконская спрашивала, кто такой Андрей Болконский. Толстой ответил: «Андрей Болконский — никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить». Но в «Истории вчерашнего дня» жизненные и автобиографические черты очевидны. Помимо «я» рассказчика, которому «двадцать два года» и он ведет постоянно дневник и Франклиновский журнал, Луизы Ивановны, о которой спустя год, перечитывая на Кавказе московский дневник, Толстой записал: «Лучшие воспоминания мои относятся к милой Волконской», это и брат Сергей Николаевич (Сережа), и сестра Мария Николаевна (Маша), и гувернер Сен-Тома, и тульские знакомые Гельке, Дидрихс.

24 марта в дневнике записано: «У Волконских был неестествен и рассеян и засиделся до часу (*рассеянность, желание выказать и слабость характера*)». В скобках отмечены, как обычно в эту пору, собственные слабости и пороки. Тут же задание на завтра: «Написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит». Судя по записи 25 марта, работа в этот день не была начата; задание повторено на 26-е: «Встать в 5. До 10 писать историю нынешнего дня». Это было исполнено.

26 марта: «Встал часом позже назначенного, писал хорошо...».

27 марта: «До 11 писал, но *торопливо*... Утром кончить описание вечера и перебеливать завтра».

28 марта: «Встал поздно. Писал мало, *лень*».

29 марта: «*Ленился и торопился писать*...».

30 марта: «Встал в 7. До 10 писал, плохо».

Потом намечался план на вечер 31 марта: «С 6 до 10 писать» и на утро 2 апреля: «С 8 до 10 писать набело», но, судя по дневнику, писание не продолжалось, а перебеливание не было начато. 2 апреля Толстой уехал в Ясную Поляну, потом бывал в Пирогове, Туле, Покровском, а 29 апреля отправился на Кавказ.

Автограф, датируемый по дневнику 26–30 марта, остался единственной рукописью «Истории вчерашнего дня». «Вчерашний день» — это день 25 марта. В созданном тексте изображено лишь начало этого «дня» («В санях», «Дома») — ночь после вечера 24 марта, проведенного у Волконских.

13 апреля появилось было намерение «писать сон». В рукописи, обрывающейся на рассуждениях о сне, картина сновидения (от слов: «Морфей, прими меня в свои объятия» до: «Сон составляется из первого и последнего впечатления») вычеркнута. Однако новый текст не появился, если не счи-

тать написанного на полях последней страницы и тоже зачеркнутого небольшого фрагмента (см. т. 1 второй серии).

В мартовском и апрельском дневнике 1851 г. зафиксированы художественные замыслы, к исполнению которых Толстой не приступал совсем.

22 марта: «Хорошую можно написать книгу: жизнь Татьяны Александровны» (имеется в виду Т.А.Ергольская).

6 апреля: «Сбивает меня очень мысль об истории с Гельке, нынче после обеда опишу ее» (Этот Гельке упомянут в картине сна — «история» случилась на охоте; возможно, предполагалась вставка в «Историю вчерашнего дня»).

17 апреля: «Нынче хочу начать историю охотничьего дня» (описание охоты есть в рукописи романа «Четыре эпохи развития» и гл. VI–VII «Детства», но это, судя по всему, совсем другой «охотничий день»).

С. 340. ... *Вертеров...*— Вертер — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774). 25 марта 1851 г., как отмечено в дневнике, Толстой читал эту книгу.

С. 342. ... *при Ватерлоо...*— При Ватерлоо (Бельгия, южнее Брюсселя) англо-голландские и прусские войска нанесли 18 июня 1815 г. поражение армии Наполеона.

ЕЩЕ ДЕНЬ (НА ВОЛГЕ)

Впервые: *Юб.*, т. 1, с. 294–295.

Печатается по автографу.

Автограф этого сочинения непосредственно следует за «Историей вчерашнего дня» (на обороте 13-го, последнего листа). В первой дневниковой записи по приезде в Старогладковскую, 30 мая 1851 г., Толстой заметил: «Хотел бы писать много: о езде из Астрахани в станицу, о казаках, о трусости татар, о степи...». По дороге 20 мая впечатления были обозначены конспективно в дневнике: «В Саратов. Майор. Немцы. Виды. Шторм. Рыбаки. Немцы». 27 мая из Астрахани Толстой написал в Ясную Поляну Т.А.Ергольской: «... До Астрахани мы плыли в маленькой лодке,— это было и поэтично и очаровательно; для меня все было ново, и местность, и самый способ путешествия». В дневнике 16 апреля 1852 г. «поездка из России на Кавказ» названа «одним из лучших дней жизни».

2 июня, уже в Старогладковской — записи в двух тетрадах дневника. Первая — исповедальная о грустном настроении («Ах, Боже мой, Боже мой, какие бывают тяжелые, грустные дни! И отчего грустно так?»), завершающаяся словом посередине страницы: «Записки». В другой тетради — краткая, сделанная поздним вечером: «Хотел много писать, да то позднее время — так. Напрасно. Лучше распоряжаться надо днем. Завтра пойду на охоту. Я напишу в большую книгу и лягу спать». В левом верхнем углу начатого очерка о путешествии по Волге поставлено: «2 июня», тут же направленное на «3 июня» (видно, уже было за полночь). Написана всего одна страница. Само же название «Записки» начиная с июня 1850 г. соединялось у Толстого с автобиографическими, в полном смысле этого слова, сочинениями — рассказами о себе (в частности, «История вчерашнего дня»). Рукопись незавершенного романа, привезенная на Кавказ и ставшая

истоком опубликованной в 1852–1857 гг. трилогии, никогда не была автобиографическим повествованием (что не исключает творческих связей между этими *разными* замыслами; само слово «записки», естественно, употребляется и в романе).

Впоследствии все листы с художественными текстами вырезаны из «большой книги», но очерк о путешествии по Волге продолжен не был. Мысли и мечты молодого человека, отправляющегося на Кавказ, всплывают позднее в первых главах повести «Казачи» (почти текстуальные совпадения с начатым очерком). В 1904 г. Толстой говорил, что об этом путешествии «можно бы написать целую книгу» (*ЛН*, т. 90, кн. 1, с. 112).

С. 352. ...на Воронке... — Река близ Ясной Поляны.

<<ВЕРНО ЛИ ЭТО? У НАС ВЕДЬ ЛЮБЯТ...>>

Впервые: *Юб.*, т. 1, с. 296–297, с редакционным заглавием: Отрывок разговора двух дам.

Печатается по автографу.

Лист с текстом начатого сочинения следовал в «большой книге», судя по линии обреза, за «Историей вчерашнего дня» и очерком «Еще день (На Волге)». Конфигурация обреза листа с отрывком разговора совпадает лишь с одним листом — последним, где на одной стороне оборвалась «История вчерашнего дня», а на обороте начат «Еще день (На Волге)». На этом основании наиболее вероятной представляется датировка, данная в *Описании рукописей*: июнь 1851 г. Н.Н.Гусев справедливо замечал, что заглавие «Отрывок разговора двух дам» дано «произвольно» редакторами Юбилейного издания и предположительно относил рукопись к марту 1851 г. (*Летопись*, с. 42; *Гусев*, I, с. 289).

Рукопись обрывается на полуфразе. При отсутствии авторского заглавия уместнее всего называть сочинение по первым его словам.

Фамилия «Игреньева» заставляет вспомнить Исленева на последних страницах «Четырех эпох развития», Игреньева в трилогии и семью А.М.Исленьева в действительной жизни. Та же свойственная Толстому как писателю переделка реальных фамилий чувствуется в других персонажах: Тарамонов — Парамонов; Дамыдова — Давыдова.

ЮНОСТЬ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Впервые: *Юб.*, т. 2, с. 343–346. С вариантами зачеркнутого текста: *ЛП*, с. 472–476.

Печатается по автографу.

12 января 1857 г., по дороге из Петербурга в Москву, Толстой перечислил в дневнике семь замыслов. Среди них «Юность 2-я половина». И определил задание: «Писать, не останавливаясь, каждый день...».

29 января началось первое заграничное путешествие. 22 марта/3 апреля в Париже появилась запись: «Думаю начать несколько вещей вместе». Далее названы «Отъезжее поле», «Юность», «Беглец» (будущие «Казачи»).

Автограф начала «Второй половины» «Юности» датируется точно дневниковой записью 28 мая/9 июня 1857 г., сделанной в Кларане, во время путешествия Толстого с Сашей Поливановым по Швейцарии: «Славно написал 1-ю главу «Юности» и написал бы больше, но хочется скорее сделать полный круг» («круг» — в маршруте). Эти четыре листка тонкой заграничной бумаги, заполненные с обеих сторон, так и остались без продолжения. Опубликовались они среди черновиков «первой половины» «Юности», что неверно (см. выше с. 377).

Из многочисленных заметок к «Юности» в записных книжках 1856 г. ко «Второй половине» можно отнести лишь одну — около 25 октября: «К «Юности»: два коротко знакомые мне человека, но незнакомые между собой, сходятся, и мне странно и очевидно, как они оба ломаются друг перед другом».

28 мая/9 июня 1857 г., в день, когда родилось начало «Второй половины», в записной книжке план:

«К «Юности». Пробует ученой, помещицей, светской, гражданской деятельности и наконец военной. Эта удастся ему, потому ли что она ничего не требует, или потому, что, потеряв всю энергию, по всякой дорожке он может идти, ничего на ней уж не сделает, но зато и не свихнется. Минуты отчаяния сначала.

К «Юности». Музыка. И устройство комнаты».

Затем 15/27 июня. «К «Юности». Я лежу один в постели — муха жужжит».

8/20 июля. «К «Юности». Прочел Элоизу».

Спустя более чем месяц, 29 августа, в дневнике записано: «Все мысли о писанье разбегаются: и “Казак”, и “Отъезжее поле”, и “Юность”, и “Любовь”¹. Хочется последнее — вздор. На эти 3 есть серьезные матерьялы».

Материалы ко «Второй половине» «Юности» не были использованы, преобразившись в замыслы других сочинений.

6 ноября 1857 г. в дневнике помечено: «Время писать “Юность”». Однако для «Второй половины» «Юности» время это так и не наступило.

Помещая опубликованную «Юность» в собрании сочинений (изд. Ф. Стелловского), Толстой снял журнальный подзаголовок: «Первая половина».

С. 357. ...обличены этой книгой...— Имеется в виду «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо (1766–1769; изд. 1782–1789).

Рассуждение Руссо... пришлось чрезвычайно по сердцу.— В трактате «Рассуждение о науках и искусствах» (1750).

... *закута* — клеть, кладовая или небольшой хлев для мелкой скотины.

¹ Возможно, будущее «Семейное счастье».

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЕТСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ

Впервые: «Орел» и «Сокол» — факсимильно в книге: Новые письма Л.Н.Толстого. М., 1912; перепечатаны — *Юб.*, т. 1, с. 213; полностью — *ЛН*, т. 35–36, М., 1939, с. 268, и *Юб.*, т. 90, с. 93–94.

Печатается по автографу.

Первые дошедшие до нас сочинения Толстого, предназначенные для рукописного журнала братьев Толстых «Детские забавы». Сохранились два листа, в том числе обложка, на которой рукой Толстого обозначено: «Детские забавы. Писаны графом Николаем Николаевичем Толстым, Сергеем Ник. Толстым, Дмитрием Ник. Толстым, Львом Ник. Толстым». На обороте его же рукой: «Первое отделение. Натуральная история. Писано Г: Ль: Ни: То: 1835».

РАССКАЗЫ ДЕДУШКИ

Впервые: неполно — *Гусев, I*, с. 100–102; полностью — *Юб.*, т. 90, с. 95–96.

Печатается по автографу, с незначительным исправлением грамматических ошибок и внесением пунктуационных знаков; зачеркнутые автором слова даются в квадратных скобках, дополненные нами — в угловых.

Три тетрадошки рукописного журнала братьев Толстых «Детская библиотека» сохранились в архиве Т.А.Ергольской. Датируется предположительно: Н.Н.Гусев относил эти сочинения к 1837 г., В.С.Мишин — к 1837–1838 г. (в *Юб.* изд.), составители *Описания рукописей* — к 1838–1839 гг. В тетрадках сделаны рисунки, видимо, Н.Н.Толстым.

«Рассказы дедушки» — вероятно, пересказ прочитанного. Текст «Тогда Алфред...» — начало какой-то новой истории.

<УЧЕНИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ>

Впервые: *ЛН*, т. 35–36, М., 1939, с. 271–275. В *Юб.*: т. 90, с. 97–103.

Печатается по автографу.

Тетрадь, содержащая сочинения, сшита из бумаги с клеймом: 1839. На этом основании датировать их можно этим временем или ближайшими годами (1840–1841). Текст местами выправлен учителем; правка в нашей публикации не учитывается, тем более, что, как справедливо заметил Н.Н.Гусев, «большинство орфографических ошибок в тетради Толстого не было исправлено его учителем, что говорит о недостаточной подготовленности самого учителя» (*Гусев, I, с. 140*).

«Фортуна и нищий» и «Собачья дружба» — переложение басен И.А.Крылова. Остальное — самостоятельные сочинения или пересказ исторических рассказов учебника либо хрестоматии.

С. 367. ...изменника Литовского и Рязанского... — Вел. кн. Литовский Ягайло и вел. кн. Рязанский Олег Иванович.

МИЛОЙ ТЕТИНЬКЕ

Впервые: *Юб.*, т. 1, с. 214.

Печатается по автографу.

Стихотворение поднесено Т.А.Ергольской в ее именины — Татьянин день. Ее рукой сверху листа проставлена дата: «1840 год 12 Генваря». Рукопись заключена в обложку, с пометой С.А.Толстой: «Детские стихи». Вероятно, сочинение этих стихов вспоминал Толстой, когда рассказывал в «Детстве» о поздравительных стихах Николеньки Иртеньева, обращенных к бабушке. Впрочем, не исключено, что были и какие-то стихи, преподнесенные Львом раньше бабушке.

Стихотворение сочинено в Ясной Поляне. Оно произвело на семейных такое большое впечатление, что А.И.Остен-Сакен, тетка Толстого по отцу, опекунша детей, уезжая в Москву, взяла переписанную копию, чтобы показать гувернеру. В начале февраля Сен-Тома отправил в Ясную Поляну следующее письмо (подлинник по-франц.): «Дорогой Лева, оказывается, Вы не отказались от поэзии, и я Вас с этим поздравляю. Я поздравляю Вас в особенности вследствие благородных чувств, которыми внушены Ваши стихи, прочитанные мне Вашей тетушкой по возвращении ее из Ясной; они мне так понравились, что я их прочитал княгине Горчаковой; вся семья желала также их прочесть, и все были от них в восхищении. Не думайте, однако, что больше всего хвалили искусство, с каким они написаны; в них имеются недостатки, проистекающие от Вашего слабого знакомства с канонами стихосложения; Вас хвалили, подобно мне, за мысли, которые прекрасны, и все надеются, что Вы на этом не остановитесь; это было бы действительно жаль» (*Гусев, I, с. 136*).

<ЭПИТАФИЯ А.И.ОСТЕН-САКЕН>

Впервые: Е.В. Л.Н.Толстой и Оптина пустынь — ж. «Душеполезное чтение», 1911, № 1, с. 21; перепечатано в «Сборнике Гос. Толстовского музея», М., 1937, с. 162–165 и *Юб.*, т. 90, с. 104.

Выбито на боковых сторонах мраморного могильного памятника, находящегося ныне на кладбище Кочки близ Ясной Поляны.

А.И.Остен-Сакен умерла 30 августа 1841 г. в Оптиной пустыни и там была похоронена (камень с ее могилы перевезен в Кочаки в 1929 г. при ликвидации монастырского кладбища).

В Отделе рукописей *ГМТ* «хранится письмо А.Офросимова к А.В.Луначарскому от 3 июля 1928 г. с сообщением о том, что сестра Толстого Мария Николаевна передавала иеромонаху Даниилу (от которого и слышал это Офросимов), что стихи на памятнике тетушки были написаны братом Левочкой» (*Гусев, I, с. 152*).

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н.ТОЛСТОГО

- «Альберт» — 458
 «Анна Каренина» — 7, 428, 462, 463, 466, 469, 470, 475
 «Беглец». См. «Казаки».
 «Верно ли это? У нас ведь любят...» («Отрывок разговора двух дам») — 353, 380, 487
 «Власть тьмы» — 470
 «Военные рассказы» — 382, 398, 403, 422, 456, 459, 474
 «Война и мир» — 7, 402, 404, 427, 433, 461-463, 469, 470, 474, 475, 485
 «Воскресение» — 452, 469, 470, 473
 «Воспоминания» — 384, 398-400, 406, 424, 452, 454, 479
 «В чем моя вера?» — 6, 475
 «Два гусара» — 377, 431
 «Детские забавы» — 361, 362, 489, 490
 «Детство» — 11-90, 377-379, 381-408, 410, 419-424, 426-428, 430, 431, 433, 439, 446, 447, 451, 455-459, 461-468, 470-480, 482-484, 486
 «Детство и Отрочество» — 151, 381, 382, 397, 398, 403, 406, 407, 420-423, 426-429, 459-461, 464, 465, 467-469,
 «Детство. Отрочество. Юность» — 7, 375, 377-379, 382, 397, 401, 408, 457, 459-462, 464-466, 469, 472-479, 487
 «Для чего люди одурманиваются?» — 468
 Дневник молодости — 5, 481
 Дневник. 1895-1899 — 5
 Дополнения к «Биографии» П.И.Бирюкова — 424
 «Еще день (На Волге)» — 352, 377, 380, 483, 486, 487
 «Жизнь Татьяны Александровны» (зам.) — 380
 «Записки» — 279, 377, 380, 481, 486
 «Записки кавказского офицера» (см. «Рубка леса»)
 «Записки маркера» — 377, 414, 420, 455
 «Из записок князя Д.Нехлюдова. Люцерн» — 458, 461
 «Исповедь» — 6, 476, 479
 «История вчерашнего дня» — 338-351, 377, 380, 482-487
 «История Гельке» (зам.) — 380
 «История охотничьего дня» (зам.) — 380
 «Кавказский пленник» — 209
 «Казаки» («Беглец») — 7, 377, 379, 395, 414, 437, 460, 462, 470, 474, 475, 487, 488
 «Крейцера соната» — 468, 469
 Лев Толстой и В.В.Стасов. Переписка — 5
 «Лето в деревне» — 379
 «Люцерн» (см. «Из записок князя Д.Нехлюдова. Люцерн»)
 «Метель» — 462
 «Милой Тетиньке» — 371, 380, 490
 «Молодость» (зам.) — 379, 397, 408, 409, 435
 «Моя жизнь» («Первые воспоминания») — 479
 «Набег» — 377, 388, 395, 407
 Неизданные рассказы и пьесы — 484
 Новые письма — 489
 «Отрочество» — 91-153, 377, 382, 383, 386, 397, 398, 400-402, 404, 406-435, 439, 447, 451, 454-457, 459, 461-465, 467, 471-477, 479, 480
 «Отъезжее поле» — 379, 444, 487, 488
 Переписка с гр. А.А.Толстой — 5
 Переписка с Н.Н.Страховым — 5
 Переписка с русскими писателями — 375, 396, 403, 419, 420, 422, 425, 430, 446, 447-449
 Переписка с сестрой и братьями — 6, 375, 400-404, 414
 «Письмо с Кавказа». См. «Набег».
 «Повесть из цыганского быта» (зам.) — 380, 481, 482
 «Поездка в Мамакай-Юрт» — 407
 «Поликушка» — 462, 475
 Полное собрание сочинений (на французском языке; 1902-1913) — 472
 Полное собрание сочинений (1913) — 450
 Полное собрание сочинений (Юбилейное издание) — 5-7, 376, 380, 384, 388, 398, 400, 414, 421, 422, 436, 481, 483, 485-487, 489, 490
 Посмертные художественные произведения — 5
 «Разжалованный» — 377
 «Рассказы дедушки» — 363, 364, 489
 «Роман русского помещика» — 377, 379, 389, 407, 408, 413, 437, 452
 «Рубка леса» («Записки кавказского офицера») — 377, 410, 435
 «Севастополь в августе 1855 года» — 437
 «Севастополь в декабре месяце» — 435
 «Севастополь в мае» — 428, 435, 436
 Севастопольские рассказы — 377, 404, 462, 463, 473-475
 «Семейное счастье» — 458, 460, 475, 488

- «Смерть Ивана Ильича» — 470, 475
Собрание сочинений в 20 томах — 7
Собрание сочинений в 22 томах — 7
Сочинения графа Л.Н.Толстого. В двух частях. Изд. Ф.Стелловского. С.-Пб., 1864 — 379, 382, 452, 461, 488
Сочинения гр. Л.Н.Толстого, в восьми частях (1873) — 382, 462
Сочинения гр. Л.Н.Толстого (в 12 т., 1887) — 476
Сочинения гр. Л.Н.Толстого (1910) — 382
Сочинения, изд. В.Г.Черткова (1898) — 472
«Три смерти» — 462
«Утро помещика» — 377, 379, 456, 461, 463, 469
- Ученические сочинения — 365-370, 489-490
«Хозяин и работник» — 470
«Холстомер» (изд. 1979) — 7
Хрестоматия из писаний Льва Толстого (под ред. П.А.Сергеенко) — 465
«Царство Божие внутри вас» — 6
«Четыре эпохи развития» — 280-337, 377-379, 381, 383-387, 389, 395, 400, 401, 408, 419, 430, 466, 481-483, 486, 487
«Что такое искусство?» — 6
Эпитафия А.И.Остен-Сакен — 372, 380, 490, 491
«Юность» — 154-276, 377, 379, 397, 401, 404, 406, 408, 409, 413, 422, 432, 433-480, 487, 488
«Юность. Вторая половина» — 355, 379, 380, 452, 487, 488

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

- А.*, рецензент газеты «Московские ведомости» — 462
- А.В.*, автор «Критической заметки о таланте графа Л.Толстого» — 459
- Авдеев* Михаил Васильевич (1821–1876), прозаик, критик — 460
«Подводный камень» — 460
- Австрия* — 406
- Агафья Михайловна* (1808–1896), горничная гр. П.Н.Толстой, бабки Толстого — 424, 425
- Адам* Виктор (1801–1866), французский живописец и литограф — 181
- Аким*, помощник садовника в доме Толстых — 400
- Акривский*, переписчик «Отрочества», вероятно, из сосланных на Кавказ в 1832 г. поляков — 416
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817–1860), публицист, критик, поэт — 456, 457, 464, 466
«Обозрение современной литературы» — 456
- Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791–1859), прозаик, мемуарист, критик, журналист — 419
«Детские годы Багрова-внука» — 464
«Семейная хроника» — 458
- Албицкий*, композитор — 333
- Алексеев*, писарь — 389, 416
- Алмазов* Борис Николаевич (1827–1876), критик, поэт, переводчик — 405, 430
- Алябьев* Александр Александрович (1787–1851), композитор, автор романсов — 406, 480
«Соловей» — 171, 230, 480
- Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919), прозаик, драматург, публицист — 464
- Андреевский* Сергей Аркадьевич (1847/48–1918), поэт, литературный критик, юрист — 466
«Литературные чтения» — 466
- Аникеева*, знакомая Толстых — 402
- Анна Ивановна*, няня у детей Толстых — 399
- Ашечков* Павел Васильевич (1813–1887), литературный критик, мемуарист — 406, 420, 423, 425, 430, 431, 437, 460, 470
«О мысли в произведениях изящной словесности (Заметки по поводу последних произведений гг. Тургенева и Л.Н.Т.)» — 430
- Арбат*, улица в Москве — 166, 197
- Арбатские ворота*, площадь в Москве — 166
- Астафьев* Петр Евгеньевич (1846–1893), философ-публицист — 466
«Учение графа Л.Н.Толстого в его целом» — 466
- Астрахань* — 352, 486
- «Атеней»*, журнал, выходил в Москве в 1858–1859 гг. — 459
- Аустерлиц*, город в Моравии, при котором 2 декабря (20 ноября ст. ст.) 1805 г. произошло так называемое сражение трех императоров (Наполеона, Франца I и Александра I), закончившееся победой французов — 112, 433
- Бабаев* Эдуард Григорьевич (1927–1995), литературовед — 474
«Иностранная почта Толстого» — 474
- Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт — 56
- Балта*. См. Б.Исаев.
- Барашкин*, офицер — 410
- Барин* Арвед, псевдоним известной французской журналистки и переводчицы Сесиль Венсан — 472, 473, 479
«Юность Толстого» — 479
- Басистов* Павел Ефимович (1823–1882), критик, педагог — 456
- Бах* Иоганн Себастьян (1685–1750), немецкий композитор — 334
- Бахчисарай* — 428
- Бекетов* Владимир Николаевич (1809–1883), цензор — 419–421
- Беленко*, «винный поверенный» — 442
- Бельбек*, река — 420, 449
- Бельмонт* Л. (Блломонталь), польский литератор — 474
- Беранже* Пьер Жан (1780–1857), французский поэт — 398
- Берлиш* — 466
- Бернштейн* Н., критик — 470
- Берс* (рожд. Иславина) Любовь Александровна (1826–1886), мать С.А.Толстой — 400
- Берс* Степан Андреевич (1855–1910), брат С.А.Толстой — 400, 401
«Воспоминания о графе Л.Н.Толстом (В октябре и ноябре 1891 г.)» — 400, 401
- Бетховен* Людвиг Ван (1770–1827), немецкий композитор — 35, 36, 141, 227, 229, 230, 334, 385

- «Sonate Pathétique» (Патетическая соната) — 36, 229, 230, 385
Cis-moll-ная соната (Лунная соната) — 229
«Библиотека для чтения», журнал, издававшийся в 1834–1865 гг., с 1856 г. под редакцией А. В. Дружинина — 429–432, 457, 458, 460
Библия — 285
Бирюков Павел Иванович (1860–1931), друг и биограф Толстого — 375, 389, 398, 400, 424, 426, 450, 452, 455, 472, 479
«Биография Льва Николаевича Толстого» — 375, 389, 400, 424, 426, 452, 479
Блан Мария Тереза (псевдоним — Т. Бензон), сотрудница парижского журнала «Revue des deux Mondes» — 473
«Вблизи Толстого» — 473
Бланка Кастильская (1187–1252), мать Людовика IX Святого; по малолетству сына правила Францией — 119, 433
Блудов Дмитрий Николаевич, граф (1785–1864) — 450
Боало. См. Буало.
Боборыкин К.Н., сослуживец Толстого — 428
Боше Андре (1869–1925), французский публицист, критик — 479
Борецкая Марфа, вдова новгородского посадника И.А.Борецкого, возглавившая в 1470-е гг. антимосковскую партию боярства; имела трех сыновей: Андрея, Дмитрия и Федора — 370
Борецкий Исаак Андреевич, новгородский посадник — 370
Бостонжогло, табачная фабрика в Москве на Старой Басманной (до 1917 г.) — 182, 480
Боткин Василий Петрович (1811–1869), очеркист, критик, переводчик — 426, 431, 450, 453, 454, 455
«В.П.Боткин и И.С.Тургенев. Неизданная переписка. 1851–1869. По материалам Пушкинского дома и Толстовского музея» — 454
Бразилия — 480
Браилов, город и крепость в Валахии (Румыния) — 363
Британский музей — 474
Брокгауза и Эфрона Энциклопедический словарь — 406
Брусков Василий — 349, 424, 442
Брусков Никифор, сын Василия и Матрены Брусковых — 424
Брускова Матрена Васильевна, прототип Маши в трилогии Толстого — 424, 442
Буало Никола (1636–1711), французский поэт, критик и теоретик классицизма — 55
Буемский Николай Иванович, офицер — 391, 395
Булгаков Валентин Федорович (1886–1966), в 1910 г. секретарь Толстого — 402
«Л.Н.Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л.Н.Толстого» — 402
Булгаков Федор Ильич (1852–1908), журналист, историк литературы, художественный критик — 476, 477
«Граф Л.Н.Толстой. Критика его произведений, русская и иностранная» — 476
«Бунесэкай» («Мир литературы»), токийский журнал — 479
Бурнашева Нина Ильдаровна, литературовед — 380
Буякович Вл., критик — 470
«Великий писатель земли русской» — 470
Бухарест — 418
Бьенштот (Bienstock) Ж., переводчик — 472
Бялокозович Базиль, литературовед — 473
«Толстой в Польше» — 473
Ваграм (Wagram), селение к северо-востоку от Вены, около которого 5-6 июля 1809 г., во время австро-французской войны, войска Наполеона I разбили армию эрцгерцога Карла и Австрия заключила перемирие, а затем Шёнбруннский мир 1809 г. — 112, 433
Ваксель Л.Н., художник-карикатурист — 425
Ванюша, Ванюшка, см. Суворов Иван Васильевич
Ватерлоо, селение под Брюсселем, где 18 июня 1815 г. коалиционные войска одержали победу над Наполеоном I — 342, 486
Вейс (J.D.Wyss) Иоганн Давид (1743–1818), швейцарский пастор — 31, 32, 392, 406
«Le Robinson Suisse ou le prédicateur suisse naufragé avec sa famille» — 31, 32, 392, 406

- Вейс Франциск Рудольф* (1751–1797), швейцарский генерал и писатель — 357
 «Principes philosophiques, politiques et moraux» — 357
- Великобритания* — 8
- Венгеров Семен Афанасьевич* (1855–1920), историк русской литературы, библиограф — 406
- Версаев* (наст. фам. Смидович) Викентий Викентьевич (1867–1945), прозаик, литературовед, поэт-переводчик — 464, 470
 «И да здравствует весь мир» — 470
- Вернер Михаил Антонович* (1858–1891), издатель, редактор журнала «Вокруг света» — 465
- Вeselовский Алексей Николаевич* (1843–1918), историк литературы, почетный академик — 467
 «Герцен-писатель» — 467
- Весин С.*, критик — 466
 «Былое. Из русской жизни и литературы 40-60-х годов» — 466
 «Вестник воспитания», журнал, выходил в Москве в 1890 — 1917 гг. — 464
- Виардо* (Viardot; урожд. Гарсиа) Полина (1821–1910), французская певица — 470, 471
- Визева* (Выжевский) Теодор де, переводчик — 473
- Винер Лев Соломонович* (род 1862), профессор филологии, историк литературы и переводчик — 472
- «Вниз по матушке по Волге», народная песня — 255
- Вогюэ* (Vogüé) Эжен Мельхиор де, виконт (1848–1910), французский писатель и историк литературы — 474–477
 «Современные русские писатели. Толстой — Тургенев — Достоевский» — 475
 «Le roman russe» («Русский роман») — 475
- Воздвиженка*, улица в Москве — 166
- Воздвиженская*, укрепление на правом берегу р. Аргуна к югу от Грозной (Кавказ) — 409
- «Вокруг света», журнал — 465
- Волга* — 352, 486, 487
- Волконская* (урожд. Трузсон) Луиза Ивановна, кн. (1825–1890), жена А.А. Волконского — 485
- Волконские* кн. — 402, 454, 485
- Волконский Александр Алексеевич*, кн. (1818–1865), троюродный брат Толсто-
- го по матери; изображен в «Истории вчерашнего дня» — 485
- Волконский Николай Сергеевич*, кн. (1753–1821), дед Толстого по матери, владелец Ясной Поляны — 406
- «Вопросы философии и психологии», журнал, издавался в Москве в 1889–1918 гг. — 464
- Воробьевы горы*, высокий правый берег р. Москвы, напротив Лужниковской излучины, на юго-западе Москвы — 157, 158
- Воронка*, речка в Ясной Поляне — 352, 487
- «Время», ежемесячный литературный и политический журнал, издавался в Петербурге в 1861–1863 гг. М.М. Достоевским — 458, 459
- Вяземский Петр Андреевич*, кн. (1792–1878), поэт, критик, мемуарист, товарищ министра народного просвещения — 450, 452
- Гальперин-Каминский* (Halpérine-Kaminsky) Илья Данилович (1858–1936), переводчик на французский язык русской художественной литературы — 472
- Ганзен* (Hansen) Петер Эмануэль (Петр Готфридович; 1846–1930), переводчик Толстого на датский язык — 474
- Гельке* — 349, 485, 486
- Геншекен* (Hennequin) Эмиль, критик — 475
- Генслер* К.Ф. — 407
 «Дунайская нимфа» — 407
- Георгиевская*, станица Терской области (Кавказ) — 414
- Германия* — 8, 112, 479
- Герцен Александр Иванович* (1812–1870) — 375, 397, 403, 404, 464, 471, 472
 «Былое и думы» — 397
 Собрание сочинений: В 30 т. — 403, 404
- Герцен Ольга Александровна* (1850 — 1953), дочь А.И. Герцена — 471
- Герцо-Виноградский Семен Титович* (псевд. — Z.Z.Z., Барон Икс и др.; 1844–1903), журналист, литературный и театральный критик — 462
- Гете* Иоганн Вольфганг (1749–1832) — 56, 404, 486
 «Страдания молодого Вертера» — 340, 486
 «Фауст» — 433
 «Dichtung und Wahrheit» — 477

- Гиппиус* Зинаида Николаевна (1869–1945), поэтесса, литературный критик, прозаик — 465
«Искатель правды» — 465
- Гладкова* Людмила Викторовна, литературовед — 380
- Гоголь* Николай Васильевич (1809–1852) — 397, 425, 426, 428, 463, 465, 476
«Мертвые души» — 397
- Голландия* — 8
- Головин* Константин Федорович (1843–1913), прозаик, публицист, литературный критик, мемуарист — 466
«Русский роман и русское общество» — 466
- «Голос», либеральная газета; издавалась в Петербурге в 1863–1884 гг. — 462
- Гольденвейзер* Александр Борисович (1875–1961), пианист, педагог, композитор — 375, 397, 400, 454
«Вблизи Толстого (Записи за пятнадцать лет)» — 375, 400
- Гонкур* (Goncourt), французские писатели, братья: Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) — 479
- Гончаров* Иван Александрович (1812–1891) — 406, 429, 430, 466, 474
«Обломов» — 466
- Гораций* (полн. имя Квинт Гораций Флакк; 65–8 до н.э.), римский поэт — 177, 178
- Горбунов* Иван Федорович (1831–1895/96), прозаик, актер, зачинатель литературно-сценического жанра устного рассказа — 420
- Горохов* Павел Митрофанович (1817–1877), помещик Каширского и Крапивенского (село Долгое) уездов; ему был продан на своз большой яснополянский дом в бытность Толстого на Кавказе — 399
- Горчаков* Михаил Дмитриевич, кн. (1791–1861), главнокомандующий крымской армией в 1855 г.; троюродный дядя Толстого — 428, 435
- Горчаков* Сергей Дмитриевич, кн. (1794–1873), троюродный дядя Толстого — 401
- Горчакова* (рожд. Шереметева) Анна Александровна, кн. (1800–1882), жена кн. С. Д. Горчакова — 401, 402, 490
- Горький* Максим (псевд. Алексея Максимова Пешкова; 1868–1936) — 402
«Лев Толстой» — 402
- Горяинова* Ирина Алексеевна (род. 1898; артистическое имя — Энери) — 400
- Госсе* (Gosse) Эдмунд, критик — 478
«Lyof Tolstoi. Work While ye have light» — 478
- Государственный архив Российской Федерации* (ГАРФ) в Москве — 375, 472
- Государственный музей Л. Н. Толстого* (ГМТ) в Москве — 6, 8, 375, 423, 428, 465, 480, 491
- Григорович* Владимир, переводчик — 477
- Григорович* Дмитрий Васильевич (1822–1899), прозаик — 404, 406, 430
- Григорьев* Аполлон Александрович (1822–1864), литературный и театальный критик, поэт, переводчик, мемуарист — 406, 457, 458, 459, 462
«Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» — 458
«Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики и искусства» — 457
«Мои литературные и нравственные скитальчества» — 458
«Несколько слов о законах и терминах органической критики» — 458
«Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина» — 458
«Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения» — 458, 459
- Грозная*, станица — 409
- Громан* Цезарь, прапорщик (из юнкеров) батарейной № 4 батареи 20-й артиллерийской бригады — 409, 416
- Громова-Опульская* Лидия Дмитриевна, литературовед — 375, 376, 380
- Громор* (Gromort), парижский издатель — 472
- Грузинский царевич*, один из трех грузинских царевичей Георгиевичей: Ильи, Ираклия и Окроприа, живших в Москве в 1840-х гг. — 159
- Гусев* Николай Николаевич (1882–1967), секретарь Толстого в 1907–1909 гг., биограф, историк литературы, мемуарист — 375, 378, 384, 397–399, 428, 436, 451–455, 481, 482, 487, 489–491
«Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год» — 375, 378, 384, 397, 399, 424, 428, 452, 454, 482, 487, 489–491
«Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год» — 375, 384, 436, 453, 455

- «Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828–1890» — 375, 384, 482, 487
- Давыдов* Алексей Иванович, книгопродавец-издатель в Петербурге — 422, 451
- Даниил*, иеромонах — 491
- Даццаро*, художественный магазин, находился в Москве на Кузнецком мосту (до 1917 г.) — 181, 480
- Декарт* (Descartes) Рене, также Картезиус (1596–1650), французский философ — 356
- Делаво* (Delaveau) Анри Ипполит (ум. 1862), переводчик — 470, 471
- Делинь* (Délines) Мишель, переводчик — 472
- «Дело», политический и научно-литературный журнал; издавался в Петербурге в 1866–1888 гг. — 463
- Державин* Гавриил Романович (1751–1831) — 48, 56
- Дертский университет*, основан в 1802 г. — 253, 254
- «*Детская библиотека*», рукописный журнал братьев Толстых — 489
- Джесксон* Эстель, симферопольская знакомая Толстого — 428
- Дидрихс*, тульский кондитер — 349, 485
- Диккенс* (Dickens) Чарлз (1812–1870), английский писатель — 405, 429, 476
- «Давид Копперфильд» — 476
- Дистерло* Роман Александрович, критик — 465, 466
- «Граф Л.Н.Толстой как художник и моралист» — 465, 466
- Дмитриев* Иван Иванович (1760–1837), поэт, государственный деятель — 48
- Дмитрий Иванович кн. Донской* (1350–1389), великий князь Московский и Владимирский, сын Ивана II — 367
- Долгое*, село, принадлежало П.М.Горохову — 399
- Долгоруков* Николай Александрович, кн. (1833–1873) — 420
- Достоевский* Федор Михайлович (1821–1881) — 397, 426–428, 464–476
- «Бесы» — 427
- «Братья Карамазовы» — 464, 466
- «Двойник» — 427
- «Дневник писателя» — 427, 428
- «Записки из Мертвого дома» — 397
- «Идиот» — 427
- «Кроткая» — 427
- «Маленький герой» — 426
- «Неточка Незванова» («История одной женщины») — 426
- «Подросток» — 427
- Полное собрание сочинений: В 30 т. — 426–428
- «Униженные и оскорбленные» — 427
- Дрда* (Drda) Ян, критик — 474
- Дружинин* Александр Васильевич (1824–1864), прозаик, критик, переводчик — 406, 422, 431, 432, 437, 444–448, 450, 455
- Дудышкин* Степан Семенович (1820–1866), литературный критик, журналист — 404, 405, 429
- Дурново* И.С., переводчик — 477
- Дурьлин* Сергей Николаевич (1886–1954), публицист, прозаик, поэт, историк литературы и театра — 464
- «Великая книга о детстве («Детство», «Отрочество», «Юность» Л.Толстого)» — 464
- «*Душеполезное чтение*», журнал — 490
- Дьяков* Дмитрий Алексеевич (1823–1891), приятель Толстого — 401, 452, 454
- Дьякова* (рожд. Тулубьева) Дарья Александровна (1830–1867), жена Д.А.Дьякова — 452
- Дюма* (Dumas) Александр (1802–1870), французский писатель (Дюма-отец) — 230, 269, 480
- «Монте Кристо» — 230, 480
- «Три мушкетера» — 480
- Дююи* (Duru) Эрнест, критик — 474
- «Les Grands Maîtres de la Littérature Russe du dix-neuvième siècle» («Великие мастера русской литературы XIX в.») — 474
- Евангелие* — 90, 157, 463
- Европа* — 157, 189, 368, 477
- Екатерина II* Алексеевна (1729–1796), российская императрица с 1762 г. — 208
- Ергольская* Татьяна Александровна (1792–1874), троюродная тетка Толстого и его воспитательница — 383, 384, 387, 390, 392, 396, 399, 402, 425, 436, 443, 453, 481, 486, 489, 490
- Ермаков* Н.А., чиновник Министерства внутренних дел — 482
- Ернефельт* (Järnefelt) Арвид (1861–1933), финский писатель, переводчик — 473
- Ессентуки*, город на Кавказе — 413
- Ефремов* Петр Александрович (1830–1908), библиограф, публикатор и комментатор сочинений русских писате-

- лей, член-кор. Петербургской АН с 1900 г. — 450
- Жданов Владимир Александрович* (1898–1971), литературовед — 375
- Жербо*, переводчик — 472
- Жильбер* (Gilbert) Н. И. Л. (1751–1780), французский поэт — 258
«Ода, написанная в подражание многим псалмам» — 258, 480
- Жильярди* Эмилио, переводчик — 473
- Жуков Василий Григорьевич*, владелец табачной фабрики в Петербурге — 181, 480
- Жуковский Василий Андреевич* (1783–1852), поэт, переводчик, критик — 269, 452
- Завадовская* С.П. См. Козловская С.П.
- Завадовский Петр Васильевич*, граф (1739–1812), государственный деятель, фаворит Екатерины II, прадед С.А.Толстой — 401
- Загоскин Михаил Николаевич* (1789–1852), романист, комедиограф — 458
«Юрий Милославский» — 458
- Загоскина Екатерина Дмитриевна*, начальница Родионовского института в Казани — 412, 453
- «*Задруга*», издательство — 485
- Зайденштур Эвелина Ефимовна* (1902–1985), литературовед — 375
- Зайцева Ирина Аркадьевна*, литературовед — 472
- «*Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В.И.Ленина*» — 6
- «*Заря*», журнал, издавался в Петербурге в 1869–1872 гг. — 462
- Зеленый Александр Сергеевич*, сотрудник журнала «Современник» — 456
- Зуев В.Е.*, штабс-капитан — 417
- Зыбин Ипполит Афанасьевич* (ум. 1895), дальний родственник и приятель Толстого в молодости, музыкант-виолончелист — 401, 454
- Зыбин Кирилл Афанасьевич*, брат И.А.Зыбина — 454
- Иван Иванович*, писарь из Тулы — 439, 444–446, 448
- Иван Моисеевич*, писарь в Пятигорске — 391
- Иван Яковлевич*. См. И.Я. Корейша
- Иванов-Разумник* (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов; 1878–1946), критик, публицист, журналист, историк русской литературы и общественной мысли, мемуарист — 467
- Иерусалим* — 119
- «*Илиада*», древнегреческая эпическая поэма — 365, 402, 480
- Индия* — 447
- Институт мировой литературы им. А.М.Горького Российской Академии наук* (ИМЛИ РАН) — 5, 8
- Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук* (ИРЛИ РАН) — 8
- Иоанн III Васильевич* (1440–1505) — 370
- Иоанн IV Васильевич Грозный* (1530–1584) — 368
- Иоанн архимандрит* (Соколов), член Петербургского духовно-цензурного комитета в 1848–1857 гг. — 450
- Исаак Анна де*, корреспондентка Толстого из Венгрии — 473
- Исаев Балта*, мирный чеченец, приятель Толстого — 417
- Иславин Константин Александрович* (1827–1903), дядя С.А.Толстой — 402
- Исленьев Александр Михайлович* (1794–1882), капитан в отставке, помещик Тульской губ., дед С.А.Толстой — 400, 401, 487
- Испания* — 406
- «*История русской литературы XIX века*» под ред. Д.Н.Овсяннико-Куликовского — 467
- Италия* — 8, 160, 368
- «*Кабэн*» («Огненный круг»), японский журнал — 479
- Кавказ* — 395, 396, 399, 403, 404, 414, 416, 417, 434, 452, 454, 482, 483, 485–487
- Казань* — 452, 453, 454
- Казанский университет*, основан в 1804 г. — 377, 452, 453, 480
- Казимир IV Ягеллончик* (1427–1492), великий князь литовский (с 1440), король польский (с 1447) — 370
- Кайданов Иван Кузьмич* (1782–1843), историк, автор учебников — 117, 433
«Краткое начертание всемирной истории» — 117, 433
- Калинина Наталья Алексеевна*, литературовед — 375
- Калиостро* гр. Алессандро, псевдоним авантюриста Джузеппе Бальзамо (1743–1795) — 299
- Калошина Софья Павловна* (1828–1911?), подруга детства Толстого — 401

- Кальбреннер* Фридрих (1788–1849), немецкий композитор — 230, 480
«Le Fou» («Безумец») — 230, 480
- Канада* — 8
- Карамзин* Николай Михайлович (1766–1826), прозаик, поэт, журналист, историк — 378
- Карбасинов* Н.П., издатель — 485
- Карл Великий* (742–814), франкский король, римский император с 800 г. — 173
- Карр* (Carr) Жан Альфонс (1808–1890), французский писатель демократического направления, издатель сатирического журнала «Ось» — 153, 290, 484
- Кауэр* Ф. (1751–1831), австрийский композитор — 407
«Дева Дуная» — 67, 407
- Кеннан* (Kennan) Джордж (1845–1924), американский писатель, публицист — 474
- Киевская улица*, в Туле — 344
- Кизляр* — 389
- Ким Рехо*, литературовед — 473
- Кишинев*, город на р. Быке в Бессарабской губернии — 420, 428
- Клементи* (Clementi) Муцио (1752–1832), композитор, пианист, педагог, основатель и глава лондонской школы пианизма — 16, 406
- Клич*, город — 428
- «Книжки “Недели”» — 463
- «Книжки “Ясной Поляны”» — 456
- Ковалевский* Егор Петрович (1809–1868), прозаик, путешественник, государственный и общественный деятель — 421, 428
- Козловская* (урожд. гр. Завадовская) Софья Петровна, кн. (1794–1830), дочь П.В.Завадовского, жена А.М.Исленьева, бабка С.А.Толстой — 400
- Козловский* Владимир Николаевич, кн. (1790–1847), генерал-майор, первый муж С.П.Козловской — 401
- Кок* (Cock) Поль Шарль де (1793–1871), французский писатель — 230
- Колбасин* Дмитрий Яковлевич (1827–1890), издатель, старший брат литератора Е.Я.Колбасина — 420–422
- Колбасин* Елисей Яковлевич (1832–1885), прозаик, критик, историк литературы — 420, 422, 426, 454, 455
- Коломна*, известное с XII века поселение на месте впадения реки Москвы в Оку — 367
- Комаровский* Е.Е., граф, статский советник — 451, 452
- Кони* Федор Алексеевич (1809–1879), драматург, театральный критик, мемуарист — 405
- Конрад* Николай Иосифович (1891–1970), востоковед, академик — 479
- Копервейн* Жозефина (Юзенька) — 389, 400, 401, 484
- Копервейн* Мария (Мими), мать Жозефины Копервейн, гувернантка дочерей А.М.Исленьева — 400, 401
- Корейша* Иван Яковлевич (1780–1861), известный московский юродивый — 205, 214, 215, 480
- Корнель* (Corneille) Пьер (1606–1684), французский драматург — 55
- Короленко* Владимир Галактионович (1853–1921), прозаик, публицист, общественный деятель — 464
- Корчагина* Людмила Петровна, литературовед — 380
- Кори* Евгений Федорович (1809–1897), переводчик, журналист, издатель, библиотечный деятель — 459
- Кочаки*, село близ Ясной Поляны, где находится семейное кладбище Толстых — 491
- Кочубей* Матрена Васильевна, возлюбленная гетмана И.С.Мазепы — 158
- Краевский* Андрей Александрович (1810–1889), издатель, журналист — 403
- Красное*, село Тульской губернии — 315, 319, 386, 401
- Кремль*, древнейшая и центральная часть Москвы на Боровицком холме — 368
- Кронеберг* Иван Яковлевич (1788–1838), профессор Харьковского университета — 480
- Латинско-Российский лексикон — 480
- Крылов* А.Л., цензор — 396
- Крылов* Иван Андреевич (1768 или 1769–1844), баснописец, драматург, журналист — 490
- Крым* — 160, 402, 437, 453
- Кузминская* (урожд. Берс) Татьяна Андреевна (1846–1925), младшая сестра С.А.Толстой, прозаик, мемуаристка — 401
- «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» — 401
- Кузнецкий мост*, улица в Москве — 181, 182, 251, 480
- Куликово поле*, между р. Непрядва и Дон, где 8 сентября 1380 г. русские полки во

- главе с кн. Дмитрием Ивановичем Донским разгромили татаро-монгольские войска Мамай — 367
- Кулиш* Пантелеймон Александрович (1819–1897), историк, прозаик, поэт, драматург, литературный критик, этнограф, публицист; писал на украинском и русском языках — 403, 405
«История Ульяны Терентьевны» — 403, 405
«Яков Яковлич» — 403
- Кульман* Н., критик — 463
Речь по случаю 50-летия литературной деятельности Толстого — 463
- Кунцево*, с середины и до конца XIX века дачная местность к западу от Москвы — 204, 205, 453
- Кутузов-Голенищев* Михаил Илларионович (1745–1813), генерал-фельдмаршал — 470
- Кучко*, Кучково поле — названия, связанные с именем полуполулегендарного боярина Степана Ивановича Кучки, владевшего в середине XII века московскими землями — 368
- Лазурский* Владимир Федорович (1869–1943), преподаватель литературы, учитель детей Толстого — 480
- Ламартин* (Lamartine) Альфонс (1790–1869), французский поэт и политический деятель — 483
- Ланкастер* (1778–1838) Жозеф, американский педагог — 464
«Психология и педагогика юности» — 464
- Лаватер* (Lavater) Иоганн Каспар (1741–1801), швейцарский писатель — 484
«Физиогномические фрагменты» — 484
- Лёвенфельд* (Löwenfeld) Рафаил, немецкий ученый-славист, биограф Толстого — 466
«Leo N.Tolstoj. Sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung» — 466
«Гр. Л.Н.Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание». Перевод с немецкого С.Шклявера — 466
- Ленорман* (Lenormand) Мария Анна Аделаида (1772–1843), известная предсказательница — 299
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831–1891), политический и религиозный мыслитель и публицист, прозаик, литературный критик — 467, 468
- «Анализ, стиль и веяние. По поводу романов гр. Толстого» — 467
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814–1841) — 250, 397, 432, 459
«Герой нашего времени» — 397, 459
«Демон» — 250, 258
- Лесаж* (Lesage) Ален Рене (1668–1747), французский писатель — 269
- Летописи Государственного Литературного музея* — 6
- Лира* Этор Перейра де, корреспондент Толстого — 480
- «*Лиссабон*», трактир в Москве — 268, 269, 480
- Лист* (Liszt) Ференц (1811–1886), композитор, пианист, дирижер — 230
«*Литературная "Детская библиотека"*» — 464
«*Литературное наследство*» — 6, 375, 378, 379, 382, 394, 399, 404, 406, 424, 437, 473, 474, 476, 478–480, 482, 487, 489
«*Литературные памятники*» — 7, 375, 451, 481, 487
- Литературные приложения «Нивы»*, издававшиеся в 1894–1918 гг. См. «Нива»
- Лозбякова* Валентина Владимировна, литературовед — 376
- Лонгинов* Михаил Николаевич (1823–1875), библиограф, мемуарист, критик — 425
- Лондон* — 217, 404, 471, 472, 474
- Лосский* Николай Онуфриевич (1870–1965), философ — 464
«Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма» — 464
- Луначарский* Анатолий Васильевич (1875–1933) — 491
- Любовь Сергеевна* (ум. 1844) — 443, 444, 452, 453
- Людовик Святой IX* (1215–1270), французский король с 1226 г. — 118, 119, 407, 433
- Мазепа* Иван Степанович (1644–1709), гетман Малороссии — 158
- Маковицкий* Душан Петрович (1866–1921), врач, друг Толстого — 382, 426, 437
«Яснополянские записки» — 426, 437
- Мамай* (убит в 1380), татарский темник и фактический правитель Золотой Орды — 367
- Мамин-Сибиряк* (наст. фам. Мамин) Дмитрий Наркисович (1852–1912), писатель — 464
- Марфа-Посадница*. См. Борецкая Марфа

- Матерн* Филипп, владелец гастрономического магазина и при нем помещения для посетителей в Москве на Моховой ул. в 1830 — 1840-х гг. — 265, 275
- Матрена Васильевна*. См. М.В.Брускова.
- Мей* (Meу) Х.Вольфганг ван дер, критик — 476
«Комментарий к Толстому» — 476
- Мейзенбург* (Meуsenbug) Мальвида Амалия фон (1816–1903), переводчица — 471
- Мельгунов* Сергей Петрович (1879/80–1956), журналист, историк, публицист — 484
- Мендельсон-Бартольди* Феликс (1809–1847), немецкий композитор — 333
- Меньшиков* Михаил Осипович (1859–1918), публицист, литературный критик — 463, 469
«Россия и Лев Толстой» — 469
«Первое произведение гр. Л.Н.Толстого. По поводу 40-летия его литературной деятельности» — 463
- Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865–1941), прозаик, поэт, критик, публицист — 466, 467, 470
«Л.Толстой и Достоевский» — 466, 467
- Меринг* Франц (Mehring F.), критик — 478
«Leo Tolstoi» — 478
- Мессалина* Валерия (I в. н. э.), жена римского императора Клавдия, известная своей безнравственностью и жестокостью; ее имя сделалось нарицательным — 238, 239
- Миллер* Орест (Оскар) Федорович (1833–1883), фольклорист, историк литературы, критик, публицист — 465, 476
«Русские писатели после Гоголя» — 465, 476
- Миницкий* Иван Федорович, приятель И.С.Тургенева — 403, 426
- Михайлов* Михаил Ларионович (1829–1865), поэт, переводчик, прозаик, публицист — 391
«Кружевница» — 391
- Мишин* Виктор Степанович, литературовед — 489
- Мольер* (настоящее имя Жан Батист Полен, 1622–1673), французский комедиограф, актер, театральная деятельность, реформатор сценического искусства — 55
- Монтень* (Montaigne) Мишель де (1533–1592), французский философ-гуманист — 55
- Мори* Огай, японский писатель, критик, переводчик — 479
- Морфей*, бог сна в греческой мифологии — 349, 485
- Москва* — 20, 21, 47, 56–58, 67, 78, 86, 91, 99, 102, 160, 161, 191, 194, 217, 239, 243, 246, 261, 279, 281, 289, 291, 294, 309, 310, 312, 315, 319, 323, 353, 355, 367, 377–379, 386, 390, 393, 394, 396, 400, 401, 408, 409, 421, 423, 436, 438, 446, 453, 475, 480–482, 490
- Москва-река* — 368
- «*Москвитянин*», журнал, издавался в Москве в 1841–1856 гг. — 404, 405, 429, 430
- «*Московские ведомости*», одна из старейших русских газет, издававшаяся в Москве в 1756–1918 гг. — 63, 422, 423, 462
- «*Мураново*», музей-усадебка Ф.И.Тютчева — 456
- Мусин-Пушкин* Александр Иванович, гр. (1827–1903), дальний родственник Толстого — 400
- Мусины-Пушкины* гр. — 400, 401
- Наполеон I* Бонапарт (1769–1821), французский император (1804–1814) — 112, 116, 342, 368, 470, 486
- Направник* В.Э. — 428
- Направник* Эдуард Францевич (1839–1916), дирижер и композитор — 428
- Неаполь*, город в Италии — 217
- «*Не будите меня, молодцу*», народная песня — 35
- «*Неделя*», газета, издавалась в Петербурге в 1866–1901 гг. — 462, 463
- «*Неизвестный Толстой в архивах России и США*» — 6
- Неклюдов* Дмитрий, студент Казанского университета в 1844–1845 гг. — 452
- Некрасов* Николай Алексеевич (1821–1877), поэт, редактор — 375, 377, 381, 383, 395–399, 403, 404, 407, 408, 419, 420, 425, 426, 429, 430, 434, 448, 449, 451, 455, 456, 464, 482
- Полное собрание сочинений: В 12 т. (1948–1953) — 377, 396, 404, 426
- «*Не одна во поле дороженька*», народная песня — 35
- Нерадовский* Петр Иванович (1875–1962), художник — 379

- «Нива», журнал, издавался в Петербурге в 1870–1917 гг. — 463
- Никитская*, улица в Москве — 202
- Никифорова* Татьяна Георгиевна, литературовед — 376
- Николаева* М.Б., критик — 464
- «Детские типы современной беллетристики» — 464
- Николай I* (1796–1855) — 126, 294
- Ницше* (Nietzsche) Фридрих (1844–1900) — 468
- Новгород* — 370
- «Новое время», газета, издавалась в Петербурге в 1868–1917 гг. — 468–470
- «Новые материалы Л.Н.Толстого и о Толстом. Из архива Н.Н.Гусева» — 6
- Ноулсон* Т. (T.Sharper Knowlson), критик — 478
- «Leo Tolstoy. A biographical and critical study» — 478
- Нью-Йорк* — 472, 474
- Ньютоном* Исаак (1643–1727), английский математик, механик, астроном и физик, создатель классической механики — 175, 176, 454
- Овсянко-Куликовский* Дмитрий Николаевич (1853–1920), литературовед, лингвист, историк литературы — 378, 467
- «Лев Николаевич Толстой. К 80-летию великого писателя. Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания» — 378
- Огарев* Николай Платонович (1813–1877), поэт — 404
- Оголин* Александр Павлович, штабс-капитан, знакомый Толстого на Кавказе — 404
- «Огонек», журнал, издавался в Петербурге в 1879–1883 гг. — 451
- Одесский* И., критик — 464
- «Факторы детского счастья» — 464
- «Одесский вестник», газета, издавалась в 1827–1893 гг. — 462
- Олег Иванович* (ум. 1402), великий князь Рязанский — 367, 490
- Ольден-Уард* М. — 477
- «Жизнь Л.Н.Толстого» — 477
- «Три биографии (Томас Карлейль. Джон Рескин. Лев Толстой)» (перевод И.С.Дурново) — 477
- «Описание рукописей статей Л.Н.Толстого» — 6
- «Описание рукописей художественных произведений Л.Н.Толстого» — 6, 375, 384, 487, 489
- Оптина пустынь* — 491
- Оргельбранд* (Orgelbrand) С. — 473
- Остен-Сакен* (урожд. гр. Толстая) Александра Ильинична фон дер (1797? — 1841), опекуна Толстых — 372, 491
- Остоженка*, улица в Москве — 273
- Островский* Александр Николаевич (1823–1886), драматург — 404, 406, 432, 458
- Острогорский* А.Н. — 464
- «Педагогические экскурсии в область литературы» — 464
- Острогорский* В.П., педагог — 423
- «Русские писатели как воспитательно-образовательный материал для занятий с детьми» — 423
- «Русские писатели как воспитательно-образовательный материал для занятий с детьми и для чтения народу» — 464
- «Отечественные записки», журнал, издавался в Петербурге в 1839–1884 гг. А.А.Краевским — 404, 405, 426, 428, 429
- Офросимов* А. — 491
- Очаков*, город — 399, 406
- Пажеский корпус*, военное учебное заведение в Петербурге (1802–1917) — 192
- Панаев* Иван Иванович (1812–1862), беллетрист и журналист; редактор журнала «Современник» (1847–1862) — 402, 404, 420, 422, 425, 437, 447–449, 451
- «Заметки нового поэта» — 404
- «Львы в провинции» — 402
- Панин* Иван, критик, литературовед — 477
- «Lectures on Russian Literature» — 477
- «Пантеон», журнал, издавался в Петербурге в 1842–1856 гг. — 404, 405, 429, 430
- Париж* — 217, 299, 397, 403, 426, 437, 447, 454, 455, 470, 474, 479, 485, 487
- Парнас* — 247
- «Педагогический листок», журнал, издавался в Петербурге в 1871–1918 гг. — 423, 463
- Педотти*, кондитерская в Москве на Кузнецком мосту в 1840–1860-х гг. — 158, 480
- Пенелопа* — 384, 390, 425
- Перри*, американский критик и литературовед — 478
- Перрис* Г. (Perris G.H.; 1866–1920), английский критик, журналист — 478

- «Leo Tolstoy. The grand mujik. A study in personal evolution» — 478
 «The Bookman» Booklets. Leo Tolstoy. By G.K. Chesterton, G.H. Perris etc. — 478
- Перфильевы*, знакомые Толстых — 402
- Петербург* — 76, 160, 192, 224, 238, 279, 296, 316, 317, 353, 384, 390, 392, 396, 419, 420, 422, 425, 426, 432, 436, 437, 444, 446-450, 459, 474, 476, 480-482, 487
- «*Петербургская газета*», издавалась в Петербурге в 1867-1917 гг. — 470
- Петербургский университет*, основан в 1819 г. — 201, 450
- Петр I Великий* (1672-1725) — 433
- Петропавловская крепость* — 426
- «*Печать и революция*», журнал — 401
- Пимен*, монах, ключарь св. Ионы, архиепископа Новгородского — 370
- Пирогово*, Тульской губ. — 485
- Писарев Дмитрий Иванович* (1840-1868), критик, публицист — 460, 461, 479
- «*Промахи незрелой мысли*» — 461
- «*Цветы невинного юмора*» — 460
- Писемский Алексей Феофилактович* (1820 или 1821-1881), прозаик, драматург — 430, 432, 458
- «*Очерки крестьянского быта*» — 432
- «*Фанфарон*» — 430
- Погожев В.П.* — 428
- Подъёмчиков*, купец — 304, 484
- Покровское*, Тульской губ. — 485
- Поливанов Александр Константинович* (род. 1845) — 488
- Полнер Тихон*, литературовед — 484
- Полонский Яков Петрович* (1819-1898), поэт — 426
- Полубояринов А.А.*, студент казанского университета в 1843-1845 гг. — 443, 453
- Поль де Кок*. См. Кок
- «*Полярная звезда*», альманах, издавался в Лондоне и Женеве в 1855-1868 гг. — 403
- Помпеи*, античный город у подножия вулкана Везувий, засыпанный при извержении в 79 г. (нашей эры) — 368
- Попов К.*, переводчик — 472
- Поречников В.* См. Хвоцинская Н.Д.
- Поссе Владимир Александрович* (1864-1940), критик — 465
- «*За чтением Толстого*» — 465
- Правоведение*, «Училище Правоведения», аристократическое закрытое учебное заведение (1835-1917) в Петербурге, учрежденное принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским «для образования благородного юношества на службу по судебной части» — 192
- Прасковья Исаевна* (ум. 1839), экономка в Ясной Поляне — 399, 400, 402, 406
- Прац Эдуард Христианович*, владелец типографии — 420-422
- Протасовы* — 452
- «*Приднепровский край*», газета — 470
- Псалтырь*, книга Ветхого Завета — 80
- Пушкин Александр Сергеевич* (1799-1837) — 269, 397, 427, 432, 449
- Пятигорск*, город на Кавказе — 389, 391, 392, 410
- Пятковский А.П.*, критик — 461, 462
- «*Историческая эпоха в романе гр. Л.Н.Толстого*» — 462
- «*Раннее утро*», газета — 465
- Раппо Карл*, известный в свое время силач-гимнаст, прозванный «северным Геркулесом»; давал представления в Москве в мае-июле 1839 г. — 158, 480
- Расин Жан Батист* (1639-1699), французский драматург эпохи классицизма — 55
- Рейн*, река в Германии — 427
- Рейхель* (урожд. Эрн) Мария Каспаровна (1823-1916), близкий друг семьи Герцена — 403
- «*Речь*», газета — 470
- Рёссель Федор Иванович*, учитель братьев Толстых — 399, 401, 402, 452, 483
- Рим* — 451
- Родзянко Н.В.*, чиновник особых поручений при Главном управлении цензуры — 396
- Родионовский институт* в Казани — 453
- Розанов Василий Васильевич* (1856-1919), писатель, критик, публицист, философ — 464, 467-469
- «*В мире неясного и нерешенного*» — 468
- «*Из загадок человеческой природы*» — 468
- «*Каталог избранных книг для детского чтения. Пособие для составления библиотек в учебных заведениях и родителям и воспитателям при выборе детских книг*» — 464
- «*На закате дней (Л.Толстой и быт)*» (подпись: Варварин В.) — 469
- «*Эстетическое понимание истории*» — 467

- Розанова* Сусанна Абрамовна, литературовед — 375
- Роллан* Ромен (1866–1944), французский писатель — 476
- Ролстон* (Rolston) Уильям, критик и переводчик — 474, 477
- Российская государственная библиотека* (РГБ) в Москве — 375, 423, 460
- Российский государственный исторический архив* (РГИА) в Санкт-Петербурге — 375, 396, 420, 422, 452
- Россия* — 6, 116, 157, 353, 368, 370, 403, 404, 406, 425, 427, 465, 469, 474, 476, 477, 486
- «*Русская беседа*», журнал, издавался в Москве в 1856–1860 гг. — 456, 457
- «*Русская библиотека*», серия книг — 464
- «*Русский вестник*», журнал, издавался в Москве и Петербурге в 1856–1906 гг. — 404, 467, 468
- «*Русский инвалид*», журнал, издавался в Петербурге в 1813–1917 гг. — 471, 472
- «*Русское обозрение*», журнал, издавался в Москве в 1890–1903 гг. — 466
- «*Русское слово*», газета, издавалась в Петербурге в 1859–1866 гг. — 458, 461, 464
- Руссо* Жан Жак (1712–1778), французский писатель, философ — 338, 357, 467, 488
- «Исповедь» — 488
- «Рассуждение о науках и искусствах» — 488
- Савинич* (Sawinicz) Я., критик — 473
- Садовая улица* в Москве — 453
- Саксония* — 22, 41, 294, 295, 406
- Самозванец*, Лжедмитрий I (?–1606), предположительно Г.Отрепьев; выступил под именем царевича Димитрия — 368
- «*Санкт-Петербургские ведомости*», газета, издавалась в Петербурге в 1728–1917 гг. — 422, 429, 456, 460
- Санд* (Sand) Жорж (наст. имя Аврора Дюпен; 1804–1876), французская писательница — 433
- «Индiana» — 433
- Саратов* — 352, 486
- «*Сборник Государственного Толстовского музея*» — 490
- «*Сборник Пушкинского Дома на 1923 г.*» — 425
- «*Свободное воспитание*», журнал — 464
- Севастополь*, город в Крыму — 434, 435, 436, 439, 449, 454
- «*Северная пчела*», петербургская газета; издавалась в 1825–1864 гг. — 13
- Сегюр* (Séguir) Жозеф Александр, гр. (1756–1805), французский писатель — 56
- Седова* Л.Д., критик — 464
- «Психология юношеского возраста» — 464
- Семенова* Нимфодора Семеновна (1787–1876), певица — 35
- Семипалатинск*, город — 426
- Сен-Тома* (St.-Thomas) Проспер, губернатор у Толстых — 349, 351, 401, 423, 424, 485, 490
- Сервантес* Сааведра Мигель де (1547–1616), испанский писатель — 423
- «Дон Кихот» — 423
- Сергий Радонежский* (в миру Варфоломей; ок. 1321–1391), святой, преобразователь монашества в северной Руси — 367
- Сергеенко* Петр Алексеевич (1854–1930), литератор — 399, 464, 465
- «Как живет и работает гр. Л.Н.Толстой» — 399
- Серебровская* Екатерина Сергеевна (1894–1966), литературовед — 375
- Серпухов*, в XIX в. уездный город Московской губернии — 99
- Сехин* Епифан — 395
- Сивцев Вражек*, улица в Москве — 194
- Симферополь*, губернский город в Крыму — 434
- Синод*, высший орган царского правительства, управлявший делами церкви — 159
- Сираянаги* Сюко, японский писатель, публицист — 479
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838–1910), литературный критик и историк литературы — 467
- «История новейшей русской литературы (1848–1890)» — 467
- «Русские писатели со времен Петра Великого и до наших дней. Пособие для народной и средней школы» — 467
- Скайлер* (Schuyler) Юджин (1840–1890), переводчик — 474
- «Preface to the Cossacks» — 474
- Скотт* Вальтер (1771–1832), английский романист — 209, 480
- «Роброй» — 209, 480
- «Слово», газета, издавалась в Петербурге в 1904–1909 гг. — 465

- Смагдов Семен Николаевич** (1805–1871), автор учебников истории — 117, 433
 «Руководство к познанию древней, средней и новой истории для средних учебных заведений» — 117, 433
Смоленск — 401
- Совет Опекунский**, высшее учреждение ведомства «Учреждений имп. Марии», управлявшее Воспитательными домами и состоявшими при них кредитными установлениями, принимавшими подзалог имения — 288, 289, 291
 «Советская музыка», журнал — 428
 «Современник», журнал, издавался в Петербурге в 1847–1866 гг. — 87, 377, 379, 381, 382, 391, 392, 395, 396, 397, 398, 402–405, 407, 408, 414, 416, 418–420, 423, 425, 426, 429, 430, 432, 434, 440, 441, 446, 448, 449, 451, 456, 460, 461
 «Современный мир», журнал, издавался в Петербурге в 1906–1918 гг. — 470
Соединенные Штаты Америки (США) — 8, 474
Сокольники, парк в Москве — 187
Соловьев Всеволод Сергеевич, критик — 462
 «Граф Л.Н.Толстой» — 462, 463
Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор Кузмич (1863–1927), писатель — 464
Старая Басманная, улица в Москве — 480
Староградковская, станица Терской области, на левом берегу Терека (Кавказ) — 383, 384, 387, 396, 409, 410, 486
Старый Юрт, станица — 482
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911), публицист, историк и общественный деятель — 464
Стахович Александр Александрович (1858–1915), орловский помещик — 384
 «Ключки воспоминаний» — 384
Стерн Лоуренс (1713–1768), английский писатель — 377, 378, 385, 387, 399, 416, 467,
 «Сентиментальное путешествие» — 377, 378, 387, 399
- Стоженка**. См. Остоженка.
Столыпин, вероятно Аркадий Дмитриевич (1821–1899), в Крымскую кампанию адъютант начальника артиллерии действующей армии, впоследствии генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии — 442
- Страхов Николай Николаевич** (1828–1896), литературный критик, философ, переводчик — 462
 «Критический разбор “Войны и мира”» — 462
Строганов Григорий Александрович (1823–1878), с 1855 г. муж в. к. Марии Николаевны — 442
Суворов Иван Васильевич, слуга Толстого — 388, 392
Сухотина-Толстая Татьяна Львовна (1864–1950), старшая дочь Толстого — 425
 «Воспоминания» — 425
 «Детство Тани Толстой в Ясной Поляне» — 425
 «Друзья и гости Ясной Поляны» — 425
 «Сын Отечества», журнал, издавался в Петербурге в 1856–1861 гг. — 456
Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934), книгоиздатель — 450
Сю Эжен (1804–1857), французский писатель — 230, 269
 «Парижские тайны» — 230, 480
- Танеев Сергей Иванович** (1856–1915), композитор — 454
Танюша, цыганка, певица — 35
Татищев Иван Иванович (1743–1802) — 61, 137, 406
 «Всеобщий французско-русский словарь, составленный по изданиям Раймонда Нодье, Болота и французской Академии» — 61, 137, 406
Тверская улица, в Москве — 72, 182, 199
Тверской бульвар, в Москве — 126, 134
Темяшев Александр Алексеевич (1774–1830-е гг.), троюродный дядя Толстого — 400
Темяшева Авдотья Александровна, дочь А.А.Темяшева — 400
Тенфер (Goepffer) Рудольф (1799–1846), швейцарский писатель — 399
 «Библиотека моего дяди» — 399
Тёрнер (Turner) Чарлз, критик — 478
 «Count Tolstoi as novelist and thinker» — 478
 «Терра», издательство — 5
Тикамацу Сюко, критик, переводчик — 473, 479
 «Мастерство Толстого» — 479
Тимм В.Ф., издатель журнала «Русский художественный листок» — 473
Тифлис — 383, 384, 387, 408, 484

- Ткачев* Петр Никитич (1844–1885/1886), русский публицист, один из идеологов революционного народничества — 463
- Токутоми* Кэндзиро (псевд. Рока; 1868–1927) — 479
- «Омоидэ-но ки» («Записки воспоминаний») — 479
- Толстая* Александра Андреевна, гр. (1817–1904), фрейлина императорского двора, двоюродная тетка Толстого — 399
- Толстая* Мария Николаевна, гр. (1830–1912), сестра Толстого — 349, 383, 400, 401, 403, 410, 413, 423, 425, 426, 452–455, 485
- Толстая* (урожд. кж. Горчакова) Пелагея Николаевна, гр. (1762–1838), бабка Толстого — 401, 424, 425
- Толстая* (урожд. Берс) Софья Андреевна, гр. (1844–1919) — 375, 378, 382, 399, 400, 401, 404, 424, 464, 485, 490
- «Дневники» — 375, 400
- «Материалы к биографии Л.Н.Толстого» — 378, 400, 404, 424
- «Толстовский ежегодник 1912 г.» — 384
- Толстой* Валериян Петрович, гр. (1785–1864), муж гр. М.Н.Толстой — 425, 426, 442, 454
- Толстой* Дмитрий Николаевич, гр. (1827–1856), брат Толстого — 452, 453, 489
- «Толстой и о Толстом. Новые материалы» — 5
- Толстой* Никита Ильич (1923–1996), правнук Толстого — 8
- Толстой* Николай Николаевич, гр. (1823–1860), старший брат Толстого — 383, 384, 388, 395, 396, 400, 402, 404, 410, 414, 425, 452, 471, 483, 489
- «Толстой. Памятники творчества и жизни» — 5
- Толстой* Сергей Львович (1863–1947), старший сын Толстого — 382
- Толстой* Сергей Николаевич, гр. (1826–1904), брат Толстого — 349, 383, 397, 400–402, 404, 422, 453, 481, 484, 485, 489
- Толстые*, графы — 401, 425
- Тулубьева* Д.А. См. Д.А.Дьякова
- Троице-Сергиева лавра*, древнерусский монастырь к северо-востоку от Москвы, основанный преподобным Сергием Радонежским в середине XIV века — 367, 401
- «Тропинка», журнал — 465
- Трубецкой* кн., вероятно, Сергей Васильевич, в 1840-х гг. был офицером, в 1850-х заключен в Шлиссельбургскую крепость — 442
- Трубный бульвар*, в Москве — 266
- Тула* — 344, 368, 439, 475, 485
- Тульская губерния* — 281
- Тургенев* Иван Сергеевич (1818–1883) — 376, 377, 384, 395, 397, 400, 402–404, 406, 413, 419–422, 425, 426, 428, 430, 433, 432, 437, 447, 448, 454, 455–457, 461, 470, 471, 475, 476
- «Записки охотника» — 397, 413
- «Затишье» — 426
- «Муму» — 421
- «Отцы и дети» — 461
- «Повести и рассказы» — 422
- Полное собрание сочинений: В 28 т. — 376, 377, 400, 403, 404, 419, 425, 426, 437, 447, 454, 455, 470
- «Рудин» — 433, 461
- «Тургенев и круг писателей “Современника”» — 422, 448, 454
- Тургенев* Николай Сергеевич (1816–1879), брат И.С.Тургенева — 403
- Тургенева* (урожд. Шварц) Анна Яковлевна (ум. 1872), жена Н.С.Тургенева — 403
- Тучкова-Огарева* Наталья Алексеевна (1829–1913/14) — 404
- «Воспоминания» — 404
- Тютчев* Федор Иванович (1803–1873), поэт — 429
- Тютчева* Анна Федоровна (1829–1889), дочь поэта, жена И.С.Аксакова — 456
- Тютчева* Екатерина Федоровна (1835–1889), дочь поэта — 456
- Ульм* — город и крепость на р. Дунай (Германия), где 17 октября 1805 г. (н.ст.) австрийская армия фельдмаршала К.Макка была окружена французскими войсками Наполеона I и капитулировала — 112, 433
- «Уранисми» («Мир внутренней души»), японский журнал — 478
- Феваль* Поль (1817–1887), французский писатель — 269, 480
- «Тайны Лондона» — 230, 480
- Федоров* Николай Федорович (1828–1903), русский философ — 466
- Фенелон* Франсуа (1651–1715), французский писатель — 55
- Феофил*, св. архиепископ Новгородский (ум. ок. 1480) — 370

Ферзен Герман Егорович, барон, знакомый Толстых — 402, 482
Ферреаль П. — 480
«Тайны инквизиции» — 230, 480
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт — 429
Фильд Джон (1782–1837), пианист, с 1804 г. живший в России — 35, 141–143
Форг (Forgue) Эмиль, переводчик — 472
Франкер Луи Бенжаме (1773–1849), французский математик, автор распространенных во многих странах учебников — 155, 156, 480
«Полный курс чистой математики» — 155, 156, 480
Франклин Вениамин (1706–1790), политический деятель; вел дневник, в котором отмечались проступки, совершенные за день — 347, 485
Франкфурт-на-Майне, город в Германии — 114
Франц II Иосиф Карл (1768–1835), император австрийский — 116
Франция — 8, 55, 406
Фрейтага манеж в Москве — 249, 480
Фридрих II Великий (1712–1786), прусский король — 285

Хаард (Haard) Эрик де, литературовед — 476
Хаяси Кюси (наст. имя Кувабара Кэндзо), переводчик — 473
Хвоцинская Н.Д. (псевд. В.Поречников; 1824–1889) — 428
«Провинциальные письма о нашей литературе» — 428
Хирьяков Александр Модестович (1863–1946), писатель, журналист — 484
Холмский Даниил, князь, воевода — 370
Хоуэлс (Howells) Уильям Дин (1837–1920), американский писатель — 474, 475, 478
«Criticism and fiction and other essays» — 474, 475
Художественные произведения Л.Н.Толстого в переводах на иностранные языки — 471
Хэпгуд (Hapgood) Изабелла (1850–1928), переводчица — 472, 474

Цабель (Zabel) Евгений, критик — 477
«Очерки литературной России» — 477
«Граф Л.Н.Толстой. Литературно-биографический очерк» (перевод с нем. В.Григоровича) — 477
Цион, критик — 477

«Un pessimiste russe» — 477
Цицерон Марк Туллий (106–43 до н.э.), римский политический деятель, оратор и писатель — 177
Цумпт Карл Готтлиб (1792–1849), немецкий филолог, автор латинской грамматики — 177
«Краткая латинская грамматика» — 177

Чайковский Модест Ильич (1850–1916), брат П.И.Чайковского — 402
Чайковский Петр Ильич (1840–1893) — 428, 429
«Щелкунчик» — 429
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) — 376, 406, 430, 432, 455, 456, 464, 479
«Детство и Отрочество. Сочинение графа Л.Н.Толстого. Военные рассказы графа Л.Н.Толстого» — 430, 432, 456, 479
«Заметки о журналах» — 456
Полное собрание сочинений: В 15 т. — 380, 432, 455
Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), издатель, общественный деятель, друг Толстого — 472, 481
Чехов Антон Павлович (1860–1904) — 394, 464, 467
«Душечка» — 394
Чуйко В.В., критик — 462

Швейцария — 488
Швеция — 406
Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт — 267, 469
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854), немецкий философ — 137, 333
Шелятина Нина Георгиевна (1920–1997), библиограф — 380
Шенграбенское сражение — 433
Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения — 56
Шляпкин И.А., профессор Петербургского университета — 450
«Памяти Л.Н.Толстого» — 450, 451
Штайнер Эдвард, критик — 477, 478
«Tolstoy the man» — 478
Шувалов, товарищ братьев Толстых — 424

Щеглов В.Г., критик — 468
«Граф Л.Н.Толстой и Фридрих Ницше» — 468, 469

Шедринская, станция — 418
Щербакова Марина Ивановна, литературовед — 380

Эдельсон Евгений Николаевич (1824–1868), критик — 460
Эмс, курорт на р. Лане (Пруссия) — 116
Энгельгардт (урожд. Новосильцова) Софья Владимировна (1828–1894), писательница (псевд. Ольга Н.) — 426
Энгельгардт Николай Александрович (род. 1866) — 467
«История русской литературы XIX столетия» — 467

Юшкова (рожд. гр. Толстая) Пелагея Ильинична (1798–1875), тетка (сестра отца) Толстого — 423, 442, 452

Ягайло (1350–1434), великий князь Литовский — 367
Якушкин Евгений Иванович — 426
Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857), декабрист — 426
Янаги Томико, литературовед — 479
Янушкевич, юнкер на Кавказе, переписчик «Отрочества» Толстого — 417
Япония — 8
Яр, ресторан в Москве; существовал до 1917 г. — 180, 185, 252, 255, 275, 446,
«Ярославль», трактир в Москве на Остоженке — 273
Ясная Поляна, имение Толстого, Крапивенского уезда Тульской губернии — 7, 390, 400, 401, 418, 421–423, 425, 435, 438, 439, 445, 452, 454, 472, 474, 475, 481, 485, 487, 490
«Ясная Поляна», журнал, издается с 1997 г. — 402, 425, 456,
«Ясная Поляна», музей-усадьба — 8
«Яснополянские сборники» — 6

Archengoltz, историк — 406
«Geschichte des Siebenjährigen Krieges in Deutschland» (1789) — 406

Badeni Jan, критик — 474
Breemen В.Н. van, переводчик — 472

Burchvliet A. van, переводчик — 472
«*Časopise Českého Musea*» — 474
«*Figaro*» — 479
Hachette, парижский издатель — 472
Harambašić A., переводчик — 473
Hervas J.S., переводчик — 473
Hlavina E., переводчик — 473
«*Journal de Débats*» — 479
Kindelski I., переводчик — 473
«*Księga Świata*», польский энциклопедический справочник — 473
«*Literary World*», журнал — 474
«*Los en Vast*», журнал — 476
Lundquist E., переводчик — 472
Lycée Frédéric (F.Lapidoth), критик — 476
«*De ontwikkelingsgeschiedenis van Tolstoi (Léon Nikolaéwitsch)*» — 476
«*Morning Post*» — 471
«*Nineteenth Century*» — 474, 477
«*Nouvelle Revue*» — 477
Pravda J.K., переводчик — 473
«*Revue des deux mondes*», журнал — 472, 473
Rottger E., переводчик — 472
«*Scènes de la vie aristocratique en Angleterre et en Russie (M.Kingsley, Tolstoi, Shakespeare)*», сборник — 472
Sloyd Gen., историк — 406
«*Geschichte des 7-jährigen Krieges in Deutschland*» (1783–1801, нем. перев. с англ.) — 406
«*Société du Mercure de France*», издательство — 479
Styk A., переводчик — 473

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Л.Н.Толстой. Портрет работы И.Н.Крамского. 1873 г. Третьяковская галерея	
Повесть «Детство». Автограф	15
Обложка журнала «Современник», № 9 за 1852 г. с первой публикацией повести «Детство»	87
Повесть «Отрочество». Автограф главы «Поездка на долги»	105
Титульный лист первого отдельного издания повестей «Детство» и «Отрочество»	151
Повесть «Юность». Автограф	165
«Юность», глава XLIV. Первый лист копии	271
Детское сочинение «Марфа-Посадница». Автограф	369

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 5

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1851 — 1856 гг.

Детство	11*	381
Отрочество	91	407
Юность	154	434

НЕОКОНЧЕННОЕ

Записки	279	481
<Четыре эпохи развития>	280	481
История вчерашнего дня	338	484
Еще день (На Волге)	352	486
<«Верно ли это? У нас ведь любят...»>	353	487
Юность. Вторая половина	355	487

Приложение. ДЕТСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Детские забавы	361	489
Рассказы дедушки	363	489
Ученические сочинения	365	489
Милой Тетиньке	371	490
Эпитафия А.И.Остен-Сакен	372	490

КОММЕНТАРИИ

Условные сокращения	375
Произведения 1851 — 1856 гг.	381
Неоконченное	481
Приложение. Детские сочинения	489
Указатель произведений Л.Н.Толстого	492
Указатель имен и названий	492
Список иллюстраций	510

*В первом столбце указана страница текста, во втором — комментарий.

Печатается по решению
Научно-издательского совета
Российской академии наук

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СТА ТОМАХ .

Художественные произведения
Т о м п е р в ы й
1850–1856

Зав. редакцией *А.И. Кучинская*
Редактор издательства *Е.В. Белова*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *Г.М. Коровина*
Технический редактор *Л.Н. Золотухина*
Оригинал-макет изготовлен в ИМЛИ РАН
Т.И. Мишутиной

ЛР № 020297 от 23.06.1997
Сдано в набор 01.09.1999
Подписано к печати 22.02.2000
Формат 60×90 1/16. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл. печ. л. 32,0 + 0,1 вкл. Усл. кр.-отт. 33,5. Уч.-изд. л. 35,4
Тираж 1500 экз. Тип. зак. 1803

Издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

ППП "Типография "Наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6

